
Революцией призванные
Повести
Рассказы
Очерки



Революцией призванные

Повести
Рассказы
Очерки





Революцией призванные






•МЫ НАШ,
МЫ НОВЫЙ
ИР ПОСТРОИМ
•РАДИ ЖИЗНИ
НА ЗЕМЛЕ
ОСТРОЕННЫЙ
В БОЯХ
СОЦИАЛИЗМ

Революцией призванные

Повести
Рассказы
Очерки

ТОМ ВТОРОЙ

Москва
«Художественная литература»
1987

ББК 84Р7
Р32

Составление и подготовка текста
В. ПИСКУНОВА

Оформление художника
А. ЕРЕМИНА

Р $\frac{4702010200\text{-}225}{028(01)\text{-}87}$ 1-87

Мы наш,
мы новый мир
построим











(1892—1977)

РИСУНОК С ЛЕНИНА

1

Летним полднем молодому художнику Сергею Шумилину позвонили по телефону из газеты и сказали, чтобы он зашел в редакцию договориться об одном деле. Художник бросил рисовать, помыл руки, сунул в карман гимнастерки карандаши с блокнотом и вышел на улицу.

В магазинных окнах были выставлены портреты Ленина в красных рамочках из кумача, и повсюду бросались в глаза надписи: «Да здравствует Третий, Коммунистический Интернационал!»

Сергей, заглядывая в окна, думал, что — вероятно — фотографии очень правильно передают черты Ленина, без отклонений, но художник мог бы тоньше уловить особенности лица, живость движений, и хорошо было бы порисовать когда-нибудь Ленина с натуры.

В редакции Сергею сказали:

— Вот какое хотим мы дать вам поручение. На Конгресс Коминтерна съезжаются иностранные делегаты. Отправляйтесь во Дворец труда, там они сегодня соберутся. Зарисуйте кого-нибудь из делегатов. Согласны?

— Хорошо.

— А завтра мы дадим вам пропуск на открытие Конгресса, можете рисовать любого делегата и, если увидите, Ленина...

— Ленина? — быстро перебил Сергей и улыбнулся своей мгновенной мысли, что вот судьба так странно исполняет его желание.

— Да, если представится возможность, нарисуйте нам Ленина.

— Хорошо,— опять сказал Сергей.

Веселый, он поехал на трамвае во Дворец труда и, как только через открытые окна вагона замечал где-нибудь портрет Ленина,— снова удивлялся необыкновенному совпадению и уже ясно представлял себе, каким легким, непринужденным, живым будет его рисунок с Ленина.

Он решил, какой альбом возьмет с собой, какие нужны карандаши и как он потом, по рисунку, напишет большой портрет.

2

Во дворце, куда явился художник, было шумно. На лестницах, в коридорах попадались иностранцы, окруженные русскими, которые рассказывали им о жизни Советской Республики.

Шла война с Польшей, поляки были разбиты, и Красная Армия преследовала бежавшие польские войска. Белогвардейцам барона Врангеля в Крыму тоже приходил конец. Но до мира было далеко, вражеская блокада изнуряла молодую советскую землю, и трудно было проникнуть из-за границы в Петроград. Иностранные гости ехали на Конгресс морем, вокруг Скандинавии, им приходилось переживать по дороге рискованные приключения. Но желание увидеть Страну Советов заставляло одолевать самые трудные препятствия, и люди съехались со всех концов света.

Сергея познакомили с одним немцем. Это был маленький горбун с важным лицом и с медленной походкой. Родом он происходил из Брауншвейга, по профессии был портным. Во время германской революции он три дня возглавлял «независимую» республику в Брауншвейге, которую предательски разгромили немецкие социал-демократы.

Хотя он сразу согласился позировать художнику, но занялся подробными расспросами о Советской власти и все не мог понять, зачем ей понадобилось упразднить частную торговлю и ввести распределение товаров.

Они стояли на балконе, глядя на суровую площадь перед дворцом, еще хранившую следы героической обороны Петрограда от генерала Юденича: на мостовой виднелись

второпях засыпанные окопы, на бульваре торчали остатки бруствера — бревна, мешки с песком. Сергей сказал:

— Целое сонмище врагов ополчилось на нас. Мы думаем об одном — победить их.

— Понимаю, понимаю,— с превосходством говорил брауншвейгец и плавно двигал головой, лежавшей глубоко в плечах.— Но какой смысл в том, что у вас закрыты мелочные лавки?

— Лавочники заодно с нашими врагами.

— Понимаю, понимаю. Но если у меня оторвется пуговица, где я ее куплю?

Таким рассуждениям, казалось, не будет конца, и Сергей, вдруг заскучав, почувствовал, что совершенно ничего не получится, если он начнет рисовать брауншвейгца.

— Знаете, я попробую сделать ваш портрет завтра, на Конгрессе,— сказал он.

Немец снисходительно разрешил, и художник быстро простился.

3

На другое утро, с билетом в кармане, Сергей торопился на открытие Конгресса, но, когда он пришел, зал Дворца Урицкого был уже полон, на хорах колыхалась живая полоса голов, все гудело от разговоров, везде вспыхивали белыми крыльями расправляемые газеты. Стояла духота, чаще и чаще в амфитеатре снимались пиджаки, люди обмахивались газетами, платками, рябило в глазах от трепета неисчислимых пятен, все было напряжено ожиданием.

Сергей нашел место в ложе для журналистов, против трибуны. Отсюда хорошо были видны скамьи президиума. Он раскрыл альбом и стал готовиться к рисованью.

Внезапно хоры зашумели и, все поглощая грохотом, вниз начал сползать глетчер рукоплесканий. Сергей поднялся вслед за всем залом и стал глядеть в места президиума. Но там никто не появлялся. Он посмотрел в зал, и вдруг у него выпал из рук альбом: он начал аплодировать.

Прямо на него, через весь зал, впереди разноплеменной толпы делегатов, шел Ленин. Он спешил, наклонив голову, словно рассекая ею встречный поток воздуха и как будто стараясь скорее скрыться из виду, чтобы приостановить аплодированье. Он поднялся на места президиума, и, пока длилась овация, его не было видно.

В момент, когда он появился, раскрылись все двери зала, и на хоры и в амфитеатр внесли огромные корзины красных гвоздик. Цветы разлетались по рукам, вовлекая длинные ряды скамей в красочную перекличку с алыми полотнищами знамен и декораций. Оглядывая зал, Сергей увидел неподалеку двух пожилых художников, которые еще недавно были его учителями. Они уже уселись на места, а он все еще стоял. Спохватившись, он поднял альбом и взялся за карандаши.

Но неожиданно, когда стихло, он опять увидел Ленина, очень быстро поднимавшегося вверх между скамей амфитеатра. Его не сразу заметили, но едва заметили, снова начали аплодировать и заполнять проход, по которому он почти взбегал. Он поравнялся с одним человеком и, весело улыбаясь, протянул ему руки. Тот встал навстречу Ленину, здороваясь неторопливо, с какой-то степенной манерой крестьянина и с ласковой, сдержанной улыбкой. Они разговаривали, все больше наклоняясь друг к другу, потому что овация росла и люди обступили их кольцом.

— Это — Миха Цхакая,— услышал Сергей,— грузинский коммунист. Он жил с Лениным в Швейцарии.

Кольцо людей вокруг них сужалось, и Ленин, пожав руку товарища, почти прорвал неподатливую толпу, устремляясь вниз, явно недовольный громом и толчеей.

Сергей следил за каждым шагом Ленина. Ему казалось, что он успел заметить очень важные особенности движений этого невысокого легкого человека и уже видел их пойманными карандашом в своем альбоме.

Ленин, войдя в места президиума, на минуту исчез, потом вновь показался, и Сергей увидел, как он вынул из кармана бумаги и присел на ступеньку в проходе. Это случилось быстро, нечаянно, просто, и лучшей позы нельзя было ни ждать, ни вообразить. Сергей почувствовал, что его соседи — художники — уже рисуют. Он сжал в пальцах карандаш, но не мог оторвать взгляда от Ленина.

Так хорошо была видна его голова — большая, необычная, запоминавшаяся в один миг. Ленин положил бумаги на колени и, читая, низко нагнулся над ними. Взмах его лба, темя, затылок с завитушками светлых желтых волос, касавшихся воротника, резко преобладали во всем его облике. Сергей хотел сравнить Ленина с каким-нибудь образом, знакомым из истории или современности, но Ленин никого не повторял. Каждая черточка его принадлежала только ему.

Сергей наконец коснулся карандашом бумаги. Одним мягким нащупывающим скольжением он прочертил контур ленинской головы и поднял глаза. Ленина уже не было.

4

Сергей увидел его снова, когда он ступил на трибуну для доклада.

Восторженная, несмолкающая овация встретила Ленина. Ему пришлось вынести ее до конца. Он долго перебирал бумажки на кафедре. Потом, высоко подняв руку, тряс ею, чтобы угомонить разбушевавшийся зал. Укоризненно и строго поглядывал он по сторонам — один среди клокотавшего шума. Вдруг он вынул часы и показал их аудитории, сердито постукивая пальцем по циферблату,— ничего не помогало. Тогда он опять принялся нервно пересматривать, перебирать бумажки, пока овация, словно исчерпав себя, не обратилась во внимающую тишину.

Ленин начал говорить.

Сергей увидел его в движении, передававшем мысль. Вот именно это и мечтал художник изобразить в рисунке. Черты Ленина, несколько минут назад совершенно точно уловленные, как будто исчезали в Ленине-ораторе и заменялись новыми, в непрерывном живом чередовании. Одну за другой отмечал их в памяти Сергей, но они возникали и не повторялись, и он боялся упустить их, и все не решался начать рисовать, и уже не мог бы сказать, что делает — изучает ли жестикуляцию Ленина или слушает его речь.

Полная слитность жеста Ленина со словом поразила его. Содержание речи передавалось пластично, всем телом. Сергею казалось, будто жидкий металл влит в податливую форму: настолько точно внешнее движение сопутствовало слову, так бурно протекала передача огненного смысла речи.

Ленин разоблачал Англию, которая нежданно-негаданно прониклась миролюбием и, чтобы спасти панскую Польшу и белого генерала Врангеля, предложила свое посредничество между ними и Советской Республикой. Когда Ленин спросил у зала: почему создалось во всем свете «беспокойство», как выражается деликатное буржуазное правительство Англии, все его тело иронически изобразило это неудобное, щекотливое для Англии «беспокойство», и ее политика на глазах у всех превратилась в разящий саркастический образ.

Ленин часто глядел в свои записки и много называл цифр, но ни на одну минуту он не делался от этого унылым докладчиком, оставаясь все время покоряющим трибуном. Его высокий голос был неутомим, его язык — наглядно прост, его произношение — мягко, он иногда грассировал на звуке «р», и это наделяло его слово человечностью, жизненно приближая речь к слушателю.

С таким чувством, как будто он не пропускает ни звука этой речи, Сергей принялся рисовать. Он набрасывал на бумагу приподнятую голову Ленина, его вытянутые руки, прямую, сильную, разогнутую линию спины, круглую, выпяченную грудь. Он оставлял один рисунок, начинал другой: то у него не получалось лицо, то руки или торс. Он повторял удачное, бился над тем, что не удавалось, перевертывал в альбоме лист за листом и, наконец, в испуге заметил, что цель, которую себе поставил, ничуть не приближалась.

Он посмотрел на своих учителей. Один из них, нагнувшись, старательно стирал нарисованное резинкой. Лысина его была пунцовой. Сергей вспомнил — он всегда краснел, если у него что-нибудь не получалось. Другой художник ушел из ложи, пристроился в рядах против трибуны и, бросив рисовать, слушал Ленина.

Сергею вдруг сделалось страшно, что он навсегда упустит мгновение, что Ленин кончит речь, а в его альбоме так и не будет ни одного цельного наброска. Он вышел из ложи, насилу протолкавшись в дверях, где люди стояли плечом к плечу. Он стал внизу, в проходе, откуда Ленин показался ему больше и выше. Он решил, что это самое выгодное место. Но тут мешал свет юпитеров: объективы фотокамер и кино вместе с художниками ловили неуловимого, живого Ленина, и огни, вмиг ослепив, окунали зрение в темноту. Сергей перешел на другую сторону от трибуны. Отсюда Ленин виден был почти силуэтно, потому что свет позади него падал ярче. Нет, первая позиция была лучше всех, надо было скорее, скорее возвращаться в ложу.

Место Сергея было занято, ему пришлось стоять. Но стоя он внезапно увидел всего Ленина, во весь рост и в той полноте, которая не давалась глазу, разымавшему на части исполненную цельности натуру. Сергей сразу взялся за новый рисунок. И тогда стала сказываться вся подготовка, все неуверенное штудирование, этюды, сделанные как будто на ощупь, вслепую, и жесты, движения головы, черты лица, дополняя друг друга, соединяясь, начали медленно превращаться в связный рисунок, в близкий к правде образ —

в живого Ленина. Уже не отрываясь от альбома, быстро, без усилий рисовал Сергей.

Гулкий шум раскатился по залу. Сергей вскинул глаза. Взмахом руки собрав бумаги, Ленин легко сбегал с трибуны.

Сергей захлопнул альбом.

5

Когда кончилось заседание, в плотной, жаркой толпе делегатов Ленин вышел из дворца вместе с Горьким. Сверкающе синий день слепил и обжигал после тепло-желтого полусвета зала. Теснота приостановила движение у самого выхода. Фотографы, наступая на делегатов со всех сторон, трещали затворами, обрадованные неистовым освещеньем. Горький и Ленин, подвинутые толпой, остановились у колонны дворцового крыльца. Их снимали не переставая. Гладко выбритая, голубеющая голова Горького, блестевшая на солнце, была видна далеко. Кругом повторялось его имя. Ленин стоял ниже, впереди него, тоже с непокрытой головой.

Сергей был рядом, и ему надо было бы рисовать. Но толпа сдавила его. Да он и не думал шевельнуться, так близко он еще не видел Ленина за весь день. Он чувствовал, что улыбается и что улыбка его, может быть, не к месту, но она не спадала с лица, точно одеревенев. Конечно, он не мог радоваться, что фотографы нащелкают несколько десятков плохих снимков, но он позавидовал прыткости их беспечной профессии.

Шествие тронулось. Среди знамен, над головами, несли трехметровый венок из дубовых веток и красных роз: направлялись к братской могиле на площади Жертв Революции.

Ленин шел во главе делегатов Конгресса. Рядом с ним все время сменялись люди — иностранцы, русские, старые и молодые. Он кончал говорить с одним, начинал с другим, третьим.

Он шел без пальто, расстегнув пиджак, закладывая руки то за спину, то в брючные карманы. Было похоже, что он — не на улице, среди тяжелых огромных строений, а в обжитой комнате, дома: ровно ничего не находил он чрезвычайного в массе, окружавшей его, и просто, свободно чувствовал себя во всеобщем неудержимом тяготении к нему людей.

Сергей, шедший поблизости, вдруг заметил знакомого человека, который, пробираясь между плотными рядами людей, вынырнул вперед и, улучив минуту, поравнялся с Лениным. Это был брауншвейгец. Обстоятельно представившись и пожав Ленину руку, он приступил, как видно, к хорошо заготовленной тираде.

Ленин наклонил голову набок, чтобы лучше слышать низенького собеседника. Тот говорил, важно поводя длинной рукой, ценя свои внушительные слова, боясь проронить что-нибудь напрасно. Сначала Ленин был серьезен. Потом заулыбался, прищурился, коротко подергивая головой. Потом отшатнулся, обрывисто махнув рукою с тем выражением, которым говорится: чушь, чушь! Брауншвейгец, жестикулируя, продолжал что-то доказывать. Ленин взял его за локоть и сказал две-три фразы — кратких и каких-то окончательных, бесповоротных. Но брауншвейгец яростно возражал. Тогда вдруг Ленин легко хлопнул его по плечу, засунул пальцы за жилет и стал смеяться, смеяться, раскачиваясь на ходу, прибавляя шага и уже больше не оглядываясь на человека, который его так рассмешил.

Не о пуговице ли заговорил неудачливый брауншвейгец? Возможно, конечно,— улыбнулся Сергей, когда немец отстал от Ленина и затерялся в толпе. Странные чувства подняла эта сцена в Сергее. Она была немой для него, но, полная движения, так остро выразила в Ленине непринужденность, доступность и беспощадное чувство смешного. Сергей видел Ленина веселого, от души хохочущего, наблюдая его манеру спорить — с быстрыми переменами выражения лица, с лукаво прищуренным глазом, с жестами, полными страсти и воли. Сцена с брауншвейгцем должна была дополнить рисунок Сергея такими важными штрихами, каких прежде он не мог знать.

«Два председателя,— думал он, улыбаясь и словно все еще видя перед собою две фигуры,— председатель трехдневного брауншвейгского правительства, канувшего в Лету, и председатель правительства, которое существует три года, будет существовать всегда».

Незнакомое телесное ощущение гордости потоком захватило Сергея, и почти в тот же момент у него стало биться сердце от досады и волнующего дерзкого желания: почему, почему так много людей подходит к Ленину, и он уделяет им время, а он, художник, который должен, который обязан и хочет навсегда запечатлеть Ленина для сотен, для тысяч людей, почему он должен выискивать секунды,

чтобы заглянуть в его лицо, рассмотреть его улыбку, поймать на лету его взгляд?

Сергей раскрыл альбом. В рисунке были черты сходства, несомненно. Пойманные бегло, мимолетно, они не обладали бесспорностью, но что сказал бы о них сам Ленин?

Сергея толкнули вперед. А может быть, это ему показалось,— он сам протиснулся в передний ряд и уже маршировал вровень с Лениным. Он чуть не задыхался. Какой-то шаг отделял его от цели, и, не зная, хватит ли силы, он сделал этот шаг.

Он подошел к Ленину.

— Я хочу,— сказал он, и едва придуманная фраза тотчас разломалась у него.— Владимир Ильич, как рисунок вы находите этот?

Ленин мельком глянул на Сергея, взял альбом за угол и, нагнувшись, сощурился на бумагу. Потом он отодвинул альбом, весело покосился на Сергея.

— Вам нравится? — спросил он со своим дружелюбным «р».

— Нет,— ответил Сергей,— но сходство, кажется, есть.

— Не могу судить, я — не художник,— скороговоркой отозвался Ленин.

В глазах его мелькнуло шутливое лукавство, он откинул голову назад, ободряюще кивнул Сергею и отвернулся в другую сторону, с ним кто-то заговорил.

Сергея оттеснили из первого, затем из второго ряда, он удивился — почему все время он легко сохранял удобное место в шествии и сразу потерял его? Огорчение? Неловкость? Сергей заново вызвал в себе состояние, которое только что испытал. Нет, ни в голосе, ни во взгляде Ленина не мелькнуло ничего, что могло бы Сергея встревожить. Но как пришло в голову показать Ленину неудавшийся рисунок? Это было малодушие. Сергей раскрыл и тотчас захлопнул альбом: рисунок никуда не годился.

Тогда кто-то взял его за локоть и потянул книзу. Он обернулся. Его жестко держал брауншвейгец.

— Вы, мой друг, намеревались меня рисовать,— сказал он громко.— Сегодня вам это не удалось, но я могу вас принять завтра.

Приподняв над головою длинную, сухую руку, он похлопал Сергея по плечу.

— Дьявольски жаркий день. Совсем не похоже на вашу матушку-Россию.

— Знаете что,— сказал Сергей,— я раздумал, я рисовать вас не буду.

2*

— О, очень любезно,— расслышал он позади себя, пробираясь сквозь толпу.

Он тотчас забыл о немце. И в тот же момент он ощутил новое, теплое пожатие руки. Его учитель, художник, рисовавший вместе с ним в ложе, со знакомой участливой вдумчивостью сказал тихо:

— Слышите? У меня не получается рисунок с Ленина. А у вас?

— У меня тоже,— ответил Сергей и, неожиданно прижимая к себе ласковую руку, с жаром договорил: — Но даю слово, даю вам честное слово,— у меня непременно получится!..

1939

Александр Малышкин

(1892—1938)

ПОЕЗД НА ЮГ

Знакомо ли вам это особенное чувство перед отпуском? Оно похоже на ветер, который то и дело щемяще опахивает вас с каких-то невидимых солнечных садов. Вы испытываете его впервые в начале весны, когда местком начинает хлопотать о койках в Крыму, а машинистки снимают теплые вязаные жакеты и привозят по утрам на своих легких блузках солнце и распахнутые окна трамваев. О нем напоминает счетовод вашего отдела, уже выехавший на дачу: даже над его столом, над благоговейным сосредоточенным столом и над толстой обузой мудреных бухгалтерских книг, просвечивает луна Клязьмы и поздно шумят березы... бродяжья ночь парка, диких уголков, свиданий. Вы носите в голове расписание поездов на юг, и стены — даже на Ильинке — становятся простекляненными насквозь — и светит и мчится за ними, о, как мчится свежая, степная ширь!

На юг меня тянуло и другое.

Было время, когда со степей звенела гибель, а за каждым взятым с бою полустанком чудилось то, чего никогда не бывало на земле. Вы помните, вероятно, по сводкам о трагическом случае с шестым Уральским полком у деревни Березневатка? Это мне удалось тогда вовремя обнаружить

предательство и, после суток боя, прорваться с истекающим кровью полком к родной дивизии, правда, потеряв половину людей и в том числе единственного брата.

Как странно было увидеть опять эти места, которые пахли невозвратимой молодостью и смертью. За три года совсем забылся этот запах.

Помню, перед самым отъездом, в августовский вечер, я зашел в какое-то кино на Арбате. Все было как полагается: по фойе кружила взад и вперед глазеющая публика, смычки терзались «Баядеркой», пианист, словно одержимый, скакал на своем стуле в такт с бесстыдным упоением. За гигантскими окнами, плотно завешенными доверху, крутился шум площади и подземно гудели трамваи, пронося за бульвар полнолюдные, насквозь освещенные окна. Я вспомнил про отъезд, про юг и не знаю почему — отсюда показалось невероятным, что когда-то в самом деле существовала Березневатка, и дело шестого полка, и рассвет над дымящимся Перекопом: заглянуть в них было страшно, как в кощунственно разрытую могилу. И поезда кощунственно мчались за счастьем над темными их полями...

Ведь и я, и я мог там лежать безыменно!

...Впрочем, все это могло быть только от переутомления. В утро отъезда перрон кипел такой веселой давкой, небо было так радостно сине, что сразу забылось почти обо всем. Я знал только, что был свободен, и вытряхнул из мозга все эти папки с делами, справки, доклады,— я дико плясал на ворохе этого осточертелого хламья.

Севастопольский уходил в два. Я сидел в купе и с бездельным любопытством ожидал своих соседей. Первыми пришли две девицы — видимо, из какого-то солидного секретариата; желтые чемоданчики, портпледы с вышитыми инициалами и, конечно, цветы на столике говорили о чистой, удобной, взлелеянной маменьками жизни. И они стояли тут же перед вагоном — две распираемых корсетами, две мордастых мамаши старого мира, с огромными лакированными ридикюлями. Они лепетали:

— Пишите, пишите! Женечка, вечером холодает, обязательно вынь кофту! Сонечка, в Ялте не забудь к Софье Андреевне!

И Женечка, голорукая, исцелованная глазами ухаживателей, с прельщающей родинкой под темным глазом, избалованно-надломанно кричит:

— Скажите Владимиру Александровичу!.. Он обещал похлопотать...— и еще что-то про местком, в который надо

сообщить, про Харьков, из которого непременно, непременно открыткой.

Вторая — сочная толстуха в шелковой юбке — о, из нее выйдет очень уютная городская и дачная мама, из тех, что с одышкой отчаяния и множеством кулечков всегда опаздывают, догоняя трамвай,— вторая только кивает пышно-белокурым ворохом головы и разнеженно улыбается, должно быть.

— Мама, не забудь кормить Туську,— впрочем, кричит и она.

И у обеих, словно пьяные, блестят глаза. О, вижу, какие комнаты за этими девицами — похожие на музей мебели, чехлов, полочек, безделушек, сохраняющих дыхание старой чиновной барственности, комнаты тысяча девятьсот десятого — четырнадцатого года, удачливо пронесенные через бурелом революции до наших отдыхающих безопасных дней. И после этих страшных лет — в первый раз, по-старому, в Крым, в Крым!

Пришел военный, с нашивками командира полка, парнюга лет тридцати, с бабьим облупленным ветрами деревенским лицом, которое заранее улыбалось на все с добродушной неловкостью. Через полчаса я уже знал, что его зовут Григорий Иваныч и что он готовился в академию, но срезался по общеобразовательным, а теперь готовится опять — и теперь уже выдержит, обязательно выдержит, назло вот этим элегантным чемоданчикам и всем мамашам на свете.

— Тоже на поправочку? — спросил меня Григорий Иваныч любезным тенорком, сложив на коленях огромные багровые руки.

— Да, на юг,— ответил я и подумал, глядя на него с восхищенной завистью: «Тебе-то еще какая поправочка нужна, черт возьми!»

И, словно отвечая, он улыбнулся мне страшной улыбкой, улыбкой контузии, вдруг скомкавшей его цветущие скулы, молниеносной улыбкой, которую надо смигивать в сторону, как слезу. Через улыбку прорвалась ночь какого-то боя, искаженный мрак, чудящееся везде ползучее убийство...

«Ага,— подумалось мне со злорадным успокоением,— и ты, ты знаешь это!»

Пришла, наконец, какая-то угрюмая супружеская пара, которую, судя по ее обиженному и измотанному виду, судьба бросала черт знает куда: то лавочниками в Воронеж, то в кассу Лебедянского кооператива, то в Москву на железную дорогу — и везде под разор, под сокращение... И били, ликуя, последние звонки, и зашарахались, махая

платками, мамаши, чуть не сбитые с ног бешеными тележками носильщиков,— и вот уже скачет и гудит кругом дремучий лес вагонов, и вот уже ввинчиваемся в золотую пыльную пустоту...

До свиданья, Москва!

Мы с Григорием Иванычем привстали, смотрим через головы девиц в крутящееся под нами прощальное марево крыш. И вдруг вижу искоса, что Григорий Иваныч поймал глазами родинку под Женечкиной ресницей, и растерялся, и ворует ее — по-мальчишечьи, наскоро, боязливо ворует...

«Не стоит, Григорий Иваныч,— хочется мне сказать ему.— Там избалованные, непонятные тебе комнаты и тонкие запахи и слова, расстраивающие воображение, а ты совестливо думаешь, как бы урезать от этой поездки червонца полтора и послать в родимые места — перекрыть к зиме кельенку для старухи. Недоуменно и скучно ей будет, Григорий Иваныч, от избяной твоей простоты...»

Мы мчимся над стоялой, зевающей тишиной дачных платформ и полустанков, мчимся в дичь, прохладу и темень бора и сеем везде бунт, грохот, пыль.

Барышни устали, садятся друг против друга за столиком и, поправляя растрепанные ветром прически, мельком, равнодушно оглядывают нас всех. Григорий Иваныч вдохновляется, лезет под лавку за чайником. Скоро Серпухов.

Григорий Иваныч стремительно нацеливается на барышнин эмалированный чайник.

— Разрешите и вам... в вашего чудачка!

Женечка от неожиданности глядит на него вопросительно.

— Пожалуйста...

На остановке шпоры и чайники стремглав звякают в коридор. Женечка перегибается из окна.

— Не опоздайте! — кричит она вдогонку.

Я боюсь посмотреть — не споткнулся ли там Григорий Иваныч от блаженства.

Мы выплываем в засерпуховские раздолья; там красное полымя луны и замглившаяся глубь, в которой тонут церковки, деревеньки, закатившаяся за туманы полевая сторона. За чаем Григорий Иваныч заговаривает с девицами смелее. Но я не верю преувеличенному вниманию Женечки, не верю ее доброй круглоглазой улыбке. Наверно, с тем же самым чувством она повязывает в Москве красный платочек на манифестацию или податливо-хохотливо кокетничает с коммунистом, председателем месткома... О, хитрая девица умеет себя вести с хозяевами. И мы узнаем, что они с Сонечкой

едут в Алупку, а потом по Южному берегу Крыма; что они там были еще подростками, в четырнадцатом году, тогда объявили войну, и была такая паника, такая паника.

— А помнишь все-таки, Сонька, Байдарские ворота?

— Ах, Байдарские ворота!..— Блондинка мучительно жмурится от восторга.

— А вы тоже до Севастополя? — спрашивает Женечка, и глаза играют в упор, как там, у рояля, под махровым тюльпаном абажура — скольким еще глазам они играли так навстречу?

— Нет, у меня через Симферополь. Эти самые... Байдарские ворота я уже видал! Мы с бригадой по всем этим местам...

Григорий Иваныч старается придумать что-нибудь особенное.

— Вот у меня все записано, что в каких местах будет. Очень ин-те-ресно! Вот за Харьковом пойдут цыплята, можете кушать сколько угодно, ха-ха-ха! — Хохоток у Григория Иваныча любезный, сиплый, бабий.— А вот за Мелитополем пойдут жареные бычки, вот бычки, ха-ха-ха!

Ему не сидится, он пенится от радости, пристает к угрюмым соседям, потчуя их чаем.

Те сначала отказываются, но потом вынимают из кошелок огромные походные кружки и по очереди стеснительно подставляют Григорию Иванычу. Григорий Иваныч принимается лить, льет долго и терпеливо, пока у него от напряжения не начинает болеть рука. Но у кружки, кажется, нет дна. Григорию Иванычу становится стыдно, но остановиться еще стыднее, и стыдно женщине, которая тянет конфузливо руку с кружкой; черные зубы ее улыбаются жалостно. После этого угощения Григорий Иваныч сидит молча, как оплеванный: лучше бы ему провалиться сквозь землю.

В сумерках влетаем в Тулу, в гуляющий, мигающий огоньками губернский вечер, барышни выходят пройтись под фонарной прохладой и гуляют там медленно, нам совсем чужие. Григорий Иваныч после этих кружек не смеет подойти и кружится поодаль, в унылом вожделеющем одиночестве. А я счастлив: мои стены распались наконец в эту свежую темень, мне чудится за каждым вокзалом безбрежный город с тысячами жизней, и каждая из них могла бы пройти через мою. И Березневатка — пока еще где-то за кривой и темной глубью земли живет сквозь эту дымную грусть.

Женечка надевает теплую вязаную кофту и уходит в коридор, к раскрытому окну. Там холодеет ночь, и чудные

дебри проносятся мимо и бесконечно, и поется несвязное само собой. Вот где бы заглянуть в ее настоящее, полное девьей смуты лицо! Но нет Григория Иваныча, рыщет где-то тоскливо по чужим купе. А под окно на остановке подходит бритый молодой человек из мягкого вагона; он хорошо одет, должно быть, и поднимает на Женечку бездонные в сумерках глаза и напевает очень чудесно,— вы знаете это пение под окном,— шумят деревья, и кто-то несет мимо вас в ночь свое удивляющееся веселье. Бедняга, Григорий Иваныч, какой час ты пропустил! Но вот он, Григорий Иваныч, торжествующе ломится по коридору, запыхавшись — наверно, и сесть успел только на ходу, и под мышками у него два огромных арбуза.

— Оце добри кавуны! — кричит он нам, не выдерживает, сыплет опять сиплым своим хохотком и, не выпуская арбузов, рухает могучим телом своим на лавку.

— Гражданка, имени и отчества не знаю! Там глаза засорите! Вы посмотрите, каких я чудаков за двугривенный отхватил!

Женечка вяло подходит с туманными на свету, еще грезящими глазами, качает головой: нет, она не хочет, и так холодно... И морщится зябко: «Сонька, ты уже спать?» Но в Григории Иваныче просыпается темное буйство, он не сдается ни за что.

— Да вы гляньте на арбуз,— неистовствует он и вдруг бьет его с размаху прямо об колено.

И арбуз лопается пополам буйно и спело со смачным кряканьем, и из него прет рваная, алая, сахарнейшая мякоть, которую — ножом и Женечке.

— Гражданка!..— И всех нас, словно счастьем, оделяет Григорий Иваныч.

И Женечка не может не взять, изнемогая от глупейшего смеха, и берет чопорная толстуха, и берем мы с угрюмой парой и едим прохладу, пахнущую талым весенним снегом. Григорий Иваныч, намолчавшийся вдоволь, шумит и заливается за пятерых.

...Поезд останавливается у сплошных ночных садов.

Я тоже вышел на платформу, в зарево матово-голубых фонарей, и нашел название станции. Здесь когда-то шел Деникин и Мамонтов и грохали наши эшелоны. Я стал спиной к свету, дремно полузакрыв глаза, и захотел представить все, как было: выбитые стекла, рваный свет керосина в зальце, где на полу, в лежку, лохматится вшивое солдатье, подобрав под себя винтовки, отчаявшееся солдатье, ведомое на Москву; и ревущие под смерть паровозы. Но это не

давалось — холод обнимал, как река, в смутных садах листва гудела мужественно, густо и молодо. Упасть в траву и спать под степной ветер...

Издали я узнал Григория Иваныча. Он ликующе подплясывал, направляясь к вагону и прижимая к животу чудовищный арбуз. У ступенек мы почти столкнулись, но он осторожно миновал меня и в стороне, наклонив голову, смигивал, смигивал под вагон...

В темном спящем купе он тронул меня за плечо.

— Эх, опоздал, а кавун-то хорош, хотите? — И шепотом спросил смущенно: — Как мне ночью с сапогами быть, у меня ноги пахнут?

— Вот ерунда,— сказал я.

Но он так и лег мучеником, свесив с полки обутые грузные ноги.

Я остался один — поезд, завывая, гнался по мамонтовским следам. И тучей ползло — на дороги, на города, на сны — темное, щемящее поле.

Пожелклые пажити на безоглядные сотни верст, где отшумел только что урожай, как вода,— и бандитские полустанки по пояс в кустах и тополях, на платформах босые бабы со снедью, с горшками, арбузами, с деревенским и садовым изобилием, и щеки у баб как сливы, и над полустанком солнце, и бандитские дороги, где петлил недавно, надувая красные истреботряды, Махно, Щусь, Хмара... По дорогам, по серо-голубой пылевой мякоти, сонно влекут волы воз с отавой, и демобилизованный малый, в вылинявшей гимнастерке, лежит на возу брюхом вниз, встречая поезд посоловелыми сытыми глазами,— и в канавах, за околицей, куда сбегают из древних лет колья со ржаной колючей проволокой, густо пошел лопух, гусятник, крапива — паутинная темь в канавах от травы, и квохчут куры.

Заросло, затучнело, сытью завалилось и глухотой.

Опять ели арбуз в нашем купе и ели дешевых цыплят под Харьковом — хотя уже ни есть, ни глядеть на них не хотелось, и пили — уже забыто, сколько раз,— чай из Григория Иванычева чудака; у блондинки по всем признакам случился даже запор. А Григорий Иваныч не отставал от обеих, как назло, звякал за ними шпорами охраняюще и, ничего не подозревая, вызвался провожать их к почтовому ящику в Харькове. Почтовый же ящик был придуман блондинкой, чтобы вволю отсидеться в вокзальной уборной, и блондинка, чуть не плача, мучительно семенила на цыпочках по перрону, держа под руку Женечку... А Женечка толь-

ко хохотала над обоими, хохотала и играла глазами на окна мягкого вагона.

И я злорадствовал: ага, не послушал меня, Григорий Иваныч! Да и не было его — за сиплым хохотком, за шпорами разве настоящий был Григорий Иваныч?..

И вот именно из этой сыти и глухоты влезло в наше купе новое семейство, взамен угрюмых пассажиров, унырнувших незаметно в Харькове. Сердитая дородная женщина несла грудного ребенка; муж, огненноглазый паренек, похожий на цыгана, вел за ней девочку лет четырех. Поперли корзинки, мешки, одеяло — сразу завалило рухлядью и детским плачем всю блондинкину койку; женщина, не стесняясь, вынула большую грудь и тотчас же начала кормить; паренек на каждой остановке хлопотливо бегал за едой и за кипятком. Мне показалось, что я где-то видел этого смирного человека, ухаживающего за всеми безропотно, с тихой виноватостью.

Барышни косились, передергивали плечиками и прятали на губах какие-то ядовитости. Барышни были недовольны.

В самом деле — на пол полетели арбузные корки и мякоть и еще что-то непрожеванное, под ногами намялась тюкающая склизкая грязь, по которой всласть прыгалось старшей девочке с большим куском арбуза в руках. И эта же девочка схитрилась опрокинуть под толстую блондинку чайник с кипятком.

Блондинка совсем расхныкалась:

— Это же хамство, я не понимаю... навозить, нахаосить, платье испортить человеку. Я буду жаловаться.

Женщина равнодушно качала ребенка, даже не оглянувшись.

— Гражданка,— сказал я, сочтя нужным вступиться,— вас оштрафуют за беспорядок. Смотрите, что вы натворили в купе!

Ее раздраженное молчание прорвалось.

— Ну и оштрафуют! — крикнула она.— У меня дети, вы видите, у меня дети! Ездили бы в мягких, если вам здесь без удобств. Насядутся разные...

Паренек стоял, облокотившись на полку, и только посмеивался. Было непонятно — дерзость это или простота. Я посмотрел ему в лицо пристально и внушительно. Он продолжал добро улыбаться в ответ, улыбаться своей невспоминающейся, будто в давней тревоге виденной улыбкой. Я строго возразил женщине:

— Гражданка, мы не какие-нибудь, а советские служащие. Имейте в виду.

— И вы заняли одни всю сидячую полку! — крикнула опять сквозь слезы и шурхая подмоченными юбками блондинка.

Мне совсем не улыбалась начинающаяся перепалка. Я ушел — и не знаю, сколько часов простоял на площадке, у раскрытого гудящего окна.

Поля протекали бескрайной глухотой. Лиловые линии перевалов поднимались за ними в горизонт, в теплящийся белым заревом край. Чудилась армия из какой-то сказки, идущая по этому горбу в зарю; лица солдат были розовыми от еще невидимого солнца. То было первое песенное веянье Березневатки, земли, принявшей триста товарищей, которых я всех знал по именам. Поезд ночью должен был промчаться над ними своими потушенными спальнями.

...Ночью — незадолго — случилась тревога.

На перегоне Серебряное — Березневатка появилась банда и накануне ограбила скорый. Поэтому на узловой станции в наш поезд садилась вооруженная охрана. Через вагон пронеслось дуновение позабытой грозы, чем-то из девятнадцатого года. Пассажиры кучками собирались в тусклых купе, молодежь смеялась, бородатый гражданин в очках, на верхней полке волновался: «А черт их знает, может быть, они уже притаились где-нибудь и заранее себе высматривают!..» — «У тебе, должно быть, денег много, что ты слабишь!» — насмехался над ним какой-то веселый косоногий парень в пузырястых галифе.

В купе зажгли скудный огарок, и женщина, опять не глядя ни на кого, укачивала ребенка. Какие тусклые, коротенькие остались ей в жизни вечера! Паренек с той же молчаливой услужливостью кормил всех на ночь, устраивал постели, бегал за водой. Мне стало душно от них.

Шла прихмуренная, в самом деле бандитская ночь. В вагоне торопливо ложились — чтобы забыть тревогу, чтобы поскорее проснуться в солнце. Одинокая блондинка громоздилась рассерженно на вторую полку, заслонив поместительными, материнскими бедрами все купе. Мне не с кем было встретить эту ночь.

Мне нужно было найти Григория Иваныча. Поезд мчался под уклон, меня шатало по коридору. Дверь площадки бурно отлетела от руки — скрежет, свист и холод. Он был там, но не один — оба стояли, наклонившись за окно в счастливой оплетенной тесноте...

Я не понял сначала. Конечно, это было лишь потому, что Женечка в самом деле боялась бандитов: ей нужна была теперь чья-нибудь широкая успокаивающая

сила. Что другое могло ее толкнуть вдруг под мужицкое крыло?

— Станция будет дальше, я вам покажу...— говорил Григорий Иваныч, и это был голос другого Григория Иваныча, которого я ждал.— А я, вот видите, жив и еще еду на курорт. А, может быть, года через три опять буду проезжать здесь, и все будет уже незнакомое, а я буду уже знать два языка, вот...

— Расскажите еще...— услышал я, как негромко попросила Женечка или сказала что-то другое, покоренное, прижимающееся; они меня не видели, я тихо закрыл за собой дверь...

Не знаю, почему нахлынула тогда смутная грусть: оттого ли, что я ничего не угадал и жизнь легко растоптала мои вялые мысли, оттого ли, что мне самому хотелось также победителем пройти через жизнь.

И я вернулся в вагон, на свой краешек скамейки, и задремал; и все спали, и смирный паренек спал, сидя напротив меня, уронив голову на железную стойку.

Оставалось недолго до Березневатки. До Березневатки? Значит, она все-таки в самом деле была на земле?

...В полночь вооруженный контроль проходил проверять документы.

Мутно качающиеся углы мира наполовину тонули в снах. Паренек тоже тяжело очнулся, попросил у меня огня и рылся в карманах кропотливо.

— Вот пока партийный билет,— наконец сказал он,— я сейчас разыщу паспорт.

У фонаря двое, стукаясь лбами, осмотрели документ.

— Достаточно,— сказали они с суровой почтительностью.

Мы остались одни в спящей, однообразной, мчащейся тишине. Я почувствовал, что глаза сидящего напротив зовут меня.

— Товарищ,— сказал он вдруг вполголоса, наклоняясь,— я хотел извиниться за давешнее, за жену. Она немного того.— Он добродушно засмеялся.— Она, знаете, нервная, на подпольной работе измоталась.

Я удивился немного, но поспешил вежливо его успокоить, сказав, что все давно забыто. Ему, видимо, хотелось поговорить; он вспомнил о бандитах. Я сказал, что хорошо знаю эту местность — вот тут будет подъем перед Березневаткой, поезд пойдет в выемке, самое удобное место для нападения. Я был здесь с шестой армией, прорвавшей Перекоп.

Он обрадовался.

— Знаю, знаю, она потом вступила в Крым, я ведь тамошний уроженец.

Паренек назвал несколько человек из штаба армии, из особого отдела, несколько начдивов. Моей фамилии — нет, он не помнил.

— А про меня вы, может быть, слыхали? Яковлев, партизан. Мы соединялись с шестой армией под Симферополем.

Меня охватило огненным холодком. Это — Яковлев? Да, конечно, я помню — однажды в разведроте дивизии мы с жадным любопытством рассматривали карточку этого невзрачного, играющего с петлей человека, вождя зеленой армии, неуловимо хозяйничавшей во врангелевском тылу. Яковлев! Кто у нас не знал о Яковлеве, о легендарном переходе через зимний хребет Яйлы, по ледяным тропинкам, ведомым лишь зверям? Он мстил за брата, повешенного в Севастополе.

— Тяжелее всего было зимой, но мы все-таки ушли. Скрывались в пещере около Байдар. Вот теперешняя моя жена — через нее мы держали связь с Севастопольским комитетом.

Я слушал этого человека с диким волнением: это уже не вагонная ночь — это своими землями и призраками обступала Березневатка. Он рассказывал еще, что служил начальником милиции где-то в Купянском уезде, а теперь переводится на родину, ближе к Ялте; что они с женой нарочно едут через Севастополь и Байдары. Гул поезда начал звучать мощной и печальной музыкой. Сквозь сон приходил Григорий Иваныч, крадучись, нашел свою шинель и ушел — должно быть, одевал там, у бурного окна, снящиеся послушные плечи.

Сквозь сон набежала из ночи низкая казарма, вся в будоражных огнях,— и я узнал Березневатку.

Я выбежал в заплеванный, с дырявым полированным диваном зал; красноармейцы стояли у рычагов телефона, все с винтовками. В соседней комнате солдаты шаркали ногами и гудели зловеще, как перед погромом. Я прошел в телеграфную: тот же большеносый, похожий на грачонка, армянин тыкал пальцем в аппарат Юза, нарочно тыкал передо мной, чтобы показать, что вся душа улетела из этих костяных клавиш.

— Нет связи,— сказал он.

— И не будет,— сказал я,— мы отходим.

Я скакал за батальоном, уходящим по горбу горы от

смерти; лица братвы были хмуры и розовы от солнца, морозного, надсмертного солнца.

— Где комендантская команда? — спросил я. Над ней начальником был мой брат. Никто не знал. Внизу, за плетнями, отстреливались батальоны, оставленные нами в жертву, обреченные батальоны. Я проехал мимо красноармейцев, лежащих животами на земле, похожих на кучи тряпья, еще живых, еще упорных, еще не знающих ничего. Брат вскочил с земли, бежал к плетню, покрыл его руками, чтобы перелезть.

— Алексей! — крикнул я, удерживая его.— Не туда, Алексей!

Он не оглянулся и остался распятым, как был. Я соскочил и снял с него фуражку: его волосы на затылке слиплись в красном студне, дыра под ними зияла глубоко. Мы, грохоча, пролетали над могилами, которых я не видел никогда, все спали под лелеющее качанье; и спал я.

Рассвет за Перекопом, за Сивашом. Теплая седая трава без берегов, и птицы над миром — и птицам видны, должно быть, горы и синий рай за ними. У Джанкоя солнце вдруг обрушивается на наш поезд, стены станции начинают сразу пылать, как в полдень; на асфальтовом перроне пышная черная тень, словно его полили водой, и в прохладах продают розы. Да, мы у ворот синего рая! И несет опять в седую степную теплоту — там ветер, даже утренний ветер дует все время с каких-то раскаленных становий, он заставляет блаженно свесить руки из окна, лечь щекой на горячую раму, грезить, петь несвязное... Я с трепетом нащупываю в себе сегодняшнюю ночь, прислушиваюсь, но нет ее, нет пока ничего, кроме баюкающего мчанья.

Не верю: вывернется еще из какой-то темени, ляжет на мир непрощающей тенью...

Дети проснулись, звенят под нашими полками, у Яковлевых. Начинается щебечущая, любовная суета. Где-то бледно проходит — отзвуком прекрасного неповторимого гимна — образ косматой шпионки с наглыми глазами, накануне виселичного обряда, во врангелевской комендатуре... Подождите, пещера еще впереди.

— Это Чатырдаг,— ахают сзади девицы и бросаются к моему окну в бурном восторге, забываясь, жмутся ко мне своей неосторожной мягкогрудой теплотой. За ними Григорий Иваныча румяная, по-утреннему жмуристо улыбающаяся рожа.

— До Симферополя далеко? — спрашивает он меня потихоньку.

— Около часу.

Бедняге придется скоро попрощаться с нами.

На остановке товарищ Яковлев, командарм зеленой, ходит по лоткам с фруктами, покупает полный картуз огромных лиловых слив и большой пакет винограду. Гостинцы выкладываются на гостеприимно растянутый между коленями подол женщины, наседочий подол, с которого вся семья насыщается не спеша и молча. Толстая блондинка, после уборной, холодит всех одеколоном и вертит зеркальцем у носика. За ее головой, за свешивающимися на окна одеялами — восход какой-то известково-голубой горы, ослепительная земля Крым. Давно забыто и про бандитов, и про ночь, в вагоне солнечно, напарено до одышки, мужчины расслабленно трясут на себе расстегнутые вороты рубах: сорвать бы их совсем.

В Симферополе Григорий Иваныч таинственно исчезает. Его постель аккуратно увязана ремешками и вместе с сундучком стоит на краю полки. Мне видны из коридора голая шея и худенькая спина Женечки, в воздушном ситцевом платьице, заломленные над непокорной прической голые руки: она обиженно ссорится с блондинкой:

— Сонечка, я определенно, дорогая, помню, что я делаю, ради бога, без наставлений!

Григорий Иваныч возвращается перед последним звонком с очень сконфуженным видом.

— Взял плацкарту до Севастополя,— говорит он, улыбаясь покаянно.— В самом деле, надо посмотреть ваши Байдарские ворота, что это за чудо такое.

Блондинка ревниво и раздраженно язвит:

— Да ведь вы, кажется, их уже видели?

— То другие,— смущается Григорий Иваныч.— Название очень похожее, забыл. Другие.

Каменные теснины обступают поезд до самого неба. Горячий праздничный полдень лежит где-то на их далекой, травяной, плоско обсеченной высоте. Туннели гремят, как веселые мгновенные ночи, и каждый раз, в их мраке, из коридора вспыхивает щекотно знакомый девичий смех. И на вокзальном перроне, вероятно, уже бьют звонки: подходит плацкартный Москва — Севастополь. Вот он, солнечный, изжажданный мечтами конец пути! Мы гудим во всю свою железную грудь и с ликующим грохотом ввергаемся в последние перронные дебри.

Зайчики играют на полированных дверях, на асфальте, в пустынном занавешенном зале, за которым зияюще горит выход на завокзальный двор. Там все раскалено и думается об огромных, роскошно осыпающихся прибоях.

Мы ждем двенадцатиместного автомобиля Крымкурсо, рассевшись на своих вещах, как беженцы. Всюду с рекламных плакатов струится Крым, закинутые в синь белостенные сказки, закатная тень дворцов, за которыми море и знойные цветники,— и прямо из них подкатывают автомобили к нам, к вечернему поезду, ссаживая загорелых, торопливых людей с каменной пылью прибрежий на щеках. О, какая непримиримая, щемящая скука за них — им сейчас в Москву, обратно в Москву!

Товарищ Яковлев, пока жена переодевает ребят, разговаривает со мной как старый знакомый. О службе в Крыму мечтал давно, здесь все-таки родной воздух, ребятишки подрастут хорошо, по милиции особого беспокойства не будет,— какие здесь происшествия! А им с женой давно надо подзаняться самообразованием.

— Посмотрим сегодня вашу пещеру,— с притворным равнодушием говорю я.

Оттого, как он взглянет и ответит, мучительно зависит что-то мое. Паренек улыбается поверх моей головы в небо. И не говорит ничего.

В автомобиле нам с блондинкой достаются передние места. Мне бы хотелось видеть всех перед собою. Ну, хорошо, теперь я увижу их, когда мне понадобится, в самое лицо.

Блондинка сразу рассыпчато добреет и радуется даже на лысые загородные пригорки.

— Дивно, дивно,— лепечет она; мяса ее пышно сотрясаются в такт мотору.

Мы катим влажной Балаклавской долиной. Над ней облачно, селения вправо — по пояс в зеленой благодатной мгле межгорий. Это там — синий рай. По спирали забираемся выше и выше. Шофер переводит скорость, мотор заунывно скрежещет, словно сердце и ему захватывает высота. Горы подходят ближе и ближе курчаво-седыми, известковыми склонами. Выше уже нельзя — под нами воздух, и клочкастый кустарник, и сквозящие, в жутких низах, долины. Сейчас мы свергнемся туда.

— А-ах!..— дурачась, кричит сзади в испуге Григорий Иваныч.

Мы падаем в пустоту, кусты рвано свистят, в груди нет воздуха. Я оглядываюсь. Женечка жмется к Григорию

Иванычу, судорожно схватив его под руку, беспомощная, растерявшая все свои комнаты и всех мамаш. И глаза Григория Иваныча встречаются с моими — они невидящие, блаженные.

Мы отдыхаем в Байдарах. Пахнет близким вечером, прокропил небольшой дождь, после которого будет солнце и ветер в соснах, наверху. От прохлады зелеными капельками тронулся виноград на прилавках. Кажется, что мы едем бесконечно долго... Может быть, во сне.

Да, во сне. Вот ущелье, которым проходила когда-то зеленая армия; еще поворот — и чьи-то глаза угадают и вопьются в темное зияние под соснами, на срывающейся зеленой высоте. Вот уже заходят затылины гор, вкось сбегает по той стороне синее кустье, вот дымок пустоты за краем шоссе... И я жду — я чувствую чужую тоску сзади себя, внезапную, как нож; я чувствую, как торжествующий и страшный свет, упавший из давнего, вдруг по-иному осверкал и показал там жизнь. Но, может быть, то почудилось лишь мне одному? Я поворачиваю голову, чтобы заглянуть в помутнелые лица двоих, сидящих сзади. И ищу их, но вместо этого вижу Григория Иваныча, жутко встающего в мигающей своей улыбке, и вижу десяток других глаз, которые безумеют и вдруг голубеют.

Мы падаем в Байдарские ворота! Стены гор распахиваются настежь. Шофер дурит и осаживает машину над самой бездной, над лазурной, сосущей сердце пустотой. Ни перед нами, ни под нами нет ничего, кроме неба и дрожащей торжественной синевы, восходящей через мир.

Море.

В автомобиле взвизгивают, шепчут, беснуются, блондинка раньше всех кулем брякается о землю и семенит, обеспамятев, к пропасти.

— Красота... Боже, какая красота!..

Григорий Иваныч мечется с шальными глазами, выхватывает из кармана наган и врет, что видел сейчас под обрывом лисицу.

— Не смейте, не смейте! — кричит на него Женечка и бежит за ним куда-то вниз по шоссе.

Я должен сейчас увидеть товарищей Яковлевых. Слышу, как женщина спрашивает за моей спиной шофера, успеет ли она покормить ребенка. «Да, успеете»,— отвечает он. Но я не могу сразу оторвать глаз от бездонно возникшего, прекрасного мира. Море идет за неоглядные горизонты — так оно шло вчера, без нас, и так шло тысячу лет назад, неся ту же дикую, кипящую тишину. В зеленой

бездне, под ногами, чудятся города, монастырь Форос смертельно лепится на каменной игле. Сверкает безумный лет ласточки... И все-таки я должен увидеть тех.

...И вижу бережно склоненный затылок женщины и растрепанные нежные волосы, упавшие на шею. В горах похолодало, на плечах ее кое-как наброшено пальто, перешитое из шинели, пальто, в складках которого осталось дыхание буревых, бессмертных лет. Паренек стоит рядом и, засунув руки в карманы, смотрит внимательно ей на грудь. Его ресницы легли блаженным полукругом. Свет и тишина моря на них.

Я отвернулся и смотрел в безбрежное чудо, созданное жизнью из камней, вечности и воды. Толстуха в шелковой юбке волновалась у автомобиля и спрашивала всех, где Женечка. Но кому было дело до Женечки? Только мне было видно, как Григорий Иваныч бежал снизу, кустами, по краю смертельной синевы и, смеясь, нес эту девчонку на своих руках.

1925

Аксель Бакунц

(1899—1938)

СУМЕРКИ ПРОВИНЦИИ

1

Мы согрешили бы против истины, если бы пространство, именуемое Астафьян, назвали улицей; в нашем городе улица эта славится как место свиданий, как пристань для тех, кто фланирует по ней взад и вперед, ленивой походкой напоминая медленно покачивающиеся лодки. Она в то же время походит и на картинную галерею, с тою лишь разницей, что картины не висят на стенах, а разгуливают. Любознательный человек за один день может ознакомиться почти со всеми представителями духовной культуры страны Наири.

Эта улица пользуется плохой славой; если кто-нибудь хочет подчеркнуть свое недоверие к какому-нибудь событию, он говорит: «Это — сплетни с Астафьевской улицы». Наконец, можно привести еще одно доказательство того, что это пространство — иное, в корне отличное от других улиц города. Заметно, что людям, долгое время назначавшим там свидания, гулявшим, отдыхавшим, спорившим и вообще всем влюбленным в это пространство, свойственна какая-то особенная походка; своеобразная торжественность шествия, когда человек, выгибая шею, идет покачиваясь; перед глазами его туман, и в этом тумане — какой-то нереальный мир. Один из наших знакомых, врач по спе-

циальности, подготовил к печати научный трактат, в котором считает доказанным, что существует такая болезнь, по его терминологии — «болезнь эрименян», и вполне научно объясняет те недостатки, которые присущи любителям этой улицы.

Достаточно пройтись по нашему городу, чтобы убедиться, что ни одна из его улиц не имеет того особенного, единственного и неповторимого, чем обладает это пространство, именуемое по недоразумению улицей.

В городе еще существует Слепая улица, упирающаяся в дорогу, за которой тянутся сады. Есть улица Печатников, населенная преимущественно ремесленниками-медниками. Есть Банная улица, где живут два зубных врача и где от старых персидских бань уцелел глубокий куб, заполняющийся постепенно сором со дворов.

Есть улицы, жители которых страдают хроническим насморком; эти люди неразговорчивы и мрачны, как могильщики или часовщики. Есть удивительные улицы, где вытянулись стены с низкими дверцами, вдоль которых протекают журчащие ручейки. Здесь темнеет рано, мрак гуще, чем на соседних улицах, оживленных и пылающих огнями даже в ночные часы. Нам случалось видеть старые улицы, где на каждом шагу что-нибудь привлекало наше праздное любопытство. У одного из домов с плоской крышей весь фасад украшен разноцветными кирпичами, в симметрии которых чувствуется какой-то тайный смысл. Другой дом имеет сказочный балкон с голубыми перилами. Чудится, что вот-вот отворится низкая дверца, покажется девушка с миндалевидными глазами и исчезнет снова, как мечта. Вот землянка, которая имеет снаружи окна, и в серой стене ее не видно двери. Она напоминает заброшенную давильню в пожелтевшем саду, где уже нет плодов и откуда не слышно песен. Однако из нее доносится детский плач и слышится покачивание деревянной люльки. Если заглянете внутрь, то увидите мать, склонившуюся над колыбелью; полузабытая песня перенесет вас в детство. Вот другая улица, посреди нее бежит маленькая речка; балконы расположенных здесь домов нависают над самой водой. Между домами — мостики, во время весеннего половодья их поднимают выше. Как сладко спать в свежие ночи на этих балконах, слышать шум воды и чувствовать прохладу, которая по руслу спускается с гор. Особенно если балкон затенен персиковым деревом и сквозь ветви видны купающиеся в реке звезды и если на другом берегу реки, за глиняной стеной, спит девушка, как серна на лесной поляне.

Из этой улицы можно выйти в некий другой город,— город в городе, со множеством запутанных закоулков, как в муравейнике, с извилистыми и совсем узенькими улочками, по которым с трудом проезжает повозочка продавца мороженого,— лабиринт глиняных домов, где кишат толпы ремесленников и мелких домовладельцев. Вот один дом стонет под тяжестью антенны, вот к маленькой двери другого прибит кусочек жести с надписью «Починю примус», а хозяин ютится в щели полуразрушенной стены. На этих улицах живут самые благонравные граждане, исполняющие распоряжения милиционера с боязливой добросовестностью. Когда на центральных улицах города только начинают украшать стены, над домами этого квартала уже развевается море флагов. А когда молодежь приносит с главных улиц известие, что праздник уже окончился, никто и не думает снимать флагов до тех пор, пока не появляется дежурный милиционер и не приказывает убрать их.

Но есть и солидные улицы с большими домами и каменными тротуарами. По этим улицам бесшумно скользят шикарные авто. Деревья там ровные и подстриженные; они не качаются от всякого случайного ветерка до тех пор, пока не шелохнется крайнее, и шелест, как приказ, передается от листа к листу. Гранитные плиты этих улиц звенят от топота чудных коней и внушают гражданам благоговейное уважение.

Мы невольно прошлись по городу от улицы Печатников до берега реки, побывали в лабиринте азиатского квартала, видели сказочный балкон тихой улицы, даже добрались до тех закоулков, в которых дома похожи на клетки и где из-за решетки окна, когда улица безлюдна, можно услышать грустную песню девушки, а в дверную щель можно увидеть красивый восточный дворик, обсаженный розами, пунцовыми даже тогда, когда начинает падать снег. Мы побывали и на тех улицах, где нет тополей и где по гранитным канавкам без рокота, без шума протекает вода. Но ни одна из этих улиц не составляет гордости города и не является предметом наших описаний. Более того, все они — просто улицы, по которым ходят и ездят, ни одно из их названий не связано с новостями, сплетнями, всевозможными пересудами. Вот этого нельзя сказать о той улице, которую мы сейчас опишем. Затем мы расскажем об одном радостном событии и о связанной с этим событием трагической гибели безыменного человека.

Дома вырисовываются в утреннем тумане. Тускнеет свет фонарей. Не шелохнется ни один лист, ни одно дерево. Все спит глубоким предрассветным сном. Усталые лошади ложатся на теплый навоз и вытягивают шеи. Это признак близкого рассвета. Из дальних болот слышится кваканье лягушек, и от этого таинственное рождение утра делается еще замечательнее. Звезды начинают гаснуть, ибо давно сказано: «С появлением солнца да исчезнут звезды».

Вот с болот подымается теплый пар, он дрожит и тает в вышине. Минута — и начинает свежеть. Уже шумят верхушки тополей, а нижние ветки неподвижны во мраке. Затем освещаются верхушки, дрожат листья и дрожь медленно ползет вниз. Чудится, что с деревьев падает вуаль мрака, они одеваются в пурпурную рубашку. Улица все еще дремлет. От предрассветной свежести на дежурных милиционеров падает сладкая дремота, и их черные силуэты принимают различные позы. Вот один из них прислонился к телеграфному столбу, став неподвижным, как этот столб. Другой, подобно старому гренадеру, склонился над ружьем, третий устремил свой взор на воду в канаве, которая напевает ему о любви и радости; кто знает, какую Шушан он вспомнил ранним утром. Четвертый застыл посреди улицы, как огромный монумент. Словом, на рассвете улица напоминает аллею с памятниками стяжавшим победу полководцам.

По земле уже струится холодное течение, и земля становится влажной. В конце улицы виднеется бездомная собака; задрав голову, она несется прямо вниз; она ощутила аппетитный запах, доносящийся с Майдана.

Вот вспыхнул свет на деревьях. Их красоту воспел в старину знаменитый поэт, имя которого придало нам смелости описать их более подробно, чем позволяет чувство меры. И наконец, другой поэт, лучше которого еще никто не описывал тополей, луны, певучей сказки ручья, в нашем присутствии сказал смуглой девушке, напоминавшей эфиопку:

— Ваши волосы похожи на эти деревья.— Затем он потряс дерево, и тысячи оранжевых листьев посыпались на плечи резвой девушки.

Вот осветились эти деревья, поднялись дворники с метлами, с лопатами, с ведрами и начали подметать улицу. Едва они кончили уборку, как солнце залило золотом вершину Арарата. Вот загудели заводы: один — сильно и весело, дру-

гой — хрипло, третий — тягуче, как печальная сэгя[1]. Стало шумно. Люди высыпали из домов, пришли из других частей города, и толпы рабочих заполнили эту улицу.

Одни на дворе застегивают куртки, другие протирают глаза и идут молчаливо и серьезно. Есть пожилые люди, тысячи раз проходившие по этой улице; за долгие годы ноги их выработали размеренный шаг, который без опоздания приводит их к месту работы. Еще пять минут — и улицу наполняют кожевники, плотники, кузнецы, кочегары, всевозможные представители заводского труда. Есть плотники, которые тридцать лет с одним и тем же ящиком в руках, с тем же толстым карандашом за ухом проходят по этой улице. Можно встретить маляров; на их высоких сапогах видны следы всех красок — от извести до олифы. Вот «свинцовая» армия, вот и кожевники, которые с незапамятных времен были собратьями людей искусства.

Эта армия труда равнодушна к достопримечательностям улицы. Если кто-нибудь замечтается на ней, его назовут «авара»[2]; если мастер рассердится на ученика и начнет его упрекать, он обязательно помянет эту улицу: «Тебе бы мерить Астафьевскую улицу...» Торопящиеся на работу люди недолюбливают эту длинную улицу. Возвращаясь с работы, особенно пожилые, жалуются на ее длину: «Нет ей конца...», «Когда от нее избавимся...», «Ах, если бы через нее можно было перелететь». И все это по адресу терпеливо выслушивающей улицы, улицы, которая чище других, у которой прочные тротуары, гладкий, как серебряное блюдце, скат. Вдобавок ко всему этому по ней стучат тяжелые сапоги маляров, а она, можно сказать, глотает свою собственную пыль, чтобы облегчить им путь.

Но вот людской поток рассасывается, и только издали, со стороны кожевенного завода, слышен топот толстых сапог красильщиков. Они еще не пришли к заводу. На улице виднеется дымчатое облако пыли. Снова показываются редкие прохожие. Торопящиеся — это запоздавшие рабочие, авангард армии служащих, которые с портфелями, со счетами или с книгой бумаг под мышкой идут в свои учреждения подвести итоги неоконченному балансу, сделать выписки или же просто так посидеть несколько минут на стуле начальника и помечтать кто знает о каких перспективах.

---

[1] Сэгя — род мелодий в персидской музыке.
[2] Авара — бездельник, лодырь, бродяга.

Они — передовой отряд, а сама армия пока пьет чай, посматривая на часы. Еще несколько минут — и улицу наводняют делопроизводители, машинистки, счетоводы, статистики, бухгалтеры, секретари, заведующие подотделами, среди которых, как скворца в стае воробьев, можно заметить директора какого-нибудь учреждения. Эти люди не обладают ни дисциплиной первой армии, ни ее сосредоточенной серьезностью. Только старшие бухгалтеры внушают своей походкой доверие и уважение. А мелкие счетоводы, производящие только четыре арифметических действия, как будто идут в школу. Вот машинистки... Есть такие, которые на улице заканчивают свой туалет; одна под самым носом главного бухгалтера поправляет чулок, показывая ножку (и какую ножку — пронзающий сердце ятаган!). А некоторые, еще не дойдя до дверей учреждения, торопливо справляются обо всех ночных происшествиях; это дает им пищу для сплетен и пересудов. Как раз вот таких и называют «барышнями из Астафьян»; это они заполняют улицу благоухающими ароматами, оставляя за собой своего рода ленту запаха, в то время как их тоненькие пальчики уже играют по клавишам «ундервуда».

В эти утренние часы на улице можно услышать смех различного тембра, от самодовольного ржания старшего бухгалтера до заискивающего хихиканья мелкого счетовода. Но смех этот заглушается гулом разговоров, заполняющих улицу. Вот управделами Наркомснаба встречается с управделами Плодовощцентра; после взаимного приветствия они начинают пререкаться по поводу неправильного номера отношения, отсутствия сопроводительного бланка, опоздания «нашего ответа» и бог весть еще по какому поводу. В другом месте сцепились Василий Петрович и экспедитор управления «Ассенизация». Василий Петрович угрожает «Бюро жалоб» и еще более высокой инстанцией, если управление «Ассенизация» не внесет им наконец стоимость досок. А экспедитор повторяет: «Как только нам откроют кредит, сейчас же, сейчас же внесу, Василий Петрович, в тот же день...» Вот сотрудник Госархива рассказывает ночной сон, рассказывает и в то же время тащит за рукав товарища прочитать вновь появившееся извещение о смерти. Чтобы не подумали, что в этот час по Астафьевской улице проходят только легкомысленные машинистки или же мелкие счетоводы, мы можем указать и на других лиц: в этой толпе есть высокие государственные умы, головы, способные управлять не только одной кассой, а целой губернией. Мы могли бы рассказать о еще более деловых людях, но пока мы бы-

ли заняты разговорами, они уже прошли на место своей службы.

Спáла и эта человеческая волна, часы показывают десять. Астафьевская улица снова пустеет. Солнце поднялось уже довольно высоко, приближается к холодному облаку, заблудившемуся в высокой синеве. Деревья бросают тень на тротуары, по которым медленно шествуют члены коллегий; они уже рано утром еще дома дали ход большим делам. Быстро бегут курьеры к учреждениям, почте, банкам, разнося телеграммы, пакеты и всякие бумаги. Но вот наступает тот час, когда член коллегии уже выслушал доклады подчиненных, когда пенсионер уселся на скамейке «аллеи вздохов», когда школьники стали рассеянны и заерзали на партах, одним словом — тот час, когда сверкает чистое зеркало улицы и под тенью газетного киоска спит муша[1],— час, когда самые великолепные женщины города (их не больше восьмидесяти) вместе со своими детьми — а если не имеют таковых, то одни — вышли на солнце показать себя и свои туалеты.

В этот час Астафьевская превращается в горное озеро. И плывут по этому озеру изящные женщины так, что даже солнце смотрит с завистью на эту счастливую улицу. И что за аромат, какой запах мускуса!.. Вот идет та, которая знает, что во всем городе нет более красивых ножек, чем у нее; она идет, переставляя ноги так осторожно, словно боится ступить на землю. Вот другая — с черными длинными ресницами, из-под которых смотрят томные глаза, как звезды, отражающиеся в колодце. Есть и синие глаза, до того ясные, что в них отражается малейшее колебание одежды, как отражается дрожание леса в горном озере. Есть обнаженные руки, шеи и чего-чего только нет!.. Какое разнообразие форм, какое изящество!..

Здесь лучше сделать передышку.

3

Неинтересны остальные часы до трех, четырех. И даже позже часы неинтересны, так как усталая армия людей спешит пообедать, отдохнуть. Люди проходят быстро, не обращая внимания на уличное движение. Они больше не говорят громко о своих служебных и всяких других делах. Если какая-нибудь машинистка и задержится немного у вит-

[1] М у ш а — носильщик.

рины, вяло рассматривая дамские шляпы, ее поза далеко не вызывает восхищения. Некоторые сдержанно ворчат на жару. Но эта воркотня не относится к Астафьевской, так как виновником жары является солнце. Они не замечают, что как раз в этот час деревья начинают шевелить своими ветками, дабы освежить утомленные тела служащих.

Но вот тени удлинились, солнце склоняется на покой. Постепенно улица оживает. Выходят те, которые, насладившись послеобеденным сном, решили немного встряхнуться, и те, которые ждали захода солнца. Начинается то время, когда она перестает быть улицей и превращается в бульвар, в место свиданий, в замок мечтаний, словом — в отчий дом, в котором разгуливают кузены и кузины, дяди и тети, отцы и дети.

Вот со стороны реки Гетар быстро приближается мужественный юноша. Волосы его приглажены, обувь блестит, в руках букет цветов. Он не замечает ни людей, ни движения. Ему кажется, что Астафьевская улица — бесплодный сад, где выросли деревья, чтобы под их тенью можно было бы грезить и вздыхать,— безлюдный сад, где его ждет молоденькая девушка и невинная беседа. Это еще начало: когда вспыхивают огни, вся Астафьевская улица усеивается такими же молодыми парами, не замечающими многолюдных тротуаров, не чувствующими ничего, кроме своей распускающейся, как утро, любви. Они стоят на почтительном расстоянии друг от друга; иногда девушка протягивает свою тонкую руку, чтобы сорвать с дерева листочек, а юноша, прислонившись к стволу дерева, продолжает свое объяснение в любви. Спускается ночь, показываются другие пары. Они поднимаются вверх по улице, к университетским тополям и родникам. В ночные часы в этих местах можно видеть неподвижные, как статуи, пары, сжигаемые любовным огнем. Если бы тополя умели говорить, а камни имели бы язык, то можно было бы услышать поразительные рассказы, более интересные, чем сказки тысячи и одной ночи. А если бы каждая пара, для того чтобы увековечить свое посещение, складывала бы по одному камню, то мы имели бы пирамиду вышиной с Вавилонскую башню, и северо-восточный ветер не засыпал бы пылью наш город.

Поистине удивительная улица Астафьевская...

Тем не менее описание этих чудеснейших часов не может пленить наше перо и заставить нас предать забвению одного человека,— пусть он будет безыменным, так как ничего не прибавится, если мы откроем его имя и фамилию, опишем его внешность и расскажем, хотя бы и кратко, о его жизни.

Вот наступил час, когда на улице, не считая запоздалых, спешащих домой прохожих, остались только ее вечные завсегдатаи. Это как раз те влюбленные пары, которые не могут расстаться друг с другом. Затем остаются «книжники», вечные спорщики о бог весть каких неразрешимых вопросах. Наконец, остаются те, которые, гуляя по этому «пространству», радуются, что вверху светят родные звезды, что под их ногами старая земля, что воды текут из глубины страны, рассказывая им о былых днях.

В тот час ночи из глухих улиц города, из азиатского лабиринта, который, как мы уже сказали, составляет город в городе и где кишит множество мелких домовладельцев, выходит один тщедушный человек. Это и есть наш безыменный человек. Он останавливается под тремя тополями и слушает журчание воды. Затем он поднимает воротник легкого пальто и идет по тротуару. В конце улицы он исчезает. Он садится на небольшое возвышение и смотрит оттуда на огни города, на поле и дальние горы.

В темноте вырисовывается белая вершина Арарата. Склон, на котором нет снега, пропадает во мраке, и виднеется только снежная вершина, похожая на огромное облако. Он смотрит на эту белую вершину и город, огни которого, когда на них смотришь издали, образуют волнующееся море пламени. Однако наш безыменный человек увлекается не этими огнями, а только вершиной горы, затем взор его скользит по прямой, как стрела, улице Астафьян, и он закрывает глаза.

Что было его мечтой, во что превратил бы он эту улицу?

Он законопатил бы глиняными стенами все выходы улицы, оставив только одни ворота, в которые могла бы въехать арба... Он сровнял бы с землею все каменные дома и на их месте построил бы глиняные избы с плоскими крышами, на которых можно было бы располагаться в светлые ночи, когда луна бросает свои лучи в деревянные колыбели. Он перерезал бы все провода и заставил бы население зимой зажигать коптилки, а в остальное время года обходиться без них, поднимаясь с солнцем и ложась спать в сумерки.

Люди должны вставать с солнцем и работать в своих садах, виноградниках, сажать лук, чеснок, сеять золотистые зерна пшеницы и в своих давильнях давить ногами виноград. Он желал бы видеть скромных девушек в серебряных монистах, с гребнями, длинными-предлинными волосами, в конце которых вплетены бусы. Девушки в кувшинах носили бы из погребов вино, мать доставала бы из кладовой белый лаваш, масло и сыр, а сам отец семейства сидел бы на кровле; внизу шумела бы вода, сверху сияла бы глубокая небесная синева. И сверкала бы снежная вершина горы. И чтобы эта улица навеки осталась бы такою: отделенною от внешнего мира, подобно крепости, глубоким рвом, чтобы синий дым вздымался кверху, а сквозь этот дым он смотрел бы на Арарат и восхищался им. Пусть во всем мире царит железо, но здесь должны быть только глина, камень, дерево...

Чтобы снаружи не достигал ни один звук, никакой шум и чтобы ничто не возмущало покоя этих мест.

Чтобы девственной осталась провинция...

Это была его мечта.

Потом он вслушивался в звуки, которые с гор доносил ветер. Он ощущал принесенные ветром ароматы и чувствовал, что на горе уже расцвела фиалка, что утки поднялись по течению реки к горным лугам, что колосья наливаются молочным соком. По запаху теплой соломы он определял, что молотят пшеницу и что уже зарумянились яблоки.

Наш безыменный человек, сидя на своем возвышении, думал о каком-то нереальном мире. Перед его глазами открывалось огромное пространство холмов, гор и полей — целая страна. Крепкие белые быки тянут плуг, складками ложится жирный чернозем, хлебопашец поет простые песни; потом приходят девушки; они приносят еду; труженики садятся на черную землю; девушки собирают мяту; быки пасутся на зеленых лугах. Заходит солнце, усталые люди и быки возвращаются домой; из очагов подымается дым; слышится веселый лай собак.

В мире его фантазии существовали только сонные деревни, деревья, тихие песни, воды, орошающие поля и сады, собаки, лающие на луну, старухи, пекущие хлеб, и пряхи, которые зимою, сидя в комнатах, чешут шерсть и до самого утра рассказывают сказки.

Каждую ночь наш безыменный человек бывал в этом мире. Ему нравилось, как он идет поливать сад. Выпал снег, он видит на нем следы зверей. Пошел дождь, и от лошадиных спин идет горячий пар; лошади прижались друг к другу

и дремлют. Шумит лес; до самого рассвета в глубине леса горит костер пастухов.

Иногда те, которые после полуночи проходили по этой улице, слышали звуки печального пения и музыки. Некоторые думали, что это слепой музыкант играет на своей свирели; другие — что это поет одинокий возница, гонящий арбу по деревенской дороге. Находились даже такие, которым казалось, что эти глухие звуки нисходят со звезд. Однако нам достоверно известно, что пел их человек, обладавший поношенным, старомодным пальто и щуплым телом.

Какой тоской и болью звучала его унылая песня! Но он был доволен, что его слушают — дующий с гор ветер, вода, тополя да снежная вершина, являющаяся как бы страницей его нормального мира. Этот щуплый человек спускается на улицу и, очарованный ее спокойствием, рокотом воды и шелестом деревьев, медленно шагает, не замечая прохожих. Он доходит до трех тополей и затем скрывается в лабиринте узких улиц, как будто проваливаясь сквозь землю, точно какой-то дух.

Та армия, что рано утром отправлялась на работу, однажды повернула к этой улице. Случилось событие, которое останется неизгладимым в истории нашего города. Вооруженная лопатами и кирками, армия рабочих приступила к атаке. Разрыли улицу, и на солнце заблестела земля, которая никогда не видела солнца. Загрязненные тротуары, ямы и кучи щебня положили конец фланированию завсегдатаев этой улицы. Она словно превратилась в котел, кипящий рабочими людьми, и те, которых вдохновляла эта трудная работа, жили ее удачами и боролись за ее победу. Твердыми шагами, метр за метром стальные линии завоевывали улицы города. Холмики и траншеи показывали направление, и, чем дальше они продвигались вверх, к концу города, тем больше росла радость строителей.

Наконец наступил тот день, когда первый вагон трамвая покатился по этой улице... Это вызвало взрыв восторга. Как будто появился броневик, принесший населению города освобождение от многовекового рабства.

Улица стала неузнаваемой. Закатилось заржавленное солнце провинции. И кануло в вечность то единственное и неповторимое, что принято было называть Астафьевской улицей города Еревана.

Как-то ночью наш безыменный человек, последний поклонник прежней улицы, вышел из лабиринта узких уличек, где в каждом доме, в каждом подвальном этаже

говорили об этой громадной победе. Он остановился и посмотрел на свои три тополя. Они по-прежнему стояли на месте, и когда помчался залитый светом вагон, безыменный человек инстинктивно прижался к стволу дерева. Затем поспешно поднялся наверх, к своему любимому возвышению.

Оттуда он увидел рельсы; они тянулись по всей длине улицы. Они уходили далеко, сплетались с другими линиями. Затем он прислонился к камню, увидел поле, снежную вершину. Она ничуть не изменилась. Он начал мечтать о глиняных стенах, замуравливающих все входы и выходы, чтобы снаружи ни один звук не достигал его улицы. И перенесся в мир своих фантазий.

Вдруг он заметил внизу, на рельсах, дом, залитый огнем, который двигался с неимоверной быстротой, надвигался с шумом и звоном колоколов, надвигался, чтобы взобраться на гору, отнять у него и эту высоту. Ему показалось, что по рельсам ползет страшный гроб и что от него нет спасения; вот гудят колокола, и он видит открытую крышку гроба...

Его тень исчезла...

Потом случайно нашли пальто, которое повисло на камне, пару ботинок и старомодную шляпу. Все это имело такой вид, будто внутри находился человек: под шапкой — голова, в пальто — туловище, а в ботинках — ноги. Но под платьем была пустота. Как будто человек чудом вылетел из одежды и скрылся. Так из своей шкуры выскальзывает змея.

Но говорят, что какой-то щупленький человечек, в совсем другой одежде, по вечерам, когда стихает шум города, в конце улицы Абовяна, которая когда-то была Астафьевской, поджидает трамвайный вагон. Он входит в него, садится и смотрит в окно. Трамвай вывозит его за город. Этот человек проявляет признаки беспокойства, когда показывается белая вершина Арарата. Он просит ускорить ход, дрожит от радости и убежден, что поднимается на вершину той горы и увидит воочию мир своей мечты.

1932

Чингиз Айтматов

(р. 1928)

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мною картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще своего главного, того, что приходит вдруг так неотвратимо, с такой нарастающей ясностью и необъяснимым, неуловимым звучанием в душе, как эти ранние летние зори. Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю... И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина — еще только замысел.

Я не сторонник того, чтобы заранее говорить и оповещать даже близких друзей о незаконченной вещи. Не потому, что я слишком ревниво отношусь к своей работе,— просто, мне думается, трудно угадать, каким вырастет ребенок, который сегодня еще в люльке. Так же трудно судить и о незавершенном, невыписанном произведении. Но на этот раз я изменяю своему правилу — я хочу во всеуслышание заявить, а вернее, поделиться с людьми своими мыслями о еще не написанной картине.

Это не прихоть. Я не могу поступить иначе, потому что чувствую — мне одному это не по плечу. История,

всколыхнувшая мне душу, история, побудившая меня взяться за кисть, кажется мне настолько огромной, что я один не могу ее объять. Я боюсь не донести, я боюсь расплескать полную чашу. Я хочу, чтобы люди помогли мне советом, подсказали решение, чтобы они хотя бы мысленно стали со мной рядом у мольберта, чтобы они волновались вместе со мной.

Не пожалейте жара своих сердец, подойдите поближе, я обязан рассказать эту историю...

Наш аил Куркуреу расположен в предгорьях, на широком плато, куда сбегаются из многих ущелий шумливые горные речки. Пониже аила раскинулась Желтая долина, огромная казахская степь, окаймленная отрогами Черных гор да темной черточкой железной дороги, уходящей за горизонт на запад, через равнину.

А над аилом на бугре стоят два больших тополя. Я помню их с тех пор, как помню себя. С какой стороны ни подъедешь к нашему Куркуреу, прежде всего увидишь эти два тополя, они всегда на виду, точно маяки на горе. Даже и не знаю, чем объяснить,— то ли потому, что впечатления детских лет особенно дороги человеку, то ли это связано с моей профессией художника,— но каждый раз, когда я, сойдя с поезда, еду через степь к себе в аил, я первым долгом издали ищу глазами родные мои тополя.

Как бы высоки они ни были, вряд ли так уж сразу можно увидеть их на таком расстоянии, но для меня они всегда ощутимы, всегда видны.

Сколько раз мне приходилось возвращаться в Куркуреу из дальних краев, и всегда с щемящей тоской я думал: «Скоро ли увижу их, тополей-близнецов? Скорей бы приехать в аил, скорей на бугор к тополям. А потом стоять под деревьями и долго, до упоения слушать шум листвы».

В нашем аиле сколько угодно всяких деревьев, но эти тополя особенные — у них особый язык и, должно быть, своя особая, певучая душа. Когда ни придешь сюда, днем ли, ночью ли, они раскачиваются, перехлестываясь ветвями и листьями, шумят неумолчно на разные лады. То кажется, будто тихая волна прилива плещется о песок, то пробежит по ветвям, словно незримый огонек, страстный, горячий шепот, то вдруг, на мгновенье затихнув, тополя разом, всей взбудораженной листвой шумно вздохнут, будто тоскуя о ком-то. А когда набегает грозовая туча и буря, заламы-

вая ветви, обрывает листву, тополя, упруго раскачиваясь, гудят, как бушующее пламя.

Позже, много лет спустя, я понял тайну двух тополей. Они стоят на возвышенности, открытой всем ветрам, и отзываются на малейшее движение воздуха, каждый листик чутко улавливает легчайшее дуновение.

Но открытие этой простой истины вовсе не разочаровало меня, не лишило того детского восприятия, которое я сохраняю по сей день. И по сей день эти два тополя на бугре кажутся мне необыкновенными, живыми. Там, подле них, осталось мое детство, как осколок зеленого волшебного стеклышка...

В последний день учебы, перед началом летних каникул, мы, мальчишки, мчались сюда разорять птичьи гнезда. Всякий раз, когда мы с гиканьем и свистом взбегали на бугор, тополя-великаны, покачиваясь из стороны в сторону, вроде бы приветствовали нас своей прохладной тенью и ласковым шелестом листьев. А мы, босоногие сорванцы, подсаживая друг друга, карабкались вверх по сучьям и веткам, поднимая переполох в птичьем царстве. Стаи встревоженных птиц с криком носились над нами. Но нам все было нипочем, куда там! Мы взбирались все выше и выше — а ну, кто смелее и ловчее! — и вдруг с огромной высоты, с высоты птичьего полета, точно бы по волшебству, открывался перед нами дивный мир простора и света.

Нас поражало величие земли. Затаив дыхание, мы замирали каждый на своей ветке и забывали о гнездах и птицах. Колхозная конюшня, которую мы считали самым большим зданием на свете, отсюда казалась нам обыкновенным сарайчиком. А за аилом терялась в смутном мареве распростертая целинная степь. Мы всматривались в ее сизые дали, насколько хватало глаз, и видели еще много-много земель, о которых прежде не ведали. Реки серебрились на горизонте тоненькими ниточками. Мы думали, притаившись на ветках: это ли край света или дальше есть такое же небо, такие же тучи, степи и реки? Мы слушали, притаившись на ветках, неземные звуки ветров, а листья в ответ им дружно нашептывали о заманчивых, загадочных краях, что скрывались за сизыми далями.

Я слушал шум тополей, и сердце у меня колотилось от страха и радости, и под этот неумолчный шелест я силился представить себе те далекие дали. Лишь об одном, оказывается, я не думал в ту пору: кто посадил эти деревья? О чем мечтал, о чем говорил этот неизвестный, опуская в землю

корни деревцев, с какой надеждой растил он их здесь, на взгорье?

Этот бугор, где стояли тополя, у нас почему-то называли «школой Дюйшена». Помню, если случалось кому искать пропавшую лошадь и человек обращался к встречному: «Слушай, не видел ты моего гнедого?» — ему чаще всего отвечали: «Вон наверху, возле школы Дюйшена, паслись ночью кони, сходи, может, и своего там найдешь». Подражая взрослым, мы, мальчишки, не задумываясь, повторяли: «Айда, ребята, в школу Дюйшена, на тополя, воробьев разгонять!»

Рассказывали, что когда-то на этом бугре была школа. Мы и следа ее не застали. В детстве я не раз пытался найти хотя бы развалины, бродил, искал, но ничего не обнаружил. Потом мне стало казаться странным, что голый бугор называется «школой Дюйшена», и я как-то спросил у стариков, кто он такой, этот Дюйшен. Один из них небрежно махнул рукой: «Кто такой Дюйшен! Да тот самый, что сейчас тут живет, из рода Хромой овцы. Давно это было, Дюйшен в ту пору комсомольцем был. На бугре том стоял чей-то заброшенный сарай. А Дюйшен там школу открыл, детей учил. Да разве же то школа была — название одно! Ох и интересные же времена были! Тогда кто мог схватиться за гриву коня и вдеть ногу в стремя,— тот сам себе начальник. Так и Дюйшен. Что взбрело ему в голову, то и сделал. А теперь и камешка не найдешь от того сарайчика, одна польза, что название осталось...»

Я мало знал Дюйшена. Помнится, это был пожилой уже человек, высокий, угловатый, с нависшими орлиными бровями. Его двор был по ту сторону реки, на улице второй бригады. Когда я еще жил в аиле, Дюйшен работал колхозным мирабом[1] и вечно пропадал на полях. Изредка он проезжал по нашей улице, подвязав к седлу большой кетмень[2], и конь его был похож чем-то на хозяина — такой же костлявый, тонконогий. А потом Дюйшен постарел, и говорили, что он стал возить почту. Но это к слову. Дело в другом. В моем тогдашнем понятии комсомолец — это горячий на работу и на слово джигит, самый боевой из всех в аиле, который и на собрании выступит, и в газете о лодырях и расхитителях напишет.

И я никак не мог себе представить, что этот бородатый смирный человек был когда-то комсомольцем, да к тому же,

[1] Мираб — лицо, ведающее оросительной системой.
[2] Кетмень — сельскохозяйственное орудие типа мотыги.

что самое удивительное, учил детей, будучи сам малограмотным. Нет, не укладывалось такое у меня в голове! Откровенно говоря, я считал, что это одна из многочисленных сказок, которые бытуют в нашем аиле. Но все оказалось совсем не так.

Прошлой осенью я получил из аила телеграмму. Земляки приглашали меня на торжественное открытие новой школы, которую колхоз построил своими силами. Я сразу решил — ехать, не мог же я в такой радостный день для нашего аила усидеть дома! Я выехал даже на несколько дней раньше. Поброжу, думал, погляжу, сделаю новые зарисовки. Из приглашенных ждали, оказывается, и академика Сулайманову. Мне сказали, что она пробудет здесь день-два и отсюда поедет в Москву.

Я знал, что эта прославленная теперь женщина в детстве ушла из нашего аила в город. Став горожанином, я познакомился с ней. Она была уже в преклонном возрасте, полная, с густой проседью в гладко зачесанных волосах. Наша знаменитая землячка заведовала кафедрой в университете, читала лекции по философии, работала в академии, часто ездила за границу. Словом, человеком она была занятым, и мне не удавалось познакомиться с ней поближе, но каждый раз, где бы мы ни встречались, она всегда интересовалась жизнью нашего аила и непременно, пусть даже коротко, высказывала мнение о моих работах. Однажды я решился сказать ей:

— Алтынай Сулаймановна, хорошо бы вам съездить в аил, повидаться с земляками. Вас там все знают, гордятся вами, но знают-то больше понаслышке и, случается, поговаривают, что, мол, наша знаменитая ученая, видно, чурается нас, дорогу позабыла в свой Куркуреу.

— Надо бы, конечно, съездить,— невесело улыбнулась тогда Алтынай Сулаймановна.— Я и сама давно мечтаю побывать в Куркуреу, век уже не была там. Правда, родственников у меня в аиле нет. Но дело ведь не в этом. Непременно поеду, я должна поехать, истосковалась по родным краям.

Академик Сулайманова приехала в аил, когда торжественное собрание в школе вот-вот должно было уже начаться. Колхозники увидели в окно ее машину, и все повалили на улицу. Знакомым и незнакомым, старым и малым — всем хотелось пожать ей руку. Пожалуй, Алтынай Сулаймановна не ожидала такой встречи и, как мне показалось, даже растерялась. Приложив руки к груди, она кланялась людям и с трудом пробиралась в президиум на сцену.

Наверно, не раз на своем веку Алтынай Сулаймановна бывала на торжественных собраниях, и встречали ее, наверное, всегда и с радостью и с почестями, но здесь, в обыкновенной сельской школе, радушие земляков очень растрогало ее, взволновало, и она все пыталась скрыть непрошеные слезы.

После торжественной части пионеры повязали дорогой гостье красный галстук, преподнесли цветы и ее именем открыли почетную книгу новой школы. Потом был концерт школьной самодеятельности — очень интересный и веселый, после которого директор школы пригласил нас — гостей, учителей и активистов колхоза — к себе.

И здесь не могли нарадоваться приезду Алтынай Сулаймановны. Ее посадили на самое почетное место, украшенное коврами, и всячески старались подчеркнуть свое к ней уважение. Как всегда в таких случаях, было шумно, гости оживленно разговаривали, провозглашали тосты. Но вот в дом вошел местный паренек и подал хозяину пачку телеграмм. Телеграммы пошли по рукам: бывшие ученики поздравляли своих земляков с открытием школы.

— Слушай, а телеграммы эти старик Дюйшен привез, что ли? — спросил директор.

— Да,— ответил парень.— Всю дорогу, говорит, подстегивал коня, хотел поспеть к собранию, чтобы при народе прочитали. Опоздал малость наш аксакал, огорченный приехал.

— Так что ж он там стоит, пусть слезает с коня, зови его!

Парень вышел позвать Дюйшена. Алтынай Сулаймановна, сидевшая рядом со мной, почему-то встрепенулась и както странно, словно внезапно вспомнив о чем-то, спросила у меня, о каком это Дюйшене говорят.

— А это колхозный почтальон, Алтынай Сулаймановна. Вы знаете старика Дюйшена?

Она неопределенно кивнула, потом попыталась было встать, но в этот момент мимо окна кто-то с топотом проехал на коне, и парень, вернувшийся назад, сказал хозяину:

— Я его звал, агай[1], но он уехал, ему еще надо письма развозить.

— Ну и пусть развозит, незачем его задерживать. Потом со стариками посидит,— недовольно проговорил кто-то.

---

[1] Агай — почтительное обращение к старшему (букв.: старший брат).

— О-о! Вы не знаете нашего Дюйшена! Он человек закона. Пока дела не выполнит, никуда не завернет.

— Верно, странный он человек. После войны вышел из госпиталя — на Украине это было — и остался там жить, всего лет пять как вернулся. Умирать, говорит, вернулся на родину. Всю жизнь бобылем так и живет...

— А все-таки зайти бы ему сейчас... Ну да ладно.— И хозяин махнул рукой.

— Товарищи, когда-то мы учились, если кто помнит, в школе Дюйшена.— Один из почтеннейших людей аила поднял бокал.— А сам-то он наверняка не знал всех букв алфавита.— Говоривший зажмурил при этом глаза и покачал головой. Весь вид его выражал и удивление и насмешку.

— А ведь и правда, было так,— отозвалось несколько голосов.

Кругом засмеялись.

— Что уж там говорить! Чего только не затевал тогда Дюйшен! А мы-то ведь всерьез считали его учителем.

Когда смех утих, человек, поднявший бокал, продолжал:

— Ну, а теперь люди выросли на наших глазах. Академик Алтынай известна на всю страну. Почти все мы со средним образованием, а многие имеют высшее. Сегодня мы открыли у себя в аиле новую среднюю школу; одно это уже говорит, насколько изменилась жизнь. Так давайте, земляки, выпьем за то, чтобы и впредь сыновья и дочери Куркуреу были передовыми людьми своего времени.

Все опять зашумели, дружно поддержав тост, и только Алтынай Сулаймановна покраснела, чем-то очень смущенная, и лишь пригубила бокал. Но празднично настроенные люди, занятые разговорами, не замечали ее состояния.

Алтынай Сулаймановна несколько раз взглянула на часы. А потом, когда гости вышли на улицу, я увидел, что она стоит в стороне от всех у арыка и пристально смотрит на бугор — туда, где покачиваются на ветру порыжевшие осенние тополя. Солнце было на закате — у сиреневой черточки далекой сумеречной степи. Оно светило оттуда меркнущим светом, окрашивая верхушки тополей тусклым, печальным багрянцем.

Я подошел к Алтынай Сулаймановне.

— Сейчас они листву роняют, а посмотрели бы вы на эти тополя весной, в пору цвета,— сказал я ей.

— И я об этом же думаю,— вздохнула Алтынай Сулаймановна и, помолчав, добавила, словно бы про себя: — Да, у всего живого есть своя весна и своя осень.

По ее увядшему, со множеством мелких морщинок вокруг глаз лицу пробежала грустная, задумчивая тень. Она смотрела на тополя как-то очень по-женски горестно. И я вдруг увидел, что передо мной стоит не академик Сулайманова, а самая обыкновенная киргизская женщина, бесхитростная и в радостях и в печалях. Эта ученая женщина, видимо, вспомнила сейчас ту пору своей юности, до которой, как поется в наших песнях, не докричишься с самой высокой горной вершины. Она, кажется, хотела что-то сказать, глядя на тополя, но потом, наверно, передумала и порывисто надела очки, которые держала в руке.

— Московский поезд здесь проходит, кажется, в одиннадцать?

— Да, в одиннадцать ночи.

— Значит, мне надо собираться.

— Почему вдруг? Алтынай Сулаймановна, вы же обещали побыть здесь несколько дней. Народ вас не отпустит.

— Нет, у меня срочные дела. Я должна сейчас же ехать.

Как ни уговаривали ее земляки, как ни выражали они свою обиду, Алтынай Сулаймановна была неумолима.

Тем временем стало смеркаться. Огорченные земляки посадили ее в машину, взяв слово, что она приедет в другой раз на неделю, а то и больше. Я поехал проводить Алтынай Сулаймановну до станции.

Почему Алтынай Сулаймановна так неожиданно заторопилась? Обидеть земляков, тем более в такой день, мне казалось просто неразумным. По дороге я несколько раз собирался спросить ее об этом, но не посмел. Не потому, что боялся показаться бестактным,— просто я понял, что она все равно ничего не скажет. Всю дорогу она ехала молча, о чем-то крепко задумавшись.

На станции я все-таки спросил ее:

— Алтынай Сулаймановна, вы чем-то расстроены, может, мы обидели вас?

— Ну что вы! И не смейте так думать! На кого я могла обидеться? Разве что на себя. Да, на себя можно было, пожалуй, обидеться.

Так и уехала Алтынай Сулаймановна. Я вернулся в город и через несколько дней неожиданно получил от нее письмо. Сообщая о том, что она задержится в Москве дольше, чем предполагала, Алтынай Сулаймановна писала:

«Хотя у меня множество важных и срочных дел, я решила все отложить и написать вам это письмо... Если вам покажется интересным то, что я здесь пишу, я вас убеди-

тельно прошу подумать над тем, как это можно будет использовать, чтобы поведать людям обо всем, что я расскажу. Я считаю, что это нужно не только нашим землякам — это нужно всем, в особенности молодежи. К такому убеждению я пришла после долгих раздумий. Это моя исповедь перед людьми. Я должна исполнить свой долг. Чем больше людей узнает об этом, тем меньше будут мучить меня угрызения совести. Не бойтесь поставить меня в неловкое положение. Ничего не скрывайте...»

Несколько дней я ходил под впечатлением ее письма. И ничего лучшего не придумал, как рассказать обо всем от имени самой Алтынай Сулаймановны.

Это было в 1924 году. Да, именно в тот год...

Там, где сейчас находится наш колхоз, тогда был небольшой аил оседлых бедняков-джатакчей. Мне в ту пору было лет четырнадцать, и жила я у двоюродного брата своего покойного отца. Матери у меня тоже не было.

Еще осенью, вскоре после того как те, что побогаче, откочевали в горы на зимовья, к нам в аил пришел незнакомый парень в солдатской шинели. Я запомнила его шинель, потому что она была почему-то из черного сукна. Появление человека в казенной шинели явилось для нашего аила, отдаленного от дорог, приткнувшегося где-то под горами, настоящим событием.

Сперва утверждали, что в армии он ходил в командирах, а потому и в аиле будет начальником, потом оказалось, что вовсе он никакой не командир, а сын того самого Таштанбека, который ушел из аила на железную дорогу еще в голод, много лет назад, да так и пропал. А он, сын его Дюйшен, будто прислан в аил для того, чтобы открыть здесь школу и учить детей.

В те времена такие слова, как «школа», «учеба», были в новинку, и люди не очень-то в них разбирались. Кто-то верил слухам, кто-то считал все это бабьими сплетнями, и быть может, вообще забыли бы о школе, если бы вскоре не созвали народ на сходку. Мой дядя долго ворчал: «Это еще что за собрание такое, вечно отрывают от дела по всяким пустякам»,— но потом все-таки оседлал свою лошаденку и поехал на собрание верхом, как и положено всякому уважающему себя мужчине. Вслед за ним вместе с соседскими ребятами увязалась и я.

Когда мы, запыхавшись, прибежали на пригорок, где обычно проходили сходки, там уже перед кучкой пеших и конных людей выступал тот самый бледнолицый парень в черной шинели. Мы не могли расслышать его слов и придвинулись было ближе, но тут один старик в драной шубе, словно очнувшись, торопливо перебил его.

— Слушай, сынок,— начал он заикающейся скороговоркой,— раньше детей учили муллы, а твоего отца мы знали: такая же голытьба, как и мы. Так скажи на милость, когда это ты успел сделаться муллой?

— Я не мулла, аксакал, я комсомолец,— быстро отозвался Дюйшен.— А детей теперь будут учить не муллы, а учителя. Я обучался грамоте в армии и до этого малость учился. Вот какой я мулла.

— Ну, это дело...

— Молодец! — раздались одобрительные возгласы.

— Так вот, комсомол послал меня учить ваших детей. А для этого нам нужно какое-нибудь помещение. Я думаю устроить школу — с вашей помощью, конечно,— вон в той старой конюшне, что стоит на бугре. Что скажете на это, земляки?

Люди замялись, как бы прикидывая в уме: куда он гнет, этот пришлый? Молчание прервал Сатымкул-спорщик, прозванный так за свою несговорчивость. Он давно уже прислушивался к разговору, облокотясь на луку седла, и изредка поплевывал сквозь зубы.

— Ты постой, парень,— проговорил Сатымкул, прищуривая глаза, словно бы прицеливаясь.— Ты лучше скажи, зачем она нам, школа?

— Как — зачем? — растерялся Дюйшен.

— А верно ведь! — подхватил кто-то из толпы.

И все разом зашевелились, зашумели.

— Мы испокон веков живем дехканским трудом, нас кетмень кормит. И дети наши будут жить так же, на кой черт им учение. Грамота начальникам требуется, а мы простой народ. И не морочь нам голову!

Голоса приутихли.

— Так неужели вы против того, чтобы ваши дети учились? — спросил ошарашенный Дюйшен, пристально вглядываясь в лица окруживших его людей.

— А если против, то что, силком заставишь? Прошли те времена. Мы теперь народ свободный, как хотим, так и будем жить!

Кровь схлынула с лица Дюйшена. Обрывая дрожащими пальцами крючки шинели, он вытащил из кармана гим-

настерки лист бумаги, сложенный вчетверо, и, торопливо развернув его, поднял над головой.

— Значит, вы против этой бумаги, где сказано об учении детей, где поставлена печать Советской власти? А кто вам дал землю, воду, кто дал вам волю? Ну, кто против законов Советской власти, кто? Отвечай!

Он выкрикнул слово «отвечай» с такой звенящей, гневной силой, что оно, как пуля, прорезало теплынь осенней тиши и, словно выстрел, отозвалось коротким эхом в скалах. Никто не проронил ни слова. Люди молчали, понурив головы.

— Мы бедняки,— уже тихо проговорил Дюйшен.— Нас всю жизнь топтали и унижали. Мы жили в темноте. А теперь Советская власть хочет, чтобы мы увидели свет, чтобы мы научились читать и писать. А для этого надо учить детей...

Дюйшен выжидающе умолк. И тогда тот самый, в драной шубе, что спрашивал его, как он сделался муллой, пробормотал примирительным тоном:

— Ладно уж, учи, если тебе охота, нам-то что... Мы не против закона.

— Но я прошу вас помочь мне. Нам надо отремонтировать эту байскую конюшню на горе, надо перекинуть мост через речку, дрова нужны школе...

— Погоди, джигит, очень уж ты прыткий! — оборвал Дюйшена несговорчивый Сатымкул.

Сплюнув сквозь зубы, он опять прищурил глаз, словно бы прицеливаясь.

— Вот ты на весь аил кричишь: «Школу буду открывать!» А поглядеть на тебя — ни шубы на тебе, ни коня под тобой, ни землицы вспаханной в поле, хоть бы с ладонь, ни единой скотинки во дворе! Так как же ты думаешь жить, дорогой человек? Разве что чужие табуны угонять... Только у нас их нет. А у кого табуны есть — те в горах.

Дюйшен хотел ответить что-то резкое, но сдержал себя и негромко сказал:

— Проживу как-нибудь. Жалованье буду получать.

— А-а, давно бы так! — И Сатымкул, очень довольный собой, с победоносным видом выпрямился в седле.— Вот теперь все ясно. Ты, джигит, сам делай свои дела и на свое жалованье детей учи. В казне денег хватит. А нас оставь в покое, у нас, слава богу, своих забот полон рот...

С этими словами Сатымкул повернул коня и поехал домой. Вслед за ним потянулись и другие. А Дюйшен так

и остался стоять, держа в руке свою бумагу. Он, бедняга, не знал, куда ему теперь податься...

Мне стало жаль Дюйшена. Я смотрела на него не отрывая глаз, пока мой дядя, проезжая мимо, не окликнул меня:

— А ты, косматая, что тут делаешь, что рот разинула, а ну, беги домой! (И я кинулась догонять ребят.) Ишь ты, и они уже повадились на сходки!

На другой день, когда мы, девчонки, пошли по воду, нам встретился у реки Дюйшен. Он перебирался вброд на другой берег с лопатой, кетменем, топором и каким-то старым ведром в руках.

С этого дня каждое утро одинокая фигура Дюйшена в черной шинели поднималась по тропинке на бугор к заброшенной конюшне. И лишь поздно вечером Дюйшен спускался вниз, к аилу. Частенько мы его видели с большущей вязанкой курая или соломы на спине. Заметив его издали, люди привставали на стременах и, приложив руку к глазам, удивленно переговаривались:

— Слушай, да это, никак, учитель Дюйшен несет вязанку?

— Он самый.

— Эх, бедняга! Учительское дело тоже, видно, не из легких.

— А ты как думал? Гляди, сколько прет на себе, не хуже, чем байский батрак.

— А послушаешь его речи, так куда там!

— Ну, это потому, что бумага у него с печатью: в ней вся сила.

Как-то раз, возвращаясь с полными мешками кизяка, который обычно собирали в предгорье над аилом, мы завернули к школе: интересно было посмотреть, что там делает учитель. Старый глинобитный сарай прежде был байской конюшней. Зимой здесь держали кобыл, ожеребившихся в ненастье. После прихода Советской власти бай куда-то откочевал, а конюшня так и осталась стоять. Никто сюда не ходил, и все вокруг поросло репьем да колючками. Теперь сорняки, вырубленные с корнем, лежали в стороне, собранные в кучу, двор был расчищен. Обвалившиеся размытые дождями стены были подмазаны глиной, а скособоченная, рассохшаяся дверь, вечно болтавшаяся на одной петле, оказалась починенной и прилаженной на место.

Когда мы опустили свои мешки на землю, чтобы немного отдохнуть, из дверей вышел Дюйшен, весь заляпанный

глиной. Увидев нас, он удивился, а потом приветливо улыбнулся, стирая с лица пот.

— Откуда это вы, девочки?

Мы сидели на земле подле мешков и смущенно переглядывались. Дюйшен понял, что мы молчим от застенчивости, и ободряюще подмигнул нам.

— Мешки-то больше вас самих. Очень хорошо, девочки, что заглянули сюда, вам ведь здесь учиться. А школа ваша, можно сказать, почти готова. Только что сложил в углу что-то вроде печки и даже трубу вывел над крышей, видите какая! Теперь осталось топлива на зиму заготовить, да ничего — курая много вокруг. А на пол постелим побольше соломы и начнем учебу. Ну как, хотите учиться, будете ходить в школу?

Я была старше своих подруг и поэтому решилась ответить.

— Если тетка отпустит, буду ходить,— сказала я.

— Ну почему же не отпустит, отпустит, конечно. А как тебя звать?

— Алтынай,— ответила я, прикрывая ладонью колено, видневшееся сквозь дыру на подоле.

— Алтынай — хорошее имя.— Он улыбнулся как-то так хорошо, что на сердце потеплело.— Ты чья будешь?

Я промолчала: не любила, когда меня жалели.

— Сирота она, у дяди живет,— подсказали подруги.

— Так вот, Алтынай,— снова улыбнулся мне Дюйшен,— ты и других ребят веди в школу. Ладно? И вы, девочки, приходите.

— Ладно, дяденька.

— Меня учителем зовите. А хотите посмотреть школу? Заходите, не робейте.

— Нет, мы пойдем, нам надо домой,— застеснялись мы.

— Ну хорошо, бегите домой. Посмотрите потом, когда придете учиться. А я еще разок схожу за кураем, пока не стемнело.

Прихватив веревку и серп, Дюйшен пошел в поле. Мы тоже поднялись, взвалили на спины мешки и засеменили к аилу. Мне вдруг пришла в голову неожиданная мысль.

— Стойте, девочки! — крикнула я своим подругам.— Давайте высыпем кизяки в школе — все больше топлива на зиму будет.

— А домой придем с пустыми руками? Ишь ты, умная какая!

— Да мы вернемся и насобираем еще.

— Нет уж, поздно будет, дома заругают.

И, уже не ожидая меня, девочки заторопились домой.

До сих пор не могу понять, что заставило меня в тот день решиться на такое дело. То ли я обиделась на подруг за то, что не послушались меня, и потому решила настоять на своем, то ли оттого, что с малых лет моя воля, мои желания были захоронены под окриками и подзатыльниками грубых людей, но мне вдруг захотелось хоть чем-нибудь отблагодарить незнакомого, в сущности, человека за его улыбку, от которой потеплело на сердце, за его небольшое доверие ко мне, за его несколько добрых слов. И я хорошо знаю, я убеждена в этом, что настоящая судьба моя, вся моя жизнь со всеми ее радостями и муками началась именно в тот день, с того самого мешка кизяка. Я говорю так, потому что именно в тот день я в первый раз за всю свою жизнь, не задумываясь, не боясь наказания, решила и сделала то, что посчитала нужным. Когда подружки покинули меня, я бегом вернулась к школе Дюйшена, опорожнила мешок под дверью и тут же пустилась со всех ног по лощинам и балкам предгорья собирать кизяк.

Я бежала, не думая куда, словно бы от избытка сил, и сердце мое билось в груди так радостно, словно бы я совершила величайший подвиг. И солнце словно бы знало, отчего я так счастлива. Да, я верю, что оно знало, почему я так легко и вольно бегу. Потому что я сделала маленькое доброе дело.

Солнце уже склонилось к холмам, но оно, казалось мне, медлило, не скрывалось, оно хотело наглядеться на меня. Оно украшало мою дорогу: пожухлая осенняя земля стелилась под ногами в багряных, розовых и лиловых красках. Мерцающим пламенем проносились по сторонам метелки сухих чийняков. Солнце горело огнем на посеребренных пуговицах моего испещренного заплатами бешмета. А я все бежала вперед и мысленно ликовала, обращаясь к земле, к небу и ветру: «Смотрите на меня! Смотрите, какая я гордая! Я буду учиться, я пойду в школу и поведу за собой других!..»

Не знаю, долго ли я так бежала, но потом вдруг опомнилась: надо собирать кизяк. И вот странность какая: все лето здесь бродило столько скота и столько здесь кизяка было всегда на каждом шагу, а сейчас его точно земля проглотила. А может, я просто не искала? Я перебегала с места на место и чем дальше, тем реже находила кизяк. Тогда я подумала, что не успею засветло набрать полный мешок, и перепугалась, и заметалась по кустам

чия, заторопилась. Набрала кое-как полмешка. Тем временем угас закат, в лощинах стало быстро темнеть.

Никогда еще не оставалась я одна в поле в такую позднюю пору. Над безлюдными, безмолвными холмами нависло черное крыло ночи. Не помня себя от страха, я перекинула мешок за плечо и бросилась бежать к аилу. Мне было жутко, быть может, я даже закричала бы, заплакала, но меня удерживала от этого, как ни странно, безотчетная мысль о том, что сказал бы учитель Дюйшен, если бы увидел меня такой беспомощной. И я крепилась запрещая себе лишний раз оглянуться, точно бы учитель наблюдал за мной со стороны.

Я прибежала домой запыхавшись, в поту и пыли. Тяжело дыша, переступила порог. Тетка, сидевшая у огня, угрожающе поднялась мне навстречу. Она была злая и грубая женщина.

— Ты где это пропадала? — подступила она ко мне, и я слова не успела вымолвить, как она выхватила у меня мешок и швырнула его в сторону.— И это все, что ты собрала за весь день?

Подружки мои, оказывается, успели ей насплетничать.

— Ах ты черномазая тварь! Что тебя понесло в школу? Почему ты не подохла там в этой школе! — Тетка схватила меня за ухо и принялась колотить по голове.— Сирота поганая! Волчонок никогда не станет собакой. У людей дети в дом тащат, а она — из дома. Я тебе покажу школу, посмей только близко подойти, ноги переломаю. Ты у меня попомнишь школу...

Я молчала, я только старалась не кричать. Но потом, приглядывая за огнем в очаге, я плакала беззвучно, украдкой, тихо поглаживая нашу серую кошку, а кошка, между прочим, всегда знала, когда я плачу, и прыгала ко мне на колени. Я плакала не от теткиных побоев, нет,— к ним мне было не привыкать,— я плакала потому, что поняла: тетка ни за что не пустит меня в школу...

Дня через два после этого ранним утром в аиле беспокойно залаяли собаки, послышались громкие голоса. Оказывается, это Дюйшен ходил по дворам, собирая детей в школу. Тогда не было улиц, подслеповатые серые мазанки наши были беспорядочно разбросаны по аилу, каждый селился там, где ему заблагорассудится. Дюйшен и с ним ребятишки шумной гурьбой переходили от двора к двору.

Наш двор стоял с самого края. Мы с теткой как раз рушили просо в деревянной ступе, а дядя откапывал пшеницу, хранившуюся в яме возле сарая: он собирался везти зерно на базар. Мы, как молотобойцы, поочередно ударяли тяжелыми пестами, но я еще успевала украдкой глянуть, далеко ли учитель. Я боялась, что он не дойдет до нашего двора. И хотя я знала, что тетка не отпустит меня в школу, все-таки хотелось, чтобы Дюйшен пришел сюда, чтобы он хотя бы увидел, где я живу. И я молила про себя учителя, чтобы он не повернул обратно, не дойдя до нас.

— Здравствуйте, хозяйка, да поможет вам бог! А бог не поможет, так мы всем гуртом поможем, смотрите, сколько нас! — шуткой приветствовал тетку Дюйшен, ведя за собой будущих учеников.

Она что-то промычала в ответ, а дядя — тот даже головы из ямы не поднял.

Это не смутило Дюйшена. Он деловито опустился на колоду, что лежала посреди двора, достал карандаш и бумагу.

— Сегодня мы начинаем учебу в школе. Скольке лет вашей дочери?

Ничего не ответив, тетка со злостью всадила пест в ступу. Она явно не собиралась поддерживать разговор. Я внутренне вся сжалась: что же будет теперь? Дюйшен глянул на меня и улыбнулся. И, как в тот раз, у меня потеплело на сердце.

— Алтынай, сколько тебе лет? — спросил он.

Я не посмела ответить.

— А зачем тебе знать, что ты за проверщик такой! — раздраженно отозвалась тетка.— Ей не до учебы! Не такие безродные, а те, что с отцом да с матерью, и то не учатся. Ты вон набрал себе ораву и гони их в школу, а тут тебе делать нечего.

Дюйшен вскочил с места.

— Подумайте, что вы говорите! Разве она виновата в своем сиротстве? Или есть такой закон, чтобы сироты не учились?

— А мне дела нет до твоих законов! У меня свои законы, и ты мне не указывай!

— Законы у нас одни. И если эта девочка вам не нужна, то нам она нужна, Советской власти нужна. А пойдете против нас, так и укажем!

— Да откуда ты взялся, начальник такой! — вызывающе подбоченилась тетка.— Кто же, по-твоему, должен

распоряжаться ею? Я ее кормлю и пою или ты, сын бродяги и сам скиталец?!

Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы в этот момент не показался из ямы голый по пояс дядя. Он терпеть не мог, когда жена лезла не в свои дела, забывая, что в доме есть муж, хозяин. Он нещадно бил ее за это. И в этот раз, видно, закипела в нем злоба.

— Эй, баба! — гаркнул он, выбираясь из ямы.— С каких это пор ты стала головой в доме, с каких это пор ты стала распоряжаться? Поменьше болтай, побольше делай. А ты, сын Таштанбека, забирай девчонку, хочешь — учи, хочешь — изжарь ее. А ну, убирайся со двора!

— Ах так, она будет шляться по школам, а дома, по хозяйству кто? Все я? — заголосила было тетка.

Но муж цыкнул на нее:

— Сказано — все!

Нет худа без добра. Вот как суждено мне было пойти первый раз в школу.

С этого дня каждое утро Дюйшен собирал нас по дворам.

Когда мы в первый раз пришли в школу, учитель усадил нас на разостланную по полу солому и дал каждому по тетрадке, по карандашу и по дощечке.

— Дощечки положите на колени, чтобы удобнее было писать,— объяснил Дюйшен.

Потом он показал на портрет русского человека, приклеенный к стене.

— Это Ленин! — сказал он.

На всю жизнь запомнила я этот портрет. Впоследствии он мне почему-то больше не встречался, и про себя я называю его «дюйшеновским». На том портрете Ленин был в несколько мешковатом военном френче, осунувшийся, с отросшей бородой. Раненая рука его висела на повязке, из-под кепки, сдвинутой на затылок, спокойно смотрели внимательные глаза. Их мягкий, согревающий взгляд, казалось, говорил нам: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» Мне казалось в ту тихую минуту, что он и в самом деле думал о моем будущем.

Судя по всему, у Дюйшена давно хранился этот портрет, отпечатанный на простой, плакатной бумаге,— он потерся на сгибах, края его обтрепались. Но, кроме этого портрета, больше ничего в школьных четырех стенах не было.

— Я научу вас, дети, читать и считать, покажу, как пишутся буквы и цифры,— говорил Дюйшен.— Буду учить вас всему, что знаю сам...

И действительно, он учил нас всему, что знал сам, проявляя при этом удивительное терпение. Склоняясь над каждым учеником, он показывал, как нужно держать карандаш, а потом с увлечением объяснял нам непонятные слова.

Думаю я сейчас об этом и диву даюсь: как этот малограмотный парень, сам с трудом читавший по слогам, не имевший под рукой ни единого учебника, даже самого обыкновенного букваря, как он мог отважиться на такое поистине великое дело! Шутка ли учить детей, чьи деды и прадеды до седьмого колена были неграмотны. И конечно же, Дюйшен не имел ни малейшего представления о программе и методике преподавания. Вернее всего, он и не подозревал о существовании таких вещей.

Дюйшен учил нас так, как умел, как мог, как казалось ему нужным, что называется, по наитию. Но я больше чем убеждена, что его чистосердечный энтузиазм, с которым он взялся за дело, не пропал даром.

Сам того не ведая, он совершил подвиг. Да, это был подвиг, потому что в те дни нам, киргизским детям, нигде не бывавшим за пределами аила, в школе, если можно так назвать ту самую мазанку с зияющими щелями, через которые всегда были видны снежные вершины гор, вдруг открылся новый, неслыханный и невиданный прежде мир...

Именно тогда мы узнали, что город Москва, где живет Ленин, во много-много раз больше, чем Аулиэ-Ата, чем даже Ташкент, и что есть на свете моря большие-большие, как Таласская долина, и что по тем морям плавают корабли, громадные, как горы. Мы узнали о том, что керосин, который привозят с базара, добывается из-под земли. И мы уже тогда твердо верили, что, когда народ заживет побогаче, наша школа будет помещаться в большом белом доме с большими окнами и что ученики там будут сидеть за столами.

Кое-как постигнув азы, еще не умея написать «мама», «папа», мы уже вывели на бумаге: «Ленин». Наш политический словарь состоял из таких понятий, как «бай», «батрак», «Советы». А через год Дюйшен обещал научить нас писать слово «революция».

Слушая Дюйшена, мы мысленно сражались вместе с ним на фронтах с белыми. А о Ленине он рассказывал

так взволнованно, словно видел его своими глазами. Многое из того, что он говорил, как я теперь понимаю, было сложенными в народе сказаниями о великом вожде, но для нас, Дюйшеновых учеников, все это представлялось такой же истиной, как то, что молоко белое.

Однажды без всякой задней мысли мы спросили:

— Учитель, а вы с Лениным за руку здоровались?

И тогда наш учитель сокрушенно покачал головой:

— Нет, дети, я никогда не видел Ленина.

Он виновато вздохнул: ему было неловко перед нами.

В конце каждого месяца Дюйшен отправлялся по своим делам в волость. Он ходил туда пешком и возвращался через два-три дня.

Мы по-настоящему тосковали в эти дни. Будь у меня родной брат, я и его, пожалуй, не ждала бы с таким нетерпением, как ждала возвращения Дюйшена. Тайком, чтобы не заметила тетка, я то и дело выбегала на задворки и подолгу глядела в степь на дорогу: когда же покажется учитель с котомкой за спиной, когда же я увижу его улыбку, согревающую сердце, когда же услышу его слова, приносящие знание.

Среди учеников Дюйшена я была самой старшей. Возможно, поэтому я и училась лучше других, хотя, мне кажется, не только поэтому. Каждое слово учителя, каждая буква, показанная им,— все для меня было свято. И не было для меня ничего важнее на свете, чем постигнуть то, чему учил Дюйшен. Я берегла тетрадь, которую он дал мне, и потому выводила буквы острием серпа на земле, писала углем на дувалах, прутиком на снегу и на дорожной пыли. И не было для меня на свете никого ученее и умнее Дюйшена.

Дело шло к зиме.

До первых снегов мы ходили в школу вброд через каменистую речку, что шумела под бугром. А потом ходить стало невмоготу — ледяная вода обжигала ноги. Особенно страдали малыши, у них даже слезы навертывались на глаза. И тогда Дюйшен стал на руках переносить их через речку. Он сажал одного на спину, другого брал на руки и так по очереди переправлял всех учеников.

Сейчас, когда я вспоминаю об этом, мне просто не верится, что именно так все и было. Но тогда то ли по невежеству своему, то ли по недомыслию люди смеялись над Дюйшеном. Особенно богачи, что зимовали в горах и приезжали сюда только на мельницу. Сколько раз, поравнявшись с нами у брода, таращили они на Дюйшена

глаза, проезжая мимо в своих красных лисьих малахаях и в богатых овчинных шубах, на сытых диких конях. Кто-нибудь из них, прыская со смеху, подталкивал соседа.

— Гляди-ка, одного тащит на спине, другого на руках!

И тогда другой, подстегивая храпящего коня, добавлял:

— Эх, провалиться мне сквозь землю, не знал я раньше, вот кого надо было взять во вторые жены!

И, обдавая нас брызгами и комьями грязи из-под копыт, они с хохотом удалялись.

Как мне хотелось тогда догнать этих тупых людей, схватить их коней под уздцы и крикнуть в их глумящиеся рожи: «Не смейте так говорить о нашем учителе! Вы глупые, дурные люди!»

Но кто внял бы голосу безответной девчонки? И мне оставалось лишь глотать горючие слезы обиды. А Дюйшен точно бы и не замечал оскорблений, вроде бы ничего такого и не слышал. Придумает, бывало, какую-нибудь шутку-прибаутку и заставит нас смеяться, позабыв обо всем.

Сколько ни старался Дюйшен, не удавалось ему достать леса, чтобы построить мостик через речку. Как-то раз, возвращаясь из школы и переправив малышей, мы остались с Дюйшеном на берегу. Решили соорудить из камней и дерна переступки, чтобы больше не мочить ноги.

Если рассудить по справедливости, то стоило жителям нашего аила собраться да сообща перебросить через поток две-три лесины, глядишь — и мост для школьников был бы готов. Но в том-то и дело, что в те дни люди по темноте своей не придавали значения учебе, а Дюйшена считали в лучшем случае чудаком, который возится с ребятишками от нечего делать. Охота тебе — учи, а нет — разгони всех по домам. Сами они ездили верхом и в переправах не нуждались. А все-таки следовало, конечно, нашему народу призадуматься: ради чего этот молодой парень, который ничем не хуже и не глупее других, ради чего он, терпя трудности и лишения, снося насмешки и оскорбления, учит их детей, да еще с таким необыкновенным упорством, с такой нечеловеческой настойчивостью?

В тот день, когда мы укладывали камни через поток, на земле уже лежал снег и вода была такая студеная, что дух захватывало. Не представляю себе, как терпел Дюйшен, ведь он работал босой, без передышки. Я с трудом ступала по дну, казалось, усеянному жгучими углями. И вот на середине речки судорога в икрах вдруг скорчи-

ла меня в три погибели. Я не могла ни вскрикнуть, ни разогнуться и начала медленно валиться в воду.

Дюйшен бросил камень, подскочил ко мне, подхватил на руки, выбежал со мной на берег и усадил меня на свою шинель. Он то растирал мои синие, онемевшие ноги, то сжимал в ладонях мои застывшие руки, то подносил их ко рту и согревал дыханием.

— Не надо, Алтынай, посиди тут, согрейся,— приговаривал Дюйшен.— Я и сам справлюсь...

Когда наконец переход был готов, Дюйшен, натягивая сапоги, глянул на меня, нахохленную и озябшую, и улыбнулся.

— Ну как, помощница, отогрелась? Накинь на себя шинель, вот так! — И, помолчав, спросил: — Это ты, Алтынай, оставила в тот раз кизяк в школе?

— Да,— ответила я.

Он улыбнулся чуть заметно, уголками губ, как бы говоря про себя: «Я так и думал!»

Помню, как в ту минуту огнем полыхнули мои щеки: значит, учитель знал и не забывал об этом, казалось бы, пустяковом случае. Я была счастлива, и Дюйшен понял мою радость.

— Ручеек ты мой светлый,— сказал он, ласково гладя меня.— И способности у тебя хорошие... Эх, если бы я мог послать тебя в большой город! Каким бы ты человеком стала!

Дюйшен порывисто шагнул к берегу.

И сейчас он стоит перед моими глазами, как стоял тогда у шумливой каменистой речки, закинув руки на затылок, и смотрит устремленными вдаль сияющими глазами на белые облака, гонимые ветром над горами.

О чем он думал тогда? Может быть, и правда в мечтах своих отправлял меня учиться в большой город? А я думала в ту минуту, кутаясь в шинель Дюйшена: «Если бы учитель был моим родным братом! Если бы я могла кинуться к нему на шею, и крепко обнять его, и, зажмурив глаза, прошептать ему на ухо самые лучшие на свете слова! Боже, сделай же его моим братом!»

Наверно, мы все любили тогда своего учителя за его человечность, за его добрые помыслы, за его мечты о нашем будущем. Хотя мы и были детьми, мне думается, мы это уже тогда понимали. Что же еще заставило бы нас каждый день ходить в такую даль и взбираться на крутой бугор, задыхаясь от ветра, увязая в сугробах? Мы сами шли в школу. Никто нас не гнал туда. Никто не

заставил бы нас мерзнуть в этом холодном сарае, где дыхание оседало белой изморозью на лицах, руках и одежде. Мы только позволяли себе по очереди греться у печки, пока все остальные сидели на своих местах, слушая Дюйшена.

В один из таких студеных дней — это было, как теперь помню, в конце января — Дюйшен собрал нас, обойдя все дворы, и, как обычно, повел в школу. Шел он молчаливый, строгий, со сдвинутыми, как крылья беркута, бровями, и лицо его казалось выкованным из черного прокаленного железа. Никогда еще не видели мы таким своего учителя. Глядя на него, мы тоже притихли, почувствовали что-то неладное.

Когда на дороге встречались большие сугробы, Дюйшен обычно сам прокладывал путь, за ним шла я, за мной все остальные. И в этот раз у подножия бугра, где за ночь намело много снега, Дюйшен пошел вперед. Иногда посмотришь на человека со спины — и сразу поймешь, в каком он состоянии, что творится у него на душе. Вот и тогда видно было, что учитель наш убит горем. Он шел с поникшей головой, с трудом волоча ноги. Я до сих пор помню страшное чередование перед глазами черного и белого; мы взбирались гуськом на бугор — под черной шинелью горбилась спина Дюйшена, а выше по крутизне над ним горбились верблюжьими хребтинами белые сугробы, и ветер срывал с них поземку, а еще выше — в белом мутном небе — темнела одинокая черная туча.

Когда мы пришли, Дюйшен не стал растапливать печь.

— Встаньте,— приказал он.

Мы поднялись.

— Снимите шапки.

Мы послушно обнажили головы; и он тоже сорвал с головы буденовку. Мы не понимали, к чему это. И тогда учитель сказал простуженным, прерывающимся голосом:

— Умер Ленин. По всей земле люди стоят сейчас в трауре. И вы стойте на своих местах, замрите. Смотрите вот сюда, на портрет. Пусть запомнится вам этот день.

В нашей школе стало так тихо, будто ее накрыла лавина. И слышно было, как ветер врывается в щели. И слышно было, как снежинки с шорохом падают в солому.

В тот час, когда онемели неумолчные города, когда затихли содрогавшие землю заводы, когда замерли на путях грохочущие поезда, когда весь мир погрузился в траур,— в тот скорбный час и мы, маленькая частица частицы народа, затаив дыхание торжественно стояли в карауле вместе

со своим учителем там, в не ведомом никому промерзшем сарае, именуемом школой, и прощались с Лениным, мысленно считая себя самыми близкими ему людьми, больше всех горюющими о нем. А наш Ленин в своем несколько мешковатом военном френче, с рукой на перевязи все так же смотрел на нас со стены и все так же говорил нам своим ясным, чистым взглядом: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» И чудилось мне в ту тихую минуту, что он и в самом деле думает о моем будущем.

Потом Дюйшен вытер глаза рукавом и сказал:

— Я ухожу сегодня в волость. Я иду вступать в партию. Вернусь через три дня...

Эти три дня мне всегда представляются самыми суровыми из всех зимних дней, которые мне пришлось пережить. Словно бы какие-то могучие силы природы пытались восполнить на земле место великого человека, ушедшего из нашего мира: гудел, не стихая, ветер в яру, кружили снежные метели, железно звенел мороз... Не находила себе покоя стихия: металась, билась в плаче о землю...

Притих наш аил, примолк под горами, смутно темнеющими в низких наплывах туч. Из завьюженных труб тянулись тоненькие дымки, люди не выходили из домов. Да к тому же залютовали вдруг волки. Обнаглели, днем появлялись на дорогах, а по ночам рыскали вблизи аила и до самого рассвета выли голодным, истошным воем.

Боялась я почему-то за нашего учителя: как он там в такие холода, без шубы, в одной шинели? А в тот день, когда Дюйшен должен был вернуться, я совсем потеряла голову: чуяло, видно, сердце что-то недоброе. То и дело выбегала я из дома, смотрела в заснеженную безлюдную степь: не покажется ли учитель на дороге? Но не видно было ни души.

«Где же ты, учитель наш? Умоляю тебя, не задерживайся допоздна, возвращайся быстрей. Мы ждем тебя, ты слышишь, учитель! Мы ждем тебя!» Но не видно было ни души.

Но степь не отзывалась на мой безмолвный крик, и я почему-то плакала.

Тетке надоели мои хождения.

— Ты дашь сегодня покой дверям? А ну, садись на свое место, берись за пряжу. Детей поморозила. Попробуй выскочи еще! — погрозила она мне пальцем и больше не выпускала из дома.

Вечерело уже, а я так и не знала, вернулся учитель или нет. И от этого не находила себе места. То утешалась мыслью, что Дюйшен, пожалуй, уже в аиле, ведь не было еще случая, чтобы он не вернулся в обещанный день. То вдруг казалось мне, что он заболел и поэтому идет медленно, а поднимется буран, так и заблудиться недолго ночью в степи. Работа не клеилась, руки не слушались меня, пряжа то и дело обрывалась, и это бесило тетку.

— Да что с тобой сегодня? Руки у тебя деревянные, что ли? — все больше свирепела она, косясь на меня. А потом терпение у нее лопнуло.— Ух, погибели на тебя нет! Иди-ка лучше отнеси старухе Сайкал ихний мешок.

Я чуть не подпрыгнула от радости. Ведь Дюйшен жил как раз у старухи Сайкал. Старики Сайкал и Картанбай доводились мне дальними родственниками по матери. Прежде я частенько у них бывала, а иной раз даже и ночевать оставалась. Вспомнила ли тетка об этом или бог ей так подсказал, но, сунув мне мешок, она добавила:

— Ты сегодня осточертела мне, как толокно в голодный год. Ступай и, если позволят старики, переночуй там. Иди с глаз моих долой...

Я выскочила во двор. Ветер бесновался, как шаман: захлебывался, а потом внезапно накидывался, швыряя в разгоряченное лицо пригоршни колючего снега. Я зажала мешок под мышкой и пустилась бежать в другой конец аила по свежему раскидистому следу конских копыт. А голову точила только одна мысль: «Вернулся ли, вернулся ли учитель?»

Прибежала, а его нет. Сайкал перепугалась, когда я застыла на пороге, едва переводя дыхание.

— Что с тобой? Ты что так бежала, беда какая?

— Нет, так просто. Мешок вот принесла. Можно, я у вас останусь сегодня?

— Оставайся, ниточка моя. Фу ты негодница, страху-то нагнала. Ты что-то с самой осени не заглядываешь. Садись к огню, грейся.

— А ты, старуха, мяса положи в казан, угости дочку. Да и Дюйшен часом подоспеет,— отозвался Картанбай, который сидел подле окна и подшивал старые валенки.— Давно бы пора ему дома быть, ну да ничего, приедет, пока смеркнется. Наша лошаденка к дому ходкая.

Незаметно подобралась к окнам ночь. Сердце мое, казалось, стояло на страже, оно напряженно замирало, когда лаяли собаки или доносились голоса людей. А Дюйшена

все не было. Хорошо еще, Сайкал скрадывала время разговорами.

Так мы ждали его с часу на час, а к полуночи Картанбай устал.

— Давай-ка, старуха, стели постель. Не приедет он сегодня. Поздно уже. Мало ли дел у начальников, задержали, стало быть, а не то давно бы дома был.

Старик стал укладываться.

Мне постелили в углу за печкой. Но я не могла заснуть. Старик все кашлял, ворочался, шептал в ночи молитвы, а потом пробормотал беспокойно:

— Как-то там лошаденка моя? Ведь клочка сена задарма не выпросишь, а овса и за деньги не достанешь.

Картанбай вскоре уснул, но тут ветер не стал давать покоя. Он шарил по крыше, ворошил шершавой пятерней стреху, скребся в стекла. Слышно было, как снаружи поземка билась в стены.

Не успокоили меня слова старика. Мне все казалось, что учитель приедет, и я думала о нем, представляла его себе в пути, среди пустынных снегов.

Не знаю, надолго ли я заснула, но вдруг что-то заставило меня оторвать голову от подушки. Гнусавый, утробный вой раздался над землей и застыл где-то в воздухе.

Волк! И не один — их много. Перекликаясь с разных сторон, волки быстро сближались. Их подвывания слились в единый протяжный вой, который вместе с ветром метался по степи, то удаляясь, то приближаясь снова. Иной раз казалось, что они где-то совсем рядом, на краю аила.

— Буран накликают! — прошептала старуха.

Старик промолчал, прислушался, затем вскочил с постели.

— Нет, старуха, неспроста это! Гонят они кого-то. Человека ли, лошадь ли окружают. Слышишь? Упаси бог, Дюйшена. Ведь ему все нипочем, дурень он этакий.— Картанбай всполошился, ища в темноте шубу.— Свет, свет давай, старуха! Да быстрей ты, ради бога!

Дрожа от страха, мы вскочили, и, пока Сайкал нашла лампу, пока она засветила ее, яростный вой волков вдруг разом смолк, словно его рукой сняло.

— Настигли, окаянные! — вскрикнул Картанбай и, схватив клюку, кинулся было к двери, но в это время залаяли собаки. Кто-то пробежал под окнами, скрипя подошвами по снегу, громко, нетерпеливо застучал в дверь.

В комнату ворвалось морозное облако. Когда оно рассеялось, мы увидели Дюйшена. Бледный, задыхающийся, он, шатаясь, перешагнул через порог и прислонился к стене.

— Ружье! — выдохнул Дюйшен.

Но мы словно бы не поняли его. У меня в глазах потемнело, и я слышала только, как запричитали старики:

— Черную овцу — в жертву, белую овцу — в жертву! Да хранит тебя святой Баубедин. Ты ли это?

— Ружье, дайте ружье! — повторил Дюйшен.

— Нет ружья, что ты, куда?

Старики повисли на плечах Дюйшена.

— Дайте палку!

Но старики взмолились:

— Никуда не пойдешь, никуда, пока мы живы. Лучше убей нас на месте!

Я почувствовала вдруг странную слабость во всем теле и молча легла в постель.

— Не успел, настигли у самого дома.— Дюйшен шумно перевел дыхание и швырнул в угол камчу[1].— Лошадь еще в дороге заморилась, а потом волки погнали, она доскакала до аила и рухнула как сноп. Там они и набросились на нее.

— Ну и бог с ней, с лошадью, главное, что сам живой остался. А не упади конь, они бы и тебя не упустили! Слава хранителю Баубедину, что все так кончилось. Теперь раздевайся, садись к огню. Давай сапоги стяну,— суетился Картанбай.— А ты, старуха, подогрей, что там у тебя есть.

Они сели к огню, и тогда Картанбай облегченно вздохнул.

— Ну ладно, чему быть, того не миновать. А чего же это ты так поздно выехал?

— Заседание в волкоме затянулось, Караке. Я вступил в партию.

— Это хорошо. Ну выехал бы на другой день с утра, ведь тебя, я думаю, никто не гнал прикладом в дорогу.

— Я обещал детям вернуться сегодня,— ответил Дюйшен.— Завтра с утра начнем заниматься.

— Эх, дурень! — даже привскочил Картанбай и от негодования замотал головой.— Ты послушай только, старуха: он, видишь ли, обещанье дал детям, этим соплякам! А если бы в живых не остался? Да соображаешь ли ты своей головой, что говоришь?

---

[1] Камча — нагайка, плеть.

— Это мой долг, моя работа, Караке. Вы о другом скажите: обычно пешком ходил, а тут черт меня дернул, выпросил у вас лошадь и отдал ее волкам на съедение...

— Да не о том речь. Пропади она пропадом, эта кляча. Пусть будет в жертву тебе принесена! — осерчал Картанбай.— Век был безлошадным и теперь не пропаду. А будет стоять Советская власть — наживу еще...

— Дело говоришь, старик,— отозвалась набрякшим от слез голосом Сайкал.— Наживем еще... На-ка, сынок, хлебай, пока горячее...

Они замолчали. А минуту спустя, разгребая кизячный жар, Картанбай задумчиво промолвил:

— Смотрю я на тебя, Дюйшен, вроде бы и не глупый ты, а скорее умный парень. И не пойму никак, чего ради ты мыкаешься с этой школой, с ребятишками несмышлеными? Или не найти тебе другого дела? Да наймись ты к кому-нибудь в чабаны, тепло и сытно будет...

— Я понимаю, Караке, что вы добра мне желаете. Но если эти несмышленыши будут потом вот так же, как вы, говорить, зачем нужна школа, зачем вам учение, то дела Советской власти недалеко пойдут. А ведь вы хотите, чтобы она стояла, чтобы она жила. И потому школа для меня не в тягость, Караке. Если бы я мог лучше учить ребят, я бы ни о чем больше не мечтал. Вот ведь и Ленин говорил...

— Да, к слову...— перебил Картанбай Дюйшена и, помолчав, сказал: — Вот ты все убиваешься. А ведь слезами не воскресишь Ленина! Эх, если бы была такая сила на земле! Или, ты думаешь, другие не печалятся, не горюют?.. А ты загляни ко мне под ребра: дымит там сердце горьким дымом. Не знаю, право, сойдется ли это с твоей политикой, но хотя Ленин был человеком другой веры, а я пять раз на день молюсь за него. А иной раз думаю я, Дюйшен, сколько бы мы с тобой его ни оплакивали, все без пользы. Так я это по-своему, по-стариковски, рассудил: Ленин в народе самом остался, Дюйшен, и перейдет по крови — от отцов к сыновьям.

— Спасибо вам за ваши слова, Караке, спасибо. Правильно вы думаете. Ушел он от нас, а мы жизнь по Ленину мерить будем...

Слушая их разговоры, я как бы медленно возвращалась издалека к самой себе. Вначале все походило на сон. Я долго не могла заставить себя поверить, что Дюйшен вернулся живой и невредимый. А потом, как вешний поток, хлынула в мою раскованную душу неуемная, неудержимая радость, и, захлебываясь в этом горячем потоке, я заплака-

ла навзрыд. Может быть, еще никто никогда не радовался так, как я. В эту минуту для меня ничего не существовало: ни этой мазанки, ни буранной ночи во дворе, ни волчьей стаи, терзающей на окраине аила единственную лошадь Картанбая. Ничего! Сердцем, разумом, всем существом своим я ощущала бесконечное, безмерное, как свет, необыкновенное счастье. Я укрылась с головой и зажала рот, чтобы меня не услышали. Но Дюйшен спросил:

— Кто это всхлипывает за печкой?

— Да это Алтынай, перепугалась давеча, вот и плачет,— сказал Сайкал.

— Алтынай? Откуда она? — Дюйшен вскочил с места и, опустившись на колени у моего изголовья, тронул меня за плечо.— Что с тобой, Алтынай? Ты почему плачешь?

А я отвернулась к стене и пуще прежнего залилась слезами.

— Да что ты, милая, чего ты так испугалась? Ну разве можно так, ведь ты у нас большая... А ну, глянь на меня...

Я крепко обняла Дюйшена и, уткнувшись в его плечо мокрым горячим лицом, неудержимо всхлипывала и ничего не могла поделать с собой. Меня била радость как в лихорадке, и я бессильна была унять ее.

— Да, никак, сердце у ней сдвинулось с места! — забеспокоился Картанбай и тоже поднялся с кошмы.— А ну, старуха, заговори, пошепчи малость, да поживей...

И все они вдруг всполошились. Сайкал нашептывала заклинания, брызгала мне в лицо то холодной, то горячей водой, обдавала паром и сама плакала вместе со мной.

Ах, если бы они знали, что сердце мое «сдвинулось с места» от великого счастья, о котором я не в силах была рассказать да, пожалуй, и не сумела бы.

И пока я не успокоилась и не уснула, Дюйшен сидел возле меня и тихо гладил прохладной рукой мой горячий лоб.

Зима откочевала за перевал. Уже гнала свои синие табуны весна. С оттаявших, набухших равнин потекли в горы теплые потоки воздуха. Они несли с собой весенний дух земли, запах парного молока. Уже осели сугробы, и тронулись льды в горах, и тренькнули ручьи, а потом, схлестываясь в пути, они хлынули бурными, всесокрушающими речками, наполняя шумом размытые овраги.

Может быть, это и была первая весна моей юности. Во всяком случае, она казалась мне краше прежних весен. С бугра, где стояла наша школа, открывался глазам прекрасный мир весны. Земля, словно бы раскинув руки, сбегала с гор и неслась, не в силах остановиться, в мерцающие

серебряные дали степи, объятые солнцем и легкой, призрачной дымкой. Где-то за тридевять земель голубели талые озерца, где-то за тридевять земель ржали кони, где-то за тридевять земель пролетали в небе журавли, неся на крыльях белые облака. Откуда летели журавли и куда они звали сердце такими томительными, такими трубными голосами?..

С приходом весны мы зажили веселее. Мы придумывали разные игры, беспричинно смеялись, а после уроков от самой школы до аила всю дорогу бежали, громко перекликаясь. Тетке не нравилось это, и она не упускала случая обругать меня:

— Ты-то что резвишься, дуреха? И дела тебе нет, что в девках засиделась. У добрых людей такие, как ты, давно замуж повыходили, родных в дом прибавили, а ты... Нашла себе забаву — в школу ходить... Но погоди, я тебя приберу к рукам...

По правде говоря, я не очень-то близко к сердцу принимала теткины угрозы: не в новость же — всю жизнь ругается. А сказать про меня, что я засиделась, и вовсе было несправедливо. Я просто вытянулась в эту весну.

— Ты еще лохматая девчонка,— смеялся Дюйшен.— Да к тому же, кажется, рыжая!

Его слова меня нисколько не обижали. Конечно, думала я про себя, я лохматая, но все-таки не совсем рыжая. А вот когда я вырасту, стану настоящей невестой, то разве же я буду такая? Пусть посмотрит тогда тетка, какая буду красивая. Дюйшен говорит, что у меня глаза блестят, как звездочки, и лицо открытое.

Как-то раз, когда я прибежала из школы, у нас во дворе стояли две чужие лошади. Судя по седлам, по сбруе, хозяева их приехали с гор. И раньше случалось, что они заворачивали к нам по пути с базара или на мельницу.

Еще с порога меня резанул какой-то неестественный смех тетки: «Да ты, племянничек, не очень-то тужи, не обеднеешь. Зато потом, когда получишь голубку в руки, добрым словом меня помянешь. Хи-хи-хи!» В ответ послышались поддакивающие, хохочущие голоса, а когда я появилась в дверях, все сразу смолкли. У разостланной на кошме скатерти сидел как пень краснолицый грузный человек. Он покосился на меня из-под лисьей шапки, надвинутой на потный лоб, и, кашлянув, опустил глаза.

— А, доченька, вернулась, заходи, милая! — ласково ухмыляясь, встретила меня тетка.

Дядя сидел на краешке кошмы тоже с каким-то незнакомым мне человеком. Они играли в карты, пили водку и ели бешбармак. Оба были пьяны, и их головы как-то странно мотались, когда они били картами.

Наша серая кошка подобралась было к скатерти, но краснолицый так стукнул ее по голове костяшками пальцев, что она, дико взвизгнув, отскочила в сторону и забилась в угол. Ох, как больно было ей! Мне захотелось уйти, только я не знала, как это сделать. Тут меня выручила тетка.

— Доченька,— сказала она,— там в казане еда, покушай, пока не остыло.

Я вышла, но мне очень не понравилось такое поведение тетки. И на душе стало неспокойно. Я невольно насторожилась.

Часа через два приезжие сели на коней и уехали в горы. Тетка тут же начала осыпать меня обычной бранью, и у меня отлегло от души. «Значит, она просто спьяну была такой ласковой»,— решила я.

Вскоре после этого к нам пришла как-то старуха Сайкал. Я была на дворе, но услышала, как она сказала:

— Да что ты, бог с тобой! Погубишь ты ее.

Перебивая друг друга, тетка и Сайкал о чем-то горячо заспорили, и затем старуха вышла из дома очень разгневанная. Она бросила на меня сердитый и в то же время жалостливый взгляд и молча ушла. А мне стало не по себе. Почему она так посмотрела на меня, чем я ей не угодила?

На другой день в школе я сразу заметила, что Дюйшен мрачен и чем-то озабочен, хотя и старается не показать нам виду. И еще я заметила, что он почему-то не смотрит в мою сторону. После уроков, когда мы все гурьбой вышли из школы, Дюйшен окликнул меня:

— Постой, Алтынай.— Учитель подошел ко мне, пристально посмотрел мне в глаза и положил руку на плечо.— Ты домой не иди. Ты поняла меня, Алтынай?

Я помертвела от страха. Только теперь до меня дошло, что собиралась сделать со мной тетка.

— Я сам за тебя отвечу,— сказал Дюйшен.— А жить ты будешь пока у нас. И далеко от меня не отлучайся.

Наверно, на мне лица не было. Дюйшен взял меня за подбородок и, глядя в глаза, улыбнулся, как всегда.

— Да ты не бойся, Алтынай! — засмеялся он.— Когда я с тобой, никого не бойся. Учись, ходи в школу, как прежде, и ни о чем не думай... А то ведь я знаю, какая ты трусиха... Да, кстати, давно собирался рассказать тебе.— Видно, вспомнив что-то смешное, он опять засмеялся.— Помнишь,

в тот раз Караке поднялся спозаранку и куда-то исчез? смотрю, приводит — кого бы ты думала? — знахарку, Джайнакову старуху. «Зачем?» — спрашиваю. «Пусть, говорит, пошаманит, а то у Алтынай сердце сдвинулось с места от страху». А я и говорю: «Гоните ее со двора, от нее иначе как одной овцой не отделаешься. А мы не так богаты. Коня подарить тоже не можем: волкам отдали...» А ты еще спала. Так я и выпроводил ее. Караке потом целую неделю не разговаривал со мной, обиделся. «Ты, говорит, подвел меня, старого». И все-таки хорошие они старики, редкой доброты люди. Ну, теперь пошли домой, пошли, Алтынай...

Как ни старалась я держать себя в руках, чтобы не огорчать понапрасну учителя, тревожные мысли уже не отпускали меня. Ведь в любой час сюда могла заявиться тетка и силой увести меня. А там они сделают со мной что захотят, и никто в аиле не запретит им этого. Я всю ночь не спала, ожидая беды.

Дюйшен, конечно, понимал мое состояние. И, может быть, поэтому, чтобы как-то отвлечь меня от мрачных дум, он принес на другой день в школу два деревца. А после уроков взял меня за руку и отвел в сторону.

— Сейчас мы с тобой, Алтынай, сделаем одно дело,— сообщил он, загадочно улыбаясь.— Вот эти топольки я принес для тебя. Мы с тобой их посадим. И пока они вырастут, пока наберут силу, ты тоже вырастешь, будешь хорошим человеком. У тебя душа хорошая и ум пытливый. Мне всегда кажется, что ты будешь ученым человеком. Я в это верю, вот посмотришь, у тебя на роду так написано. Ты сейчас молоденькая, точно прутик, такая же, как эти топольки. Так давай посадим их, Алтынай, своими руками. И пусть твое счастье будет в учении, звездочка ты моя ясная...

Деревца были ростом с меня, молоденькие, сизоствольные топольки. И когда мы их посадили неподалеку от школы, с предгорья набежал ветерок и первый раз тронул их совсем еще маленькие листочки, словно бы жизнь вдохнул в них. Дрогнули листочки, шевельнулись топольки, закачались...

— Погляди, как хорошо! — засмеялся Дюйшен, отступая назад.— А теперь проведем сюда арык вон от того родника. И потом увидишь, какие это будут красивые тополя! Они будут стоять здесь, на бугре, рядышком, как два брата. И всегда они будут на виду, и добрые люди будут им радоваться. Тогда и жизнь настанет иная, Алтынай. Все лучшее еще впереди...

Я и сейчас не могу найти слов, чтобы хоть сколько-

нибудь выразить, как я была тронута благородством Дюйшена. А тогда я просто стояла и смотрела на него. Я смотрела так, будто бы впервые увидела, сколько светлой красоты в его лице, сколько нежности и добра в его глазах, будто бы никогда прежде не знала я, как сильны и ловки его руки в работе, как чиста его ясная улыбка, согревающая сердце. И горячей волной поднялось в моей груди новое, незнакомое чувство из неведомого еще мне мира. И я внутренне рванулась к Дюйшену, чтобы сказать ему: «Учитель, спасибо вам за то, что вы родились таким... Я хочу обнять и поцеловать вас!» Но я не посмела, постыдилась произнести эти слова. А может быть, надо было...

Но тогда мы стояли на бугре под ясным небом, среди зеленеющих весенних предгорий, каждый мечтая о своем. И в тот час я совсем забыла об угрозе, нависшей надо мной. И не подумала я, что ждет меня завтра, и не подумала, почему вот уже второй день тетка не ищет меня. Может, они позабыли обо мне, может, решили оставить в покое? Но Дюйшен, оказывается, думал об этом.

— Ты не больно печалься, Алтынай, найдем выход,— сказал он, когда мы возвращались в аил.— Послезавтра я поеду в волость. Буду говорить там о тебе. Может быть, добьюсь, чтобы тебя послали в город учиться. Хочешь поехать?

— Как скажете, учитель, так и будет,— ответила я.

Хотя я и не представляла себе, какой он такой, город, но для меня оказалось достаточно слов Дюйшена, чтобы уже мечтать о городской жизни. То я страшилась неизвестности, ждущей меня в чужих краях, то снова решалась отправиться в путь — словом, город теперь не выходил у меня из головы.

И на следующий день в школе я думала о том же: как и у кого буду жить в городе. Если кто-нибудь приютит, буду дрова колоть, воду носить, стирать, буду делать все, что прикажут. Размышляла я так, сидя на уроке, и от неожиданности вздрогнула, когда за стенами нашей ветхой школы раздался дробный топот копыт. Это было так внезапно, и кони мчались так стремительно, словно вот-вот растопчут нашу школу. Мы все насторожились, замерли.

— Не отвлекайтесь, занимайтесь своим делом,— быстро сказал Дюйшен.

Но тут дверь с шумом распахнулась, и на пороге мы увидели мою тетку. Она стояла со злорадной, вызывающей улыбкой на лице. Дюйшен подошел к дверям:

— Вы по какому делу?

— А по такому, что тебя не касается. Девку свою замуж буду провожать. Эй ты, бездомная! — Тетка ринулась ко мне, но Дюйшен преградил ей дорогу.

— Здесь только школьницы, и замуж выдавать еще некого! — твердо и спокойно сказал Дюйшен.

— Это мы еще посмотрим. Эй, мужики, хватайте ее, волочите сучку!

Тетка поманила рукой одного из всадников. Это был тот самый краснорожий в лисьей шапке. За ним спешились с коней еще двое с увесистыми кольями в руках.

Учитель не двинулся с места.

— Ты что, безродная собака, распоряжаешься чужими девками, как своими женами. А ну, прочь!

И краснорожий медведем двинулся на Дюйшена.

— Вы не имеете права входить сюда, это школа! — сказал Дюйшен, крепко держась за дверные косяки.

— Я ж говорила! — взвизгнула тетка.— Он сам давно уже с ней снюхался. Приманил сучку задарма!

— Плевать мне на твою школу! — взревел краснорожий, замахиваясь камчой.

Но Дюйшен опередил его. Он с силой пнул его в живот ногой, и тот, ахнув, упал. В ту же минуту те двое с кольями набросились на учителя. Ребята с ревом кинулись ко мне. Под ударами дверь разлетелась в щепки. Я метнулась к дерущимся, волоча за собой вцепившихся в меня малышей.

— Отпустите учителя! Не бейте! Вот я, берите меня; не бейте учителя!

Дюйшен оглянулся. Он был весь в крови, страшный и ожесточенный. Подхватив с земли доску и размахивая ею, он закричал:

— Бегите, дети, бегите в аил! Убегай, Алтынай! — и захлебнулся в крике.

Ему перебили руку. Прижимая ее к груди, Дюйшен попятился, а те, ревя, как бешеные быки, стали избивать его, теперь уже беззащитного.

— Бей! Бей! Сади по голове! Бей наповал!

Ко мне подскочила разъяренная тетка вместе с краснорожим. Они накинули мне на шею косу и поволокли во двор. Я рванулась изо всех сил и на секунду увидела оцепеневших в крике детей, а у стены, забрызганной темной кровью, Дюйшена.

— Учитель!

Но Дюйшен ничем не мог помочь мне. Он еще держался на ногах, шатаясь, точно пьяный, под ударами извергов, он

пытался поднять мотающуюся голову, а те все били и били его. Меня повалили на землю и связали руки. В это время Дюйшен покатился по земле.

— Учитель!

Но мне зажали рот и перебросили поперек седла.

Краснорожий был уже на коне и придавил меня руками и грудью. Те двое, что избивали Дюйшена, тоже вскочили в седла, а тетка бежала рядом и колотила меня по голове.

— Дождалась, дождалась! Вот как, вот как я выпроводила тебя! И учителю твоему конец...

Но это был еще не конец. Сзади донесся вдруг отчаянный крик:

— Алты-на-а-ай!

Я с трудом подняла повисшую с коня голову и глянула. За нами бежал Дюйшен. Избитый до полусмерти, окровавленный, он бежал с булыжником в руке. А за ним следом — с плачем и криком — весь наш класс.

— Стойте, звери! Стойте! Отпустите ее, отпустите! Алтынай! — кричал он, догоняя нас.

Насильники приостановились, и те двое закружились на конях вокруг Дюйшена. Ухватив зубами рукав, чтобы не мешала перебитая рука, Дюйшен примерился и метнул камень, но не попал. И тогда те двое свалили его в лужу двумя ударами кольев. В глазах у меня помутилось, я только успела еще заметить, как ребята наши подбежали к учителю и в страхе остановились над ним.

Не помню, как и куда меня привезли. Очнулась я в юрте. В открытый купол заглядывали ранние звезды, спокойные, ничем не потревоженные. Где-то рядом шумела река да слышались голоса ночных пастухов, стороживших отары. У потухшего очага сидела угрюмая, высохшая, словно коряга, старая женщина. Лицо у нее было темное, как земля. Я повернула голову в другую сторону... О, если бы я могла убить его взглядом!

— Чернуха, подними ее,— приказал краснорожий.

Черная женщина подошла ко мне и тряхнула за плечо жесткой, корявой рукой.

— Усмири свою напарницу, втолкуй ей. А нет — все равно: разговор с ней будет короткий.

Он вышел из юрты. А черная женщина даже не двинулась с места и не вымолвила ни слова. Может быть, она была немая? Ее потухшие, подобно холодному пеплу, глаза смотрели, ничего не выражая. Бывают собаки, забитые еще со щенячьего возраста. Злые люди бьют их чем попало по голове, и те постепенно к этому привыкают. Но в их взгля-

де поселяется такая беспросветная, пустая глухота, что жуть берет. Я смотрела в мертвые глаза черной женщины, и мне казалось, что сама я уже не живу, что я в могиле. Я готова была поверить в это, если бы не шум реки. Вода с плеском и гулом неслась по перепадам — она была свободна...

Тетка, черная твоя душа, будь же ты проклята во веки веков! Захлебнись в моих слезах и крови моей!.. В эту ночь, пятнадцати лет от роду, я стала женщиной... Я была моложе детей этого насильника...

На третью ночь я решила во что бы то ни стало бежать. Пусть пропаду в дороге, пусть настигнет меня погоня, но я буду биться до последнего дыхания — так же, как мой учитель Дюйшен.

Бесшумно пробралась я в темноте к выходу, ощупала двери, они были накрепко перевязаны волосяным арканом. Веревку в хитроумных тугих узлах невозможно было развязать в темноте. Тогда я попыталась приподнять остов юрты, чтобы проползти как-нибудь. Однако сколько я ни билась, ничего у меня не получалось — и снаружи юрта была также притянута к земле арканами.

Оставалось только найти что-нибудь острое и перерезать веревки на дверях. Я принялась шарить вокруг, но ничего не нашла, кроме небольшого деревянного колышка. В отчаянии я стала копать им землю под юртой. Затея была, конечно, безнадежная, но я уже не отдавала себе в этом отчета. В голове колотилась лишь одна безысходная мысль — вырваться отсюда или умереть, только бы не слышать его сопения, беспробудного храпа, только бы не оставаться здесь, умереть — так умереть на свободе, в схватке, только бы не покориться!

Токóл — вторая жена. О, как ненавижу я это слово! Кто, в какие гиблые времена выдумал его! Что может быть унизительнее положения подневольной второй жены, рабыни телом и душой? Встаньте, несчастные, из могил, встаньте, призраки загубленных, поруганных, лишенных человеческого достоинства женщин! Встаньте, мученицы, пусть содрогнется черный мрак тех времен! Это говорю я, последняя из вас, перешагнувшая через эту судьбу!

Не знала я в ту ночь, что мне суждено будет произнести эти слова. Исступленно, остервенело скребла я землю под юртой. Почва оказалась каменистой, не поддавалась. Я копала ногтями и разодрала в кровь пальцы. А когда под

юрту можно было просунуть руку, уже рассвело. Залаяли собаки, пробудился народ по соседству. С топотом промчался табун на водопой, фыркая, прошли сонные отары. Потом кто-то подошел к юрте, отвязал стягивающие ее снаружи арканы и принялся снимать кошмы. Это была молчаливая черная женщина.

Значит, аил готовился к перекочевке. Тут я вспомнила, что вчера краем уха слышала разговоры о том, что с утра предстоит сняться с места, откочевать сначала к перевалу на новое стойбище, а затем на все лето в глубину гор, за перевал. И еще тяжелее стало у меня на душе — бежать оттуда во сто крат труднее.

Как сидела я у подкопанного места, так и осталась сидеть, не отодвинулась даже. А что мне было скрывать и зачем... Черная женщина все равно увидела, что земля под юртой разрыта, а ничего не сказала, молча продолжала делать свое дело. Да и вообще она вела себя так, словно бы ее ничего не касалось, вроде бы ничто в жизни не пробуждало в ней никаких ответных чувств. Она даже не разбудила мужа, не посмела попросить его ей помочь собираться в дорогу. Он храпел, как медведь, под одеялами и шубами.

Все кошмы были свернуты, юрта осталась раздетой, и я сидела в ней, точно в клетке, и видела, что неподалеку за рекой люди навьючивают волов и лошадей. Потом я увидела, как к тем людям откуда-то со стороны подъехали три всадника и, что-то спросив у них, направились в нашу сторону. Вначале я подумала, что они едут собирать народ в дорогу, а потом присмотрелась и — оторопела. Это был Дюйшен, а двое других — в милицейских фуражках, с красными петлицами на шинелях.

Я сидела ни жива ни мертва, я не могла даже вскрикнуть. Радость охватила меня — жив мой учитель! — и в то же время пустота зияла в душе: я погибшая, опороченная...

У Дюйшена была забинтована голова и рука висела на повязке. Он спрыгнул с коня. Вышиб ударом ноги дверь, вбежал в юрту и сдернул одеяла с краснорожего.

— Вставай! — крикнул он грозно.

Тот поднял голову, протер глаза и кинулся было на Дюйшена, но сразу сник от направленных на него милицейских наганов. Дюйшен схватил его за шиворот, тряхнул и рывком подтянул его голову к себе.

— Сволочь! — прошептал он белыми губами.— Теперь угодишь куда следует! Пошли!

Тот покорно двинулся, но Дюйшен снова рванул его за плечо и, в упор глядя на него, проговорил срывающимся голосом:

— Ты думаешь, что истоптал ее, как траву, погубил ее?.. Врешь, прошли твои времена, теперь ее время, а тебе на этом конец!..

Красноpожему дали надеть сапоги, связали ему руки и взгромоздили на коня. Один из милиционеров повел коня на поводу, следом ехал второй. Я села на коня Дюйшена, он шел рядом.

Когда мы двинулись, сзади раздался дикий, нечеловеческий вопль. Это бежала за нами черная женщина. Она, точно сумасшедшая, подскочила к мужу и сбила камнем его лисью шапку.

— За кровь мою выпитую, душегуб! — орала она истошным голосом.— За черные дни мои, душегуб! Не отпущу тебя живым.

Наверно, сорок лет не поднимала она головы. А теперь прорвалось все, что накопилось, все, что накипело у нее на душе. Ее пронзительные крики метались эхом в скалах ущелья. Она забегала то с одной стороны, то с другой, кидала в трусливо согнувшегося мужа навозом, камнями, комьями глины, всем, что попадалось ей под руку, и выкрикивала проклятия:

— Чтоб трава не росла там, где ступала нога твоя! Пусть кости твои останутся в поле, чтобы ворон выклевал твои глаза. Не приведи господь увидеть тебя еще раз! Сгинь с моих глаз, сгинь, чудовище, сгинь, сгинь, сгинь! — прокричала она, потом умолкла, потом с воплем кинулась прочь. Казалось, она убегала от своих развевающихся на ветру волос.

Подоспевшие соседи пустились на конях догонять ее.

Как после кошмарного сна, гудело у меня в голове. Пришибленная, угнетенная, ехала я на коне. Дюйшен шел чуть впереди, держа в руке повод. Он молчал, низко опустив забинтованную голову.

Прошло немало времени, прежде чем злосчастное ущелье осталось позади. Милиционеры уехали далеко вперед. Дюйшен приостановил лошадь и первый раз посмотрел на меня измученными глазами.

— Алтынай, я не сумел уберечь тебя, прости меня,— сказал он. А потом взял мою руку и поднес к своей щеке.— Но если ты даже простишь меня, я сам никогда не прощу себе этого...

Я зарыдала и припала к гриве коня. А Дюйшен стоял рядом, молча гладил мои волосы и ждал, пока я наплачусь.

— Успокойся, Алтынай, поедем,— сказал он наконец.— Послушай, что я тебе расскажу. Третьего дня я был в волости. Ты поедешь учиться в город. Ты слышишь?

Когда мы остановились у звонкой светлой речушки, Дюйшен сказал:

— Сойди с коня, Алтынай, умойся.— Он достал из кармана кусочек мыла.— На, Алтынай, не жалей. А хочешь, я отойду в сторону, попасу лошадь, а ты разденься, искупайся в речке. И забудь обо всем, что было, никогда не вспоминай об этом. Выкупайся, Алтынай, легче станет. Ладно?

Я кивнула головой. И когда Дюйшен отошел в сторону, я разделась и осторожно вступила в воду. Белые, синие, зеленые, красные камни глянули на меня со дна. Быстрый голубой поток закипел с говорком у щиколоток. Я зачерпнула пригоршнями воду и плеснула на грудь. Студеные струйки побежали по телу, и я невольно засмеялась, первый раз в эти дни. Как хорошо было смеяться! Еще и еще раз я обдала себя водой, а потом бросилась в глубину потока. Течение стремглав выносило меня на отмель, а я вставала и снова кидалась в бурунистый, брызжущий поток.

— Унеси, вода, с собой всю грязь и погань этих дней! Сделай меня такой же чистой, как ты сама, вода! — шептала я и смеялась, сама не зная чему.

Почему следы людей не остаются навеки на дорогих им, памятных местах? Если бы сейчас я нашла ту тропу, по которой мы возвращались с Дюйшеном с гор, я приникла бы к земле и поцеловала следы учителя. Тропа эта для меня — всем дорогам дорога. Да будут благословенны тот день, та тропа, тот путь моего возвращения к жизни, к новой вере в себя, к новым надеждам и свету. Спасибо тому солнцу, спасибо земле той поры...

А через два дня Дюйшен повез меня на станцию.

Оставаться в аиле после всего, что случилось, я не хотела. Новую жизнь надо было начинать на новом месте. Да и люди нашли мое решение правильным. Провожали меня Сайкал и Караке, они суетились, плакали, как малые дети, совали мне кульки и узелки на дорогу. Пришли попрощаться со мной и другие соседи, даже спорщик Сатымкул.

— Ну, с богом, детка,— сказал он,— светлого пути тебе. Не робей, живи по наказу учителя Дюйшена — и не

пропадешь. Что уж там говорить, мы тоже кое-что понимать стали.

Ученики из нашей школы долго бежали за бричкой и долго махали мне вслед...

Я уезжала вместе с несколькими ребятами, которых тоже отправляли в ташкентский детдом. На станции нас ждала русская женщина в кожаной куртке.

Сколько раз потом проезжала я мимо этой затененной тополями маленькой станции в горах! Мне кажется, что половину сердца своего я навсегда оставила там.

В сиреневом зыбком свете весеннего вечера было что-то такое грустное и щемящее, словно бы сами сумерки знали о нашем расставании. Дюйшен старался не показать, как больно ему, как тяжело у него на душе, но я-то ведь знала, такая же боль горячим комом подкатывала у меня к горлу. Дюйшен пристально смотрел мне в глаза, руки его гладили мои волосы, мое лицо, даже пуговицы на моем платье.

— Я бы тебя, Алтынай, никогда ни на шаг не отпустил от себя,— сказал он.— Но не имею права мешать тебе. Ты должна учиться. А ведь я не очень-то грамотен. Уезжай, так лучше будет... Может, ты станешь настоящим учителем и тогда вспомнишь нашу школу, может, и посмеешься. Пусть будет так, пусть будет так...

Оглашая эхом станционное ущелье, вдали загудел паровоз, завиднелись огни поезда. Народ на станции зашевелился.

— Ну вот, сейчас ты уедешь,— дрогнувшим голосом проговорил Дюйшен, сжимая мою руку.— Будь счастлива, Алтынай. И главное — учись, учись...

Я ничего не могла ответить: слезы душили меня.

— Не плачь, Алтынай.— Дюйшен вытер мне глаза. И вдруг вспомнил: — А те топольки, что мы с тобой посадили, я сам буду растить. И когда ты вернешься большим человеком, ты увидишь, какие они будут красивые.

В это время подоспел поезд. Вагоны остановились с шумом и лязгом.

— Ну, давай попрощаемся! — Дюйшен обнял меня и крепко поцеловал в лоб.— Будь здорова, счастливого пути, прощай, родная... Не бойся, иди смелей.

Я прыгнула на подножку и обернулась через плечо. Никогда не забыть мне, как стоял Дюйшен с рукой на перевязи и смотрел на меня затуманенными глазами, а потом потянулся, словно хотел прикоснуться ко мне, и в эту минуту поезд тронулся.

— Прощай, Алтынай! Прощай, огонек мой! — крикнул он.

— Прощайте, учитель! Прощайте, дорогой мой учитель!

Дюйшен побежал рядом с вагоном, потом отстал, потом вдруг рванулся и крикнул:

— Алты-на-а-ай!

Он крикнул так, будто забыл сказать мне что-то очень важное и вспомнил, хотя и знал, что было уже поздно... До сих пор стоит у меня в ушах этот крик, исторгнутый из самого сердца, из самых глубин души...

Поезд миновал туннель, вышел на прямую и, набирая скорость, понес меня по равнинам казахской степи к новой жизни... Прощай, учитель, прощай, моя первая школа, прощай, детство, прощай, моя первая, никому не высказанная любовь...

Да, я училась в большом городе, о котором мечтал Дюйшен, в больших школах с большими окнами, о которых рассказывал он. Потом кончила рабфак, и меня послали в Москву — в институт.

Сколько трудностей пришлось мне испытать за долгие годы учебы, сколько раз я была в отчаянии, казалось, нет, не осилю я премудростей науки, и всякий раз в самые тяжелые минуты я мысленно держала ответ перед моим первым учителем и не смела отступать. То, что другим давалось сразу, я постигала с величайшим трудом. Потому что мне пришлось начинать все с азов.

Когда я училась на рабфаке, я написала учителю письмо и призналась, что люблю его и жду. Он не ответил. На том оборвалась наша переписка. Я думаю, что отказал он мне и себе потому, что не хотел мешать мне учиться. Может быть, он был прав... А может быть, были какие-нибудь иные причины? Сколько я перестрадала и передумала в ту пору.

Свою первую диссертацию я защитила в Москве. Для меня это было большой, серьезной победой. За все эти годы я не смогла побывать в аиле. А тут началась война. Поздней осенью, эвакуируясь из Москвы во Фрунзе, я сошла с поезда на той самой станции, с которой провожал меня мой учитель. Мне повезло: я сразу нашла попутную бричку, которая направлялась в совхоз через наш аил.

О родимая сторона, в тяжелое для нас военное время пришлось мне наведаться к тебе. Как ни радовалась я, глядя на преображенную землю — выросли новые аилы, рас-

пахано много полей, построены новые дороги и мосты,— но война омрачила эту встречу.

Приближаясь к аилу, я волновалась. Я всматривалась издали в новые, незнакомые улицы, в новые дома и сады, а потом глянула на тот бугор, где стояла наша школа, и дыхание у меня перехватило — на бугре рядышком стояли два больших тополя. Они покачивались на ветру. И первый раз я назвала человека, которого всю жизнь называла «учителем», просто по имени.

— Дюйшен! — прошептала я.— Спасибо тебе, Дюйшен, за все, что ты для меня сделал! Не забыл, значит, думал... Как это похоже на тебя!..

Увидев слезы на моем лице, паренек-возница встревожился:

— Что с вами?

— Да так, ничего. Ты знаешь кого-нибудь из этого колхоза?

— Знаю, конечно. Все тут свои.

— А Дюйшена знаешь, ну, тот, что учителем был?

— Дюйшена? Так ведь он в армию ушел. Я его сам из колхоза на этой бричке в военкомат отвозил.

У въезда в аил я попросила паренька остановиться и сошла с брички. Сошла и призадумалась. Идти сейчас по домам, в такое тревожное время искать знакомых, спрашивать, помните ли вы меня, я, мол, ваша землячка, я не решилась. А Дюйшен был уже в армии. И еще: я поклялась никогда не бывать там, где живут мои тетка и дядя. Людям многое можно простить, но такое злодеяние, я думаю, никто никому не простит. Я даже не хотела, чтобы они знали, что я приезжала в аил. Я свернула с дороги и пошла к тополям, на бугор.

Эх, тополя, тополя! Сколько же воды утекло с тех пор, когда вы были молоденькими сизоствольми деревцами! Все, о чем мечтал, все, что предсказывал человек, посадивший и вырастивший вас, сбылось. Что же вы так грустно шумите, о чем печалитесь! Или жалуетесь, что зима приближается, что холодные ветры обрывают вашу листву? Или боль и скорбь народная гуляет в ваших стволах?

Да, еще будет зима, и стужи будут, и лютые бураны, но придет и весна...

Я долго стояла, прислушиваясь к шуму осенней листвы. Арык у подножия деревьев был кем-то недавно расчищен: на земле еще сохранились глубокие, почти свежие

следы кетменя. Отстоявшаяся светлая вода в полном арыке чуть рябила, и на ней колыхались желтые листья тополей.

С бугра мне была видна крашеная крыша новой школы, а нашей уже и в помине не было.

Потом я спустилась к дороге, встретила попутную бричку и поехала на станцию.

Была война, потом пришла победа. Сколько горького счастья привалило народу: детвора бегала в школу с полевыми сумками отцов, к труду вернулись мужские руки; солдатки выплакали все глаза и молча примирились со своей вдовьей долей. А были и такие, что все еще ждали своих близких. Ведь не все сразу вернулись домой.

Не знала и я, что сталось с Дюйшеном. Мои земляки, приезжавшие в город, говорили, что он пропал без вести, бумагу такую получил сельсовет.

— А может, и погиб,— предполагали они,— время-то идет, а о нем ни слуху ни духу.

«Стало быть, не вернется уж мой учитель,— думала я временами.— Так и не пришлось нам увидеться с того памятного дня, когда мы попрощались на станции...»

Вспоминая порой о прошлом, я и не подозревала, оказывается, сколько горя скопилось в душе моей.

В сорок шестом году поздней осенью я ехала в Томский университет в научную командировку. Ехала я по Сибири впервые. Сурова и мрачна была Сибирь в ту предзимнюю пору. Темной стеной проносились за окнами вековые леса. В перелесках мелькали черные крыши деревень с белыми дымками из труб. На холодных полях оседал первый снег, летало над ними нахохленное воронье. Небо постоянно хмурилось.

Но мне в поезде было весело. Сосед по купе — бывший фронтовик, инвалид на костылях — смешил нас забавными историями и анекдотами из военной жизни. Я поражалась неистощимости его выдумки, за простоватостью которой и безобидным, казалось бы, смехом всегда ощущалась истинная правда. Он очень полюбился всем в вагоне. Так вот, где-то за Новосибирском наш поезд задержался на минуту на каком-то маленьком разъезде. Я стояла у окна и, глядя в него, смеялась над очередной шуткой моего соседа.

Поезд двинулся, набирая ход: проплыл за окном одино-

кий станционный домишко, и на стрелке я отпрянула от окна и снова приникла к стеклу. Там был он, Дюйшен! Он стоял у будки с путейским флажком в руке. Не знаю, что со мной произошло.

— Стойте! — крикнула я на весь вагон и кинулась к выходу, сама не зная, что делать, но тут увидела стоп-кран и с силой сорвала его с пломбы.

Сшиблись вагоны, поезд резко затормозил и так же резко отдал назад. С грохотом повалились вещи с полок, покатилась посуда, заголосили дети и женщины, кто-то крикнул не своим голосом:

— Человек под поездом!

А я была уже на ступеньках, спрыгнула, не видя под собой земли, как в бездну, и, так же ничего не видя перед собой, ничего не понимая, пустилась бежать к будке стрелочника, к Дюйшену. Сзади раздавались свистки кондукторов. Из вагона выпрыгивали пассажиры и бежали за мной.

Одним духом промчалась я вдоль состава, а Дюйшен бежал уже навстречу.

— Дюйшен, учитель! — крикнула я, бросаясь к нему.

Стрелочник приостановился, непонимающе глядя на меня. Это был он, Дюйшен, его лицо, его глаза, только усы он прежде не носил и немного постарел.

— Что с вами, сестрица, что вы? — участливо спросил он по-казахски.— Вы, наверно, обознались, я стрелочник Джангазин, меня зовут Бейнеу.

— Бейнеу?

И не знаю, как я успела зажать рот, чтобы не закричать от горя, от боли, от стыда. Что я наделала? Я закрыла лицо руками и опустила голову. Почему не разверзлась земля под ногами? Мне надо было извиниться перед стрелочником, попросить прощения у народа, а я все стояла и молчала, как камень. Толпа сбежавшихся пассажиров тоже почему-то молчала. Я ждала, что сейчас начнут кричать на меня, обругают. Но все молчали. И в этой жуткой тишине всхлипнула какая-то женщина:

— Несчастная, мужа или брата признала, да не он оказался, ошиблась.

Люди зашевелились.

— И надо же быть такому,— пробасил кто-то.

— А чего не бывает, чего только не пережили мы в войну...— ответил срывающийся женский голос.

Стрелочник отнял мои руки от лица и сказал:

— Идемте, я провожу вас до вагона, холодно.

Он взял меня под руку. С другой стороны меня взял под руку какой-то офицер.

— Идемте, гражданка, мы все понимаем,— сказал он.

Люди расступились, и меня повели, точно на похоронах. Мы медленно шли впереди, а за нами все остальные. Встречные пассажиры тоже молча пристраивались к толпе. Кто-то накинул мне на плечи пуховый платок. Мой сосед по купе ковылял на своих костылях сбоку. Он чуть забегал вперед, смотрел мне в лицо. Весельчак, балагур, добрый и мужественный человек, он почему-то шел, обнажив голову, и, кажется, плакал. И я плакала. И в этом мерном шествии вдоль состава, в посвисте и гудении ветра в телеграфных проводах мне слышались звуки похоронного марша. «Нет, не увижу я его никогда».

У вагона нас остановил начальник поезда. Он что-то кричал, грозя мне пальцем, говорил что-то о судебной ответственности, о штрафе. Но я ничего не отвечала. Мне было все безразлично. Он сунул мне протокол, потребовал, чтобы я расписалась, но у меня не было сил взять в руки карандаш.

И тогда мой сосед по купе выхватил у него бумагу и, надвигаясь на него на своих костылях, закричал ему в лицо:

— Оставь ее в покое! Я распишусь, это я сорвал стоп-кран, я буду отвечать!..

По сибирской земле, по исконно русскому краю спешил припоздавший поезд. Печально звенела в ночи гитара моего соседа. Как протяжную песню русских вдов, уносила я в своем сердце скорбный отголосок от встречи с отгремевшей войной.

Шли годы. Уходило прошлое, вечно звало грядущее с его большими и малыми заботами. Замуж я вышла поздно. Но встретила хорошего человека. У нас дети, семья, живем мы дружно. Я теперь доктор философских наук. Часто приходится ездить. Побывала во многих странах... А вот в аиле больше не была. На то были, конечно, причины, и много, но я не собираюсь оправдывать себя. То, что я порвала связь с земляками,— это плохо, непростительно. Но так уж сложилась судьба моя. Я не то что позабыла о былом, нет, я не могла этого забыть, я как-то отдалилась от него.

Бывают такие родники в горах: проляжет новая дорога, тропа к ним забывается, все реже заворачивают туда путники напиться воды, и родники понемногу зарастают мятой да ежевикой. А потом и не заметишь их со стороны. И редко кто вспомнит о таком роднике да свернет к нему с большака

в жаркий день, чтобы утолить жажду. Придет человек, разыщет то заглохшее место, раздвинет заросли и тихо ахнет: давно никем не замутненная прохладная вода необыкновенной чистоты поразит его своим спокойствием и глубиной своей. И увидит он в том роднике и себя, и солнце, и небо, и горы... подумает тот человек, надо и товарищам рассказать об этом. Подумает так и забудет до следующего раза.

Вот так иной раз и в жизни бывает. Но на то она, наверно, и есть жизнь...

Я вспомнила о таких родниках недавно, после того, как побывала в аиле.

Вы, конечно, недоумевали тогда, почему я так неожиданно уехала из Куркуреу. Разве нельзя было рассказать людям все, что я сейчас поведала вам, там, на месте? Нет. Я была так расстроена, мне было так стыдно, я стыдилась самой себя, потому и решила сразу же уехать. Я поняла, что не смогу встретиться с Дюйшеном, не смогу посмотреть ему прямо в глаза. Мне надо было успокоиться, собраться с мыслями, подумать в пути обо всем, что я хотела бы сказать не только нашим землякам, но и многим другим людям.

Я чувствовала себя виноватой еще и потому, что не мне надо было оказывать всяческие почести, не мне надо было сидеть на почетном месте при открытии новой школы. Такое право имел прежде всего наш первый учитель, первый коммунист нашего аила — старый Дюйшен. А получилось наоборот. Мы сидели за праздничным столом, а этот золотой человек спешил развезти почту, спешил доставить к открытию школы поздравительные телеграммы ее бывших выпускников.

Ведь это не единственный случай. Я не раз это наблюдала. И потому я задаюсь таким вопросом: когда мы утратили способность по-настоящему уважать простого человека, как уважал его Ленин?.. И слава богу, что мы говорим теперь о подобных вещах без ханжества и лицемерия. Очень хорошо, что мы и в этом еще ближе подошли к Ленину.

Молодежь не знает, каким учителем был Дюйшен в свое время. А среди старшего поколения многих уже нет. Немало учеников Дюйшена погибло на войне, они были настоящими советскими воинами. Я обязана была поведать молодежи о своем учителе Дюйшене. Каждый на моем месте должен был это сделать. Но я не бывала в аиле, не знала ничего о Дюйшене, и со временем его образ

превратился для меня словно бы в дорогую реликвию, хранимую в музейной тиши.

Я еще приеду к своему учителю и буду держать перед ним ответ. Попрошу прощения.

По возвращении из Москвы я хочу поехать в Куркуреу и предложить там людям назвать новую школу-интернат «школой Дюйшена». Да, именем этого простого колхозника, ныне почтальона. Надеюсь, что вы, как земляк, поддержите мое предложение. Я прошу вас об этом.

В Москве сейчас второй час ночи. Я стою на балконе гостиницы, смотрю на раздолье московских огней и думаю о том, как приеду в аил, встречусь с Учителем и поцелую его в седую бороду...

Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мною картины. Их много, я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще главного... Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю. И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина — еще только замысел.

И все-таки я хочу поговорить с вами о своей еще не написанной вещи. Хочу посоветоваться. Вы, конечно, догадываетесь, что картина моя будет посвящена первому учителю нашего аила, первому коммунисту — старому Дюйшену.

Но я еще не представляю себе, сумею ли выразить красками эту сложную жизнь, исполненную борьбы, эти многообразные судьбы и страсти человеческие. Как сделать, чтобы не расплескать эту чашу, чтобы я сумел донести ее до вас, мои современники, как сделать, чтобы мой замысел не просто дошел до вас, а стал бы нашим общим творением?

Я не могу не написать эту картину, но столько раздумий и тревог охватывает меня! Иной раз мне кажется, что у меня ничего не получится. И тогда я думаю: зачем судьбе было угодно вложить мне в руки кисть? Что за мученическая жизнь! А другой раз я чувствую себя таким могучим, что горы свернуть готов. И тогда я думаю: смотри, изучай, отбирай. Напиши тополя Дюйшена и Алтынай, те самые тополя, которые доставили тебе в детстве столько отрадных мгновений, хотя ты и не знал их истории. Напиши босоногого загорелого мальчишку. Он взобрался высоко-высоко,

и сидит на ветке тополя, и смотрит зачарованными глазами в неведомую даль.

Или напиши картину и назови ее «Первый учитель». Это может быть тот момент, когда Дюйшен переносит на руках ребятишек через речку, а мимо на сытых диких конях проезжают глумящиеся над ним тупые люди в красных лисьих малахаях...

А не то напиши, как учитель провожает Алтынай в город. Помнишь, как крикнул он в последний раз? Напиши такую картину, чтобы она, как крик Дюйшена, который до сих пор слышит Алтынай, отозвалась в сердце каждого человека.

Это я так говорю себе. Я много кое-чего говорю себе, да не всегда все получается. И сейчас я не знаю, какую еще напишу картину. Но зато я твердо знаю одно: я буду искать.

1962

Иван Катаев

(1902—1939)

БЕССМЕРТИЕ

Я никогда не видел слесаря Бачурина. Но я знаю места, где он жил.

Туман ли наполнит емкие долины, сеет ли сплошной мельчайший дождик, оседающий на одежде нарзанными капельками, прояснеет ли,— вид грозненских Новых промыслов всегда прекрасен и всегда печален. Печальность, наверное, от незавершенности покорения этих высоких холмов человеческим трудом. Что они? Уже не дикая вольная гряда кавказской Азии, ведомая только ветру, да мощному небу, да всаднику в прямоугольной бурке. Еще не город на горе, не завод, укрывший собою первозданную природу так, что почти и не сквозит она, забывается в проходах меж корпусами, в путанице подъездных путей. Нефтяные промысла надолго повисли в этом пролете между первобытностью и цивилизацией и, как бы ни гремели, как бы ни лязгали сталью о сталь, как бы ни сияли ночи огнями, пролегая вдали, в высотах, ярким Млечным Путем,— все будто нет последней победы.

Вот кидается зигзагами шоссе, одолевая подъем, и кругом только промышленность — черные, в потеках застывшего парафина и свежетесовые буровые взбегают по склонам, частым лесом стоят на гребнях, толпами нисходят

в глубокие балки; всюду белые тучные резервуары, черепичные кровли мастерских, жилищ, столовых, там градирня газового завода, здесь гудящая крепость электроподстанции. Жизнь, сосредоточенное добывание энергии, в грохоте, в перестуках, в плотных клубах пара, вырывающихся из земли. Но, взлетев на бугор, переломилось книзу шоссе — и выросла сразу молчаливая извечная страна.

Рядом крутые валы неосвоенных высот, одетые рыжеватым плюшем кустарников, чуть тронутые снегом на взлобьях,— нехоженые тихие дебри, где, может быть, только единственная пугливая тропинка шныряет в колючем сплетенье мокрого цепкого боярышника. Рыжие, бурые, туманно-малиновые гряды — и за последним малиновым мысом — сизая мгла долины Чечен-аула. Взглянуть направо, там, за Алдами, на горизонте, далеком-далеком, в ветреной недостижимой синеве — лесистые Черные горы в пятнах и полосах снега.

Какой унылый и важный простор.

— А еще просветлеет — встанет над всем, все понизит, уложит под собой главный хребет, великий, белый, в тенях и морщинах, весь — иноязычная песня, варварская легенда, пущенная от моря к морю; и вдруг — просверкнет из облаков Казбек углом страшных льдов своих (сказал бы Гоголь).

На другой день после приезда я шел по первому эксплуатационному участку. Дождь перестал только к утру, было сыро, туманно, неприютно, окрестность проступала слепо, точно сквозь вощеную бумагу. На дорогах гомерическая грозненская грязь хватала за ноги, стягивала сапоги, но и здесь, на травянистых побуревших луговинах, упругая почва была пропитана влагой и грустно чавкала, отпуская подошву. Странное безлюдье на участке поразило меня. Я уже знал по литературе: современная эксплуатация промыслов насосами и газлифтами не требует большого числа рабочих, добыча почти автоматизирована, только общий контроль да ремонт. И все же мне, привыкшему в прежние годы к ребяческой звонкой суете желоночного тартания, удивительно было ощущать вокруг себя это невидимое дело, творящееся силами безголовых механизмов, как будто вовсе покинутых людьми. Вчера я записал в блокноте: за прошлый месяц на первом участке добыто тридцать тысяч тонн нефти. Значит, вся эта масса вытянута из земли, переслана по трубам на заводы почти без прикосновения человеческой руки, в безмолвии.

Тихое белое небо, мокрая трава, трубы, скупые линейные силуэты насосных качалок и газлифтов в тумане — какая-то железная пустыня: такие же пустынные заводы автоматически движут станки, вращают конвейеры, а люди ушли куда-нибудь на реку, задумчиво сидят на берегу, под небом.

Тишина на участке была бы ненарушимой, если бы не ритмические скрипы, слабые стоны, доносившиеся с разных сторон из тумана, и еще — мерные шорохи над самой землей, в траве. Откуда шорохи, мне уже было понятно: то и дело приходилось перешагивать через железные тросы, протянутые по всему участку и беспрерывно дергающиеся вперед и назад. Чтобы им не касаться земли, кое-где подложены большие деревянные катушки, и катушки эти, в деревянных желобах, похожих на корытца, тоже ходят: вперед — назад, вперед — назад. Я пошел вдоль одного такого троса, и он привел меня к насосной качалке; я узнал ее по рисунку, простую качалку типа Оклагома, впервые заменившую на промыслах дикарскую желонку в девятьсот двадцать пятом году. Она-то и поскрипывала жалобно, кланяясь, как журавль, опуская и поднимая полированную штангу, идущую к насосному поршню. Несложное движение это придавалось ей как раз тем самым тросом, который ползал в траве на катушках. Я повернул обратно и скоро увидел, что трос тянется к одинокому бетонному зданьицу на пригорке, и оттуда исходят во все стороны, как лучи, десятки таких же тяжей. Там, внутри здания, трансмиссия от мотора неспешно вращала горизонтальный эксцентрик, к краям которого и были прикреплены все тяжи. Здесь, в чистоте выбеленных стен, в белом свете широких окон, точно в родильном покое, беспрерывно возникало это простейшее движение, передающееся к десяткам скважин.

За все время хождения по участку я увидел только двоих людей: часовых, проверивших мой пропуск.

Вечером Василий Михеевич Ботов, давнишний мой приятель и промысловый старожил, поведал мне следующую краткую историю тяжей на деревянных катушках.

— Был у нас на промыслах такой чудак, Бачурин, слесарь. Эту самую систему тяги от эксцентрика к качалкам он и изобрел году в двадцать пятом. Дело как будто нехитрое, а ведь все промысла приняли такую систему, умней не придумаешь. Конечно, премировали Бачурина: полсотней. Был он, между прочим, партийный, однако — наследие царизма — любил незаметно закладывать вот сюда.

Наверно, и премию использовал по этому назначению. А в нем издавна сидел туберкулез, и при туберкулезе, конечно, совсем это не годится. Лечили его, ездил он как-то на курорт. Не помогло. Ну, и в прошлом году сбачурился наш Бачурин, схоронили. Только идешь по эксплуатационным участкам — тихо везде, пусто, качалки кланяются себе, поскрипывают, а катушки повсюду в траве ходят: туда-сюда, туда-сюда. Идешь и думаешь: «А Бачурин-то наш все катается, как катается...»

Ботов усмехнулся, и разговор перешел на другое. Мне о многом нужно было его расспросить, в голове толклись газетные задания, вопросы, порожденные глубоким прорывом в бурении, а с эксплуатацией в это время все обстояло благополучно. Словом, мыслям моим тогда недосуг было заниматься качалками Оклагома и всем, что с ними связано. Мелькнуло только: любопытно все это, надо запомнить,— и на несколько дней бачуринскую историю заслонили другие дела и впечатления.

Только в день отъезда, на обратном пути с дальней буровой, мне снова пришлось проходить первым участком. За это время наступили холода, на промыслах лег прочный снег. Все побелело кругом и будто еще обезлюдело. Еще геометричней и суше зачернели трубы, вышки, механизмы, еще безотрадней стлалась равнинная даль под бело-свинцовым покровом, еще холодней, грозней сверкали над всей страной зубцы и ребристые глыбы Главного хребта. Все так же творилась на промыслах невидимая бессонная работа, в морозном чистом воздухе повсюду горько перекликались качалки, и бесконечное снование железных тяжей и деревянных катушек стало грубей и отчетливей на снежной незапятнанной белизне.

«Что ж это за бедное, ничтожное движенье,— подумал я, вспомнив слесаря Бачурина,— вперед — назад, вперед — назад, и ни с места. И это все, во что вошла твоя жизнь, товарищ Бачурин, жизнь долгая и богатая разнообразнейшими движениями... Богатая ли?..»

И тут я понял, что ничего не знаю об этом исчезнувшем человеке, чья овеществленная мысль продолжает участвовать в труде народа, поднимая на поверхность земли новые и новые тонны нефти. Не знаю облика его, строя суждений, говора, повадок, всего того отличительного и единственного, что вкупе полагало о себе: «Я, Бачурин»,— и, может быть, особым образом подмигивало приятелю, закусывая рюмочку квашеным помидором, и после мякотью большого пальца разглаживало толстые усы... Да были ли усы-то?

Это уж начинается фантазия, литература, а про то, что было действительно, я ничего не могу сказать. Даже имени-отчества не знаю.

Захотелось до страсти, прямо потребовалось — немедленно до всего дознаться, расспросить Ботова, друзей, родню,— осталась ведь, наверное. Посмотреть хотя фотографическую карточку...

Но возле групповой конторы меня уже ожидала попутная машина, надо было в город, время рассчитано до минуты. И пришлось махнуть рукой на Бачурина.

С того разу я не бывал на Новых промыслах. Подумывал, не написать ли Василию Михеевичу, не запросить ли сведения о Бачурине. Да показалось как-то неловко. И что он мне может сообщить, кроме того, что уже рассказал? Год и место рождения, партийный стаж?.. Ну, карточку пришлет,— опять ничего не скажет карточка. Так и не написал.

Вспоминаю же я о Бачурине все чаще и чаще.

Ведь было время,— мы жили с ним на одном куске земли: в двадцатом и двадцать первом годах. Может, встречались с ним на собраниях, на субботниках, не зная друг друга. Может быть, даже разговаривали мельком, прикуривали... Тогда еще дымились Новые промысла, подожженные чеченцами, дотлевали безобразные пожарища. Бачурин вместе с другими тушил, расчищал, чинил, восстанавливал. А где он был раньше? Не партизанил ли он, не скитался ли зимою в горах с отрядом Николая Гикало, не дрался ли под Воздвиженской, не стоял ли с отчаянно бьющимся сердцем на склоне холма, всматриваясь в черноту весенней ночи, ожидая, когда вспыхнет на промыслах керосиновый резервуар — сигнальный факел восстания? В ту ночь не вспыхнуло, напрасно ждали гикаловцы: вышла ошибка. И не хватил ли Бачурин кепкой оземь в горькой досаде на такое окаянство?

Это был русский рабочий, перекочевавший сюда с севера, в одиночку, или с земляками, или мальчишкой вместе с папаней поселившийся здесь, в этой ни на что не похожей стране, на краю русского света. Шли десятилетия, непобежденный Кавказ блистал над ним вечными льдами, шумела мутная Сунжа, а он, Бачурин, покашливая, делал свое слесарское дело, которое в соединении с миллионами других человеческих дел когда-то должно изменить все лицо этой страны и очертания горных складок и, может быть, страшную главу самого Казбека. Тут все было особенное, грозненское, со своими красками, со своим неповторимым запахом событий. Бачурин мог взять жену из соседней стани-

цы, мог женить сына на здешней казачке, на иногородней. То-то лилось на свадьбе кизлярское и полы трещали от подкованных сапог... Тысячи всяких происшествий, о которых мы можем разузнать только самое общее и скучное, случились здесь, в Грозном и на промыслах,— Бачурин все видел, все переживал, и от этих переживаний ничего не осталось. Можно написать историческое исследование: грозненский пролетариат в 1905 году. Можно сочинить роман о достижениях грозненцев в первой пятилетке, пустив в герои кого-нибудь вроде Бачурина. Пускай все это будет верно, похоже на правду, и все же получатся только общие черты, типичное, подобное, а не действительный слесарь Бачурин, живший на Новых промыслах и скончавшийся от туберкулеза в тысяча девятьсот тридцатом году.

След настоящего, доподлинного Бачурина заключен только в той комбинации тяжей и катушек, идея которой его озарила однажды. Это единственная достоверная память о нем. Не будь катушек, созданных его самостоятельной творческой мыслью, я бы вовсе ничего не знал о человеке с этой фамилией, не подозревал о его существовании.

Может быть, и довольно Бачурину такого бессмертия — пусть себе поскрипывает и катается туда-сюда?

Но уже в тридцать первом году примитивные качалки Оклагома вытеснялись на промыслах более усовершенствованными насосами Виккерса и «Идеал», работающими от своего мотора. И уже тогда на смену насосам всех систем пришел газлифт, выжимающий нефть из скважины давлением газа с компрессорной станции. Скоро качалки Оклагома вместе с бачуринской системой тяги вовсе исчезнут с промыслов.

Последний след трудов и дум Бачурина сотрется.

А мне все не хочется его забывать.

Когда я читаю в газете, что в Грозном построили новую городскую баню, я думаю: «Эх, уж не попариться Бачурину в этой бане...»

Когда недавно было сообщено, что от Грозного к Новым промыслам пошел трамвай, я опять прикинул на Бачурина: «Не проедется он в трамвае с шиком и звоном, без него, без него ездят...»

Почему-то сдается мне, что это был превосходный человек.

Так пускай же помнят его, крепче помнят — дети, внуки, товарищи, народ.

1934

Юрий Олеша

(1899—1960)

ЛЕТОМ

С первого взгляда он мне не понравился. Он стоял на краю обрыва и смотрел через бинокль в небо. Мне показалось, что он принадлежит к тем людям, которые пользуются благами жизни с чересчур уж заметным увлечением. Я не любил таких людей.

Он смотрел на планету Юпитер.

Он был писатель, как и я. В эту минуту я подумал о себе с превосходством. Он меня раздражал, и я подумал, что ему не придет в голову, как пришло мне, сказать о Юпитере, что это — фонарь неба.

Нас познакомили. Он оказался чрезвычайно почтительным. Он сказал, что знает меня еще с тех пор, когда он был слесарем в железнодорожном депо.

— Я читал ваши фельетоны в «Гудке».

Передо мной стоял молодой рабочий, сделавшийся писателем. Затем я узнал, что он изучает звездное небо. Все изменилось. Я стал иначе относиться к раздражавшему меня биноклю. Оказалось, что это не причуда курортника, а нечто более серьезное.

Первое, что он мне показал,— была звезда Алтаир. Она находится в созвездии Орла. Это созвездие состоит из трех звезд. Они расположены одна над другой по прямой линии. Как будто кто-то прямо в вас целится из лука. Центральная звезда — Алтаир — кажется вершиной направленной в вас стрелы. Она горит очень ярко, синим, полным блеска цветом.

Затем молодой человек сказал:

— А вот Вега.

Он стоял, вытянув руку в высоту. Я поднял голову и увидел прямо над собой, в середине купола, великолепную голубую звезду.

Так это и есть Вега!

Сколько раз я думал о красоте этого слова. Я знал, что это название звезды. Но я не знал какой. Я повторял «Вега». И в этих звуках была странная протяжность.

Далекая, холодная звезда.

Как поэтически правильно то, что именно вид этой звезды отозвался в уме людей словом «Вега»!

— Она самая яркая в летнем небе,— сказал молодой человек.— Вега, Капелла, Арктур.

— Получается стих,— сказал я.

Он не понял. Лицо его выражало учтивейшее желание понять.

— Вега, Капелла, Арктур. Получается дактиль.

— Совершенно верно! — Он воскликнул это с необычайной радостью.— Совершенно верно! Я не заметил... Вега, Капелла, Арктур! — Потом мы смотрели на звезду Арктур. Она стояла низко над черными очертаниями деревьев. Это беспокойная, быстро мерцающая звезда. И ночь в этом месте казалась особенно сгущенной.

— А Капелла?

Молодой человек оглянулся. Дерево в перспективе мешало ему. Он сделал движение вглядывающегося человека.

— Еще нет,— сказал он.— Рано!

Как правило, люди не слишком много интереса проявляют к звездному небу. Каждому известно, что звезды расположены в созвездиях, но различать в небе созвездия умеют далеко не многие. Даже в литературе редко встречаются звезды с их именами. Просто говорится: звезды — и только. Мало кто знает, что картина звездного неба изменяется с изменением времени года. И уж никому нет дела до того, что над странами, находящимися по ту

сторону экватора, стоит совершенно неизвестное нам южное небо.

Когда в летний вечер смотришь на звезды, внимание не задерживается на том, чтобы уловить порядок в их расположении. Воспринимаешь эту россыпь как нечто беспорядочное. Как беспорядочен фейерверк. И легко представить себе, что каждый вечер небо выглядит иначе.

Но вот получено объяснение. Вы знаете — это Стрелец, это Кассиопея, это Дракон, это Персей, это Плеяды, это Андромеда. Небо перестало быть фейерверком. Оно как бы остановилось перед вами. Вы испытываете поразительное, ни с чем не сравнимое ощущение. С тех пор как вы выросли, впервые вы постигаете знание, столь же древнее и столь же естественное, как речь.

— А это... Видите? Выше... Кольцо? Вот там! Это Северный Венец. И в нем — Гемма.

Надо было видеть, с каким упоением давал мне свои объяснения этот очаровательный молодой человек. Он водил меня с места на место. Он ставил меня то тут, то там. При этом он легко касался моих плеч. Он становился сзади меня и приподнимал мне голову.

Прежде чем показать мне то или иное светило, он сперва прицеливался сам. Я не знал, что он там такое выискивает в небе. Он молчал.

— Подождите,— говорит он. Как будто звезду можно было спугнуть. Это был настоящий энтузиаст.— Вега сегодня хороша! — восклицал он.— Ах, хороша!

Потом я ушел к себе. Он сказал, что позовет меня, когда *появится она.* И через час мы крались вдвоем вдоль кустов. Вдруг он остановился. Я почувствовал, что он ищет — не оглядываясь — моей руки. Я протянул ему руку, и он вывел меня вперед.

В тишине и свете, над уснувшим миром, висела звезда — зеленоватая, полная, свежая, почти влажная.

— Капелла? — тихо спросил я.

Он кивнул головой.

И после паузы шепотом, таинственно произнес:

— В Созвездии Возничего.

Когда мы прощались, я его поблагодарил.

Я сказал:

— Спасибо за объяснения.

— Ну что вы! — сказал он.— Это вам спасибо!

— За что?

Я удивился.

— За то, что заинтересовались!

Это было самое удивительное и неожиданное в этом вечере. Человек благодарил меня за то, что я проявил интерес к звездному небу. Как будто это небо было его! Как будто он отвечал за все зрелище! Как будто он доволен, что небо не подвело!

Это был хозяин земли и неба.

Я подумал о том, сколько людей до меня интересовались небом. Астрономы, мореплаватели, открыватели земель и звезд.

«Спасибо, что заинтересовались»!

Он получил эти земли и звезды в наследство. Он получил в наследство знание.

1936

Василий Гроссман

(1905—1964)

ИНСПЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ

Когда жена сердилась и начинала громко и быстро говорить, Королькову казалось, будто гудит бормашина, приведенная в действие мускулистым и настойчивым зубным врачом.

Корольков имел собственную теорию обращения с женой, выведенную из опыта инженерской работы. Инспектор безопасности в каменноугольных шахтах, он немало лет посвятил изучению взрывов в подземных выработках. Эта работа сделала его скептиком. Сложны и запутанны законы выделения рудничного газа, внезапны опасные скопления метана в куполах и отлично вентилируемых продольных; много недоступного научному предвидению встретилось Королькову в его работе.

И когда жена во время мирного послеобеденного чтения газеты вдруг начинала ворчать и сердиться, Корольков не пробовал возражать, а только думал про себя: «Вот посади здесь междуведомственную комиссию под председательством академика Скачинского — ни черта они не сделают».

Приятели часто советовали ему уйти с инспекторской работы.

— Нет смысла и расчета,— говорили они,— самая паршивая должность в угольной промышленности. Старается

инспектор — эксплуатационники сердятся: лаву остановил, заставил рабочих снять с очистных работ и перевести на крепление, газовый забой закрестил. Сердятся, сердятся эксплуатационники, а потом и свинью подложат. Перестанет стараться инспектор — еще хуже: ведь он за человеческие жизни отвечает своей собственной шкурой. Что ни случится — он первый в ответе. А в шахте все может случиться: и завал, и обрушение, и неисправность кабеля, и пожарчик, и взрыв, и орлы[1], и обрывы канатов, и падение людей, и неисправность крепи...

— Ты сколько раз был под судом, Аполлон Маркович? — спрашивали приятели.

— Не считал,— говорил Корольков,— я статистики личной жизни не веду.

Но худой, сутулый и малорослый инженер, со смешным веревочным галстуком вокруг жилистой, кадыкастой шеи, сердито и упрямо поглядывая на мир, не собирался уходить с инспекторской работы.

И как не мыслил себя Корольков без суровой работы, не мыслил он жизни без жены.

Это она, его длиннолицая и грозная подруга, спустилась однажды во взорванную штольню поднимать на-гора̀ угоревшего до полусмерти мужа. Она двадцать лет кочевала с Корольковым по рудникам Донбасса, два года прожила с ним в земляной лачуге в далекой Караганде, испытала одуряющую жару казахстанской пустыни, лютые морозы Тыргана, свирепость уральских клопов в общежитии челябинских копей.

Правда, характер у нее был тяжеленек. Корольков полагал, что у нее женский характер — необъяснимый и неожиданный. У шахты, особенно у газовой, тоже был женский характер.

Приказ Наркомтяжпрома застал Королькова в Донбассе на одной из шахт Буденновского рудоуправления.

Когда управляющий вызвал Королькова и, посмеиваясь и шурша бумагами, сказал:

— Имею для вас, Аполлон Маркович, конфетку из Москвы,— Корольков зевнул и спокойно ответил:

— А я видел и не такие конфеты, я их в своей жизни две тонны съел.

— А этой, пожалуй, подавитесь,— сказал управляющий.

Корольков удивился зловредности управляющего.

— Ну, в чем дело? — сердито спросил он.— За то, что

---

[1] О р е л — обрыв вагонетки.

я шахту четыре закрыл? Чего они накорякали? С предупреждением? Или с преданием суду? А? — И он потянулся к бумагам.

Управляющий с трудом выговорил:

— С вас, строго говоря, нужно два ведра ректификата, честное слово партизана. Вы посмотрите, перевод в центральную инспекцию, с выражением личной благодарности, с премией в три тысячи и плюс к этому обеспечение московской площадью,— и, поглядев на морщинистое лицо Королькова, он захохотал: уж больно не вязались эти чудеса с угрюмым угольным инженером, сидевшим перед ним.

Корольков решил, что его разыгрывают, потом подумал, что в Москве произошла ошибка, но, убедившись в правильности приказа, расстроился и, спускаясь в шахту, все сплевывал и неодобрительно покачивал головой.

Он долго не выезжал из шахты, был особенно придирчив в этот день, составил акт на заведующего лавой и оштрафовал всеми уважаемого старичка десятника. Вечером он пришел домой и рассказал жене новость.

— Бог их душу знает,— говорил он, поглядывая на нее.— Решили меня московские умники отметить: три тысячи премии и в Москву переводят старшим инспектором. «Конфект»,— говорит управляющий.

Он смотрел на жену и все соображал, как она отнесется к такому происшествию. Полина Павловна повела себя самым неожиданным образом, она встретила известие молча.

За обедом она все смотрела на мужа изучающими глазами, словно открыла в нем какой-то страшный и опасный порок.

Корольков, целясь вилкой в квашеный помидор, мельком взглянул на нее и спросил:

— Что ты так смотришь, как рябчик на попа?

Полина Павловна сдавленным голосом сказала:

— Аполлон...— и впервые за их совместную жизнь заплакала.

Корольков растерялся и, не утешив жены, ушел в маркшейдерскую на общее собрание.

Ночью он спросил у нее:

— Что ты плакала, Поля?

Она объяснила, и, услышав ее слова, Корольков затрясся от смеха.

— Это я стану за барышнями московскими ухаживать? Да ты с ума сошла, что ли? Ты только посмотри на мою морду. Брошу тебя! Да кому я нужен, старый ломовой? Да ведь только у тебя я мужской успех могу иметь.

— Что ты со мной в Москве станешь делать? — убеждала Полина Павловна.— Старая, некрасивая, характер нервный, при этом дура. Думаешь, я помню, чему нас в гимназии учили? К тебе там профессории будут ходить. Что я им скажу? Ты со стыда сгоришь...

Корольков недоуменно поглядывал на жену, но, наконец, и его взяло сомнение, и он пошел к зеркалу, смотреть, есть ли у него шансы.

Он набрал воздуха в грудь, надул щеки, стараясь придать лицу наиболее выгодный вид, но даже в таком раздутом состоянии Корольков себе не понравился и, махнув рукой, с шумом выпустил из груди воздух. После этого он лег в постель, но уснуть не смог.

Инженер Корольков вспомнил ночью свою молодость, первые годы женатой жизни. Он работал на шахте «Иван», каких-нибудь двадцать верст отсюда. Полина Павловна щеголяла тогда в голубом сарафане, а волосы заплетала в косы. Правда, у нее и тогда было лошадиное лицо, длинноватое несколько, и друг Королькова, веселый штейгер Ванька Кужелев, человек прямой и грубый, не советовал ему жениться, говорил:

— Да что ты делаешь? У нас в подземной конюшне сорок лошадей, все одна в одну, тихие, добрые. Зачем тебе эта, норовистая?

Кужелев погиб в 1912 году, во время пожара на центральной шахте. Сколько угля добыли с того времени! Сколько людей прошло, состарилось, померло, вновь пришло. И в шахтах много произошло за эти годы: электричество, пневматические молотки, новые системы работ, черт знает что!

Да, переводят в центр! Кто это ему удружил? Совершенно непонятно. Кажется, нет человека в угольной промышленности, с которым Корольков не поругался бы. Самое странное, что, очевидно, кто-то следил в Москве за ним: перечислили в приказе, где и когда он работал, что делал: «В 1930 году предотвратил катастрофу на шахте 17-17 бис». Сколько бездельников, однако, в центре! Шутка сказать — откопать в огромном архиве этакую ерунду. Ну, черта с два, он не осядет в Москве. Полина Павловна пусть стережет квартиру, а он покатит в Подмосковный бассейн, там бурые угли, посмотреть их перед смертью нужно. Говорят,

в Подмосковном почва пучит, а уголь пропитан углекислотой, как в мексиканских рудниках. Вот посмотришь подмосковный уголь, и незачем в Мексику ездить. Он долго еще не засыпал, все размышлял о странностях женской души. Вот поди ты, до чего додумалась! Ведь прямо-таки невероятно. Ему снова вспомнилась молодость и голубой сарафан Полины Павловны. И мысль о сарафане вызвала незнакомое Королькову чувство грусти. Он точно видел его, этот голубой сарафан с белыми цветочками. А будучи молокососом, он предполагал организовать экспедицию к центру земли.

Корольков вздохнул и вдруг пожалел, что нет у них с Полиной Павловной детей. Теперь бы он сказал:

— Смотри, молодой человек, как твоего отца ценят. В Москву вызывают.

Удивительная чушь лезла в голову и мешала спать.

Все поздравляли Королькова и удивлялись его удаче. Начальник горноспасательной станции Фадеев, старый приятель Королькова (они когда-то вместе пережили катастрофу на Горловской шахте), затащил Королькова в кабинет и, жульнически подмигивая, похохатывая, начал расспрашивать.

— Вот ты какой,— говорил Фадеев,— ловко это у тебя вышло, прямо удивительно. Через кого только все устроил, составил, значит, список подвигов и послал в Москву? Надо и мне попробовать, ей-богу. Ты кому посылал? Андрею Фридриховичу?

— Что ты, Николай Тихонович,— сказал Корольков,— я вчера только узнал об этом, ничего я не посылал.

Но Фадеев не слушал и восхищался.

— Жох, жох,— говорил, мотая головой.— Что ж, они, по-твоему, сами составляли? «Аполлон Маркович Корольков в двадцать седьмом году образцово перевел ряд шахт на газовый режим, а в тридцать втором — перенес опыт Донбасса на крупные шахты Кузбассугля». Ах, прохвост, ничего не забыл. Недели две сочинял?

Корольков прижал руки к груди и сказал:

— Николай Тихонович, ей-богу, не я. Я сам уж забыл, чего там делал, мало ли всякого было. А вчера читал приказ и вспомнил: правильно, было это. Мне и в голову не приходило, что я опыт переносил в Сибирь. Ты что, не знаешь меня разве?

Но тут Фадеев стал серьезен и сказал:

— Эй, брат, я вижу, ты склочник. Не хочешь со старым другом по-честному говорить, черт с тобой.

Корольков вдруг налился кровью и спросил:

— Что ж я, по-твоему, прохвост?

И, не дождавшись ответа, он ушел, с такой силой хлопнув дверью, что висевший на стене дрегер-аппарат звякнул покрышкой.

Корольков должен был поехать на маленькую шахтенку 5-С. Забрызганная грязью бидарка[1] ожидала его перед шахтной конторой. Старик кучер, инвалид-забойщик, один из немногих уцелевших после страшного взрыва рудника в 1908 году, откинул кожаный фартук бидарки и сказал:

— Поехали, Аполлон Маркович? Я шахтерки ваши из бани принес.

— Надо лампу взять,— сказал Корольков,— не люблю я ламп на 5-С, текут.

— Взял я вашу лампочку,— ответил кучер,— в тряпочку завернул.

Дорога на шахту шла проселком, и колеса бидарки увязали в грязи. Кругом лежала тяжелая, мокрая земля, покрытая полусгнившими клочьями прошлогодней растительности, но кое-где, на пригорках, уже видны были зеленые пятна молодой травы. По небу плыли белые, не запачканные угольной пылью облака, сильно и ярко светило солнце. Теплый ветер дул со стороны Макеевки, но родился ветер не в Макеевке, а на берегу Азовского моря, и его влажное дыхание невольно радовало путников; даже унылый конь, казалось, волновался, раздувал ноздри.

Бидарку сильно подбрасывало на ухабах, но Корольков не замечал этого. Лишь сейчас он по-настоящему взволновался. Что за черт, в самом деле! Ведь это не шуточки, все это приключившееся вчера! Кто-то наблюдал за ним, кто-то интересовался его работой и жизнью. Корольков оглянулся по сторонам — ему показалось, что и сейчас этот таинственный москвич идет полем и все поглядывает на Королькова: «Едешь, значит, на 5-С, Аполлон Маркович?»

Они приехали на шахту. Корольков побрел к копру, помахивая лампой, и грязь под ногами вздыхала и чавкала, хватала за ноги, пыталась стащить сапоги.

Тысячи раз шел так через грязный шахтный двор, помахивая лампой, сутулый горный инспектор, и ни разу за долгие годы не пришло ему в голову, что можно жить в Москве, ходить по асфальтовому тротуару в легких начищенных ботинках, гулять вечером по бульвару, зайти в павильончик послушать музыку, попросить стакан чаю с ли-

[1] Бидарка — двухколесная тележка.

моном. Всю свою жизнь прожил Корольков на самых далеких тяжелых шахтах, и, приезжая в Макеевку, глядя на городской сад, на мощеную улицу, он качал головой: «Да, живут люди».

Он спустился в скрипящей клети в шахту, пошел по коренному штреку. Дойдя до первого бремсберга, Корольков остановился и прислушался. Прогремел поезд вагонеток, коногон пронзительно засвистел на разминовке, прошли плотники с пилами, с уклона вышел крепильщик, поглядывая на верхняки и помахивая топором.

Корольков вздохнул и пошел по ходку. Он осмотрел несколько забоев, проверил вентиляционные двери, осмотрел крепление в новой проходке. Потом, охая и вздыхая, он полез в воздушник. Газовые десятники особенно не одобряли Королькова за скверную привычку осматривать воздушники. Лазить воздушниками считалось последним делом, и вентиляционное начальство на шахтах всячески ругало Королькова за глупый интерес к этим подлым ходкам, по которым не то что человек, а сама воздушная струя продиралась с великим трудом.

Воздушники были в плохом состоянии, и, ползая на животе по узенькому, заваленному породой ходу, Корольков ободрал правую руку до крови. Он любил, забравшись в такое глухое место, вслух поговорить с самим собой. Но сейчас ему казалось, что он не один, и когда шедший за ним мягким, шахтерским шагом наблюдатель посоветовал: «Вы отдохните, Аполлон Маркович, в ваши годы лазить в местах скопления углекислоты весьма вредно»,— Корольков не выдержал и сердито пробормотал:

— Что такое, суетесь повсюду!

Выбравшись из шахты, Корольков пошел в контору.

Главным инженером на 5-С был старинный приятель Королькова Косматов.

Когда-то их обоих присыпало на Рутченковке, и они шесть часов пролежали в раскоске забоя, матерясь, прощались с поверхностью, утешали друг друга.

Косматов встретил Королькова хохотом. Он уже все знал, и, конечно, ничего не могло быть комичней случившегося.

Старый ломовой горняк, инспектор безопасности, бывший пять раз под судом, попадавший из одной беды в другую, два раза уволенный, наживший себе десятки врагов и недоброжелателей, двадцать пять лет тянувший лямку по всем угольным захолустьям страны, неожиданно получил благодарность Москвы, его биография была расписана со

всеми подробностями. И, глядя на Королькова, Косматов удивленно мотал головой, разводил руками. Но Корольков не склонен был обсуждать сейчас перемены своей жизни.

— Знаешь, Степан Трофимович,— сказал он,— я у тебя на востоке был, воздушники все завалены, вентиляция пшиковая, смотри — закрою весь участок. Шахтенка твоя на второй категории.

— Брось,— улыбнулся Косматов,— ты ведь меня под статью подведешь.

— Статью я знаю,— сказал Корольков,— я сам под этой статьей три раза стоял, однако актик я составлю, декаду дам сроку.

— Вот оно что,— сказал Косматов и, внимательно глядя на черные пальцы пишущего Королькова, добавил: — Давай уж полторы декады, мне нужно добычу подгонять, конец месяца, к отчету.

Корольков протянул ему бумагу.

— Жмешь меня, обормот,— сердито проговорил Косматов, но потом махнул рукой и сразу повеселел: — Ладно, черт с тобой, старайся. А как там, чертежики квартиры не прислали, с утепленным ватером наверное?

И он снова принялся хохотать, ударяя себя по ляжкам.

На обратном пути Корольков злился. Почему так глупо ведут себя приятели? Его все сильнее охватывало неведомое ему доселе торжественное настроение. В голову лезли мысли о жизни, об ушедших людях, о славном и тяжелом труде.

— Да, Никифор,— говорил он кучеру,— вот какое дело. Вспомнили, значит, и меня, ломового инженера.

— А кого же, как не вас? — отвечал Никифор.— В Москве, там все известно.— И добавил: — Да, там известно. Я вот помню, как уложило двести семьдесят человек на руднике, сам царь телеграмму прислал, скорбел.

— Что там царь,— задумчиво сказал Корольков,— чихать нам на царей, Никифор. А я вот переведусь в Москву, проект в Кремль выдвину — всем погибшим в шахтах инженерам, штейгерам, рабочим памятники ставить. И книгу про них написать, как жили, на каких пластах работали. А надпись на камне простая: «Забойщик, скажем, Герасимов, работал на пластах с углом падения до пятидесяти градусов. Угля нарубал сто тысяч тонн». Вот и все будет понятно. Люди какие, страшно подумать,— Черницын Николай Николаевич, а кто про него помнит сейчас?

— Да-а-а,— важно согласился Никифор,— книгу эту написать нужно.

А дома Королькова ожидал сюрприз.

Полина Павловна нарядилась точно на именины. На ней было надето голубое, неизвестное Королькову платье, лицо напудрено, а губы необычайно красного цвета.

— Ты что это? — спросил Корольков.— Малину в марте месяце ела?

Но ему тотчас же расхотелось шутить.

Жена посмотрела на него ясными, холодными глазами и сказала:

— Ни в какую Москву я не поеду.

— Как? — переспросил, кривясь, Корольков.

— Ты что, оглох? — сказала она и раздельно повторила: — Ни в какую Москву я не поеду. Знаю я, чем все это кончится.

«Вот это да,— подумал Корольков,— вот это конфект! В Караганду поехала, а в Москву не хочет».

Корольков знал, что ничто так не увеличивает губительную силу подземного взрыва, как любое самое ничтожное сопротивление. Взрывная волна сравнительно мирно движется по пустым штрекам большого сечения, но стоит ей встретить препятствие,— какую-нибудь легкую вентиляционную дверь,— как давление взрыва возрастает невероятно,— вагонетки сплющиваются в лепешку, железные рельсы, отрываясь от шпал, свертываются в затейливые клубки.

Полина Павловна в голубом платье, чем-то напоминавшем тот давнишний сарафан, выжидающе смотрела на него.

И, может быть, первый раз в жизни отступив от своей обоснованной теории, инженер Корольков не дал взрывной волне распространяться по пустому штреку.

— Поля, что ты говоришь, право же,— улыбаясь от чувства своей силы и правоты, сказал он.— Ты себе представляешь: Орджоникидзе приглашает меня честью, добром, по-хорошему, и я вдруг откажусь! Ведь это будет обида на всю жизнь.

1936

Андрей Платонов

(1899—1951)

В ПРЕКРАСНОМ И ЯРОСТНОМ МИРЕ

(МАШИНИСТ МАЛЬЦЕВ)

1

В Толубеевском депо лучшим паровозным машинистом считался Александр Васильевич Мальцев.

Ему было лет тридцать, но он уже имел квалификацию машиниста первого класса и давно водил скорые поезда. Когда в наше депо прибыл первый мощный пассажирский паровоз серии «ИС», то на эту машину назначили работать Мальцева, что было вполне разумно и правильно. Помощником у Мальцева работал пожилой человек из деповских слесарей по имени Федор Петрович Драбанов, но он вскоре выдержал экзамен на машиниста и ушел работать на другую машину, а я был, вместо Драбанова, определен работать в бригаду Мальцева помощником; до того я работал помощником механика, но только на старой, маломощной машине.

Я был доволен своим назначением. Машина «ИС», единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления; я мог подолгу глядеть на нее, и особая растроганная радость пробуждалась во мне — столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина. Кроме того, я желал поработать в бригаде первоклассного механика, чтобы научиться у него искусству вождения тяжелых скоростных поездов.

Александр Васильевич принял мое назначение в его бригаду спокойно и равнодушно; ему было, видимо, все равно, кто у него будет состоять в помощниках.

Перед поездкой я, как обычно, проверил все узлы машины, испытал все ее обслуживающие и вспомогательные механизмы и успокоился, считая машину готовой к поездке. Александр Васильевич видел мою работу, он следил за ней, но после меня собственными руками снова проверил состояние машины, точно он не доверял мне.

Так повторялось и впоследствии, и я уже привык к тому, что Александр Васильевич постоянно вмешивался в мои обязанности, хотя и огорчался молчаливо. Но обыкновенно, как только мы были в ходу, я забывал про свое огорчение. Отвлекаясь вниманием от приборов, следящих за состоянием бегущего паровоза, от наблюдения за работой левой машины и пути впереди, я посматривал на Мальцева. Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним. Глаза Александра Васильевича глядели вперед, отвлеченно, как пустые, но я знал, что он видел ими всю дорогу впереди и всю природу, несущуюся нам навстречу,— даже воробей, сметенный с балластного откоса ветром вонзающейся в пространство машины, даже этот воробей привлекал взор Мальцева, и он поворачивал на мгновение голову вслед за воробьем: что с ним станется после нас, куда он полетел.

По нашей вине мы никогда не опаздывали; напротив, часто нас задерживали на промежуточных станциях, которые мы должны проследовать с ходу, потому что мы шли с нагоном времени и нас посредством задержек обратно вводили в график.

Обычно мы работали молча; лишь изредка Александр Васильевич, не оборачиваясь в мою сторону, стучал ключом по котлу, желая, чтобы я обратил свое внимание на какой-нибудь непорядок в режиме работы машины, или подготавливая меня к резкому изменению этого режима, чтобы я был бдителен. Я всегда понимал безмолвные указания своего старшего товарища и работал с полным усердием, однако механик по-прежнему относился ко мне, равно и к смазчику-кочегару, отчужденно и постоянно проверял на стоянках пресс-масленки, затяжку болтов в дышловых узлах, опробовал буксы на ведущих осях и прочее. Если я только что осмотрел и смазал какую-либо рабочую тру-

щуюся часть, то Мальцев вслед за мной снова ее осматривал и смазывал, точно не считая мою работу действительной.

— Я, Александр Васильевич, этот крейцкопф уже проверил,— сказал я ему однажды, когда он стал проверять эту деталь после меня.

— А я сам хочу,— улыбнувшись, ответил Мальцев, и в улыбке его была грусть, поразившая меня.

Позже я понял значение его грусти и причину его постоянного равнодушия к нам. Он чувствовал свое превосходство перед нами, потому что понимал машину точнее, чем мы, и он не верил, что я или кто другой может научиться тайне его таланта, тайне видеть одновременно и попутного воробья, и сигнал впереди, ощущая в тот же момент путь, вес состава и усилие машины. Мальцев понимал, конечно, что в усердии, в старательности мы даже можем его превозмочь, но не представлял, чтобы мы больше его любили паровоз и лучше его водили поезда,— лучше, он думал, было нельзя. И Мальцеву поэтому было грустно с нами; он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать его, чтобы мы поняли.

И мы, правда, не могли понять его умения. Я попросил однажды разрешить повести мне состав самостоятельно; Александр Васильевич позволил мне проехать километров сорок и сел на место помощника. Я повел состав и через двадцать километров уже имел четыре минуты опоздания, а выходы с затяжных подъемов преодолевал со скоростью не более тридцати километров в час. После меня машину повел Мальцев; он брал подъемы со скоростью пятидесяти километров, и на кривых у него не забрасывало машину, как у меня, и он вскоре нагнал упущенное мною время.

2

Около года я работал помощником у Мальцева, с августа по июль, и 5 июля Мальцев совершил свою последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда...

Мы взяли состав в восемьдесят пассажирских осей, опоздавший до нас в пути на четыре часа. Диспетчер вышел к паровозу и специально попросил Александра Васильевича сократить, сколь возможно, опоздание поезда, свести это опоздание хотя бы к трем часам, иначе ему трудно будет выдать порожняк на соседнюю дорогу. Мальцев пообещал ему нагнать время, и мы тронулись вперед.

Было восемь часов пополудни, но летний день еще длился, и солнце сияло с торжественной утренней силой. Александр Васильевич потребовал от меня держать все время давление пара в котле лишь на пол-атмосферы ниже предельного.

Через полчаса мы вышли в степь, на спокойный мягкий профиль. Мальцев довел скорость хода до девяноста километров и ниже не сдавал, наоборот — на горизонталях и малых уклонах доводил скорость до ста километров. На подъемах я форсировал топку до предельной возможности и заставлял кочегара вручную загружать шуровку, в помощь стоккерной машине, ибо пар у меня садился.

Мальцев гнал машину вперед, отведя регулятор на всю дугу и отдав реверс на полную отсечку. Мы теперь шли навстречу мощной туче, появившейся из-за горизонта. С нашей стороны тучу освещало солнце, а изнутри ее рвали свирепые, раздраженные молнии, и мы видели, как мечи молний вертикально вонзались в безмолвную дальнюю землю, и мы бешено мчались к той дальней земле, словно спеша на ее защиту. Александра Васильевича, видимо, увлекло это зрелище: он далеко высунулся в окно, глядя вперед, и глаза его, привыкшие к дыму, к огню и пространству, блестели сейчас воодушевлением. Он понимал, что работа и мощность нашей машины могли идти в сравнение с работой грозы, и, может быть, гордился этой мыслью.

Вскоре мы заметили пыльный вихрь, несшийся по степи нам навстречу. Значит, и грозовую тучу несла буря нам в лоб. Свет потемнел вокруг нас; сухая земля и степной песок засвистели и заскрежетали по железному телу паровоза; видимости не стало, и я пустил турбодинамо для освещения и включил лобовой прожектор впереди паровоза. Нам теперь трудно было дышать от горячего пыльного вихря, забивавшегося в кабину и удвоенного в своей силе встречным движением машины, от топочных газов и раннего сумрака, обступившего нас. Паровоз с воем пробивался вперед в смутный, душный мрак — в щель света, создаваемую лобовым прожектором. Скорость упала до шестидесяти километров; мы работали и смотрели вперед, как в сновидении.

Вдруг крупная капля ударила по ветровому стеклу — и сразу высохла, испитая жарким ветром. Затем мгновенный синий свет вспыхнул у моих ресниц и проник в меня до самого содрогнувшегося сердца; я схватился за кран инжектора, но боль в сердце уже отошла от меня, и я сразу

поглядел в сторону Мальцева — он смотрел вперед и вел машину, не изменившись в лице.

— Что это было? — спросил я у кочегара.

— Молния,— сказал он.— Хотела в нас попасть, да маленько промахнулась.

Мальцев расслышал наши слова.

— Какая молния? — спросил он громко.

— Сейчас была,— произнес кочегар.

— Я не видел,— сказал Мальцев и снова обратился лицом наружу.

— Не видел! — удивился кочегар.— Я думал — котел взорвался, во как засветило, а он не видел.

Я тоже усомнился, что это была молния.

— А гром где? — спросил я.

— Гром мы проехали,— объяснил кочегар.— Гром всегда после бьет. Пока он вдарил, пока воздух расшатал, пока туда-сюда, мы уже прочь его пролетели. Пассажиры, может, слыхали,— они сзади.

Далее мы вошли в ливень, но скоро миновали его и выехали в утихшую, темную степь, над которой неподвижно покоились смирные, изработавшиеся тучи.

Потемнело вовсе, и наступила спокойная ночь. Мы ощущали запах сырой земли, благоухание трав и хлебов, напитанных дождем и грозой, и неслись вперед, нагоняя время.

Я заметил, что Мальцев стал хуже вести машину — на кривых нас забрасывало, скорость доходила то до ста с лишним километров, то снижалась до сорока. Я решил, что Александр Васильевич, наверно, очень уморился, и поэтому ничего не сказал ему, хотя мне было очень трудно держать в наилучшем режиме работу топки и котла при таком поведении механика. Однако через полчаса мы должны остановиться для набора воды, и там, на остановке, Александр Васильевич поест и немного отдохнет. Мы уже нагнали сорок минут, а до конца нашего тягового участка мы нагоним еще не менее часа.

Все же я обеспокоился усталостью Мальцева и стал сам внимательно глядеть вперед — на путь и на сигналы. С моей стороны, над левой машиной, горела на весу электрическая лампа, освещая машущий, дышловый механизм. Я хорошо видел напряженную, уверенную работу левой машины, но затем лампа над нею припотухла и стала гореть бедно, как одна свечка. Я обернулся в кабину. Там тоже все лампы горели теперь в четверть накала, еле освещая приборы. Странно, что Александр Васильевич не постучал мне клю-

чом в этот момент, чтобы указать на такой непорядок. Ясно было, что турбодинамо не давала расчетных оборотов и напряжение упало. Я стал регулировать турбодинамо через паропровод и долго возился с этим устройством, но напряжение не поднималось.

В это время туманное облако красного света прошло по циферблатам приборов и потолку кабины. Я выглянул наружу.

Впереди, во тьме, близко или далеко, нельзя было установить, красная полоса света колебалась поперек нашего пути. Я не понимал, что это было, но понял, что надо делать.

— Александр Васильевич! — крикнул я и дал три гудка остановки.

Раздались взрывы петард под бандажами наших колес. Я бросился к Мальцеву; он обернул ко мне свое лицо и поглядел на меня пустыми покойными глазами. Стрелка на циферблате тахометра показывала скорость в шестьдесят километров.

— Мальцев! — закричал я.— Мы петарды давим! — и протянул руки к управлению.

— Прочь! — воскликнул Мальцев, и глаза его засияли, отражая свет тусклой лампы над тахометром.

Он мгновенно дал экстренное торможение и перевел реверс назад.

Меня прижало к котлу, я слышал, как выли бандажи колес, стругавшие рельсы.

— Мальцев! — сказал я.— Надо краны цилиндров открыть, машину сломаем.

— Не надо! Не сломаем! — ответил Мальцев.

Мы остановились. Я закачал инжектором воду в котел и выглянул наружу. Впереди нас, метрах в десяти, стоял на нашей линии паровоз, тендером в нашу сторону. На тендере находился человек; в руках у него была длинная кочерга, раскаленная на конце до красного цвета; ею и махал он, желая остановить курьерский поезд. Паровоз этот был толкачом товарного состава, остановившегося на перегоне.

Значит, пока я налаживал турбодинамо и не глядел вперед, мы прошли желтый светофор, а затем и красный и, вероятно, не один предупреждающий сигнал путевых обходчиков. Но отчего эти сигналы не заметил Мальцев?

— Костя! — позвал меня Александр Васильевич.

Я подошел к нему.

— Костя! Что там впереди нас?

Я объяснил ему.

— Костя... Дальше ты поведешь машину, я ослеп.

На другой день я привел обратный состав на свою станцию и сдал паровоз в депо, потому что у него на двух скатах слегка сместились бандажи. Доложив начальнику депо о происшествии, я повел Мальцева под руку к месту его жительства; сам Мальцев был в тяжком удручении и не пошел к начальнику депо.

Мы еще не дошли до того дома на заросшей травою улице, в котором жил Мальцев, как он попросил меня оставить его одного.

— Нельзя,— ответил я.— Вы, Александр Васильевич, слепой человек.

Он посмотрел на меня ясными, думающими глазами.

— Теперь я вижу, ступай домой... Я вижу все — вон жена вышла встретить меня.

У ворот дома, где жил Мальцев, действительно стояла в ожидании женщина, жена Александра Васильевича, и ее открытые черные волосы блестели на солнце.

— А у нее голова покрытая или безо всего? — спросил я.

— Без,— ответил Мальцев.— Кто слепой — ты или я?

— Ну, раз видишь, то смотри,— решил я и отошел от Мальцева.

3

Мальцева отдали под суд, и началось следствие. Меня вызвал следователь и спросил, что я думаю о происшествии с курьерским поездом. Я ответил, что думал,— что Мальцев не виноват.

— Он ослеп от близкого разряда, от удара молнии,— сказал я следователю.— Он был контужен, и нервы, которые управляют зрением, были у него повреждены... Я не знаю, как это нужно сказать точно.

— Я вас понимаю,— произнес следователь,— вы говорите точно. Это все возможно, но недостоверно. Ведь сам Мальцев показал, что он молнии не видел.

— А я ее видел, и смазчик ее тоже видел.

— Значит, молния ударила ближе к вам, чем к Мальцеву,— рассуждал следователь.— Почему же вы и смазчик не контужены, не ослепли, а машинист Мальцев получил контузию зрительных нервов и ослеп? Как вы думаете?

Я стал в тупик, а затем задумался.

— Молнии Мальцев увидеть не мог,— сказал я.

Следователь удивленно слушал меня.

— Он увидеть ее не мог. Он ослеп мгновенно — от удара электромагнитной волны, которая идет впереди света

молнии. Свет молнии есть последствие разряда, а не причина молнии. Мальцев был уже слепой, когда молния засветилась, а слепой не мог увидеть свет.

— Интересно,— улыбнулся следователь.— Я бы прекратил дело Мальцева, если бы он и сейчас был слепым. Но вы же знаете, теперь он видит так же, как мы с вами.

— Видит,— подтвердил я.

— Был ли он слепым,— продолжал следователь,— когда на огромной скорости вел курьерский поезд в хвост товарному поезду?

— Был,— подтвердил я.

Следователь внимательно посмотрел на меня.

— Почему же он не передал управления паровозом вам или, по крайней мере, не приказал вам остановить состав?

— Не знаю,— сказал я.

— Вот видите,— говорил следователь.— Взрослый сознательный человек управляет паровозом курьерского поезда, везет на верную гибель сотни людей, случайно избегает катастрофы, а потом оправдывается тем, что он был слеп. Что это такое?

— Но ведь он и сам бы погиб! — говорю я.

— Вероятно. Однако меня больше интересует жизнь сотен людей, чем жизнь одного человека. Может быть, у него были свои причины погибнуть.

— Не было,— сказал я.

Следователь стал равнодушен; он уже заскучал от меня, как от глупца.

— Вы все знаете, кроме главного,— в медленном размышлении сказал он.— Вы можете идти.

От следователя я пошел на квартиру Мальцева.

— Александр Васильевич,— сказал я ему,— почему вы не позвали меня на помощь, когда ослепли?

— А я видел,— ответил он.— Зачем ты нужен мне был?

— Что вы видели?

— Все: линию, сигналы, пшеницу в степи, работу правой машины — я все видел...

Я озадачился.

— А как же так у вас вышло? Вы проехали все предупреждения, вы шли прямо в хвост другому составу...

Бывший механик первого класса грустно задумался и тихо ответил мне, как самому себе:

— Я привык видеть свет, и я думал, что вижу его, а я видел его тогда только в своем уме, в воображении. На самом деле я был слепой, но я этого не знал... Я и в петарды не

поверил, хотя и услышал их: я подумал, что ослышался. А когда ты дал гудки остановки и закричал мне, я видел впереди зеленый сигнал, я сразу не догадался.

Теперь я понял Мальцева, но не знал, почему он не скажет о том следователю — о том, что после того, как он ослеп, он еще долго видел мир в своем воображении и верил в его действительность. И я спросил об этом Александра Васильевича.

— А я ему говорил,— ответил Мальцев.

— А он что?

— «Это, говорит, ваше воображение было; может, вы и сейчас воображаете что-нибудь, я не знаю. Мне, говорит, нужно установить факты, а не ваше воображение или мнительность. Ваше воображение — было оно или нет — я проверить не могу, оно было лишь у вас в голове; это ваши слова, а крушение, которое чуть-чуть не произошло,— это действие».

— Он прав,— сказал я.

— Прав, я сам знаю,— согласился машинист.— И я тоже прав, а не виноват. Что же теперь будет?

— В тюрьме сидеть будешь,— сообщил я ему.

4

Мальцева посадили в тюрьму. Я по-прежнему ездил помощником, но только уже с другим машинистом — осторожным стариком, тормозившим состав еще за километр до желтого светофора, а когда мы подъезжали к нему, то сигнал переделывался на зеленый, и старик опять начинал волочить состав вперед. Это была не работа: я скучал по Мальцеву.

Зимою я был в областном городе и посетил своего брата, студента, жившего в университетском общежитии. Брат сказал мне среди беседы, что у них, в университете, есть в физической лаборатории установка Тесла для получения искусственной молнии. Мне пришло в голову некоторое соображение, неуверенное и еще не ясное для меня самого.

Возвратившись домой, я обдумал свою догадку относительно установки Тесла и решил, что моя мысль правильна. Я написал письмо следователю, ведшему в свое время дело Мальцева, с просьбой испытать заключенного Мальцева на подверженность его действию электрических разрядов. В случае, если будет доказана подверженность

психики Мальцева либо его зрительных органов действию близких внезапных электрических разрядов, то дело Мальцева надо пересмотреть. Я указал следователю, где находится установка Тесла и как нужно произвести опыт над человеком.

Следователь долго не отвечал мне, но потом сообщил, что областной прокурор согласился произвести предложенную мною экспертизу в университетской физической лаборатории.

Через несколько дней следователь вызвал меня повесткой. Я пришел к нему взволнованный, заранее уверенный в счастливом решении дела Мальцева.

Следователь поздоровался со мной, но долго молчал, медленно читая какую-то бумагу печальными глазами; я терял надежду.

— Вы подвели своего друга,— сказал затем следователь.

— А что? Приговор остается прежний?

— Нет. Мы освободим Мальцева. Приказ уже дан,— может быть, Мальцев уже дома.

— Благодарю вас.— Я встал на ноги перед следователем.

— А мы вас благодарить не будем. Вы дали плохой совет: Мальцев опять слепой...

Я сел на стул в усталости, во мне мгновенно сгорела душа, и я захотел пить.

— Эксперты без предупреждения, в темноте, провели Мальцева под установкой Тесла,— говорил мне следователь.— Включен был ток, произошла молния, и раздался резкий удар. Мальцев прошел спокойно, но теперь он снова не видит света — это установлено объективным путем, судебно-медицинской экспертизой.

Следователь попил воды и добавил:

— Сейчас он опять видит мир только в одном своем воображении... Вы его товарищ, помогите ему.

— Может быть, к нему опять вернется зрение,— высказал я надежду,— как было тогда, после паровоза...

Следователь подумал.

— Едва ли... Тогда была первая травма, теперь вторая. Рана нанесена по раненому месту.

И, не сдерживаясь более, следователь встал и в волнении начал ходить по комнате.

— Это я виноват... Зачем я послушался вас и, как глупарь, настоял на экспертизе! Я рисковал человеком, а он не вынес риска.

— Вы не виноваты, вы ничем не рисковали,— утешил я следователя.— Что лучше — свободный слепой человек или зрячий, но невинно заключенный?

— Я не знал, что мне придется доказать невиновность человека посредством его несчастья,— сказал следователь.— Это слишком дорогая цена.

— Вы следователь,— объяснил я ему.— Вы должны знать про человека все и даже то, чего он сам про себя не знает...

— Я вас понимаю, вы правы,— тихо произнес следователь.

— Вы не волнуйтесь, товарищ следователь... Тут действовали факты внутри человека, а вы искали их только снаружи. Но сумели понять свой недостаток и поступили с Мальцевым как человек благородный. Я вас уважаю.

— Я вас тоже,— сознался следователь.— Знаете, из вас мог бы выйти помощник следователя...

— Спасибо, но я занят: я помощник машиниста на курьерском паровозе.

Я ушел. Я не был другом Мальцева, и он ко мне всегда относился без внимания и заботы. Но я хотел защитить его от горя судьбы, я был ожесточен против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека; я почувствовал тайный, неуловимый расчет этих сил — в том, что они губили именно Мальцева, а, скажем, не меня. Я понимал, что в природе не существует такого расчета в нашем человеческом, математическом смысле, но я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных, для человеческой жизни гибельных обстоятельств, и эти гибельные силы сокрушают избранных, возвышенных людей. Я решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе,— я чувствовал свою особенность человека. И я пришел в ожесточение и решил воспротивиться, сам еще не зная, как это нужно сделать.

5

На следующее лето я сдал экзамен на звание машиниста и стал ездить самостоятельно на паровозе серии «СУ», работая на пассажирском местном сообщении. И почти всегда, когда я подавал паровоз под состав, стоявший у станционной платформы, я видел Мальцева, сидевшего на крашеной скамейке. Облокотившись рукою на трость, поставленную

между ног, он обращал в сторону паровоза свое страстное, чуткое лицо с опустевшими слепыми глазами и жадно дышал запахом гари и смазочного масла и внимательно слушал ритмичную работу паровоздушного насоса. Утешить его мне было нечем, я уезжал, а он оставался.

Шло лето; я работал на паровозе и часто видел Александра Васильевича — не только на вокзальной платформе, но встречал его на улице, когда он медленно шел, ощупывая дорогу тростью. Он осунулся и постарел за последнее время; жил он в достатке — ему определили пенсию, жена его работала, детей у них не было, но тоска, безжизненная участь снедали Александра Васильевича, и тело его худело от постоянного горя. Я с ним иногда разговаривал, но видел, что ему скучно было беседовать о пустяках и довольствоваться моим любезным утешением, что и слепой — это тоже вполне полноправный, полноценный человек.

— Прочь! — говорил он, выслушав мои доброжелательные слова.

Но я тоже был сердитый человек, и, когда, по обычаю, он однажды велел уходить мне прочь, я сказал ему:

— Завтра в десять тридцать я поведу состав. Если будешь сидеть тихо, я возьму тебя в машину.

Мальцев согласился.

— Ладно. Я буду смирным. Дай мне там в руки что-нибудь,— дай реверс подержать: я крутить его не буду.

— Крутить его ты не будешь! — подтвердил я.— Если покрутишь, я тебе дам в руки кусок угля и больше сроду не возьму на паровоз.

Слепой промолчал; он настолько хотел снова побыть на паровозе, что смирился передо мной.

На другой день я пригласил его с крашеной скамейки на паровоз и сошел к нему навстречу, чтобы помочь ему подняться в кабину.

Когда мы тронулись вперед, я посадил Александра Васильевича на свое место машиниста, я положил одну его руку на реверс и другую на тормозной автомат и поверх его рук положил свои руки. Я водил своими руками, как надо, и его руки тоже работали. Мальцев сидел молчаливо и слушался меня, наслаждаясь движением машины, ветром в лицо и работой. Он сосредоточился, забыл свое горе слепца, и кроткая радость осветила изможденное лицо этого человека, для которого ощущение машины было блаженством.

В обратный конец мы ехали подобным же способом: Мальцев сидел на месте механика, а я стоял, склонившись, возле него и держал свои руки на его руках. Мальцев уже

приноровился работать таким образом настолько, что мне было достаточно легкого нажима на его руку, и он с точностью ощущал мое требование. Прежний, совершенный мастер машины стремился превозмочь в себе недостаток зрения и чувствовать мир другими средствами, чтобы работать и оправдать свою жизнь.

На спокойных участках я вовсе отходил от Мальцева и смотрел вперед со стороны помощника.

Мы уже были на подходе к Толубееву; наш очередной рейс благополучно заканчивался, и шли мы вовремя. Но на последнем перегоне нам светил навстречу желтый светофор. Я не стал преждевременно сокращать хода и шел на светофор с открытым паром. Мальцев сидел спокойно, держа левую руку на реверсе; я смотрел на своего учителя с тайным ожиданием...

— Закрой пар! — сказал мне Мальцев.

Я промолчал, волнуясь всем сердцем.

Тогда Мальцев встал с места, протянул руку к регулятору и закрыл пар.

— Я вижу желтый свет,— сказал он и повел рукоятку тормоза на себя.

— А может быть, ты опять только воображаешь, что видишь свет! — сказал я Мальцеву.

Он повернул ко мне свое лицо и заплакал. Я подошел к нему и поцеловал его в ответ:

— Веди машину до конца, Александр Васильевич: ты видишь теперь весь свет!

Он довел машину до Толубеева без моей помощи. После работы я пошел вместе с Мальцевым к нему на квартиру, и мы вместе с ним просидели весь вечер и всю ночь.

Я боялся оставить его одного, как родного сына, без защиты против действия внезапных и враждебных сил нашего прекрасного и яростного мира.

1940

Сергей Диковский

(1907—1940)

КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА

1

Это была на редкость упрямая шхуна. Прежде чем заглушить мотор и вывести кранцы, «Кобе-Мару» предложила игру в прятки, встав в тени за скалой. Когда этот фокус сорвался, она стала метаться по бухте, точно треска на крючке... Затеяла глупую гонку вокруг двух островков, пыталась навести «Смелый» на камни, ударить форштевнем[1], подставить корму — словом, повторила все мелкие подлости, без которых эти господа никогда не обходятся.

Оберегая корпус «Смелого» от рискованных встреч, Колосов долго водил катер параллельными курсами.

Мы были мокры, злы и от всего сердца желали шхуне напороться на камни. Боцман Гуторов, уже полчаса стоявший на баке с отпорным крюком, высказал это резонное желание вслух и немедля получил замечание от командира.

— А допрашивать эпроновцы будут? — ворчливо спросил Колосков.— Эк жмет! Чует кошка...

Увлеченный погоней, он не пытался даже вытирать усеянное брызгами, свежее от холода и ветра лицо. Он стоял на ходовом мостике, щурясь, посапывая, не отрывая глаз от низкой кормы, на которой, точно крабы, выделялись два больших иероглифа.

[1] Форштевень — носовая оконечность судна.

Наконец ему удалось подойти к японцу впритирку, и двое бойцов разом вскочили на палубу шхуны.

— Конници-ва! Добру день! — сказал присмиревший синдо.

Он стоял на баке возле лебедки и кланялся, точно заведенный.

Сети были пусты. В трюмах блестела чешуя давних уловов. Зато вся команда была, как по форме, одета в свежую, еще не обмятую работой спецовку. Высокие резиновые сапоги (без единой заплатки), подтянутые шнурками к поясам, придавали ловцам бравый, даже воинственный вид.

В пристройке рядом со шкиперской мы отыскали радиста — маленького злого упрямца в полосатой фуфайке. Он заперся на ключ и сыпал морзянкой с такой быстротой, точно «Кобе-Мару» погружалась на дно.

Уговаривать радиста взялся Широких. Он быстро снял дверь с петель и вынес упрямца на палубу, рассудительно приговаривая:

— Отойди... Постучал — и довольно. Я ж вам объясняю по-русски.

После этого мы выстроили японцев вдоль борта и подивились славной выправке «рыбаков». Судя по развороту плеч и строевой точности жестов, они были знакомы с арисаки[1] и не хуже, чем с кавасаки[2].

Мы обыскали кубрик, трюм, машину, но, кроме соленой рыбы, риса и бочки с квашеной редькой, ничего не нашли. Тогда Колосков приказал поднять линолеум в каюте синдо, а сам взял циркуль, чтобы промерить расстояние шхуны от берега.

Вскрывая вместе с Широких линолеум, я видел, как юлит пройдоха синдо. Едва Колосков доказал, что шхуна задержана в наших водах, шкипер уткнул нос в словарь и вовсе перестал понимать командира.

— Ровно миля,— сказал Колосков.— Что вы тут делали, господин рыболов?

— Благодару,— ответил синдо.—Мое здоровье есть хорошо.

— Не интересуюсь.

Синдо наугад ткнул пальцем в страницу.

— Хоцице немного русска воцка? Вы, наверно, зазябли?

[1] А р и с а к и — винтовка, принятая на вооружение в японской армии.

[2] К а в а с а к и — деревянное моторно-парусное судно для морского прибрежного промысла.

Колосков отвернулся и стал терпеливо разглядывать картинки над койкой синдо. Трюк со словарем был стар, как сама шхуна.

Между тем синдо продолжал бормотать:

— Вчера шел дождик... Морская погода, как сердце красавицы, есть холодна и обманчива... Пятница — опасный день моряков...

— Кончили? — спросил Колосков.

— Не понимаю... Чито?

Тут командир взял из рук синдо словарик и, захлопнув, сказал прямо в лицо:

— Ну, довольно шуток, я намерен поговорить серьезно.

Нужно было видеть, как повело шкипера при этих словах. Он выпрямился, задрал нос и заскрипел, точно сухое дерево на ветру:

— Хорсо... Я отказываюсь говорить младшим лейтенантом.

— Понятно,— сказал Колосков, пряча карту.— Понятно, господин старший рыболов.

В это время командира позвали на палубу, и тут открылась занятная картина.

Возле шлюпки лежал аварийный дубовый анкерок ведер на пять пресной воды. Боцман шхуны вздумал походя накинуть на бочку брезент, а эту запоздалую заботу подметил Широких. Любопытства ради он выбил втулку из бочки и сильно удивился, почему вода плещется, а не льется на палубу.

Багровый от волнения, он стоял на коленях возле анкерка и, запустив руку по локоть, что-то нащупывал.

Увидев Колоскова, он застеснялся и сказал:

— Что-то плещет, товарищ лейтенант, а шо — неизвестно.

Он пошарил заботливо, как рыбак в вентере, и прибавил:

— Будто щука.

И вытащил новенький маузер.

Потом он воскликнул:

— Лещ, товарищ лейтенант! Окунь, карась!

И на палубу рядом с маузером легли фотоаппарат, индуктор, связка бикфордова шнура, коробочка капсюлей и еще кое-что из «рыбацкого» ширпотреба.

Последней была вынута калька со схемами, нанесенными бегло, но искусной и твердой рукой.

Идти в отряд своим ходом японцы наотрез отказались. К тому же они успели забить в нескольких местах топливную магистраль кусками пробки и войлока. Тогда мы за-

гнали команду в кубрик и, закрепив буксирный конец, с трудом вытащили шхуну из бухты.

...Заметно свежело. Волны стали острее и выше. Всюду осыпались и дымились на ветру белые гребни. Временами волна, разбитая «Смелым», пролетала над ходовым мостиком, осыпая нас шумными, злыми осколками.

Багровое небо обещало тяжелый поход. Дул лобовой шквалистый ветер, и трос, слишком короткий для буксировки, вибрировал за кормой.

На полдороге к отряду «Смелый» стал зарываться в волну. Вода кипела и металась по палубе, не успевая уйти за борт.

Колосков все чаще и чаще поглядывал назад, на смутно белевшую шхуну. Потеряв самостоятельность, на жесткой буксирной узде, шхуна плелась за нами, раскачиваясь, спотыкаясь о гребни. Вероятно, «Кобе-Мару» было еще труднее, чем нам, потому что трос не давал ей свободно взбегать на волну.

Вскоре стал заметен только бурун, волочившийся у нас на буксире. Берег, черневший по правому борту, исчез. Низкий рев моря, шипение бескрайной воды глушили перестуки мотора. Шквал навалился на катер с такой силой, что разорвал на мостике парусиновый козырек и сорвал со шлюпки чехол.

«Смелый» шел шажком в темноте, вздрагивая и кряхтя от крепких ударов. Ни звезды, ни огня! Командир приказал включить прожектор, а сам отправился на корму, чтобы осмотреть буксировочный трос.

Я стоял на руле и слышал, как, вернувшись на мостик, Колосков отдувался и убеждал себя самого:

— Черт! Не размокнет... Ну, ясно...

Мы думали об одном. Позади нас, на пустынной палубе шхуны, были двое: боцман Гуторов и ученик моториста Косицын. Гуторов был надежен. Подвижной, грубоватый, смекалистый, он был родом из Керби, славного поселка рыбаков и охотников, и держался на палубе прочнее, чем кнехт[1]. Но Косицын... Сколько раз мы вытаскивали его из машины на палубу — зеленого, мутноглазого, вялого! На земле он был весел, по-крестьянски деловит и упрям, а в море размокал, как галета в горячем чае. Что сделаешь, если степная кровь не терпит ни качки, ни сырости.

Чтобы успокоить командира, я сказал:

— Устоит... На воздухе все-таки легче.

---

[1] Кнехт — железная тумба для крепления канатов.

— Да? Я тоже так думаю,— ответил Колосков и тут же возмутился: — Разговорчики! Да вы что? На компасе или в пивной?

Был виден уже маяк Угловой, когда краснофлотец, следивший за тросом, резко вскрикнул...

Я сразу почувствовал, что катер пошел подозрительно ходко, обернулся и увидел, как позади нас быстро гаснет бурун. Из темноты долетал смятый шквалом голос Косицына:

— ...варищ командир... аварищ... анди-ир!

Что он кричал еще, разобрать было нельзя, да мы и не вслушивались. Круто развернувшись, «Смелый» пошел на выручку шхуны.

Прожектор быстро нашел «Кобе-Мару» (среди черной воды она блестела, как моль), обшарил шхуну с обоих бортов, лег на волну... И тут Колосков, сигнальщик и я разом закричали:

— Полундра!

В штормовой ошалелой воде барахтались двое. Они дрались. Оглушенные ударами гребней, они подминали, душили, топили друг друга, разевали рты, чтобы забрать воздух, и задыхались, и слепли в прожекторном свете, не выпуская, однако, горла противника. То и дело пловцы взлетали высоко над нами, над всем глухо стонущим морем и рушились вниз вместе с гребнями волн.

Их разбило. Они снова кинулись навстречу друг другу. А когда мы приблизились к месту схватки и бросили линь, за конец схватился один только пловец...

То был Гуторов.

Окровавленный, ослабевший, он лег ничком, бормоча:

— Там на шхуне... Косицын... один.

— Самый полный! — скомандовал Колосков.

— Есть... амы... полны! — ответили из машины.

«Смелый» вздрогнул и не двинулся с места.

— В машине!

Сачков ответил что-то невнятное. Вода за кормой побелела, корпус затрясся, заскрипел от рывков, и мы поползли со скоростью плавучего крана.

Колосков приказал осмотреть винт. Нас держал трос. Огромный, разбухший ком ворочался за кормой «Смелого», отнимая у нас ход и маневренность. Вероятно, с палубы шхуны смыло бухту манильского троса, и катер, налетев с размаху на снасть, перепутал и намотал на винт метров сто крепчайшего волокна.

Застопорив машину, мы полезли в воду рубить и распутывать петли, а боцман тем временем, клацая зубами, рапортовал командиру, что случилось на шхуне.

...Косицын был на руле. Гуторов осматривал трос. В это время вода разбила стекло штурманской рубки. Услышав звон, японцы стали ломиться на палубу. Гуторов подбежал к кубрику и укрепил дверцу веслом (задвижка была слабовата). И тут из какой-то щели, возможно из канатного ящика, вылез «рыбак». Он успел рубануть буксирный конец ножом и кинулся боцману под ноги, а шхуну как раз положило на борт...

Что было с Косицыным, Гуторов не знал. Он выпил стакан спирта и, обвязавшись канатом, снова влез в воду.

Скучное дело! Мы очистили винт, но продолжали болтаться на месте: вал был согнут, муфта разболтана, мотор дышал, как затравленный, и «Смелый» не мог даже выгрести против ветра.

Мы превратились в буек, а шхуну уносило все дальше и дальше. Прожектор резал только мачты по клотик. Они долго кланялись морю на все четыре стороны — маленькие светлые травинки среди гневной воды — и наконец пропали из глаз.

Как мы провели ночь — вспоминать скучно. Скажу только, что, несмотря на десятибалльный ветер, на палубе было довольно жарко, а в трюме, кроме моторной помпы, беспрерывно работали четыре ручные донки[1].

Море разворотило фальшборт от мостика до шпиля, смыло тузик и, в довершение всего, выдавило стекло у прожектора, сильно порезав осколками сигнальщика Сажина.

Когда рассвело, мы увидели изуродованный катер и злобную тускло-серую воду.

Захлебываясь сиреной, к нам подходил ледокол «Трувор».

Колосков был мрачнее моря. (Если бы только можно было дохромать до порта самим!) Отвернувшись от «Трувора», он велел готовить буксир.

На рассвете был поднят на ноги весь отряд. Не дожидаясь нашего возвращения в порт, комбриг выслал в море шесть катеров. Пешие и конные дозоры направились вслед за шхуной на юг, осматривая каждую бухту.

В тот день, сменив гребной вал и винт, мы снова вышли в море. Шторм утих, горизонт был чист. Никто из рыбаков

---

[1] Донка — паровой насос.

на сто миль к югу от Соболиного мыса не видел огней гибнущей шхуны.

Только на четвертые сутки стало известно о судьбе «Кобе-Мару». И вот что случилось с Косицыным.

2

— Товарищ командир! — крикнул Косицын.

Никто не ответил. Корпус шхуны гудел от ударов. На палубе, сливаясь с морем, шипела вода.

Он сложил руки рупором и крикнул еще раз в темноту, где вспыхивали на ветру гребни волн:

— Товарищ команди-ир!

Он был один на мокрой палубе, освещенной только белизной пены. Желание услышать товарищей, увидеть хотя бы издали силуэт пограничного катера охватило его с удвоенной силой. Косицын продолжал кричать, поворачиваясь в разные стороны, так как потерял всякую ориентировку. Временами он делал паузы, чтобы перевести дыхание и прислушаться, но бесконечный, низкий рев моря глушил посторонние звуки.

Внезапная вспышка света заставила Косицына обернуться. Справа по носу шхуны прыгал с волны на волну прожекторный луч. Свет был на излете. Далекий, ослабленный водяной пылью, носившейся в воздухе, он терпеливо нащупывал шхуну. И Косицыну, несмотря на холод и мокрый бушлат, сразу стало весело и тепло. Широко море, а не пропадешь!

Он вернулся к штурвалу и попытался поставить шхуну носом к волне. Это не удалось. Лишенная хода, «Кобе-Мару» рыскала из стороны в сторону, подставляя ударам борта.

Между тем расстояние увеличивалось. Гребни стали беспокойней, острей. Прожектор захватывал только концы мачт. Видимо, «Смелый» не мог осилить волну. Сузив глаза, озябший Косицын силился разобрать сигнальные вспышки, мигавшие на клотике «Смелого». Они были отрывочны, почти бессвязны.

«...Исправим... пойдем вами... зажгите бортовые... кливер... крайнем случае... берег».

— Есть так держать! — ответил по привычке Косицын, и снова в море стало темно.

Шхуна мчалась, не слушая руля, без бортовых огней, вздрагивая и раскачиваясь, точно пьяная.

Она неслась мимо мыса Шипунского, окаймленного полосой бурунов, мимо отвесной скалы с маяком, бросавшим в море короткие вспышки, мимо ворот в бухту, где находился отряд,— все дальше и дальше на юг.

Косицын снял бортовые фонари и попытался зажечь их, прикрывая бушлатом. Вода барабанила по спине, спички гасли от ветра и брызг. В конце концов ему удалось зажечь фитилек, но волна неожиданно ударила сбоку, залила масленку и выбила коробок. С тяжелым сердцем он повесил на место темные фонари.

Приближался рассвет. Волны продолжали толпиться вокруг беспомощной шхуны.

Косицын то и дело бегал к борту. Он никак не мог привыкнуть к морским ухабам и каждый раз, возвращаясь к штурвалу с бледным лицом и затуманенными глазами, твердил про себя: «Довольно! Черт! Ну, хватит, я говорю!»

И снова, держась за леер[1], склонялся над морем. Когда рассвело, он взял ведерко и смыл с дубовой решетки следы своей слабости. К счастью, палуба была пуста.

Вместе со светом к Косицыну постепенно возвращалась решительность. Надо было как-то действовать, распоряжаться беспомощной шхуной.

Он расстегнул кобуру, осторожно поднял подпорку-весло и жестами пригласил на палубу шкипера. Из осторожности он сразу захлопнул и укрепил дверцу в кубрик.

— Аната! — сказал он как можно тверже.— Надо мотор запустить, слышь, аната!

— Кому надо? Нам не надо.

Шкипер даже не глядел на бойца. Стоял, почесываясь и зевая. Это возмутило Косицына.

— Пререкания? Я приказываю!

— Осен приятно... Я отказываю.

Машина была испорчена мотористом еще вчера. Косицын взглянул на фок-мачту, на темный жгут скатанной парусины, подумал и вынул наган.

— Чито? — спросил быстро синдо.— Чито вы хотите?

— Это мое дело. А ну, ставь кливер.

Они посмотрели друг другу в глаза, потом синдо повернулся и не спеша пошел к мачте. Косицын спрятал наган.

По правому борту, сливаясь с горизонтом, тянулась низкая полоса тумана. Изредка долетали пушечные залпы прибоя. Как всегда на мелких местах, накат был огромен.

---

[1] **Леер** — канат, протянутый на корабле для облегчения ходьбы во время качки.

«Разобьет,— определил Косицын.— Обязательно разобьет!» Однако, как только кливер вырвался вправо и «Кобе-Мару» стала послушной рулю, Косицын решительно направил шхуну в туман.

Он так озяб, истосковался по твердой земле, что рад был сесть на камни, на мель, черту на спину, лишь бы спина эта была твердой. К тому же с рассветом увеличился риск встретить какую-нибудь японскую шхуну.

Шкипер отвел шкот[1] к корме и сел на фальшборт напротив Косицына. Он был сильно встревожен: вертел шеей, прислушивался к шуму прибоя, даже снял платок, прикрывавший уши от ветра. Наконец он не выдержал и заметил:

— Наверно, это опасно.

Косицын не ответил. Туман разорвало. Стали видны высокий накат, и берег, и темная зелень сопок. Сильно накренившись, шхуна шла прямо на камни.

— Благорозуйность — оружие храбрых,— сказал шкипер отрывисто.— Как это? Худой мир лучше доброго сора? Вы есть храбры... Мы тоже довольно сильны...— Он помедлил.— Хоцице имец... как это... магарыч?

— Магарыч? Не понимаю... Я по-японски не обучен.

— Кажется, я говру вам по-росскэ?

— А мне не кажется. Слова русские, смысл японский.

— Мы спустим шлюпку,— сказал быстро синдо.— Хорсо? В иенах береце?

Косицын глядел поверх шляпы синдо на сопку, думая о своем. Земля была близко, а саженные буруны на камнях еще ближе. Жалко, мал ход. Развернет к берегу лагом, обязательно развернет. «Ну, держись!» — сказал он себе самому.

Всем сердцем он почуял близкий конец и, как часто бывает с людьми простодушными и отважными, разом захмелел от опасности, от сознания своей дерзкой, отчаянной силы.

— Давай! — крикнул он шкиперу.— Давай золото, давай все!

Ответа он не расслышал — набежала и оглушила волна,— он понял, что шкипер спросил: «Сколько?»

— Мильон! — крикнул Косицын, навалясь на штурвал.— Все будет наше!

Шкипер глянул в молодое, ожесточенное лицо рулевого и разом ослабил шкот.

---

[1] Шкот — снасть, растягивающая подветренный, нижний угол паруса.

— Ну-у?! — спросил грозно Косицын, и кливер снова рванулся вперед.

— Не надо, Иван! — крикнул синдо.

— Знаю! Отстань!

Шкипер подбежал к дверце, выбил весло. Из кубрика хлынули на палубу и загалдели японцы. «Кобе-Мару» несло прямо на сопку — темно-зеленую, курчавую, точно барашек.

Бросили якорь, но шхуну уже развернуло к берегу лагом и било днищем о камни. Через борт, ревя галькой, смывая людей, шла вода...

3

То был Птичий остров — невысокая груда песка и камней среди хмурой воды. Косицын понял это, едва солнце разогнало туман и за проливом встали пестрые горы материка.

С вершины сопки было видно все: берег, отороченный шумной волной, полоса гальки и водорослей, шесты с мокрым бельем, даже ракушки на дне перевернутой «Кобе-Мару». Широко и вольно дышало море, облизывая мертвую шхуну, а на пологих валах еще сверкали жирные пятна нефти и качались циновки.

Внизу дымился костер. Семь полуголых японцев сидели возле котла, по очереди поддевая лапшу, и косились на сопку.

Косицын снял все, кроме трусов и нагана. Здесь он чувствовал себя куда крепче, чем в море, хотя царапины на плече еще сильно саднило, а во рту было горько от соли. Все-таки земля. Горячая, твердая! Обдуваемый ветром, он спокойно поглядывал то на пленников, то на море.

Остров был свой, знакомый по прежним походам. Здесь иногда проводили стрельбы, рвали черемшу, собирали в бескозырки яйца чаек. Пусть шушукаются у котла! Шхуна разбита, на шлюпке далеко не уйдешь.

Стойкий запах травы и теплый воздух, струившийся над камнями, вызывали сонливость. Чтобы не задремать, Косицын ущипнул себя за руку и, надев еще сыроватый бушлат, решил обойти весь остров по берегу.

Плохая затея! Едва ноги его коснулись песка, как все мускулы заныли, ослабели, запросили пощады. Утомленный качкой, Косицын готов был растянуться у подножия сопки. Как? Лечь? Он наградил себя жестоким щипком и, с трудом вытаскивая ноги, направился дальше.

То был остров без ручьев, без деревьев, без тени, заросший жесткой, курчавой травой. И жили здесь только птицы. Черные жирные топорки отрывались от воды и, с трудом пролетев сотню метров, ныряли прямо в дыры, пробитые в склоне горы. Зато чайки носились высоко, покачиваясь на упругих крыльях, смело дрались в воздухе и только изредка опускались на самые высокие скалы.

Весь восточный берег был завален влажным мусором. Косицын разглядывал его с любопытством, по-крестьянски жалея неприкаянное морское добро. Были тут измятые ржавые бочки, стеклянные шары наплавов в веревочных сетках, бутыли, бамбук, обрывки сетей, циновки, багровые клешни крабов, водоросли с темными луковицами на конце каждой плети, куски весел, канаты, ветхие позвонки и ребра китов, пемза, доски с названиями кораблей и еще никого не спасшие пояса, шершавые звезды, медузы, тающие среди водорослей, точно куски позднего льда, истлевшая парусина чехлов — все мертвое, влажное, покрытое кристаллами соли.

Выше этого кладбища белели просторные залежи сухого плавника. Это навело Косицына на мысль о костре, высоком, дымном сигнале-костре, который был бы виден с моря и ночью и днем. Но когда он подошел к японцам и потребовал перенести сучья с берега на гребень горы, никто не шелохнулся. Шкипер не захотел даже поделиться спичками.

— Скоси мо вакаримасен,— сказал он смеясь.

Семь рыбаков с присвистом и чмоканьем глотали лапшу. Они успели снять со шхуны и припрятать под водорослями два мешка риса, ящик с лапшой и целую бочку с квашеной редькой и теперь иронически поглядывали на голодного краснофлотца.

— Не понимау,— перевел любезно синдо.

Косицын помрачнел. Он мог сидеть без воды, без хлеба, потому что это касалось лично его. Но спички... Костер должен гореть. И он спросил, сузив глаза, очень тихо:

— Опять р-разговорчики? Ну?!

Только тогда улыбки погасли, и шкипер кинул бойцу жестяной коробок.

Что делать с «рыбаками» дальше, Косицын не представлял. Он прожил всего двадцать два года, знал мотор, разбирался в компасе, но еще ни разу не попадал на остров вместе с японцами.

Впрочем, он задумался ненадолго. Природная крестьянская обстоятельность и смекалка подсказали ему верную мысль — сразу взять быка за рога. В чистой форменке

и бушлате, застегнутом на все пуговицы, он чувствовал себя единственным хозяином земли, на которой бесцеремонно расселись и чавкали подозрительные «рыбаки». Надо было с первого раза поставить японцев на место. Тем более что большая земля лежала всего в двух милях от острова.

Поставить... Но как? Он вспомнил неторопливую речь и манеру боцмана выступать на собраниях (одна рука позади, другая за бортом кителя), приосанился и сурово сказал:

— Эй, старшой! Разъясните команде мою установку. Вы теперь на положении острова. Это во-первых... Земли тут немного, да вся наша, советская. Это во-вторых. Значит, и порядки будут такие же. Самовольно не отлучаться, озорства не устраивать, во всем соблюдать сознательность, ну, и порядок. Ежели что — буду карать по всей строгости на правах коменданта... Вопросы будут?

— Будут,— сказал быстро синдо.— Вы комендант? Хорсо. Тогда распорядитесь кормиць нас продовольствием. Во-первых, рисовая кася, во-вторых, риба, в-третьих, компот. А?

Он торжествующе взглянул на Косицына, и вслед за ним, не переставая жевать, на краснофлотца уставилась вся команда.

Комендант долго думал, подбирая ответ.

— Рисовой каши не обещаю,— сказал он серьезно,— с рыбой придется обождать... А вот компот вам будет. Обязательно будет. И в двойной порции! Понятно?

Никто не ответил. Боцман, толстяк в панаме и синей шанхайской спецовке, облизывал пальцы, с любопытством поглядывая на коменданта.

— А теперь учтем личный состав.

Тут комендант вынул карандашик и книжку и спросил боцмана, сидевшего крайним:

— Ваша фамилия?

Он спросил очень вежливо, но боцман только хихикнул. За толстяка неожиданно ответил синдо:

— Пожариста... Это господин икс.

— Ваша?

— Пожариста... Господин игрек.

Раздались смешки. Игра понравилась всем, кроме коменданта.

— Отставить! — сказал Косицын спокойно.— Эта азбука нам известна.

Он подумал и, старательно оглядев «рыбаков», стал отмечать в книжке приметы: «Икс — вроде борова, фуфайка

в полоску... Игрек — в шляпе, конопатый, косой...» На шкипера примет не хватило, и Косицын записал коротко: «Жаба».

...Плавник пришлось собирать самому. Девять раз Косицын спускался на берег и девять раз приносил на вершину сопки охапки вымытых морем, голых, как рога, сучьев.

Он тотчас разжег костер, но плавник был тонкий, сухой.

Пламя быстро обгладывало ветки, почти не давая дыма. Тогда он принес с берега несколько охапок мокрых водорослей, и вскоре над островом заклубился бурый дым.

В каменной выемке на вершине горы Косицын нашел лужу с дождевой теплой водой, напился и даже вымыл чехол бескозырки. Затем он стал шарить в карманах, надеясь найти что-либо съедобное. Закуска оказалась жестковатой: перочинный нож... пуговица... ружейная гильза. Все это было облеплено клочками бумаги и липкой красновато-коричневой массой. Косицын вспомнил, что накануне положил в бушлат два ломтя хлеба с кетовой икрой (известно, что с полным трюмом легче выдержать качку).

Он извлек несколько пригоршней соленого месива и медленно съел, запивая водой из лужи. Поблизости от костра комендант отыскал гнезда чаек. В каждом из них лежало по три голубоватых теплых яйца. Он выпил десяток. Чайки носились вокруг, норовя клюнуть в бескозырку Косицына.

После завтрака к нему вернулась сонливость. Солнце светило так ровно, так мягко, что веки смыкались сами собой. Комендант стал разглядывать горизонт. Но море, отдыхая после шторма, сияло голубизной, переливаясь, мерцало, ослепляя глаза. Тогда, чтобы не поддаться соблазну, он решил привести в порядок командную точку. Очистив площадку от крупных камней, он уложил их полукруглым барьером, сделал что-то вроде скамьи и протоптал на восточном склоне дорожку к залежам плавника.

Вечером комендант спустился к японцам. На этот раз «рыбаки» были заняты странной игрой. Обступив бесстрастного шкипера, они поочередно тянули у него из кулака соломинки. Самая длинная досталась боцману. Увидев Косицына, он отошел в сторону и стал чистить щепочкой ногти.

— Мы выбрали повара,— пояснил шкипер любезно.— Этот человек сварит кашу сегодня.

Косицын оглядел жеребьевщиков. Крепкие парни стояли полукругом, бормотали и кланялись с подчеркнутым дружелюбием. Маленький радист даже козырнул коменданту.

Боцман спохватился, отвел глаза и медленно растянул щучий рот.

— Невеселый какой повар,— заметил Косицын.— Наверно, обжечься боится.

Было ясно — готовят какую-то пакость. Какую — Косицын не мог догадаться. В раздумье он обошел лагерь японцев. Циновки, котел, бочка, резиновые сапоги — все было как утром. Только шлюпка лежала значительно ближе к воде. Прибой? А к чему обмотано бечевой треснувшее весло? Комендант знал десятка два слов, но, вслушиваясь в легкое стрекотанье японцев, похожее на скороговорку, мог уловить только знакомое «содес». Уж не собрались ли?..

Подумав, он выдернул из песка оба весла, на которых сушилось белье, и пошел с ними в гору.

Повар забежал вперед и тревожно спросил:

— Эй, Иван, зачем брал?

— Укоротить надо. Велика больно ложка,— ответил сурово Косицын, положа руку на кобуру...

4

Наступила ночь, просторная, звездная. Костер на вершине сопки стал гаснуть, и шкипер отдал приказ выступать.

Как удалось выяснить позже, «рыбаки» утаили при обыске два ножа и плоский штык, который боцман умудрился спрятать в брюхе трески. Сначала было решено оружие в ход не пускать, ждать полицейскую шхуну, принявшую вчера сигналы «Кобе-Мару». Потом двое «рыбаков» (больше тузик не брал) взялись добраться до ближайшего острова Курильской гряды и вызвать подмогу. Но весла были на сопке у коменданта. Оставалось ждать, когда на помощь оружию придет сон.

И сон пришел. Было видно, как бледнеет, никнет в траву голодный огонь. Вскоре перестал шевелиться и комендант.

Чтобы не шуметь, японцы оставили на песке гета и резиновые сапоги. Верные постоянной тактике охвата, они разбились на две группы и осторожно поднялись на сопку. Боцман, вытянувший накануне соломинку, должен был кинуться первым.

Костер погас. Комендант спал. На фоне звездного неба чернела сутулая спина коменданта. Бескозырка съехала на нос, и голова клонилась к коленям.

Боцман кинулся к спящему и, торопясь, ударил в спину ножом. Раз! Два! Он опрокинул Косицына в траву, а набежавшие из темноты «рыбаки» стали в ярости топтать коменданта.

Шкипер опомнился первым.

— Са-а! — крикнул он.

Вслед за ним вскочили другие.

И тогда «рыбаки» услышали знакомый сипловатый голос Косицына.

— Ну, чего «а-а»? — спросил он неторопливо.— Убили сонного... Рады?

Он вышел из-за кустов, сорвав бушлат с чучела, кинул болванку на угли. Вспыхнул ком водорослей, и разом стали видны невеселые лица японцев.

— Дай сюда нож! — сказал Косицын убийце.— Тоже кашевар навязался.

Он хотел сказать еще что-нибудь похлеще про самурайскую подлость, но сразу не мог подобрать нужное слово, а когда подобрал, по склону, вслед за японцами, уже сыпались камни.

Комендант расправил бушлат и вздохнул. Сукно было совсем свежее, первого года носки. Тем страшнее зияли на фоне огня две дыры.

— Какой бушлат загубил! — сказал с сердцем Косицын.— Чертов икс, насекомое вредное!

Ругаться он совсем не умел.

...Всю ночь Косицын провел в мокрой траве, изредка поднимаясь, чтобы подбросить в огонь плавника. И это было мукой — чувствовать теплоту пламени, слышать прибой, мерный, как дыхание спящего, и не заснуть самому.

К утру рука коменданта посинела от крепких щипков. Он обтерся до пояса ледяной водой и снова принялся за работу. У него хватило сил запастись хворостом, вымыть тельняшку и даже почистить кусочком пемзы пряжку и потемневшие пуговицы. Он был комендантом, хозяином Птичьего острова, и каждый раз, проходя мимо молчаливой, враждебной кучки японцев, с усилием поднимал веки и старался ставить ногу твердо на каблук.

А песок был ласков, горяч. Сухие пружинистые водоросли цеплялись за ноги, звали лечь. И так настойчив был это призыв, что Косицын стал обходить стороной опасное место, выбирая нарочно большие неровные камни.

В обед он снова отправился за яйцами. На этот раз все гнезда были пусты. Зато на песке возле «рыбаков» лежала целая груда яиц.

Такое нахальство возмутило Косицына. Он направился к соседям с твердым намерением устроить дележку. Но едва поравнялся с циновками, как два «рыбака» прыгнули прямо в кучу яиц. Охваченные мстительной радостью, они принялись отплясывать нелепый воинственный танец среди скорлупы.

Отогнать? Пугнуть для порядка? Как ни голоден был комендант, он не хотел пускать в ход наган.

Косицын просто не заметил двух плясунов. Он развернул плечи и прошел мимо неторопливой походкой только что пообедавшего человека. При этом он даже отдувался и ковырял спичкой в зубах.

Вероятно, хитрость голодного человека была очень заметна, потому что синдо усмехнулся. Это рассердило Косицына. Он замедлил шаг и сказал шкиперу по-хозяйски увесисто:

— Повар ваш по чужим кастрюлям горазд... Боюсь, свинцовым горохом подавится.

...Голод снова привел его на птичий базар. Скинув бушлат, Косицын стал шарить в норах, выбитых птицами в песчаном откосе. У топорков были железные клювы. Они защищались отчаянно. Косицын свернул голову двум топоркам и зажарил птиц на углях. Темное мясо горчило и пахло рыбой.

Что было дальше, он помнил плохо. С раскрытыми глазами комендант сидел у костра. Он ничего не видел, кроме огня и японцев, шевелившихся на песке. Скалы плыли, двоились, волны почему-то набегали на траву, солнце гудело, точно большая паяльная лампа. Чайки монотонно кричали «зря... зря...».

5

Был славный штилевой вечер, когда Косицын спустился с горы и сел напротив японцев. Утомленный непрерывной тревогой, комендант хотел смотреть врагам прямо в глаза.

— Ложись спать, аната,— сказал он устало.— Ложись спать, слышишь, чайки играют отбой.

Странное дело, никто из «рыбаков» не пытался возражать коменданту, точно вся команда молчаливо признала сопротивление бесполезным. Спать так спать!

Солнце погрузилось в тихую светлую воду. Утка спрятала голову под крыло. Дым над островом стоял на тонкой ноге, упираясь кроной в зеленое небо. В тишине бы-

ло слышно, как гулькают волны, выбегая на отлогий песок.

Семь «рыбаков» ложились на циновки, потягивались, вкусно зевая. Стоило одному из них открыть рот, как зевота, обежав всю команду, поражала Косицына. Вскоре это было замечено, и японцы принялись откровенно поддразнивать коменданта. То один, то другой кривил спазмой рот, изображая крайнюю степень усталости. Со всех сторон неслись глубокие безжалостные вздохи, похрустывание расправляемых связок, чмоканье, кряхтенье, сонное бормотанье — темная музыка сна, способная свалить даже свежего человека.

Чтобы стряхнуть дремоту, Косицын спустился к берегу и, став на колени, погрузил лицо в темную воду.

Стало немного легче. Он смочил бескозырку и нахлобучил на голову. Только бы просидеть до утра. А там... Должен же «Смелый» заметить огонь.

Он снова вернулся к японцам. Кажется, они теперь спали по-настоящему, без нарочитого храпа и вздохов. Косицын еще раз пересчитал «рыбаков». Семь японцев лежали полукругом — головами к сопке, ногами к костру. Огонь и тот задремал: угли уже подернуло сединой.

Холодная вода стекала с лент бескозырки за шиворот. Комендант даже не шевельнулся. Пусть, так лучше. Рука от щипков онемела, а капли все-таки гнали сон.

Вскрикнула птица. Повис, нудно заныл над ухом комар. Ниже, ниже... Звенит, переливается, тянет... Скорей бы рассвет, птичий базар. На свету как-то меньше слипаются веки. Он отмахнулся от комара. Медлит, сверлит... Хоть бы ужалил... Нудьга! Не комар — провод в степи... Откуда степь? Ерунда... Ветер? Нет, песня... Странная песня.

Он смотрел на угли, стараясь понять, человек то поет или просто гудит усталая голова. А сквозь сонный плеск моря заметно пробивалась песенка — грустная и простая.

То была песня-петля, песня-удавка. Прозрачная, безобидная, цепкая, она незаметно обволакивала тело и усталую волю бойца.

Он вскочил, отошел в сторону... Песня догнала его, пошла рядом, обняла за шею прозрачной рукой.

Душит, гнет, качает, баюкает... Что за черт! Кружатся звезды, качается берег, точно палуба. Ерунда! А быть может, почудилось?

Зябко стало коменданту. Он пошел быстрее, почти побежал. Песня смолкла, отстала...

Из темноты навстречу взметнулась скала. С разбегу привалился он к мокрому камню. Кровь сильно токала в царапину на плече. Промыть бы соленой водой... Завтра лекпом наложит повязку по форме...

Снова Косицын почувствовал вкрадчивое прикосновение песни. Она выползла откуда-то из темноты, из сырых водорослей, из камней, обняла и закрыла ладонью глаза.

Опускаясь на корточки, он твердил сквозь зубы себе самому:

— Я не хочу спать... Я не хочу спать... Не хочу.

Но песня была сильнее. Она сомкнула веки бойца, пригнула к коленям горячую голову. Спать! Спать! Все равно...

Он выпрямился, глянул с отчаянием в темноту. Коменданту почудилось, что на камне, напротив скалы, сидит шкипер. Руки синдо — локтями в колени, подбородок — в ладони. Лицо неподвижно, а под ресницами настороженно тлеют глаза. Вот оно что — песня сочится сквозь зубы.

И вдруг комендант понял: вяжут сонного! Еще минута — и песня шаг за шагом уведет его в темноту... Сволочи! Как быка!

Он рванулся, крикнул что было сил:

— Врешь! Не выйдет... Молчи!

И песня оборвалась. Стал слышен ленивый плеск моря.

— Хорсо,— сказал шкипер.— Я буду не петь.— Он оплел руками колени и добавил, мечтательно сузив глаза: — Извинице... я думал делать приятность. Сибиряки любят красивые песни.

— Не сибиряк я... Молчи.

— Извинице, а кто?..

Косицын, пошатываясь, отошел от опасного места. Теперь он хоть видел в лицо врага. Темный страх, вызванный песней, сменился привычным ожесточением усталого и голодного человека.

— Спрашивать буду я,— сказал мрачно Косицын.— Не в своем болоте расквакались...

Они помолчали.

— Я думаю, вы, наверное, волжанин? — продолжал мечтательно синдо.— Волжанские песни тоже довольно приятны. Как это? Вы есть жив еще, моя старушка. Жив на привец тебе, привец... Наверно, так? Очень хорсо! — Шкипер подумал и сказал почти шепотом: — Признаюсь между нами, я тоже уважаю... свой добру старушек. Интересно, что думает счас моя стару, моя добру матерка?

Комендант пригорюнился, подпер кулаком небритую щеку.

— Думает... Известно, что думает.

— Да? Очень интересно. Скажите, пожариста.

— «Эх, и какую хитрую шельму я родила!»

— Ах так! — сказал шкипер отрывисто.— Хорсо. Вы знаете правило: смеется, кто сильный?

— Вот я и смеюсь.

— Кто вы? Командир? Нет. Хозяин? Нет. Просто солдат. Мы все одинаково робинзоны.

— А я полагаю, робинзонов тут нет,— сказал в раздумье Косицын,— одни жулики, а я при вас комендант. Понятно?

Он с трудом поднял голову и добавил, зевнув:

— Волжские песни не пойте. Боюсь... рыбы подохнут.

6

Дружный крик японцев вывел коменданта из дремы. Возбужденные «рыбаки» толпились на песке возле самой воды, громко приветствуя белую шхуну. Радист, оравший громче других, сорвал желтую куртку и размахивал над головой, хотя на шхуне и без того заметили группу,— до корабля было не больше десяти кабельтовых.

Шхуна шла прямо к острову, и японцы наперебой объясняли Косицыну невеселую картину близкой расправы. Больше всех старался боцман, самолюбие которого было сильно уязвлено комендантом. Встав на цыпочки, он обвел рукой вокруг коротенькой шеи и высунул язык: «Что, дождался пенькового галстука?» Шкипер тут же любезно пояснил:

— Это нас... Это императорски корабр. Скоро вы можете совсем отдыхац, господин... комендант.

— Вижу,— сказал Косицын невесело.

Он молча вынул наган, пересчитал пальцем японцев и, заглянув в барабан, заметил в тревожном раздумье:

— Семь на семь... как раз.

С этими словами он еще раз взглянул на корабль и отвернулся от моря.

Комендант не нуждался в бинокле. То была знаменитая «Кайри-Мару», голубовато-белая, очень длинная шхуна с надстройками на самой корме, что делало ее похожей на рефрижератор. Официально шхуна принадлежала министерству земли и леса, но выполняла различные деликатные поручения, оценить которые можно только с по-

мощью уголовного кодекса. Стоило задержать в наших водах краболова или парочку хищных шхун, как на почтительном расстоянии от катера появлялась «Кайри-Мару» и затевала длинный разговор, полный намеков и прозрачных угроз. Не раз мы встречали ее по соседству с гидропортом, новыми верфями или возле лежбищ морского бобра, и Сачков, сердясь, обещал отдать один глаз, чтобы увидеть другим «бычка на веревочке». Он горячился напрасно. Оба глаза нашего моториста были в полной сохранности, а нахальная «Кайри-Мару» третий год бродила вдоль побережья Камчатки, перемигиваясь по ночам с заводами арендаторов.

Все было кончено. Косицын повернулся и пошел вдоль берега, стараясь определить место, к которому подойдет шлюпка с десантом. На что он надеялся, трудно сказать. Да и сам он не мог ответить на этот вопрос. Тяжелая кобура с дружеской неловкостью похлопывала его по бедру, точно желая в последний раз ободрить бойца.

Следом за Косицыным шли «рыбаки». Им надоело ждать, когда комендант свалится сам. А вид «Кайри-Мару» и шипение шкипера подогревали решимость покончить с Косицыным прежде, чем шхуна выбросит на берег десант.

Если бы на месте коменданта был Сачков или Гуторов, развязка наступила бы гораздо скорее: трудно сохранить патроны (и свою голову), когда палец так и тянется к спусковому крючку. Но Косицын был слишком нетороплив, чтобы ускорять события.

Он прибавил шаг, но и «рыбаки» зашагали напористей. Упрямые, легкие на ногу, они не произносили ни слова. Был слышен только быстрый скрип гальки да крики чаек, провожавших людей. В молчании пересекли они ломкий плавниковый навал, перелезли через грядку камней и, спустившись вслед за Косицыным к морю, пошли по мокрой, твердой кромке песка.

Он обернулся и устало сказал:

— Эй, аната! Мне провожатых не надо.

Шкипер со свистом вобрал воздух, ответил учтиво:

— Прощальная прогулка, господин комендант!

Они пошли дальше. Это была странная прогулка. Впереди рослый, чуть сутулый краснофлотец с угрюмым и сонным лицом, за ним семь нахрапистых, обозленных «рыбаков» в костюмах из синей дабы и пестрых фуфайках. Когда шел комендант — шли «рыбаки», когда комендант останавливался — делали стойку японцы.

Так они обогнули остров и вышли на северо-западный берег — единственно удобное для высадки место. Маленькая бухта, которую пограничники окрестили впоследствии бухтой Косицына, изгибается здесь в виде подковы с высоко поднятыми краями, которые отлично защищают воду от ветра.

Тут Косицын заметил впереди себя две длинные тени. Радист и боцман, забежав вперед, стали на пути коменданта. Остальные зашли с левого фланга, и все вместе образовали мешок, открытый в сторону моря.

«Рыбаки» наступали полукругом. Позади них, на голой вершине, еще шевелился огонь. Дым стоял точно дерево с толстым стволом, и его широкая крона бросала тень на песок.

Шкипер крикнул что-то по-своему, коротко. И на этот раз Косицын сразу понял: смерть будет трудной. В руках радиста был гаечный ключ, боцман размахивал румпелем[1], остальные держали наготове сучья и голыши.

Стрелять на близкой дистанции было неловко. Комендант попятился в воду и поднял наган. Странное дело, Косицын почувствовал облегчение. Настороженность, тревога, не покидавшие его трое суток, исчезли. Пропала даже сонливость...

Он стоял твердо, видел ясно: злость и страх боролись в японцах. Боцман шел сбычившись, глядя в воду. Шкипер закрыл глаза. Радист двигался боком. Все они трусили, потому что право выбора принадлежало коменданту. До первого выстрела он был сильней каждого, сильней всех... и все-таки они двигались...

Семь на семь. Ну что ж!

— Чего жмешься! — крикнул он боцману.— Гляди прямо. Гляди на меня!

Он стал тверже на скользких камнях и выстрелил в крайнего. Боцман упал. Остальные рванулись вперед. Два голыша разом ударили коменданта в локоть и в грудь, сбив верный прицел.

— А ну! Кто еще!

Целясь в синдо, он ждал удара, прыжка. Но «рыбаки» неожиданно замерли. Один шкипер, серый от злости и страха, весь сжавшись, зажмурившись, еще подвигался вперед.

В море выла сирена...

Вытянув шеи, «рыбаки» смотрели через голову коменданта на шхуну, и лица их скучнели с каждой секундой.

[1] Румпель — рычаг от руля.

Кто-то швырнул в воду камень. «Са-а»,— сказал оторопело радист. Синдо осторожно открыл один глаз, зашипел и разжал кулаки.

Косицын не мог обернуться: «рыбаки» были в двух шагах от него. Он смотрел на японцев, силясь угадать, что случилось на шхуне, и понял только одно: терять время нельзя.

Он поправил бескозырку, опустил наган и пошел из воды на противника.

Радист попятился первым, за ним остальные. «Рыбаки» отходили от моря все быстрей и быстрей. Потом побежали.

На берегу комендант обернулся. «Кайри-Мару» шла под конвоем пограничного катера, закрытого прежде высоким бортом,— теперь шхуна медленно разворачивалась, открывая маленький серый катер, и зеленый флаг, и краснофлотцев, уже прыгавших в шлюпку.

...Как «Смелый» встретил «Кайри-Мару», рассказывать долго. Мы задержали ее в шести милях от Птичьего острова и сразу пошли на дымный сигнал (Сачков клялся, что на острове проснулся вулкан).

...Выскочив на берег, мы кинулись навстречу Косицыну. Но комендант, как всегда, не спешил. Славный увалень! Он хотел встретить нас по всей форме на правах коменданта Птичьего острова.

Мы видели, как он растопырил руки, приглашая японцев построиться, как переставил маленького шкипера на левый фланг и велел подобрать животы. После этого он отошел на три шага, критически осмотрел «рыбаков» и, скомандовав «смирно», направился к шлюпке.

Застегнув бушлат на все пуговицы, он степенно шел нам навстречу — отощавший, заросший медной щетиной.

Глаза коменданта были закрыты. Он спал на ходу.

1938

Борис Горбатов

(1908—1954)

ЗДЕСЬ БУДУТ ШУМЕТЬ ГОРОДА...

Ветер — десять баллов. Шторм. Огромный человек стоит, широко расставив ноги. Его шатает, сшибает ветром, он упорствует.

О сапоги, о полы кухлянки яростно бьются волны снега; снежная пыль клокочет, как пена. Человек ссутулился и закрыл лицо обледеневшим шарфом.

Все бело, мутно, призрачно вокруг — ни ночь, ни день, ни земля, ни небо. Реального мира нет — все иссечено пургой, засыпано снегом. Ни линий, ни очертаний. Все взвихрено, вздыблено, подхвачено ветром и брошено в игру.

Один человек реален в своей синей кухлянке с капюшоном и в кожаных сапогах.

Он один стоит, вокруг все в движении. Мимо него с грохотом проносятся камни, обломки льдин, сугробы снега, кочки, покрытые жалким мхом. Осатанелый поземок рвет снежный покров тундры; миллионы снежных песчинок приходят в движение: оголяются горы, бугры, скалы; все срывается с места и мчится, повинуясь ветру. Весь мир — мутный, косматый, колючий — со свистом проносится мимо человека.

Уже трудно стоять на месте и сопротивляться движению. Надо прятаться, как спрятались птицы и звери, или идти.

Но человеку в кухлянке некуда идти и негде спрятаться: его машина уткнулась мотором в снег и замерла, дырявый брезент над кузовом почти не защищает от ветра. Вокруг ни жилья, ни костра, ни дыма.

Человек в кухлянке вытягивает шею, словно хочет что-то увидеть впереди. Огромная ноша сутулит его спину. Это ветер. Ветер сидит на его плечах и злобно толкает вперед. Человек упорствует. Ветер крепок, но человек крепче.

Вокруг все охвачено стремительным, порывистым движением. Это не вихрь, не слепая пурга, не смерчи. Это — бег. Бег ураганной скорости. Непрерывный и целеустремленный бросок вперед.

В нем есть направление: на норд-вест, к морю. С гор срываются голые медно-зеленые камни и, грохоча, подпрыгивая, мчатся на норд-вест. В заливе с шумом валятся острые торосы, и обломки их, перекатываясь, ломаясь, крошась, несутся на норд-вест. Взлохмаченная ветром тундра дымится, по ней кочуют сугробы — на норд-вест, на норд-вест! Вздымая вороха снега, стремглав проносится поземок — на норд-вест, на норд-вест! И кажется, что вся тундра рванулась и понеслась, подгоняемая ветром, на норд-вест, к далекому морю.

Один только человек стоит на месте, лицом к северо-западу, и не делает вперед ни шагу. Шарф уже не защищает его лица, шарф сорвало ветром, он еще трепещется вокруг шеи, надувается и вдруг, развернувшись по ветру, бросается на норд-вест. Свистя и воя, проносится мимо косматый мир.

И тогда человек поворачивается против ветра. Он делает это медленно, очень медленно. Ему приходится преодолевать сопротивление страшной силы: плотную стену шторма. Он разворачивается по кругу, как самолет; сначала заносит правое плечо и вытягивает правую руку, потом делает полуоборот и принимает удар ветра в грудь, выдерживает его и остается на ногах, потом делает еще полуоборот и закрывает лицо руками.

Теперь он стоит против ветра. Яростный, колючий ливень хлещет ему в лицо, словно бьет тысячами хвойных веток. У человека выступают слезы на глазах, текут по щекам и замерзают. Лицо одеревенело, он не чувствует больше кожи. Судорожным усилием открывает он рот, чтобы вздохнуть, и пугается, что кожа на щеках лопнет, потрескается.

Слишком много ветра: человек задыхается, вот с шумом лопнут легкие.

И тогда он начинает кричать.

— Э-гей! Ты! Дурак! — Его голос тонет в вое пурги, но он упрямо и зло кричит ветру: — Ты! Дурак! Ну? Иду. Слышь? Иду. Ну? Гей, ты!

Ему кажется, что, когда кричишь, легче идти. Он начинает даже петь — зло, остервенело. Но на песню не хватает дыхания. Можно только кричать, судорожно, отрывисто: «О-о! А-а! Ге-ей!» — или выть, как воет волк.

Каждый шаг дается с бою. Было бы легче ползти, но человек упрямо держится на ногах, падает и подымается. Идет, разрывая руками плотную завесу ветра. Задыхается, сопит, сплевывает густую слизь, но идет.

И вот наконец из белесой мглы выступают мутные очертания чего-то темного и бесформенного. Наконец-то! Он торжествующе машет кулаком вьюге, приподымает брезент и влезает в машину. Он — «дома».

Он трет снегом замерзшие щеки.

— Игнат, ты? — слышит он голос товарища.

— Да, я.

— Ну?

— Что — ну?

— Разведал?

— Разведал.

— Ну? Тише стало? Скоро поедем?

Игнат угадывает в голосе товарища надежду, но отвечает безжалостно и насмешливо.

— Стихло, Костик, спи. Десять баллов.— И зло, невесело смеется.

...Проходит много часов, сколько — неизвестно: никто не смотрит на часы. Времени нет, есть ветер; и люди прислушиваются к ветру. Иногда им кажется, что шторм стихает. Они подымают головы и чутко прислушиваются.

— Ты слышишь? — перекликаются они.— Слышишь?

Но новый порыв ветра задувает надежду, она гаснет, как искра в степи. Люди опять опрокидываются навзничь и затихают, съежившись в своих мешках. Игнат делает вид, что беспечно храпит. Костик вздыхает. В третьем мешке кто-то тихо стонет и кашляет. Откуда-то сверху беспрерывно сеется мелкий снег, падает на лицо и тает, но к этому уже привыкли.

— Это ветер...— бормочет Костик.— Он не кончится никогда. Он будет вечно. Что делать, что делать?

Он замолкает на минуту и снова бормочет, не обращаясь ни к кому:

— Что делать, что делать, черт подери!

— Ждать! — раздается резкий голос из третьего кукуля.

Костик вздрагивает и умолкает.

В тишине слышно, как стонут доски кузова. Игнат ползком подбирается к черному ящику у борта. Это маленький простенький радиоприемник с репродуктором «Рекорд». Игнат надевает наушники, все подымают головы и жадно прислушиваются. Из трубы вырывается зловещий свист, словно радиостанции транслируют не музыку, а пургу.

— Москва,— вздыхает Костик.— Москва...

Свист репродуктора сливается с воем пурги. От этого кажется, что ветер стал еще злее, еще неистовей. Игнат сбрасывает наушники и молча залезает в кукуль.

— Ждать?— бормочет Костик.— До каких пор ждать, профессор? Пока наши скелеты занесет снегом? Когда едут на собаках, можно, по крайней мере, съесть собак, а мы...

— Ждать! — снова раздается голос профессора, и снова поспешно умолкает Костик.

Он долго ворочается в своей меховой клетке. Ему хочется говорить, слышать человеческие голоса. Он прислушивается к шумному дыханию товарища и произносит:

— В Москве я жил на Патриарших прудах... Вы знаете эти пруды? Белые зимой и зеленые летом. Отчего человеку не сидится на месте?

Он ждет. Никто не подхватывает беседы. С шумом хлопает надутый ветром брезент.

— Мальчиком я мечтал о парусах,— шепчет Костик.— Я хотел стать моряком, а стал геологом. Но никогда, даже в самых безумных мечтах, я не представлял себе, что буду, как крыса, подыхать в мешке, пропахшем псиной.— Он снова ждет и, не выдержав тишины, кричит: — Да скажите хоть слово, ну же!

Он с шумом переворачивается на левый бок и задевает ногой кучу минералов, сваленных у борта. Камни с грохотом катятся по полу. Слышен звон разбитого стекла.

— Бутылочка? — испуганно вскрикивает профессор.— Вы разбили...

— Нет, нет...— торопливо отвечает Костик.— Это фонарь.

— А-а! — успокаивается профессор.— То-то!

— Я храню бутылочку при себе, профессор. Если б это был слиток золота, я б не мог его хранить бережнее.

— Это больше чем золото, Костик. Это нефть.

— Да, да... Нефть. Я знаю. Нефть — это жизнь. Если

мы будем живы и наконец попадем в Москву — вы ведь верите в это, профессор, правда? — мы будем рассказывать, как нашли нефть на сопке. И эти капли... как они сочились по песчанику и дрожали в бутылке, куда мы собирали их. И пахло нефтью. Вкусный запах. О, если мы будем жить!..

— Костик! — с досадой перебивает его профессор.— Отучитесь, пожалуйста, разговаривать белыми стихами. Геологу это не к лицу.

— Слушаюсь, профессор,— обиженно шепчет Костик и умолкает.

В машине становится совсем тихо. Изредка только раздаются хрипы и кашель профессора, он хочет подавить их, но от этого кашляет еще сильнее.

...Проходит еще много долгих часов.

Шторм стихает. Его удары слабеют, в них нет уже прежней ярости. Рев переходит в ворчанье, в нем чуется сытость. Все ниже припадает к земле ветер. Обессилев, он уже не летит, а ползет. Мутная пелена, окутывавшая мир, рассеивается, все становится на свои места, мир снова реален. Белые горы. Белое небо. Белая тундра.

Среди этой безмолвной белой пустыни чернеет маленькая точка. Теперь видно: это грузовик-вездеход. Радиатор окутан ватным чехлом (на чехле снег), верх кузова затянут брезентом (на брезенте снег), резиновые гусеницы машины глубоко утонули в снегу. Вокруг — ни живой души, ни человеческого следа. Даже колею, пропаханную вездеходом, давно замело, и кажется, что вездеход ниоткуда не пришел и никуда не идет.

Но вот зашевелился брезент, посыпался снег, и из машины вылез человек в кухлянке. Он распрямляет плечи, потягивается — слышно, как хрустят его кости,— потом сбрасывает кухлянку. Теперь он в пыжиковой рубахе, в пыжиковых штанах мехом наружу, в капелюхе и огромных, по локоть, шоферских рукавицах. У него цыганское острое лицо, смуглое или немытое, большой хищный рот, большие зубы.

Он долго стоит и насмешливо смотрит на горы, на тундру, на небо. «Ну,— словно хочет сказать он,— утихомирились?» По земле струится поземок, словно бегут серебряные ручьи; заструги похожи на каменистое речное дно.

— Веселый месяц май! — насмешливо произносит механик, сплевывая, и лезет в кабину.

Скоро он снова появляется. Теперь в его руках лопата. Он вонзает ее в снег, а сам медленно идет вокруг машины, по-хозяйски оглядывает ее, остукивает, ощупывает, качает

головой. Потом берет лопату и начинает отбрасывать снег. Снегу много, машина вся в сугробах.

Он работает споро, машисто, не разгибаясь. За его спиной вырастают горы мятого снега.

Он один в движении,— вокруг все оцепенело. Стынут горы, неподвижна безголосая тундра, в белом небе едва заметно перемещаются облака. Все угомонилось, замерло, уснуло. Во всем лад и покой — тот неправдоподобно кроткий покой, какой бывает только после шторма. Кажется, что сугробы, заструги, обломки скал, торосы — все, что примчал, разломал и взъерошил ветер,— все это было здесь вечно, всегда все было так, как сейчас: сонно и неподвижно.

Один человек в движении. Его руки, плечи, спина — все в ходу. Рушатся под лопатой сугробы, снежная пыль клокочет, как пена.

Теперь верится, что вездеход пойдет. Ломая торосы, отшвыривая прочь твердые комья снега,— пойдет, пойдет!

За спиной Игната раздается скрип шагов. Не оглядываясь, он знает: это Костик.

Костик идет, чуть пошатываясь. Это бледный, худощавый юноша, в дымчатых очках, с редкими русыми волосами. Его лицо осунулось, щеки впали, вокруг рта две новые глубокие морщинки.

Он идет медленно, как больной, тяжело опираясь на лопату. Наклоняется, берет в горсть снег, жадно ест его и кашляет. Он кашляет долго и мучительно, но, откашлявшись, снова ест снег. Потом подходит к Игнату и весело смотрит на него, щурясь от сияния снега.

— Значит, поедем, Игнат? А? Поедем?

— Что Старик? — глухо спрашивает Игнат.

Костик темнеет.

— Плохо,— тихо отвечает он. С минуту молчит, потом прибавляет, сморщившись: — Очень плохо.

— Что он говорит?

Костик пожимает плечами.

— Ты же знаешь Старика: он ничего не скажет.

Игнат слушает, нагнув голову. Снег вдруг начинает тускло поблескивать — это солнце прорвалось сквозь строй облаков. Потом Игнат произносит:

— Он не скажет!

Оба долго молчат, смотрят в землю. Потом Костик вдруг яростно замахивается лопатой и начинает работать. Его движения нервны, порывисты, суетливы. Он тяжело дышит.

Игнат лезет в кузов и вытаскивает оттуда два небольших бидона. Он несет их, бережно прижимая к груди.

Но прежде чем начать заливку, он подымает руку и долго шевелит пальцами; по пальцам струится обессиленный ветер. Игнат поворачивается спиной к ветру и начинает заправлять машину. Он льет бензин осторожно, бережно, боясь пролить хоть каплю,— так голодный режет хлеб на ладони, чтоб не уронить крошек.

Уже пуст бидон, но механик все трясет его над баком. Стекли последние капли. Бидон пуст, и тут уж ничего не поделаешь. Вздохнув, он берет другой.

С лопатой на плече подходит Костик. Он втыкает лопату в снег и глядит, как работает товарищ.

— Это... последний? — спрашивает он робко.

Игнат не отвечает. Слышно, как булькает бензин в баке.

— Я хотел сказать тебе, Игнат,— робко продолжает Костик.— Вот... Мы чертовски богаты. У нас есть еще банка сгущенного молока... Единственная...

— Старику,— отрывисто бросает механик.

— Полплитки шоколаду...

— Старику.

— И галет одна пачка. Все.— Он разводит руками.— Больше ничего нет.

— Галеты — тебе.

— А ты?

— Я? — Игнат прислушивается к бульканью бензина в баке, и его лицо чуть-чуть светлеет.

— Старику очень плохо,— снова начинает Костик.— Очень. Очень.— Он вкладывает в это слово все: муку свою, и отчаяние, и страх.

Игнат хмурится.

— Он не жалуется. Он говорит — ждать. И шутит даже, и даже смеется,— продолжает Костик,— но ведь я-то вижу. Как он стонет, когда думает, что мы спим!

Игнат подымает бидон, ставит его на капот и слушает, хмурясь.

— Никогда он не был так плох,— шепчет Костик.— Я ведь его... я ведь его давно знаю. Я лекции его слушал... Я к нему зачеты сдавать бегал. У него больное сердце, но сейчас... эта дорога, пурга, голод...

— Мы скоро тронемся, Костик,— говорит Игнат.— Помоему, мы теперь верно едем...

— Видишь, Игнат.— Костик подходит ближе к механику и кладет руку на бидон.— Видишь ли, он очень слаб.

Я боюсь: довезем ли? Сердце... это, это, брат... Вот ты не знаешь этого...

— Магнето...

— Да. Вот я не доктор, конечно, а кажется мне, что совсем ослаб Старик. Вот я еще держусь, я молодой. Ты? Ты — буйвол. А он... Ему бы, Игнат, горячего чего-нибудь... А? Горячего молока, например. Как ты думаешь? А?

Игнат темнеет и берет бидон.

— Вот именно, горячее молоко,— убежденно шепчет Костик.— Понимаешь? Это согрело бы его. А? Мы довезли бы его тогда... живым до базы.— Он заглядывает в цыганское лицо товарища, часто моргая, ищет его взгляда, но встречает холодный свинцовый блеск глаз и опускает голову.

— Не дам,— произносит Игнат и отворачивается.

— Но ведь Старик, понимаешь, наш Старик умирает! — кричит Костик, но, испуганно бросив взгляд на кузов, давится криком.

— Не дам.

Наступает долгое молчание. Игнат стоит, крепко стиснув зубы. Его лицо сейчас неприятно: остро выдается вперед тяжелая сильная челюсть, холодно блестят глаза. Костик тихо плачет.

Чуть вздрагивает челюсть Игната.

— Ты думаешь,— тихо произносит он,— ты думаешь, я люблю Старика меньше твоего?

Он смотрит на бидон, потом решительно хлопает по плечу Костика.

— Пойдем!

— Что? — вздрагивает тот.

— Пойдем к Старику. Пусть скажет. Я дам.

— Нет, нет,— пугается Костик.

Игнат пожимает плечами: «Как хочешь»,— долго молчит и наконец произносит:

— И даже если Старик сказал бы «дать», я бы не дал. Потому что...— он запинается и говорит, глядя себе под ноги: —...потому что я не только люблю Старика. Я, брат, да моя машина за его спасение отвечаем.

— Но ведь пол-литра... Всего пол-литра проклятого бензина в примус и...

— Пол-литра — это полтора километра.

— И ты из-за полутора километров... отказываешь Старику? Игнат!

Игнат берет бидон и трясет его. Звонко булькает жидкость.

— Слышишь? — спрашивает он.— Тут все. Последние капли. Мне они крови моей дороже. Сказал бы ты: дай Старику своей крови стакан, литр, ведро. Я бы глазом не моргнул — дал бы. А бензину не дам. Не дам! Слышишь? — угрожающе кричит он, но, тотчас же опомнившись, ставит бидон на бак и другим уже тоном, шепотом говорит Костику: — Я считал и пересчитывал, Костик. Слышь: бензину до базы не хватит. Сколько не хватит? Не знаю. Знаю: сколько не хватит, столько нам идти пешком.

— Неужели так скверно? — бормочет Костик.

— Я экономил, как мог,— пожимает плечами Игнат.— Я дрожал над каждой каплей.

Он подходит к мотору, кладет руку на бидон и вопросительно смотрит на Костика.

— Ну? — глухо спрашивает он.

Костик безнадежно машет рукой.

Он слышит, как, звеня, падают в бак последние капли.

— А галеты я на три части разделю,— бормочет он.— Старику, мне и тебе.

— Друзья! Друзья! — вдруг раздается голос из машины.— Что же вы?

— Старик! — торопливо шепчет Костик, и оба бросаются на голос.

Старик стоит во весь рост в кузове и укоризненно смотрит на часы. Он высок и худ, но далеко не стар. Ему не более пятидесяти. У него ясные, детские глаза, но под ними тяжелые синие мешки. Его лицо покрыто давним загаром (обветренное лицо геолога), но сейчас оно опухло, покрылось отеками. Он болен и, вероятно, уже сам сознает это.

— Шестнадцать пятьдесят по-местному — это двенадцать пятьдесят по-московски,— качает он головой.— Что же вы, товарищи хорошие? Ай-ай-ай! Вот недогляди я — и упустили бы...

Игнат поспешно ставит пустой бидон наземь и бросается к кузову. Сдирает брезент, откидывает борт. В кузове на полу там и сям брошены спальные мешки. В углу аккуратно сложены пустые бидоны, инструмент, палатки, ящики — все имущество партии. В мешках груда камней,— очевидно, образцы. В другом углу, ближе к стеклу кабины шофера, радиоприемник. К нему-то и бросается Игнат. Растягивается на полу, надевает наушники.

Костик подтягивает спальные мешки ближе к репродуктору. Все усаживаются. Старик поджимает под себя по-турецки ноги и нетерпеливо глядит в черную трубу. Она

покрыта серебристой изморозью. Так тихо, что слышно, как тикают часы на руке Старика.

Люди молчат. Нестерпимая тишина царит в мире. Оцепенела тундра, и дальний крик полярной совы умолкает, не встретив отклика. Старик тоскливо смотрит на часы: 17.10. Он тихо вздыхает.

— Прозевали.— И смотрит на товарищей.

Вот они все здесь, на одиноком, затерянном в снегах вездеходе. Мир забыл их, молчит, и это страшнее, чем голод.

Игнат нетерпеливо возится у приемника. Меняет настройку. Он был бы рад сейчас любой станции, даже чужой. Вдруг из трубы вырывается веселый голос диктора. Все, замирая, прислушиваются.

— А теперь,— говорит труба,— послушайте пластинку «Под крышами Парижа»...

Вкрадчивые звуки вальса, как теплый дождь, падают над тундрой.

«Париж, о Париж!» — поет эхо в горах, и Игнат начинает присвистывать эху.

Костик сидит, закрыв лицо руками, съежившись. Его плечи мелко вздрагивают. Сначала кажется, что он просто раскачивается в такт вальсу... Париж, о Париж!.. Но вот уже не в такт трясутся его плечи, быстрее, быстрее, слышно, как сухо стучат зубы о зубы. Он стискивает руками голову и вдруг неестественно тонким, визгливым голосом кричит:

— Я не могу-у больше! — и опрокидывается навзничь. Его голова колотится о пол.

Старик бросается к нему.

— Костик! Что такое, милый вы мой? Да что с вами?

Крики Костика смешиваются со звуками вальса, эхо в горах покорно повторяет и то и другое.

Старик бережно приподнимает русую голову юноши, кладет ее к себе на колени и гладит теплой ладонью по волосам.

— Ну, не надо, не надо, Костик. Ох, как нехорошо!

— Я не могу... не могу... Эта музыка, когда мы погибаем... Эта музыка!

— Заткните же радио, Игнат! — кричит Старик.— К черту Париж!

Но Игнат не затыкает радио. Он круто шагает к Костику. На его лице застыла брезгливая гримаса, еще острее выдались вперед челюсти. Его кулаки сжаты, словно он собирается бить рыдающего юношу.

Он наклоняется над ним.

— Брось! — приказывает он. Его голос звучит глухо.— Брось психовать. Ну? Слышишь? Брось! Не надо. Доедем. Я тебе говорю. Выберемся. Ну?

Костик испуганно стихает. Его рыданий уже не слышно, он давится ими, и только плечи трясутся, как в лихорадке.

— Подыми голову,— командует Игнат.— Стыдно? Ну?

— Очки,— робко шепчет Костик.— Я сейчас... только очки найду.— Всхлипывая, он ползет по полу и ищет очки. Ищет долго, нарочно долго. Потом подымает голову, но старается ни на кого не смотреть. Ежится, словно ему зябко.

Игнат отворачивается и смотрит вперед, на дорогу.

— Париж, о Париж! — подпевает он, но голос его звучит сердито.

Он стоит, широко расставив ноги и засунув руки в карманы. Впереди, насколько хватает глаз, волнистая рябь тундры,— это солнце делает тундру пестрой. Дороги нет, и ни к чему ее выглядывать.

— Стыдно,— шепотом произносит Костик.— Простите, пожалуйста...

Старик обнимает его за плечи, и оба молча слушают музыку. Теперь репродуктор поет о знойной Аргентине, Игнат отбивает такт ногой.

Репродуктор умолкает. Тихо в машине. И теперь слышно, как звенит очнувшаяся тундра, поет зверем и птицей. Кажется даже, что снег, тронутый солнцем, поет. Старик стоит у репродуктора, ждет...

Низко-низко над машиной пролетает белый лунь в раннем весеннем наряде — карие глазки на белых крыльях — и пронзительно кричит.

Старик вдруг встряхивается.

— В путь, дети, в путь! — кричит он, бодро похлопывая рукавицами.— По коням!

Игнат бросается к мотору, достает из кабины противень, выливает на него отработанное масло, зажигает и идет разогревать мотор. И вдруг начинает стучать мотор вездехода. Он стучит сначала тихо и неуверенно, вспышками, то глохнет, то вновь шумит, все сильнее и упрямее.

— Слышите? Слышите? — кричит Старик Костику, его глаза блестят.— Слышите?

Что слышит он? Мотор стучит тихо и одиноко, и только эхо в горах многократно повторяет и усиливает его рокот. Но, может быть, именно к эху и прислушивается

Старик? И чудится ему, что уж шумят в сопках машины, буровые станки, двигатели? И нефть бьет фонтаном?

Костик тоже прислушивается к шуму мотора. Теперь мотор стучит ровно и мерно (его уверенный голос похож на голос Игната), и Костик успокаивается.

— Поедем! Теперь поедем! — шепчет он.— Домой. К товарищам. Сейчас поедем, Николай Кузьмич.

Вездеход медленно трогается в путь. Снег начинает петь под гусеницами; вместе с рокотом мотора это лучшая музыка дороги.

Огромное небо раскинулось над путниками. В этот ясный, солнечный день оно может служить и компасом и картой. Далеко на северо-запад оно темно-сизое — там вода, море; на юг оно светло-коричневое — там земля, тундра; на ост оно голубоватое — там льды залива. Небо, словно зеркало, отражает землю. Костик смотрится в него, и ему кажется, что он видит в нем и дорогу. Она лежит на восток, уходит в голубоватую даль залива. Она прямая и чистая, обрызганная солнцем. Синие искры вспыхивают на ней.

Вдруг сильный толчок встряхивает машину. С лязгом лопается стальной трос. В кузове все валится на пол и носится от борта к борту. Из машины вылезают Старик и Костик.

— Что случилось? — испуганно кричит Костик.

Игнат молча рукавицей указывает вперед, на дорогу. Впереди, насколько хватает глаз,— острохолмистая зеленоватая равнина. Это торосы, дикий хаос вздыбившихся льдин.

— Что будем делать? — растерянно спрашивает Костик и тоскливо смотрит вперед: там за льдинами залива, где-то очень близко, недосягаемо близко,— база.

Старик тоже смотрит вперед, на дорогу. Смотрит долго и наконец машет рукой Игнату.

— Вперед!

Игнат спокойно повторяет:

— Есть вперед!

Он вытаскивает лопату, отшвыривает снег, в котором завязла машина. Старик и Костик торопливо бросаются ему на помощь.

Теперь Старик и Костик идут рядом с машиной. Она то проваливается в мягкий, рассыпчатый снег, то вдруг вздыбившись, как конь под уздой Игната, перелезает через торос. Она словно слита со своим хладнокровным всадником. И порой кажется, что это Игнат огромным напряжением своих мышц заставляет ее бросаться вперед,

подымая ее на своих руках и неся через торосы. Но все чаще и чаще беспомощно утыкается в снег машина. Тщетно посылает ее вперед Игнат,— гусеницы увязли, машина не слушается.

Тогда с лопатами бросаются вперед Старик и Костик. Они валят торосы, отбрасывают снег, высвобождают гусеницы, чтоб через пять метров снова бросаться с лопатами на выручку. Машина медленно продвигается вперед, каждый шаг ее оплачивается нечеловеческими усилиями трех усталых, голодных людей.

...Так проходит день. Обессиленные, лежат у машины люди. Вездеход окончательно увяз среди торосов. Мотор выключен. Великая тишина стоит над тундрой.

Костик жадно лижет снег.

— Много мы прошли сегодня?

— Триста метров.

— Не много.

Молчание.

— Как далеко до базы?

Молчание.

— Далеко...

Старик вдруг поднимается на ноги и идет к машине. Он берет лопату и начинает яростно отшвыривать снег. Его пример подымает всех. Шатаясь, бредет к машине бледный Костик. Утомленный, с потухшими глазами, подымается Игнат.

Они работают молча, угрюмо, судорожно. У Костика из закушенной губы капает кровь. Он облизывает ее и продолжает работать. Никто не скажет, что Костик сдрейфил!

Иногда, разогнув на минуту спину, он с надеждой поглядывает вперед: может быть, удастся увидеть конец этой проклятой дороги? Но впереди по-прежнему громоздятся льдины, им нет конца, словно весь мир вздыбился. После взгляда на эту безнадежную картину труднее согнуть спину и начать работать.

— Ничего! — произнес Старик, словно угадав мысли Костика.— Ничего, дети мои! Челюскину было хуже... Альбанову совсем было плохо... Ничего... Главные добродетели полярника — терпение и труд.

Он хочет что-то еще сказать, вероятно, смешное и ободряющее (его глаза вспыхнули хитрым огоньком), но вдруг морщится и, охнув, тихо опускается на колени. Игнат и Костик испуганно бросаются к нему. На его лице застывает гримаса нестерпимой боли, он уже не в силах ее скрыть.

— Однако худо...— с трудом произносит он.— Рубаху...— Он судорожно рвет воротник.— Давит!..

Игнат наклоняется над ним и ножом режет тесемки, узлы, застежки меховой рубахи.

— Ничего, ничего,— бормочет Старик.— Это и раньше было. Это пройдет. Теперь легче.

Костик и Игнат бережно относят его в сторону и кладут на спальный мешок. Игнат припадает к груди Старика и слушает сердце. Оно булькает. Булькает, как горючее в баке.

И тогда срывается с места Игнат.

Он бежит к машине, нетерпеливо роется в куче инструментов и наконец находит топор.

Он вытирает лезвие рукавом, долго на него смотрит и вдруг яростно начинает рубить деревянный борт кузова.

Стук топора гулко разносится по тундре.

— Что он делает? Что он делает? — удивленно вскрикивает Старик.— Он с ума сошел! Игнат!

Но Костик не останавливает его.

— Ничего, ничего,— шепчет он.— Тише! Он знает, что делает.

Широко раскрыв глаза, он смотрит, как рубит механик кузов. В его ярости есть система: он рубит верхние доски и оставляет нижние. Он рубит торопливо, боясь остановиться, боясь пожалеть, что начал рубку. Костик следит за ним воспаленными глазами и думает, что никогда не забыть ему этой картины: как механик рубил машину.

Игнат приносит ворох щепок, бросает на снег, говорит Костику: «Жги!» — и отворачивается.

Скоро среди торосов дымит костер. В чайнике над огнем тает снег, в снежной пустыне становится уютнее.

У костра сидят трое.

— Где-нибудь в Сочи сейчас...— задумчиво говорит Костик,— цветут магнолии. В Москве — сирень... А у нас — снег...

— Миф! Легенда! — обрывает его Старик.— Где цветут магнолии? Игнат, можешь ты поверить, что где-нибудь сейчас цветут магнолии?

Игнат смеется.

— А ведь цветут...— улыбается Старик, смотрит на снег и качает головой.— Здесь ни-ког-да не будут цвести магнолии. И не надо, а? Зачем нам здесь магнолии, скажи на милость.

— Ни к чему,— смеется Игнат.— Вот если бы табак здесь посадить, это да...

Он высыпает из кармана на ладонь мусор и говорит:

— Поделимся, профессор?

— Кури!

Игнат закуривает.

В наступившей тишине слышно, как булькает вскипающая вода.

— Магнолии? — фыркает профессор.— Некий ученый, Довнер-Запольский его имя, всего лет двадцать назад писал в одном почтенном журнале, что север России самой природой предназначен для полудикого зверолова и рыболова и цивилизованный человек здесь может жить лишь по нужде. А? Знаешь, что мы сделаем, Игнат? В наказание этому «ученому» мы высечем эти слова на мраморе наших городов, которые будут шуметь здесь, в тундре, у самого Ледовитого моря.

Профессор смотрит на безжизненную даль залива, на белые горы, на медно-красные скалы, с которых ветром сдуло снег...

— Гигантская плавильня,— говорит он задумчиво.— Миллионы лет свершался в недрах земли титанический труд. Мы найдем его следы. Мы нашли нефть, нашли мезозойские угли. Найдем и верхнепалеозойские, типа норильских. Это, друзья, настоящий, честный, высококалорийный уголь. Пароходы пойдут на нашем угле. Камчатка получит дешевую соль, которую мы здесь добудем. Возникнут заводы, промыслы, города, театры.

— Партии строителей придут вслед за нами,— подхватывает, увлекаясь, Костик.— Они придут на больших отличных машинах, которым не страшен будет ни десятибалльный шторм, ни ветер.

— Что ветер! — усмехается Игнат.— Да мы ветер заставим вертеть наши двигатели. Экая силища!

В кастрюле вскипает молоко. Игнат бережно выливает его в алюминиевую кружку и подносит профессору.

— А вы? — подозрительно спрашивает Старик.

— И мы.

Игнат берет две кружки и, повернувшись спиной к профессору, наливает в них кипяток из чайника и капли молока из кастрюли.

— Вот и мы,— говорит он, протягивая дымящуюся кружку Костику.

Старик греет руки об алюминиевую кружку, вдыхает в себя ласковый запах молока и произносит:

— Выпьем за жизнь, которая возникает здесь и для рождения которой мы... мы... ничего не жалели.

...Подле догорающего костра, спрятавшись в спальные мешки, спит партия. Костику снится, что он в Москве, на Патриарших прудах, угощает товарищей. Странно сервирован стол: острые сахарные головы, как торосы, молоко в бензиновом бидоне, консервные банки.

Только Игнат не спит. Осторожно выползает он из мешка, озирается, прислушивается к сонному дыханию Костика и хрипам Старика — и уходит. Скоро его фигура скрывается в торосах.

На Патриарших прудах шумит пирушка. Товарищи окружают Костика, радостно трясут его руки, трясут...

Он просыпается. Над ним — Игнат.

— Пора! — говорит Игнат и идет будить профессора.

В небе по-прежнему висит большое солнце. Который час сейчас? Два часа дня или два часа ночи?

— Профессор! — докладывает Игнат.— Пора!

— Да, да,— встряхивается Старик.— Да, в путь!

— Разрешите доложить, профессор. Я сделал разведку пути. Впереди — сплошное поле торосов. Нам не пройти.

Старик хмуро слушает, вокруг рта его образуются жесткие складки.

— Ну? — произносит он.

— Докладываю также: горючее на исходе.

Старик спокойно идет к машине, Игнат и Костик — за ним.

— Я жду приказаний, профессор.

— Я ведь сказал: в путь!

Снова скрип ломающихся льдин, скрежет торосов, хрип мотора, лязг лопат — музыка дороги.

— Сколько прошли? — шепчет к вечеру Костик.

— Пятьсот метров.

— Не много...

На привале он раздает последние галеты.

— Все,— говорит он.

— В путь! Нет продовольствия, на исходе горючее,— подводит итоги начальник.— Какое же может быть другое решение? В путь, дети мои, вперед!

Это «вперед» профессора все время висит над Костиком. Он разгибает спину и слышит: «Вперед!», он бросается с лопатой к гусеницам и слышит: «Вперед!» И сам шепчет пересохшими губами:

— Вперед! Вперед!

Игнат слишком поздно догадался надеть желтые очки. Его глаза слепнут от дьявольского сияния снега. Он уже плохо видит дорогу, но упрямо бросает машину на торосы.

— Я, кажется, слепну, профессор,— бормочет он.

Вдруг машина разом останавливается. Толчок выбрасывает Костика из кузова. Он падает, подымается, привычно хватается за лопату.

— Опять торос?

Игнат сдирает с рук рукавицы, срывает очки,— он хочет быть спокойным, но движения его впервые за дорогу нервны,— и говорит:

— Товарищ начальник! Горючее кончилось.

Костик опускается на снег и испуганно смотрит на Игната. Лицо Игната осунулось и постарело. Беспомощным взглядом окидывает он свою машину, словно уже прощается с ней. Старик смотрит вперед на дорогу, потом на горы и говорит, стараясь быть насмешливым:

— Здесь, в горах... Мы открыли с тобой, Игнат, тысячи тонн нефти. А ты жалуешься, что у тебя горючего нет...

Теперь они похожи на людей, потерпевших кораблекрушение. Молча сидят у заглохшей машины. Костик все время протирает очки.

Наконец Игнат нарушает молчание:

— Ждем приказаний, товарищ начальник.

— Да, да,— говорит Старик и бросает взгляд на Костика.

Костик ловит этот взгляд и краснеет.

— Ну, тогда в путь, дети,— говорит профессор.— Что же еще? В путь!

Он задумчиво смотрит на груды камней, сваленных в кузове,— плоды нечеловеческой работы в сопках.

— Прежде чем тронуться в путь,— говорит он спокойно,— надо оставить здесь записку о том, где мы нашли нефть. На всякий случай,— прибавляет он, бросив взгляд на Костика.

Он садится писать записку.

«Поисковая партия профессора Старова, отправившаяся в путь...— пишет Старик,— по маршруту... с заданием...»

Он пишет обстоятельно, сухо. «Мы сделали все, что могли,— заканчивает он записку.— От всей души желаем будущим партиям сделать больше». Закончив, он подписывает сам и отдает подписать товарищам.

Потом он смотрит на часы.

— Двенадцать пятьдесят по-московски,— говорит он.— Десять минут на сборы.

Костик грустно усмехается: собирать нечего.

— В тринадцать часов,— тихо докладывает Игнат,— мы еще можем в последний раз послушать «Арктическую газету» по радио.

Да, радио! Последняя паутинка, связывающая их с далеким миром.

— Хорошо,— говорит профессор.— Мы еще послушаем радио.

Они усаживаются вокруг черной трубы и молча ждут. Игнат возится у приемника. Старик поглядывает на часы. Костик думает, что сейчас, вероятно, в последний раз доведется ему слушать чужой человеческий голос.

Из репродуктора вдруг вырывается могучий ливень звуков. Знакомая величавая мелодия растет, ширится, она уже гремит над безмолвной белой пустыней, и тогда, узнав ее, поспешно и молча подымаются со своих мест люди. Срываются шапки. Поворачиваются лицом на юго-запад. Теперь видно, что у Старика голова совсем белая.

Стихают последние аккорды, но люди еще долго стоят, обратив лица на юго-запад, к Москве.

Их пробуждает голос диктора:

— Внимание! Внимание! Говорит полярный радиоцентр на семьдесят втором градусе северной широты. Здравствуйте, товарищи полярники!

Мягкий голос диктора широко разносится окрест, и в машине сразу становится теплее и уютнее. Люди тянутся к репродуктору, как к костру, чтобы погреться, оттаять подле теплого человеческого голоса.

Они слушают новости далекого мира и удивляются им. Где-то заседают министры, соревнуются футболисты, торопятся на юг курортники... Мир живет, возится, поет и работает; и странно: заботы и радости этого далекого мира волнуют и радуют обреченных. Они жадно прислушиваются, они огорчаются и смеются, они вдыхают уже забытый аромат Большой земли... Эти люди не умеют умирать!..

— Внимание! Внимание! — произносит репродуктор.— Вниманию геологоразведочной партии профессора Старова.

Они удивленно поднимают головы.

— Слышит ли нас партия профессора Старова? Слышит ли нас партия?

— Да, да, слышим! — удивленно отвечает Старик.

— Это нас зовут. Это нас! — кричит Костик. Он вскакивает с места, мечется, суетится, не знает, что ему делать, и наконец снова бросается к репродуктору, тормошит Игната: — Нас зовут. Слышишь, Игнат?

— Слышу. Не мешай,— шепчет тот и обнимает за плечи Костика.

Все замирают и, затаив дыхание, ждут.

— Товарищ Старов! В третий раз передаем вам, на случай, если вы нас раньше не слышали, радиограмму для вас из базы экспедиции. Там обеспокоены вашим долгим отсутствием. Решили предпринять поиски. Отправлены три собачьи упряжки. Две в направлении База — Сопка, по вашему маршруту, третья — на разведку в долину реки, на случай, если вы сбились с пути. Повторяю еще раз...

— Не туда! Не туда! — в отчаянии кричит в трубку Костик.— Нас надо искать в заливе Креста. Мы здесь, в заливе.

— Как жаль,— усмехается профессор,— что они нас не слышат, Костик.

— Ваша судьба, товарищи,— продолжает репродуктор,— беспокоит нас всех. Желаем вам бодрости и здоровья. Слышите ли нас? Все мы, зимовщики, желаем вам бодрости и здоровья...

Старик встает на ноги и долго смотрит на зюйд-вест. Там сгрудились медно-красные острые горы, они тянутся зубчатой грядой вдоль залива, камни блестят на солнце, как расплавленные.

— Они ищут нас там,— вытягивает Старик руку,— за этими горами... в долине.

Игнат подходит к нему. Щуря свои полуслепые глаза, смотрит на горы и тихо говорит:

— Мы перейдем эти горы. Так, профессор?

Старик порывисто оборачивается.

— Ты думаешь?

Костик прислушивается.

— Сядем,— говорит профессор и опускается на мешок, охватывает голову руками и молчит.

Костик и Игнат напряженно следят за ним.

— Видите,— говорит он наконец,— мы теперь чертовски богаты в выборе. Мы можем избрать любой способ спасения. Нас ищут и будут искать долго, пока не найдут нас или наши трупы. Я говорю так потому, что хочу, чтобы вы отдали себе полный отчет в обстановке. И сами приняли решение.

— Мы понимаем, профессор...— шепчут Игнат и Костик.

— Мы можем идти по старому маршруту, как решили полчаса назад. Дойдем? Может быть. Все-таки это шанс на жизнь. Подумайте. Мы можем остаться здесь ждать,

пока нас найдут. Дождемся ли? Может быть, это тоже шанс жить. Мы можем наконец...

— Идти через горы навстречу поискам,— подсказывает Игнат.

— Да. Через горы. Рискуя, правда, не дойти, погибнуть от истощения и мороза. Но это тоже шанс на жизнь. Может быть, даже самый верный. Но самый рискованный. Решайте же.

— Идти через горы,— произносит Игнат.

— Через горы,— как эхо, повторяет Костик.

Старик еще раз бросает взгляд на горы, потом на Костика и встает.

— В путь! — жестко командует он и украдкой, чтобы никто не видел, хватается рукой за сердце.

Игнат уходит последним. Он долго еще оборачивается, прощается с машиной, потом отчаянно машет рукой и догоняет товарищей. Они бредут среди торосов, проваливаются в снег, выручают друг друга и снова бредут.

Вдруг Костик вскрикивает в ужасе:

— Профессор!.. Я забыл, забыл бутылочку...

— Как?

— Забыл! — растерянно шепчет Костик.

Он смотрит назад,— машина еще видна за торосами; какой мучительный путь до нее! — и вдруг, решившись, бросается в торосы.

— Не надо, Костик, не надо! — кричит ему вдогонку профессор.— Черт с ней! Вы не дойдете. Берегите силы.

Но Костик торопливо пробирается между торосами, перепрыгивает через трещины во льду, спотыкается, падает и поспешно подымается, словно боится, что его нагонят и вернут.

— Он выбьется из сил,— бормочет Игнат.— Дьявольская дорога. Позвольте, я пойду с ним. Вдвоем легче.— Он делает движение, но профессор останавливает его.

— Не надо,— говорит он сурово.— Пусть Костик сам. Мальчик становится мужчиной.

...Через два часа возвращается Костик. Он измучен, но счастлив.

— Вот,— говорит он, задыхаясь.— Вот...— и валится на снег.

Теперь бредут все трое. Они уже на подступах к горам. Видно: они упали. Лежат. Лежат долго. Потом начинают двигаться вперед. Теперь они не идут, а ползут, цепляются за острые выступы скал, позади остаются черные пятна. Они отчетливо видны на снегу. Одно пятно напоминает рас-

простертого человека. Это кухлянка, брошенная кем-то из троих. Дальше — еще кухлянка и потом еще одна. Словно три трупа на снегу. Потом брошенный шарф. Шапка. Рукавицы. Вехи на пути к перевалу.

Люди подымаются выше, выше. Вот они переваливают хребет... Теперь они на пути к спасению...

...Два часа ночи. На северо-востоке огромное медно-красное солнце. Чуть затемняя его, низко-низко проходят облака. Они идут быстрой, мятущейся грядой, багряные и косматые, как дымы. Как дымы над домнами ночью.

В заливе пустынно и тихо. У застывшей машины наметаются сугробы. Ветер шевелит их...

...Здесь будут шуметь города!

1938

Ради жизни на земле









(1894—1956)

ВОЛЯ К ЖИЗНИ

Скажи мне, друг,— спросил я армейского хирурга Миколу Дудко,— вот ты поработал на фронте полтора почти года. Ты резал сотни людей...

— Тысячи...— спокойно поправил меня хирург.

Тысячи... Я закрыл глаза, стараясь представить себе страдания, стоны тысяч людей, тысячи вопрошающих хирурга глаз: о, скажите, доктор, скажите!..

— Какой огромный труд! Какое напряжение чувств! — подумал я вслух.

— Привычка.

— Да?.. Возможно. Но вот, купаясь ежедневно по привычке в открытом, так сказать, котле людских страданий, что ты нашел там в человеке? В этих количествах и разнообразиях людских увечий нашел ли ты что-нибудь неведомое, новое, какую-нибудь тайну в человеке на войне? Или ты дальше своего ножа не видел и ничего не нашел?

— Нашел! — сказал мой друг и заходил по комнате, очевидно, вспоминая, а я следил за ним глазами и, признаться, завидовал ему. Я втайне преклонялся перед его профессией. Спасение человеческих жизней и облегчение страданий всегда казались мне самыми высокими и благородными доблестями человека.

— Воля! — сказал хирург, остановившись и даже стукнув своим здоровым мужицким кулаком по столу.— Человек на войне — это воля. Есть воля — есть человек! Нет воли — нет человека! Сколько воли, столько и человека! Вот что я нашел.

...Ах, как не хотелось ему падать, как не хотелось бросать автомат! Но автомат уже выпал из рук и лежал на земле. И уже нечем было его поднять. Правую руку, правда, только слегка задело минной дробью. Но левая — боже ты мой! — висела как окровавленная плеть, и кровь лилась фонтаном из развороченного страшного плеча.

Что делать? Закрыть кровь! Чем? Не закрывается. Течет!

Тогда разведчик Иван Кармалюк бросился бежать. Мозг его заработал с бешеным жаром.

«Побегу,— думает,— пока не вышла кровь. Чтоб не упасть, чтоб только не упасть, нет! Приколют, проклятые! О проклятые, проклятые, будь вы прокляты!..»

Кармалюк бежал, дрожа от яростного гнева. Казалось, попадись по дороге враг,— зубами без рук разорвал бы на месте.

Выбежав из опасной зоны, он как-то вдруг потерял зло и остановился. Остановился, затосковал и растаял, словно воск на солнце. И упал.

И показалось вдруг Ивану, что упал он по странной случайности не на землю, а в какую-то словно воду, и вода понесла его быстро-быстро, кружа между деревьями, облаками, селами, и вдруг принесла его домой, как в сказке. Отец, мать, дед, баба, сестры... Да все такие добрые-добрые, любящие.

— Иван... Это ты, наш Иван?

И родная хата на краю села, и стежка в саду возле хаты. А по стежке бежит она, самая дорогая — Галина.

— Иван, Иван вернулся?! Иваночко!

— Галю!

Кармалюк открыл глаза.

— Теряю чувство,— прошептал он и испугался.

Иван Кармалюк был обыкновенным рядовым бойцом, и особенных геройств за ним не числилось, хотя он и убил уже старательно и точно с полдесятка врагов, не считая стрельбы по фашистам. Во внешности его тоже не было ничего героического.

Был он среднего роста, стройный, сероокий юноша, родом из прекрасной Подолии. Лет ему было двадцать пять. Он был родным сыном величественной эпохи — Великой

Октябрьской революции, эпохи Великих Работ и Великой Отечественной войны.

Он был одним из многих миллионов советских юношей, у которых за день до войны все помыслы лежали в мирном труде.

Он не состязался в силе и ловкости ни на стрельбищах, ни на боксерских рингах. Он состязался там, где доблестью труда добывали себе славу,— на Сельскохозяйственной выставке в Москве, на прекраснейшей и самой возвышенной выставке человеческих достоинств. Там он получил Золотую медаль. Он привел туда такого фантастического быка Мыну, какой еще не снился, сколько мир стоит, ни одной корове. Он был подольский колхозный пастух.

— Теряю чувство! — сказал он тревожно и громко, словно желая разбудить себя, остановить быстротечную реку.— Стой, стой! Не сдамся!

Кармалюк подполз к дереву и крепко притиснул рану к стволу. Зажав таким образом разорванную артерию, он так сцепил зубы, и так широко открыл глаза, и так пожелал не закрывать их, что санитары, подбирая утром павших бойцов, подумали, что перед ними труп с открытыми, застывшими очами.

— Живу...— прошептал Кармалюк.

В лице его не было уже ни кровинки.

Битва гремела день и ночь.

В обитой простынями сельской хате хирург Микола Дудко работал без перерыва вот уже несколько дней.

Хата содрогалась от грохота и взрывов бомб. У хаты лежали прямо на земле три очереди раненых. Они расположились по характеру ранений — головные, полостные и прочие.

Хирург устал. Для поддержания сил и экономии времени его кормили и поили тут же, у операционного стола. Он был очень здоровый от природы, но тут уже и у него не хватало сил. Он валился с ног от усталости и заскучал. Всякое дело имеет свою скуку. Ему не нравились раненые и не нравилось как раз то, чем он всегда восхищался.

«Черт возьми! Откуда столько терпенья? Четырнадцать месяцев режу, и хоть бы тебе один закричал, начал проклинать, ненавидеть смерть, ругать ее, суку! Нет! Молчат, покорные»,— думал он устало, в тысячный раз сшивая человека из рваного кровавого тряпья.

— Следующий!

Перед хирургом лежал Кармалюк.

С тех пор как его ранили, прошло три дня. И с каждым днем ему становилось все хуже. Жар в его лишенном крови теле перевалил давно уже за сорок первый градус. Страшная газовая гангрена поразила его руку. Рука лежала рядом с ним, распухшая до огромных размеров, темная, в багрово-синих пятнах и пузырях и нестерпимо смрадная. Три дня не сводил с нее глаз Кармалюк. Он смотрел на нее, как на смертельного врага. И молчал.

Хирург великолепно лечил газовую гангрену новым своим методом, но руку Кармалюка спасти было уже нельзя.

— Поздно,— сказал он устало своему помощнику.— Придется отрезать руку.

— Режьте! Отрезайте скорее! — решительно и быстро сказал вдруг Кармалюк.

Удивленный хирург повернул голову. На него глядели широко раскрытые серые Кармалюковы глаза.

— Режьте скорее! — приказал Кармалюк и даже мотнул головой, словно отбрасывая ненужную руку.

Но не помогла Кармалюку ампутация руки. Не помогла и противогангренозная сыворотка, введенная в организм по особому методу хирурга. Проба переливания крови тоже не помогла ему. Запустевшие его кровеносные сосуды сжались и сопротивлялись уже введению крови.

Газовая гангрена не проходила. От плечевого сустава она поползла уже через надплечье к шее. Распухшее плечо представляло собой картину грозную и непереносимую.

Когда его перевезли в госпиталь, он был уже совсем без пульса.

Он был безнадежен. Жизнь покидала его. Но он не сдавался. Сознание не оставляло его ни на минуту, и ни одна душа в палате не услышала ни одного его стона. Он молчал, и вся его воля ушла на это напряженное молчаливое сопротивление смерти.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил его прибывший на обход палаты хирург и взял его за руку. Пульса почти не было.

— Ничего... Хорошо... Скажите, доктор, жить буду? — прошептал Кармалюк, всматриваясь, казалось, доктору в самую душу.

— Жить? Обязательно, а как же! — сказал хирург свою обычную спасительную ложь и, видя, что Кармалюк

уже умирает, что жизни осталось ему лишь несколько минут, отошел к другому раненому, не назначив ему ни перевязки, ни каких-либо иных процедур.

Кармалюк понял, что надежда уходит от него навсегда.

— Стойте... Доктор!

Хирург Дудко смущенно оглянулся. Кармалюк прочел все его мысли.

— А перевязка уже не нужна? — спросил он, пылая в огне своей гангрены и обжигая его незабываемым взглядом.

А что сказать хирургу? Что говорить ежедневно хирургам у постели умирающих? Что?

— Нет, нет... Будешь жить...

И пошел хирург с врачами и милосердными сестрами в перевязочную, а Кармалюк откинулся на подушку и зарыдал.

Вспомнил он свою Подолию — золотую свою страну, свои широкие безмежные поля, сады, богатые стада, и своего владыку стад Мыну, и старую Буг-реку, и Галину — дорогую свою, с которой он хотел прожить над Бугом жизнь.

— Где ты, Галю, где ты? Подивись на своего Ивана!.. Видишь, где я?

Оглянулся Кармалюк. Кругом — одни только раненые.

— Вот где я! Как далеко... умираю...

Заметался Иван Кармалюк на своем смертном ложе, забился, как подбитая птица. Не умирать, мстить врагам хотелось Кармалюку. Жить!

— Проклятые, о проклятые! Нет! Понесу я месть на вашу голову хоть в одной руке! Понесу!

Застонал Кармалюк, заскрежетал зубами и умолк.

Обойдя все палаты, хирург зашел в перевязочную и, отдав распоряжение о порядке перевязки, присел у окна в ожидании начала работы.

Утро было облачное, серое. Микола Дудко опустил голову на руки и задремал.

Вдруг сильный стук в дверь заставил его вздрогнуть. Хирург оглянулся — Кармалюк! Он стоял в дверях в одном белье, забинтованный мокрыми от крови и гноя бинтами и весь в холодном поту.

— Перевязку!..— застонал Кармалюк и, вытянув вперед правую руку, двинулся к столу.

— Жить хочу! Давайте мне перевязку и все что полагается!..

Кармалюк шел к операционному столу, бросаясь по комнате, как по палубе корабля в ураганном море.

Пораженный небывалым зрелищем, хирург застыл. Страшен был Кармалюк и великолепен!

— Вы думали, я уже умер? Я живой! — зашатался Кармалюк, ища опоры здоровой рукой.— Я прошу мне перевязку... Перевязку! Дайте!.. Жить хочу!.. Что же вы стоите?!

И Кармалюк упал на руки подбежавшему хирургу.

Взволнованный хирург поднял его, как мальчика, и положил на стол.

— Вы думаете, нам удастся его спасти? — спросил его вбежавший ассистент, подавая хирургу инструменты.

— Он уже сам себя спас,— сказал хирург звонким голосом.— Держите... Так... Ну, держите, черт возьми! Ну!

С хирургом произошло что-то удивительное. Он весь преобразился. Он начал работать весело, с необычайной энергией, и, работая, он любовался Кармалюком.

— Ах! Вы посмотрите, какой красивый! Какая грудная клетка! А плечо какое, а?! — восхищался хирург, обрабатывая страшную Кармалюкову рану перекисью водорода и накладывая на нее асептическую повязку.

— А ноги какие! А шея! А походка какая! Вы видели, как он вошел? Стройный как бог. Камфору!.. Кофеин!.. Так... Прекрасно... Ах, какой юноша! Вы посмотрите, какие мускулы. Как он вошел!..

— Но как же он вошел? Он был лежачий больной? — удивлялась сестра.

— А что вы в этом понимаете?

— Но откуда он извлек силы? У него же не было пульса? — говорила другая.

— У него была воля... Держите!..

— Вы думаете, он будет жить?

— Он будет жить больше нас с вами! Держите... Так... Поверьте мне, он сделал для своей жизни уже во много раз больше, чем мы делаем сейчас... Бинт!

Хирург работал с необычайным вдохновением и любовью. Никогда еще не хотелось ему так страстно спасти человеческую жизнь, как сейчас. Иван лежал перед ним в глубоком обмороке, но его могучая воля к жизни передалась врачу и наполнила его. Он забыл свою усталость, свои бессонные ночи и работал, как после чудного сна и ванны, работал легко и радостно, и солнце, заглянувшее на минуту из-за туч в операционную, словно улыбнулось ему, как обещание счастья. Так сила сопротивления смерти

умирающего умножила силу врача, и эту силу врач возвращал больному. Влившн ему еще раз противогангренозную сыворотку и пол-литра крови, он велел дать ему теплого вина и горячего чаю и долго согревать его грелками в постели. Постепенно у него начал появляться пульс, порозовели щеки, и Кармалюк открыл глаза.

В серых глазах горел еще тот же вопрос.

Все четверо — и хирург, и ассистент, и сестры — кивнули ему головой и отвернулись в волнении.

Кармалюк посмотрел на хирурга и улыбнулся.

— Вы выиграли генеральное сражение почти без всяких средств для победы,— сказал взволнованно хирург.— Благодарю вас. Вы научили меня жить. Я преклоняюсь перед благородством вашей воли.

Когда Кармалюка вынесли из операционной на койку, ему аплодировала вся палата. Раненые с гордостью смотрели на своего товарища и радостно благодарили его. Им тоже передавалась уже его воля к жизни.

Подумайте, братцы мои, об этом, и если с кем в бою случится — все бывает,— решайте тогда на койках победу каждый для себя. Вынимайте тогда из чудесной прадедовской шкатулки драгоценное зелье, корень жизни, и нюхайте его, и грызите, и жуйте его день и ночь — Волю!

Обязательно поможет.

1942

Константин Симонов

(1915—1979)

ТРЕТИЙ АДЪЮТАНТ

Комиссар был твердо убежден, что смелых убивают реже, чем трусов. Он любил это повторять и сердился, когда с ним спорили.

В дивизии его любили и боялись. У него была своя особая манера приучать людей к войне. Он узнавал человека на ходу. Брал его в штабе дивизии, в полку и, не отпуская ни на шаг, ходил с ним целый день всюду, где ему в этот день надо было побывать.

Когда приходилось идти в атаку, он брал этого человека с собой, в атаку, и шел рядом с ним.

Если тот выдерживал испытание,— вечером комиссар знакомился с ним еще раз.

— Как фамилия? — вдруг спрашивал он своим отрывистым голосом.

Удивленный командир называл свою фамилию.

— А моя — Корнев,— говорил тогда комиссар, протягивая руку.— Корнев. Вместе ходили, вместе на животе лежали, теперь будем знакомы.

В первую же неделю после прибытия в дивизию у него убило двух адъютантов.

Первый струсил и вышел из окопа, чтобы поползти назад. Его срезал пулемет.

Вечером, возвращаясь в штаб, комиссар равнодушно прошел мимо мертвого адъютанта, даже не повернув в его сторону головы.

Второй адъютант был ранен навылет в грудь во время атаки. Он лежал в отбитом окопе на спине и, широко глотая воздух, просил пить. Воды не было. Впереди за бруствером лежали трупы немцев. Около одного из них валялась фляга.

Комиссар вынул бинокль и долго смотрел, словно стараясь разглядеть, пустая она или полная.

Потом, тяжело перенеся через бруствер свое грузное немолодое тело, он пошел по полю всегдашней неторопливой походкой.

Неизвестно почему, немцы не стреляли. Они начали стрелять, когда он дошел до фляги, поднял ее, взболтнул и, зажав под мышкой, повернулся.

Ему стреляли в спину. Две пули попали во флягу. Он зажал дырки пальцами и пошел дальше, неся флягу в вытянутых руках.

Спрыгнув в окоп, он осторожно, чтобы не пролить, передал флягу кому-то из бойцов.

— Напоите!

— А вдруг дошли бы, а она пустая? — заинтересованно спросил кто-то.

— А вот вернулся бы и послал вас искать другую, полную! — сердито смерив взглядом спросившего, сказал комиссар.

Он часто делал вещи, которые, в сущности, ему, комиссару дивизии, делать было не нужно. Но вспоминал о том, что это не нужно, только потом, уже сделав. Тогда он сердился на себя и на тех, кто напоминал ему о его поступке.

Так было и сейчас. Принеся флягу, он уже больше не подходил в адъютанту и, казалось, совсем забыл о нем, занявшись наблюдением за полем боя.

Через пятнадцать минут он неожиданно окликнул командира батальона:

— Ну, отправили в санбат?

— Нельзя, товарищ комиссар, придется ждать дотемна.

— Дотемна он умрет.— И комиссар отвернулся, считая разговор оконченным.

Через пять минут двое красноармейцев, пригибаясь под пулями, несли неподвижное тело адъютанта назад по кочковатому полю.

А комиссар хладнокровно смотрел, как они шли. Он одинаково мерил опасность и для себя и для других. Лю-

ди умирают — на то и война. Но храбрые умирают реже.

Красноармейцы шли смело, не припадая к земле. Они не забывали, что несут раненого. И именно поэтому Корнев верил, что они дойдут.

Ночью, по дороге в штаб, комиссар заехал в санбат.

— Ну как, поправляется, вылечили? — спросил он хирурга.

Корневу казалось, что на войне все можно и должно делать одинаково быстро — доставлять донесения, ходить в атаки, лечить раненых.

И когда хирург сказал Корневу, что адъютант умер от потери крови, он удивленно поднял глаза.

— Вы понимаете, что вы говорите? — тихо сказал он, взяв хирурга за портупею и привлекая к себе.— Люди под огнем несли его две версты, чтобы он выжил, а вы говорите — умер. Зачем же они его несли?

Про то, как он ходил под огнем за водой, Корнев промолчал.

Хирург пожал плечами.

— И потом,— заметив это движение, добавил комиссар,— он ведь был смелый парень, он должен был выжить. Да, да, должен,— сердито повторил.— Плохо работаете.

И, не простившись, пошел к машине.

Хирург смотрел ему вслед. Конечно, комиссар был не прав. Логически рассуждая, он сказал сейчас глупость. И все-таки были в его словах такая сила и убежденность, что хирургу на минуту показалось, что действительно смелые не должны умирать, а если они все-таки умирают, то это значит, что он плохо работает.

— Ерунда! — сказал он вслух, пробуя отделаться от этой странной мысли.

Но мысль не уходила. Ему показалось, что он видит, как двое красноармейцев несут раненого по бесконечному кочковатому полю.

— Михаил Львович,— вдруг сказал он, как о чем-то уже давно решенном, своему помощнику, вышедшему на крыльцо покурить.— Надо будет утром вынести дальше вперед еще два перевязочных пункта с врачами...

Комиссар добрался до штаба только к рассвету. Он был не в духе и, вызывая к себе людей, сегодня особенно быстро отправлял их с короткими, большей частью ворчливыми напутствиями. В этом были свой расчет и хитрость. Комиссар любил, когда люди уходили от него сердитыми. Он считал, что человек все может. И, ругая их, он никогда не

ругал человека за то, что тот не смог, а всегда только за то, что тот мог и не сделал. А если человек делал многое, то комиссар ставил ему в упрек, что он не сделал еще больше. Когда люди немножко сердятся,— лучше думают. Он любил обрывать разговор на полуслове, так, чтобы человеку было понятно только главное. Именно таким образом он добивался того, что в дивизии всегда чувствовалось его присутствие. Побыв с человеком минуту, он старался сделать так, чтобы тому было над чем думать до следующего свидания.

Утром ему подали сводку вчерашних потерь. Читая ее, он вспомнил хирурга. Конечно, сказать этому старому опытному врачу, что он плохо работает, было с его стороны бестактностью, но ничего, ничего, пусть думает, может, рассердится и придумает что-нибудь хорошее. Он не сожалел о сказанном. Самое печальное было то, что погиб адъютант. Впрочем, долго вспоминать об этом он себе не позволил. Иначе за эти месяцы войны слишком о многих пришлось бы горевать. Он будет вспоминать об этом потом, после войны, когда неожиданная смерть станет случайностью. А пока — смерть всегда неожиданна. Другой сейчас и не бывает, пора к этому привыкнуть. И все-таки ему было грустно, и он как-то особенно сухо сказал начальнику штаба, что у него убили адъютанта и надо найти нового.

Третий адъютант был маленький светловолосый и голубоглазый паренек, только что выпущенный из школы и впервые попавший на фронт.

Когда в первый же день знакомства ему пришлось идти рядом с комиссаром в батальон, по подмерзшему осеннему полю, на котором часто рвались мины, он ни на шаг не отставал от комиссара. Он шел рядом: таков был долг адъютанта. Кроме того, этот большой грузный человек с его неторопливой походкой казался ему неуязвимым: если идти рядом с ним, то ничего не может случиться.

Когда мины начали рваться особенно часто и стало ясно, что немцы охотятся именно за ними, комиссар и адъютант стали изредка ложиться.

Но не успевали они лечь, не успевал рассеяться дым от близкого разрыва, как комиссар уже вставал и шел дальше.

— Вперед, вперед,— говорил он ворчливо,— нечего нам тут дожидаться.

Почти у самых окопов их «взяли в вилку». Одна мина разорвалась впереди, другая сзади.

Комиссар встал, отряхиваясь.

— Вот видите,— сказал он, на ходу показывая на маленькую воронку сзади.— Если бы мы с вами трусили да ждали, как раз она бы по нас и пришлась. Всегда надо быстрей вперед идти.

— Ну, а если бы мы еще быстрей шли, так...— И адъютант, не договорив, кивнул на воронку, бывшую впереди них.

— Ничего подобного,— сказал комиссар.— Они же по нас сюда били — это недолет. А если бы мы уже были там, они бы туда целили и опять был бы недолет.

Адъютант невольно улыбнулся: комиссар, конечно, шутил. Но лицо комиссара было совершенно серьезно. Он говорил с полной убежденностью. И вера в этого человека, вера, возникающая на войне мгновенно и остающаяся раз и навсегда, охватила адъютанта. Последние сто шагов он шел рядом с комиссаром совсем тесно, локоть к локтю.

Так состоялось их первое знакомство.

Прошел месяц. Южные дороги то подмерзали, то снова становились вязкими и непроходимыми.

Где-то в тылу, по слухам, готовились армии для контрнаступления, а пока поредевшая дивизия все еще вела кровавые оборонительные бои.

Была темная осенняя южная ночь. Комиссар, сидя в землянке, пристраивал у железной печки свои забрызганные грязью сапоги.

Сегодня утром был тяжело ранен командир дивизии. Начальник штаба, положив на стол подвязанную черным платком руку, тихонько барабанил по столу пальцами. То, что он мог это делать, доставляло ему удовольствие: пальцы снова начинали его слушаться.

— Ну, хорошо, упрямый вы человек,— продолжал он, видимо, прерванный разговор,— ну, пусть Холодилина убили потому, что он боялся, но генерал-то ведь был храбрым человеком — как по-вашему?

— Не был, а есть. И он выживет,— сказал комиссар и отвернулся, считая, что тут не о чем больше говорить.

Но начальник штаба потянул его за рукав и сказал совсем тихо, так, чтобы никто лишний не слышал его грустных слов:

— Ну, выживет, хорошо,— едва ли, но хорошо. Но ведь Миронов не выживет, и Заводчиков не выживет, и Гавриленко не выживет. Они умерли, а ведь они были храбрые люди. Как же с вашей теорией?

— У меня нет теории,— резко сказал комиссар.— Я просто знаю, что в одинаковых обстоятельствах храбрые

реже гибнут, чем трусы. А если у вас не сходят с языка имена тех, кто храбр и все-таки умер, то это потому, что когда умирает трус, то о нем забывают прежде, чем его зароют, а когда умирает храбрый, то о нем помнят, говорят и пишут. Мы помним только имена храбрых. Вот и все. А если вы все-таки называете это моей теорией — воля ваша. Теория, которая помогает людям не бояться,— хорошая теория.

В землянку вошел адъютант. Его лицо за этот месяц потемнело, а глаза стали усталыми. Но в остальном он остался все тем же мальчишкой, каким в первый день увидел его комиссар. Щелкнув каблуками, он доложил, что на полуострове, откуда он только что вернулся, все в порядке, только ранен командир батальона, капитан Поляков.

— Кто вместо него? — спросил командир.

— Лейтенант Васильев из пятой роты.

— А кто же в пятой роте?

— Какой-то сержант.

Комиссар на минуту задумался.

— Сильно замерзли? — спросил он адъютанта.

— По правде говоря — сильно.

— Выпейте водки.

Комиссар налил из чайника полстакана водки, и лейтенант, не снимая шинели, только наспех распахнув ее, залпом выпил.

— А теперь поезжайте обратно,— сказал комиссар.— Я тревожусь, понимаете? Вы должны быть там, на полуострове, моими глазами. Поезжайте.

Адъютант встал. Он застегнул крючок шинели медленным движением человека, которому хочется еще минуту побыть в тепле. Но, застегнув, больше не медлил. Низко согнувшись, чтобы не задеть за притолоку, он исчез в темноте. Дверь хлопнула.

— Хороший парень,— сказал комиссар, проводив его глазами.— Вот в таких я верю, что с ними ничего не случится. Я верю в то, что они будут целы, а они верят, что меня пуля не возьмет. А это самое главное. Верно, полковник?

Начальник штаба медленно барабанил пальцами по столу. Храбрый от природы человек, он не любил подводить никаких теорий ни под свою, ни под чужую храбрость. Но сейчас ему казалось, что комиссар прав.

— Да,— сказал он.

В печке трещали поленья. Комиссар спал, упав лицом на десятиверстку и раскинув на ней руки так широко, как

будто он хотел забрать обратно всю начерченную на ней землю.

Утром комиссар сам выехал на полуостров. Потом он не любил вспоминать об этом дне. Ночью немцы, внезапно высадившись на полуострове, в жестоком бою перебили передовую пятую роту — всю, до последнего человека.

Комиссару в течение дня пришлось делать то, что ему, комиссару дивизии, в сущности, делать совсем не полагалось. Он утром собрал всех, кто был под рукой, трижды водил их в атаку.

Тронутый первыми заморозками гремучий песок был изрыт воронками и залит кровью. Гитлеровцы были убиты или взяты в плен. Многие, пытавшиеся добраться до своего берега вплавь, потонули в ледяной зимней воде.

Бросив уже ненужную винтовку с окровавленным черным штыком, комиссар обходил полуостров. О том, что происходило здесь ночью, ему могли рассказать только мертвые. Но мертвые тоже умеют говорить. Между трупами немцев лежали убитые красноармейцы пятой роты. Одни из них лежали в окопах, исколотые штыками, зажав в мертвых руках разбитые винтовки. Другие, те, кто не выдержал, валялись на открытом поле в мерзлой зимней степи: они бежали, и здесь их настигли пули. Комиссар медленно обходил молчаливое поле боя и вглядывался в позы убитых, в их застывшие лица: он угадывал, как боец вел себя в последние минуты жизни. И даже смерть не примиряла его с трусостью. Если бы это было возможно, он похоронил бы отдельно храбрых и отдельно трусов. Пусть после смерти они, как и при жизни, будут отделены друг от друга.

Он напряженно вглядывался в лица, ища своего адъютанта. Его адъютант не мог бежать и не мог попасть в плен, он должен был быть где-то здесь, среди погибших.

Наконец сзади, далеко от окопов, где дрались и умирали люди, комиссар нашел его. Адъютант лежал навзничь, неловко подогнув под спину одну руку и вытянув другую с насмерть зажатым в ней наганом. На груди на гимнастерке запеклась кровь.

Комиссар долго стоял над ним, потом, подозвав одного из командиров, приказал ему приподнять гимнастерку и посмотреть, какая рана, пулевая или штыковая.

Он посмотрел бы и сам, но правая рука его, раненная в атаке несколькими осколками гранаты, бессильно повисла вдоль тела. Он с раздражением смотрел на свою обрезанную до плеча гимнастерку, на кровавые, наспех замо-

танные бинты. Его сердили не столько рана и боль, сколько самый факт, что он был ранен. Он, которого считали в дивизии неуязвимым! Рана была некстати, ее скорее надо было залечить и забыть.

Командир, наклонившись над адъютантом, приподнял гимнастерку и расстегнул белье.

— Штыковая,— сказал он, подняв голову, и снова склонился над адъютантом и надолго, на целую минуту, припал к неподвижному телу.

Когда он поднялся, на лице его было удивление.

— Еще дышит,— сказал он.

— Дышит?

Комиссар ничем не выдал своего волнения. Он еще не знал, надо ли волноваться за этого, оказавшегося живым, человека. Он лежал здесь, далеко позади окопов, он, наверно, бежал. И все-таки — нет! Не может быть. Он очень редко ошибался в людях.

— Двое сюда! — резко приказал он.— На руки и быстрей до перевязочного пункта. Может быть, выживет.

И он, повернувшись, пошел дальше по полю.

«Выживет или нет?» — Этот вопрос у него путался с другим — как себя вел в бою, почему оказался сзади всех в поле. И невольно оба вопроса связывались в одно: если все хорошо, если вел себя храбро,— значит, выживет, непременно выживет.

И когда через месяц на командный пункт дивизии из госпиталя пришел адъютант, побледневший и худой, но все такой же светловолосый и голубоглазый, похожий на мальчишку, комиссар ничего не спросил его, а только молча протянул левую здоровую руку.

— А я ведь так тогда и не дошел до пятой роты,— сказал адъютант,— застрял на переправе, еще шагов сто оставалось, когда...

— Знаю,— прервал комиссар — все знаю, не объясняйте. Знаю, что молодец, рад, что выжили.

Он с завистью посмотрел на мальчишку, который через месяц после смертельной раны был снова живым и здоровым, и, кивнув на свою перевязанную руку, грустно сказал:

— А у нас с полковником уже годы не те. Второй месяц не заживает. А у него — третий. Так и правим дивизией — двумя руками. Он правой, а я левой...

1941

Вадим Кожевников

(р. 1909)

МАРТ — АПРЕЛЬ

Изодранный комбинезон, прогоревший во время ночевок у костра, свободно болтался на капитане Петре Федоровиче Жаворонкове. Рыжая патлатая борода и черные от въевшейся грязи морщины делали лицо капитана старческим.

В марте он со специальным заданием прыгнул с парашютом в тылу врага, и теперь, когда снег стаял и всюду копошились ручьи, пробираться обратно по лесу в набухших водой валенках было очень тяжело.

Первое время он шел только ночью, днем отлеживался в ямах. Но теперь, боясь обессилеть от голода, он шел и днем.

Капитан выполнил задание. Оставалось только разыскать радиста-метеоролога, сброшенного сюда два месяца назад.

Последние четыре дня он почти ничего не ел. Шагая в мокром снегу, голодными глазами косился он на белые стволы берез, кору которых — он знал — можно истолочь, сварить в банке и потом есть, как горькую кашу, пахнущую деревом и деревянную на вкус.

Размышляя в трудные минуты, капитан обращался к себе, словно к спутнику, достойному и мужественному.

«Принимая во внимание чрезвычайное обстоятельство,— думал капитан,— вы можете выбраться на шоссе. Кстати, тогда удастся переменить обувь. Но, вообще говоря, налеты на одиночные немецкие транспорты указывают на ваше неважное положение. И, как говорится, вопль брюха заглушает в вас голос рассудка».

Привыкнув к длительному одиночеству, капитан мог рассуждать с самим собой до тех пор, пока не уставал или, как он признавался себе, не начинал говорить глупостей.

Капитану казалось, что тот, второй, с кем он беседовал, очень неплохой парень, добрый, душевный, все понимает. Лишь изредка капитан грубо прерывал его. Этот окрик возникал при малейшем шорохе или при виде лыжни, оттаявшей и черствой.

Но мнение капитана о своем двойнике, душевном и все понимающем парне, несколько расходилось с мнением товарищей. Капитан в отряде считался человеком малосимпатичным. Неразговорчивый, сдержанный, он не располагал и других к дружеской откровенности. Для новичков, впервые отправляющихся в рейд, он не находил ласковых, ободряющих слов.

Возвращаясь после задания, капитан старался избегать восторженных встреч. Уклоняясь от объятий, он бормотал:

— Побриться бы надо, а то щеки как у ежа,— и поспешно проходил к себе.

О работе в тылу у немцев он не любил рассказывать и ограничивался рапортом начальнику. Отдыхая после задания, валялся на койке; к обеду выходил заспанный, угрюмый.

— Неинтересный человек,— говорили о нем,— скучный.

Одно время распространился слух, оправдывающий его поведение. Будто в первые дни войны его семья была уничтожена фашистами.

Узнав об этих разговорах, капитан вышел к обеду с письмом в руках. Хлебая суп и держа перед глазами письмо, он сообщил:

— Жена пишет.

Все переглянулись. Многие разочарованно, потому что хотелось верить: капитан потому такой нелюдимый, что его постигло несчастье. А несчастья, оказывается, никакого и не было...

...Голый и мокрый лес. Топкая почва, ямы, заполненные грязной водой, дряблый, болотистый снег. Тоскливо брести по этим одичавшим местам одинокому, усталому, измученному человеку.

Но капитан умышленно выбирал эти дикие места, где встреча с немцами менее вероятна. И чем более заброшенной и забытой выглядела земля, тем поступь капитана была увереннее.

Вот только голод начинал мучить. Капитан временами плохо видел. Он останавливался, тер глаза и, когда это не помогало, бил себя кулаком в шерстяной рукавице по скулам, чтобы восстановить кровообращение.

Спускаясь в балку, капитан наклонился к крохотному водопаду, стекавшему с ледяной бахромы откоса, и стал пить воду, ощущая тошнотный, пресный вкус талого снега. Но он продолжал пить, хотя ему и не хотелось,— пить только для того, чтобы заполнить пустоту в тоскующем желудке.

Вечерело. Тощие тени ложились на мокрый снег. Стало холодно. Лужи застывали, и лед громко хрустел под ногами. Мокрые ветки обмерзли, когда он отводил их рукой, они звенели. И как ни пытался капитан идти бесшумно, каждый шаг сопровождался хрустом и звоном.

Взошла луна. Лес засверкал. Бесчисленные сосульки и ледяные лужи, отражая лунный свет, горели холодным огнем.

Где-то в этом квадрате должен был находиться радист. Но разве найдешь его сразу, если этот квадрат равен четырем километрам? Вероятно, радист выкопал себе логовище, не менее тайное, чем нора у зверя.

Не будет же он ходить и кричать в лесу: «Эй, товарищ! Где ты там?!»

Капитан шел в чаще, озаренной ярким светом; валенки его от ночного холода стали тяжелыми и твердыми, как каменные тумбы.

Он злился на радиста, которого так трудно разыскать, но еще больше разозлился бы, если бы радиста удалось обнаружить сразу.

Запнувшись о валежник, погребенный под заскорузлым снегом, капитан упал. И когда с трудом подымался, упираясь руками в снег, за спиной его раздался металлический щелчок пистолета.

— Хальт! — сказали ему тихо.— Хальт!

Но капитан повел себя странно. Не оборачиваясь, он растирал ушибленное колено. Когда, все так же шепотом, ему приказали на немецком языке поднять вверх руки, капитан обернулся и сказал насмешливо:

— Если человек лежит, при чем тут «хальт»? Нужно было сразу кидаться на меня и бить из пистолета, завернув

его в шапку,— тогда выстрел будет глухой, тихий. А кроме того, немец кричит «хальт» громко, чтобы услышал сосед и в случае чего пришел на помощь. Учат вас, учат, а толку...— И капитан поднялся.

Пароль произнес он одними губами. Когда получил отзыв, кивнул головой и, взяв на предохранитель, сунул в карман синий «зауэр».

— А пистолетик все-таки в руке держали!

Капитан сердито посмотрел на радиста.

— Ты что ж думал, только на твою мудрость буду рассчитывать? — И нетерпеливо потребовал: — Давай показывай, где тут твое помещение!

— Вы за мной,— сказал радист, стоя на коленях в неестественной позе,— а я поползу.

— Зачем ползти? В лесу спокойно.

— Нога у меня обморожена,— тихо объяснил радист,— болит очень.

Капитан недовольно поморщился и пошел вслед за ползущим человеком. Потом он насмешливо спросил:

— Ты что ж, босиком бегал?

— Болтанка сильная была, когда прыгали. У меня валенок и слетел... еще в воздухе.

— Хорош! Как это ты еще штаны не потерял.— И добавил: — Выбирайся теперь с тобой отсюда!

Радист сел, опираясь руками о снег, и с обидой в голосе сказал:

— Я, товарищ капитан, и не собираюсь отсюда уходить. Оставьте провиант и можете отправляться дальше. Когда нога заживет, я и сам доберусь.

— Как же, будут тебе тут санатории устраивать! Засекли фашисты рацию, понятно? — И вдруг, наклонившись, капитан тревожно спросил: — Постой, фамилия как твоя? Лицо что-то знакомое.

— Михайлова.

— Лихо! — пробормотал капитан не то смущенно, не то обиженно.— Ну ладно, ничего, как-нибудь разберемся.— Потом вежливо осведомился: — Может, вам помочь?

Девушка ничего не ответила. Она ползла, проваливаясь по самые плечи в снег.

Раздражение сменилось у капитана другим чувством, менее определенным, но более беспокойным. Он помнил эту Михайлову у себя на базе, среди курсантов. Она с самого начала вызывала у него чувство неприязни, даже больше — негодования. Он никак не мог понять, зачем она на базе, высокая, красивая, даже очень красивая, с гордо

поднятой головой и ярким, большим, резко очерченным ртом, от которого трудно отвести взгляд.

У нее была неприятная манера смотреть прямо в глаза. Неприятная не потому, что видеть такие глаза противно,— напротив, большие, внимательные и спокойные, с золотистыми искорками вокруг больших зрачков, они были очень хороши. Но плохо то, что пристального взгляда их капитан не выдерживал. И девушка это замечала.

А потом эта манера носить волосы, пышные, блестящие и тоже золотистые, выпустив их за воротник шинели!

Сколько раз говорил капитан:

— Подберите ваши волосы. Военная форма — это не маскарадный костюм.

Правда, занималась Михайлова старательно. Оставаясь после занятий, она часто обращалась к капитану с вопросами, довольно толковыми. Но капитан, убежденный в том, что знания ей не пригодятся, отвечал кратко, резко, все время поглядывая на часы.

Начальник курсов сделал замечание капитану за то, что он уделяет Михайловой так мало внимания.

— Ведь она же хорошая девушка.

— Хорошая для семейной жизни.— И неожиданно горячо и страстно капитан заявил: — Поймите, товарищ полковник, нашему брату никаких лишних крючков иметь нельзя. Обстановка может приказать собственноручно ликвидироваться. А она? Разве она сможет? Ведь пожалеет себя! Разве можно себя, такую...— И капитан сбился.

Чтобы отделаться от Михайловой, он перевел ее в группу радисток.

Курсы десантников располагались в одном из подмосковных домов отдыха. Крылатые остекленные веранды, красивые дорожки внутри, яркая лакированная мебель — вся эта обстановка, не потерявшая еще всей прелести мирной жизни, располагала по вечерам к развлечениям. Кто-нибудь садился за рояль, и начинались танцы. И если бы не военная форма, то можно было подумать, что это обычный канун выходного дня в солидном подмосковном доме отдыха.

Стучали зенитки, и белое пламя прожекторов копалось в небе своими негнущимися щупальцами, но об этом можно было не думать.

После занятий Михайлова часто сидела на диване в гостиной, с поджатыми ногами и с книгой в руках. Она читала при свете лампы с огромным абажуром, укрепленной на толстой и высокой подставке из красного дерева. Вид этой

девушки с красивым спокойным лицом, ее безмятежная поза, волосы, лежащие на спине, и пальцы ее, тонкие и белые,— все это не вязалось с техникой подрывного дела или нанесением по тырсе ударов ножом с ручкой, обтянутой резиной.

Когда Михайлова замечала капитана, она вскакивала и вытягивалась, как это и полагается при появлении командира.

Жаворонков, небрежно кивнув, проходил мимо. Этот сильный человек с красным, сухим лицом спортсмена, правда, немного усталым и грустным, был жестоким и требовательным к себе самому.

Капитан предпочитал действовать в одиночку. Он имел на это право. Холодной болью застыла в сердце капитана смерть его жены и ребенка: их раздавили в пограничном поселке двадцать второго июня железными лапами немецкие танки.

Капитан молчал о своем горе. Он не хотел, чтобы его несчастье служило побудительной причиной его бесстрашия. Поэтому он и обманывал своих товарищей. Он сказал себе: «Я такой же, как все. Я должен драться спокойно». Всю свою жизненную силу он сосредоточил на борьбе с врагом. Таких людей, скорбящих и сильных, немало на войне.

Добрый, веселый, хороший мой народ! Какой же бедой ожесточил враг твое сердце!

И вот сейчас, шагая за ползущей радисткой, капитан старался не размышлять ни о чем, что могло бы помешать ему обдумать свое поведение. Он голоден, слаб, измучен длинным переходом. Конечно, Михайлова рассчитывает на его помощь. Но ведь она не знает, что и он никуда не годится.

Сказать все? Ну, нет! Лучше заставить ее как-нибудь подтянуться, а там он соберется с силами, и, может быть, как-нибудь удастся...

В отвесном скате балки весенние воды промыли нечто вроде ниши. Жесткие корни деревьев свисали над головой, то тощие, как шпагат, то перекрученные и жилистые, похожие на пучки ржавых тросов. Ледяной навес закрывал нишу снаружи. Днем свет проникал сюда, как в стеклянную оранжерею. Здесь было чисто, сухо, лежала подстилка из еловых ветвей. Квадратный ящик рации, спальный мешок, лыжи, прислоненные к стене.

— Уютная пещерка,— заметил капитан. И, похлопав рукой по подстилке, сказал: — Садитесь и разувайтесь.

— Что? — гневно и удивленно спросила девушка.

— Разувайтесь. Я должен знать, куда вы годитесь с такой ногой.

— Вы не доктор. И потом...

— Знаете,— сказал капитан,— договоримся с самого начала, меньше разговаривайте.

— Ой, больно!

— Не пищите,— сказал капитан, ощупывая ступню ее, вспухшую, обтянутую глянцевитой синей кожей.

— Да я же не могу больше терпеть.

— Ладно, потерпите,— сказал капитан, стягивая с себя шерстяной шарф.

— Мне не нужно вашего шарфа.

— Грязный носок лучше?

— Он чистый.

— Знаете,— снова повторил капитан,— не морочьте вы мне голову. Веревка у вас есть?

— Нет.

Капитан поднял руку, оторвал кусок тонкого корня, перевязал им ногу, обмотанную шарфом, и объявил:

— Хорошо держится!

Потом он вытащил лыжи наружу и что-то долго мастерил, орудуя ножом. Вернулся, взял рацию и сказал:

— Можно ехать.

— Вы хотите тащить меня на лыжах?

— Я этого, положим, не хочу, но приходится.

— Ну что же, у меня другого выхода нет.

— Вот это правильно,— согласился капитан.— Кстати, у вас пожевать чего-нибудь найдется?

— Вот,— сказала она и вытащила из кармана поломанный сухарь.

— Маловато.

— Это все, что у меня осталось. Я уже несколько дней...

— Понятно,— сказал капитан.— Другие съедают сначала сухари, а шоколад оставляют на черный день.

— Можете оставить ваш шоколад себе.

— А я угощать и не собираюсь.— И капитан вышел, сгибаясь под тяжестью рации.

После часа ходьбы капитан понял, что дела его плохи. И хотя девушка, лежа на лыжах (вернее — на санях, сделанных из лыж), помогала ему, отталкиваясь руками, силы его покинули. Ноги дрожали, а сердце колотилось так, что было трудно дышать.

«Если я ей скажу, что никуда не гожусь, она растеряется. Если дальше буду храбриться, дело кончится совсем скверно».

Капитан посмотрел на часы и сказал:

— Не худо бы выпить горячего.

Выкопав в снегу яму, он прорыл палкой дымоход и забросал его отверстие зелеными ветвями и снегом. Ветви и снег должны были фильтровать дым, тогда он будет невидимым. Наломав сухих веток, капитан положил их в яму, потом вынул из кармана шелковый мешочек с пушечным полузарядом и, насыпав горсть пороха крупной резки на ветки, поднес спичку.

Пламя зашипело, облизав ветви. Поставив на костер жестяную банку, капитан кидал в нее сосульки и куски льда. Потом он вынул сухарь, завернув его в платок, и, положив на пень, стал бить по сухарю черенком ножа. Крошки он высыпал в кипящую воду и стал размешивать. Сняв банку с огня, он поставил ее в снег, чтобы остудить.

— Вкусно? — спросила девушка.

— Почти как кофе «Здоровье»,— сказал капитан и протянул ей банку с коричневой жижей.

— Я потерплю, не надо,— сказала девушка.

— Вы у меня еще натерпитесь,— сказал капитан.— А пока не морочьте мне голову всякими штучками, пейте.

К вечеру ему удалось убить старого грача.

— Вы будете есть ворону? — спросила девушка.

— Это не ворона, а грач,— сказал капитан.

Он зажарил птицу на костре.

— Хотите? — предложил он половину птицы девушке.

— Ни за что! — с отвращением сказала она.

Капитан поколебался, потом задумчиво произнес:

— Пожалуй, это будет справедливо,— и съел всю птицу.

Закурив, он повеселел и спросил:

— Ну, как нога?

— Мне кажется, я смогла бы пройти немного,— сказала девушка.

— Это вы бросьте!

Всю ночь капитан тащил за собой лыжи, и девушка, кажется, дремала.

На рассвете капитан остановился в овраге.

Огромная сосна, вывернутая бурей, лежала на земле. Под мощными корнями оказалась впадина. Капитан выгреб из ямы снег, наломал ветвей и постелил на них плащпалатку.

— Вы хотите спать? — спросила, проснувшись, девушка.

— Часок, не больше,— сказал капитан.— А то я совсем забыл, как это делается.

Девушка начала выбираться из своего спального мешка.

— Это еще что за номер? — спросил капитан, приподымаясь.

Девушка подошла и сказала:

— Я лягу с вами, так будет теплее. А накроемся мешком.

— Ну, знаете...— возмутился капитан.

— Подвиньтесь,— сказала девушка.— Не хотите же вы, чтобы я лежала на снегу... Вам неудобно?

— Подберите ваши волосы, а то они в нос лезут, чихать хочется, и вообще...

— Вы хотите спать — ну и спите. А волосы вам мои не мешают.

— Мешают,— вяло сказал капитан и заснул.

Шорох тающего снега, стук капель. По снегу, как дым, бродили тени облаков.

Капитан спал, прижав кулак к губам, и лицо у него было усталое, измученное. Девушка наклонилась и осторожно просунула свою руку под его голову.

С ветви дерева, склоненного над ямой, падали на лицо спящего тяжелые капли воды. Девушка освободила руку и подставила ладонь, защищая его лицо. Когда в ладони скапливалась вода, она осторожно выплескивала ее.

Капитан проснулся, сел и стал тереть лицо ладонями.

— У вас седина здесь,— сказала девушка.— Это после того случая?

— Какого? — спросил капитан, потягиваясь.

— Ну, когда вас расстреливали?

— Не помню,— сказал капитан и зевнул. Ему не хотелось вспоминать про этот случай.

Дело было так. В августе капитан подорвал крупный немецкий склад боеприпасов. Его контузило взрывной волной, неузнаваемо обожгло пламенем. Он лежал в тлеющей черной одежде, когда немецкие санитары подобрали его и вместе с пострадавшими немецкими солдатами отнесли в госпиталь. Он пролежал три недели, притворяясь глухонемым. Потом врачи установили, что он не потерял слуха. Гестаповцы расстреляли Жаворонкова вместе с тремя немецкими солдатами-симулянтами. Ночью тяжело раненный капитан выбрался изо рва и полз двадцать километров до места явки.

Чтобы прекратить разговор, он спросил:

— Нога все болит?

— Я ж сказала, что могу идти сама,— раздраженно ответила девушка.

— Ладно, садитесь. Когда понадобится, вы у меня еще побегаете.

Капитан снова впрягся в сани и снова заковылял по талому снегу.

Шел дождь со снегом. Ноги разъезжались. Капитан часто проваливался в выбоины, наполненные мокрой снежной кашей. Было тускло и серо. И капитан с тоской думал о том, удастся ли им переправиться через реку, вероятно, поверх льда уже покрытую водой.

На дороге лежала убитая лошадь.

Капитан присел возле нее на корточки, вытащил нож.

— Знаете,— сказала девушка, приподымаясь,— вы все так ловко делаете, что мне даже смотреть не противно.

— Просто вы есть хотите,— спокойно ответил капитан.

Он поджарил тонкие ломтики мяса, насадив их на стержень антенны, как на вертел.

— Вкусно! — удивилась девушка.

— Еще бы! — улыбнулся капитан.— Жареная конина вкуснее говядины.

Потом он поднялся и сказал:

— Я пойду посмотрю, что там, а вы оставайтесь.

— Хорошо,— согласилась девушка.— Может, это вам покажется смешным, но одной мне оставаться теперь очень трудно. Я уже как-то привыкла быть вместе.

— Ну-ну! Без глупостей,— пробормотал капитан.

Но это больше относилось к нему самому, потому что он смутился.

Вернулся он ночью.

Девушка сидела на санях, держа пистолет в руке. Увидев капитана, она улыбнулась и встала.

— Садитесь, садитесь,— попросил капитан тоном, каким говорил всем курсантам, встававшим при его появлении.

Он закурил и сказал, недоверчиво глядя на девушку:

— Штука-то какая. Фашисты недалеко отсюда аэродром оборудовали.

— Ну и что? — спросила девушка.

— Ничего,— ответил капитан.— Ловко очень устроили.— Потом серьезно спросил: — У вас передатчик работает?

— Вы хотите связаться? — обрадовалась девушка.

— И даже очень,— сказал капитан.

Михайлова сняла шапку, надела наушники. Через не-

сколько минут она спросила, что передавать. Капитан присел рядом с ней. Стукнув кулаком по ладони, он сказал:

— Одним словом, так: карта раскисла от воды. Квадрат расположения аэродрома определить не могу. Даю координаты по компасу. Ввиду низкой облачности линейные ориентиры будут скрыты. Поэтому пеленгом будет служить наша рация на волне. Какая там у вас волна, сообщите.

Девушка сняла наушники и с сияющим лицом повернулась к капитану.

Но капитан, сворачивая новую цигарку, даже не поднял глаз.

— Теперь вот что,— сказал он глухо.— Рацию я забираю и иду туда,— он махнул рукой и пояснил: — Чтобы быть ближе к цели. А вам придется добираться своими средствами. Как стемнеет окончательно, спуститесь к реке. Лед тонкий, захватите жердь. Если провалитесь, она поможет. Потом доползете до Малиновки, километра три, там вас встретят.

— Очень хорошо,— сказала Михайлова.— Только рацию вы не получите.

— Ну-ну,— сказал капитан,— это вы бросьте.

— Я отвечаю за рацию и при ней остаюсь.

— В виде бесплатного приложения,— буркнул капитан. И, разозлившись, громко произнес: — А я вам приказываю.

— Знаете, капитан, любой ваш приказ будет выполнен. Но рацию отобрать у меня вы не имеете права.

— Да поймите же вы!..— вспылил капитан.

— Я понимаю,— спокойно сказала Михайлова.— Это задание касается только меня одной.— И, гневно глядя в глаза капитану, она сказала: — Вот вы горячитесь и беретесь не за свое дело.

Капитан резко повернулся к Михайловой. Он хотел сказать что-то очень обидное, но превозмог себя и с усилием произнес:

— Ладно, валяйте действуйте.— И, очевидно, чтобы как-нибудь отомстить за обиду, сказал: — Сама додуматься не могла, так теперь вот...

Михайлова насмешливо сказала:

— Я вам очень благодарна, капитан, за идею.

Капитан отогнул рукав, взглянул на часы.

— Чего же вы сидите? Время не ждет.

Михайлова взялась за лямки, сделала несколько шагов, потом обернулась.

— До свидания, капитан.

— Идите, идите,— буркнул тот и пошел к реке...

Туманная мгла застилала землю, в воздухе пахло сыростью, и всюду слышались шорохи воды, не застывшей и ночью. Умирать в такую погоду особенно неприятно. Впрочем, нет на свете погоды, при которой это было бы приятно.

Если бы Михайлова прочла три месяца назад рассказ, в котором герои переживали подобные приключения, в ее красивых глазах наверняка появилось бы мечтательное выражение. Свернувшись калачиком под байковым одеялом, она представляла бы себя на месте героини; только в конце, в отместку за все, она непременно спасла бы этого надменного героя. А потом он влюбился бы в нее, а она не обращала бы на него внимания.

В тот вечер, когда она сказала отцу о своем решении, она не знала о том, что эта работа требует нечеловеческого напряжения сил, что нужно уметь спать в грязи, голодать, мерзнуть, уметь тосковать в одиночестве. И если бы ей кто-нибудь обстоятельно и подробно рассказал о том, как это трудно, она спросила бы просто:

— Но ведь другие могут?

— А если вас убьют?

— Не всех же убивают.

— А если вас будут мучить?

Она задумалась бы и тихо сказала:

— Я не знаю, как я себя буду держать. Но ведь я все равно ничего не скажу. Вы это знаете.

И когда отец узнал, он опустил голову и проговорил хриплым, незнакомым ей голосом:

— Нам с матерью теперь будет очень тяжело, очень.

— Папа,— звонко сказала она,— папа, ну ты пойми, я же не могу оставаться!

Отец поднял лицо, и она испугалась. Таким оно было измученным и старым.

— Я понимаю,— сказал отец.— Ну что ж, было бы хуже, если бы у меня была не такая дочь.

— Папа,— крикнула тогда она,— папа, ты такой хороший, что я сейчас заплачу!

Матери они утром сказали, что она поступает на курсы военных телефонисток.

Мать побледнела, но сдержалась и только попросила:

— Будь осторожнее, деточка.

На курсах Михайлова училась старательно, во время проверки знаний волновалась, как в школе на экзаменах,

и была очень счастлива, когда в приказе отметили не только число знаков передачи, но и ее грамотность.

Оставшись одна в лесу в эти дикие, холодные и черные дни, она первое время плакала и съела весь шоколад. Но передачи вела регулярно, и, хотя ей ужасно хотелось иногда прибавить что-нибудь от себя, чтобы не было так сиротливо, она не делала этого, экономя электроэнергию.

И вот сейчас, пробиваясь к аэродрому, она удивилась, как все это просто. Вот она ползет по мокрому снегу, мокрая, с обмороженной ногой. А когда раньше у нее бывал грипп, отец сидел у постели и читал вслух, чтобы она не утомляла свои глаза. А мать с озабоченным лицом согревала в ладонях термометр, так как дочь не любила класть его под мышку холодным. И когда звонили по телефону, мать шепотом расстроенно говорила: «Она больна». А отец заталкивал в телефон бумажку, чтобы звонок не тревожил дочь. А вот если враги успеют быстро засечь рацию, Михайлову убьют.

Убьют ее, такую хорошую, красивую, добрую и, может быть, талантливую. И будет лежать она в мокром, противном снегу. На ней меховой комбинезон. Они, наверное, сдерут его. И она ужасалась, представляя себя голой, в грязи. На нее, голую, будут смотреть отвратительными глазами фашисты.

А этот лес так похож на рощу в Краскове, где она жила на даче. Там были такие же деревья. И когда жила в пионерском лагере, там были такие же деревья. И гамак был подвязан вот к таким же двум соснам-близнецам.

И когда Димка вырезал ее имя на коре березы, такой же, как вот эта, она рассердилась на него, зачем он покалечил дерево, и не разговаривала с ним. А он ходил за ней и смотрел на нее печальными и поэтому красивыми глазами. А потом, когда они помирились, он сказал, что хочет поцеловать ее. Она закрыла глаза и жалобно сказала: «Только не в губы». А он так волновался, что поцеловал ее в подбородок.

Она очень любила красивые платья. И когда однажды ее послали делать доклад, она надела самое нарядное платье. Ребята спросили:

— Ты что так расфрантилась?

— Подумаешь,— сказала она.— Почему мне не быть красивой докладчицей?

И вот она ползет по земле, грязная, мокрая, озираясь, прислушиваясь, и волочит обмороженную, распухшую ногу.

«Ну, убьют! Ну и что ж! Ведь убили же Димку и других, хороших, убили. Ну и меня убьют. Я лучше их, что ли?»

Шел снег, хлюпали лужи. Гнилой снег лежал в оврагах. А она все ползла и ползла. Отдыхая, она лежала на мокрой земле, положив голову на согнутую руку.

Влажный туман стал черным, потому что ночь была черная. И где-то в небе плыли огромные корабли. Штурман командирского корабля, откинувшись в кресле, полузакрыв глаза, вслушивался в шорохи и свист в мегафонах, но сигналов рации не было.

Пилоты на своих сиденьях и стрелок-радист тоже вслушивались в свист и визг мегафонов, но сигналов не было. Пропеллеры буравили черное небо. Корабли плыли все вперед и вперед во мраке ночного неба, а сигналов не было.

И вдруг тихо, осторожно прозвучали первые позывные. Огромные корабли, держась за эту тонкую паутинку звука, разворачивались; ревущие и тяжелые, они помчались в тучах. Родной, как песня сверчка, как звон сухого колоса на степном ветру, как шорох осеннего листа, этот звук стал поводырем огромным стальным кораблям.

Командир соединения кораблей, пилоты, стрелки-радисты, бортмеханики — и Михайлова тоже — знали: бомбы будут сброшены туда на этот родной, призывный клич рации. Потому что здесь — самолеты врага.

Михайлова стояла на коленях в яме, в черной тинистой воде, и, наклонившись к рации, стучала ключом. Тяжелое небо висело над головой. Но оно было пустым и безмолвным. В мягкой тине обмороженная нога онемела, боль в висках стискивала голову горячим обручем. Михайлову знобило. Она подносила руку к губам — губы были горячие и сухие. «Простудилась,— тоскливо подумала она.— Впрочем, теперь это не важно».

Иногда ей казалось, что она теряет сознание. Она открывала глаза и испуганно вслушивалась. В наушниках звонко и четко пели сигналы. Значит, рука ее, помимо воли, нажимала рычаг ключа. «Какая дисциплинированная! Вот и хорошо, что я пошла, а не капитан. Разве у него будет рука сама работать? А если бы я не пошла, то была бы сейчас в Малиновке, и, может быть, мне дали бы полушубок... Там горит печь... и все тогда было бы иначе. А теперь уже больше никого и ничего не будет... Странно, вот я лежу и думаю. А ведь где-то Москва. Там люди, много людей. И никто не знает, что я здесь. Все-таки я молодец. Может быть, я храбрая? Пожалуй, мне не страшно. Нет, это оттого, что мне больно, потому и не так страшно. Скорее бы только. Ну, что они в самом деле! Неужели не понимают, что я больше не могу?»

Всхлипнув, она легла на откос котлована и, повернувшись на бок, продолжала стучать. Теперь ей стало видно огромное, тяжелое небо. Вот его лизнули прожекторы, послышалось далекое тяжелое дыхание кораблей. И Михайлова, глотая слезы, прошептала:

— Милые, хорошие! Наконец-то вы за мной прилетели! Мне так плохо здесь.— И вдруг испугалась: «Что, если вместо позывных я передала вот эти свои слова? Что же они тогда про меня подумают?»

Она села и стала стучать раздельно, четко, повторяя вслух шифр, чтобы снова не сбиться.

Гудение кораблей все приближалось. Застучали зенитки.

— Ага, не нравится?

Она поднялась. Ни боли, ничего. Изо всех сил она стучала по ключу, словно не сигналы, а крик: «Бейте, бейте!» — высекала из ключа.

Рассекая черный воздух, ахнула первая бомба. Михайлова упала на спину от удара воздуха. Оранжевые пятна отраженного пламени заплескались в лужах. Земля сотрясалась от глухих ударов. Рация свалилась в воду. Михайлова пыталась поднять ее. Визжащие бомбы, казалось, летели прямо к ней в яму.

Она вобрала голову в плечи и присела, зажмурив глаза. Свет от пламени проникал сквозь веки. Дуновением разрыва в яму бросило колья, опутанные колючей проволокой. В промежутках между разрывами бомб на аэродроме что-то глухо лопалось и трещало. Черный туман вонял бензиновым чадом.

Потом наступила тишина, замолкли зенитки.

«Конечно,— с тоской подумала она.— Теперь я снова одна».

Она пыталась подняться, но ее ноги...

Она их совсем не чувствовала. Что случилось? Потом она вспомнила. Это бывает. Ноги отнимаются. Она контужена. Вот и все. Она легла щекой на мокрую глину немножко отдохнуть. Хоть бы одна бомба упала сюда! Как все было бы просто... И она не узнала бы самого страшного.

«Нет,— решительно сказала себе она,— с другими было хуже, и все-таки уходили. Ничего плохого не должно случиться со мной. Я не хочу этого».

Где-то ворчал автомобильный мотор, и белые холодные лучи несколько раз скользнули по черному кустарнику, потом прозвучал взрыв, более слабый, чем разрыв бомбы, и совсем близко — выстрелы.

«Ищут. А лежать так хорошо. Неужели и этого больше не будет?»

Она хотела повернуться на спину, но боль в ноге горячим потоком ударила в сердце. Она вскрикнула, попыталась встать и упала.

Холодные твердые пальцы дергали застежку ее ворота.

Она открыла глаза.

— Это вы? Вы за мной пришли? — сказала Михайлова и заплакала.

Капитан вытер ладонью ее лицо, и она снова закрыла глаза. Идти она не могла. Капитан ухватил ее рукой за пояс комбинезона и вытащил наверх. Другая рука у капитана болталась, как тряпичная.

Она слышала, как сипели полозья саней по грязи.

Потом она увидела капитана. Он сидел на пне и, держа один конец ремня в зубах, перетягивал голую руку, и из-под ремня сочилась кровь. Подняв на Михайлову глаза, капитан спросил:

— Ну как?

— Никак,— прошептала она.

— Все равно,— сквозь зубы сказал капитан,— я больше никуда не гожусь. Сил нет. Попробуйте добраться, тут немного осталось.

— А вы?

— А я здесь немного отдохну.

Капитан хотел подняться, но как-то застенчиво улыбнулся и свалился с пня на землю...

Он был очень тяжел, и она долго мучилась, пока втащила его бессильное тело на сани. Он лежал неудобно, лицом вниз. Перевернуть его на спину она уже не могла.

Она долго дергала постромки, чтобы сдвинуть сани с места. Каждый шаг причинял нестерпимую боль. Но она упорно дергала за постромки и, пятясь, тащила сани по раскисшей, мокрой земле.

Она ничего не понимала. Сколько это может продолжаться? Почему она стоит, а не лежит на земле, обессиленная? Прислонившись спиной к дереву, она стояла с полузакрытыми глазами и боялась упасть, потому что тогда ей уже не подняться.

Она видела, как капитан сполз на землю, положил грудь и голову на сани. Держась за перекладину здоровой рукой, сказал шепотом:

— Так вам будет легче.

Он полз на коленях, полуповиснув на санях. Иногда он срывался, ударяясь лицом о землю. Тогда она подсовывала

ему под грудь сани, и у нее не было сил отвернуться, чтобы не глядеть на его почерневшее, разбитое лицо.

Потом она упала и снова слышала сипение грязи под полозьями. Потом услышала треск льда. Она задыхалась, захлебывалась, вода смыкалась над ней. И ей казалось, что все это во сне.

Открыла она глаза потому, что почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Капитан сидел на нарах, худой, желтый, с грязной бородой, с рукою, подвешенной к груди и зажатой между двумя обломками доски, и смотрел на нее.

— Проснулись? — спросил он незнакомым добрым голосом.

— Я не спала.

— Все равно,— сказал он,— это тоже вроде сна.

Она подняла руку и увидела, что рука голая.

— Это я сама разделась? — спросила она жалобно.

— Это я вас раздел,— сердито сказал капитан. И, перебирая пальцы на раненой руке, объяснил: — Мы же с вами вроде как в реке выкупались, а потом я думал, что вы ранены.

— Все равно,— сказала она тихо и посмотрела капитану в глаза.

— Конечно,— согласился он.

Она улыбнулась и сказала:

— Я знала, что вы вернетесь за мной.

— Это почему же? — усмехнулся капитан.

— Так, знала.

— Глупости,— сказал капитан,— ничего вы не могли знать. Вы были ориентиром во время бомбежки, и вас могли убить. На такой аварийный случай я разыскал стог сена, чтобы продолжать сигналить огнем. А во-вторых, вас запеленговал броневичок с радиоустановкой. Он там всю местность прочесал, пока я ему гранату не подсунул. А в-третьих...

— Что в-третьих? — звонко спросила Михайлова.

— А в-третьих,— серьезно сказал капитан,— вы очень хорошая девушка.— И тут же резко добавил: — И вообще, где это вы слышали, чтобы кто-нибудь поступал иначе?

Михайлова села и, придерживая на груди ворох одежды, глядя сияющими глазами в глаза капитану, громко и раздельно сказала:

— А знаете, я вас, кажется, очень люблю.

Капитан отвернулся. У него побледнели уши.

— Ну, это вы бросьте.

— Я вас не так, я вас просто так люблю,— гордо сказала Михайлова.

Капитан поднял глаза и, глядя исподлобья, застенчиво сказал:

— А вот у меня часто не хватает смелости говорить о том, о чем я думаю, и это очень плохо.

Поднявшись, он опять сурово спросил:

— Верхом ездили?

— Нет,— сказала Михайлова.

— Поедете,— сказал капитан.

— Гаврюша, партизан,— отрекомендовался заросший волосами низкорослый человек с веселыми прищуренными глазами, держа под уздцы двух костлявых и куцых немецких гюнтеров. Поймав взгляд Михайловой на своем лице, он объяснил: — Я, извините, сейчас на дворняжку похож. Прогоним оккупантов из района — побреюсь. У нас парикмахерская важная была. Зеркало — во! В полную фигуру человека.

Суетливо подсаживая Михайлову в седло, он смущенно бормотал:

— Вы не сомневайтесь насчет хвоста. Конь натуральный. Это порода такая. А я уж пешочком. Гордый человек, стесняюсь на бесхвостом коне ездить. Народ у нас смешливый. Война кончится, а они все дразнить будут.

Розовое и тихое утро. Нежно пахнет теплым телом деревьев, согретой землей. Михайлова, наклонясь с седла к капитану, произнесла взволнованно:

— Мне сейчас так хорошо.— И, посмотрев в глаза капитану, потупилась и с улыбкой прошептала: — Я сейчас такая счастливая.

— Ну, еще бы,— сказал капитан,— вы еще будете счастливой.

Партизан, держась за стремя, шагал рядом с конем капитана; подняв голову, он вдруг заявил:

— Я раньше куру не мог зарезать. В хоре тенором пел. Пчеловод — профессия задумчивая. А теперь сколько я этих фашистов порезал! — Он всплеснул руками.— Теперь я злой, обиженный!

Солнце поднялось выше. В бурой залежи уже просвечивали радостные, нежные зеленя. Немецкие лошади прижимали уши и испуганно вздрагивали, шарахаясь от гигантских деревьев, роняющих на землю ветвистые тени.

Когда капитан вернулся из госпиталя в свою часть, товарищи не узнали его. Такой он был веселый, возбуж-

денный, разговорчивый. Громко смеялся, шутил, для каждого у него нашлось приветливое слово. И все время искал кого-то глазами. Товарищи, заметив это, догадались и сказали, будто невзначай:

— А Михайлова снова на задании.

На лице капитана на секунду появилась горькая морщинка и тут же исчезла. Он громко сказал, не глядя ни на кого:

— Боевая девушка, ничего не скажешь,— и, одернув гимнастерку, пошел в кабинет начальника доложить о своем возвращении.

1942

Борис Полевой

(1908—1981)

МЫ — СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ

На вид этой девушке можно дать лет девятнадцать. Тоненькая, легкая, смуглое лицо не потеряло еще детской припухлости, а глаза, большие, ясные, опушенные длинными ресницами, смотрели так удивленно, как будто спрашивали: нет, в самом деле, товарищи, кругом действительно так хорошо или мне это только кажется?

И лишь мудреная высокая прическа, в которую были забраны густые темно-каштановые волосы, как-то портила ее светлый облик, точно фальшивая нота чистую, хорошую песню.

На ней было легкое цветастое платье, тонкая золотая цепочка обвивала ее высокую загорелую шею, на которой гордо сидела милая головка.

Должно быть, поняв, что уж очень выделяется среди людей в выгоревших, добела застиранных гимнастерках, среди обветренных лиц, темных от походного загара, она набросила на плечи чью-то шинель и, несмотря на жару душного августовского вечера, так и сидела в ней на завалинке.

Ее глаза жадно следили за жизнью обычной, ничем не примечательной штабной деревеньки. С одинаково ласковым вниманием останавливались они на промасленных, ржавых комбинезонах шоферов, рывшихся в тени вишенника в мо-

торе опрокинутого вездехода; и на военном почтаре, что прошел мимо нее с тем торжественно значительным видом, с каким ходят только военные почтари, неся большую порцию свежей корреспонденции; и на начальнике разведки, тучном, туго перетянутом походными ремнями полковнике, который, заложив руки за спину, скрипя сверкающими сапогами, расхаживал взад и вперед за плетнем садика, весь поглощенный какой-то своей мыслью; и на бойцах штабной охраны, сидевших за хаткой в пыльной мураве и по очереди читавших друг другу только что полученные письма из дому.

— Я, как изголодавшаяся, гляжу, гляжу, не могу наглядеться. Нет, вам этого не понять! Это понятно только тем, кому приходится надолго отрываться от своих, от всего, что привычно, дорого, мило, и с головой окунаться в этот чужой мир! — сказала она низким грудным голосом.

Выражение детскости, только что освещавшее ее лицо, сразу точно ветром сдуло, и мне показалось, что она гадливо передернула плечами, прикрытыми грубой шинелью.

Как-то не верилось, что эта девушка, такая юная и беспечная с виду, имела самую опасную и ответственную из всех воинских профессий, что это та самая безымянная героиня, которая, живя за линией фронта, ежеминутно рискуя жизнью, снабжала наш штаб сведениями, помогавшими командованию разгадывать намерения противника. Разведчики — народ замкнутый, несловоохотливый. Но для этой девушки они не жалели похвал.

У нее было условное имя: Береза. Я не знаю, как оно появилось, но трудно было подобрать лучшее. Она действительно походила на молодую, стройную, гибкую березку, из тех, что трепещут всеми листочками при малейшем порыве ветра. И ничто в ее облике не выдавало хладнокровного мужества, воли, уверенной, расчетливой хитрости — этих необходимых качеств, присущих человеку ее военной профессии. Вероятно, это-то и обеспечивало успех, сопутствовавший Березе при выполнении самых сложных заданий.

Взяв с меня слово, что я никогда не назову ее настоящего имени, полковник, начальник разведки, рассказал мне ее военную биографию.

Единственная дочь крупного ученого, она выросла в патриархальной семье, получила отличное воспитание, училась музыке, пению, с детства одинаково чисто говорила на украинском, русском, французском и немецком языках. Когда разразилась война, она заканчивала университет. Увлекалась филологией, западной литературой времен Ре-

нессанса и даже опубликовала под псевдонимом в одном из академических изданий работу о драматургии Расина, работу полемическую, интересную, даже обратившую на себя внимание в научных кругах.

Вопреки воле родителей она отложила подготовку к государственным экзаменам и пошла на курсы медицинских сестер. Она решила ехать на фронт. Но окончить курсы не удалось: враг подошел к городу, а окраины его стали фронтом. Некоторое время она вместе с подругами по курсам выносила раненых с поля боя, работала в эвакоприемнике.

Был дан приказ об эвакуации. Родители готовились к отъезду и настаивали, чтобы она обязательно ехала с ними.

— Есть старая истина: кому много дано, с того много и спрашивается,— убеждал ее отец.— Помогать раненым может каждая девушка, а на твое обучение государство затратило огромные деньги. Ты знаешь языки, как знают немногие. Ты обязана принести государству гораздо большую пользу там, в тылу.

Девушка понимала: отец хитрит. Он не мог так думать. Но ей не хотелось на прощанье обижать стариков, и она мягко сказала:

— Папа, я слышала, что сейчас даже каркас Дворца Советов, заложенный в Москве, переплавляют на снаряды и танковую броню. Мы должны победить любой ценой. Сейчас не до мелочной расчетливости.

В эвакуацию она не поехала. Но слова отца заставили ее задуматься. Ну, да! Она знает языки, наверное, может принести Родине на войне бóльшую пользу, чем в медсанбате или на эвакопункте. С этой мыслью она пошла в районный комитет партии.

Это были последние часы перед эвакуацией города. Усталые, до смерти измученные, подавленные горем люди жгли в печах бумаги. Входили и выходили вооруженные дружинники из рабочих батальонов. Сердито звонили телефоны. Было не до нее. Никто не хотел слушать эту тоненькую, красивую, хорошо одетую девушку. Но тут у нее, обычно робкой и деликатной среди чужих, может быть, впервые проявился характер. Кого-то обманув, от кого-то отшутившись, кого-то попросту оттолкнув, она пробилась в кабинет секретаря райкома, назвала свою довольно известную в городе фамилию и заявила, что отлично знает языки и просит дать ей какое-нибудь военное задание.

— Что, что? Вы дочь профессора Н.? Почему не уехали? — удивился секретарь райкома, с трудом отрываясь от горьких эвакуационных забот. Внимательно просмотрел ее документы. Вдруг, что-то вспомнив, он спросил ее: — Вы знаете немецкий?

— Как свой украинский.

Секретарь райкома еще раз с сомнением осмотрел тоненькую юную фигурку, лицо, в котором было так много детского.

— Задание может быть очень сложным и, прямо скажу, опасным.

— Я согласна.

Он попросил всех выйти, взял трубку полевого телефона и назвал какой-то номер.

— Вы слушаете? Это я, у меня нашлась подходящая кандидатура,— сказал он кому-то.— Да, немецкий, отлично... Вполне подходит, я знаю ее родителей. Замечательные, преданные люди. Сейчас ее к вам пришлю... Предупреждал и предупрежу еще.— Он положил трубку и опять, теперь уже с ласковым вниманием, посмотрел ей прямо в глаза: — Хорошо, свяжу вас с одним товарищем, который остается здесь для подпольной работы... Но вы, может быть, не представляете, что вас ждет. Вам все время придется рисковать жизнью.

— Я прошу вас, не теряйте попусту времени, я вам уже ответила,— сказала девушка.

И вот дочь ученого осталась в родном городе, оккупированном немцами. В немецкую комендатуру донесли, что родители ее забыли при эвакуации.

Она была не единственной, оставленной в городе для подпольной работы, но из всех разведчиков она получила самое сложное, самое неприятное задание. Иные должны были следить за оккупантами и предателями, иные получили задание взрывать склады, портить паровозы, иные охотились за фашистскими чиновниками. Береза по заданию подпольного комитета должна была изображать кисейную барышню, дочь знаменитых родителей, преклоняющуюся перед Западом и не пожелавшую расстаться во имя каких-то идей с комфортом, бросить все и тащиться в неизвестность куда-то на восток. В квартире профессора, обставленной старинной мебелью, поселился немецкий полковник. Ему сразу приглянулась молодая хозяйка квартиры. По вечерам она играла на рояле Вагнера, читала по-немецки стихи Гете. Полковник ввел ее в круг своих друзей, крупных штабных офицеров, собирав-

шихся у него, познакомил со своим начальником-генералом.

Украинская фрейлейн имела успех. Дочь профессора и, как намекал полковник, потомок каких-то древних украинских магнатов выгодно отличалась от крикливых, жирных и вздорных нацистских дам их круга. Офицеры всячески старались ей угождать, и никому из них не приходило в голову, куда ходит эта прелестная девушка, «потомок магнатов», дважды в неделю, забрав с собой пестрый зонтик, уличную сумку и книжку фюрера «Майн кампф», подаренную ей полковником с собственноручной надписью.

А она шла в окраинную слободку за рекой, входила в квартиру сапожника, помещавшуюся в беленой хатке, вынимала из сумки изящные туфельки со стоптанными каблуками, ставила их на верстак, заваленный сапожным хламом, и, убедившись, что никого нет, выплакивалась на груди бородатого старика «сапожника» слезами гнева, злости и омерзения. Тут, в чистенькой хатке, стоявшей на огородах, ее нервы, все время находившиеся в предельном напряжении, не выдерживали. Кокетливая глупенькая барышня, изящная безделушка, умевшая беззаботно развлекать грубых, самодовольных солдафонов, становилась самою собой — советской девушкой, гражданкой своего плененного, но не покорившегося города, искренней, честной, тоскующей и ненавидящей.

— ...Как мне тошно! Если бы вы знали, дядько Левко, как мне омерзительно жить среди них, слышать их хвастовство, улыбаться тем, кому хочется перегрызть горло, жать руку тому, кого следует расстрелять, нет, не расстрелять — повесить!

«Сапожник», старый большевик, работавший в подполье еще в гражданскую войну, как мог, успокаивал ее. Потом в задней каморке они составляли донесение обо всем, что она увидела и услышала. Пили чай из липового цвета с сахарином, ели холодец, соленые помидоры, простоквашу. В родной обстановке немножко отходила истосковавшаяся душа. А потом изящная девушка с пестрым зонтиком вновь поднималась в город, беззаботно напевая немецкую солдатскую песенку о разудалой Лили Марлен, сопровождаемая ненавидящими взглядами голодных жителей. Эти ненавидящие взгляды, необходимость молча сносить оскорбления, всегда молчать, не смея даже намеком открыть всем этим людям, кто она, почему она здесь, за что она борется, было самым тяжелым в ее профессии.

У нее были крепкие нервы. Она отлично играла свою роль и приносила большую пользу. Но в конце концов нервы стали шалить. Все труднее становилось маневрировать, скрывать свои чувства. На явках она умоляла «сапожника» отозвать ее, дать ей отдохнуть, поручить любое другое задание. Как об отдыхе, она мечтала о боевой деятельности, о налетах на вражеские транспорты, поджогах складов, взрывах железнодорожных составов, о борьбе с оружием в руках, какую вели иные из тех, кто остался вместе с ней. Но в эти дни в городе обосновался штаб большой группы войск, ее сведения были нужнее, чем когда бы то ни было, и «сапожник» строго и твердо направлял ее обратно.

Наконец штаб выехал. «Сапожник» сказал, что еще денек-два — и она сможет исчезнуть. Но тут ее квартирант, полковник, был произведен в генералы. Напившись по этому поводу, он вломился к ней ночью в комнату с бутылкой шампанского. Она влепила ему пощечину. Он только расхохотался, поцеловал ей руку и подставил другую щеку! Нет, эти чудесные маленькие ручки не могут оскорбить немецкого генерала! Да, да, он покорил шесть стран, он воюет теперь с седьмой! И она — его лучший приз за годы войны! Он предлагал ей руку и сердце.

Девушка пришла в ужас, ее трясло от омерзения. Генерал ползал за ней на коленях. Она попыталась убежать от него в другую комнату. Он вломился и туда. Он хрипел, что советская власть агонизирует, что бои идут в Москве, что всем им здесь, на плодородной Украине, обещали богатые поместья, и она будет его женой, хо-хо, женой немецкого помещика. И все крестьяне, которые мнили себя господами жизни и что-то там такое болтали о социализме, будут их холопами, рабочим скотом на их земле... Пьяный фашист оскорблял ее народ, и девушка не выдержала. Воля изменила ей. Она выхватила у него из ножен кортик с фашистским орлом, распластанным на эфесе, и по самую рукоятку вогнала его в горло генерала...

Вся городская военная полиция, вся полевая жандармерия и специально вызванное подразделение из войск СС в течение месяца искали ее, перерыли каждую улицу, каждый дом, устраивали налеты, облавы. Но девушка скрылась: она благополучно перешла фронт.

Очутившись среди своих, она стала настойчиво и упорно учиться всему тому, что могло ей помочь в ее сложной и опасной работе для Родины.

След дочери профессора, убившей немецкого генерала, затерялся в большом украинском городе. А через некоторое время военный комендант Харькова взял в переводчицы красивую девушку Эрну Вейнер. Судьба фрейлейн Вейнер вызвала живое сочувствие коменданта, последнего потомка зачахшей ветви прибалтийских баронов, у которого, помимо общефашистских поводов, были и свои личные мотивы ненавидеть советский народ. Эрна Вейнер рассказала шефу, что она дочь немецкого колониста, жившего на Одесщине. Отец ее владел садами, виноградниками, бахчами, держал летом сотни батраков, скупал через контору хлеб, имел мельницу. Но все это было у него безжалостно отобрано большевиками. После этого он влачил жалкое существование, но все же кое-что удалось ему спрятать, и на эти средства он дал своим детям образование. Потом за свои симпатии к новой Германии он был арестован. Человек прямой, он не умел и не хотел эти симпатии скрывать. Его расстреляли. Такова была ее новая легенда.

Фрейлейн Эрна, потерпевшая от большевиков, скоро стала главной переводчицей в комендатуре, а затем ее перевели к самому начальнику гарнизона.

Новый шеф, бригаденфюрер войск СС, тоже сочувствовал бедной фрейлейн. Безукоризненный немецкий язык, умение петь старинные баварские песенки, особенно нравившиеся сентиментальным штабным офицерам, игра на рояле стяжали ей уйму поклонников. «Да, старый Иоганн Вейнер даже в этой непонятной стране сумел дать детям великолепное образование!» — удивлялись они. И когда иной раз обнаруживалась вдруг пропажа важных документов или им становилось ясно, что советское командование знает слишком много об их тайных намерениях, даже тень подозрений не ложилась на Эрну Вейнер.

Но какой ценой девушка вырывала для Родины эти фашистские тайны! Она присутствовала на самых секретных допросах. При ней палачи терзали осужденных на смерть советских людей, и она должна была переводить их предсмертные вопли, их проклятия, слушать от них оскорбления. Только любовь к Родине, любовь всеобъемлющая, безмерная, давала ей силы для этой работы. Но лишь связной, суровый воин, безвыходно сидевший со своей рацией в подвале разрушенного дома, человек, разбитый ревматизмом, которому она приносила свои сведения, слышал от нее жалобы. Бледный, как месяц в холодную ночь, еле передвигающийся, около года просидевший без солнца и воздуха, человек этот, как мог, утешал ее неуклю-

жим, грубоватым солдатским словом и сам служил ей примером преданности великому делу. Его спокойное мужество поддерживало девушку.

И вот за несколько недель до взятия Харькова Березу ждало последнее, самое тяжелое испытание. О нем она рассказала сама, сидя на завалинке в погожий августовский вечер.

— Вы знаете, конечно, как они нервничали, когда войска генерала Конева, прорвавшись у Белгорода, подходили к Харькову с востока. Боже, что там было! Муравейник, в который сунули головешку! Солдаты ничего. Но посмотрели бы вы на их заправил! Они, забыв о соблюдении внешних приличий, упаковывали картины, музейные редкости, мебель — все, что награбили и натащили к себе. Все это посылалось в Германию на глазах у собственных солдат. А слухи! Это был уже не штаб, а базар какой-то, на котором передавались слухи, один невероятнее другого... Особенно много ходило легенд о советской авиации. Говорили, что с Дальнего Востока перелетели какие-то новые огромные авиационные части. Десятки тысяч машин. Невиданные модели!.. Какое-то чудовищное вооружение. Офицеры бегали ночевать в подвалы. Даже мне было удивительно видеть, какой в трудную минуту оказалась малодушной, трусливой, мелкой эта штабная челядь с высокими званиями. И я ликовала. Утром, приходя на работу, я говорила шефу плаксивым голосом: «Господин начальник, неужели так плохо?.. Этот генерал Конев, он, говорят, страшно жесток. Ведь они меня убьют!..» Я видела, как мой начальник бледнел. Но он еще петушился: «Что вы, фрейлейн, в Германии столько сил! Может быть, даже слишком много! Болезнь полнокровия...» Кончал же он тем, что принимался меня уверять, что при всех условиях я успею удрать в его автомобиле и не попаду в руки страшного генерала Конева...

И вот однажды ночью меня будят, вызывают к начальнику в кабинет. Он взволнован, сияет, будет важный допрос, от которого зависит его карьера. Ах, если бы вы знали, как все они там думают о своей карьере! У меня похолодело сердце: кого поймали? Я знала, что харьковские подпольщики, державшие оккупантов в постоянном страхе и напряжении, в те дни особенно активизировались, и боялась, что попался кто-нибудь из руководителей. Мой начальник возбужденно носился из угла в угол. В кабинете тем временем шла необычная подготовка, стол накрывался скатертью, расставляли на нем вино, фрукты, сласти. Мне

становилось все тоскливее. Кто же, кто? Что значат такие необычные приготовления?

— Приехал какой-нибудь господин из армии? — спросила я как можно небрежнее, усаживаясь в углу, где я всегда сидела во время допросов.

— А, чепуха, стал бы я тратиться на этих чинодралов из армии! — ответил шеф.— Гораздо важнее, гораздо интереснее! Наши сети принесли богатый улов. Сегодня прекратится проклятая неизвестность. Мы узнаем, какой сюрприз подготовили нам. Ого-го, это может спутать им все карты.

Я решила, что захвачен какой-то наш большой военный. Но, к моему удивлению, за стол сел не шеф, а его помощник, майор. Потом под конвоем часовых в комнату... внесли носилки. Их поставили у накрытого стола, солдаты с автоматами стали было у двери, но майор жестом выпроводил их. Того, кто лежал на носилках, мне не было видно. Между тем майор, напялив на свое лицо одну из самых сладких своих улыбок, попросил меня перевести «гостю», что он сам тоже летчик и рад приветствовать здесь своего доблестного коллегу, судя по отличиям, знаменитого русского аса. Когда было нужно, он мог притвориться приветливым, даже простодушным, этот майор, одна из самых омерзительных гадин, каких я только там видела. А я-то уж их повидала!

А на носилках лежал молодой, совсем молодой человек, в такой вот, как у вас, выгоревшей гимнастерке с тремя орденами Красного Знамени и еще какими-то знаками отличия. У него были авиационные погоны старшего лейтенанта. А его взгляд... простите, минуточку...

Девушка побледнела так, что лицо ее стало белее стены хаты. Она тяжело дышала, кусала губы, точно перебарывая в себе острую физическую боль. Потом встряхнула головой и пояснила:

— Не обращайте внимания. Нервы... Ноги у него были в гипсе, голова забинтована, но из этого марлевого тюрбана на меня вопросительно смотрели большие серые, такие правдивые и такие затравленные глаза.

— Фрейлейн, переведите, пожалуйста, коллеге, что кодекс воинской чести у нас неукоснительно соблюдается, что безоружный противник для нас уже не враг, что в новой Германии понятия мужества высоко ценятся, переведите, что в качестве, э-э-э, помощника начальника гарнизона и как летчик по профессии я буду рад выпить с ним бокал... э-э-э, нет, это будет не по-русски... чашу доброго вина.

Когда я переводила, серые глаза летчика остановились на моем лице. И столько в них было не ненависти, нет, не ненависти, а какого-то бесконечного презрения, гадливости, что слезы обиды, против воли, чуть не выступили у меня на глазах.

— Ничего я ему не скажу. Впрочем... пусть даст папиросу.

Летчик приподнялся на локте, взял сигарету и жадно закурил. Они оба молчали, я слышала, как потрескивает табак. Потом майор встал, щелкнул каблуками, назвал свое имя и учтиво заявил, что желал бы знать, с кем имеет честь...

— Пусть меня унесут,— ответил летчик и отвернулся.

И сколько майор ни бился с ним, он лежал лицом к стене и молчал. Я видела, как майор нервничает, кусает губы, как он играет желваками на лице. Я боялась, что он вот-вот сорвется, и тогда... я-то знала, на что способен этот человек. Но сведения о нашей авиации, должно быть, были нужны им до зарезу, и он сдержался, он приказал унести пленного и даже пожелал ему доброй ночи. Но как только закрылась дверь, он разразился ругательствами, хватил стакан коньяку и с совершенно измученным видом и блуждающими глазами бессильно бросился на диван. Вошел начальник. Меня отпустили и отвезли домой.

В эту ночь я не сомкнула глаз, хотя чувствовала себя совершенно разбитой. Этот летчик, его глаза смотрели на меня, и в ушах звучал его звонкий, молодой и твердый голос. Утром я хотела отправиться на явку, чтобы предупредить, что захвачен сбитый над городом советский ас, но не успела: к подъезду подкатила машина. Сам майор сидел за рулем.

— Нам приказано во что бы то ни стало выудить у него все об авиации. Есть данные, что он из этих новых частей, только что прилетевших сюда с Дальнего Востока. Фрейлейн, вы, именно вы должны поговорить с этим проклятым большевиком. Говорите ему, что хотите, только вытащите из него, что сумеете. В случае удачи, слово чести, вы заслужите Железный крест.

Я никогда еще не видела этого спокойного, хладнокровного карьериста-палача в таком волнении. Он так волновался, что тут же проболтался о том, что в Харьков из ставки прилетел какой-то авиационный генерал, которому эти сведения нужны до зарезу. У меня не было выбора. Поговорить с летчиком один на один было даже полезно для дела. Можно было предупредить его. Но я вспомнила

этот его взгляд, и мне, привыкшей все время жить под угрозой смерти, было страшно, именно страшно войти в его камеру. Вы представляете, кем я была в его глазах!

Но я заставила себя войти и, когда дверь захлопнулась за мной, подошла к нему. Со вчерашнего дня он еще более осунулся, похудел, глаза его раскрылись шире. Встретил он меня тем же презрительным взглядом. Мне показалось, что он даже как-то передернулся, когда я села на табурет возле его койки.

— Как вы себя чувствуете? Был ли у вас врач? — спросила я, чтобы как-то завязать разговор.

— У них ничего не вышло, теперь они натравливают на меня свою немецкую овчарку,— недобро усмехнулся он.

Я вспыхнула, слезы, должно быть, выступили у меня на глазах.

Голос у него был совсем тихий, он, видимо, очень ослаб за эту ночь, но он продолжал так же твердо и жестоко:

— Чего же краснеешь, продажные шкуры не должны краснеть!.. Вот погоди, попадешься ты к нам, там тебе пропишут.

Я едва сдержалась, чтобы не грохнуться тут перед ним на колени и не рассказать ему всего: так тяжело звучали в его устах эти оскорбления.

А он продолжал, все повышая голос:

— Думаешь, отступишь с немцами, убежишь от нас? Догоним! В самом Берлине сыщем! Никуда от нас не уйдешь, не скроешься!

И он захохотал. Нет, не нервно, у него, должно быть, вовсе не было нервов, он захохотал злорадно, торжествующе, как будто он не лежал весь забинтованный, умирающий во вражеском застенке, а победителем стоял в Берлине, верша суд и расправу.

И тогда я бросилась к нему и зашептала, позабыв всякую осторожность:

— Они ничего не знают. Они хотят узнать от вас о каких-то новых авиационных частях, прибывших с Дальнего Востока. Здесь страшная паника. Они боятся, смертельно боятся. Не говорите им ничего, ни слова. Особенно опасайтесь этого вчерашнего рыжего майора. Это ужасный человек.

Отпрянув от меня, он с удивлением слушал.

— Так,— сказал он и еще раз повторил: — Та-а-ак! — Глаза у него немного подобрели, но смотрели зорко и изучающе.— Та-ак, бывает...— Он усмехнулся, но уже не так зло и вдруг, подмигнув мне, закричал во весь го-

лос: — Прочь, продажная шкура! Ничего я тебе не скажу, ни тебе, ни твоим хозяевам! Не добьетесь от меня ни слова!

Он долго кричал на всю тюрьму. Потом спросил тихо:

— Так вы...

Я кивнула головой. Я вся дрожала, зубы мои выбивали дробь, и я боялась, что лишусь сознания.

— Ну, успокойся,— сказал он, переходя на «ты».— И говори честно: мне конец?

— Если ничего не скажете — расстреляют,— сказала я, и мы опять испытующе посмотрели друг на друга.

— Жаль, очень жаль, мало пожил, а как хочется жить!.. Ну, ступай, ступай отсюда.

— Не надо ли что передать туда? — спросила я, глазами указав на потолок.

— У тебя очень измученные глаза, я тебе почти верю,— ответил он.— Почти. И все-таки ничего я тебе не скажу, так лучше и тебе, и мне, прощай, девушка...— Он вздохнул и опять принялся громко ругать меня на всю тюрьму.

Меня душили слезы. Такой человек! Такой человек! И ничем ему не поможешь... Я выбежала из камеры. Майор нетерпеливо шагал по коридору. Он, вероятно, подслушивал нас, но по лицу я увидела, что он ничего не слышал, кроме этих ругательных слов. Я еле держалась на ногах. Майор, бледный от злости, играл скулами.

— Не плачьте, фрейлейн, вы на службе. Как только он перестанет быть нам нужным...— Он не договорил.

Я не помню, как вышла из тюрьмы...

Девушка вздохнула и замолчала. Должно быть, нервы ее были совсем расшатаны. Ее бил озноб, лицо передергивал нервный тик. Она долго молчала.

— Мне очень трудно рассказывать, но мне хочется, чтобы вся страна узнала, как ведут себя там советские люди. Ведь об этом вы только догадываетесь. Или придумываете. Я обязана досказать. Это мой долг. Ведь никто, кроме меня, не знает о последних часах этого человека.

После нашего разговора в тюрьме весь день я ходила в каком-то тумане. Призывала всю свою волю, все, что во мне было лучшего, чтобы сдержаться, не распуститься при них, при этих, и все-таки я не смогла и, когда заговорили о нем, разревелась. К счастью, майор уже рассказал шефу о нашем визите в тюрьму. Мои слезы они

поняли по-своему, принялись утешать. А я слушала их и закрывалась руками, чтобы на них не смотреть. Я боялась, что не стерплю и сделаю какую-нибудь глупость, не словами, так взглядом расшифрую себя.

Но самое страшное ждало меня впереди. Вы, наверное, знаете о нашей работе? И обо мне? Я не новичок. Но это было для меня самое тяжелое испытание. Этот самый генерал авиации, какой-то их «национальный герой», любимец Геринга, они там все перед ним на задних лапках ходили, решил сам допросить летчика. Это был высокий, самоуверенный человек с румяным, каким-то фарфоровым лицом и длинными бесцветными ресницами. Он сам пошел в тюрьму. Его сопровождали мой шеф, майор и я. Он сразу подошел к летчику, назвал ему свою довольно громкую фамилию и протянул ему руку. Тот отвернулся и ничего не ответил.

— Вы плохо ведете себя, молодой человек. Я генерал, герой двух войн. Закон чести повелевает военному отвечать на воинское приветствие старших.

Я перевела эту фразу. Вероятно, генерал был хороший актер. Все они там, кто трется на фашистской верхушке, умелые комедианты. Но он говорил с такой подкупающей доброжелательностью!

— Что вы понимаете о чести? — усмехнувшись, ответил летчик.

Я перевела. Генерала это не смутило. Он только на минуту нахмурился, но сейчас же спросил:

— Может быть, с вами дурно обращались? Почему вы так озлоблены? Вы недовольны уходом, медицинской помощью? Заявите мне, я сейчас же прикажу принять меры. Герой остается героем в любых обстоятельствах.

— Спросите, что ему нужно, — устало ответил летчик.

Он, видимо, очень страдал от ран, но не желал, чтобы враги заметили его страдания, и только пот, покрывший его лоб и лившийся струйками в бинты, показывал, каково ему.

Генерал начал терять терпение.

— Скажите ему, черт подери, что у него хороший выбор. Маленькая информация об авиационных частях, о которой все равно никто из его соотечественников не узнает, и тихая, спокойная жизнь до конца войны на одном из лучших европейских курортов — Ницца, Баден-Баден, Бад-Вильдунген, Карлсбад... Об упрямстве его тоже никто не узнает: могильные черви с одинаковым аппетитом жрут трупы героев и трусов.

Я перевела.

Летчик даже захохотал:

— Скажите генералу, что он, по-видимому, достойный выкормыш своего фюрера.

Не найдя в немецком языке слова «выкормыш», я перевела его как «воспитанник», и, к моему удивлению, этот самодовольный тупица неожиданно просиял. Он налился важностью и сказал: это так, лейтенант правильно заметил, он действительно старается подражать фюреру. Он сказал, что теперь, несомненно, они найдут общий язык — два героя, два солдата. И он спросил: пусть господин лейтенант, который только что показал, что он куда разумнее других своих соотечественников, пусть он скажет, почему так безнадежно упрямы эти русские, почему, отступая, они сами жгут свои дома, почему за линией фронта не желают покоряться и продолжают борьбу, навлекая на себя вынужденные репрессии и заслуженные кары, почему предпочитают умирать, не раскрывая карт, хотя и дураку ясно, что война ими проиграна. Почему?

Этот самодовольный болван, услышав от летчика, что он достойный ученик Гитлера, решил, что тот сказал ему комплимент и идет на уступки. Генерал расфилософствовался и явно рисовался перед моим шефом, перед майором, которых считал посрамленными.

Я сейчас же перевела летчику вопрос.

— Балда! — отчеканил он.— Потому что мы — советские люди, не им чета.

Если бы вы видели его в эту минуту! Он приподнялся на локте, его брови, особенно черные от того, что они смотрели из рамки бинтов, нахмурились, глаза сверкали.

Генерал взбесился. Он вскочил, скверно выругался и произнес поговорку, соответствующую примерно нашей: «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит». Он сказал, что лейтенант — глупое, тупое животное, что он черной неблагодарностью платит за такое рыцарское обращение, за такой уход.

— Я думал, что этот уход полагается по международному соглашению об уходе за ранеными,— ответил лейтенант.

— Соглашение! Ха-ха, станем мы тратить немецкие бинты на русских свиней, от которых не имеем ничего, кроме вони!

Генерал кричал, топал ногами. Мой шеф, понимая, что это лишает их последней надежды хоть что-нибудь

выудить, почтительно и настойчиво пытался его удерживать. Но где тут!

Когда я перевела фразу генерала, раненый летчик приподнялся на носилках, кулаками разбил гипс на ногах и стал срывать с головы, с шеи марлевые повязки. На лицо ему хлынула кровь.

— Не надо мне фашистского милосердия! — бормотал он.

— Грязные фанатики, варвары, страна северных папуасов! — кричал генерал.

И вдруг, это было мгновенно, он отшатнулся, зажимая лицо,— лейтенант плюнул ему в глаза кровавой слюной.

Они все трое набросились на него и стали бить по чему попало. Раненый, рыча, отбивался, он был еще крепок, ярость удесятерила его силы. Сидя на носилках, весь залитый кровью, он хлестал их по лицам, и они никак не могли схватить его...

Я стояла тут, рядом. Вы понимаете, я видела, как эти звери терзают этого гордого человека, самого лучшего из людей, каких я встречала за свою жизнь. Всем существом моим рвалась я броситься ему на помощь и если не помочь, то хоть умереть вместе с ним! Я не боялась смерти. Нет! Но я была на посту и знала, что теперь, накануне нашего наступления, моя работа здесь особенно нужна и я не имею права выдать себя. Выдать себя, погибнуть, защищая его, было бы для меня изменой Родине, ударом по нашему делу. Что бы ни произошло, нужно было, чтобы информация поступала, чтобы вы тут, в армии, знали, что готовят против вас, что замышляют наши противники.

И я совершила в этот день свой единственный подвиг. Я даже не вскрикнула, я сидела, вцепившись в кресло так, что ногти у меня потом посинели, и старалась запомнить все. На моих глазах они забили его до смерти. Этот не знакомый мне чудесный человек погиб, отбиваясь. Вся камера была забрызгана его кровью. Но, как мне кажется, и я в этот страшный час оказалась достойной его, я не выдала себя. И как мне потом ни было трудно, я продолжала свое дело до того дня и часа, пока вы не взяли Харьков...

Она вся тряслась, эта девушка с нежной внешностью, с нервами закаленного бойца, с волей старого солдата.

— Я даже не знаю его имени, и теперь не знаю, хотя никогда не забуду его. Он всегда будет передо мной, такой сильный, мужественный, прекрасный!..

И вдруг, закрыв лицо руками, она зарыдала, вся сотрясаясь и трепеща, как молодая березка в яростных порывах осеннего ветра. Высокая прическа ее рассыпалась, шпильки попадали на землю, каштановые волнистые волосы раскатились по грубому сукну шинели, и среди них стала видна одна широкая, совершенно седая прядь.

Потом как-то сразу успокоилась. Лицо, мокрое от слез, стало твердым, даже жестким. Она вытерла глаза, собрала и заколола волосы, спрятав седую прядь.

— Извините — нервы... Ничего не поделаешь, придется отдыхать... Мне дают отпуск. Съезжу к родителям в Ташкент. На целых две недели.

— А потом?

— Опять туда, к ним, ведь война не кончилась.

Тонкое лицо ее снова стало суровым, замкнутым и сразу как-то состарилось лет на десять.

— Туда? После таких испытаний?

— Он сказал тогда: «Мы — советские люди». В этой фразе — весь он. И я запомнила. Наверное, на всю жизнь...

1943

Алексей Толстой

(1883—1945)

РУССКИЙ ХАРАКТЕР

Русский характер! — для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь,— мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере.

Русский характер! Поди-ка опиши его... Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев — я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный,— колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других заметен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезает из башни танка,— бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни.

На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке — ядро. Ра-

зумеется,— у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича. «Отец мой — человек степенный, первое — он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете, и за границей побываешь, но русским званием — гордись...»

У него была невеста из того же села на Волге. Про невест и про жен у нас говорят много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонек, трещит печурка и люди поужинали. Тут наплетут такое — уши развесишь. Начнут, например: «Что такое любовь?» Один скажет: «Любовь возникает на базе уважения...» Другой: «Ничего подобного, любовь — это привычка, человек любит не только жену, но отца с матерью и даже животных...» — «Тьфу, бестолковый! — скажет третий.— Любовь — это когда в тебе все кипит, человек ходит вроде как пьяный...» И так философствуют и час и другой, покуда старшина, вмешавшись, повелительным голосом не определит самую суть... Егор Дремов, должно быть стесняясь этих разговоров, только вскользь помянул мне о невесте,— очень, мол, хорошая девушка, и уж если сказала, что будет ждать — дождется, хотя бы он вернулся на одной ноге...

Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать: «О таких делах вспоминать неохота!» Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель Чувилев:

— ...Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает... Кричу: «Товарищ лейтенант, тигра!» — «Вперед,— кричит,— полный газ!..» Я и давай по ельничку маскироваться — вправо, влево... Тигра стволом-то водит, как слепой, ударил — мимо... А товарищ лейтенант как даст ему в бок,— брызги! Как даст еще в башню,— он и хобот задрал... Как даст в третий,— у тигра изо всех щелей повалил дым,— пламя как рванется из него на сто метров вверх... Экипаж и полез через запасной люк... Ванька Лапшин из пулемета повел,— они и лежат, ногами дрыгаются... Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотел... Фашисты кто куда... А — грязно, понимаешь,— другой выскочит из сапогов и в одних носках — порск. Бегут все к сараю. Товарищ лей-

тенант дает мне команду: «А ну — двинь по сараю». Пушку мы отвернули, на полном газу я на сарай и наехал... Батюшки! По броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей... А я еще — проутюжил,— остальные руки вверх — и Гитлер капут...

Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк — на бугре, на пшеничном поле — был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта,— он был без сознания, комбинезон на нем горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт... «Я почему его тогда поволок? — рассказывал Чувилев.— Слышу, у него сердце стучит...»

Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не на свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.

— Бывает хуже,— сказал он,— с этим жить можно.

Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто щупал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк».— «Но вы же инвалид»,— сказал генерал. «Никак нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью». (То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года.

На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком восемнадцать верст. Кругом еще лежали снега,

было сыро, пустынно, студеный ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодезь, высокий журавль покачивался и скрипел. Отсюда шестая изба — родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой. Свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел мать,— при тусклом свете привернутой лампы, над столом, она собирала ужинать. Все в том же темном платке, тихая, неторопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи... «Ох, знать бы,— каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка...» Собрала на стол нехитрое — чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью... Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать, нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо.

Ну, ладно! Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльце постучался. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, Герой Советского Союза Громов».

У него так заколотилось сердце — привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам, будто в первый раз, услышал свой голос, изменившийся после всех операций,— хриплый, глухой, неясный.

— Батюшка, а чего тебе надо-то? — спросила она.

— Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова.

Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки:

— Жив Егор-то мой? Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу.

Егор Дремов сел на лавку у стола, на то самое место, где сидел, когда еще у него ноги не доставали до полу и мать, бывало, погладив его по кудрявой головке, говаривала: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя,— подробно, как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел, и — кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком.

— Ты скажи — страшно на войне-то? — перебивала она, глядя ему в лицо темными, его не видящими глазами.

— Да, конечно, страшно, мамаша, однако — привычка.

Пришел отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы,— бородку у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку,— ах, знакомая была, широкая, справедливая родительская рука! Ничего не спрашивая, потому что и без того было понятно — зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза.

Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться,— встать, сказать: да признайте же вы меня, урода, мать, отец!.. Ему было и хорошо за родительским столом и обидно.

— Ну что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя,— Егор Егорович открыл дверцу старенького шкапчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке,— они там и лежали,— и стоял чайник с отбитым носиком, он там и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорович достал склянку с вином,— всего на два стаканчика, вздохнул, что больше не достать. Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо ее болезненно задрожало.

Поговорили о том и о сем, какова будет весна и справится ли народ с севом, и о том, что этим летом надо ждать конца войны.

— Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать конца войны?

— Народ осерчал,— ответил Егор Егорович,— через смерть перешли, теперь его не остановишь, немцу — капут.

Марья Поликарповна спросила:

— Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск,— к нам съездить на побывку. Три года его не видали, чай взрослый стал, с усами ходит... Эдак — каждый день — около смерти, чай и голос у него стал грубый?

— Да вот приедет — может, и не узнаете,— сказал лейтенант.

Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом — тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвисты-

вал над крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони: «Неужто так и не признала,— думал,— неужто не признала? Мама, мама...»

Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать осторожно возилась у печи; на протянутой веревке висели его выстиранные портянки, у двери стояли вымытые сапоги.

— Ты блинки пшенные ешь? — спросила она.

Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс и — босой — сел на лавку.

— Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича Малышева дочь?

— Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе ее повидать надо?

— Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.

Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блестели, брови изумленно взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя: поцеловать бы эти теплые светлые волосы!.. Только такой представлялась ему подруга,— свежа, нежна, весела, добра, красива так, что вот вошла, и вся изба стала золотая...

— Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, потому что говорить не мог.) А уж я его жду и день и ночь, так ему и скажите...

Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто ее слегка ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он твердо решил уйти — сегодня же.

Мать напекла пшенных блинов с топленым молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его воинских подвигах,— рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражения своего уродства. Егор Егорович захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь,— но он ушел на станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим, даже, останавливаясь, ударял ладонями себе в лицо, повторял сиплым голосом: «Как же быть-то теперь?»

Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его такой искрен-

ней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так,— пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати,— эту занозу он из сердца вырвет.

Недели через две пришло от матери письмо:

«Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя,— человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи,— кажется мне, что приезжал ты. Егор Егорович бранит меня за это,— совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума: был бы он наш сын — разве бы он не открылся... Чего ему скрываться, если это был бы он,— таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорович, а материнское сердце — все свое: он это, он был у нас!.. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла на двор почистить, да припаду к ней, да заплачу,— он это, его это!.. Егорушка, напиши мне, Христа ради, надоумь ты меня,— что было? Или уж вправду — с ума я свихнулась...»

Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему: «Вот, говорю, характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у нее прощенья, не своди ее с ума... Очень ей нужен твой образ! Таким-то она тебя еще больше станет любить».

Он в тот же день написал письмо: «Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш...» И так далее, и так далее — на четырех страницах мелким почерком, он бы и на двадцати страницах написал — было бы можно.

Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне,— прибегает солдат и — Егору Дремову: «Товарищ капитан, вас спрашивают...» Выражение у солдата такое, хотя он стоит по всей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок, подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу — он не в себе,— все покашливает... Думаю: «Танкист, танкист, а — нервы». Входим в избу, он — впереди меня, и я слышу:

«Мама, здравствуй, это я!..» И вижу — маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут, оказы-

вается, и другая женщина. Даю честное слово, есть где-нибудь еще красавица, не одна же она такая, но лично я — не видал.

Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке,— а я уже поминал, что всем богатырским сложением это был бог войны. «Катя! — говори́т он,— Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого...»

Красивая Катя ему отвечает,— а я хотя ушел в сени, но слышу: «Егор, я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить верно, очень буду любить... Не отсылайте меня...»

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота.

1944

Илья Эренбург

(1891—1967)

АКТЕРКА

Когда молодой актрисе Лизе Белогорской сказали: «Вы поедете на фронт»,— она готова была разрыдаться от счастья. Ее извели сомнения. Кому нужны монологи выдуманной героини, когда каждый вечер хриплый голос репродуктора твердит о взорванных городах, об убитых детях? Лиза писала в своем дневнике: «Я вышла в жизнь, когда жизнь затемнили».

Она играла в небольшом, прежде тихом городе, переполненном беженцами: они жили, как на полустанке, боясь продать чемоданы и забыть прошлое. У всех были близкие на фронте. Шаги письмоносцев, усталых и замерзших, звучали как шаги судьбы. Армия отступала. Возле здания горкома люди слушали сводку, не смея заглянуть друг другу в глаза. Домашние хозяйки, жены майоров, консерваторки ожесточенно взрывали землю и готовили снаряды.

В театре ставили старые трагедии, военные мелодрамы. «Зачем это?» — спрашивала себя Лиза. Все казалось ей ненужным и стыдным: яркий свет рампы, румяна, реплика героини: «Если любишь, весь мир в тебе, а смерти нет...» Когда Лиза бывала свободной, она прислушивалась к разговорам в фойе; говорили о хлебе, о раненом муже или брате, о том, что немцы в Краснодаре. Лиза шла к себе.

Она жила в темном углу, среди старух и детей; там она писала: «Я не могу больше кривляться».

Что приковывало ее к сцене? Она допрашивала себя с той взыскательностью, которая присуща очень молодым и честным натурам. Не честолюбие, а слепое и, как ей порой казалось, глупое преклонение перед искусством. «Ломака»,— говорила ей когда-то мать. Лиза не ломалась: она чувствовала себя то Анной Карениной, то тургеневской Асей, то слепой цветочницей с экрана. Ее считали холодной, а она терзалась, не спала по ночам. Эта смуглая синеглазая дикарка была одинока; мать давно умерла; товарищи ее чуждались: чем-то она их тяготила. Перед войной инженер Пронин сказал ей: «Давайте жить вместе». Это было вечером в городском саду. Инженер ей нравился; а может быть, и не он — май, жасмин, молодость. Он обнял ее, она вырвалась и стала говорить о том, как трудно друг друга понять. Он усмехнулся: «Актерка...» Больше они не встречались.

Она часто ругала себя актеркой. Она проклинала сцену, и все же, входя утром в театр, вдыхая холодный пыльный воздух, запах клея и сырости, глядя на черные пустые кресла, в которых сидели призраки, музы, Лиза понимала, что ей от этого не уйти.

Говорили, что есть у нее талант, что она сможет стать настоящей актрисой; но она чувствовала — чего-то ей не хватает. Чем больше она думала над своей ролью, тем дальше уходила от пьесы, от партнеров, от зрителей. Иногда она обвиняла репертуар: она играла то девушку, в давние времена сгоревшую от любви, то партизанку, которая между боями произносит длинные речи. Лизе казалось, что любви больше нет и что нельзя так красиво говорить, когда рядом умирают. Мир заполнился другими героями. Разве не переживает Лиза подвига Гастелло? Разве не идет с Зоей на виселицу? И Лиза писала: «Жизнь стала такой большой, что в ней теперь нет места для искусства».

И вот ей сказали, что она поедет на фронт. Она шла и улыбалась: «Неужели это правда? Неужели я смогу хотя бы на минуту порадовать тех, чистых и больших?..»

Актеры ехали радостные, взволнованные, потом все притихли — они увидели то, о чем прежде только читали: трубы сожженных сел, обломанные деревья, черные пятна на снегу, женщин с детьми, которые копошились в пепле.

Заночевали в уцелевшей избе. Хозяйка, молодая, изможденная, с чересчур большими глазами на узком увядшем

лице, рассказывала: «Я моего в снегу схоронила. Потом думаю — замерзнет мальчик. Взяла его в дом обогреться. Пришел паразит, кричит: приказ — угонять. Я держу, не пускаю. Здесь он стоял, у печи... Он как ударит мальчика... Бросилась я к нему, а он меня не признает. До ночи промучился...» Женщина вздохнула и стала мешать угли в печи. Лиза забыла о том, для чего она приехала. Рядом с таким горем исчезли все слова, все жесты. «Не улыбаться, не говорить, а если что делать, то только стрелять»,— думала Лиза, ворочаясь ночью в жарко натопленной избе. Утром она увидела трупы, развороченные машины, обрубки лошадей. Везли раненых; они молча глядели на пустое зимнее небо; ездовой бил в ладоши, и рукавицы были как деревянные. Лиза сказала певцу Бельскому: «Зачем мы приехали? Нас прогонят...»

Концерт устроили в здании школы: при немцах здесь помещалась комендатура. В комнате, куда провели актеров, валялись автоматы, жестянки от консервов, немецкие бумаги. Лиза сняла ватник, валенки. Ее рука дрожала, когда она клала краску на сухие, растрескавшиеся губы. Она надела длинное шелковое платье. Ее испуг показался искусной игрой, и зрители насторожились. Это были саперы; еще вчера они ползали по снегу, выискивая мины. Волнуясь, как никогда дотоле, Лиза читала стихи о любви, которая убивает, о верности. Она вдруг почувствовала, что каждое ее слово доходит до этих хмурых небритых людей. Ей долго аплодировали; она в ответ улыбалась слабо и беспомощно — ведь она отдала свое сердце, как донор дает кровь. Вернувшись в комнату, где сидели актеры, она ответила Бельскому: «Не знаю... кажется, хорошо»,— и схватилась за косяк двери, чтобы не упасть.

Они выступали на аэродромах, в госпиталях, в лесу. Иногда концерт обрывался на крике: «Воздух!» Лиза узнала, как рвутся фугаски. Ей пришлось лежать на вязкой рыжей глине. Она ночевала в блиндажах, и канонада стала для нее привычным, почти домашним шумом. Толстый генерал поил Лизу мадерой, приговаривая: «Я ведь старый театрал, в Свердловске я не пропускал ни одной премьеры...» Летчик, подросток с Золотой Звездой на груди, самоуверенный и застенчивый, говорил ей: «Вы мне напомнили мою первую любовь...» Пришел май, с его внезапными громкими ливнями, с кукованием в лесу, когда хочется что-то загадать, с грубыми шутками и с головокружением.

В один из последних вечеров Лизу провожал майор Доронин. До войны он был студентом-химиком. Они гово-

рили о весне, о Толстом, о том, что у всех когда-то было детство; говорили, потому что боялись молчать. И все-таки наступила минута, когда они замолкли.

Они встретились четыре дня тому назад. Доронин тогда помогал актерам разместиться в деревне. Лиза сразу им залюбовалась, хотя он и не был красив. Проверяя себя, она спрашивала: «Почему? Ведь я видела многих, как он...— И тотчас возражала себе: — Неправда! Впервые я встретила такого человека. Конечно, на вид он обыкновенный, он не актер. Но все в нем необычно. И строгие глаза, и слова о Лермонтове, и то, как он сказал: «Вы не рассердитесь, если я буду вас звать Лизой?»

«Значит, завтра уезжаете?» — Доронин остановился. Тогда Лиза положила руки на его плечи и первая его поцеловала. По черному небу ползла зеленая ракета, как одинокая и заблудившаяся звезда.

Когда Лиза вернулась в свой город, все ей было чужим и непонятным. Она не могла слушать разговоры о распределителе или о том, что Валя сошлась с директором. Один из актеров сказал: «Сегодня пустая сводка — ничего не взяли». Лиза вспылила: «Не смейте так говорить! Ведь это — бой, кровь...» Театр показался ей будничным: скучают, по привычке хлопают и спешат к вешалке... Как она тосковала по тем зрителям!.. Она носила на груди талисман: номер полевой почты. Не хотела писать, ждала, что напишет он; потом смирилась: «Ему некогда, они наступают...» Она написала короткое письмо, стараясь скрыть свою страсть, ревность, тревогу. Ответ пришел ласковый, но горький. Лиза в гневе скомкала листок. Доронин писал, что в жизни много детского, что он показался ей интересным на фронте, но, когда кончится война, она найдет его скучным и заурядным, она ведь актриса, ее ждет бурная жизнь («сто жизней», писал он), а Доронин, если не вмешается в дело мина или пуля, станет обыкновенным химиком.

Она оскорбилась, хотела вырвать из сердца чувство, уговаривала себя: «Он прав. Я играла и заигралась, я не умею отличить правду от вымысла...» Минуту спустя она сдавалась: «Он говорит так потому, что не любит. А я теперь знаю, что одно дело — играть умирающую, другое — умирать». Так металась она неделю, а потом написала Доронину страстное, бестолковое, как она сама говорила, «бабское» письмо: она клялась в любви, писала: «Если ты захочешь, я брошу сцену. Я могу жить без искусства,

но не без тебя...» Когда она опустила письмо в ящик, ей стало страшно: «Вот и конец актерке!»

Она долго ждала ответа. Наконец пришел письмоносец, привыкший к вскрикам радости и страха, равнодушно он протянул ей то письмо, которое она с трепетом опустила в ящик. На конверте было написано: «Выбыл из части». Она пролежала весь день. Вечером она играла, дурно играла, машинально повторяя затверженные фразы. Она знала, что Доронин убит. Началась поддельная жизнь; вставала, одевалась, репетировала, обедала, чувствуя, что все это — вымысел.

Потом снова пришел письмоносец, и она прочитала: «Дорогой товарищ! Я должна сообщить вам печальное известие. Ваш жених, майор Доронин, скончался в нашем эвакогоспитале. Мы делали все, чтобы его спасти, но ранение было очень тяжелое. Он был мужественным до конца, просил меня написать вам и переслать его ручные часики. Я старая женщина, и я, как мать, прижимаю вас к своему сердцу...»

Лиза сказалась больной. Ее не видели два дня. Потом она пришла в театр. Она играла нелюбимую роль; но было в Лизе что-то новое. Когда она сказала: «Если любишь, весь мир в тебе, а смерти нет»,— зал замер. Ей устроили овацию. Режиссер, лысый и грустный, говорил: «Лизонька, вы очень выросли, вы стали большой актрисой...» Она беззвучно отвечала: «Не нужно...» Она пришла домой и сотый раз перечитала письмо незнакомой женщины. «Он сказал ей, что он — мой жених...» Она глядела на часы Доронина. Стрелка медленно сползала вниз. И вдруг Лиза подумала: «А все-таки я актерка...»

1944

Ольга Берггольц

(1910—1975)

ЛЕНИНСКИЙ ПРИЗЫВ

СКАЛА ЛЮБОВЬ

И у меня, как у всех нас — у всех советских людей, есть «мой Ленин», и в разные периоды нашего неукротимого времени он предстает душе по-разному; это потому, что он давно уже стал неотъемлемой частью сознания и входит в его непрерывное движение.

И у меня был почти сказочный, добрый и грозный Ленин детства; Ленин отрочества, самоотрекающегося во имя Революции, романтической, еще сплошь взошедшей на поэзии; Ленин юности, когда казалось, что ты в силах воплотить эту Революцию — ленинские заветы — хоть завтра, и мы действительно, как умели, воплощали ее в бурные годы первой пятилетки; есть необыкновенный, полный мужественного света Ленин конца тридцатых годов; Ленин времен Великой Отечественной войны и трагедийно-победоносной ленинградской блокады; есть Ленин сегодняшнего дня...

О каждом «моем» Ленине я могла бы писать очень много...

Я не знаю, как назвать свое отношение к Ленину... Любовью? Нет, пожалуй, это сложнее и значительнее любви, хотя она, разумеется, входит в непрерывно меняющееся, обогащающееся восприятие Ленина как незыблемая основа. Это — скала Любовь. Но раз я о ней заговорила,

то должна хоть бегло рассказать эту полулегендарную историю (в дальнейших веках она станет одной из любимейших легенд человечества — я уверена в этом!) — историю, все-таки существующую на самом деле, поразившую меня несколько лет назад и до сих пор все более пленяющую воображение как основа будущей поэмы. Она так и должна была называться — «Скала Любовь», и желание написать ее было одной из главных причин, заставивших меня в январе 1952 года отправиться в командировку на Волго-Дон, где ожидалось начало шествия Дона к Волге, а накануне поездки зайти к Глебу Максимилиановичу Кржижановскому.

Я писала уже о встрече и беседе с этим замечательным человеком, но встречи с такими удивительными людьми неисчерпаемы на долгие годы; кажется, вот уже все рассказал о них, но проходит время, и заново их вспоминаешь, и вдруг делаешь совершенно новое духовное извлечение для себя, для работы, для беседы с друзьями.

Так вот, я пришла к Глебу Максимилиановичу на ту квартиру, где в дни гражданской войны и разрухи создавался план ГОЭЛРО, и после обмена первыми приветствиями сказала, что послезавтра еду на Волго-Дон.

— Понимаю,— воскликнул он с живостью,— вы зашли ко мне узнать о проектной мощности Волго-Дона, о его перспективах!

— Нет, Глеб Максимилианович,— ответила я,— я попросила бы вас рассказать мне о Ленине, потому что в будущей моей поэме я хочу много написать о нем.

Извинившись за свою несомненную беспомощность в области технической терминологии, я тут же вкратце изложила Кржижановскому суть поэмы.

— Дело в том,— сказала я,— что ведь до сих пор все гидростанции в мире строились на скальном основании, на материковой скале. На такой скале стоит и Днепровская гидростанция имени Ленина — Днепрогэс. С незапамятных времен скала эта носит имя «Любовь». В сорок первом году, в дни горестного нашего отступления, нам пришлось демонтировать Днепрогэс. Несколько товарищей с «Электросилы» — среди них те, которые в свое время строили для Большого Днепра первые сверхмощные советские генераторы,— отправились на этот демонтаж, будем говорить прямо — на взрыв Днепрогэса. Они вернулись в состоянии такого ожесточения, при котором невозможны ни слезы, ни растерянность, но сердца их кровоточили: своими руками взорвать то, что с такой верой строили в молодости,— это

надо пережить, а они «демонтировали» на совесть. Но скала Любовь не шелохнулась, ни одного каменного осколка не отлетело от скалы... Через два года, отступая, фашисты старались взорвать Днепрогэс так, чтоб не оставить камня на камне. Они тяжело, варварски разрушили станцию. Но скала Любовь не шелохнулась! Ведь это была материковая скала, ведь недаром на нее опиралась, была заложена в ней гидростанция имени Ленина. И вот теперь я узнала, что волжские гидростанции, впервые в мире, строятся не на скальном основании, а на мягких, полускальных грунтах, которые, однако, люди укрепляют так, что они не уступают материковым скалам — основе земли. И я хочу написать о том, как наши люди — ленинцы — научились создавать скалу Любовь. Не в техническом смысле, конечно, не про то, как стальные шпунты в грунт вгоняли, а более широко — как души свои клали в скалу Любовь, в опору света и силы для всего мира,— вы понимаете, Глеб Максимилианович?

— Ну еще бы, еще бы! — воскликнул он и негромко, почти застенчиво прибавил: — Я ведь тоже стихи пишу...

— Ах, простите,— ахнула я, вдруг сообразив, что передо мной автор неувядающей «Варшавянки» — поэт.— Затмение нашло!

— Ничего, ничего,— ответил он.— Дело в другом: дело в том, что опыт создания скалы Любовь у нас давний. Ведь Свирская-то гидростанция не на скальном основании построена, а на этакой глиняной подушке,— американцы за это не брались, пророчили, что все рухнет, но наши взялись, и вот видите, Свирская до сих пор стоит. И вот тот опыт был действительно первый в мире, и вот это была, по существу, истинно ленинская, бесстрашная идея! А что касается Владимира Ильича... Я вам его сейчас покажу.— Он сосредоточенно, почти важно подошел к невысокому книжному шкафику, бережно, в обе руки, взял небольшой, но, видимо, тяжелый бюст Ленина и, неся его в вытянутых руках, шаркая, мелкими шажками подошел к столу и поставил передо мной этот бюст.

— Вот он какой был,— промолвил он почти шепотом и очень строго.— Глядите.

Я, к сожалению, не помню автора скульптуры. Но передо мной тоже был «мой» Ленин. Скульптура была из очень светлой, даже словно бы светящейся, но не блестящей бронзы, ее поверхность была неровна, шероховата, выполнена почти щипками — она явственно хранила следы лепки, неостывшего волнения, и это придавало ей особую

живость, подлинную трогательность. Необычен был и облик Владимира Ильича, особенно для того времени: из бронзы глянуло на меня из-под небрежно надетой кепки, из поднятого воротника не непреклонное лицо вождя, а озаренное хитроватой, почти озорной улыбкой, подчеркнутое умнейшей прищуркой лицо русского мастерового, вечного труженика, неустанного умельца Революции, бесстрашного землепроходца, лицо хорошего, простого человека,— глянули, как писал о нем Горький, «глаза неутомимого охотника на ложь и горе жизни».

И пока мы с Глебом Максимилиановичем сидели за столом и почти до утра рассказывал он мне о Ленине,— его изображение так и стояло перед нами, излучая теплый, живой свет, народный ум, добро и бесстрашие, и вот с таким Лениным в сердце я и приехала на Волго-Дон, а так как это было как раз в Ленинские дни, то на Волго-Доне много пришлось говорить о Ленине — с «работягами», инженерами, строителями — не на собраниях, а просто беседуя. И я с радостью убеждалась, что и им светит такой же Ленин, как мне, что образ его, его заветы помогают им строить скалу Любовь, преодолевая все физические и моральные испытания. И я — в который раз! — с гордостью и отрадой думала, что самое драгоценное, что оставил нам Ленин,— это люди, составляющие его Партию,— коммунисты, большевики, люди, как он говорил, способные на «победоносное терпение» и на величайшее бесстрашие, люди его призыва. Я хочу кратко рассказать о некоторых из них, о тех, кого знаю лучше и ближе всех,— о людях города Ленина в дни его осады.

Я ЗНАЮ ДОРОГУ

Писать было неудобно: овчинный дворницкий полушубок, который вчера с торжеством преподнес мне мой приятель, совершенно не позволял рукам шевелиться, и все равно пальцы коченели. Карандаш был жесткий, и плохо писалось им по шершавой типографской бумаге, а чернилами писать было нельзя — чернила замерзли. И я решила, что здесь, дома, хоть как-нибудь карандашом набросаю эту рождественскую радиопередачу на противника, а уж в Радиокомитете, где потеплее, перепишу ее начисто, а может быть, удастся сразу продиктовать ее машинистке.

«Ты встречаешь рождество Христово, немецкий солдат, корчась под Ленинградом от жестокой стужи, обмораживая себе конечности»,— писала я и ежеминутно дышала на пальцы. В это время в дверь постучали.

— Войдите,— удивилась я, и вошел Иван Павлович, политработник одной из ленинградских армий, той, что стояла за Невской заставой, на родине моей, где я с группой артистов месяца полтора назад, накануне Октябрьских дней, выступала в концерте — читала стихи.

Он вошел, как входят в комнату, где лежит тяжелобольной,— почти на цыпочках, и не сказал «здравствуйте», а просто сел напротив и уставился на меня молча. Я не подумала о том, что вид у меня, конечно, нелепый — в дворницком полушубке, в вязаной шапке, натянутой до самых ушей, и из-под полушубка виднеются еще ярко-красные лыжные штаны,— я просто удивилась, что он так сидит, смотрит и молчит. Я просто через несколько минут задала ему вопрос, который уже задавали друг другу ленинградцы в конце декабря сорок первого года:

— Вы что... не в форме, Иван Павлович?

Он отрицательно качнул головой, сделал судорожный глоток и, видимо, справившись с собой, сказал с чрезмерным спокойствием потрясенного человека:

— Я просто не был в городе с конца октября. Я иду в Смольный. Я шел почти все время — от Лавры... Я... я видел все... Ну... и по пути зашел к вам... узнать — а вы-то живы?

Заход ко мне на улицу Рубинштейна был совсем не «по пути» к Смольному, но я поняла его.

— Мы были у вас в армии впятером,— сказала я.— Я жива и певица тоже.

Мы помолчали и вдруг одновременно взглянули в глаза друг другу так, как смотрят люди, которые все до самого конца знают и понимают, что каждый из них знает все до конца.

И вот, взглянув так в глаза друг другу, мы заговорили о самом главном — выдержит ли город и что делать каждому из нас, коммунистов, чтоб он выдержал.

Это был разговор медленный, негромкий, как будто бы мороз, царивший в комнате, мешал ему быть взволнованным,— а вернее всего, это были раздумья вслух двоих людей, видящих друг друга второй раз в жизни, но доверяющих друг другу всецело, потому что они — члены одной партии, Коммунистической партии большевиков.

Он рассказывал среди другого о своем первом бое.

— ...Мы оказались прижатыми к земле этим ураганным огнем,— рассказывал он.— А надо во что бы то ни стало продвинуться вперед и занять намеченный участок — иначе сорвется вся операция. А бойцы — первый раз под огнем... Я, понимаете, собственной кожей чувствую, как они жаждут уйти в землю, как они плотно прижались к ней,— потому что ведь и я, я тоже прижался... И еще чувствую: еще немного — встанут и побегут назад. И знаю, что надо подняться, и что-то крикнуть, и повести, и — не могу подняться! Не могу. Ужас меня охватил: что же это — я же коммунист. Если я не могу встать — то как же они? И вот от этого ужаса я приподнял голову и пополз к ближайшему бойцу. Тот синий лежит от страха. Огонь бушует. Я шепчу ему в ухо: «Что, товарищ боец, страшно?» — «Ой, страшно, мочи нет, товарищ политрук».— «Ничего, говорю, товарищ боец, мне тоже страшно, тоже, но ты видишь — я ведь лежу, не бегу. И ты не беги. Побежишь — убьют! Лежи пока». И так от одного к другому, и удержал их. Перележали мы первый страх и поползли вперед.

— Но были минуты еще рискованней,— рассказывал он потом.— Часть наша дивизию при отходе прикрывала. И вдруг отсекли нас немцы от своих. И оказались мы в болоте, в диком месте, лесном, глухом. А почти все бойцы — народоополченцы, горожане, первый раз в жизни в такую прорву попали, местности никто не знает. Ну, почти паника началась: куда идти? Растерялись, кричат, разумеется: «В окружение попали!», «Пропадем». Командир кричит: «Кто дорогу знает?» Никто дорогу не знает! Еще паника больше. Нехорошо, некрасиво. И тут у меня сердце не выдержало, я выскочил вперед да как закричу: «Я знаю дорогу. Я здешний!»

Иван Павлович передохнул и устало улыбнулся:

— Я не знал дороги, как и они, и здешним не был. Но я не врал, не обманывал — нет. Я вдруг понял — в этот момент должен быть среди них человек, знающий дорогу, должен — он необходим был всем. И я назвался им. И они сразу поверили мне, сразу успокоились, подтянулись; и это полное людское доверие, и собственная дерзость воодушевили меня, напрягли во мне все силы и способности, такие, о которых я сам не подозревал. Я вел их и вывел к своим.

«Я вел их и вывел к своим»,— сказал Иван Павлович... И тут просит рассказа другая ленинградская история...

16*

Когда Милютин и Славнов вынесли из комнаты восьмого человека, умершего за этот месяц, и остались только вдвоем, Славнов сказал:

— Милютин, а лучше бы нам с этой комнаты съехать, пока живы. Правда. Несознательно, конечно, но... чего-то бояться я ее стал...

— Это, конечно, несознательно,— ты прав. Это предрассудки, суеверие — понимаешь? — быстро заговорил Милютин, как всегда, осчастливленный возможностью что-то кому-то разъяснить.— Говорят, на войне это бывает, но я лично поддаваться этому не намерен. И даже — хочешь — нарочно лягу на койку Смирнова.

Смирнов был тот рабочий, которого они вынесли сегодня; он умер, как и все предыдущие, на этой самой койке, стоявшей у печки.

— Ну-ну, зачем же это? — испугался Славнов.

— А просто чтоб ты не нервничал. Ведь эта война — война нервов, ты понимаешь? В самом деле, я займу эту койку.

— Не надо,— угрюмо произнес Славнов.— Я... пошутил. Я понимаю, что это не от комнаты.

— Вот и хорошо, что понимаешь. И не от комнаты, и не от койки! Знаешь, ведь главное — это понять, тогда ничего не страшно.

И костистое большеглазое лицо Милютина просветлело, как всегда, когда ему удавалось что-то разъяснить. А Славнов, исподлобья глядя на него, только покачал головой. Чем дольше жил он бок о бок с Милютиным, тем больше удивлялся этому человеку, который в свое время невольно, но глубоко огорчил и обидел его.

Они оба, еще до войны, работали на одном ленинградском заводе. Милютин — культпропом парткома, Славнов — мастером-обмотчиком в своем цеху. Ивану Ильичу Славнову было уже за пятьдесят, и жизнь его — и внешняя и внутренняя, духовная, семейная, общественная — достигла к этому времени такого плавного и благополучного течения, что доставляла только одно удовольствие.

Его сын Вова заканчивал институт, миловидная и свежая Нюша — жена — вела дом, «полную чашу», сам он был заслуженно и глубоко уважаем на заводе — о нем писали в газетах, всегда выбирали в президиумы торжественных общезаводских собраний, красивый, очень подмоложенный портрет его висел и в заводском скверике на Доске почета,

и, написанный настоящим художником,— в заводском Дворце культуры. И Иван Ильич был так доволен жизнью, своей работой и собою, что стал все чаще подумывать: не вступить ли ему в партию? Вступление во Всесоюзную Коммунистическую партию большевиков казалось ему каким-то завершающим, закругляющим, солидным и достойным поступком в его жизни. Мысленно он уже представлял, как его будут принимать в партию, что будут говорить, и улыбался.

Как раз в это время и подошел к нему Сергей Петрович Милютин — культпроп парткома, высокий, сухощавый черноволосый человек с удивительно доверчивыми большими глазами и с какой-то еле уловимой, но все же уловимой суетой в движениях, точно он все время куда-то спешил. Милютин поговорил с мастером о том о сем и потом сказал:

— Иван Ильич, а как ты относительно вступления в партию? Мы думаем, что это хорошо было бы, а?

И вдруг Ивану Ильичу стало очень неприятно, что кто-то за него, солидного, самостоятельного, всюду уважаемого человека, уже поторопился обдумать этот важный для него вопрос, да и не только обдумал, но даже решил за него, как за мальчишку.

— Я подумаю об этом, товарищ Милютин,— ответил он очень сухо.

Через несколько дней Милютин снова подошел к Славнову.

— Ну как, Иван Ильич, надумал? — спросил он.— Дать анкетку?

— А что ты спешишь-то так? — уже не скрывая досады, сказал мастер.— Я человек самостоятельный... Я пятьдесят лет беспартийный и был не хуже других.

— Конечно, не хуже,— слегка растерялся Милютин и засуетился на месте.— Не хуже! Но все-таки...

— Что «все-таки»?! — раздраженно перебил Славнов.— Все-таки не такой, не тот человек, что ли?

— Да,— уже совершенно твердо ответил Милютин.— Но ты извини, товарищ Славнов, если я чем-нибудь задел твое самолюбие... Мы, наверное, действительно поспешили.

О партии с Иваном Ильичом больше никто не заговаривал; старый мастер сердился на Милютина, еще больше на себя, думал, как же ему теперь быть,— а тут вдруг началась война. В одну из первых бомбежек прямым попаданием был разрушен дом, где жили Славновы, под развалинами дома погибла жена Славнова; сын Вова,

добровольцем ушедший в армию, был убит под Стрельной, а поздней осенью Славнова вместе с группой заводских рабочих отправили с родного завода, из-за своей заставы, где он жил всю жизнь, в «тыл», на Выборгскую сторону, на чужой небольшой завод. Свой завод остановился, на нем осталась лишь маленькая группа рабочих для его боевой охраны.

Гибель жены и сына и вместе с ними исчезновение с лица земли всей прошлой долголетней жизни, переезд на чужую окраину образовали в душе Ивана Ильича сосущую темную пустоту, какое-то постоянное недоумение. Он работал, как всегда, добросовестно, не по специальности, конечно, и все не нравилось ему на новом месте, все тяжко томило его, а каждое напоминание о прошлом причиняло острую боль. И он даже сморщился, и точно само сердце сморщилось в нем, когда в комнате, где он жил при заводе вместе с одним «чужим» рабочим, на третьей койке поселился Милютин. Славнов не забыл тяжелого, неловкого разговора о партии. Милютин раздражал его, бередил, вызывал глухую, непроходящую неприязнь. Но чем дольше жили они бок о бок, сведенные блокадой, чем внимательнее приглядывался мастер к обидевшему его человеку, тем больше удивлялся ему.

Бедствия зимы нарастали. По самому себе Иван Ильич чувствовал, как люди — уже невольно — начинают все больше и больше беречь свои физические и душевные силы. А Милютин в это время, наоборот, как будто бы придумывал себе все новые заботы и обязанности — вот как сегодня хотя бы: утром в столовой ввязался в страшный женский скандал — последним в очереди не хватило хлеба, и Милютин уговаривал их, мирил, бегал за них браниться с работниками столовой, возил на себе хлеб и, вернувшись домой, усталый и страшный, только затем, чтобы успокоить нервы Славнова, решил занять ту самую проклятую третью койку, с которой, как ты там ни ссылайся на предрассудки, пока еще никто не вставал.

— Я удивляюсь тебе, товарищ Милютин,— все-таки произнес вслух Славнов.— Почему ты такой неспокойный? Мало тебе твоих нагрузок? То мои нервы успокаиваешь, то в бабский скандал лезешь. Разве это все — твое дело?

— А как же? — удивился Милютин.— Ведь я же коммунист, так? Если не я, так кто же?

Бедствия зимы нарастали — наступил уже январь 1942 года. Цех за цехом, станок за станком останавливались и на этом заводе. Все меньше людей приходило на пред-

приятие, но даже и им нечего было делать. Страшное чувство безысходности подкрадывалось к людям. На заводе работала только одна котельная, вернее — один котел в ней еще теплился, но и он готов был остановиться: замерз водопровод, иссяк уголь. И вот Милютин, собрав горсть регулярно ходивших на завод рабочих-кадровиков, горячим полушепотом объяснил им, что никак нельзя дать остановиться котлу — никак нельзя! Котел подает пар — тепло в несколько комнат при заводоуправлении, там можно поселиться всем, кто еще не находится на казарменном и живет далеко от завода, котел может дать тепло в один цех и даже привести в движение пару-другую станков, «а ведь мы можем получить срочные военные заказы — пусть небольшие», нельзя дать потухнуть котлу, нельзя.

Так все, что было живого на заводе, как кровь к сердцу, прилило к этому единственному котлу. Руками из проруби на Неве люди носили в котел воду; разбирали, кололи и пилили все деревянное на дворе, чтобы питать котел топливом. И сердце завода билось — котел пыхтел, а люди жили около него, и жизнь их имела смысл и даже перспективу: хоть что-нибудь делали они («и ведь заказ могут дать!»), а горсточка ценнейших кадров сохранялась. И мастер Славнов с уважением подумал о том, что все это придумал и организовал суетливый Милютин, который вместе со всеми таскал в котел воду и колол деревянные модели.

А Милютин, кроме того, почти каждый день ходил в райком партии, а райком очень часто посылал его проводить беседы и доклады на разные объекты, иногда за несколько километров от завода. Трамваи давно не ходили. Милютин совершал свои походы пешком.

«Вот уж это зря,— думал Славнов, все больше тревожась за своего беспокойного товарища,— ну разве людям теперь до докладов? Зря только изводится».

— Ты упадешь в дороге,— сказал однажды Славнов Милютину.— Ты присаживайся хотя бы, отдыхай.

— Нет,— сказал Милютин.— Я тщательно избегаю делать это. Уж пошел — так иди. И кстати, я еще очень прилично хожу.

А через несколько дней — это было в январские, в ленинские дни,— идучи куда-то, Иван Ильич увидел Милютина на набережной: Милютин сидел на ящике с песком, прислонившись спиной к стене дома; лицо его выражало крайнее изнеможение и самое откровенное страдание. И Славнов до оцепенения смутился, увидев Милютина таким, как бы поймав, как бы уличив его в чем-то постыдном, и рас-

терянно остановился возле него, уверенный, что Милютин тоже ужасно смущен, готовый крикнуть: «Ничего, ничего! Это вижу только я!»

Но Милютин спокойно и доверчиво взглянул на старого мастера и сказал:

— Помоги мне подняться, Иван Ильич. Я сам не смогу.

Славнов помог ему подняться с ящика и пробормотал:

— Я пойду с тобой на твой доклад, мне все равно нечего делать.

Собрание происходило в подвале, в бомбоубежище, потому что район, куда пришли Славнов и Милютин, в это время подвергался артиллерийскому обстрелу. Народу было довольно много: в те дни, как ни странно, люди особенно охотно шли на всякие собрания, ища случая побыть вместе и надеясь услышать что-нибудь о перемене в своей участи и в войне — о хлебной прибавке или хотя бы о маленькой победе. Собравшиеся сидели на скамейках под низкими сводами, а своды были подперты множеством нетолстых белых бревен; люди сидели как бы в какой-то подземной безлиственной роще, еле озаренные дремучим светом единственной «летучей мыши». Их ввалившиеся глаза немедленно с надеждой и доверием обратились к докладчику, как только он вошел в подвал.

— Дорогие товарищи,— начал доклад Милютин.— Мы отмечаем восемнадцатую годовщину со дня смерти нашего великого вождя Владимира Ильича Ленина в те дни, когда город наш переживает известные трудности...

И вздох — глубокий общий вздох, близкий к стону,— промчался по подземелью, по безлиственной роще столбов, и дрогнуло сердце старого мастера Славнова, когда он услышал это трижды знакомое до войны слово «трудности». Безграничное целомудрие мужества заключалось в том, что нечеловеческие муки, которые все переживали, Милютин назвал обыкновенным довоенным, старым словом «трудности». И так как он сам был такой же, как все здесь,— страшный и голодный, он имел право на это слово, и все поняли и ощутили это — и в нем и в себе,— оттого и вздохнули... Но главное было не в том, что Милютин принес эти обыкновенные слова сюда в разгар артобстрела, в подвал, что ленинские дни отмечались, как всегда. Нет! Самое главное было то, что в осажденном Ленинграде были люди, позаботившиеся об этом.

И, глядя на исхудавшее лицо Милютина, мастер Славнов первый раз отчетливо понял, что вот на таких Милютиных и держится в городе жизнь: это они говорят

сейчас о Ленине в темных подвалах, в обледеневших учреждениях с людьми, жаждущими сойтись вместе. Это они собирают людей около котлов — на остановившихся заводах, около кипятильников — в жактах. Это они не дают опускать людям руки, погрузиться в бездействие, то есть в смерть. И пока в городе есть эти люди — город не только выдержит все, но обязательно, обязательно победит.

Через два часа Славнов и Милютин возвращались обратно, к своему котлу. Мороз был таким свирепым, что трудно было говорить, но Ивану Ильичу не терпелось задать Милютину ряд вопросов.

— Сергей Петрович,— спросил он,— вот ты говорил в докладе: «Мы, большевики, в девятнадцатом году»,— ты что же, почти с самой революции в партии?

— Нет, я не с девятнадцатого,— ответил Милютин.— Я говорил «мы» в смысле «мы — партия». Ведь поскольку я член партии, я полагаю, что вся ее история как бы и моя личная жизнь, и поэтому я...

— Милютин,— перебил его Славнов, только сейчас додумав одну глубоко взволновавшую его мысль,— вот я глядел на тебя все время и удивлялся, что тебя на все хватает. А ведь это в тебе не просто человеческое, что ли, ну вот то, что только твое,— это в тебе вся партия сидит, это она тебя движет. Понимаешь? Нет! Ты этого не понимаешь, это я понимаю. Но ты с какого же года большевиком?

— Я — ленинского призыва,— тихо, с мягкой важностью ответил Милютин.— Тогда очень много народу в партию вступило. В особенности же рабочего класса. Было очень большое горе — смерть Владимира Ильича, партии трудно стало, вот мы и вступили,— ты понимаешь?

— Понимаю,— так же тихо ответил мастер и, помолчав, важно, переходя вдруг на «вы», спросил: — Товарищ Милютин, а вы мне дадите рекомендацию для вступления в кандидаты ВКП(б)? — Он помолчал и произнес полностью: — В кандидаты Всесоюзной Коммунистической партии большевиков?

— Конечно, товарищ Славнов,— неторопливо и тоже переходя на «вы», ответил Милютин,— и даже сам подготовлю вас...

Милютин ни звуком не напомнил Славнову о прошлом разговоре насчет партии, и Славнов был глубоко благодарен ему за это; он сам ощущал огромную разницу между тогдашним своим состоянием и теперешним: если до войны он чувствовал, что, пожалуй, он может вступить в партию,

то теперь он чувствовал, что не может не вступить. Не может потому, что Милютину трудно и он, Славнов, должен разделить с ним его великий труд,— так велит ему совесть, совесть трудового человека, который не может сложа руки глядеть, как другие работают. Не может потому, что ему хочется ощутить в себе всю ту особую силу, которую дает каждому отдельному коммунисту вся партия. Не может, наконец, не вступить потому, что прошлая его жизнь погибла, а он хочет жить полной, деятельной жизнью, хочет отдать во имя победы все свои силы,— а партия большевиков требует всех сил. Не часть сил, а именно — все, всю жизнь.

Долгими зимними вечерами при свете коптилки мастер Иван Ильич Славнов внимательно читал Устав и «Краткий курс», но больше всего он беседовал с Милютиным — задавал ему разные вопросы о партии и коммунистах. Он спрашивал несколько витиевато и туманно, потому что не хотел, чтоб Милютин счел его за несознательного мальчишку, который сам ничего в жизни не думал и ничего не знает. А Милютин был просто счастлив, что может столько важного разъяснить человеку, и разъяснял с жаром, с сердцем, в то же время не обижая мастера излишней простотой объяснений. Особенно запечатлелся мастеру Славнову ответ Милютина на его вопрос — как точно понимать выражение, которое часто употребляют коммунисты: «Это имеет политическое значение»?

— Для ясности уточним,— воодушевляясь, и радуясь, и немного суетясь на месте, сказал Милютин.— Скажем, не вообще «это», а скажем, например, «работа имеет политическое значение». Что же это означает?

И он объяснил, что у Ленина есть в одном труде такая фраза: «Политика — это фактическая судьба миллионов людей». Значит, политическое значение работы — это ее значение для судьбы миллионов людей, то есть для всего народа, для родины. И коммунист работает всегда с этим значением: что бы он ни делал — он творит политику, судьбу миллионов людей. А какой должна быть судьба наших советских людей теперь, на войне? Ясно — победа. И когда теперь говорят: «Это имеет политическое значение»,— значит, это нужно для победы людей над фашизмом. И вот Киров еще говорил: «Истинному коммунисту свойственна постоянная благородная внутренняя тревога за дело партии!... Тревога! Не забота — а тревога!» Тревожиться за дело всей партии — это и значит подходить к делу политически.

Ивана Ильича принимали в партию ранней весной, уже за своей заставой, в «своем райкоме», потому что они вер-

нулись в это время из «тыла» на свой завод, который должен был начать понемногу работать для города. Придя в райком, Иван Ильич увидел с волнением и радостью, что с ним сегодня идут на бюро много старых его знакомых по своему заводу и заставе. Он понял, что это означает, и, вспомнив рассказ Милютина о ленинском призыве, подумал, что все, кто вступает в партию сейчас, в дни этой немыслимой блокады,— тоже есть коммунисты ленинского призыва!

Он подумал даже, что, когда через несколько лет кто-нибудь спросит его, с какого он года в партии, он ответит: «Я — блокадного ленинского призыва ленинградской зимы сорок второго года», а вернее всего будет сказать: «Я — коммунист ленинского призыва во время Отечественной войны». И эта мысль наполнила его теплом и гордостью.

После того как Иван Ильич стал коммунистом, внешне в его жизни ничто не изменилось, а внутренне все время менялось и появлялось новое.

Самое главное из этого нового было то, что теперь он тоже, как Милютин, стал «беспокойным». В нем появилось и все нарастало непреодолимое чувство постоянной тревоги и личной ответственности не только за свою работу, но за весь город, за всю страну, за всю ее судьбу. И это новое чувство заставляло Ивана Ильича брать на себя любую работу, не размышляя даже — по силам она ему или нет. Ведь он был теперь не просто мастером Славновым, он был коммунистом Славновым. Это было очень тяжело физически, потому что он был так же слаб и истощен, как все остальные, но не мог иначе...

Ивану Ильичу особенно тяжело пришлось тогда, когда на завод поступил заказ на трамвайные моторы. Оживающему городу нужны были трамваи. Они уже начали ходить, но их было мало, а надо было, чтоб было достаточно: трамвай в те дни был в Ленинграде не просто транспортом, средством передвижения — он был средством сохранения сил и жизней истощенных, обессилевших ленинградцев.

— Трамвай в нашем городе имеет политическое значение,— объяснил Милютин Славнову,— тебе придется поднажать, товарищ Славнов, именно тебе.

А дело было в том, что уже много-много лет данный завод не изготовлял трамвайных моторов, он давно перешел на гигантские машины... Ни специалистов этого дела, никаких чертежей, схем на заводе не было, и почему-то

не оказалось их в Трамвайном управлении. Иван Ильич был единственным специалистом на заводе, да и во всем Ленинграде, который пятнадцать лет назад мотал якоря для трамвайных моторов и, значит, мог вспомнить, как он это делал, мог дать мотор. И вот Иван Ильич стал мотать якоря по памяти, а память за время голода у него сдала, а сроки были жесткие... Никогда в жизни не работал мастер Славнов с таким напряжением всех сил мозга, тела и души, и мысль, что работа его имеет политическое значение, не давала ему покоя и отдыха. Он работал, не покидая цеха, ночуя тут же в конторке, благо было уже довольно тепло. Иногда, когда Иван Ильич ложился на краткий отдых, он вдруг чувствовал, что больше не поднимется,— так, как не поднимались люди с той проклятой койки,— и он так пугался этого ощущения, что тут же вставал и пытался работать. Во сне он вспоминал, как мотал когда-то якоря.

Первые три мотора немедленно сгорели — один за другим. Иван Ильич был так угнетен, что на него больно было смотреть. И люди отворачивались или не смотрели ему в глаза, жалея его. Но у него и мысли не возникало о том, чтобы отказаться от дальнейшей работы, которая многим казалась в общем-то невыполнимой. Ведь он же был коммунист. «Не я — так кто же?» И он принимался вспоминать и искать вновь и вновь, преодолевая свою неуверенность, разочарование, усталость, пока не добился своего: он дал моторы трамваю — он по-настоящему помог людям жить и бороться в блокаде. И это была не просто производственная победа опытного мастера, старого человека над самим собой,— это была победа молодого коммуниста Славнова. Правда, о ней нигде не писали, но она принесла Ивану Ильичу самые драгоценные дары: сознание полностью свершенного долга и, главное, уверенность в себе как в коммунисте-ленинце.

Потом, хотя город все еще был в осаде, хотя немцы продолжали свирепо обстреливать завод,— пошли заказы еще сложней и трудней — новые машины для освобождаемого родного Донбасса и многое, многое другое. Но Иван Ильич уже знал, что может коммунист, и какой бы фантастикой ни казались сроки заказа и возможность выполнения его в городе-фронте, Иван Ильич спокойно ручался своим рабочим, что заказ выполнить можно и мы его обязательно выполним. Он знал дорогу. Он не надрывался, он думал, изобретал. И сам он брал на себя наивысшие обязательства и выполнял их, личным примером, жизнью своей доказывая, что все можно свершить — можно пережить любой

огонь и страх, можно найти любую дорогу,— если это нужно во имя судьбы народа.

Как-то одна из его учениц, молодая девушка, попросила у него рекомендацию для вступления в партию. Иван Ильич обрадовался и смутился.

— Я еще не имею права рекомендации давать, дорогуша,— сказал он,— у меня еще стажа не хватает...

— Да ну-у? — удивленно протянула девушка.— А ведь мы все думаем, что вы старый большевик. Вы уж, я извиняюсь, и седенький, и говорите так, и поступаете...

— Нет,— ответил Славнов, глубоко взволнованный ее словами,— человек я пожилой, это верно, но коммунист — молодой.— И, помолчав тихо, немного стесняясь, прибавил свои заветные, давно приготовленные сло́ва, которые ему еще не удавалось никому сказать: — Мы с тобой одного призыва коммунисты: ленинского призыва Великой Отечественной войны.

О, грозные, ледовитые дни ленинского призыва 1924 года! Кто не помнит их из нашего и более старшего поколения? Какая скорбь была и какое ни с чем не сравнимое мужество! Как неукоснительно и с каким волнением отмечали мы всегда ленинские дни — дни траура о нем... И как глубоко мудро поступила Партия, когда перенесла ленинские дни на день его рождения. Ведь в самом деле, ежегодно в день смерти Ленина народ отчитывался перед своим бессмертным вождем, и, несмотря ни на какие издержки нашего строительства, с каждым годом все радостнее было отчитываться народу в своих победах. И победы — зримые и еще незримые тогда — все-таки, несмотря ни на что, нарастали, и мы не могли не радоваться им. Так день траура перестал быть днем скорби, но волею истории, волею народа превращался в день торжества. Так пусть же наше торжество будет полным, пусть вечно отмечает Земля один из лучших своих дней — день рождения Владимира Ленина. Вот уже почти столетие прошло со дня его рождения, но расстояние между живущими людьми и Лениным не нарастает — века не отдалят Ленина от людей, от мира. Наоборот! Ленинский призыв разворачивается во всем мире. Уже не только русский рабочий класс — целые народы всех пяти частей земного шара поднимаются по ленинскому призыву на строительство нового общества — на создание скалы Любовь. И все ближе и ближе Ленин сердцу человеческому — величайший человек, отдавший всю жизнь свою за счастье людей.

1947 — 1959



(1905—1984)

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Евгении Григорьевне Левицкой,
члену КПСС с 1903 года

Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лед, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны.

В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое — всего лишь около шестидесяти километров,— но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищем выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая постромки, еще тащила тяжелую бричку. Колеса по самую ступицу проваливались в отсыревший, перемешанный со снегом и льдом песок, и через час на лошадиных боках и стегнах, под тонкими ремнями шлеек, уже показались белые пышные хлопья мыла, а в утреннем свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошадиным потом и согретым дегтем щедро смазанной конской сбруи.

Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком. Под сапогами хлюпал размокший снег, идти было тяжело, но по обочинам дороги все еще держался хрустально поблескивавший на солнце ледок,

и там пробираться было еще труднее. Только часов через шесть покрыли расстояние в тридцать километров, подъехали к переправе через речку Еланку.

Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Моховского в заболоченной, поросшей ольхами пойме разлилась на целый километр. Переправляться надо было на утлой плоскодонке, поднимавшей не больше трех человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне в колхозном сарае нас ожидал старенький, видавший виды «виллис», оставленный там еще зимою. Вдвоем с шофером мы не без опасения сели в ветхую лодчонку. Товарищ с вещами остался на берегу. Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода. Подручными средствами конопатили ненадежную посудину и вычерпывали из нее воду, пока не доехали. Через час мы были на той стороне Еланки. Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, берясь за весло:

— Если это проклятое корыто не развалится на воде,— часа через два приедем, раньше не ждите.

Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей ольхи, а с дальних прихоперских степей, тонувших в сиреневой дымке тумана, легкий ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли.

Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стеганки, к великому огорчению, обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула, а теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлек из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы.

Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку. Это был первый после зимы по-настоящему теплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покорясь тишине и одиночеству, и, сняв с головы старую солдатскую ушанку,

сушить на ветерке мокрые после тяжелой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облаками.

Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту — лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском:

— Здорово, браток!

— Здравствуй.— Я пожал протянутую мне большую, черствую руку.

Мужчина наклонился к мальчику, сказал:

— Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет.

Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс ее, спросил:

— Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?

С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивленно приподнял белесые бровки.

— Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные — снежки катал потому что.

Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал:

— Беда мне с этим пассажиром! Через него и я подбился. Широко шагнешь — он уже на рысь переходит, вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть,— я три раза шагаю, так и идем с ним враздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернешься, а он уже по лужине бредет или леденику отломит и сосет вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да еще походным порядком.— Он помолчал немного, потом спросил: — А ты что же, браток, свое начальство ждешь?

Мне было неудобно разуверять его в том, что я не шофер, и я ответил:

— Приходится ждать.

— С той стороны подъедут?

— Да.

— Не знаешь, скоро ли подойдет лодка?

— Часа через два.

— Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу: свой брат-шофер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить, и помирать тошно. А ты богато живешь, папироски куришь. Подмочил их, стало быть? Ну, брат, табак моченый, что конь леченый, никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим.

Он достал из кармана защитных летних штанов свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кисет, развернул его, и я успел прочитать вышитую на уголке надпись: «Дорогому бойцу от ученицы 6-го класса Лебедянской средней школы».

Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком, какая нужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня вопросом:

— Ты что же, всю войну за баранкой?

— Почти всю.

— На фронте?

— Да.

— Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшка по ноздри и выше.

Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе... Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника.

Выломав из плетня сухую искривленную хворостинку, он с минуту молча водил ею по песку, вычерчивая какие-то замысловатые фигуры, а потом заговорил:

— Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?» Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... Нету и не дождусь! — И вдруг спохватился: ласково подталкивая сынишку, сказал: — Пойди, милок, поиграйся возле воды, у большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдется. Только, гляди, ноги не промочи!

Еще когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и сынишку, с удивлением отметил про себя одно, странное на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но добротно: и в том, как сидела на нем подбитая легкой, поношенной цигейкой длиннополая кур-

точка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве курточки — все выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. А отец выглядел иначе: прожженный в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а скорее наживлена широкими, мужскими стежками; на нем были почти новые солдатские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась женская рука... Еще тогда я подумал: «Или вдовец, или живет не в ладах с женой».

Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух.

— Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один. Родни — хоть шаром покати,— нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошел на завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная, веселая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почем фунт лиха стоит, может, это и сказалось на ее характере. Со стороны глядеть — не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор. И не было для меня красивее и желанней ее, не было на свете и не будет!

Придешь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь ее, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось». И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю как встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится! Вот что это означает — иметь умную жену-подругу.

Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и так, что идешь домой и такие кренделя ногами выписываешь, что со стороны небось глядеть страшно. Тесна тебе улица, да и шабаш, не говоря уже про переулки. Парень я был тогда здоровый и сильный, как дьявол, выпить мог много, а до дому всегда добирался на своих ногах. Но случалось иной раз и так, что последний перегон шел на первой скорости, то есть на четвереньках, однако же добирался. И опять же ни тебе упрека, ни крика, ни скандала. Только посмеивается моя Иринка, да и то осторожно, чтобы я спьяну не обиделся. Разует меня и шепчет: «Ложись к стенке, Андрюша, а то сонный упадешь с кровати». Ну, я, как куль с овсом, упаду, и все поплывет перед глазами. Только слышу сквозь сон, что она по голове меня тихонько гладит рукою и шепчет что-то ласковое, жалеет, значит...

Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я размялся. Знает, что на похмелье я ничего есть не буду, ну, достанет огурец соленый или еще что-нибудь по легости, нальет граненый стаканчик водки. «Похмелись, Андрюша, только больше не надо, мой милый». Да разве же можно не оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю ее без слов, одними глазами, поцелую и пошел на работу, как миленький. А скажи она мне, хмельному, слово поперек, крикни или обругайся, и я бы, как бог свят, и на второй день напился. Так бывает в иных семьях, где жена дура; насмотрелся я на таких шалав, знаю.

Вскорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через год еще две девочки... Тут я от товарищей откололся. Всю получку домой несу, семья стала числом порядочная, не до выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку.

В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во сне. Да что десять лет! Спроси у любого пожилого человека — приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил! Прошлое — вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса...

Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали: все

трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий, оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромадный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно, и гордился я им, страсть как гордился!

За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатах, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего еще больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, все в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе...

А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий — пожалуйте в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери — Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну, у дочерей — не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами передергивал, как от холода, ему к тому времени уже семнадцатый год шел, а Ирина моя... Такой я ее за все семнадцать лет нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от ее слез не просыхала, и утром такая же история... Пришли на вокзал, а я на нее от жалости глядеть не могу: губы от слез распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, несмысленные, как у тронутого умом человека. Командиры объявляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила и вся дрожит, будто подрубленное дерево... И детишки ее уговаривают, и я,— ничего не помогает! Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье». Она и говорит, и за каждым словом всхлипывает: «Родненький мой... Андрюша... не увидимся мы с тобой... больше... на этом свете»...

Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к теще на блины собрался. Зло меня тут взяло! Силой я разнял ее руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня было дурачья; она попятилась, шага три ступнула назад и опять ко мне идет мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так прощают-

ся? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!» Ну, опять обнял ее, вижу, что она не в себе...

Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мертвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твердые губы...

— Не надо, друг, не вспоминай! — тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов и, каким-то огромным усилием воли поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:

— До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул!..

Он снова и надолго замолчал. Пытался свернуть папиросу, но газетная бумага рвалась, табак сыпался на колени. Наконец он все же кое-как сделал кручёнку, несколько раз жадно затянулся и, покашливая, продолжал:

— Оторвался я от Ирины, взял ее лицо в ладони, целую, а у нее губы как лед. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо; проезжать мне — мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы белые как мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнет, а сама вся вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра... Такой она и в памяти мне на всю жизнь осталась: руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слез... По большей части такой я ее и во сне всегда вижу... Зачем я ее тогда оттолкнул? Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут...

Формировали нас под Белой Церковью, на Украине. Дали мне ЗИС-5. На нем и поехал на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать, сам видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, все в порядке, помаленьку воюем и хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами и тогда дадим фрицам прикурить. А что еще можно было писать? Тошное время было, не до писаний было. Да и признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть и терпеть не мог этаких слюнявых, какие каждый день, к делу и не к делу, женам и мила-

хам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему, тяжело, того и гляди убьют. И вот он, сука в штанах, жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным бабенкам и детишкам не слаже нашего в тылу приходилось. Вся держава на них оперлась! Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли! А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо — и трудящую женщину, как рюхой под ноги. Она после этого письма, горемыка, и руки опустит, и работа ей не в работу. Нет! На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала. А если в тебе бабьей закваски больше, чем мужской, то надевай юбку со сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтобы хоть сзади на бабу был похож, и ступай свеклу полоть или коров доить, а на фронте ты такой не нужен, там и без тебя вони много!

Только не пришлось мне и года повоевать... Два раза за это время был ранен, но оба раза по легости: один раз — в мякоть руки, другой — в ногу; первый раз — пулей с самолета, другой — осколком снаряда. Дырявил немец мою машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки... Попал я в плен под Лозовеньками в мае сорок второго года при таком неловком случае: немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша стодвадцатидвухмиллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов; нагрузили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастерка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить потому, что бой приближался к нам: слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идет, впереди стрельба, и уже начало попахивать жареным...

Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду? «Какой разговор! — отвечаю ему.— Я должен проскочить, и баста!» — «Ну,— говорит,— дуй! Жми на всю железку!»

Я и подул. В жизни так не ездил, как на этот раз! Знал, что не картошку везу, что с этим грузом осторожность в езде нужна, но какая же тут может быть осторожность, когда там ребята с пустыми руками воюют, когда дорога вся насквозь артогнем простреливается. Пробежал километров шесть, скоро мне уже на проселок сворачивать, чтобы

пробраться к балке, где батарея стояла, а тут гляжу — мать честная — пехотка наша и справа и слева от грейдера по чистому полю сыплет, и уже мины рвутся по их порядкам. Что мне делать? Не поворачивать же назад? Давлю вовсю! И до батареи остался какой-нибудь километр, уже свернул я на проселок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось... Видно, из дальнобойного тяжелый положил он мне возле машины. Не слыхал я ни разрыва, ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда — не понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета — не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дергается, всего трясет, будто в лихорадке, в глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всем теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд били чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но кое-как встал. Однако опять же ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что ляжу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю.

Когда пришел в себя, опомнился и огляделся как следует,— сердце будто кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вез, неподалеку моя машина, вся в клочья побитая, лежит вверх колесами, а бой-то, бой-то уже сзади меня идет... Это как?

Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал как срезанный, потому что понял, что я — в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает...

Ох, браток, нелегкое это дело понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что́ означает эта штука.

Ну, вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал... Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла, не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно...

Думал, все прошли, приподнял голову, а их шесть автоматчиков — вот они, шагают метрах в ста от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчаком. «Вот,— думаю,— и смерть моя на подходе». Я сел, неохота

лежа помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат снял. И вот как потешно человек устроен: никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю: «Сейчас даст он по мне короткую очередь, а куда будет бить? В голову или поперек груди?» Как будто мне это не один черт, какое место он в моем теле прострочит.

Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьет и не задумается»,— соображаю про себя. Так оно и есть: вскинул автомат — я ему прямо в глаза гляжу, молчу, а другой ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: «О-о-о» — и показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался, сукин сын!

Но чернявый присмотрелся на мои сапоги, а они у меня с виду были добрые, показывает рукой: «Сымай». Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прямо-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он заорал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошел до дороги, раза три оглянулся на меня, глазами сверкает, как волчонок, злится, а чего? Будто я с него сапоги снял, а не он с меня.

Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным кучерявым, воронежским матом и зашагал на запад, в плен!.. А ходок тогда из меня был никудышный, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошел немного, и догоняет меня колонна наших пленных, из той же дивизии, в какой я был. Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упади я,— и он пришил бы меня к земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в средину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошел.

Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули еще человек двадцать автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненные наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле черт-те насколько видно, ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу — ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастерок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И еще артиллерийская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудий растелешенные, так и в плен попали.

Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут купол снесло тяжелым снарядом или бомбой с самолета, а тут крыша вся начисто побитая осколками, сухого места даже в алтаре не найдешь. Так всю ночь и прослонялись мы в этой церкви, как овцы в темном катухе. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я — военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет и ужасно как болит. Он твердо так говорит: «Сымай гимнастерку и нижнюю рубашку». Я снял все это с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами, да так, что я света невзвидел. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?» А он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больнее будет». Да с тем как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались.

Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука вдребезги разбитая, а ты ее так рванул». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была, вот я ее на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте,

потихоньку спрашивает: «Раненые есть?» Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену и в потемках свое великое дело делал.

Беспокойная это была ночь. До ветру не пускали, об этом старший конвоя предупредил, еще когда попарно загоняли нас в церковь. И, как на грех, приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился-крепился он, а потом заплакал. «Не могу,— говорит,— осквернять святой храм! Я же верующий, я христианин! Что мне делать, братцы?» А наши, знаешь, какой народ? Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончилась эта канитель очень даже плохо: начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну, и допросился: дал фашист через дверь, во всю ее ширину, длинную очередь, и богомольца этого убил, и еще трех человек, а одного тяжело ранил, к утру он скончался.

Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались: начало-то не очень веселое... А немного погодя заговорили вполголоса, зашептались: кто откуда, какой области, как в плен попал; в темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись, начали один одного потихоньку окликать. И слышу я рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит: «Если завтра, перед тем как гнать нас дальше, нас выстроят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты, взводный, не прячься! Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку снял, так за рядового сойдешь? Не выйдет! Я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу на тебя! Я же знаю, что ты коммунист и меня агитировал вступать в партию, вот и отвечай за свои дела». Это говорит ближний ко мне, какой рядом со мной сидит, слева, а с другой стороны от него чей-то молодой голос отвечает: «Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек. Особенно, когда ты отказался вступать в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но никогда я не думал, что ты сможешь стать предателем. Ведь ты же окончил семилетку?» Тот лениво так отвечает своему взводному: «Ну, окончил, и что из этого?» Долго они молчали, потом, по голосу, взводный тихо так говорит: «Не выдавай меня, товарищ Крыжнев». А тот засмеялся тихонько. «Товарищи,— говорит,— остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси, все равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу ближе».

Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлючности. «Нет,— думаю,— не дам я тебе, сучьему сыну, вы-

дать своего командира! Ты у меня из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как падлу, за ноги!» Чуть-чуть рассвело — вижу: рядом со мной лежит на спине мордатый парень, руки за голову закинул, а около него сидит в одной исподней рубашке, колени обнял, худенький такой, курносенький парнишка, и очень собою бледный. «Ну,— думаю,— не справится этот парнишка с таким толстым мерином. Придется мне его кончать».

Тронул я его рукою, спрашиваю шепотом: «Ты — взводный?» Он ничего не ответил, только головою кивнул. «Этот хочет тебя выдать?» — показываю на лежачего парня. Он обратно головою кивнул. «Ну,— говорю,— держи ему ноги, чтобы не брыкался! Да поживей!» — а сам упал на этого парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. Он и крикнуть не успел. Подержал его под собой минут несколько, приподнялся. Готов предатель, и язык на боку!

До того мне стало нехорошо после этого, и страшно захотелось руки помыть, будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил... Первый раз в жизни убил, и то своего... Да какой же он свой? Он же хуже чужого, предатель. Встал и говорю взводному: «Пойдем отсюда, товарищ, церковь велика».

Как и говорил этот Крыжнев, утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками, трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и, само собою, и комиссары были. Только четырех и взяли из двухсот с лишним человек. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские попали в беду потому, что все трое были чернявые и с кучерявинкой в волосах. Вот подходят к такому, спрашивают «Юде?» Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят. «Выходи» — и все.

Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Взводный, с каким мы предателя придушили, до самой Познани возле меня держался и в первый день нет-нет да и пожмет мне руку. В Познани нас разлучили по одной такой причине.

Видишь, какое дело, браток, еще с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не предоставился мне подходящий случай. А в Познанском лагере вроде такой случай нашелся: в конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для

наших же умерших военнопленных, много тогда нашего брата мерло от дизентерии; рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом и вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошел за куст... А потом — бегом, держу прямо на восход солнца...

Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тощалого, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти сорок километров,— сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания: на четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу, они меня и нашли в некошеном овсе.

На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше трех километров, я залег в овсе на дневку. Намял в ладонях зерен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас и вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит... Оборвалось у меня сердце, потому что собаки все ближе голоса подают. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня все мое рванье. Остался в чем мать родила. Катали они меня по овсу, как хотели, и под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целился в глотку, но пока еще не трогает.

На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голого, всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой... живой я остался!..

Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли, замученные там, в лагерях,— сердце уже не в груди, а в глотке бьется, и трудно становится дышать...

Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголек откатывал, и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и черт-те где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим

железом, какое под руку попадется, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево.

Били за то, что ты — русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься. Били запросто, для того чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверное, на всех нас не хватало в Германии.

И кормили везде, как есть, одинаково: полтораста грамм эрзац-хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток — где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам: до войны весил я восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить было не под силу. А работу давай, и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не впору.

В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас, сто сорок два человека советских военнопленных, в лагерь Б-14, неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около двух тысяч наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма — четыре кубометра в день на душу, заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть, на одной ниточке в теле держалась. Тут и началось: через два месяца от ста сорока двух человек нашего эшелона осталось нас пятьдесят семь. Это как, браток? Лихо? Тут своих не успеваешь хоронить, а тут слух по лагерю идет, будто немцы уже Сталинград взяли и прут дальше, на Сибирь. Одно горе к другому, да так гнут, что глаз от земли не подымаешь, вроде и ты туда, в чужую, немецкую землю, просишься. А лагерная охрана каждый день пьет, песни горланят, радуются, ликуют.

И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел, лохмотья на нас хоть выжми; все мы на холодном ветру продрогли как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде, согреться — то же самое, и к тому же голодные не то что до смерти, а даже еще хуже. Но вечером нам еды на полагалось.

Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашелся же из своих какой-то подлец, донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова.

Комендантом лагеря, или, по-ихнему, лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый: и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белесые, навыкате. По-русски говорил, как мы с тобой, да еще на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матерщинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас перед блоком — барак они так называли,— идет перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день. Всего четыре блока в лагере было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра второму и так далее. Аккуратный был гад, без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить: перед тем как идти ему руки прикладывать, он, чтобы распалить себя, минут десять перед строем ругается. Он матерщинничает почем зря, а нам от этого легче становится: вроде слова-то наши, природные, вроде ветерком с родной стороны подувает... Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет,— уж он по-русски не ругался бы, а только на своем языке. Лишь один мой приятель-москвич злился на него страшно. «Когда он ругается,— говорит,— я глаза закрою и вроде в Москве, на Зацепе, в пивной сижу, и до того мне пива захочется, что даже голова закружится».

Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходят в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами, тебя сам герр лагерфюрер требует». Понятно, зачем требует. На распыл. Попрощался я с товарищами, все они знали, что на смерть иду, вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь и с ними, думаю: «Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по-лагерному — номер триста тридцать первый». Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта утихла и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно...

В комендантской — цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом — все лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На

столе у них початая здоровенная бутыль со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву, и — не поверишь — так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою... Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу.

Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играется, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щелкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс Иван, четыре кубометра выработки — это много?» — «Так точно,— говорю,— герр комендант, много».— «А одного тебе на могилу хватит?» — «Так точно, герр комендант, вполне хватит и даже останется».

Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдем во двор, там ты и распишешься».— «Воля ваша»,— говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».

Я было из его рук и стакан взял, и закуску, но как только услыхал эти слова,— меня будто огнем обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не хочешь, герр комендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой!»

Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я непьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель». А что мне было терять? «За свою погибель и избавление от мук я выпью»,— говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул, вежливенько вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант, пойдемте, распишете меня».

Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подает мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор

идти, с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему свое: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки: видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.

Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил врастяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.

После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два Железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я — тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость»,— и подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.

Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: «Засветит он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей». Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянуло...

Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементованный пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках: «Рассказывай!» Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну»,— говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку брали на учет, ну, а сала, сам понимаешь,— только губы помазать. Однако поделили без обиды.

Вскорости перебросили нас, человек триста самых крепких, на осушку болот, потом — в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок четвертого года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу набок и фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас, всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофером,— шаг вперед». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Приехали туда, и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в «Тодте» — была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений.

Возил я на «оппель-адмирале» немца инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый и в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстючих складки. На нем, я так определял, не менее трех пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет — только держись! Целый день, бывало, жует да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало: в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выпивает; когда в добром духе,— и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое. Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запохаживаться на человека, помалу, но стал поправляться.

Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился: ночи напролет думал, как бы мне к своим, на родину сбежать.

Приехали мы в город Полоцк. На заре услыхал я в первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия, и знаешь, браток, как сердце забилось? Холостой еще ходил к Ирине на свиданья, и то оно так не стучало! Бои шли восточнее Полоцка уже километрах в восемнадцати. Немцы в городе злые стали, нервные, а толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим, и он распоряжается, как укрепления строить, а ночью в одиночку пьет. Опух весь, под глазами мешки повисли...

«Ну,— думаю,— ждать больше нечего, пришел мой час! И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка, он нашим сгодится!»

Нашел в развалинах двухкилограммовую гирьку, обмотал ее обтирочным тряпьем, на случай, если придется ударить, чтобы крови не было, кусок телефонного провода поднял на дороге, все, что мне надо, усердно приготовил, схоронил под переднее сиденье. За два дня перед тем как распрощался с немцами, вечером еду с заправки, вижу, идет пьяный, как грязь, немецкий унтер, за стенку руками держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира, пилотку с головы снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул и был таков.

Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за город, в направлении Тросницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры «парабеллум», сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя мундир и пилотку, ну, и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет.

Немецкий передний край проскакивал меж двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца.

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор пропороли пулями... Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем...

Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рва-

нул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника — командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати «языков». Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть».

Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят, после этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь, а когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя определить».

И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за руку, и я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого обращения. И заметь, браток, что еще долго я, как только с начальством приходилось говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал, вроде боялся, что ли, как бы меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях...

Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить.

Две недели спал и ел. Кормили помалу, но часто, иначе, если бы давали еды вволю, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался силенок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут... На третьей неделе

получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать!.. Сообщает он, что еще в июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хатенку. Ирина и дочери как раз были дома... Ну, пишет, что не нашли он них и следа, а на месте хатенки — глубокая яма... Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все.

Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною моя Ирина на вокзале. Значит, еще тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул... Была семья, свой дом, все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя, конечно, и с Ириной, и с детишками разговаривал, подбадривал их, дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе... Значит, я два года с мертвыми разговаривал?!

Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:

— Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит.

Мы закурили. В залитом полой водою лесу звонко выстукивал дятел. Все так же лениво шевелил сухие сережки на ольхе теплый ветер; все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве облака, но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни.

Молчать было тяжело, и я спросил:

— Что же дальше?

— Дальше-то? — нехотя отозвался рассказчик.— Дальше получил я от полковника месячный отпуск, через неделю был в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс... Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток! Постоял, поскор-

бел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию.

Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей «сорокапяток», имеет шесть орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно! Как ни крути, а мой родной сын — капитан и командир батареи, это не шутка! Да еще при таких орденах. Это ничего, что отец его на «студебеккере» снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, а у него, у капитана, все впереди.

И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится, как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимою наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну и свиделись... Аккурат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер...

Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит: «К тебе, Соколов»,— а сам к окну отвернулся. Пронизало меня, будто электрическим током, потому что почуял я недоброе. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит: «Мужайся, отец! Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдем со мной!»

Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам, туманно помню солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу вот как тебя, браток. Подошел я к гробу. Мой сын лежит в нем и не мой. Мой — это

всегда улыбчивый, узкоплечий мальчишка, с острым кадыком на худой шее, а тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках губ так навеки и осталась смешинка прежнего сынишки Тольки, какого я когда-то знал... Поцеловал я его и отошел в сторонку. Подполковник речь сказал. Товарищи-друзья моего Анатолия слезы вытирают, а мои невыплаканные слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит?..

Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и словно что-то во мне оборвалось... Приехал я в свою часть сам не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению,— он когда-то приглашал меня к себе,— вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофером в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играется.

Из рейса, бывало, вернешься в город — понятно, первым делом в чайную: перехватить чего-нибудь, ну, конечно, и сто грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует... И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день — опять вижу. Этакий маленький оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечесаный, а глазенки — как звездочки ночью после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он и кормился — кто что даст.

На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней

зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю.

Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научилась вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте».— «А мама?» — «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали».— «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню...» — «И никого у тебя тут родных нету?» — «Никого».— «Где же ты ночуешь?» — «А где придется».

Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я — твой отец».

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся... Как я тогда руля не упустил, диву можно даться! Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел,— побоялся ехать, как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмется ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и нашел я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!» Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом,

посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: «Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». А той — подай бог, она еще пуще разливается, прямо-таки размокла вся!

После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку — и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашонку, сандали и картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось и не по росту, и качеством никуда не годное. За штанишки меня хозяйка даже разругала. «Ты,— говорит,— с ума спятил, в такую жару одевать дитя в суконные штаны!» И моментально — швейную машинку на стол, порылась в сундуке, а через час моему Ванюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснусь, а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь! Норовишь не ворохнуться, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любуешься на него...

Перед рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало? А это сынок мой вылез из простыни и поперек меня улегся, раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя...

Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью, вот и сыт солдат на целый день. А с ним — дело другое: то молока ему надо добыть, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки, так он до вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там.

Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать еще засветло, днем наморился я очень, и он — то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда свое кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто! Пришлось изворачиваться: «В Воронеже осталось»,— говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел и проехал, а ты в Урюпинске оказался».— «А Урюпинск — это ближе Германии? А до Польши далеко от нашего дома?» Так и болтаем с ним перед сном.

А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, все это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зарница: вспыхнет, накоротке осветит все и потухнет. Так и у меня память, вроде зарницы, проблесками работает.

Может, и жили бы мы с ним еще с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем,— он в вашей области, в Кашарском районе, работает шофером,— и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командируемся в Кашары походным порядком.

Да оно, как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно подался бы из Урюпинска. Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. Вот уже когда Ванюшка мой подрастет и придется определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, осяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле.

— Тяжело ему идти,— сказал я.

— Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу, а захочет промяться,— слезает с меня и бегает сбоку дороги, взбрыкивает, как козленок. Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось,

поршня надо менять... Иной раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я — за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону... Разговариваю обо всем и с Ириной, и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть,— они уходят от меня, будто тают на глазах... И вот удивительное дело: днем я всегда крепко себя держу, из меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез...

В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде.

Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку:

— Прощай, браток, счастливо тебе!

— И тебе счастливо добраться до Кашар.

— Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке.

Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной.

Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина.

С тяжелой грустью смотрел я им вслед... Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставании, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза...

1956

Эммануил Казакевич

(1913—1962)

ПРИ СВЕТЕ ДНЯ

1

Наступал час рассвета. Утренняя серость постепенно, но с каждой минутой все напористее и быстрее вползала во все щели, проникала в темные подворотни, слизывала густые тени с порогов и стен. Прямоугольные пространства заполнились еще неопределенным туманом, вовсе не напоминавшим о солнце, но этот туман понемногу светлел, белел, розовел и вдруг, неожиданно задрожав, зажегся желтыми солнечными лучами на оконных стеклах верхних этажей.

Это повлекло за собой целый ряд новых звуков и картин. Ранний храбрец-автомобиль зафыркал в ближнем дворе. Донесся протяжный гудок отдаленного завода. Захлопали форточки. Зашаркали шаги. Дворничиха в белом фартуке громким и сладким зевком встречала в воротах встающее солнце. Продрогший за ночь милиционер гляделся в маленькое зеркальце и поправлял русую челку — при свете утра он оказался девушкой. С трамвайных рельсов с тихим шелестом убегали разгоняемые первым трамваем желтые листья.

Человек шел по мостовой, глядя по сторонам с любопытством, выдающим приезжего. Он был одет в солдатскую шинель, и за спиной у него висел вещевой мешок —

старый, побуревший от пота и дождей. Весь вид этого человека напоминал о недавно закончившейся войне, и только кепка на голове — обычная рабочая кепка, по-видимому, совсем новая,— была единственной данью наступившему мирному времени. Она и выглядела не к месту, и лицо человека — скуластое, голубоглазое, с добрыми, словно припухшими губами — из-за этой кепки многое теряло в своей солдатской выразительности.

Человек внимательно и чуть удивленно приглядывался к оживающим московским улицам. Большая машина, поливающая мостовую, прошла мимо, обдав его водяной пылью. Он улыбнулся и приветливо помахал рукой шоферу. В этом движении чувствовалась свобода — однако не развязность городского жителя, а скорее независимость исходившего тысячу дорог солдата.

Даже в том, что он шел не по тротуару, а по мостовой, даже и в этом, пожалуй, сказывалась солдатская закваска, привычка к хождению строем, к ощущению себя не единицей, а частью колонны, для которой тротуар — слишком тесное место.

Хотя человек был, несомненно, нездешний — его мятая шинель свидетельствовала о сне на вагонной полке — и, возможно, даже приехал в Москву впервые, но в нем не чувствовалось никакой растерянности: военная привычка к перемене мест выбила из него, как и большинства бывших солдат, следы провинциальности, деревенщины, скованности движений. Возле перекрестков он останавливался, читал название улицы и шел дальше уверенным и ровным шагом. Было похоже, что кто-то подробно растолковал ему путь следования и он — из спортивного, быть может, интереса — не задавал ни милиционерам, ни ранним прохожим никаких вопросов.

Единственное, что с несомненностью выдавало его принадлежность к деревне, была приветливость: он здоровался с ремонтными рабочими, уже собиравшимися к своим «объектам», вежливым и веселым «Здравствуйте».

В этом слове и, главное, в том, как оно произносилось, можно было распознать и просто естественную приветливость русского деревенского человека, и особое уважение к труду рабочих, подновляющих не какие-нибудь дома, а дома столицы, Москвы — предмета гордости и мечтаний миллионов сердец в различных дальних углах обширнейшего из государств.

Так он прошел всю Кировскую улицу и вышел на площадь Дзержинского. Тут, на этой площади, к которой схо-

дилось множество широких и узких улиц, можно было бы и спросить, как идти дальше, но, постояв с минуту в задумчивости, человек перешел на противоположный тротуар, перерезал наискосок еще улицу, поплутал в каких-то переулках и очутился на другой площади. Здесь он остановился, соображая, как идти дальше, но внезапно заметил в очертаниях площади и в простиравшейся вдоль нее высокой красной стене что-то торжественное и необыкновенно знакомое. Затем он увидел Мавзолей Ленина и тогда понял, где находится. Он весь похолодел, ибо, зная, что Красная площадь существует, и в подробностях зная все, что на ней расположено, он тем не менее был огорошен тем, что все здесь на самом деле именно такое, каким оно представлено в кинофильмах и на тысячах виденных им рисунков, фотографий, картин и газетных заставок. Больше всего удивило его, быть может, то обстоятельство, что он просто вошел на эту площадь, точно так же, как и на любую другую. В своей гордости за Москву и в особенности за ее святая святых — Красную площадь он, пожалуй, предпочел бы, чтобы сюда входили по-особому, как-то совсем не так. Чтобы сюда билеты продавали, что ли.

— Так вот куда ты залетел, Андрей Слепцов,— сказал он себе вполголоса и вынул правую руку из кармана, словно для отдания чести. Левая же рука осталась в кармане, и это было бы странно для солдата, если бы рука существовала. Но руки левой не было, а был только рукав.

Андрей Слепцов постоял на Красной площади добрых минут двадцать, наконец повернул направо. У Охотного ряда он впервые обратился к постовому милиционеру, и тот растолковал ему, куда идти дальше. А идти ему следовало до площади Пушкина, чтобы затем, повернув по бульвару, дойти до нужного переулка.

Однако было слишком рано стучаться в дом. Поэтому Слепцов, не заворачивая в переулок, сел на бульваре на скамейку. Здесь он вскоре незаметно задремал.

Когда он проснулся, было уже часов девять. Все кругом изменилось до неузнаваемости. Пустынные, гулкие улицы, широко и свободно лежавшие под нежаркими утренними лучами солнца, превратились в шумливый и пестрый человеческий улей. Гул и топот, жужжание и цоканье, человеческие голоса и короткие сигналы автомобильных сирен заполнили все на этой огромной ярмарке, стремительной, пританцовывающей, то и дело вскрикивающей, всхрапывающей от удовольствия, от любования собственной скромностью, собственным многоголосием и разнообразием. Это все было

настолько неожиданно, что у Слепцова зарябило в глазах. В состоянии радостной растерянности прошел он сквозь строй нянек с детьми с бульвара в переулок, а там — к тому двору, который был ему нужен.

То был обычный московский двор среди многоэтажных стен большого кирпичного дома. Но и здесь люди любили цветы и траву. Посредине двора был устроен маленький садик с клумбами, на которых уже не было цветов, однако оставалась зеленая травка. Этой травке Слепцов подмигнул, как доброму знакомому и союзнику среди кирпича, стекла и асфальта.

Окинув взглядом бесконечное множество окон и балконов, Слепцов вдруг заволновался. Он застегнул шинель на все крючки и направился к дому, к одному из подъездов, возле которого на низкой скамеечке сидела старушка в белом платочке, в очках и вязала чулок. Нехитрое и древнее занятие ее живо напомнило Слепцову деревню, и он поэтому обратился к ней запросто.

— Скажи-ка, бабушка, где тут Нечаева проживает?

Старушка подняла на него строгие глаза, но медлила с ответом, разглядывая пришельца довольно бесцеремонно. Слепцов слегка улыбнулся и осведомился:

— Не оглохла, бабушка?

Бабушка была готова рассердиться на него за непочтительный вопрос, но тут заметила пустой рукав и, сразу же погрустнев и подобрев, сказала:

— Иди, голубчик, вон туда, напротив, в шестой подъезд, и подымись на третий этаж.

Слепцов медленно пошел туда, куда ему указали, и поднялся по лестнице. На третьем этаже он перевел дух, проверил крючки на шинели и позвонил. Дверь отворилась.

2

На пороге стоял бледный мальчик лет двенадцати. Он молча ждал, что скажет пришедший. Пришедший же стоял тоже молча и только смотрел на мальчика; лицо солдата приобрело беспомощно-нежное выражение.

— Стало быть, я Андрей Слепцов,— сказал он наконец. Его голос заметно дрожал.— Вот какое дело.

Он подождал, пристально вглядываясь в мальчика и, видимо, ожидая, что имя и фамилия о чем-то ему напомнят. Но мальчик молчал все так же выжидательно

и отчужденно. Тогда Слепцов, слегка обидевшись, отрывисто спросил:

— Тебя Юрой зовут?

— Да,— сказал мальчик, удивившись.

— Да, Юрой,— уже веселее заговорил Слепцов.— Я тебя узнал. Еще бы не узнать... А ты вот меня не узнал. А не узнал ты меня потому, что сроду не видел.— Он засмеялся коротким взволнованным смешком и продолжал: — Что же ты так плохо гостей принимаешь, даже в дом не позовешь? А я, можно сказать, почти неделю все еду да еду. Издалека, значит. Из Сибири. Слышал про город Красноярск? Ну вот, я из-под самого Красноярска к тебе в гости и пожаловал, Юрий Витальевич...

Мальчик неуверенно сказал:

— Пройдите, пожалуйста.

Он отступил в глубь коридора и отворил другую дверь. Слепцов пошел вслед за ним, и они очутились в небольшой квадратной комнате, служившей, видимо, столовой и в то же время детской. Тут помещались буфет с посудой, стол, небольшая кровать и этажерка с книжками, школьными тетрадками и глобусом. На покрытом клеенкой столе стыл стакан чаю, лежал кусок хлеба, желтел на блюдце кусочек масла. Очевидно, звонок Слепцова оторвал мальчика от завтрака. Слепцов окинул взглядом стол и сказал:

— Да ты, оказывается, завтракал. Садись, продолжай, не стесняйся. А где мама?

— Мама ушла на службу.

— Ольга Петровна, значит, на службу ушла? — переспросил Слепцов, с видимым удовольствием называя мать мальчика по имени-отчеству и как бы лишний раз доказывая этим свою полную осведомленность в отношении людей, к которым приехал.— Так, так... Ну что ж, придется подождать.— Он говорил все это многозначительно, напуская на себя некоторую таинственность, что никак не шло к его открытому и ласковому лицу. Поставив свой вещевой мешок возле двери, а поверх мешка бросив шинель и кепку, он уселся на стул. Затем он окинул взглядом этажерку с книгами, глобус, глаза его посуровели, и он спросил: — Как учимся?

Мальчик ответил несколько уклончиво:

— Ничего.— Его тонкое лицо на мгновение затуманилось, и он, пересилив себя, добавил: — Две тройки. А все остальные пятерки.

— Понятно,— сказал Слепцов. Он внимательно посмотрел на мальчика и решил, после короткого размышления,

не упрекать его за тройки. Он только повторил: — Понятно.— И добавил:— Твой отец был человек ученый, и ты должен быть тоже ученым человеком, культурным, одним словом сказать — советским.

Мальчик слабо улыбнулся поучению солдата,— в этой улыбке сказалась некая доля столичного высокомерия по отношению к простоватому ходу мыслей провинциала. Слепцову, во всяком случае, эта улыбка не понравилась, и, выказав несомненную тонкость в понимании затаенных мыслей, он недовольно и сурово посмотрел мальчику прямо в глаза, отчего Юра смутился и принялся за завтрак.

Пока он, сидя в неловкой позе, медленно пододвинул к себе чай и хлеб, Слепцов, расположившись в углу в мягком кресле — здесь было уютно и полутемно,— глядел на него так внимательно, словно изучал каждое его движение и искал в повороте головы, в линии губ и подбородка и вообще во всей повадке мальчика знакомые черты. И, находя их во всем, а главное — во взгляде, несколько рассеянном и печальном, удовлетворенно покачивал головой. Его только удивляла напряженность в позе и во всем поведении мальчика. Он, разумеется, не мог знать, о чем думает Юра в это время. А Юра думал о том, что вот нужно пригласить приехавшего издалека человека к столу, а на столе всего в обрез и сахару нет, есть только маленькая конфетка, которой и на стакан чаю не хватит,— все в той скудной норме, какую получали по карточкам. И мальчик, сидя в неловкой позе — ему было стыдно, что он не зовет человека к столу, и в то же время жалко поделить с ним свой убогий завтрак, ибо он сам был очень голоден,— размышлял о том, как быть. Наконец он, вздохнув потихоньку и посмотрев на хлеб и масло долгим прощальным взглядом, поднял на Слепцова серьезные глаза и сказал:

— Садитесь, пожалуйста. Мы позавтракаем вместе.

Приняв не без внутренней борьбы такое решение, Юра явственно повеселел, у него будто камень с души свалился. И, заметив в нем эту перемену, Слепцов тоже оживился, встал с места и воскликнул:

— Хотя я и не очень голодный, но не откажусь, раз ты меня приглашаешь! Только уж не обижайся, я и свои харчи к твоим прибавлю.

Он подошел к вещмешку, ловко развязал его единственной рукой и стал молча выкладывать из него на стол свертки, один другого аппетитнее и жирнее. На столе понемногу образовалась горка вкуснейшей еды, среди которой были связка копченой и вяленой рыбы и полосы жареного мяса.

Мальчик смотрел на все это и не верил своим глазам. Потребовалось трехкратное приглашение Слепцова, чтобы Юра принялся за обильную пищу, ненормированную, жирную, острую и притом еще пахнущую дальними дикими пространствами, где рыбу не покупают в магазине, а ловят в больших реках, а мясо достают с помощью ружья и ножа. Юра опьянел от еды и, как все пьяные, стал болтлив. За время завтрака он успел поведать Слепцову немало своих горестей и радостей, в том числе обиду на учительницу географии, несправедливо ставившую отметки, подробности своей ссоры с приятелем, неким Федей, историю разных находок и пропаж и многочасовых прогулок в одиночестве или стаей, с ленивым глазением на уличную жизнь большого города, с сованием носа во все уличные перепалки и во все раскрытые окна нижних этажей.

Слепцов слушал внимательно, иногда покачивая головой, как бы в подтверждение своего внимания или в знак согласия. Потом он спросил:

— Кем ты желаешь быть? — И тоном всесильного человека, от которого зависит все, добавил: — Ты не тушуйся, скажи.

Может быть, человек, выложивший на стол такую гору вкусной еды, и впрямь показался Юре всесильным. Так или иначе, он откровенно признался в том, что хочет быть летчиком-истребителем. Слепцов вошел к нему в такое доверие, что Юра чуть было не высказал ему свою самую главную и самую постоянную мечту — обычную, хотя и тщательно скрываемую, лелеемую в дальних тайниках души, сладкую мечту всех мальчиков, много болевших и физически слабых, но в то же время (может быть, именно поэтому) очень самолюбивых: быть силачом, притом самым сильным силачом на свете. И вовсе не ради почестей и славы. Он был бы готов согласиться на то, чтобы никто на свете не знал о его силе — до поры до времени, до первой увиденной им несправедливости: большие обижают маленького, сильные — слабого, злые — доброго, богатые — бедного, многие — одного.

Глядя исподлобья на Слепцова и отмечая про себя нежность слепцовского взгляда, Юра тем не менее не решился рассказать сибиряку о своей мечте, понимая, в сущности, что это детская мечта, слишком прекрасная, чтобы быть осуществимой. При этом он с практичной и печальной мудростью ребенка, редко в своей жизни евшего досыта, подумал, что, если бы у него каждый день был такой завтрак, как сегодня, он и в самом деле мог бы стать силачом. В свя-

зи с этой мыслью ему пришло в голову, что он слишком увлекся чужой едой; и, вместо того чтобы потянуться за очередным куском рыбы, он, помедлив минуту, откинулся на спинку стула.

— В школу, что ли, пора? — спросил Слепцов.

— Нет, я во второй смене,— ответил мальчик.— Мне нужно уроки доделать.

— Правильно,— согласился Слепцов.— Я тебе мешать не буду. Ты делай, а я здесь в уголке посижу.

Однако сел он не сразу. Он медленно обошел всю комнату, изучая предметы обстановки внимательными глазами. Увидев на стене два женских портрета, он спросил, кто эти женщины, а узнав, что одна — знаменитая ученая Мария Кюри, а другая — знаменитая артистка Комиссаржевская, поглядел на них с уважением. Затем он полистал настенный календарь, повертел глобус и наконец уселся в то же мягкое кресло в уголке. Здесь он искусно закрутил одной рукой с помощью колена цигарку махорки, но подумал, что в комнате курить, вероятно, не полагается и следовало бы выйти покурить на улицу или хотя бы в коридор. Но было лень вставать. Юра медленно и старательно писал. Стенные часы с резьбой приятно и долго прозвенели. Слепцова опять стало клонить в сон. Он боролся со сном, так как хотел проводить Юру в школу, но с каждой минутой все больше сказывалась усталость пяти дней путешествия в бесплацкартном, напиханном людьми вагоне, и Слепцов наконец уснул — второй раз за утро.

3

Слепцову приснилось, что он сидит в устланном соломой окопе и курит махорку, а рядом с ним дремлет капитан Нечаев, командир батальона. Слепцов внимательно смотрит на бледное, усталое лицо Нечаева, на его мокрую, набухшую шинель. Длинные ресницы Нечаева опущены, они влажны от дождя, нежно перепутаны и приклеены к подглазьям. Слепцов должен разбудить капитана, потому что обязан сообщить нечто очень важное. Он мучительно вспоминает, что именно он обязан сообщить, и не может. Но вдруг он слышит рядом с собой детский плач, и тогда он почему-то вспоминает, что должен был сказать капитану Нечаеву. Он должен был ему сказать, что исполнил его предсмертное завещание — приехал в Москву, к его семье, и передаст ей все, что обещал передать. И тут Слепцов во

сне вдруг спохватывается, что Нечаев-то сидит рядом живой и, следовательно, не мог еще сказать ему предсмертных слов. И Слепцову становится страшно, и он хочет разбудить Нечаева, но боится, что если он его разбудит, то Нечаев сразу умрет, как он уж и так умер. Во сне Слепцов понимает, что все это какая-то «мура», несусветица, и ему приходит в голову, что, может быть, Нечаев не умер, а Слепцову только снилось, что комбат умер и, умирая, просил побывать в Москве у его семьи; и даже то, что война кончилась, Слепцову тоже только приснилось здесь, в окопе. И Слепцов опять чувствует всю запутанность ситуации, но никак не может из нее выпутаться. Но что действительно кажется совсем реальным, то это плач ребенка рядом. Слепцов по этому поводу удивляется — как здесь очутился ребенок, может быть, где-то поблизости скрываются беженцы, бездомные. Слепцов глядит поверх бруствера и видит невдалеке маленький городишко, пестрый, с желтыми и розовыми домиками, явно нерусский — вероятно, один из тех венгерских городков с труднопроизносимыми названиями, которых Слепцов немало навидался, перед тем как вражеская разрывная пуля раздробила ему руку.

В этот миг ресницы Нечаева вздрагивают и с трудом отлепляются от лица, Нечаев открывает свои большие глаза и взглядывает на Слепцова взглядом неторопливым, всевидящим и как бы очень успокоенным и довольным.

Слепцов, похолодев, проснулся. Детский плач наяву оказался еще громче, чем во сне. Но Слепцов еще некоторое время находился в обаянии сна, и, когда наконец очнулся окончательно и понял, где находится, его сердце жарко сжалось от никогда с такой силой не испытанного чувства счастья.

Юры уже не было. Не было на столе и его тетрадей. Сибирская снедь, аккуратно сложенная на газете и укрытая другой газетой, была придвинута к тому углу стола, который был ближе других к Слепцову. Плач младенца доносился из соседней комнаты, а вскоре появился и сам виновник этого шума. То была маленькая девочка, лежавшая на больших красных руках молодой грудастой женщины с растрепанными соломенными волосами. Женщина держала девочку перед собой на ладонях полувытянутых рук — одна ладонь под головкой, другая под попкой — и слегка покачивала, голенькую, полненькую, кричащую и с остервенением совавшую себе в рот маленькие кулачки с похожими на лепестки крохотными пальцами.

Продолжая покачивать младенца на полувытянутых руках, женщина певуче спросила:

— Издалека, что ли?

— Издалека,— ответил Слепцов и спросил, в свою очередь: — Чего она у вас надрывается?

— Не пойму. Уж и так и этак...

— Может, есть хочет?

— Не-е... Недавно ела. Срыгнула даже. Може, животик болит, кто ее знает. Бессловесная ведь.

Слепцов подошел к младенцу. Девочка, уловив своими блуждающими глазами незнакомое лицо, широко улыбнулась беззубым ртом, обнажив десны чистейшего розового цвета. Трудно было даже поверить, что за мгновение до того она плакала так надрывно, словно ее маленькое сердце до края переполнилось всеми горестями и несправедливостями нашей окаянной планеты. Слегка возгордясь своим успехом и преисполнясь по этой причине особой нежности к девочке, Слепцов почмокал губами, пощелкал языком, повращал глазами — одним словом, энергично пустил в ход все небогатые двигательные возможности человеческого лица; он был готов пожалеть, что у него нет длинных ушей, чтобы ими похлопать. Младенец продолжал улыбаться с бессознательно-покровительственной миной, словно знал, что все эти ухищрения делаются ради него, и казалось — он улыбается уже через силу, только с целью поощрения столь больших стараний.

— Пойдешь ко мне? — спросил Слепцов.— А? Пойдешь? Иди ко мне. Не заплачешь?

Он осторожно просунул под младенца свою единственную руку и ловко уложил его на руке, головкой к своему плечу. Девочка лежала на руке, как в колыбели, и внимательно смотрела на лицо Слепцова, которое теперь видела в ином ракурсе, что, может быть, показалось ей особенно забавным. Нянька между тем, обрадованная неожиданным умиротворением девочки, засуетилась, выбежала, принесла пеленки и одеяльце, закутала девочку, снова уложила ее на слепцовскую руку и сказала удивленно и фамильярно:

— Тебя бы няней. Ишь как смеется!

— У меня на детей приворотное слово есть,— деловито объяснил Слепцов.

Нянька широко раскрыла глаза и села на стул.

— Ну? Врешь.

— Вот тебе и ну. Погляди мне в глаза. Огоньки видишь?

Нянька с некоторым почтением посмотрела Слепцову в зрачки, увидела в них светлые отсветы окон и неуверенно сказала:

— Вижу будто.

— В них-то все и дело. А теперь я скажу слово, а ты повтори, и если запомнишь, то у тебя дитё всегда будет спокойное и довольное. Слушай. Секешфехервар.

Он повторил еще дважды, делая при этом таинственное лицо:

— Секешфехервар. Секешфехервар.

И сам улыбнулся: это название венгерского города было испытанием для всего Третьего Украинского фронта.

Она уже поняла, что он шутит, однако шутки его, притворно серьезная мина и ласковые морщинки сбоку глаз понравились ей, развеселили ее. Она впервые посмотрела на него не как на странного посетителя, неизвестно по какому делу приехавшего, а как на приятного и видного собой мужчину. И она перешла с «ты» на «вы», стала жеманно выговаривать слова, неестественно похохатывать, глядеть на него уже не прямо, а искоса, с тем примитивным, но, в сущности, милым кокетством, какое было в ходу в ее деревне, и все хотела, но не решалась спросить, есть ли у него семья.

Вдруг она всплеснула руками:

— Ой, горе мое! Очередь не пропустила ли в булочной?! Вам все сеше-хеше, а тут хлеба может не хватить. Я мигом. Не скучайте.

Она искоса бросила на него последний зазывный взгляд и убежала. Хлопнула дверь, другая, и стало очень тихо, даже тише, чем в деревне. В деревне лает собака, квохчет курица, мычит корова, а здесь было беззвучно-тихо, как может быть тихо в пустынной городской квартире на малопроезжем переулке днем, о ту пору, когда дети в школах, а старшие — на службе.

Слепцов, оставшись в одиночестве с девочкой на руках, или, вернее сказать, на руке, устроился удобнее в кресле. Ему хотелось курить, но он не стал тревожить задремавшего младенца и только приговаривал:

— Сейчас твоя мамка вернется, хлебца принесет из очереди свеженького, молочка тебе даст, тогда мы закурим, выйдем, значит, в коридор, культурно, чтобы на тебя дымом не пыхать.

Он запел вполголоса диковатую колыбельную, созданную каким-то человеконенавистником для запугивания маленьких детей:

А надысь на дворе
Чтой-то грохотало,
А как вышел я на двор —
Оно перестало...
У-у-у, у-у-у...

Девочка задремала, затем проснулась, заплакала было, но, опять увидев в поле своего зрения то же лицо, пристально и упорно стала в него вглядываться, и при этом ее взгляд выражал такой, казалось, ясный и глубокий ум, такую, казалось, сосредоточенную мысль, что Слепцову, растроганному и пораженному, на мгновение представилось, что она все знает о нем и видит его насквозь. И лишь когда она снова беззубо и розово улыбнулась, он как бы опомнился от своей минутной иллюзии и сказал умиленно:

— Девочка. Девочка. Маленькая девочка.

И он подумал, что маленькие девочки приятнее и нежнее мальчиков — у него-то самого было двое мальчишек, и он относился к ним с нарочитой грубоватостью, чтобы «не мягчели зря». А с девочкой он был бы гораздо ласковее. Он не мог бы быть с ней грубым, думал он теперь.

«Мамка» все не приходила. Девочка лежала спокойно, с открытыми глазами.

— Какая ты будешь? — спросил Слепцов.— Скажи, пожалуйста.— Он вскинул вверх глаза, посмотрел на портреты знаменитых женщин и, сделав движение подбородком к строгому лицу Марии Кюри, спросил: — Вот такая, как эта? — Он сделал такое же движение подбородком по направлению ко второму портрету и опять спросил: — Или же вот как та?.. Скажи. Чего же ты не говоришь? Не тушуйся, девочка. Маленькая девочка.

Но вот брякнул замок, звякнула цепочка, стукнула дверь, застучали каблучки.

— Вот и мамка твоя,— сказал Слепцов и посмотрел на дверь, заранее ухмыляясь.

Но когда дверь открылась, вошла совсем не «мамка», а она, Ольга Петровна Нечаева,— рослая, светловолосая, несколько полная, стремительная, будто летящая. Слепцов сразу узнал ее по десятку фотографий, бывших всегда при комбате, а теперь лежавших у Слепцова в нагрудном кармане. Не имея возможности встать — рука была занята, кресло было низкое и глубокое,— Слепцов только смотрел на нее и ничего не мог сказать дрожащими губами.

4

Ольга Петровна остолбенела при виде девочки на руках у чужого человека, но именно то, что незнакомец держал малютку на руках (девочка пускала пузыри и хватала его за подбородок), немного успокоило Ольгу Петровну: вор вряд ли стал бы нянчить младенца в чужой квартире. Ольга Петровна решила, что незнакомец — односельчанин или приятель Паши. Однако он был человеком с улицы и поэтому никак не годился в няньки по санитарно-гигиеническим соображениям. Поэтому она подбежала к нему, довольно резким движением отняла у него ребенка и недовольно спросила:

— Где Паша?

Слепцов встал с кресла. Он стоял очень сконфуженный, как будто в чем-то виноватый.

— Мамка ее? — переспросил он.— Она в очереди. Хлеб получает... Здравствуйте, Ольга Петровна. Я Андрей Слепцов. Вы, может, знаете... Может, слышали... верней, читали мою фамилию...

— Как читала? Где читала? — недоуменно спросила Ольга Петровна, тем временем быстро закутав ребенка и положив его на подушку, которую ради этого взяла с изголовья Юриной постели и кинула на кровать плашмя.

— Я по поручению моего командира, Виталия Николаевича Нечаева... прибыл из Сибири. Как обещал ему. Хотя поздненько, но прибыл. Раньше никак не мог, уж извините, долго после ранения лечился...

Ольга Петровна замерла над ребенком, потом выпрямилась, обернулась и медленно пошла к Слепцову. Он тоже сделал шаг ей навстречу. В глазах у нее был испуг,— вероятно, оттого, что солдат говорил о ее муже, как о живом, как о где-то существующем. Потом она вдруг непривычно для себя засуетилась, заволновалась.

— Садитесь, садитесь,— сказала она.— Да, да... Превосходно... Я сейчас... Минуточку.

Она вышла будто бы по хозяйству, а на самом деле для того, чтобы постоять в одиночестве, отдышаться, прийти в себя. В то же время она, несмотря на свое внезапное волнение, продолжала механически делать свои обыденные дела и находила в этом некое успокоение. Она сняла через голову и повесила в шкаф на плечики свое платье и вместо него надела, сняв с соседних плечиков, пестрый халат с короткими рукавами. Затем она пошла в кухню, зажгла керосинку и поставила на нее эмалированный чай-

ник. Сменила заварку в фаянсовом чайнике. Сложила в миску грязные стаканы для мытья.

Понемногу она успокоилась. Когда в коридоре позвонил телефон, она пошла к нему уже своей обычной, быстрой, будто летящей походкой, несколько преувеличенно самоуверенной, и в трубку говорила уже с полным самообладанием, с обыкновенными своими чуть насмешливыми в конце фразы интонациями, придающими ее разговору своеобразную прелесть.

— Да, да. Кормлю ребенка,— сказала она.— Нельзя ли наш разговор отложить на завтра? У меня тут гости. Значит, сегодня меня в институте не ждите, хорошо? До завтра.

Положив трубку, она постояла с минуту неподвижно и с досадой отметила, что ей трудно вернуться обратно в столовую, к однорукому солдату. Она упрямо мотнула подбородком и пошла в столовую.

— Садитесь,— сказала она с оттенком приказания в голосе, застав Слепцова на прежнем месте посреди комнаты. Ее взгляд упал на мясо и рыбу, по-прежнему лежавшие на краешке стола, и она, улыбнувшись без нужды, а только так, для того чтобы имитировать непринужденный разговор, добавила: — Вижу, вы тут уже успели позавтракать.

— Да, мы тут вместе с Юрой,— пробормотал Слепцов сконфуженно, и в его глазах пробежало выражение жалости, почему-то кольнувшее Ольгу Петровну, как упрек.

Она сказала деловито:

— Значит, вы говорите, что Виталий Николаевич...

Лицо Слепцова сразу стало просветленным и торжественным.

— Да,— сказал он.— Он скончался на моих руках и просил... поручил мне... я ему дал слово. И вот я прибыл.

Ольга Петровна быстро закивала головой. Она с ужасом чувствовала, как ею опять овладевает непривычная для нее суетливость и разорванность сознания. Она с беспокойством покосилась на девочку. Та лежала молча, глядя в потолок с сосредоточенным, задумчивым видом. От девочки Ольга Петровна быстро перевела взгляд на солдата — солдат был точно так же сосредоточен и задумчив. Ольга Петровна села на тот стул, на котором утром сидел Юра, между девочкой и солдатом, положила на стол крест-накрест свои белые полные руки с золотистыми волосиками и сказала:

— Я вас слушаю.

Слепцов медленно заговорил:

— Товарищ Нечаев умер на моих руках, в полном сознании. Мы не успели его довезти до санитарной части. Мы пробовали, но дорога была плохая, в ухабах, и ему очень было больно от тряски на повозке, так что пришлось нести его на носилках. А ранения у него были тяжелые. Весь батальон был в тяжелом горе, его у нас все любили, и солдаты и офицера́. Командир дивизии тоже: чуть что, какое важное задание — сразу капитан Нечаев... К слову сказать, после его смерти уже — а умер он, вы, наверное, знаете, второго мая тысяча девятьсот сорок четвертого года, в праздник,— денька через два пришел приказ о присвоении ему звания майора. Так что, если у вас в бумагах не указано про это, то надо сказать в военкомате — может, пенсия будет поболе... Любили его за честность, за душевность... Да вы-то знаете, не чужой ему человек... И в бою он был спокойный. Может, был бы жив, если бы не честность его да храбрость: его не раз хотели у нас забрать — то в армию, в отдел кадров, то в оперативный отдел, в корпус,— человек образованный и к тому же боевой командир. Но он не хотел, отказывался. Еще за неделю до последнего боя командир дивизии при мне его звал в свой штаб. «Ты интеллигент,— говорит он ему,— ты совестливый, всегда хочешь примером солдату быть, лезешь вперед, как безумный... Убьют тебя. Переходи ко мне». А товарищ Нечаев засмеялся и говорит: «Интеллигентов так редко хвалят! За это одно я здесь останусь». А командир дивизии ворчит: «Разве я тебя хвалю? Я тебя ругаю, а ты ду́маешь — хвалю...» Оба они были интересные, как сойдутся — такое наговорят...

В дверях показалось круглое лицо Паши. Увидев хозяйку, она оробела — как бы та не накинулась на нее за то, что бросила ребенка на чужого дядю и развела уже после получения хлеба тары-бары с соседскими няньками. Но хозяйка ничего не сказа́ла, даже не обернулась к ней. Более того,— не желая, чтобы Паша с ней заговорила, она еще ближе подвинулась к солдату и несколько раз настойчиво повторила:

— Продолжайте, продолжайте.

Паша бесшумно прошмыгнула мимо нее к кровати, взяла девочку и унесла ее из комнаты, облегченно вздохнув на пороге.

— Продолжайте,— повторила Ольга Петровна, но, когда Слепцов снова заговорил, она вдруг встала с места и сказала: — Подождите. Я отлучусь на несколько минут по хозяйству.

Пока Ольга Петровна была в отсутствии, перед глазами Слепцова проходили, словно наяву, картины военной жизни. Он почти забыл, где находится. Вокруг него клубился туман фронтовых дорог, шли с потушенными фарами вереницы грузовиков, вились среди сырых опадков хвои неглубокие траншеи, саперные лопатки ударяли по дерну, рассекая тонкие корни трав, дождь стучал по капюшонам плащ-палаток; дождь и вёдро, зной и стужа, ночевки в лесу на елочном лапнике и в позолоченных залах княжеских дворцов — все это сменяло одно другое. Когда Ольга Петровна вошла и уселась на прежнее место, Слепцов заговорил свободно и плавно, забыв про свое смущение, словно перед привычными слушателями — такими же, как он, инвалидами в колхозной чайной.

Между прочим, Ольга Петровна была уже не в халате, а в черном закрытом платье, но солдат не заметил этого переодевания, а если и заметил, то не уловил его нарочитости.

— Повстречались мы с Виталием Николаевичем в первый раз,— начал Слепцов свой рассказ,— еще в сорок первом году, летом. Прибыл я тогда из тыла с пополнением в действующую армию. Бросили нас под Москву в контрнаступление — только не в то большое, зимнее, а раньше, когда немец был еще в силе, а мы только изредка огрызались, как могли. И вот тогда собрали много сил на одном участке и бросили против немца... Идем мы, значит, из штаба дивизии в полк. Перед этим дожди прошли большие, дорога вся размытая, ноги не идут, а на душе тревога: почти все молодые, необстрелянные, на западе зарево и стрельба такая, что душа уходит в пятки, на дороге — побитые кони, много побитых коней, и ямы от бомб. Однако идем мы, а рядом с нами топает по грязи офицер, старший лейтенант — не наш, а попутчик,— курит все время, шинелишка худая, сапоги кирзовые.

Из чего эта кирза делается — это никому не известно; вещь хотя и неказистая, а прочная, держится долго, зато уж если поползет на нитки, то расползается быстро. А у этого старшего лейтенанта голенища крепко поползли... Лицо у него худое, темное, и в очках он.

И вот мы идем и замечаем — не ест он ничего, а потом и курить перестал. Мы привал делаем — и он садится отдыхать. Мы, значит, едим, а он — того, не ест. И стало

нам его жалко, особенно когда заметили мы, что он не курит, а курильщик, видно, отчаянный.

И вот старший из нас, Черепанов, пожилой человек, доброволец, бывший уральский партизан, подходит к старшему лейтенанту и так вежливо приглашает, пойдемте, дескать, покушайте с нами. Старший лейтенант к нам подсел, поел, махорки мы ему дали, и дальше пошел он с нами, как наш человек. А в полку он исчез. Когда же мы пришли в батальон, видим — он уже там, и он и есть наш командир батальона. Прислали же его из другого полка, где он командовал ротой и так хорошо воевал, что получил повышение на комбата, а на другой день ему орден Красного Знамени вручили.

Обрадовался он мне и Черепанову, как родным: главное, говорит, за махорку спасибо. «Это был поступок!» — говорил он нам (он так иногда говорил, и мы все тоже приучилися так говорить, и это стало как высшая похвала в нашем батальоне).

Товарищ Нечаев взял меня к себе телефонистом, а Черепанова — связным. Жизнь пошла такая — ни сна, ни отдыха, дни и ночи перемешались. Продвинулись мы на шесть километров, освободили четыре деревеньки. А через три дня командира полка не то ранило, не то убило, и товарища Нечаева — даром что всего лишь старший лейтенант — назначают командиром полка. Я дежурил у телефона и получил этот приказ и передал комбату, и он хотел уточнить, как и что, но тут порвалась связь. И товарищ Нечаев сдал батальон одному лейтенанту, а меня и Черепанова взял с собой, и вот приходим мы в полк.

Приходим мы в полк и спускаемся в землянку. А в землянке лежит майор — командир полка, раненый, и бредит он на полный голос, отдает в бреду команды и разные приказания, и весь горит, а врачей и санитаров нет, никак их не дозовешься. Я охрип тогда, вызывая кого-нибудь из врачей по телефону. Товарищ Нечаев перевязал командира полка, как мог, и все сидит возле него, мокрый платок ему кладет на лоб, пробует узнать про полк, да про его силы, да про его задачу, а тот ничего не видит и не слышит, а штаб полка вместе со своим начальником и со всеми картами и документами отрезан противником и сидит, обороняется где-то в деревне, за три километра.

И вот налаживаем мы связь с двумя батальонами, и только третий батальон никак не отзывается, и велит мне товарищ Нечаев восстановить с ним связь. Вылезаю я из землянки на свет божий и вижу: кругом все разбито

и раскромсано, и даже деревья и те разбитые. Беру я провод в руки и бегу, пригнувшись, по проводу к роще и вдруг вижу — в роще останавливаются машины, и оттуда выходят генералы и офицерá. И один из них подходит ко мне и спрашивает, где здесь НП полка, и велит мне проводить его туда. Откозырял я, как сумел, и веду его обратно к нашей землянке. И думаю, что веду генерала, а потом смекаю, что звезда-то у него на петлицах больно велика и всего одна. И весь шалею: никак, Маршал Советского Союза! Первый и последний раз видел я тогда маршала за всю войну.

Вбегаю я в землянку, а маршал и с ним один генерал и командир дивизии — полковник — идут за мной. А наш старший лейтенант, товарищ Нечаев, кричит в это время в телефон и смотрит в щель на наши боевые порядки. А обернувшись, он замечает маршала и командира дивизии, которого знал раньше, и рапортует, причем не очень громко, по-граждански больше, чем по-военному. Я даже подумал, что он не понял, кто перед ним. А маршалу это, должно быть, не понравилось, и посмотрел он на товарища Нечаева так пронзительно, что все испугались. Был он очень крут, и его боялись все командиры. И вот он спрашивает: «Почему не выполнили задачу дня? Сколько сил у противника на фронте вашего полка?» — «Не знаю»,— отвечает товарищ Нечаев и хочет объяснить, в чем дело, и показывает на раненого командира полка, который тяжко стонет в углу на соломе, но маршал не слушает, вдруг краснеет, начинает кричать и угрожать расстрелом и снова спрашивает: «Почему высотка, про которую докладывали, что она взята, у немцев? Очки втираешь, сукин сын?»

И тогда наш командир полка, старший лейтенант Нечаев, вдруг говорит: «Вы на меня не кричите».

И так он это спокойно сказал! У меня сердце зашлось. А маршал — тот задрожал от этих слов, и все думали, что сейчас он старшего лейтенанта застрелит, и впрямь его руки стали по воздуху шарить, как будто ищут чего-то. Но старший лейтенант так спокойно смотрел ему в глаза и сам был такой ясный, спокойный, что маршал, видно, хоть и сердился, но все-таки зауважал человека за то, что тот его не испугался. А командир дивизии, полковник, человек большой храбрости в бою, но перед начальством известный трус, молчал, хотя обязан был разъяснить, в чем дело.

Тогда-то наш Черепанов, тот самый старик доброволец, уральский партизан, вдруг в тишине негромко говорит: «Да он же командиром полка всего полчаса...»

Маршал повернулся, но, увидев, что это солдат, да еще старик, ничего не сказал, только наклонил свою большую голову — и опять к товарищу Нечаеву: «Слушай, командир полка. Видишь эту высотку шестьдесят один, пять? Завтра утром возьмешь ее. Возьмешь — получишь Героя Советского Союза. Не возьмешь — будешь расстрелян».

И наш командир на это ответил: «Хорошо». И улыбнулся. Ей-богу!

Маршал повернулся кругом и вышел, генерал и командир дивизии ушли за ним.

А мы остались. Я посмотрел тогда на нашего старшего лейтенанта и вижу: он все улыбается. Меня даже в пот бросило.

6

Гораздо позже, ночью, когда мы пробирались к третьему батальону — а мы всю эту ночь проходили от батальона к батальону, от батареи к батарее,— где-то в открытом поле мы прижались к земле, чтобы покурить, и я спросил у Виталия Николаевича: «Почему вы улыбнулись тогда?» Он подумал и ответил: «Мне его жалко стало».— «Кого жалко?» — «Маршала жалко».— «Маршала?» — «Да, ему плохо, ему хуже, чем нам. Он отвечает за все, за весь фронт. Видели, какие у него глаза красные? Какой у него рот горький?» Так он и сказал: «Горький рот»,— я хорошо это помню, вся эта ночь и весь день, все это как будто вчера было; я даже не слышал никогда, чтобы говорили так: «горький рот», эти слова мне понравились, такие они были необыкновенные... Ну, я признался Виталию Николаевичу, что на глаза и рот маршальский не смотрел и даже, по правде говоря, не подумал, что у маршала есть рот и глаза, а смотрел на его звезды на петлицах (погон тогда не носили), на его мундир. А Виталий Николаевич — он умел не на поверхность смотреть, а в душу... Что же я вам это говорю? Вы-то его знаете, не мне вам рассказывать...

Уехал, значит, Маршал Советского Союза, остались мы в землянке — товарищ Нечаев, Черепанов, да один лейтенант из первого батальона (пришел узнавать что да как), да полковой инженер. А майор, командир полка, вижу я, притих. Умер. И товарищ Нечаев снял с него планшет с картой и глядит на карту, потом бежит куда-то с Черепановым, возвращается с танкистом в черном шле-

ме — невдалеке, оказалось, танкетка стоит — и велит лейтенанту привести взвод солдат. И тот приводит, и вместе с танкеткой они отправляются на выручку штаба. И мне он велит исправить связь, и я бегу и исправляю, и когда возвращаюсь — его еще нету, а невдалеке слышатся разрывы гранат и выстрелы. Потом он возвращается вместе со всем штабом. И штаб приходит ни жив ни мертв, с сундуками, бумагами и полковым знаменем в чехле. И распоряжается товарищ Нечаев без криков, но все его слушаются. Знают все, что завтра этот старший лейтенант в рваных сапогах будет Героем Советского Союза или же будет расстрелян. И ему все быстро подчиняются и смотрят на него с особым уважением. И вроде бы жалеют его и как бы виноватые перед ним стоят.

А потом он велит мне принести воды умыться. Достаю я воды, приношу. Умывается он холодной водой. Предлагаем мы ему поесть — не ест. Поужинали все, а он нет; он офицеров штаба рассылает в роты и батальоны, а сам тоже идет и берет меня с собой. И ночь мы не спим, лазаем по окопам; и он спешит, перебрасывает взвода, и орудия, и минометы с места на место; и солдат расспрашивает про немцев и про их огневые точки, а особо он беседует с артиллеристами, заботится насчет снарядов и насчет пристрелки. И я его спрашиваю: «Вы, наверно, крепко военное дело изучали?» А он засмеялся: «Нет, говорит, я инженер, а по званию старший техник-лейтенант, случайно ротой стал в бою командовать — в тот момент никого поумней меня рядом не нашлось... Видишь, говорит, какую карьеру сделал: неделю наза́д — техник-лейтенант, сегодня — командир полка... А завтра...» Тут он замолчал и молчал долго. Я тоже, конечно, молчал.

В третий батальон было невозможно пробраться. Речка, низина, немцы всю ночь стреляют по ней из пулеметов. Полежали мы, покурили, потом поползли. А уже начинает светать, время идет. Что делать? Товарищ Нечаев полез в речку, и мы по грудь в воде час пробирались середь камышей, медленно, чтобы немцы не слышали плеск. И обратно тоже так.

Возвратились мы, было уже светло. Думал я, поспим часа два, потом наступать. Я-то действительно поспал немного, а командир не спал, все распоряжался да с начальником штаба приказы писал. Как проснулся я, вижу: встает он с места, перекладывает из вещмешка в карман гимнастерки запасные очки и говорит начальнику штаба: «Сиди здесь, командуй, разговаривай с начальством по телефону,

докладывай ему обстановку, а я пойду. Сам поведу полк высотку брать».

Взял он меня и Черепанова, и мы пошли. И когда мы поднялись на возвышенное место и увидели перед собой большак и железнодорожную насыпь с разрушенным полустанком, а за железной дорогой ту самую высотку, шестьдесят один запятая пять,— холмик с редкими березками,— и увидели наших людей, медленно шедших к большаку небольшими кучками, и артиллеристов, тащивших «сорокапятки» на прямую наводку,— в этот момент Виталий Николаевич приостановился и сказал:

— Хорошо бы — убили. Жена и сын не будут опозорены.

И понял я, что он опасается, что не сможет полк взять ту высотку.

Сил действительно было у нас мало. Главный удар наносил второй батальон. Товарищ Нечаев на эту ночь усиливал его за счет других двух батальонов. Этот батальон стал как бы штурмовой группой, а остальные два, малолюдные, только поддерживали его огнем.

Постоял товарищ Нечаев и пошел, а мы — за ним.

Может быть, немцы что-нибудь пронюхали — у нас-то всю ночь было неспокойно, роты передвигались для создания ударного кулака,— стрельба была сильная, но товарищ Нечаев шел вперед во весь рост. А я человек необстрелянный — когда рядом рвалась мина, я, конечно, падал на землю и впивался в нее, как клещ. Был я неопытный, притом о жене и детях думал, да и маршал мне расстрелом не грозился. А старик Черепанов — тот тоже не ложился, не кланялся снарядам. И оба ждали, пока я встану, но не упрекали меня, молчали.

Когда же мы пришли во второй батальон и дело уже подходило к девяти часам, началу атаки, и мы с товарищем Нечаевым и командиром батальона — тоже старшим лейтенантом — вышли на большак, где в обоих кюветах накапливался батальон для атаки, товарищ Нечаев вдруг оборачивается, манит меня пальцем и говорит: «Тут вот оставайся, тут и будешь. Будешь следить за связью со штабом полка и с соседом справа».

И жмет он мне руку крепко. И понимаю я, что он меня жалеет и не хочет брать с собой в атаку и потому придумал мне такое поручение, хотя вначале толковал, что я потащу за ним связь. Но не в силах я был ему возразить и по слабости человеческой обрадовался, так как боялся смерти и думал про свою семью. А для успокоения души думал:

«Командиру виднее». Черепанову он тоже велел остаться, а когда Черепанов стал ему перечить, он сделал вид, что рассердился, и сказал: «Выполняйте приказание». Однако Черепанов, как я потом узнал, все-таки ушел с ним.

Высотку мы взяли. Я-то этого не заметил, так как тащил свои телефоны в земле, как крот, а все кругом гудело, и убитых было много. Уже на той самой высотке узнал я, что мы ее взяли и что товарищ Нечаев был ранен в плечо и руку. Мне рассказывали, что все поздравляли его со званием Героя, а он смеялся, отмахивался. И верно, поздравления были прежде времени. Все наше наступление продолжалось еще три дня, а потом выдохлось — немец был в полной силе, а мы еще только учились, как его бить. И высотка эта, которая казалась маршалу самым главным делом, была уже никому не нужная, а впереди было еще столько высоток, что ежели за каждую расстреливать командиров полка или давать им Героя Советского Союза, то не хватит офицеров в армии и золота на звезды в целом государстве...

Черепанова, между прочим, тоже ранило вместе с вашим мужем. Но я их не видел, увезли их в тыл.

7

Во время рассказа солдата Ольга Петровна, слушая вначале рассеянно, а потом все с большим вниманием и напряжением, вспоминала покойного мужа, но вспоминала не так, как обычно в течение двух с лишним лет, прошедших со времени его гибели, а совершенно по-новому. Солдат казался ей как бы посланцем из другого мира — того мира, где Виталий Николаевич Нечаев жил отдельно от нее, где он умер и продолжает жить после смерти в воспоминаниях этого солдата. У нее ни на минуту не проходило ощущение, что однорукий солдат прибыл от живого Виталия Нечаева непосредственно — оттуда, где Виталий находится теперь,— настолько живы были его впечатления и настолько, в сущности, потрясающ его приход.

Ольга Петровна была далека от всякой мистики. Ощущение, что эти голубые глаза видели Виталия не два года назад, а только что, появилось оттого, решила она, что все, что рассказывал Слепцов, было для нее совершенно и абсолютно ново. Оно как бы относилось к Виталию Нечаеву и в то же время как бы не имело к нему никакого отношения, настолько он показался ей в рассказе и похожим и не похожим на себя.

С одной стороны, в словах солдата покойный муж ее вставал совсем как живой. Улыбка его, добрая и застенчивая до чрезвычайности, самозабвенность в любом труде, даже самом мелком, неумение заботиться о себе и условиях своей жизни, непрактичность, раздражавшая ее в нем нередко,— все это было на него похоже. Когда солдат произнес его слова: «Мне стало его жалко»,— Ольга Петровна даже вздрогнула, до того это ей напомнило его всего, до мельчайшей гримасы лица, его свойство, тоже иногда вызывавшее ее раздражение, «усложнять простые вещи», как она это называла когда-то, то есть всюду стараться находить побудительные причины и, поняв их, прощать.

Да, она узнавала его через слова солдата, словно солдат незримо рисовал его перед ней теплыми и ясными мазками, хотя солдат вовсе не пытался передать ситуации, о которых рассказывал, какими-либо средствами искусства или подражания.

Но, узнавая мужа в частностях, она не узнавала его в целом. Нечаев, встававший из слов солдата, был не тем человеком, которого, казалось, так хорошо знала Ольга Петровна,— рассеянным, робким, несколько инертным, увлеченным только своими расчетами и чертежами, только умственным и то до некоторой степени механическим трудом расчетчика, чернорабочего от инженерии. Слепцовский Нечаев вошел одетый в воду, а тот, ее Нечаев, простуживался от любого сквозняка и был мнителен, приписывая себе всевозможные болезни. Этот Нечаев был любимцем множества людей — тот был нелюдим, он был только уважаем, да и то слегка насмешливо. Этот Нечаев не боялся никого — даже маршала, который мог его расстрелять; тот опасался институтского начальства, которое могло его ущемить. В том Нечаеве, которого она знала раньше, не было как будто ни удали, ни хладнокровия, ни такого уж большого обаяния — всего того, что было в преизбытке у слепцовского Нечаева.

Этот, кроме прочего, оказывается, курил! Виталий не выносил табачного дыма. У этого был орден Красного Знамени, он командовал батальоном, полком! Несколько раз во время рассказа Ольга Петровна с полной искренностью думала: «Да полно, не случилась ли грубая и обидная ошибка? Может быть, солдат рассказывает совсем о другом человеке — однофамильце и тезке Виталия Нечаева. Он не туда попал, ему дали неверный адрес...»

Виталий Николаевич не писал ей о своих ранениях, о полученных наградах, званиях, должностях. Вероятно, он думал, что это не может интересовать ее. Но по мере того,

как она, деля свое возбужденное и утончившееся внимание между рассказом Слепцова и своими смятенными мыслями, вспоминала письма мужа и отдельные фразы из них, она не могла скрыть от себя, что, в общем, он сообщал ей о всех своих делах, передрягах, переводах из части в часть, с фронта на фронт. Перед ней всплыла фраза: «Вот у меня и вторая царапина — все идет отлично». Он сообщал ей об этом в игривом тоне — конечно, потому, что не хотел ее волновать.

Она стала упорно вспоминать — не упуская при этом ни единого слова из рассказа Слепцова,— что она ответила Виталию на сообщение о «царапинах». И покрылась холодным потом: ответила она что-то удручающе незначительное, мелкое, даже не сказала, что понимает, как ему трудно. Между тем он выносил тяжести невыносимые, муки смертные.

Когда солдат рассказывал о том, как Виталий Николаевич шел по грязи в плохой шинели, без еды и в порванных сапогах, она испытывала знакомое ей чувство покровительственной жалости и даже некоторого удовлетворения тем обстоятельством, что муж без нее беспомощен и не приспособлен к жизни,— тезис, который она не уставала повторять когда-то. Но по мере хода рассказа она поняла, какая все это чепуха. Он вряд ли замечал свой унылый и несчастный вид, он был нетребователен, он и от нее так мало требовал. Он был скромен и горд. Впрочем, был ли он скромен? Был ли он горд? Она не знала. Она плохо знала его. Или, может быть, этот солдат его плохо знал? Кто знал подлинного Виталия Нечаева? Она, которая провела с ним десять лет,— три тысячи шестьсот пятьдесят дней, или он, знавший его три дня?

Конечно, она имела свои оправдания. Эти годы она жила в маленьком сибирском городке, казалось, целиком сотканном из неуюта и холода, тем более что старожилы, местные чалдоны, жили в своих бревенчатых черных домах уютно, тепло и замкнуто.

С великим трудом приживалась она в тех краях; жизнь там текла трудно и однообразно, и ей казалось, что хуже не бывает. Мечта о возвращении в Москву превратилась у нее почти в манию. Каждый день войны казался ей проклятьем, потому что откладывал это возвращение. Правда, ее жизнеспособность не изменила ей и там. Она вскоре сравнительно сносно устроилась, пробилась сквозь строй препятствий, сквозь вязкую массу неподвижного быта тех мест. Энергия пополам с полусознательным кокетством,

тоже являющимся проявлением энергии жизнеспособности в красивой женщине, помогла ей встать на ноги, получить собственный угол, хорошую работу, полезные знакомства.

Потом она узнала, где находятся сослуживцы мужа, списалась с ними. Они вызвали ее в другой, большой сибирский город и устроили в институт, где работал Нечаев до войны (этот институт эвакуировался туда из Москвы в октябре сорок первого года). В ее переезде и устройстве особенную роль сыграл Ростислав Иванович Винокуров, приятель Нечаева, видный инженер и изобретатель. Она часто стала бывать у Винокуровых и замечала не без чувства самодовольства, что Винокурову приятно общение с ней, что ему, человеку широко образованному, выдающемуся в кругу их знакомых и сослуживцев, с ней интересно, хотя когда-то, при первоначальном их знакомстве в Москве, он не обращал на нее никакого внимания; она была для него тогда женой Нечаева, и не более.

На новом месте ей было легче, но все-таки и тут шла суровая, полуголодная жизнь.

Значит ли это, что она там, в Сибири, не думала о муже? Нет, она все время думала о нем, сознавала, что он есть, его отсутствие было одной из сторон большого несчастья, именуемого войной. Однако она была убеждена, что никому не придет в голову послать его сражаться на поле боя, что он будет проектировать мосты или укрепленные районы. Это было настолько целесообразно, что Ольга Петровна, твердо верившая в силу целесообразности, иначе не могла предполагать. Следовательно, Виталий Николаевич был на войне, и это давало ей право на чистую совесть и на приятное презрение к женам тех мужчин, которые на войне не были,— например, к жене Винокурова. В то же время Виталий Николаевич как бы на войне не был, так как годился только для инженерного дела, и это давало ей иллюзию спокойствия за его судьбу. К тому же и его письма, успокоительные и даже веселые, разгоняли ее страхи.

«Зачем он меня щадил? — думала она теперь, словно пробужденная ото сна рассказом солдата.— Он не смел вводить меня в заблуждение...» Но, думая это, она в то же время чувствовала, что чуточку лицемерит, что ее спокойствие было самообманом и что время от времени она и тогда сознавала это.

— Не думал я, не гадал,— продолжал свой рассказ Слепцов после непродолжительного молчания,— что еще раз придется встретить Виталия Николаевича. Сами знаете — такой фронт, в две тысячи километров! Сколько частей, дивизий, армий, все вокзалы кишат военными, все деревни полны военных, и в городах, поди ж ты, самых тыловых — и то, как говорится, военных больше, чем людей.

Почти три года прошло. Все было другое, и я был другой. Казалось мне, что война идет уже лет десять и еще будет идти, может, лет сто. «Хорошего человека война делает лучше, плохого — хуже»,— любил говорить Виталий Николаевич. Я про эти его слова часто думал. Наверно, они правильные. Однако всяко бывает. И хороший человек на войне привыкает к мысли, что все трын-трава, один конец и потому все можно, все разрешается. И привыкает он к мысли, что государство должно за него думать и что у государства можно все брать без стеснения, раз оно твою жизнь берет не стесняясь. На войне взять чужое не считается воровством, отнять не считается грабежом, потому, ежели ты не возьмешь, какая-нибудь шальная бомба разрушит всякое добро, которое делалось большими мастерами и наживалось годами, уничтожит за минуту. Вот человек и приучается ничего не ценить. Даже хороший человек. А плохой, тот и вовсе сатанеет.

Нет, война человека портит, потому после нее у нас стало больше воровства всякого, нечестности всякой.

Это к слову сказать. А вообще-то, конечно, дело темное. Значит, на чем это я... Был я уже обстрелянный солдат, в сержанты меня произвели и назначили командиром отделения в отдельной роте связи, при штабе дивизии. Потом был ранен, попал в госпиталь, оттуда — в запасный полк. Тут я обучал молодежь, стал вроде педагогом: имел, оказывается, способность объяснять новичкам премудрость воинской телефонной связи.

Но вскоре случилась неприятность. Потеряли мы стыд, решили, что мы незаменимые. И стали ребята выпивать лишнего. И однажды доигрались мои ребята, что их пьяных задержал на улице командир бригады, полковник. А про него было известно, что выпить он сам любил и потому особенно боролся с пьянством. Так говорили, а может, оно и неправда, сам я его пьяным не видел. Застукал он моих ребят и отдал приказ всех сержантов-связистов, которые за-

сидели́сь в тылу, отправить на фронт. Выдали нам новенькое обмундирование, обули в американские ботинки без сносу и погрузили в эшелон под вой местных девчат, с которыми мои сержанты крутили любовь.

И вот в начале сорок четвертого года, зимой, попал я на фронт. Зима была снежная, красивая, кругом необозримые леса, все сосновый бор сплошной, мачтовый лес. А стрельбы никакой, только дымка от кухонь да блиндажей на немецкой и на нашей стороне. А блиндажи, благо леса вдоволь, понастроили у нас, как дворцы, и траншеи обшили мы досками, как какие-нибудь немцы, прости господи... Война, она тоже много личин имеет. Бывает, что и не так страшно, даже интересно. Когда мало стреляют... Стало быть, приехав в этакую благодать, поступил я снова в дивизию, в роту связи. Чаще всего дежурил при штабе, говорил по телефону то с одним полком, то с другим: как, да что, да не случилось ли чего?

И вот среди всех голосов — а их в телефоне было эвон сколько, целая пропасть разных частей, подразделений, позывных — один голос показался мне знакомым. Да мало ли что может тебе показаться! Прошли недели две, пока однажды вечером снова не услышал я тот самый голос, и голос тот сказал весело так и громко: «Это был поступок!» Тут я даже задрожал и вмешался в разговор. «Старший лейтенант Нечаев?» — «Капитан Нечаев. Кто меня позвал?» — «Сержант Слепцов, может, помните?» — «Не помню».— «Ну, конечно, разве упомнишь. Мы-то всего три дня вместе были, и давно, в сорок первом году, под Ельней».— «Ну? Под Ельней?» — «Я при вас телефонистом был, вместе с Черепановым».— «Андрюша?» (Он меня тогда Андрюшей звал.) — «Я самый».

Через некоторое время добился я откомандирования в батальон товарища Нечаева. Из дивизии в батальон редко кто просится, батальон к фронту ближе, там опаснее. Но у нас уж так водится: раз просишься — не пустим на всякий случай. Пришлось долго упрашивать, пока отпустили. И вот я снова очутился рядом с товарищем Нечаевым. И за то время, что был с ним вторично, совсем к нему привык; не ошибся я в нем.

Мы, конечно, жалели, что Черепанова с нами нет, тем более, что Черепанов, выписавшись из госпиталя, писал письма, рвался на фронт, хотя его демобилизовали по чистой. Я товарищу Нечаеву говорил: «Пишите ему, пусть приезжает». А он все отвечал: «Конечно, напишу, пусть приедет». Но не писал. Жалел старика.

Сам товарищ Нечаев был не такой, как в сорок первом. Уже и одет был хорошо, больше о себе и даже о внешности своей заботился. Сапоги и те не кирзовые, а кожаные. Правда, хромовые себе не завел. У всех офицеров были хромовые, только у него не было.

Как я вам уже говорил, жили мы в лесу, в блиндажах в четыре наката — ни один снаряд не пробьет, дров для топки сколько угодно. Ну просто рай, кабы не противник да не вши. Вы меня извините, Ольга Петровна, но эти насекомые нас сильно донимали. Вши — они любят чистоту. Пока солдат наступает, спит в ямах и не переодевается, не моется, они как бы есть и нет их: может, потому, что не до них. А как нас вымоют да оденут в чистое белье — тут они начинают свирепствовать до невозможности. Пришлось устроить агромаднейшую вошебойку, куда мы покидали все имущество — кисеты и те.

Помню, Виталий Николаевич рассказывал, как поначалу, в сорок первом году, он был самый вшивый изо всех офицеров и солдат. И никак не мог понять почему. Один солдат ему объяснил, в чем оно дело: «Думаете много,— сказал тот солдат,— а вши от мыслей разводятся». Виталий Николаевич нам про это рассказал и говорит: «Как мне тот бывалый солдатик это объяснил, подумал я и понял, в чем дело. Вши от мыслей разводятся, то-то и оно! То есть попросту они разводятся у тех людей, которые много думают головой и ни черта не умеют делать руками. После этого я стал следить за собой, старался мыться почаще... Надоело быть белоручкой... И вши от меня отстали...»

И верно, это я тоже заметил — Виталий Николаевич теперь мылся и брился, и стал раздеваться на ночь, и даже складывать вещи в порядке, как спать ложился. И говорил мне, что когда он вернется домой, то Леля (так он вас называл, Ольга Петровна) удивится, и обрадуется, и не узнает его, и полюбит еще сильнее; и он улыбался этак невесело — вы же знаете, Ольга Петровна,— и добавлял: «А может, снова, как попаду под ее крылышко, позабуду свою военную выучку...»

Простой он был, открытый для всех. Рассказывал нам много всякого интересного. Целые романы наизусть, про разные науки тоже... Все на свете знал. Я его тогда спрашивал, почему он все еще в пехоте да все еще комбатом, а он смеется. «Понравилось»,— говорит. Может, ему впрямь понравилось, а скорей всего — не умел он и не хотел устраиваться там, где поспокойнее да посытее.

Так мы и жили. Однако вечно стоять на месте в роскошных блиндажах тоже невозможно... Вшей не было, а противник еще был.

Не успели стаять снега, как навезли артиллерии видимо-невидимо, в лесах стало народу и машин невпроворот, ни пройти, ни проехать. Наконец ахнули и пошли, забывши про сон и отдых. Пока не дошли до водной преграды. Первая рота, правда, форсировала ее с ходу и закрепилась на западном берегу, а остальные роты и весь полк не смогли: лодок не было, немцы их раньше увели либо уничтожили.

На другом берегу немцы жмут на наших солдат, а солдаты наши все сигнализируют ракетами: шлите боеприпасы, шлите боеприпасы! И приказывает нам комбат перебраться через реку на подручных средствах, но никто в воду не идет,— река пенится от снарядов, и к тому же еще помогает немцам их немецкий бог: поднялся большой ветер, и волны, как морские, ходят.

Тут нашел кто-то на одном дворе рыбацком лодочку-душегубку, принесли ее, спустили на воду, положили туда ящики с боеприпасами, а лодка такая утлая, что страх берет. Вижу я, комбат стоит на берегу мрачный, потом вдруг идет к лодке. Я к нему — и говорю: «Товарищ капитан, я вас не пущу».— «Как так не пустишь?» — «Да так, не пущу. Не выдержит лодка, пойдет на дно».

Он ничего не отвечает и идет к лодке. Я ему говорю: «А вы хоть плавать-то умеете?» Он смеется: «Я? Я был первый пловец в институте. Призы брал за Московскую область». Тут мне полегчало. Он спрашивает: «А ты?» Я говорю: «Я пловец неплохой. На Енисее вырос». Он говорит: «Превосходно!» (Он любил говорить «превосходно», и мы все тоже стали так говорить. И я заметил, что и вы, Ольга Петровна, тоже сказали несколько раз «превосходно»... Как его словечки ко всем приставали! Я-то теперь дома у себя... Жена смеется: «Одно знаешь: превосходно да превосходно!» И еще он часто когда удивлялся, то спрашивал: «Вот как?» У нас так не спрашивают, и сначала мне это казалось смешно, а потом и я стал так переспрашивать.)

«Превосходно! Вот мы и покажем пример»,— говорит мне, стало быть, Виталий Николаевич, и мы садимся в лодку и плывем, и за нами солдаты — стыдно им стало! — кто на чем.

Как переплыли — не спрашивайте, но переплыли и закрепились, а скоро переправились и другие батальоны... После этого и приехал к нам командир дивизии генерал-майор Захарченко, стал — в который раз — звать товарища

Нечаева к себе в штаб дивизии. Пошел бы — остался бы живой. Генерал тогда вручил мне орден Славы второй степени (третьей степени у меня уже был за прежнее), а Виталия Николаевича представил к ордену Отечественной войны.

9

В то время как солдат вел свой рассказ о Виталии Нечаеве, Ольга Петровна вспоминала, что после того, как вышла замуж, пятнадцать лет назад, она воспринимала своего мужа так же, как Слепцов своего командира. Он был тогда таким же ясным, открытым, искренним, остроумным, тихо талантливым во всем, что делал. Позднее ее ощущения притупились, или сам Нечаев потерял свою ясность, веселость, победительность какую-то! Или она перестала в нем все это замечать — пригляделась, приобвыкла? Или действительно все это ослабло под гнетом житейских дел, от всяких неурядиц в семье и в стране (он болезненно переживал то и другое)? И не виновата ли она в том, что он потускнел, если он действительно потускнел?

Он работал. Работал много — даже на курорт ухитрялся брать с собой чертежи. А какая у них была душевная, личная жизнь? Что он делал помимо работы? Думая об этом теперь, она вдруг с совершенной ясностью вспомнила те обстоятельства, которые знала и раньше, но которые не казались ей такими уж важными. Ведь это он и никто другой заставил ее закончить не законченное по ее леностиобразование, приучил ее читать книги, объяснял их ей. Это он исподволь, осторожно, так, чтобы ее не обидеть, прививал ее несколько косному уму широкие понятия и умение видеть скрытое, но главное за внешними проявлениями жизни. Это-то и сделало из нее того человека, которым она была теперь,— уважаемого сослуживцами, принимаемого всеми всерьез, ту женщину, которую полюбил строгий к людям Ростислав Иванович Винокуров: из-за Ольги Петровны он ушел от жены и детей.

Все эти воспоминания, сопровождавшиеся чувством раскаяния и щемящей неловкости, проходили перед ней, тесня друг друга, как будто в спешке и в смятении. Лишь когда Слепцов стал рассказывать о переправе, все эти воспоминания и мысли разом остановились и замерли.

Слепцов увидел, как ее лицо внезапно покраснело, будто зажглось изнутри. Она закусила губу и закрыла

глаза. Слепцов не мог знать, какая именно подробность его рассказа так сильно подействовала на нее.

А это произошло потому, что, услышав,— ей действительно показалось, что она явственно услышала его голос и интонацию,— услышав слова Нечаева о том, что он брал призы за плавание и т. д., Ольга Петровна вспомнила, что он совсем не умел плавать и всегда стыдился этого. Итак, все, что он говорил на берегу реки, было вздором, выдумкой, если можно назвать вздором и выдумкой чистое золото самопожертвования ради общего дела. Ольга Петровна в этот момент почувствовала, как у нее перехватывает дыхание. И оттого, что Слепцов и теперь не знал того, что узнала она спустя два с половиной года, Ольга Петровна почувствовала мучительное волнение за человека, плывущего в утлой лодочке по бурной реке, обстреливаемой со всех сторон, и гордость оттого, что этот человек думал о ней и любил ее, жгучую обиду на себя за то, что не поняла, кого потеряла.

Она чувствовала, что готова влюбиться в этого нового Виталия Нечаева, в его удаль, ум, презрение к смерти, обаяние, во все то, что так отвечало ее собственному идеалу человека и мужчины. Как могла она считать Нечаева пресноватым и скучноватым, в то время как в нем лучшие человеческие черты были в избытке и в чудесном сочетании? Все это она пропустила сквозь пальцы, как воду.

Она могла бы отмахнуться от всех этих мыслей, как отмахивалась уже не раз, считая, что отвлеченные мысли не имеют значения перед лицом грубых потребностей жизни. Да, она умела пожатием плеч оттолкнуть от себя «бесплодное нытье» ради благополучия семьи и упорядоченности ее существования.

Но теперь она не могла уйти от этих мыслей — на нее смотрели поразительно ясные глаза однорукого солдата, и их простодушный, теплый блеск не давал ей уходить в сторону, ссылаться на жизненный опыт, на пример соседей и знакомых; эти глаза говорили ей: ты жила рядом с героем и не заметила этого.

Ольгу Петровну охватили горечь и боль, которые вскоре незаметно для нее самой превратились в досаду и даже злость. Она уже думала о Слепцове почти с неприязнью и мысленно как бы оправдывалась перед ним: «Я, что ли, его убила? Что ты смотришь на меня так пристально? В чем я виновата?»

Так она мысленно твердила, глядя на стену сухими глазами. При этом ее взгляд останавливался на паутине в углу

и на трещине в штукатурке, и она думала о том, что надо произвести ремонт квартиры и уборку, и эти мысли, несмотря на всю их неуместность в этот момент, она удерживала при себе, упрямо и почти со злорадством думая, что да, да, уборка и ремонт! Жизнь есть жизнь, и сумерничать не приходится.

Она встала и резким движением зажгла настольную лампу. В это время в коридоре что-то задвигалось, дверь приоткрылась, донесся запах жареного лука, шум примуса, похожий на шум летнего дождя, и шорох веника, напоминающий порывы весеннего ветра, и другие квартирные запахи и шумы, мелкие, но важные, как сама жизнь. И Ольге Петровне показалось, что здесь, в комнате, разреженный холодный воздух, и, сказав, что сейчас вернется, она поспешила выйти к родным запахам и шумам своего дома.

10

Свет настольной лампы под зеленым абажуром сделал комнату зеленоватой и мерцающей, как речное дно. Оттого, что комната осветилась, за окном стало темно, словно сразу наступила поздняя ночь. Слепцов нащупал в кармане полный табака кисет, но не стал закуривать. Он сидел, ожидая возвращения Ольги Петровны, и не двигался, как бы стараясь не рассеять все то, что он должен был ей рассказать. Она все не шла, но он не испытывал никакого нетерпения, зеленый свет наполнял его покоем и тоже казался составной частью его повествования, естественным освещением той полусказочной действительности, в которой он теперь жил. Он думал о том, что недаром Нечаев стремился сюда, в здешний теплый, уютно освещенный мир, и сердце Слепцова переполнилось нежностью к подруге Нечаева, хозяйке этого дома.

Когда она вернулась, Слепцов продолжал:

— Про вас, Ольга Петровна, ваш муж мне рассказывал так много, что я как бы с вами давно знаком; и не только я, но и жена моя, Марья Александровна, и даже дети и те вас знают и готовы за вас на край света. Да, да, он мне про вас все рассказал. Про то, как вы его всегда поддерживали, как вы работали и институт кончали, имея на руках маленького Юру. Видел я сегодня Юру — вылитый отец, тоже серьезный и честный. Честный. Вот оно, главное-то.

В это время в комнату вошел мужчина в темном костюме. Это был высокий человек в очках, с молодым лицом, но седыми волосами. Проходя мимо Слепцова, он кивнул ему,

и Слепцов прервал рассказ и привстал, чтобы поздороваться по деревенскому обычаю — уважительно и обстоятельно — с новым человеком, кто бы он ни был. Но так как Ольга Петровна ничего не сказала, а человек тоже не изъявил стремления к длительной церемонии знакомства, только пробурчал что-то, очевидно, свою фамилию,— затем прошел и уселся в то самое кресло, где утром дремал Слепцов,— солдат в нерешительности постоял еще мгновение, затем сел и продолжал рассказ, лишь отодвинув стул от стола, чтобы не оказаться спиной к человеку.

Продолжая рассказ, он по временам забывал о присутствии того человека и, только изредка вспоминая о нем, вежливости ради полуоборачивался к нему на мгновение.

— И последние его слова,— продолжал Слепцов,— и мысли последние были про вас. Про вас и про родину, которую он любил, но про которую говорил мало; просто отдал за нее жизнь и нам завещал отдать, если придется.

А ранило его при штурме немецкой обороны, и я не был тогда при нем, и когда мне сказали, я побежал и встретил его, как он лежал на подводе и его отвозили в тыл. Но подводу эту трясло. И ему было больно. И тогда мы его сняли и положили на носилки. Как я вам уже рассказывал. Потом попросил, чтобы мы его положили, чтобы он отдохнул. И мы его положили. Тут он взял меня за левую руку и крепко сжал. У меня даже потом синяки были — так он меня крепко взял за руку. Вот здесь... Ну, то есть руки-то у меня этой уже нету... Вот какое дело. И тут он меня и попросил побывать у вас и передать вам... все про него да про его к вам уважение и любовь... А также передать вам, стало быть на память, разные предметы... Между прочим, логарифмическую линейку — это солдаты нашли в одном доме и, зная, что товарищ Нечаев инженер, отнесли ему. И он ее в подарок для вас прочил и мне про это сказал. А также часы ручные — тоже трофей, один солдатик ему поднес, Терехов по фамилии, молодой. Его позже убило... Ну вот, Ольга Петровна... Потом, конечно, выпустили боевой листок, что-де отомстим фрицам за нашего комбата... Видели вы когда-нибудь, когда много мужчин вместе плачут? Это — редкое явление...

Слепцов замолчал. Его сердце сильно билось, и, только когда оно успокоилось, он услышал глубокую тишину в комнате. Тогда он пожалел женщину, которую так очевидно расстроил своим рассказом. При этом он вспомнил и про мужчину, сидевшего в кресле, и полуобернулся к нему вежливости ради. Но в это мгновение он почувствовал к нему

неопределенную антипатию, неизвестно чем вызванную,— может быть, тем, что мужчина сидел в кресле развалясь, как дома, и его лицо было непроницаемо спокойно. Может быть, тут сыграло роль и то, что Ольга Петровна после появления мужчины стала вести себя несколько иначе, чем до того: она почему-то часто поднималась и снова садилась, и вертела в руках солонку, и несколько раз отводила глаза от Слепцова к тому человеку. Но эти ощущения были слишком поверхностны, чтобы обращать на них особое внимание, и Слепцов после недолгого молчания сказал, полуобернувшись к мужчине:

— А меня ранило в декабре того же сорок четвертого года, на венгерской территории. И после длительного лечения очутился я дома, в Сибири. Неприятель до нас, понятно, не добрался, все у нас на месте, ничто не разрушено. Даже, ей-богу, удивительно было, когда я прибился домой после госпиталя: все дома целые... Верно, колхоз, раньше богатый, в войну сильно обеднял — мужиков мало, заготовки большие для фронта, почти всё сдавали... Я сначала не знал, за что приняться, ходил неприкаянный; жена, спасибо ей, поняла мою душу, не сердилась, что я целые дни на завалинке сижу, покуриваю, на всех покрикиваю и на все зубами скрежещу,— молчала, только иногда плакала, и то потихоньку. Я, конечно, это замечал, но ничего не мог поделать со своей озлобленной душой. Но понемногу оклемался, пошел работать сторожем, потом пастухом, а позже сделал мне один мой дружок в МТС вторую руку, железную, вроде ухвата, и вскоре сел я на трактор. Про меня даже в газетах писали, что я чуть ли не герой и так далее. Но я не герой и делал все это лично для себя — понял, что помру, если останусь один, без пользы для людей. Выполнял норму и две. А как уборку закончили, взял я отпуск — и вот...

11

Последние слова Слепцов, превозмогая свою антипатию, сказал, обернувшись к мужчине в кресле, так как не желал быть грубым и невнимательным к человеку, сидящему в комнате Нечаева. Как бы воспользовавшись этим, Ольга Петровна, то и дело встававшая и садившаяся во время рассказа, снова встала.

— Пора обедать,— сказала она и быстро вышла из комнаты.

Слепцов, все еще взволнованный воспоминаниями, видел, что и она взволнована, и ласково проводил ее взгля-

дом до двери, а потом снова обернулся к мужчине. Тот угрюмо или, может быть, напряженно молчал. И Слепцов, почувствовав себя неловко, сказал:

— Вот так, гражданин... мм...

— Ростислав Иванович,— буркнул мужчина.

— Вот так, Вячеслав Иванович,— продолжал Слепцов, плохо расслышав редкое имя.— Расстроилась Ольга Петровна... Может, я слишком это... все подробно... Но, как говорится, слова из песни... Такого человека потерять...

— Да,— сказал мужчина односложно.

Слепцов внимательно посмотрел на него и спросил:

— Друзья, полагать надо, помогают ей, вдове, по силе возможности?

Мужчина после довольно продолжительного молчания ответил так же односложно:

— Да.

И встал с места, чтобы выйти, но дверь открылась, и Ольга Петровна вернулась. Она пришла с тарелками, которые расставила на столе.

В это время за дверью заплакала девочка, и Ольга Петровна под этот плач все так же медленно и старательно расставляла тарелки. Наконец в полуоткрытую дверь просунулось круглое лицо Паши, и она сказала:

— Все плачет, Ольга Петровна...— и при этом покосилась на солдата: не вызовется ли он и теперь пойти к девочке да успокоить ее своим «сеше, хеше»...

Слепцов ответил ей беглой улыбкой, а Ольга Петровна раздраженно сказала:

— Сейчас приду.

Слепцов, которому жаль было младенца, прислушивался к его плачу, но как только Ольга Петровна вышла, так плач прекратился.

Этот так внезапно оборвавшийся плач ребенка вначале заставил Слепцова улыбнуться, но затем улыбка вдруг замерла на его лице и из ласковой стала удивленной, даже детски глуповатой, затем медленно отлетела от лица, оно стало растерянным, смущенным и, наконец,— смертельно серьезным. Он посмотрел на мужчину, который напряженно стоял посреди комнаты, как бы не зная, выйти или остаться.

Слепцов медленно поднялся со стула, еще постоял с минуту, затем быстро и решительно направился к своему вещмешку, взял его, достал оттуда белый узелок, вернулся к столу, положил узелок на стол и стал развязывать его. Развязав, вынул оттуда разные предметы, положил их на стол, а платок, в который они были увязаны, сложил акку-

ратно на столе и сунул себе в карман. Потом он достал из кармана гимнастерки пакетик с фотографиями и тоже положил его на стол — лицевой стороной вниз. После этого он вернулся к вещмешку и завязал его.

В этот момент послышался короткий и резкий звонок, стукнула дверь, и в комнату вошел, застенчиво улыбаясь, Юра. Он был в пальтишке и с портфелем. Он запыхался — спешил, боясь, что уже не застанет приехавшего из Сибири солдата, таежника и рыболова. Но солдат был здесь. Комната была полна волнующих запахов — солдатского сукна, медвежатины, копченой рыбы, фронтовых и таежных дорог.

Юра, застенчиво улыбаясь, подошел к Слепцову, ожидая, что солдат обнимет его, привлечет к себе, начнет что-то рассказывать, словоохотливо и добросердечно, как утром. Но Слепцов только рассеянно потрепал его по плечу и стал молча ждать. И от этого на Юру тоже напало какое-то оцепенение, и он тоже встал неподвижно. И так три человека стояли неподвижно, каждый со своими мыслями, и чего-то ждали.

Но вот вошла Ольга Петровна, и тогда Слепцов заговорил очень быстро и сухо, не глядя на нее:

— Тут вот, на столе, как видите, это самое. Его часы, очки, авторучка, книжка записная, письма, фотографии. Там же подарки: логарифмическая линейка для вас, готовальня и часы ручные для вашего сына. Еще там кой-что. Все, что у него было. Вот. Мне пора. Я и так задержался.

Он взял было шинель, но потом вдруг поглядел на Юру, его глаза на секунду сделались стальными, он снова отложил шинель, подошел к столу, взял ручные часики и молча отдал их Юре в руки.

Ольга Петровна положила на стол вилки и ножи и сказала в непринужденном тоне:

— Вот как? Значит, вы не будете с нами обедать? Очень жаль... За любезность вашу большое спасибо. Очень вам благодарна. А может, вы останетесь? Кстати, ведь вы ехали в такую даль — из Сибири, кажется? Наверное, вам и поездка стоила не дешево... Один билет в такую даль обходится, вероятно, в копеечку... Нет, серьезно, может, вам нужны деньги? Вы скажите без околичностей, без всяких церемоний. Пожалуйста. Как добрый знакомый Виталия Николаевича, фронтовой товарищ. Так что скажите... А я думала, вы пообедаете с нами. Вы где остановились?

В то время как она говорила, Слепцов молча надевал на себя шинель и никак не мог надеть. Но никто не подошел к нему помочь, все как будто закоченели на своих местах —

от всего, что происходило, и от возможной неловкости, которую может испытать калека, когда ему помогают.

В ответ на последний вопрос Ольги Петровны Слепцов сказал:

— Я ночую у родичей моих. У меня в Москве родичи. Где теперь нет сибиряков? Всюду они есть.

Он надел наконец на себя шинель и взял в руку кепку и вещмешок.

— Это верно,— подтвердила Ольга Петровна, вынимая из буфета и ставя на стол хлебницу.— У нас в институте тоже есть сибиряк, заместитель директора по материальному обеспечению. Он у нас недавно. Может быть, вы знакомы с ним? Леонтий Борисович Свербеев. Впрочем, верно, Сибирь велика...

— Да,— сказал Слепцов.— Сибирь большая. До свидания, Юра... Ольга Петровна... До свидания, гражданин.

И, взвалив мешок на плечи, он вышел.

12

Юра вышел вслед за Слепцовым, чтобы выпустить его из квартиры, и обратно в столовую уже не вернулся, слышно было, как он прошел мимо двери.

Когда стукнула входная дверь и звук Юриных шагов послышался справа от двери столовой и затих слева, у кухни либо у спальни, Ростислав Иванович, порывисто повернувшись к Ольге Петровне, сказал:

— Что ты сделала? Ты понимаешь, что ты сделала? У нас в доме был благороднейший человек, праведник, понимаешь, святой, а ты ему предложила денег! — Он продолжал, все больше волнуясь: — Смотри, какую преданность памяти Виталия Николаевича он проявил... какую любовь! — И с мужской солидарностью, вечной и темной солидарностью мужчин против женщин, он проговорил, глядя остро и колюче ей в лицо: — Да и верно, муж твой покойный был человек необыкновенный. Замечательный человек. Такого человека... о таком человеке нельзя забыть. Забыть такого человека может только... только сука.

Он сам поразился оскорбительному окончанию своей фразы. Он не собирался произносить ничего подобного. Ольга Петровна была отвратительна в последнем разговоре со Слепцовым, и оттого, что она проявила себя такими неприятными чертами, он обозлился на нее. Но этого было бы мало для тех слов, которые он сказал, если бы он не знал,

что не может без нее жить, что, несмотря на все, он любит и не перестает любить ее даже теперь, когда презирает, почти ненавидит ее.

В то же время он сознавал, что она своей черствостью в отношении к Слепцову отталкивала память о первом муже ради него, Винокурова, ради спокойного, безоблачного течения жизни в семье: она как бы боролась с чувством вины за свою любовь к Винокурову. Поэтому он вместе с презрением, почти ненавистью к ней испытывал приятное чувство гордости, что ради него забыт и находится в пренебрежении тот, другой, притом еще человек замечательный. И, наконец, одновременно с этим он испытывал острое чувство горькой, хотя и неразумной, ревности — впрочем, может ли ревность быть разумной! — бессмысленной оттого, что она не была обращена на кого-либо, а сводилась к простому предположению, что, если он умрет или даже уедет надолго, она полюбит третьего и будет так же сильно, решительно, как бы категорично этого третьего любить, окружать своей заботой и теплом и защищать свою любовь всеми средствами.

Эти чувства — любовь и страсть к ней, и боль за ее проявившуюся душевную грубость и бесчувственность, и обида за поруганную память прекрасного человека, и приятная гордость оттого, что она так любит его, своего нынешнего мужа, и предвидение, что и его она может разлюбить при определенных обстоятельствах,— все это смешалось в душе в одну кашу, горькую, как полынь, и сладкую, как мед. Полыни, впрочем, на этот раз было во много раз больше. Когда Слепцов простился и собрался уйти, Винокуров готов был ударить свою жену по лицу. Однако он не сказал ни слова, он вообще решил не вмешиваться — то было не его, а ее прошлое — и пожалел, что слушал часть рассказа Слепцова из спальни, а затем, войдя в столовую, был свидетелем разговора. Но когда Слепцов вышел и входная дверь глухо стукнула за ним и когда Юра, не понимавший, но явно чувствовавший, что произошло нечто отвратительное, прошел мимо двери, хотя знал, что его ждут обедать,— Винокуров не смог удержаться от выражения своих чувств.

— Что вы сделали? — повторил он, назвав ее на «вы», чтобы еще больше задеть.— Это же невозможный поступок. Нигде он не остановился, неправду он сказал про родственников, неужели вы этого не поняли? И неужели вы не поняли, что если бы он приехал ради денег, то ему проще всего было бы продать золотые часы и остальное? А? Вы этого не поняли?

Он смотрел на нее ненавидящими глазами.

— Да, вы правы,— сказала она медленно, почти спокойно.— Действительно, как я могла изменить памяти Виталия Николаевича ради такого человека, как вы? — Она бессмысленно походила вдоль стола, потом вдоль буфета, затем сделала два шага к двери, но вернулась, села на стул, на котором сидела весь день, и заплакала.— Он бы никогда... никогда... никогда...— произнесла она сквозь слезы.

Вначале ее слезы не произвели на него никакого впечатления. Напротив. Он подумал, как хитро она защищается, как неожиданно она взяла себе в союзники Виталия Николаевича против него. Но вскоре ощутил ноющую боль в груди. Пожалуй, он впервые видел ее плачущей и, осознав это, понял, как она потрясена. Его пронзило чувство вины, и он подумал о том, что проявил торопливость и бесчувственность, сродни той торопливости и бесчувственности, которую проявила сама Ольга Петровна по отношению к Слепцову. Он сказал:

— Ладно, Оля, сейчас не время все это. Пока надо догнать этого человека и вернуть его.

— Да, да,— сказала она, быстро встала, вытерла глаза, взяла со стола сверток с едой, оставленной Слепцовым, завернула еду в плотный пакет и быстро, летящей своей походкой вышла в коридор, накинула шаль и вместе с мужем спустилась по лестнице в темный двор.

Во дворе никого не было видно. Накрапывал дождик.

— Товарищ Слепцов! — позвала Ольга Петровна.

Она метнулась по двору и вышла на улицу. Здесь остановилась и взглянула вправо и влево. В переулке не было ни души. Она бросилась влево и, торопливо говоря вслух: «Товарищ Слепцов, товарищ Слепцов»,— дошла, почти добежала до угла. Слепцова не было. Она постояла на углу и медленно пошла обратно.

Сначала она ни о чем не думала, потом в ее голове неторопливо прошел весь последний разговор со Слепцовым, в том числе ничего не значащие слова о сибиряках. Она подумала о том, что поскольку Слепцов сибиряк, то он мог бы жить в том городишке, где она жила первое время эвакуации. И если прав Винокуров насчет того, что однорукий солдат — благороднейший человек, то и там, в том городишке, тоже могли жить прекрасные люди; она же считала их людьми ничтожными и скучными, обвиняла их в заскорузлости и бессердечии и мечтала от них поскорее уехать. Но, по чести говоря, почему они должны были ей сочувствовать и ею интересоваться, если она не сочувствовала им

и не интересовалась ими, не входила и не пыталась войти в их жизнь? Ведь даже самым близким человеком, своим покойным мужем она не интересовалась, даже его не понимала и не стремилась понять. Только появление Слепцова сегодня осветило ее жизнь ярким дневным светом, и при этом беспощадном свете многое стало выглядеть совсем иным.

Об этом думала Ольга Петровна, возвращаясь к воротам своего дома.

Ростислав Иванович тем временем тоже пересек улицу, прошелся по бульвару, вглядываясь в немногих прохожих, и тоже вернулся ни с чем. Они постояли вдвоем у ворот. Потом он взял ее за руку.

— Прости меня,— сказал он.

— Ты был прав,— сказала она.— Но пойми...

— Да, да, конечно...

— Я ведь...

— Я понимаю. Пойдем.

Они медленно пошли обратно к дому, медленно взобрались по лестнице к себе в квартиру. Когда они открыли дверь, Юра стоял в коридоре. Он ни о чем не спросил, только устремил тоскливый взгляд на дверь, словно ждал, что следом за ними войдет солдат. Но никто не вошел.

— Обедать пора,— сказала Ольга Петровна.

Они все трое побрели в столовую. Ольга Петровна сунула сверток с сибирской снедью за оконную занавеску. Затем она снова стала готовить к столу, а потом села на тот самый стул, где заплакала в первый раз, и здесь снова заплакала, словно именно этот стул располагал ее к слезам. Ростислав Иванович подошел к ней и стал говорить вполголоса разные успокоительные слова.

О Юре забыли. А он стоял возле окна и сурово смотрел на них. Слезы матери угнетали его, но не вызывали жалости. Он стоял бледный и строгий и давал себе слово, вернее, много слов, обещаний, клятв быть честным, добрым, искренним, ученым, или, как сказал тот солдат,— «советским».

Исполнит ли он свои клятвы? Исполнит, если окружающие помогут ему — не нравоучениями, а собственным самоочищением от всякой скверны.

13

Что касается Андрея Слепцова, то Ольга Петровна и Ростислав Иванович не нашли его не потому, что он быстро покинул двор. Напротив, он, выйдя из дома, подо-

шел к той скамеечке, где сидела утром старушка с вязаньем, и опустился на эту скамеечку. Тут он закрутил махорку и жадно закурил. Он ведь из уважения к семье Нечаевых ни разу не курил в их квартире и теперь глотал горький дым, как захлебнувшийся в воде глотает воздух.

Было темно. Накрапывал дождик. Значит, прошел весь день — с рассвета до вечера. Андрей Слепцов подумал о том, как быстро, молниеносно прошел этот день и какой он в то же время насыщенный и длинный, как он, этот единственный день, сумел изменить многое в его жизни, осветить ее по-новому. При свете этого странного дня все стронулось с места, перемешалось, осложнилось. Это был ясный, ровный, немигающий, беспощадный свет. И казалось, что любимые образы пропали в нем, как пропадают тени в резком свете.

Он услышал, как Ольга Петровна окликнула его, как она и ее муж вышли на улицу его искать. Он прижался к стене, боясь, что они его увидят. И спрятал цигарку в рукав, как солдаты делали на переднем крае, в виду противника. Он теперь не мог бы с ними разговаривать и даже на них смотреть.

Но вот они наконец вернулись и исчезли в доме, и Слепцов остался один на большом дворе. Он посидел некоторое время, потом встал с места и пошел к воротам. Здесь он остановился и обернулся. Перед ним от самой земли до неба посверкивало, мерцало, горело больше сотни светлых квадратиков. Его глаз воспринял вначале это зрелище чисто механически, как нечто красивое, потом разум его усвоил, что это окна, а за ними люди. И он вспомнил, что капитан Нечаев однажды — дело было зимой, еще в обороне,— говорил про эти окна, именно про эти самые, а не какие-либо другие. Нечаев говорил примерно так: родина — это не обязательно изба с березой или тополем, перелесок или поляна, как это по старой памяти пишут в стихах и прозе; родина — это также городская квартира из двух комнат, точно такая же, как четыре квартиры над ней, и две под нею, и пятьдесят во всем доме — обыкновенное жилье с водопроводом, который урчит по утрам, и с телефоном, который звонит, когда кому-нибудь заблагорассудится вспомнить о тебе и набрать твой номер. Родина — это два окна среди точно таких же ста, ничем от остальных не отличающиеся, кроме того, что там твоя жена и твой ребенок. Это тоже «земля отчич и дедич», священная московская земля, хотя и приподнятая на дватри десятка метров. И, защищая свою большую роди-

ну, ты защищаешь и эту малую и готов отдать за нее жизнь.

Слепцов стал искать те два окна, о которых говорил Нечаев. И он вскоре нашел их, светившихся зеленым светом, среди других, светившихся желтым, и зеленым также, и красноватым, и лиловым, и просто ярким без прикрас,— огромное множество человеческих гнезд. И, вспомнив слова капитана Нечаева о его двух окнах, Слепцов замотал головой, как лошадь, которую мучают слепни, и больно закусил губу, чтобы не заплакать.

Но среди безысходности, овладевшей им в эти мгновения, его, как он вскоре заметил, не оставляло ощущение чего-то милого, теплого и нежного. Он не понимал, что именно оставило в нем такое ощущение. Он отметил, что оно было не только внутренним, душевным, но и чисто физическим. Это дало ему нити для дальнейших поисков, и довольно скоро его внимание сосредоточилось на руке: он чувствовал на ней приятную тяжесть, рука его была еще напряжена, словно держала нечто милое, теплое и нежное.

То была маленькая девочка с не по-младенчески разумным взглядом. Ах, эта маленькая девочка, этот человеческий детеныш, совсем еще крохотный, весь в будущем, весь как сосуд, способный вместить в себя все прекрасное... Вот, оказывается, что смягчало ожесточенное сердце, смиряло и облегчало его!

Вскоре Андрей Слепцов совладал с собой. Он крепко вытер лицо, подкинул повыше свой вещевой мешок и зашагал в обратный, уже знакомый путь к трем вокзалам. Предстояла, по-видимому, длинная бессонная ночь на вокзале, в очереди за билетом, и Слепцов ворчал себе под нос: «Хорошо, Андрей Слепцов, что ты успел подремать: утром — на скамейке, потом — на мягком стуле». Он решил, что постарается взять билет на завтрашний вечерний поезд, чтобы в течение дня успеть посмотреть Москву.

1961



(р. 1924)

ЭСТАФЕТА

Он упал на заборонованную мякоть огородной земли, не добежав всего каких-нибудь десяти шагов до иссеченного осколками белого домика с разрушенной черепичной крышей — вчерашнего «ориентира три».

Перед тем он, разорвав гимнастерку, пробрался сквозь чащу живой изгороди, в которой с самого начало этого погожего апрельского утра гудели, летали пчелы, и, окинув быстрым взглядом редкую цепочку фигур, бежавших к окраинным домикам, замахал руками и сквозь выстрелы крикнул:

— Принять влево, на кирху!!!

Потом пригнулся, боднул воздух головой в пилотке и, выронив пистолет, уткнулся лицом в теплую мякоть земли.

Сержант Лемешенко в это время, размахивая автоматом, устало трусил вдоль колючей, аккуратно постриженной зеленой стены и едва не наскочил на своего распростертого взводного. Сперва он удивился, что тот так некстати споткнулся, потом ему все стало ясно. Лейтенант навсегда застыл, прильнув русоволосой головой к рыхлой земле, поджав под себя левую ногу, вытянув правую, и несколько по-

тревоженных пчел суетились над его неподвижной пропотевшей спиной.

Лемешенко не остановился, только нервно подернул губами и, подхватив команду, закричал:

— Взвод, принять левее! На кирху! Эй, на кирху!!!

Взвод, однако, он не видел, два десятка автоматчиков уже достигли изгороди, садов, строений и пропали в грохоте нараставшего боя. Справа от сержанта, на соседнем подворье, мелькнуло за штакетником посеревшее от усталости лицо пулеметчика Натужного, где-то за ним показался и исчез молодой белокурый Тарасов. Остальных бойцов его отделения не было видно, но по тому, как время от времени потрескивали их автоматы, Лемешенко чувствовал, что они где-то рядом.

Держа наготове свой ППШ, сержант обежал домик, запыленными сапогами хрустя по битому стеклу и сброшенной с крыши черепице. В нем тлела скорбь об убитом командире, чью очередную заботу, словно эстафету, подхватил он — повернуть взвод фронтом к церкви. Лемешенко не очень понимал, почему именно к церкви, но последний приказ командира приобрел уже силу и вел его в новом направлении.

От домика по узкой дорожке, выложенной бетонной плиткой, он добежал до калитки. За оградой тянулся узкий переулок. Сержант взглянул в одну сторону, в другую. Из дворов выбегали бойцы и тоже оглядывались. Вон его Ахметов — выскочил возле трансформаторной будки, оглянулся и, увидев командира отделения посреди улицы, направился к нему. Где-то среди садов, серых коттеджей и домиков с лютым ревом разорвалась мина, рядом на крутой крыше, сбитая осколками, сдвинулась и посыпалась вниз черепица.

— Влево давай! На кирху!!! — крикнул сержант и сам побежал вдоль проволочной ограды, отыскивая проход. Впереди из-за кудрявой зелени недалеких деревьев синим шпилем вонзилась в небо кирха — новый ориентир их наступления.

Тем временем в переулке один за одним появились автоматчики, появился низенький, неуклюжий, с кривыми в обмотках ногами пулеметчик Натужный; за ним — новичок Тарасов, который с самого утра не отставал от опытного, пожилого бойца; с какого-то двора лез через изгородь увалень Бабич в подвернутой на голове зимней шапке. «Не мог найти другого прохода, тюфяк»,— мысленно выру-

гался сержант, увидев, как тот сначала переребросил через забор свой автомат, а потом неуклюже перевалил нескладное, медвежье тело.

— Сюда, сюда давай!— махнул он, злясь потому, что Бабич, подняв автомат, начал отряхивать загрязненные колени.— Быстрей!

Автоматчики наконец поняли команду и, находя проходы, исчезли в калитках домов, за строениями. Лемешенко вбежал в довольно широкий заасфальтированный двор, на котором разместилось какое-то низкое строение, видно, гараж. Вслед за сержантом вбежали сюда его подчиненные — Ахмедов, Натужный, Тарасов, последним трусил Бабич.

— Лентенанта убило! — крикнул им сержант, высматривая проход.— Возле белого дома.

В это время откуда-то сверху и близко прогрохотала очередь, и пули оставили на асфальте свежие следы. Лемешенко бросился в укрытие под глухую бетонную стену, что огораживала двор, за ним остальные, только Ахметов споткнулся и схватился за флягу на поясе, из которой в две струи лилась вода.

— Собаки! куда угодили, гитлерчуки проклятые...

— Из кирхи,— сказал Натужный, всматриваясь сквозь ветви деревьев в сторону шпиля. Его невеселое, попорченное оспой лицо стало озабоченным.

За гаражом нашлась калитка с завязанной проволокой щеколдой. Сержант вынул финку и двумя взмахами перерезал проволоку. Они толкнули дверь и оказались под развесистыми вязами старого парка, но тут же попадали. Лемешенко резанул из автомата, за ним ударили очередями Ахметов и Тарасов — меж черных жилистых стволов бежали врассыпную зеленые поджарые фигуры врагов. Неподалеку, за деревьями, виднелась площадь, а за ней высилась уже ничем не прикрытая кирха, там бегали и стреляли немцы.

Вскоре, однако, враги заметили их, и от первой пулеметной очереди брызнула щебенка с бетонной стены, засыпав потрескавшуюся кору вязов. Надо было бежать дальше, к площади и к кирхе, преследуя врага, не слезать с него, не давать ему опомниться, но их было мало. Сержант посмотрел в сторону,— больше пока никто не пробрался к этому парку: чертовы подворья и изгороди своими лабиринтами сдерживали людей.

Пулеметы били по стене, по шиферной крыше гаража, бойцы распластались на мелкой весенней травке и от-

вечали короткими очередями. Натужный выпустил с полдиска и утих — стрелять было некуда, немцы спрятались возле церкви, и их огонь с каждой минутой усиливался.

Ахметов, лежа рядом, только сопел, зло раздувая тонкие ноздри и поглядывая на сержанта. «Ну, а что дальше?» — спрашивал этот взгляд, и Лемешенко знал, что и другие тоже поглядывали на него, ждали команды, но скомандовать что-либо было не так-то просто.

— А Бабич где?

Их было четверо с сержантом: слева Натужный, справа Ахметов с Тарасовым, а Бабич так и не выбежал со двора. Сержант хотел было приказать кому-нибудь посмотреть, что случилось с этим увальнем, но в это время слева замелькали фигуры автоматчиков их взвода — они высыпали откуда-то довольно густо и дружно ударили из автоматов по площади. Лемешенко не подумал даже, а скорее почувствовал, что время двигаться дальше, в сторону церкви, и, махнув рукой, чтобы обратить внимание на тех, кто был слева, рванулся вперед. Через несколько шагов он упал под вязом, дал две короткие очереди, кто-то глухо шмякнулся рядом, сержант не увидел кто, но почувствовал, что это Натужный. Затем он вскочил и пробежал еще несколько метров. Слева не утихали очереди — это продвигались в глубь парка его автоматчики.

«Быстрее, быстрее»,— в такт стучала в голове мысль. Не дать опомниться, нажать, иначе, если немцы успеют осмотреться и увидят, что автоматчиков мало, тогда будет плохо, тогда они здесь завязнут...

Пробежав еще несколько шагов, он упал на старательно подметенную, пропахшую сыростью землю; вязы уже остались сзади, рядом скромно желтели первые весенние цветы. Парк окончился, дальше, за зеленой проволочной сеткой, раскинулась блестящая от солнца площадь, вымощенная мелкими квадратами сизой брусчатки. В конце площади, возле церкви, суетились немцы в касках.

«Где же Бабич?» — почему-то назойливо сверлила мысль, хотя теперь его охватило еще большее беспокойство: надо было как-то атаковать церковь, пробежав через площадь, а это дело казалось ему нелегким.

Автоматчики, не очень слаженно стреляя, выбегали из-за деревьев и залегали под оградой. Дальше бежать было не-

возможно, и сержанта очень беспокоило, как выбраться из этого опутанного проволокой парка. Наконец его будто осенило, он выхватил из кармана гранату и повернулся, чтобы крикнуть остальным. Но что кричать в этом грохоте! Единственно возможной командой тут был собственный пример, надежный командирский приказ: делай как я. Лемешенко вырвал из запала чеку и бросил гранату под сетку ограды.

Дыра получилась небольшая и неровная. Разорвав на плече гимнастерку, сержант протиснулся сквозь сетку, оглянулся — следом, пригнувшись, бежал Ахметов, вскакивал с пулеметом Натужный; рядом прогремели еще разрывы гранат.

Тогда он, уже не останавливаясь, изо всех сил рванулся вперед, отчаянно стуча резиновыми подошвами по скользкой брусчатке площади.

И вдруг случилось что-то непонятное. Площадь покачнулась, одним краем вздыбилась куда-то вверх и больно ударила его в бок и лицо. Он почувствовал, как коротко и звонко брякнули о твердые камни его медали, близко, возле самого лица, брызнули и застыли в пыли капли чьей-то крови. Потом он повернулся на бок, всем телом чувствуя неподатливую жесткость камней, откуда-то из синего неба взглянули в его лицо испуганные глаза Ахметова, но сразу же исчезли. Еще какое-то время сквозь гул стрельбы он чувствовал рядом сдавленное дыхание, гулкий топот ног, а потом все это поплыло дальше, к церкви, где, не утихая, гремели выстрелы.

«Где Бабич?» — снова вспыхнула забытая мысль, и беспокойство за судьбу взвода заставило его напрячься, пошевелиться. «Что же это такое?» — сверлил его немой вопрос. «Убит, убит»,— говорил кто-то в нем, и неизвестно было — то ли это о Бабиче, то ли о нем самом. Он понимал, что с ним случилось что-то плохое, но боли не чувствовал, только усталость сковала тело да туман застлал глаза, не давая видеть — удалась ли атака, вырвался ли из парка взвод...

После короткого провала в сознании он снова пришел в себя и увидел небо, которое почему-то лежало внизу, словно отражалось в огромном озере, а сверху на его спину навалилась площадь с редкими телами прилипших к ней бойцов.

Он повернулся, пытаясь увидеть кого-нибудь живого,— площадь и небо качались, а когда остановились, он узнал церковь, недавно атакованную без него. Теперь там уже

не было слышно выстрелов, но из ворот почему-то выбегали автоматчики и бежали за угол. Закинув голову, сержант всматривался, стараясь увидеть Натужного или Ахметова, но их не было, зато он увидел бежавшего впереди всех новичка Тарасова. Пригнувшись, этот молодой боец ловко перебегал улицу, затем остановился, решительно замахал кому-то: «сюда, сюда!» — и исчез, маленький, тщедушный рядом с высоченным зданием кирхи.

За ним побежали бойцы, и площадь опустела. Тогда сержант в последний раз вздохнул и как-то сразу и навсегда затих.

К победе пошли другие...

1959

Миколас Слуцкис

(р. 1928)

ЧТО СКАЗАЛ КУТУЗОВ

Правильно, военный совет русской армии собрался в Филях. Так ты, может, вспомнишь, что сказал в Филях фельдмаршал Кутузов?

— Фельдмаршал был одноглазым. Но он очень хорошо все видел,— выкручиваюсь я.

— Ты хотел сказать — очень хорошо все предвидел, да?

На учительницу я не смотрю: выражение ее лица вряд ли меня порадует. Я смотрю на доску. Когда-то она была черна, как уголь. А сейчас вся седая от мела. Она, как две капли воды, похожа на ту, к которой меня вызывали в Литве. Кажется, будто наша старая классная доска гналась за мной через линию фронта и наконец догнала здесь, в Приуралье. Пылали города, горели в огне люди, а доска не сгорела. Она слепа и глуха и ничего не знает о том, что идет война и что немцы уже под Москвой.

Если внимательно изучать доску — а я не отрываю от нее глаз, так как и вправду позабыл, что сказал Кутузов,— можно разглядеть кое-что интересное. Внизу, к желобку, где накрошены кусочки мела, примерзла тряпка. Так крепко, что зубами не оторвешь. Будто жабу приколотили. Грязный комок до того похож на жабу, что жалко ее, как живую. Незаметно стараюсь сковырнуть ее и сбросить на пол.

— Не ковыряй тряпку,— сердится учительница. Она стоит ко мне спиной, но видит каждое движение.— Лучше вспомни, что сказал Кутузов. Тогда тоже была зима, и враг топтал нашу землю. И Кутузов, помнишь, сказал... Так что же сказал Кутузов?

Мне не жалко жабы. Это из-за нее рассердилась учительница, может, забыла бы свой вопрос. Теперь и учителя часто забывают! А может, если бы не торчала тут эта жаба, я думал бы только о Кутузове и хоть что-нибудь да вспомнил?

И мне начинает казаться, что во всем виновата примерзшая жаба. Это она съела скупое тепло железной печурки! Это она навесила на окна класса белые бороды и подбила дверь мехом инея. Это она кусает за ноги и за руки, словно злая собака.

— Представьте себе суровую русскую зиму...— медленно плывет в застывшем воздухе класса ровный голос учительницы.

Она хочет мне помочь, но еще больше сбивает. Ведь русскую зиму и представлять не надо! Зима не только наглухо затянула ледяной коркой двери и окна класса. Она вдавила наши головы в поднятые воротники пальто, затолкала наши ноги в огромные тяжелые валенки. Зима так остудила школу, что шапки и те снимать не велено. Даже отвечая урок, мы их не снимаем — вот какая зима! Так закутались, что похожи на сгорбленных старичков и едва помещаемся за партами. Чернила застыли,— катаем свои чернильницы под партами,— и хоть бы капля вылилась! Давно мы не скрипим перьями, но не очень скучаем по диктовкам и изложениям. К тому же тетради у нас особенные — сшиты из старых пожелтевших газет! Когда отвечаешь у доски, изо рта, будто из самовара, валит пар. У меня не валит. Хоть убей — не знаю, что сказал фельдмаршал Кутузов в Филях.

Может, меня поезд выручит?

Наша деревушка затерялась в бескрайней снежной пустыне. До ближайшей железнодорожной станции — добрая сотня километров. Но в классе разрешается греться — топать ногами. Врозь мы топаем редко. Топает весь класс. Тогда и впрямь кажется, что по рельсам летят поезда с солдатами, санитарами, полевыми кухнями и орудиями. Солдаты поют песни, пыхтят паровозы. В классе петь и пыхтеть не разрешается, а жалко. Но разве трудно вообразить паровоз и песню?

Вот трогается с места одна парта, лязгают буфера вагонов — это двинулись остальные, и с грохотом отправляется в путь весь эшелон. Быстрее, быстрее, быстрее! Я чувствую, как состав несет меня по бескрайней запорошенной равнине, мимо дремучих, засыпанных снегом, лесов, через разрушенные прифронтовые города и местечки. Эшелон мчится в Литву. И сквозь морозную дымку уже сверкают ее озера и реки, мелькают хаты... Набухают, чернеют, тают снега...

— Стоп, приехали,— властно останавливает поезд учительница,— и как раз тогда, когда я уже готов спрыгнуть в цветущее, гудящее пчелами, ржаное поле...— Так что же все-таки сказал Кутузов?

Эх, хоть бы у меня нос побелел! Когда ученик отмораживает нос или уши, его выгоняют во двор — натереть снегом. Целый час натирайся — никто слова не скажет!

А вот если бы побелел, прямой, как линейка, нос у нашей учительницы и она побежала бы оттирать его?

Учителя ведь мерзнут больше, чем ребята. Они на переменках не носятся, как угорелые, не ходят на голове! И топать в классе ногами они почему-то стесняются! Только уж наша учительница не замерзнет — не дождешься.

Она только что прибежала в школу на лыжах. Лыжи аккуратно прислонены к стене — короткие, толстые охотничьи лыжи. Учительница живет за балкой, в бараке лесорубов. Без таких лыж она бы увязла в сугробах!

Нарядная ее шубка расстегнута, мужская меховая шапка сдвинута на затылок — учительнице жарко! Из-под шапки выбились белые, как березовая кора, волосы. Словно и им жарко!

Круглые, чуть припухлые щеки учительницы разрумянились от мороза, точно от знойного летнего солнца. Кажется, она только что выкупалась в снегу, как мы купаемся летом в Вятке. Нет, учительница никогда не отпустит нас с уроков из-за мороза, если он даже перевалит за сорок! Ей, должно быть, приятно, что мы сидим съежившись. Нет, зимой мы нашу учительницу не любим. Мы любим ее только весной и осенью, когда не трещат морозы. А сейчас, какой бы холод ни стоял на дворе, будь добр, отвечай урок так, словно твои щеки пылают от жары... Словно ты не закоченел и не обледенел, как сосулька... Словно нет войны и немцы не рвутся к Москве!..

— Так, может, ты расскажешь нам что-нибудь другое, пока вспомнишь? — В голосе учительницы слышится легкая

насмешка, и щеки ее улыбаются, как два яблока.— А то уже скучно... Верно, ребята?

Ребятам, моим дружкам, вовсе не скучно. Они стучат зубами и мечтают о поезде. Через несколько минут снова можно будет открыть семафор...

О, другое я рассказал бы с превеликим удовольствием! Сегодня утром я встретил волков. Не одного — двух волков сразу! На улице, недалеко от пекарни. Они дрожали, как собаки, и облизывались, а глаза у них от розоватого утреннего снега багрово светились. Но возле пекарни пахло свежим хлебом, и сладкий запах этот неудержимо влек меня. Я даже не удивился тому, что увидел волков среди бела дня.

Но разве скажешь учительнице про хлеб,— нашей строгой, незамерзающей учительнице? Она тут же оборвет,— мол, идет война, а мы, ученики, получаем паек — целых шестьсот граммов, как солдаты, которые жертвуют своей жизнью. И все это ты должен будешь выслушать потому, что муж у нее на фронте. Как будто только он один и воюет!

И куда, скажите, провалился наш школьный звонок? Может, его тоненький голосок замерз и мы больше никогда не услышим его веселого пения?

Только я вспомнил о звонке, только подумал о его сладком пении, как вдруг громко — точно она раскололась от мороза — затрещала дверь класса!

— Татьяна Григорьевна! Татьяна Григорьевна! — Вместе с облачком пара в дверь просовывается чья-то голова, закутанная в шерстяной платок.

— Не мешай.

Татьяна Григорьевна — так зовут нашу учительницу — даже не оборачивается. Только я и Кутузов — больше никто ее не интересует.

Но голова, закутанная в платок, не унимается.

Теперь за дверью виден лишь длинный, почти до земли, поношенный ватник с подвернутыми рукавами.

— Татьяна Григ...

— Ну, чего тебе? Видишь, ученик так складно отвечает, а ты ему мешаешь!

Опять она смеется надо мной! И, как всегда, даже шутя, она упряма, как мороз, сковавший нас. Такая уж она, наша классная руководительница!

— Татьяна Гри... Григорьевна...— надувается и сжимается, как воздушный шарик, старая стеганка.— Что я вам скажу, Татьяна Григо...

Теперь все узнают Сашку Алябьева из четвертого. Три Сашкиных брата погибли на войне, и он страшно этим гордится. Ни одна семья в деревушке не получила столько похоронных. Сашку — единственного оставшегося, любит вся школа.

— Ну, говори уж,— разрешает учительница и тепло, по-матерински улыбается. Ее строгие узкие глаза светлеют.— Говори наконец...

Теперь я спасен, ей-богу, спасен! Пока Сашка мямлит, никакая опасность мне не грозит. А там, может, и звонок выручит...

— Татьяна Григорьевна... Татьяна Григо...— Имя и отчество учительницы словно застревают у Сашки в горле. Его вытертый до блеска ватник сияет, и маленькое личико тоже сияет, словно новая копейка.— Да что тут рассказывать.— Сашка резко взмахивает длиннющим рукавом, из которого торчит разорванная подкладка.— Михаил Ефимович вернулся!

— Кто вернулся? Какой Михаил Ефимович? Что ты болтаешь?

— Да физик наш! — Мелкое и круглое, как копейка, личико Сашки сияет по-прежнему.— Михаил Ефимович!

Сашка стесняется сказать, что вернулся муж нашей учительницы. Да, Михаил Ефимович, преподаватель физики, муж Татьяны Григорьевны. Они поженились незадолго до его ухода в армию.

«Ура! Михаил Ефимович вернулся!» — вырывается из двадцати пяти глоток. Во всех направлениях грохочут поезда — сотни вагонов с поющими солдатами, вооруженными новехонькими винтовками. Мы толкаем друг друга, топаем, не жалея валенок, орем благим матом. Ведь Михаил Ефимович — наш бывший учитель!.. Он дрался на фронте с фашистами... И вот пришел домой, хотя все думали, что он не вернется.

— Замолчите!

Это кричит наша учительница, та самая, что никогда не поднимала голоса. Дрожащими пальцами застегивает она шубейку, но никак не может попасть в петли. Теперь и ее трясет озноб. Татьяна Григорьевна так озябла, что не может двигаться. И чего это она стоит как вкопанная? Мы бы уже сто раз слетали в коридор и обратно.

Учительница ступает осторожно, словно идет не по полу, а по тонкому скользкому льду. Наверно, и руки у нее онемели, потому что на дверь она налегает всем телом.

Дверь открывается внезапно, без скрипа и остается распахнутой.

В зыбком сумраке коридора стоит высокий большой мужчина в длинной солдатской шинели, с набитым мешком за плечами. Кажется, что коридор нашей школы тесен для него. А может, это только так кажется, потому что голова его не держится на шее, а все время дергается от стенки к стенке. Да, он то и дело озирается по сторонам и странно мотает головой, то в одну сторону, то в другую. Когда мужчина запрокидывает ее, голова мелко подрагивает... Подрожит, дернется и снова — то в одну сторону, то в другую... Даже когда учительница обнимает шею мужчины, его голова вырывается из ее крепких и добрых рук.

— Контуженный...— угрюмо перешептываются ребята.

Михаил Ефимович не только контужен — у него еще болтается пустой левый рукав. Только одной, правой, прижимает он к себе учительницу. Как же он теперь, без руки, будет делать опыты по физике?.. И весь он как-то почернел, обуглился — словно головешка.

— Горел и не сгорел... Жив остался...— странно, спотыкаясь и дергая головой, бормочет Михаил Ефимович. А ведь до ухода в армию у него был такой звонкий, такой ясный голос!

Татьяна Григорьевна не пытается удержать большую, прыгающую голову мужа. Она гладит и комкает пустой рукав, словно хочет найти в нем здоровую руку.

— Я счастлива, Миша...— который раз повторяет она одно и то же.— Очень, очень счастлива... Ты же знаешь!..

— Да, Танечка, знаю...

Высокий черный солдат несмело улыбается. Его улыбка дробится на множество странных и мелких улыбок. Так улыбается разбитое на куски зеркало...

— У меня урок... Я сейчас кончу... Сейчас... Подожди минутку...

Но учительница не отходит. Она мнет и мнет пустой рукав, будто еще надеется наполнить его жизнью.

Не спуская глаз с мужа, Татьяна Григорьевна пятится к двери класса.

Весь класс, кроме меня, сидит за партами. Всех словно ветром сдуло с порога. И шапки словно ветер сорвал с голов.

Татьяна Григорьевна не замечает, что мы без шапок. Она идет по классу, белая и холодная, как льдинка. Когда учительница останавливается около своего столика,

кажется, будто это замерзшая, запорошенная снегом березка.

Голые макушки щиплет холод. Но я сейчас, как никогда, люблю нашу учительницу. И весь класс ее любит, хоть еще не весна — зима лютует на дворе. «Танечка»,— грустно и нежно звучит в наших ушах ее новое имя.

— Ты что тут делаешь? — Татьяна Григорьевна не сразу узнает класс, доску, меня.— А! — Теперь она вспомнила, почему я коченею у доски.

Медленно идет она между партами и ступает своими грубыми мужскими валенками так твердо, что пол как будто даже прогибается у нее под ногами.

— Ну как, теперь ты знаешь, что сказал Кутузов?

Голос у нее неторопливый, ясный, повелительный. Всегда он такой — голос нашей строгой Татьяны Григорьевны. Только красивые узкие глаза стали еще уже. А в уголках сверкают две замерзшие слезы. Сверкают упрямо и смело, словно острия штыков. И это пронзительное сверкание проникает прямо в душу каждому из нас, всем двадцати пяти.

От глаз Татьяны Григорьевны мне становится жарко. И весь класс наполняется какой-то непонятной, волнующей теплотой. Да, теперь я вспомнил. Теперь я прекрасно знаю, что сказал Кутузов!

— Мы победим Гитлера! — вот что сказал фельдмаршал. Что же еще мог он сказать?

Татьяна Григорьевна кивком велит мне сесть.

— Мы победим,— повторяет она своим ровным певучим голосом, который действует так успокаивающе, убедительно.

Одно только странно: почему она не удивляется, что я спутал столетия, заменил Наполеона Гитлером и заставил фельдмаршала Кутузова сказать то, что он не говорил никогда.

1962

Константин Воробьев

(1919—1975)

КРИК

Когда я услыхал этот тягучий жаркий крик: «Серге-ей» и оглянулся, под ее ногами возник куст взрыва. В нем, как в зарослях краснотала, развевались и летели концы ее черной шали, летели полы телогрейки, серые валенки, протянутые ко мне руки, летела вся она, и я не проследил ее падения, потому что зажмурился. И вот уже много лет она не падает перед моими глазами. Она как бы повисла в воздухе вместе со своим криком, и, если я не напишу об этом, ей никогда не достичь земли...

Уже несколько дней я командовал взводом, нося по одному кубарю в петлицах. Я ходил и косил глазами на малиновые концы воротника своей шинели, и у меня не было сил отделаться от мысли, что я лейтенант. Встречая бойца из чужого взвода, я шагов за десять от него готовил правую руку для ответного приветствия, и, если он почему-либо не козырял мне, я окликал его радостно-гневным: «Вы что, товарищ боец, не видите?» Обычно красноармеец становился по команде «смирно» и отвечал чуть-чуть иронически: «Не заметил вас, товарищ лейтенант!» Никто из них не говорил при этом «младший лейтенант», и это делало меня их тайным другом.

Наш батальон направлялся тогда на фронт в район Волоколамска. Мы шли пешком порядком от Мытищ и на каждом привале рыли окопы. Сначала это были настоящие окопы,— мы думали, что тут, под самой Москвой и останемся, но потом бесполезный труд осточертел всем, кроме командира батальона майора Калача. Он был маленький и кривоногий и, наверное, поэтому носил непомерно длинную шинель. Мой помощник старший сержант Васюков назвал его на одном из привалов «Бубликом». Взводу это понравилось, а майору нет,— кто-то был у нас стукачом. После этого Калач каждый раз лично проверял качество окопа, отрытого моим взводом. У всех у нас — я тоже рыл — на ладонях вспухли кровавые мозоли: земля была мерзлой — стоял ноябрь.

На шестой день своего землеройного марша мы вступили в большое село. Было уже под вечер, и мы долго стояли на улице — Калач с командирами рот сверял местность с картой. Весь день тогда падал редкий и теплый снег. Может, оттого, что мы шли, снежинки не прилипали к нашим шинелям, и только у майора — он ехал верхом — на плечах лежали белые пушистые эполеты. Он так осторожно спешился, что было видно — ему не хотелось отряхивать с себя снег.

— Гляди-ка, товарищ лейтенант! Бублик наш подрос!

Это сказал мне Васюков на ухо, и мне не удалось справиться с каким-то дурацким бездумным смехом. Майор оглянулся, посмотрел на меня и что-то сказал моему командиру роты. Я слышал, как тот ответил: «Никак нет!»

Село стояло ликом на запад, и мы начали окапываться метрах в двухстах впереди него, почти на самом берегу ручья. Воды в нем было по колено, и она казалась почему-то коричневой. Моему взводу достался глинистый пригорок на правом фланге в конце села. Дуло тут со всех сторон, и мы завидовали тем, кто окапывался в низинке слева.

— Застынем за ночь на этом чертовом пупке,— сказал Васюков.— Может, спикировать в хаты за чем-нибудь?

Я промолчал, и он побежал в село. У него была плоская стеклянная фляга с длинным, узким горлом, оплетенная лыком. Он носил ее на брючном ремне, и она не выпирала из-под шинели. Васюков называл ее «писанкой».

Я ждал его часа полтора. За это время на нашем чертовом пупке побывали Калач и командир роты.

— Окоп отрыть в полный профиль,— распорядился Калач.— Отсюда мы уже не уйдем.

Когда они ушли, я опустился к ручью. Он озябло чурюкал в кустах краснотала. За ним ничего не виделось и не слышалось. Мне не верилось, что мы не уйдем отсюда.

Васюков ожидал меня, сидя на краю полуотрытого окопа.

— Не достал,— шепотом сообщил он.— Шинель хотят.

— За сколько? — спросил я.

— За пару литров первача... Жителей совсем мало. Ушли.

— А за что сам тяпнул? — поинтересовался я.

— Да не-е, это я пареных бураков порубал,— сказал он.

Лишних шинелей у нас еще не было. А Васюков все же выпил,— я с самых Мытищ знал, чем отдает самогон из сахарной свеклы.

— Между прочим, тут есть валяльня,— сказал он.— Полный амбар набит валенками. И никого, кроме кладовщицы... Бабец, между прочим, под твой, товарищ лейтенант, рост, а под мою...

— Давай-ка рыть,— предложил я.— Отсюда мы, между прочим, не уйдем, понял?

Становилось совсем темно, но мы продолжали работать и ругаться,— ветер дул с запада и забивал глаза землей и снегом.

— Если на самом деле тут засядем, то не худо бы первыми захватить валенки, а? — сказал Васюков. От него хорошо все-таки пахло. Закусывал он, видать, не бураками. Он был прав насчет валенок. Хотя бы несколько пар. Почему не попытаться?

— Давай сходим,— сказал я.

Село как вымерло. Нигде ни огонька, ни звука — даже собаки не брехали. Мы миновали сторонкой школу, где разместился на ночь штаб батальона, потом завернули в темный двор, и там я минут десять ждал Васюкова. Из хаты он выходил шагом балерины, но сначала я увидел белую чашку, а затем уже его протянутые руки.

— Держи,— таинственно сказал он, и пока я пил самогон, он не дышал и вырастал на моих глазах — приподнимался на цыпочки.

После этого мы выбрались на огороды села. У приземистого деревянного амбара Васюков остановился и постучал ногой в дверь.

— Ктой-то? — песенно отозвался в амбаре чуть слышный голос.

— Мы,— сказал Васюков.

— А кто?
— Командиры,— сказал я.
Амбар и на самом деле был забит валенками. Они ворохами лежали по углам и подпрыгивали — мигала «летучая мышь», стоявшая у дверей на полу. Я приподнял фонарь и увидал у притолоки девушку в черной стеганке, большой черной шали, в серых валенках. Она держала в руках железный засов.
В жизни своей я не видел такого дива, как она! Да разве об этом расскажешь словами? Просто она не настоящая была, а нарисованная — вот и все!..
— Ну, что я говорил? — сказал Васюков.
Я сделал вид, будто не понял, о чем он, и сказал:
— Забираем сейчас же!
— Все? — обрадованно спросила девушка, глядя на меня так же, как и я на нее.
— Пока тридцать две пары,— сказал Васюков.
Он подмигнул мне и побежал во взвод за бойцами, а мы остались вдвоем. Мы долго молчали и почему-то уже не смотрели друг на друга, будто боялись чего-то, потом я спросил:
— Кладовщицей работаете тут?
Она ничего не сказала, вздохнула и поправила шаль, не выпуская из рук засова. Да! Ни до этого, ни после я не встречал такой живой красоты, как она. Никогда! И Васюков говорил правду — ростом она была почти с меня.
Я всегда был застенчив с девушкой, если хотел ей понравиться, и сразу же превращался в надутого индюка, как только оставался с нею наедине. Что-то у меня замыкалось внутри и каменело, я молчал и делал вид, что мне все безразлично. Это, наверно, оттого, что я боялся показаться смешным, неумным.
Все это наваливалось на меня и теперь. Я щурил глаза, начальственно осматривал вороха валенок, стены и потолок амбара. Руки я держал за спиной. И покачивался с носков на каблуки сапог, как наш Калач.
— А расписку я получу? — спросила хозяйка валенок. Я понял, что подавил ее своим величием и кубарями, и молча кивнул.
— Ну, тогда пишите,— сказала она.
Я написал расписку в получении тридцати двух пар валенок от колхоза «Путь к социализму» и подписался крупно и четко: «Командир взвода воинской части номер такой-то, м. лейтенант Воронов». Я проставил число, часы

и минуты совершения этой операции. Она прочла расписку и протянула ее мне назад:

— Не дурите. Мне ж правда нужен документ!

— А что там не так? — спросил я.

— Фамилия,— сказала она.— Зачем же вы мою ставите? Не дурите...— Никогда потом я не предъявлял никому своих документов с такой горячей радостью, почти счастьем, как ей! Она долго рассматривала мое удостоверение — и больше фотокарточку, чем фамилию,— потом взглянула на меня и засмеялась, а я спросил:

— Хотите сахару?

Я достал из кармана шинели два куска рафинада и сдул с них крошки махорки.

— Берите, у меня его много,— зачем-то соврал я.

Она взяла стыдливо, покраснев, как маков цвет, и в ту же минуту в амбар ввалился Васюков с четырьмя бойцами. Конечно, он пришел не вовремя — мало ли что я мог теперь сказать и, может, подарить еще кладовщице! Она стояла, отведя руку назад, пряча сахар и глядя то на вошедших, то призывно на меня, и я, ликуя за эту нашу с нею тайну на двоих, встал перед нею, загородив ее, и не своим голосом распорядился отсчитывать валенки.

Через минуту она вышла на середину амбара. Руки ее были пусты.

Васюкову не хотелось нагружаться, но связывать валенки было нечем, а каждый боец мог унести лишь шестьсемь пар.

— Давай забирай остальные,— сказал я ему.

— А может, кто-нибудь из бойцов вернется за ними? — спросил он, но, взглянув на меня, взял валенки.

— Пошли,— сказал я всем и оглянулся на кладовщицу.— А вы разве остаетесь?

— Нет... Я после пойду,— сказала она. Васюков протяжно свистнул и вышел. Я догнал его за углом амбара.

— Смотри там за всем, я скоро! — сказал я.

— Да ладно! — свирепо прошептал он.— Гляди только, не подхвати чего-нибудь в тряпочку...

Я постоял, борясь с желанием идти во взвод, чтобы как-нибудь нечаянно не потерять то хорошее и праздничное чувство, которое поселилось уже в моем сердце, но потом все же повернул назад, к амбару. Внутрь я не пошел. Я заглянул в дверь и сказал:

— Я вас провожу, хорошо?

— Так я же не одна хожу,— песенно, как в первый раз, сказала кладовщица, пряча почему-то руку за спину.

— А с кем? — спросил я.

— С фонарем.

Я не хотел, чтобы она шла с фонарем. Он был третий, лишний, как Васюков, и я сказал:

— С фонарем нельзя теперь. Село на военном положении...

В темноте мы долго запирали амбар,— петля запора не налезала на какую-то скобу; и мне надо было нажимать плечом на дверь. Наши руки сталкивались и разлетались, как голуби, и, поскользнувшись, я схватился за концы ее шали. Мы оказались лицом к лицу, и я смутно увидел ее глаза — испуганные, недоуменные и любопытные. В глаз и поцеловал я ее. Она отшатнулась и прикрыла этот глаз ладонью.

— Я нечаянно. Ей-богу! — искренне сказал я.— Вам очень больно?

— Да не-ет,— протянула она шепотом.— Сейчас пройдет.

— Подождите... Дайте я сам,— едва ли понимая смысл своих слов, сказал я.

— Что? — спросила она, отняв ладонь от глаза. Тогда я обнял ее и поцеловал в раскрытые, ползущие в сторону девичьи губы. Они были прохладные, упруго-безответные, и я ощутил на своих губах клейкую пудру сахара.

Странное, волнующее и какое-то обрадованно-преданное и поощряющее чувство испытывал я в тот момент от этого сахарного вкуса ее губ. Я недоумевал, когда же она успела попробовать сахар, и было радостно, что сахар этот был моим подарком, и мне хотелось сказать ей спасибо за то, что она попробовала его украдкой... Я думал об этом, насильно целуя ее и чувствуя слабеющую силу ее рук, упершихся мне в грудь. О том, что она заплакала, я догадался по вздрагивающим плечам,— лицо ее было в моей власти, но я его не видел, и испугался, и стал умолять простить меня и гладить ее голову обеими руками.

— Я хороший! — убежденно, почти зло сказал я.— У меня никогда никого не было... Вот увидишь потом сама!

Что и как могла она увидеть потом, я до сих пор не знаю и сам, но я говорил правду, и, видно, она ее услышала, потому что перестала плакать.

— Я больше не прикоснусь к тебе пальцем! — верующе сказал я. Она подняла ко мне лицо, держа сцепленные руки на груди, и с укором сказала:

— Хоть бы узнали сначала, как меня зовут!

— Машей,— сказал я.

— Мари-инкой,— протяжно произнесла она, а я качнулся к ней и закрыл ее рот своими губами. Я чувствовал, что вот-вот упаду, и вдруг блаженно обессилел; я куда-то падал, летел, и мне не хватало воздуха. Я разнял свои руки и прислонился к стене амбара, а Маринка кинулась прочь.

— Подожди! — крикнул я.— Подожди минуточку!

Она вернулась, издали тронула пальцем пуговицу на моей шинели и сказала:

— Ну, что это вы? А шапка где?

Она нашла ее под ногами и протянула мне.

— Мари-и-инка,— произнес я как начальное слово песни и стал целовать ее — напряженную, трепетную, прячущую лицо мне под мышку.

— Не надо... Пожалуйста! Ну разве так можно!..

— Скажи: «Ты, Сергей»,— просил я.

— Нет,— отбивалась она.— Не буду...

— Почему?

— Я боюсь...

— Чего?

— Не знаю...

— Ты мне не веришь?

— Не знаю... Я боюсь... И, пожалуйста, не нужно больше целоваться!

— Хорошо! — отрешенно и мужественно сказал я.— Больше я к тебе пальцем не прикоснусь!

До ее дома мы дошли молча. Она поспешно и опасливо скрылась за калиткой палисадника и, невидимая в черных кустах, песенно сказала:

— До свидания!

— Я приду завтра! — шепотом крикнул я.

— Нет-нет. Не надо!

— Днем приду, а потом еще вечером... Хорошо?

— Я не знаю...

Через пять минут я был в окопе.

В девять утра на наш пупок прибыл Калач в сопровождении своего начальника штаба и нашего командира роты.

— Младший лейтена-а-ант! — не останавливаясь, идя с подсигом, как все маленькие, закричал Калач еще издали, и я враз догадался, что сейчас будет — ему доложили о валенках. Может, еще ночью кто-то стукнул, черт бы его взял! Я побежал к нему, остановился метров за пять и так врезал каблуками, что он аж вздрогнул.

— Командир второго взвода третьей роты четыреста восемнадцатого стрелкового батальона младший лейтенант Воронов по вашему приказанию явился!

У меня получилось это хорошо, и, наверно, я правильно смотрел в глаза майору, потому что он скосил немножко голову, как это делают, когда разглядывают что-нибудь интересное, потом обернулся к командиру роты:

— Видал орла?

Капитан Мишенин пощурился на меня и вдруг подмигнул. Ему не нужно было это делать — я ведь тогда весь был захвачен широкой и бездонной радостью, поэтому не выдержал и засмеялся.

— Что-о? — рассвирепел Калач.— Тебе весело? Мародерствуешь, а потом зубы скалишь? В штрафной захотел?

— Никак нет, товарищ майор! — доложил я.

— Куда девал государственное имущество? — спросил он. Я не совсем понял, и тогда Мишенин негромко сказал:

— Это кооперативное, товарищ майор.

— Все равно! — отрезал Калач.— Где валенки, я спрашиваю?

— У бойцов на ногах,— ответил я.

— На ногах? — опешил майор.— Сейчас же возвратить! Немедленно! Самому!

— Есть возвратить самому! — повторил я и обернулся к окопу: — Разуть валенки-и!

Я любил в эту минуту Калача. Любил за все — за его рост, за то, что он майор, за его ругань, за то, что он приказал мне самому отнести валенки в амбар... Они все, кроме двух пар, были изрядно испачканы землей и растоптаны, и бойцы начали чистить их, а Васюков, когда удалилось начальство, спросил меня:

— Может, вдвоем будем таскать?

— А ты не слыхал, что сказал майор? — ответил я.— Мне одному приказано.

— Да откуда он узнает!

— От стукача, который доложил ему!

— Это верно,— вздохнул он.

Я захватил под мышки шесть пар валенок, и побежал к амбару, и за дорогу раза три складывал валенки на землю, и поправлял на себе то шапку, то ремень и портупею. Сердце у меня давало, наверно, ударов полтораста в минуту, и когда я увидел запертые двери амбара, то даже обрадовался — я боялся увидеть Маринку днем, боялся показаться сам ей.

Я долго сидел на крыльце амбара — курил и глядел в поле — и, когда от махры позеленело в глазах, неожиданно решил идти за Маринкой.

В селе оказалось много изб с палисадниками, и я выбрал тот, где кусты были погуще, и, ссыпав валенки во дворе, постучал в двери сеней. Я на всю жизнь запомнил дверь эту — побеленную зачем-то известью, с засаленной веревочкой вместо ручки. Большими печатными буквами-раскоряками пониже веревочки объявлялось:

МАРИНКА ДУРА

Открыл мне пацаненок лет семи,— это был Колька, Маринкин братишка, как узнал я потом.

— Марина Воронова тут живет? — спросил я его.

— Она сичас не живет,— сказал Колька,— она за водой пошла.

Я сошел с крыльца и увидел Маринку, входившую с ведрами в калитку. Заметив меня, она даже подалась назад и покраснела так, что мне стало ее жалко.

— Вот принес валенки,— сказал я вместо «здравствуй».

— Не налезли? — виновато спросила Маринка. Ближнее ко мне ведро раскачивалось на коромысле, и вода плескалась на мои сапоги.

— Налезли,— сказал я,— но приказано вернуть. Все. Ясно?

— Ага,— сказала Маринка.— Сейчас выйду. Подождите...

Я подобрал валенки и пошел со двора, но меня окликнул Колька:

— А ты красноармеец или командир?

— Командир,— сказал я, и в это время из сеней вышла Маринка, и я был благодарен Кольке за его вопрос: мне казалось, что она тоже не знает, что я лейтенант, хоть и младший.

По улице села мы прошли молча — я впереди, а она сзади, и когда на околице я оглянулся, Маринка остановилась и начала хохотать как сумасшедшая, взглядывая то на мое лицо, то на валенки. Конечно, я, наверно, был смешон до нелепости.

— Ну и что тут такого? Подумаешь! — сказал я, выронил валенки и пнул их ногой. Обессилев от смеха, Маринка повалилась прямо на снег. Я кинулся к ней и губами отыскал ее рот.

— Увидят же... все село... бешеный,— не просила, а стонала она, да мне-то что было до этого? Хоть весь мир пускай бы смотрел!

Кое-как мы дошли до амбара,— как только она начинала хохотать, я бросал валенки и целовал ее. На крыльце амбара она пожаловалась:

— У меня уже не губы, а болячки. Хоть бы не кусался...

— Больше не буду,— сказал я.

— Да-а, не будешь ты...

Разве мог я после этого сдержать свое слово?

Когда я вернулся в окоп за очередной порцией валенок, взвод мой гудел, как улей:

— Товарищ лейтенант! Давайте отнесем разом, и шабаш! Что же вы будете мотаться один до обеда?!

Знали бы они, что я согласен «мотаться» так не только до обеда, а хоть до конца своей жизни. Конечно, я не позволил бойцам помочь мне, сославшись на приказ Калача...

Подходя к амбару, я еще издали услыхал музыку Маринкиного голоса. Она пела «Брось сердиться, Маша...».

То, чего я больше всего боялся и не хотел — возможного марша вперед,— в этот день не случилось: мы остались на месте. Я чуть дожил до темноты: в двадцать ноль-ноль мы договорились с Маринкой встретиться у амбара. Перед моим уходом у нас состоялся с Васюковым мужской разговор.

— Почапал, да? — мрачно спросил он.— А что сказать, ежели начальство явится?

— Скажи, что я забыл свою расписку на валенки. Скоро вернусь.

— Порядок! — сказал Васюков.— Гляди, распишись там как положено. В случае нужды — свистни. Поддержу...

Я поманил его подальше от окопа.

— Если ты хоть один раз еще скажешь это, набью морду. Понял? — решительно пообещал я.

— Так я же думал... Я же ничего такого не сказал,— растерянно забормотал он.— Мне-то что?

На следующий день утром через ручей переправилась какая-то кавалерийская часть. Маленькие заморенные кони были одной масти — буланой, и до того злы, что кидались друг на друга. Они грудились в улице села, привязанные

к плетням и изгородям, а кавалеристы шли и шли с котелками к нашим кухням. Изголодались, видать, ребята.

День был низенький, туманный и тихий, как в апреле, и все же в обед черти откуда-то принесли к нам девятку «юнкерсов». Бомбили они не окопы, а село, и сбросили ровно девять бомб. Я сам считал удары. От них подпрыгивал весь наш пупок — до такой степени взрывы были мощны и подземно-глухи.

— Железобетонные,— сказал Васюков.— Из цемента. По тонне каждая. Я точно знаю!

— Ну и что? — спросил я.

— А ничего. Воронка с хату. Озеро потом нарождается...

Над селом клубился серый прах; истошно, не по-лошадиному визжали и ржали кони, кричали и стреляли кудато кавалеристы, хотя «юнкерсы» уже скрылись. Я схватил Васюкова за локоть. Он отвел глаза и отчужденно сказал:

— Ну, тут... сам понимаешь. Они могут сейчас завернуть и к нам. Так что решай, где ты должен находиться...

— Пять минут! — сказал я.— Только взгляну, узнаю... Ну?!

Он молчал, и я отвернулся к ручью и стал закуривать.

Удивительно, какая осмысленная, почти человеческая мука может слышаться в лошадином ржании!

— Вообще-то можно и сбегать,— сказал позади меня Васюков.— Ну, сколько тут? Двести метров?

Я сунул ему незажженную цигарку и бросился в село.

На улице валялись снопы соломы, колья и слеги заборов — это сразу, а глубже, уж недалеко от Маринкиной хаты, я увидел огромную круглую воронку, обложенную метровыми пластами смерзшейся земли. Рядом с ней, у раскиданного плетня, высокий смуглолицый кавалерист, одетый в бурку и похожий на Григория Мелехова, остервенело пинал сапогами в разорванный сизый пах коня, пробуя освободить седло. Конь перебирал, будто плыл, задранными вверх ногами, тихонько ржал, изгибая длинную мокрую шею, заглядывая на свой живот, и глаза у коня были величиной в кулак, чернильно-синие, молящие.

Через минуту я увидел — нет, не Маринкину еще — разрушенную хату. Наверно, тут было прямое попадание, потому что даже печка не сохранилась. Да там вообще ничего не уцелело. Просто это была исковерканная куча бревен и соломы, осевшая в провал.

В тесовой крыше Маринкиной хаты, прямо над сенцами, темнела большая круглая дыра. Во дворе и на крыльце валялась пегая щепа дранки. Я решил, что крышу прободал осколок. Цементный. Но дыра была чересчур велика, и у меня похолодело во рту: «Бомба замедленного действия!» Я мысленно увидел ее почему-то никелированно-блестящей, тикающей и побежал со двора пригнувшись, как бегал в детстве с чужих огородов. Я то и дело оглядывался и видел белую дверь и веревочку, а пониже ее, там, где вчера было «Маринка дура»,— бурое продолговатое пятно. «Стерла, чтобы я опять когда-нибудь не прочитал»,— понял я и повернул назад.

Дверь я открыл с ходу, плечом, и в полутьме сеней, под белым столбом света, проникавшего в дыру крыши, увидел лошадь. Она лежала комком, подвернув под себя ноги и голову, и на ее мертвой спине выпячивалось и блестело медной оковкой новенькое комсоставское седло.

В хате никого не было, но на столе, в крошеве стекла, лежал хлеб, три ложки и стоял чугунок. От него шел пар,— окна на улицу были разбиты. Я заглянул в чулан и позвал:

— Есть кто-нибудь?

— Есть! — слабо донесся откуда-то Колькин голос.

— Где ты? — спросил я.

— А тут... В погребе!

Прямо у моих ног приоткрылся люк, и Колька вылез первым, за ним мать, а потом Маринка. Она была непокрытой, и я впервые увидел ее волосы — черные до синевы, в двух косах. Она смотрела на меня так, будто хотела предупредить о чем-то, боялась, видно, что я брякну ей что-нибудь лишнее тут, при матери, и я сказал:

— Лошадь там в сенцах. Убитая. Пришел посмотреть...

— Господи! — запричитала мать.— Да как же она там очутилась? Ваша, что ли?

— Нет, она чужая,— сказал я.— Вечером мы ее вытащим.

В сенцах, увидав пробитую крышу и лошадь, мать сказала, что это не к добру, и заголосила. Что я мог тогда сделать для них? Мне даже подарить им было нечего...

Васюков сказал, что я отсутствовал ровно восемнадцать минут. Я сообщил ему о лошади.

— С седлом? — спросил он.

— С седлом.

— Хорошее?

— Новое. Комсоставское.

— Порядок! — сказал он.— Пригодится.

— Для кого?

— Ну, мало ли! Может, довоюемся до майоров, а тут такой случай... Они же уходят, видишь?

Конники покидали село, уходя в тыл. Некоторые шли пешком, неся уздечки и седла.

Вскоре во взвод явился связной Мишенина.

— Младший лейтенант Воронов! К капитану! — прокричал он, глядя куда-то мимо меня. Все эти связные старших были на один манер: для них мы, командиры взводов, не начальство, которое нужно приветствовать. Сволочи!

Мишенину оборудовали землянку между селом и первым взводом. Землянка получилась роскошная, с печкой и в четыре наката сухих бревен. Значит, мы не уйдем отсюда!

Капитан вызывал всех командиров взводов роты. Совещание было коротким и для меня как праздник — нам предстояло делать проволочные заграждения по эту сторону ручья. Колья — в селе. Проволока — в четвертом взводе. Интересно, откуда она там взялась?

Я побежал в свой взвод и еще издали не прокричал, а пропел, потому что у меня все команды теперь пелись:

— Старший сержант Васюков! Ко мне!

Он, конечно, понял, что я не с плохим вернулся, и точь-в-точь, как я вчера перед Калачом, врезал передо мной каблуками и доложил:

— Помощник командира второго взвода третьей роты четыреста восемнадцатого стрелкового батальона старший сержант Васюков по вашему приказанию явился!

— Пьяница ты! — шепотом сказал я ему.— Самогонщик! В штрафной захотел?

— Никак нет, товарищ лейтенант! — тоже шепотом ответил он, и мы разом почему-то оглянулись на окоп. Тридцать обветренных, знакомых и дорогих мне лиц, тридцать пар всевидящих и понимающих глаз смотрели в нашу сторону. Что-то горячее, благодарное и преданное к этим людям пронизало тогда мое сердце, и я быстро отвернулся, потому что мог заплакать, а Васюков спросил:

— Ты чего?

— Ничего,— сказал я.— Просто ты пьяница. Самовольщик...

Пока принесли колючку — смерклось, и мы с Васюковым отправились в село «на разведку кольев». Маринка ожидала меня во дворе. Она смущенно поздоровалась с Васюковым, а мне сказала:

— Я думала, уже не придешь...

— У нас так не бывает,— с важностью заявил Васю-

ков.— Что сказано, то сделано. Ну-ка, показывайте, где лошак!

— Лошадь? — спросила Маринка.— Она вон там, за сараем лежит.

— Это почему так? — удивился Васюков.— А седло где?

— Казаки взяли. Которые выволакивали...

Васюков остервенело плюнул, хотел что-то сказать мне, но раздумал.

— Давай хлопочи насчет кольев,— сказал я ему.— Назначь два отделения. А я через час буду. Ладно?

Он посмотрел на свои большие кировские часы и пошел со двора. Маринка взяла меня за указательный палец и повела за угол сарая. Там, на снегу, обрывая темный извилистый след, страшной неподвижной кучкой лежала лошадь. Я стал к ней спиной, обнял Маринку и забыл, что я на земле и на войне. Она подалась ко мне и зажмурилась, а минут через пять сказала:

— Мама спрашивала, зачем ты приходил.

— А ты что сказала?

— Колька сказал...

— Что?

— Ну, что ты ко мне...

— А она что?

— Так... Ничего.

— А все же?

— Ну... чтобы это было в первый и последний раз.

Я поцеловал ее, и она, сронив мне на плечо голову, западающим шепотом сказала:

— Ох, Сережа! Пропала, видно, я...

— Почему? — с непонятной обидой к кому-то спросил я.

— Люблю я тебя... Так люблю, что... пропала я!

— Дурочка ты! — сказал я, и почему-то никакое другое слово не было мне нужнее, роднее и ближе, чем это.— Дурочка! Тебя-то уж я не потеряю!

— А я тебя?

— Куда я денусь?

— Не де-енешься! — пропела Маринка.— Я же хоро-ошая, красивая. Ты думаешь, я это не знаю?

— Дурочка ты...

Может, оттого что я в третий раз называл ее так и сразу же целовал, Маринке нравилось это слово...

Второй день уже я не ходил, а бегал. Васюков сказал, что отсутствовал я всего лишь пятьдесят три минуты.

— Не дотянул до часа,— не удержался он.— Хотя на войне, конечно, быстрее все делается...

— Будешь болтать — и я дотянусь как-нибудь до твоей рожи. Пьяница несчастный! — сказал я.

— Вообще-то выпить не мешало бы,— мечтательно протянул он.— И какого это черта не дают нам фронтовые сто граммов! Ты не знаешь?

— А ты не знаешь, что на закуску ста граммов полагается фронт? — спросил я.

— Так мы бы занюхали тут чем-нибудь...

Бойцы носили из села колья и бревна. Где они их там брали — было неизвестно. Мы работали всю ночь — вырывали стояки для колючки, а за ручьем, по заснеженному лугу, елозили батальонные минеры. Неужели в темноте можно минировать? Что за спешка?

Отделения моего взвода попеременно отдыхали в трех крайних хатах. До сих пор я был только в одной — там, где спал сам. Я пошел туда уже перед утром. До этого я лишь один раз видел хозяина хаты — маленького и щуплого, с русой бородкой и темными умными глазами. Он чему-то коротко и недобро засмеялся, когда увидел меня, и я не заметил у него зубов. Может, он засмеялся тогда не надо мной, а просто так. И все же он не понравился мне.

В хате спало третье отделение. Бойцы лежали на соломе, настланной толстым слоем на полу. Командир отделения Крылов стоял посредине хаты и курил. У дверей, прислонясь спиной к притолоке, сидел на корточках — как чужой тут — хозяин хаты. Он взглянул на меня и опять нехорошо как-то улыбнулся. Что за тип? Я прошел в угол и с удовольствием нырнул в солому. В хате было тепло и сумрачно — на завешенном рябой попонкой окне мерцала лампа без пузыря. Интересно, чего этот беззубый хрен оскаляется? Что во мне смешного? Сам-то на всех чертей похож! И дочь — тоже. Я столкнулся с нею вчера, выходя из хаты. У нее такой нос, будто она все время плачет втихую... Любопытно, как ее звать! Феклой, наверно! Я улыбнулся Маринке, обнял солому и стал засыпать. Откуда-то издалека в мое затихающее сознание толкнулся голос Крылова:

— Значит, говорите, отпустили?

— Пришлось выпустить... Видно, не до нас теперь тюремщикам,— шепеляво, но со сдержанно-едкой силой ответил хозяин. Крылов долго молчал, потом почти безразлично спросил:

— И документик имеете?

— А то как же! Дают,— в тон ему отозвался хозяин.

— А он у вас далеко?

— Не так чтоб слишком...

Я уже был на краю сна и яви, когда Крылов произнес чуть слышно:

— Предьявите мне документ.

— Можно и предъявить,— со спокойной ехидцей сказал хозяин.— Вы что же, старшой тут по таким делам?

— Может, и старшой,— ответил Крылов, видно, он решил, что я сплю.

— Ну-ну! — поощрил хозяин, и оба они замолчали. Крылов читал документ, и в хате был слышен лишь ровный, покойный храп бойцов.

— Та-ак,— сказал наконец Крылов.— А за что отбывал?

— За что сидел? — будто не расслышал хозяин.— За испуг воробьев на казенной крыше...

Я чуть не прыснул,— здорово придумал мужик, а Крылову ответ не понравился. Он сказал: «Ну, все!» — и стал укладываться. Я слышал, как он сердито шуршит соломой, и слышал, как неприятно хрустят колени хозяина, проходившего в чулан...

Весь следующий день мы укрепляли свой берег ручья и снабжались боеприпасами,— мой взвод получил два ручных пулемета, одно ПТР, несколько ящиков патронов, гранат и бутылок с бензином. Калач прибыл на наш пупок в полдень и сам выбрал место для пулеметов и ПТР — на правом фланге, так как соседей там у нас пока не было. Он опять накричал на меня, но уже не за кооперативное имущество, а за беспечность при распределении бойцов на отдых.

— Что за человек, у которого ты дислоцируешься? — спросил он.

— Маленький такой,— сказал я.

— А мне плевать, большой он или маленький! — покраснел Калач.— Найдите другое место! Мало вам пустых изб, что ли? Залезают черт знает куда!..

Всем остальным майор остался доволен. Он спросил Мишенина, ознакомлен ли я со схемой минного поля впереди ручья, и ушел. Интересно, за что он меня не любит? А вот капитан любит, я ведь это вижу и знаю. И я люблю его тоже.

Я рассказал Васюкову о хозяине хаты и о Крылове.

— Все ясно,— сказал он.— Сознательный малый. Один на весь взвод оказался... Валенки — тоже его работа! Что ж, бдительные люди нам с тобой позарез нужны... Как ты

думаешь, не закрепить ли ПТР за младшим сержантом Крыловым? Оружие это грозное, отношение к себе требует бережное. Доверим?

— Конечно, доверим,— сказал я.

В двадцать ноль-ноль я был за углом сарая как штык. Маринка уже ждала меня, и я снова стал спиной к убитой лошади и полетел над землей.

— Давай уйдем отсюда. Нехорошо как-то тут...— сказала Маринка.

— А куда? — спросил я.

— К амбару.

— Я на один час только...

— А мы бегом.

— Ну давай,— сказал я, и мы побежали по огородам, и она держала меня за указательный палец, как маленького. Крыльцо амбара было припорошено снегом, и я стал разметать его шапкой, а Маринка наклонилась ко мне и изумленно-испуганно спросила на ухо:

— Что ты делаешь?

— Сядем,— сказал я.— Ты не бойся... Я же обещал...

Я притянул ее к себе на колени и ощутил грудью стук ее сердца — как у голубя.

— Дурочка! Что ты во всем этом понимаешь!

— В чем? — спросила она.

— В том, какая ты у меня... В нашей с тобой любви.

— Непутевая она у нас... Если б не война!..

— Тогда бы я не встретил тебя.

— А я и без тебя встретила б!

— Кого?

— Как кого? Тебя. Ты где жил?

— В Обояни.

— Ну и приехала б!.. А там у вас одеколон делают?

— Кирпичи,— сказал я.

— Обоя-ань... Расскажи мне о себе. Все-все!

Я рассказал все-все и сам удивился тому, как это было немного. Мы жили с матерью в Медвенке. Это райцентр. Мать была там учительницей. Я закончил десятилетку, но не в Медвенке, а уже в Обояни: в 1937 году маму уволили, а меня исключили из комсомола. За что? У нас было несколько томов «Отечественной войны 1812 года», и мы с матерью знали всех генералов от Барклая де Толли до Тучкова-третьего. Ну, вот за этот интерес к русским генералам... А в Обояни я вступил в комсомол снова. Скрыл прошлое — и вступил!

— Приняли? — спросила Маринка.

— Кто? — не понял я.— Те, что исключали?

— Да нет, вообще.

— Приняли.— И я ругнулся так, чтоб отвести душу.

— Не ругайся,— попросила Маринка.— Ты очень любишь ругаться. Прямо как мой отец. Он тоже часто выражался...

— А где он? — спросил я.

— На фронте... Два месяца нету писем... Где это Шклов находится, не знаешь?

Я подумал о своем последнем письме маме, посланном еще из Мытищ, о крыше и выбитых окнах в Маринкиной хате, о погребе и Кольке, и что-то обидное шевельнулось во мне к самому себе. Почему-то мне вспомнилось, что самым ненавистным словом у мамы было «проходимец». Хуже такого определения человека она не знала.

— Ты чего замолчал? — спросила Маринка.

— Думал,— сказал я.

— О чем?

— О себе... И о тебе тоже... Знаешь, у нас все с тобой должно быть хорошо и правильно!.. Давай поженимся...

То, что я сказал — поженимся, отозвалось во мне каким-то протяжным, изнуряюще-благостным звоном, и я повторил это слово, прислушиваясь к его звучанию и впервые постигая его пугающе громадный, сокровенный смысл. Наверно, Маринка так же ощутила это, потому что вдруг прижалась ко мне и притаилась.

— Поженимся! — опять сказал я.

— Что ты выдумываешь,— произнесла наконец Маринка.— Где же мы... Война же кругом!

— Черт с нею! — сказал я.— Мы поженимся так пока, понимаешь? А после войны только будем как настоящие муж и жена. Хорошо?

— Что ты выду-умываешь!..

— Завтра поженимся, в день моего рождения...

— Господи! Что ты говоришь? — воскликнула Маринка, и в эту минуту она была очень похожа на свою мать, когда та увидела лошадь в сенцах и сказала: «Господи».— У меня же тоже двадцать второго ноября день рождения! Ты вправду?

— Ну да. Двадцать один стукнет. Ты думаешь, я молоденький?

— Не-ет, я и не думала... А мне тоже восемнадцать стукнет. А ты думал сколько?

— Пятьдесят шесть,— сказал я.

— Что ты! Маме и то сорок пять только!..

— Дурочка ты!..

Возвращался я бегом, и подмерзший снег не скрипел, а пел у меня под ногами, и мысленно я пел сам, и со мной пела вся та ночь — чутко-тревожная, огромная, заселенная звездами, войной и моей любовью. Я хорошо понимал, что моя радость «незаконна»,— немцы ведь подходили к Москве, но все равно я не справлялся с желанием поделить свое счастье поровну со всеми людьми.

В окопе с дежурным отделением был Васюков.

— Как дела? — спросил я его.

— Все в порядке,— ответил он.— А у тебя?

Мы сошли с ним к проволочному заграждению, широкой кривулиной уходившему в лунно-дымную даль центра обороны. На кольях и на колючей основе проволоки мерцали блестки легкого инея, и все это безобразное нагромождение казалось теперь осмысленно безобидным, нарядным, кружевным.

— Послушай, Коля... Понимаешь, я женюсь! Завтра женюсь! — бессвязно и благодарно сказал я Васюкову. Он посмотрел на меня, отступил в сторону и спросил, давясь хохотом:

— Только жениться? А иначе, значит, никак? Молодец девка!..

Я ударил его дважды, и в окоп мы вернулись порознь.

Никто из нас по-настоящему не нюхал еще войны. Пока что мы ощущали ее морально и только немножко физически, когда рыли окопы. Мы не встречали ни убитых, ни раненых своих, не видели ни живого, ни мертвого немца. Мы видели лишь — да и то со стороны — вражеские самолеты. Они всегда пролетали большими журавлиными стаями, и рев их надолго заполнял небо и землю. Я никогда не слыхал, чтобы в этот момент кто-нибудь произнес хоть слово. Тогда бойцы почему-то избегали смотреть друг на друга, торопились закурить, и лицо у каждого было таким, будто он только что получил известие о несчастье в доме. Зато надо было слышать тот по-русски щедрый приветственно-напутственный и ласковый мат по адресу своего самолета, когда он появлялся в небе! Заслушаешься и ни за что не утерпишь, чтобы не прибавить чего-нибудь и от себя...

Утро дня моего рождения выдалось крепким, ясным и звонким. Взвод занимался гречневой кашей с салом, когда над нами появился странный самолет с прямоуголь-

ным просветом в фюзеляже. Такого я еще не видел. Небо было бирюзово-розовым, и самолет казался на нем, как грязная брызга. Он повис над нашим окопом, и мы отчетливо видели белые кресты на его крыльях и слышали натужно вибрирующий гул моторов.

— Разведчик ихний,— не глядя на меня, сказал Васюков.— Разрешите мне из ПТР... Может, ссажу!

Я сказал: «Действуйте» — мы были теперь на «вы»,— и он бросился к Крылову за ружьем, но долго не мог прицелиться — самолет кружил прямо над нами, а длина ПТР достигала двух метров, и его не на что было приладить.

— Кладите ствол на меня! — приказал я и уперся руками в стенку окопа. Васюков так и сделал. Ствол ружья плотно прилегал к моему левому уху, и я на всякий случай зажмурился и раскрыл рот. Выстрел я ощутил спиной и головой,— наверно, так чувствуешь себя после удара колом.

— Ну, что? — крикнул я.

— Не берет сразу,— отозвался Васюков.— Станьте-ка повыше...

Я стал, а он, повозясь и покряхтев сзади меня, снова ударил.

— Ну? — крикнул я.

— Не берет, гад! Станьте пониже...

— Стань сам, раз не умеешь стрелять! — сказал я, но сразу мне не удалось освободиться от ружья, Васюков, видать, налег на приклад, заорав что-то несуразное:

— Ага-а, располупереэтак твою...

Взвод тоже орал. Я не сразу поймал глазами самолет и закричал вместе со всеми: он кривобоко тянул на запад, пачкая небо серым, бугристым следом дыма. По нему бил теперь весь батальон, и я не знал, как же мне доказать Калачу, что разведчика подбил мой взвод? Он может и не поверить...

Я выстроил взвод позади окопа и скомандовал:

— Старший сержант Васюков! Три шага вперед!

Он вышел строевым шагом и стал «смирно».

— За проявленное мужество и находчивость при уничтожении вражеского самолета старшему сержанту Васюкову от лица службы объявляю благодарность!

И тогда с Васюковым что-то случилось. Он насупился, покраснел и ответил чуть слышно:

— Служу... служу Советскому Союзу...

С ума сошел! Разве можно отвечать таким тоном, да еще перед строем! Я повторил благодарность, а Васюков взгля-

нул на меня плачущими глазами, махнул рукой и пошел в строй, как больной.

Очумел мужик! Я распустил строй и кивнул Васюкову, чтобы он остался на месте. Он и в самом деле плакал. Не по-настоящему, а так, одними глазами.

— Ты чего? Обиделся за вчерашнее? — спросил я.— Нашел тоже время... сводить личные счеты!

— Да нет,— сказал он и высморкался в полу шинели.— Это я так... Подперло что-то под дыхало... Сам посуди: летают, как дома... Почти половину России захватили, а мы...

— Да ты же подбил его, чудак! — сказал я.

— Конечно, подбил. А где? Под самой Москвой? А, как будто ты сам не понимаешь!.. Выпить бы сейчас, а?

— Ты... извини, пожалуйста, за вчерашнее,— попросил я.— Ладно?

— Ладно, за тобой останется... На свадьбу только позови,— полушутя-полусерьезно сказал он.

Я напрасно беспокоился: самолет был учтен за нашим взводом. Капитан Мишенин вынес нам с Васюковым благодарность. Мне вроде бы не за что, но старшим возражать не положено.

А день выдался как по нашему с Маринкой заказу. Впервые хорошо и глубоко проглядывалось поле впереди ручья. Оно поднималось наизволок, и почти на горизонте виднелись сквозные верхушки деревьев и пегие крыши построек. Справа, где у нас не было соседей, голубел лес. Он тянулся по пригорку и чуть ли не вплотную подступал к тому, еле видимому селению. Временами оттуда прикатывались к нам невнятные орудийные выстрелы и широкие, осыпающиеся гулы. У нас это никого не тревожило — даже синиц. Они густой стайкой сидели на проволочном заграждении — и хоть бы что.

Я все время был в окопе. Васюков давно ушел на батальонную кухню. Оттуда он должен был зайти в знакомую хату насчет выпивки. Для этого я дал ему пару своего запасного фланелевого белья. Вернулся он немного выпивши,— не утерпел человек.

— Полный порядок! — доложил.— Есть кусок сала и полная писанка... А на кухне достал пару банок трески в масле. Хватит, я думаю. Хлеб-то там найдется?

— Не знаю,— сказал я.

— Как же так? Зять, а положение тещи не знает! Ты хоть видел ее?

— Один раз.

— И как она к тебе?

— Так себе...

— Не понравился, выходит?

— Война. Сам понимаешь...

— То-то и оно! И не крути-ка ты, командир, девке голову. Слышишь? Она же своя. Русская... И честная, видать...

— Старший сержант Васюков! Кто тебе помог подбить самолет и первый вынес благодарность? — спросил я.

— Ну, ты.

— Не «ну, ты», а младший лейтенант Воронов! И я запрещаю тебе обсуждать его действия, потому что он малый хороший, а не какой-нибудь там пьяница, как некоторые.

— Ясно. А выпить хорошему малому не хочется?

— Хочется. Но надо подождать до вечера.

— Тогда отнеси все туда. А то у меня такой настрой, что могу не вытерпеть. Самолет все-таки подбил я.

Мы сошли к ручью, и там в кустах краснотала я забрал у Васюкова писанку, консервы и сало. «Приду,— думал я,— положу все на стол и скажу: вот бойцы, командиры и политработники нашей части прислали подарок... на день рождения вашей дочери... Нет, это глупо. Скажу что-нибудь другое...»

На дворе я увидел Кольку, и он еще издали сказал:

— Хочешь поглядеть, сколько у нас крови?

— Где? — испугался я.

— В сарае. Маринка петуха зарезала. Варится уже...

У меня больно и радостно ворохнулось то знакомое чувство благодарности и преданности к Маринке, которое я испытывал тогда в амбаре, когда подарил ей сахар, и я схватил Кольку и поднял на руки. У него соскользнули на снег валенки — велики были, и, когда я присел и стал обертывать его ноги ситцевыми ветошками, на крыльцо вышла мать.

— Ну чего ты залез к чужому человеку? Маленький, что ли? — крикнула она Кольке.

— Я не залез, это он сам,— ответил Колька.

Я поздоровался с матерью по команде «смирно». Она велела Кольке идти в хату и скрылась в сенцах.

— Позвать Маринку? — сочувственно посмотрел на меня Колька.

— А мать не заругается? — спросил я.

— Что ты! Она уже ругалась. За петуха...

Маринка выбежала в одном платье. Я снова будто впервые увидел ее — невообразимую, с громадными черными косами, со свадьбой в глазах. Я взглянул на них, как на солнце, и сказал:

— Принес вот кой-чего...

Я начал доставать из карманов сало и консервы, а Маринка оглянулась на хату и схватила меня за руки.

— Не надо сейчас, спрячь скорей! Лучше вечером... И не говори ничего маме... Потом я скажу ей про все сама...

— Я очень не нравлюсь ей? — спросил я.

— Она же не зна-ает, какой ты...

Первый раз в своей жизни я поцеловал тогда руку девушке. Маринка ахнула, вырвала руку (она пахла палеными перьями) и почти гневно сказала:

— Ну зачем ты так? Что я тебе, чужая?!

Этот день и угас ярко,— солнце закатывалось чистым, малиновым, и оснеженное поле за ручьем тоже было малиновым, жарко сверкающим. На нем, прямо перед нашим окопом, колготилась большая стая ворон и галок. Васюков сказал, что это они к морозу рассаживаются на ночь на земле.

— Они всегда это чувствуют,— сказал он.— А вообще ворона ни к черту птица. Несчастье вещует, яички соловьиные пьет...

Он оглядел горизонт, потом долго прислушивался, обратив на запад левое ухо, хотя там ничего не было слышно, кроме заглушенного пространством, еле различимого моторного гула.

— Ну, что ты слушаешь? Там фронт,— сказал я.

— Думаешь, фронт? — странно спросил Васюков.

— А что же?

— Черт его знает. Может, просто немцы одни...

— Не распространяй в тылу панику,— сказал я.— Лучше обернись назад.

За селом и над ним проникновенно-обещающе зеленело небо, и на нем уже высеивались желтые просинки звезд. Оттуда, с северо-востока, тянуло подвальным холодом, и редкие, белесые дымки, выползавшие из труб сумеречных хат, манили к уюту, огню и разговору шепотом.

Васюков оглядел все это — небо, село, витые столбики дымов — и, повернувшись ко мне, сказал:

— Слушай, Сергей. Ты давай справляйся без меня. Ладно? Я, понимаешь, не могу так... обманывать девку на глазах у матери!

Что можно было ему ответить?..

Хату освещала знакомая мне по амбару «летучая мышь». Из окон выпячивались разноцветные узлы-затычки. Стол был подвинут к печке и застлан чем-то новым, большим и белым, простыней, наверно. Около него сидел и томился Колька, одетый в свежую рубаху. Мать стояла в проходе чулана с полотенцем в руках. В ситцевом белом платьишке Маринка шла ко мне от окна, напряженно глядя перед собой и закинув назад голову. Все это в единый миг я вобрал в себя глазами и сердцем, стоя у дверей навытяжку. Я по-военному, чересчур громко поздоровался, и мать не ответила, а Колька засмеялся. Маринка сказала: «Здравствуйте» — и попросила проходить вперед. Я шагнул к столу, положил на него консервы, сало и писанку и сказал матери:

— Извините... тут вот наши бойцы прислали вам... на день рождения.

Она усмехнулась, взглянула искоса на Маринку и сказала:

— Что ж, спасибо им... Садитесь, гостем будете.

— Раздевайтесь, пожалуйста,— предложила Маринка.

— Холодно же у нас,— сказала мать.

Но я снял шинель и когда вешал ее у дверей, то чувствовал, как люто горит мой затылок,— наверно, от него можно было прикурить. Я долго возился с шинелью, придумывая, что бы такое еще сказать матери, когда обернусь, и вдруг вспомнил — никому не нужное тут — и пошел к ней мимо испугавшейся Маринки.

— Извините,— сказал я,— вы случайно не знаете, за что сидел хозяин четвертой хаты с краю... Маленький такой?

Я спросил с таким видом, будто именно это и привело меня сюда, и мать посмотрела сперва на меня, потом на Кольку.

— Маленький? Не знаю,— оробев, ответила она.

— Это, наверно, Устиночкин Емельян,— обрадованно сказала Маринка.— Он недавно только вернулся.

— У него еще дочь некрасивая такая... Вроде она плачет все время,— напомнил я.

— Это Мотька,— засмеялась Маринка.— А отец ее сидел за Северный полюс... Помните, когда папанинцев спасали? Ну вот, тогда у нас проходило общее собрание.

Уполномоченный из Волоколамска проводил. Насчет героизма. И другие про героизм да про героизм... А Емельян на взводе был... Встал, да и болтнул: пусть бы в нашем колхозе перезимовали. И все. А на третий день его забрали...

Я мысленно увидел Емельяна на собрании — он, конечно, сидел с цигаркой возле дверей, маленький, в большой заячьей шапке,— вспомнил его ответ Крылову, когда тот спрашивал, за что он «отбывал», и захохотал. Глядя на меня, заливался Колька, смеялась Маринка, улыбалась, хоть и невесело, мать, и когда я кое-как спросил, в какой шапке был на собрании Емельян, и Маринка ответила: «В заячьей», я уже не мог стоять и повалился на скамейку...

Так злополучный Емельян и этот мой нечаянный, бездумный смех помогли мне в тот вечер: у Маринкиной матери оттаяли глаза; она взглянула на меня уже без прежней настороженной отчужденности.

— Родители-то хоть есть у вас? — спросила она.

Минут через пять мы сидели за столом. На нем стояли миска с огурцами и тарелка с петушатиной. Нам с Колькой мать положила ножки. Я откупорил писанку и наполнил три стакана изжелта-сизым самогоном. Мы с Маринкой взглянули друг на друга и разом встали.

— Давайте,— начал я не своим голосом,— выпьем за...

Я не знал, что нужно сказать дальше, и взглянул на Маринку. Она неуловимо повела головой — «Не говори!»,— и в это время мать сказала:

— За то, чтобы все вы живы остались...

У нее навернулись слезы, и к самогону она не притронулась, а мы с Маринкой выпили свой до капли. Мать удивленно посмотрела на Маринку и спросила почему-то не ее, а меня:

— С ума она сошла, что ли? Сроду не пила, а тут целый стакан выдуганила!

Я почувствовал, как хорошо, ладно и нужно улегся в мою душу этот обращенный ко мне вопрос, и, подстегнутый радостью сближения со всеми и всем тут, сказал:

— Больше она у меня не получит!

В мой сапог под столом трижды и мягко торкнулся Маринкин валенок — «Молчи, молчи, молчи», но мне уже не хотелось молчать. Я оглядел затычки в окнах и сказал:

— Завтра вставлю стекла. Найду где-нибудь и вставлю...

Мать ничего не ответила и вдруг прикрикнула на Кольку, чтобы он не таращился. Маринка резко толкнула мою ногу, и я запоздало понял, что о стеклах сболтнул зря.

— Мам, а он тоже Воронов,— сказала Маринка.

— Теперь, дочка, все вороны... все с крыльями. Нынче тут, а завтра нету! — назидательно ответила мать и поднялась из-за стола. Я тоже встал, завинтил пробку на писанке и пошел за шинелью. «И пусть. Подумаешь! И не надо! И нечего меня провожать»,— думал я, неведомо за что разозлясь на Маринку и прислушиваясь к ее шагам, шуршащим по полу хаты.

Я оделся и когда обернулся для прощания, то лицом к лицу увидел Маринку в телогрейке и шали.

— Чтоб недолго! — приказала ей мать.

Во дворе Маринка приблизила ко мне свое лицо, и я увидел, что она готова заплакать. Я поцеловал ее в глаза, и она всхлипнула и спросила растерянно, обиженно:

— Мы уже поженились? Больше ничего?

Я взял ее за руку, и мы побежали «к себе», к амбару. Мы бежали молча, и под шинелью у меня звонко булькала писанка, и с каждым шагом больно разрасталось мое сердце, набухая ожиданием чего-то неведомого, неотвратимо зовущего и почти страшного.

На промерзло-гулком крыльце амбара мы зашли в сумеречный угол, и я загородил собой Маринку от ветра и взял в ладони ее лицо. Оно было горячее и мокрое.

— Ну чего ты плачешь? Дурочка,ворониха моя...

— Я же... У меня же ключи от амбара,— напевно сказала Маринка и заревела по-детски, в голос. Я опустился на корточки, обнял ее круглые, испуганно вздрагивающие колени и стал утешать и придумывать для нее слова и названия, не существовавшие в мире. И когда слова иссякли и голос мой стал чужим, толстым и хриплым, я поднял Маринку на руки и понес домой. Я часто спотыкался на огородных грядках, и каждый раз затихшая Маринка поднималась и становилась так, чтобы мне удобнее было снова взять ее на руки...

Во дворе мы молча и трудно расстались, и я побежал к себе в окоп. Западный горизонт был уже не малиновый, а чугунно-серый, остылый, и там, где днем проступали верхушки деревьев и крыши построек, в небе вдруг расцвели и падуче рассыпались две большие мертвенно зеленые звезды.

В окопе дежурили два отделения. Не взглянув на меня, Васюков сказал отрывисто, зло:

— Видал ракеты? Это не наши.

Минут пять спустя я получил приказание капитана Мишенина привести взвод в боевую готовность...

Вороны так и просидели всю ночь в поле. Они начали колготиться, когда уже совсем развиднелось, но с места не снимались, и Васюков сонно и брезгливо сказал:

— Шарахнуть бы по ним залпом, что ли!

Я не успел ответить ему: воронья стая взгаркнула и разом взмыла двумя косяками, будто расчлененная ударом кнута, и через наш окоп с гнетущим воем перелетела мина. Она взорвалась недалеко от Емельяновой хаты. Мы все пригнулись и тут же выпрямились, но в поле за ручьем возникли тонкие жала новых запевов, с каждым мигом нарастающих, проникавших в душу мятным холодком страха. Мины взрывались где-то в глубине дворов, но мы кланялись полету каждой. Я стоял в окопе спиной на запад,— для меня все мины попадали в Маринкину хату,— и бойцы тоже обернулись лицом к селу. Только Васюков все время смотрел в сторону немцев. Не оборачиваясь, он сказал мне ворчливо, тоном старшего:

— Ну чего ты переживаешь? Она давно сидит в погребе... И вообще мина пробивает только крышу, а потолок не берет, ясно?

Я обернулся к западу, и то же самое взвод проделал, как по команде. По склону поля слепяще сиял снег,— солнце взошло по-вчерашнему, и мы опять отчетливо увидели вдали фиолетовые верхушки деревьев и приплюснутые крыши построек.

— Оттуда бьют,— раздумчиво сказал Васюков.— Что, если из ПТР садануть по ним, а? Тут, пожалуй, не больше трех километров.

Он, конечно, и сам понимал, что противотанковое ружье — не гаубица, но мы же были пехота!

— Давай садани,— сказал я, и когда он с Крыловым устанавливал ружье на бруствере окопа, оно, после вчерашнего случая с самолетом, показалось мне грознее и таинственнее, чем было на самом деле. При выстреле приклад резко отталкивал Васюкова, и он каждый раз произносил одно и то же ругательство, а бойцы натужно крякали, не то разделяя с ним толчок, не то прибавляя этим вес крохотному снарядику ПТР. После пятого раза я махнул Васюкову рукой — хватит! Он опростал ружье от дымящейся гильзы и плюнул через бруствер, а я подумал, что гильзы нужно потом незаметно собрать и подарить Кольке.

Минный налет длился минут тридцать, затем был часовой перерыв, а потом опять обстрел, и снова затишье. Ни одна мина не взорвалась вблизи наших окопов,— пада-

ли в селе, и Васюков дважды еще разъяснял мне, что они не пробивают потолок хаты.

В полдень — в момент затишья — на наш пунок прибыл майор Калач, начальник штаба батальона старший лейтенант Лапин и капитан Мишенин. Я встретил их шагах в пяти от окопа рапортом о том, что во втором взводе третьей роты четыреста восемнадцатого стрелкового батальона никаких происшествий нет. Калач и Лапин слушали меня «вольно», а капитан Мишенин «смирно», держа правую ладонь у каски. Он поздоровался со мной за руку, глядя на меня так, будто хотел сообщить что-то по секрету, но в это время Калач сказал:

— Младший лейтенант! Слушайте меня внимательно. Сейчас вы отправитесь в разведку боем. Ваша задача — выявить в населенном пункте Немирово силы врага, разведать и зафиксировать его огневые средства и точки... Подробную инструкцию получите у начальника штаба. Ясно?

— Так точно, товарищ майор! — ответил я и спросил: — Один пойду?

— То есть как это один? — сердито сказал Калач.— Пойдете с двумя отделениями!

— Может быть, вызвать добровольцев, как мы и думали? — вкрадчиво спросил Калача Лапин. Майор кивнул, и Лапин красиво поставленным голосом проиграл: — Внимание! Товарищи бойцы! Кто хочет добровольно пойти в разведку боем? Нужно пятнадцать человек!..

Из окопа выпрыгнул Васюков, и в наступившей тишине было слышно, как у него под шинелью звонко булькнула писанка. Он оторопело взглянул на меня, затем на Калача, и тот сразу же приказал:

— Старший сержант, останетесь здесь за командира взвода!

Васюков козырнул, четко повернулся, и невидимая на нем писанка опять вкусно булькнула, а я отвернулся, чтобы спрятать лицо.

— Есть добровольцы? — снова пропел Лапин.

Я посмотрел вдоль окопа. Бойцы занято суетились, переступая с ноги на ногу, и каждый поправлял на себе что-нибудь: ремень, противогаз или патронташ, и у каждого был сосредоточенно-напряженный вид — вот-вот человек выпрыгнет из окопа, как только приведет на себе в порядок «вот эту штуковину». Но «штуковина» почему-то не поддавалась усилию рук,— видно, с ними боролось за что-то сердце,— и тогда Калач спросил:

— Комсомольцы есть?

Первым из окопа выкатился Васюков,— на этот раз майор не остановил его,— за ним готовно разом вышли еще двенадцать человек. Они встали рядом со мной лицом на запад, и мы все увидели Крылова. Он расслабленно вылезал из окопа, волоча ПТР, и лицо его было белым как снег. Белыми, косящими к переносице глазами он смотрел куда-то сквозь нас, во что-то далекое, неведомое и страшное. Глядя на него, я ощутил, как мгновенно отмерзли у меня пальцы ног, а в груди стало пусто и горько. Я хотел посмотреть на своих добровольцев, но не мог отвести глаз от Крылова,— я как будто видел в нем все то, зачем мы должны идти сейчас туда, на запад... Он уже подходил к нам, когда я услыхал голос Калача:

— Товарищ Крылов! Оставайтесь с ПТР на месте!

Крылов округло повернулся и зигзагами пошел к окопу, обняв ПТР...

После инструктажа нам принесли обед, но есть не хотелось. Мы сдали парторгу роты комсомольские билеты и все личные вещи. Каждый взял десять обойм патронов к своей винтовке, четыре противопехотные и две противотанковые гранаты. Еще нам придавался ручной пулемет. Нес его Васюков. От окопа к ручью нас провожал капитан Мишенин. Он шел рядом со мной, но смотрел куда-то вбок. Через ручей мы перешли по бревну.

— Ну, все,— негромко, хрипло сказал капитан, остановившись на берегу.— Не забыли, где минный проход? Ну, все!..

Мы пошли гуськом — впереди я, замыкающим Васюков. Справа от нас по снегу двигались наши голубые тени, и то, что они были тесно-дружные, большие, свои, действовало ободряюще, как что-то живое и нам подспорное. Минное поле кончилось в конце луга, и там, на уклоне поля, мы перестроились в развернутую цепочку. Главным своим флангом я считал левый, потому что начинался он с меня, и я укрепил его Васюковым.

— Как будем действовать, короткими перебежками или...

Он не доконил вопрос,— высоко над нами завизжали мины. Мы пригнулись все,— это ведь получалось невольно,— и вот тогда я услыхал Маринкин голос. Он вонзился мне в темя, как нож, и я оглянулся и в слитно мелькнувшей передо мной панораме села увидел на пригорке взрыв и в нем летящую Маринку... Я сразу же зажмурился, отвернулся и побежал вперед, на запад, и со мной рас-

средоточенной, наступающей цепью побежали все тринадцать человек. У меня не было ни одной стройной, отчетливой мысли, кроме желания не оглядываться, и я тупо ощущал свое тело и не мог задержать бег,— ноги работали самостоятельно. Только потом я понял, почему тогда не оглянулся: в недрах души я не верил тому, что увидел. Мало ли как может еще быть, если ты не знаешь всего до конца!.. Мы бежали долго, и, когда пошли шагом, Васюков тронул меня за локоть:

— Может, глотнешь, а?

Он совал мне писанку, а сам оглядывался назад, и я спросил:

— Ну? Что там?.. Ну, говори!

— Да там... ничего уже не видно...

— Унесли?

Ему надо было — я хотел этого — прикрикнуть на меня: «Что унесли?», или «Кого унесли?», или объяснить, что немецкие мины безвредны, но он ответил:

— Да там... все уже. Ты бы глотнул, а?

Я скомандовал бегом, и мы бежали до тех пор, пока из-за белого гребня поля не показались верхушки деревьев.

Деревья вырастали с каждым нашим шагом, и в мое онемевшее сердце постепенно входило новое, могучее и незнакомое мне чувство, сдвигая и руша все то, что там шлаком спеклось и застыло, как уже пережитое. Нет, это не был только страх перед возможной смертью. Смерть что! Я ведь втайне «поспел» для нее в ту самую минуту, когда услыхал Маринкин голос и увидел ее парящей в сизом кусте взрыва. Тут было что-то другое, более значительное и важное,— и не только мое личное. Когда показались крыши построек, я взглянул на свой «фронт» и увидел всех бойцов сразу и каждого в отдельности: каждый шел, чуть наклонясь вперед, выставив винтовку и завороженно глядя в какую-то точку перед собой.

Немирово открылось неожиданно,— мы вышли на самый гребень поля, и сразу же над нами прекратился шелест пролетающих мин. Наступила какая-то неверная тишина — даже снег не скрипел под ногами: мы все замедляли и замедляли шаги, и я заметил, что сам иду как по бревну через ручей, ставя ногу на носок. Наша цепочка сузилась — мы сошлись поплотнее и двигались в створе широкого каменного здания, обращенного к нам глухой стеной. Вдоль нее суетились, готовясь к чему-то, маленькие серые люди.

— Ну, как будем? Перебежками или так? — не спросил, а прокричал Васюков. И тогда я оглянулся назад. Я искал не Маринку. Я хотел только знать, видят ли нас свои, не идут ли они следом,— нельзя же нам больше оставаться тут одним!.. Но я успел увидеть лишь следы на снегу — четырнадцать длинных пунктирных линий. Они вдруг налились голубым огнем, встали надо мной стоймя и тут же пропали, заслоненные огромными глазами Васюкова...

Мне неизвестно, как я оказался в Москве в госпитале на Большой Пироговской. Я до сих пор не знаю, выполнили мы тогда задание или нет. И кто уцелел? Жив ли Васюков?

...Шел уже март, когда мне разрешили встать. Хирурги назвали мое ранение казусом,— пуля у самого сердца отвернула почему-то в сторону. Профессора сказали, что голос восстановится у меня на фронте. А мой сосед по койке старшина Ерыкин объяснил, что Марина — не малина, за один сезон не опадет. Так что тревожиться мне нечего. Если любит, то дождется!.. Я понял, что он подслушивал мой бредовый шепот, и госпитальной дружбы у нас с ним не получилось.

Голос вернулся ко мне в июле на Курской дуге.

[1962]



(1909—1984)

МОЛЧАНИЕ

Опускается, опускается все ниже. Куда? Как она может погружаться в самое себя? Землетрясение? Нет. И все же опускается... Бред!

— Остановите ее!»

Этот возглас был только мыслью.

Но земля опускается. И никого кругом. Никого? Где же люди? «Я возродиться лишь на людях в силах». Кто это сказал? Молчание. Значит, порой и молчание обретает голос...

— Прошу тебя, прошу, молчанье, не молчи!..

В спутанных ресницах расцветают маки.

— Маки!.. Скажите слово хоть вы.

Странно. Молчат маки. Значит, не все красивое красноречиво... А маки по-настоящему красивы...

Опускается, снова опускается земля...

По стенам носятся зеленые жеребята. Зеленые кони на стенах. Как тогда, в степи, под Орхеем. А что в Орхее сейчас? Может, он лежит в руинах. Земля ведь опускается...

Голубеют заросли камыша, ходят под ветром волнами.

— Не брызгайся, Михаил! Вода холодная!.. Бессовестный, съел все маки с моих губ! Стыдись!..

А теперь мне тепло. Утро родило день. И целых пять солнц согревают его.

— Нет, десять!

— Чудак!

— Десять солнц. Это точно.

— Ну, и силен ты в арифметике.

— Без пяти минут математик...

— Перестань есть маки...

Опускается, снова опускается...

— Держи его крепче, отец! Цепляй постромки! Смотри-ка, теперь и телки тянут лучше. Видишь, борозда стала глубже?! Будут добрый хлеб и сладкие куличи на пасху!

— Будут!

— Оставьте отца в покое! Не бейте его!.. Ой, что мы будем делать теперь? Вставай, отец!.. Дьякон поет так жалобно, что хоть плачь. И не выплачешь всех слез до кладбища.

— Лес мой, кедры милые...

— Кто это поет? Деревья?

— Да, лес надвигается на меня, как зеленое половодье. Видишь, как качается осенний лес?..

— Вижу... «Что ты, лес, качаешься?..»[1]

— Откуда ты это знаешь?

— Ты читал, когда мы купались в Днестре. Помнишь? «И не в бурю, и не в дождь до земли ты ветки гнешь».

— Никогда я этого не читал...

— Мне нашептала земля. Но она опускается! Останови ее, Михаил! Я боюсь.

— «Мне ль не гнуться до земли, если дни мои прошли?»

— Твои дни никогда не кончатся... Прошу тебя, Михаил, останови, удержи землю! Не знаешь как? Пожалей землю, твою и мою.

— «Тоскую лишь о том...»[2]

— И я тоже... Но почему так носятся зеленые пятна по стенам?

— Хочешь сказать — зеленые кони?

— Пропали. Их больше нет... Мне холодно...

...Когда агент сигуранцы опрокинул третье ведро, Вероника открыла глаза. И тотчас закрыла — не хотела видеть это красивое наглое лицо.

— Ты жива или притворяешься живой? — слышала она как во сне.

---

[1] Стихи Михаила Эминеску «Что ты, лес, качаешься?..» и «Тоскую лишь о том...» приводятся в переводах Г. Перова и Ю. Кожевникова.

— Тупица! Лей еще ведро...

— Ладно, только глотну цуйки...[1]

«Молчание... Как жаль, что молчание безголосо с тех самых пор, как стоит этот свет. И вдобавок в нем таится какая-то бездна.

Если человек не чувствует рук, разве он мертв? «Мыслю, следовательно, существую?» Живу. Вздор! Я умерла? Попробуй, рассуди! Рассуди... Значит, я существую... Чьи это слова? Кант такого не говорил, потому что это сказал Декарт... «Гаудеамус игитур...»

— Михаил, успокойся! Греби к берегу — нас настигают черные лебеди.

— Белые.

— Нет, черные... Не выкручивайте мне руки!

— Ты у меня заговоришь!

«Нет! Я умерла. По цементу скачут зеленые кони. По стенам. Скачут. Видите?»

— Как будто плачет кто-то...

— Тупица. Она мертва. Плесни еще!

— Воды?

— Ты полный дурак и еще половина! Посмотри, под столом должна быть бутылка...

— Что это — земля опускается или поднимается молчание? Земля горяча. Накалено молчание. Но может ли молчанье накаляться?

Холодно...

Что это — снег идет или небо плачет белыми слезами? Нет, это не слезы. Это многоцветные улыбки. Приземляются парашюты. Их сотни. Тысячи. Похоже, будто дети несут цветы — движущийся цветник... Да, я помню тот год, год, исполненный особого смысла.

Чертова память! Она будит воображение. На его призрачном полотне угадывается июнь сорокового...»

— Эй, ты!

Эти два грубо сочлененные слова ударили по барабанным перепонкам. У нее был такой тонкий и чистый слух!..

— Эй, ты! Жива еще?

«Кто это вздыхает? Палач? Видно, и палачи иногда вздыхают...

Идет снег... Нет, опускается земля...»

«...Ключи соскальзывали в карман серого пальтишка, купленного мамой в «Галери Лафайет»[1].

---

[1] Цуйка — сливовая водка.

[2] «Галери Лафайет» — универмаг в Бухаресте.

— Ты красиво его носишь, Ника.

— Называй меня Вероника. В имени «Ника» есть что-то юношеское.

— Ты у меня красивая. Большие глаза горят, как фонари над Каля Викторией.

— Нет, как свечи на погребении.

— Ты глупенькая... Свечи зажигают накануне.

— Я этого не знала, мама...

— А тебе и не нужно... На твоем веку еще не раз вздыбится земля и родятся горы.

— Сколько мне лет, мама?.. Пожалуйста, не целуй меня так... Ты у меня славная, и все же не целуй меня так крепко... Глянь, здесь я и учусь, против статуи Михая Витязя. Видишь, как он держит скипетр? Грозит меня ударить...

— Почему ты не хочешь быть хозяйкой Чишмиджиу?

— Я никогда не выйду замуж, мама...»

— Что-то сказала?

— Не понял. То ли шевельнула губами, то ли вздохнула.

— Тупица, одно у тебя на уме! А ей должно быть известно много секретов, бычок ты этакий.

— Так точно, господин плутонер мажор![1]

— Так-то. Она знает всех здешних партизан, но...

— Видать, потеряла голос... Жаль. Пела, как соловей.

— Не ты ли прижег ей язык вонючими спичками?..

— Мне ж было приказано, господин плутонер...

— Не умеешь чисто работать — получай по заслугам, бык!

— Ой-ой-ой! Мне больно!.. Не бейте меня... Я ведь не она...

— Ее больше нет. Ну и достанется нам обоим. Марш отсюда!..

«Опускается земля... Падает. Куда? До каких пор? И сколько может извергаться этот бесконечный вулкан? Кого пожирает этот огонь?

Меня предал Иорга. Костры. Галилей, Бруно... Это история. Костры в кодрах Бессарабии. Хорошо, когда горят враги».

— Послушай меня, девушка... Я доктор. Я не враг тебе. Не будь глупой. Ты живешь один только раз. Еще бьется сердце. И дышит теплом грудь. Какая у тебя красивая грудь!.. Шприц!

[1] Плутонер — старшина (*рум.*).

— Готово, господин доктор.

«Комариные укусы. Пустяки. А что если попробовать поднять веки?.. Невозможно!

Мертвое молчание. Земля все еще рушится? Она свихнулась, земля...

Падают враги. И снова снег, и те же июньские парашюты. Как хорошо!

— Кто-то плачет... По ком?

И снег, снег...»

Вероника знала, что она красива. Ей это говорило зеркало. По правде, она обращалась к нему редко, лишь в тех случаях, когда нужно было кое-как усмирить свои черные непокорные волосы. Но отражение в зеркале — только плоская копия продолговатого лица Вероники, заслоненного неуловимой улыбкой, блуждающей в глазах, на щеках и на губах. Что красивые девушки неумны — это старая ложь, придуманная уродами...

Веронике нравился немецкий язык. Еще с тех пор, когда она посещала лицей в Крайове... Как бессарабка из-под Оргеева оказалась в этом олтенском городе? Просто ее родители, мелкие коммерсанты, переселились сюда в поисках более счастливой доли.

Время от времени Вероника наезжала к своим родственникам. И теперь ее считали здесь румынкой.

Получив аттестат зрелости, дочка Думитру Сырбу отправилась в «маленький Париж», как самонадеянно называл себя Бухарест. Поступила на факультет литературы и философии.

Немецкий преподавал строгий и педантичный профессор Мындреску. Вероника слушала еще и лекции француза Дебрена. Усердная студентка, она всегда получала высшие баллы. Отличалась не только в учебе. Ее выделяли самые переборчивые сердцееды из числа будущих светил науки. Но Вероника ни на кого не обращала внимания. Многие недоумевали: «Странная девушка! Почему-то не хочет замуж... Кокетничает?»

...Она жила, как все. Проходили годы, непохожие друг на друга. Вдруг — взрыв. Война выбила из наезженной колеи. И надо же такому случиться — тогда-то Вероника встретила своего суженого. Он был сильный, а люди о нем говорили: «Красивый парень, жизнерадостный». Его звали Михаил, как ее любимого поэта. И от этого он был еще дороже. Часто, оставаясь одна и воображая их мирное

будущее, Вероника пыталась складывать стихи в подражание Эминеску.

Календарь войны пестрел багряными днями. Но это не были праздники. На листках как будто алела пролитая кровь.

Получив задание подпольного райкома, Вероника постриглась под мальчика, вырядилась в эсэсовскую форму, отправилась в лес, где строился большой склад гитлеровского оружия.

Здесь работало много бессарабских парней. Новая надзирательница была сурова. Ее хвалило начальство из специального отряда СС, особенно Паулюс, который, слава богу, не был родственником известного немецкого фельдмаршала, взятого в плен под Сталинградом.

— Откуда у тебя такая ненависть к бессарабцам? — спросил как-то Паулюс.

— Я жила среди этих скотов, но по матери я немка. Да, настоящая немка. Пюр-сан.

— В таком случае почему ты так холодна со мной? Ведь я ариец и красивый мужчина...

— У меня есть жених. Он храбрый офицер, герой. Бьет русских на фронте.

Теперь Вероника всегда ходила с длинной, как арапник, плетью. Время от времени она поднимала ее и опускала на плечи рабочих. В маленьких красивых руках надзирательницы удары бичом — это было не так уж больно. Но бессарабцы ее ненавидели. Ненавидели смертельно. «Сволочь, немка, курва»,— называли они ее между собой.

Со склада все чаще пропадало оружие. Подозрение пало на нескольких рабочих и инженеров-бессарабцев. Их долго пытали. Вероника присутствовала на допросе.

— Эти бандиты способны на всякое,— сказала она палачам.

А когда девушка дотащилась поздним вечером до своей каморки и задвинула за собой засов, долго сидела, окаменев, в старом кресле. Смотрела в пустоту и видела лица бессарабцев. И вспоминала родного отца, который умер в нищете накануне войны.

Много раз сидела Вероника вот так, неподвижно, до самой зари. И снова Паулюс говорил:

— Опять исчезло три пулемета. Пришлось расстрелять столько же бессарабцев...

— Справедливое решение! — восклицала Вероника.— Не зря я твержу, что эти бандиты способны на всякое...

Пулеметы попали к партизанам. Мозолистые руки молдаванина издавна быстро приучались к любой работе на земле. Теперь они косили оккупантов, как это делали дружинники Стефана Великого, гайдуки, вроде Кодряну и Урсу.

Бывало, идет Вероника с плеткой вдоль рядов бессарабцев-рабочих, толкающих тяжелые металлические тачки, доверху груженные камнем. Сквозь грохот можно расслышать приглушенные ругательства: «Продажная немка... извалялась со всеми гитлеровцами... Ну ничего, придет ее час...»

«Дорогие мои,— шепчет про себя девушка,— если бы вы знали, как я вас люблю!.. Так нужно, понимаете, нужно. Вечером умерло трое наших, а фашистов перебито три сотни. Что делать дальше? Научите меня!»

Если бы могла Вероника умереть вместо любого из расстрелянных!..

Лес безмятежно спал. Вероника ступала по сухим опавшим листьям. Какая странная судьба! Раньше они укрывали своей тенью, радовали людей. Теперь те же люди топчут их ногами...

Холодный ветер раскачивал вековые дубы и клен. Что ты качаешься, лес?.. А тебе, поэт, доброй ночи... Я люблю своего Михаила...

— Ты что здесь делаешь?

Девушка едва успела спрятать в карман тяжелые ключи от склада, мило улыбнулась.

— Что делаю, дорогой Паулюс? У меня разболелась голова, вот я и решила немного прогуляться...

— Я слышал дребезжание телеги.

— Верно, верно, сейчас подъедет партизанская кэруца...[1]

— Мне нравится, когда ты шутишь.

— Как не шутить, когда ключи от склада в моем кармане...

— Не поцелую — умру на месте...

— Доставь такое удовольствие...

Порыв ветра подхватил звук выстрела и унес. Куда унес?..

Вот и подвода. А в ней — два партизана. Сколько раз принимали они оружие из нежных рук Вероники! Следы ее хрупких пальцев чуть ли не на каждом партизанском курке...

---

[1] Кэруца — подвода (*рум.*).

И вдруг навалились фашисты. Схватка была короткой.

И когда мертвая девушка распласталась на цементе в камере пыток, ее изуродованные каленым железом руки были как лист виноградный. Желтый лист на поздней осенней лозе...

И сегодня поздняя осень. Я опустился на колени перед небольшим аккуратным холмиком. Смотрю на простой дубовый крест. Его поставили здесь по просьбе матери моей героини. А Вероника, как и все мы, совсем не верила в бога.

1967

Евгений Носов

(р. 1925)

КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ

Весна сорок пятого застала нас в маленьком подмосковном городке Серпухове.

Наш эшелон, собранный из товарных теплушек, проплутав около недели по заснеженным пространствам России, наконец февральской вьюжной ночью нашел себе пристанище в серпуховском тупике. В последний раз вдоль состава пробежал морозный звон буферов, будто в поезде везли битую стеклянную посуду, эшелон замер, и стало слышно, как в дощатую стенку вагона секло сухой снежной крупой. Вслед за нетерпеливым, озябшим путейским свистком сразу же началась разгрузка. Нас выносили прямо в нижнем белье, накрыв сверху одеялами, складывали в грузовики, гулко хлопавшие на ветру промерзлым брезентом, и увозили куда-то по темным ночным улицам.

После сырых блиндажей, где от каждого вздрога земли сквозь накаты сыпался песок, хрустевший на зубах и в винтовочных затворах, после землисто-серого белья, которое мы, если выпадало затишье, проваривали в бочках из-под солярки, после слякотных дорог наступления и липкой хляби в непросыхающих сапогах,— после всего, что там было, эта госпитальная белизна и тишина показались нам чем-то неправдоподобным. Мы заново приучались есть из

тарелок, держать в руках вилки, удивлялись забытому вкусу белого хлеба, привыкали к простыням и райской мягкости панцирных кроватей. Несмотря на раны, первое время мы испытывали какую-то разнеженную умиротворенную невесомость.

Но шли дни, мы обвыклись, и постепенно вся эта лазаретная белизна и наша недвижность начали угнетать, а под конец сделались невыносимыми. Два окна второго этажа, из которых нам, лежачим, были видны одни только макушки голых деревьев да временами белое мельтешенье снега; двенадцать белых коек и шесть белых тумбочек; белые гипсы, белые бинты, белые халаты сестер и врачей и этот белый, постоянно висевший над головой потолок, изученный до последней трещинки. Белое, белое, белое... Какое-то изнуряющее, цинготное состояние от этой белизны. И так изо дня в день: конец февраля, март, апрель...

Впрочем, гипсы, в которые мы были закованы всяк на свой манер, уже давно утратили свою белизну. Они замызгались, залоснились от долгой лежки, насквозь пропитались желто-зеленой жижей тлеющих под ними ран. От них неистребимо тянуло сладковатым духом тления, воздух в палате стоял густ и тяжек, и, чтобы хоть как-то его уснастить, мы поливали гипсы одеколоном.

Медленно заживающие раны зудели, и это было нестерпимой пыткой, не дававшей покоя ни днем ни ночью. Вопреки строгим запретам врачей мы просверливали в гипсах дыры вокруг ран, чтобы добраться до тела карандашом или прутиком от веника. Когда же в городе зацвела черемуха и серпуховские ткачихи и школьники начали приносить в палату обрызганные росой благоухающие букеты, они не знали, что по ночам мы безжалостно раздергивали их цветы, чтобы выломать себе палочки, которые каждый запасал и тайно хранил под матрацем, как драгоценный инструмент.

— Опять букет располовинили,— журила умывавшая нас по утрам старая нянька тетя Зина.— Все мои веники потрепали, а теперь за цветы взялись. Ох ты, горюшко мое!

От этих каменных панцирей нельзя было избавиться до срока, и надо было терпеть и дожидаться своего часа, своей судьбы. Двоих из двенадцати унесли еще в марте... С тех пор койки их пустовали.

В том, что на освободившиеся места не клали новеньких, чувствовалась близость конца войны. Конечно, там, на западе, кто-то и теперь еще падал подкошенный пулей или осколком, страшная мясорубка крутилась на предель-

ных оборотах, и в глубь страны по-прежнему мчались лазаретные теплушки, но в наш госпиталь раненых больше не поступало. Их не привозили к нам, наверно, потому, что здание надо было привести в порядок и к сентябрю вернуть школьникам. Мы были здесь последней волной, последним эшелоном перед ликвидацией госпиталя. И, может быть, потому это была самая томительная военная весна. Томительна именно тем, что все — и медперсонал и мы, раненые, со дня на день, с часу на час ожидали близкой победы.

После того как пал Будапешт и была взята Вена, палатное радио не выключалось даже ночью.

Было видно, что теперь все кончится без нас.

В госпиталь мы попали сразу же после январского прорыва восточнопрусских укреплений. Нас подобрали в Мазурских болотах, промозглых от сырых ветров и едких туманов близкой Балтики. То была уже земля врага. Мы прошли по ней совсем немного, по этой чужой унылой местности с зарослями чахлого вереска на песчаных холмах. Нам не встретилось даже мало-мальского городишки. Между тем ходили слухи, будто на нашем направлении среди этих мрачных болот Гитлер устроил свою главную ставку — подземное бетонное логово. Это придавало особую значимость нашему наступлению и возбуждало боевой азарт. Вместе с жаждой победы росло и простое любопытство — посмотреть на страну, сумевшую заглотить чуть ли не половину России. Но для меня, как, впрочем, и для всех лежащих в нашей палате, собранных из разных полков и дивизий, это наступление закончилось неожиданно и весьма прозаически: через какую-то неделю нас уже тащили в тыл на носилках...

Оперировали меня в сосновой рощице, куда долетала канонада близкого фронта. Роща была начинена повозками и грузовиками, беспрерывно подвозившими раненых. Наспех забинтованные солдаты — обросшие, осунувшиеся, в заляпанных распутицей шинелях и гимнастерках — ожидали под соснами врачебного осмотра и перевязок. В первую очередь пропускали тяжелораненых, сложенных у медсанбата на подстилках из соснового лапника.

Под пологом просторной палатки с окнами и жестяной трубой над брезентовой крышей стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые клеенками. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперек столов с интервалом железнодорожных шпал. Это была внутренняя очередь — очередь непосредственно к хирургическому ножу. Сам же хирург —

сухой, сутулый, с желтым морщинистым лицом и закатанными выше костлявых локтей рукавами халата — в окружении сестер орудовал за отдельным столом.

Я лежал на этом конвейере следом за каким-то солдатом, повернутым ко мне спиной. Подштанники спустили с него до колен, и мне виделся его кострец, обвязанный солдатским вафельным полотенцем, на котором с каждой минутой увеличивалось и расплывалось темное пятно.

Очередного раненого переносили на отдельный стол, лицо его накрывали толсто сложенной марлей, чем-то брызгали на нее, и по палате расползался незнакомый запах. Стол обступали сестры, что-то там придерживали, оттягивали, прижимали, подавали шприцы и инструменты. Среди толпы сестер горбилась высокая фигура хирурга, начинали мелькать его оголенные острые локти, слышались отрывисто-резкие слова каких-то его команд, которые нельзя было разобрать за шумом примуса, непрестанно кипятившего воду. Время от времени раздавался звонкий металлический шлепок: это хирург выбрасывал что-то в цинковый тазик, пододвинутый к подножию стола. А где-то за лазаретной рощей, прорываясь сквозь ватную глухоту сосновой хвои, грохотали разрывы, и стены палатки вздрагивали туго натянутым брезентом.

Наконец хирург выпрямлялся и, как-то мученически, неприязненно, красноватыми от бессонницы глазами взглянув на остальных, дожидавшихся своей очереди, отходил в угол мыть руки. Он шлепал соском рукомойника, и я видел, как острилась его узкая спина с завязками на халате и как устало обвисали плечи.

Пока он приводил руки в порядок, одна из сестер подхватывала и уносила таз, где среди красной каши из мокрых бинтов и ваты иногда пронзительно-восково, по-куриному желтела чья-то кисть, чья-то стопа... Мы видели все это, с нами не играли в прятки, да и некогда было и не было условий, чтобы щадить нас этикой милосердия.

Обработанный солдат какие-то минуты еще оставался в одиночестве на своем столе, но вот уже сестра подходит к нему, начинает тормошить, приговаривая:

— Солдат, а солдат... Солдат, а солдат...

Она произносит это с механической однотонностью, как говорила уже сотни раз прежде и как будет скоро говорить мне, а после меня — тем, что длинной вереницей лежали за палаткой на сосновых лапах. И тем, которых еще только везли сюда, и многим другим, которые в этот час находились к западу от сосновой рощи, были еще

целы и невредимы, но падут вечером или ночью, завтра, через неделю...

— Солдат, а солдат...

Оперированный не подает признаков жизни, и тогда сестра принимается шлепать ладонью по его небритым запавшим щекам, чтобы он поскорее пришел в себя и уступил место другому. Если нет тяжелого шока, солдат постепенно очухивается, начинает крутить головой, и тотчас раздается нетерпеливый приказ хирурга:

— Унести!

Раненого подхватывают на носилки и уносят, сестра ребром ладони смахивает в таз темные студенистые сгустки, оставшиеся после него на клеенке, другая сестра поливает стол горячей водой из голубого домашнего чайника, третья затирает тряпкой, тогда как старшая хирургическая сворачивает марлю для очередной наркозной маски.

— Следующий! — выкрикивает хирург и воздевает кверху обтертые спиртом длиннопалые ладони.

Тогда же в маленьком польском городке Млава, лежащем на пути в Данциг, нас погрузили в товарный порожняк, доставлявший к фронту то ли боеприпасы, то ли продовольствие. Состав был спешно переоборудован в санитарный поезд с тройными ярусами нар в каждом вагоне, железной печкой посередине и снарядным ящиком у захлопнутой левой двери, где хранились колотые дрова для разжижки, а также миски на тридцать человек, пакеты бинтов и кое-какие медикаменты.

Медицинская прислуга ехала где-то отдельно, вагоны между собой не сообщались, и, когда поезд трогался и часами тащился от станции к станции по временным одноколейным путям, только что уложенным на живую нитку вместо взорванных, мы, уже одетые в гипсовые вериги, оставались в теплушках одни, как говорят теперь — на полном самообслуживании. Еду нам приносили на остановках, и те, кто мог передвигаться, начинали делить похлебку и кашу. Они же поочередно топили печку, поили лежачих и подавали на нары консервную жестянку, служившую заместо лазаретной утки.

В Россию въехали со стороны Орши, и хотя в узкие продолговатые оконца могли смотреть только те, кому достались верхние нары, мы, нижние и средние, и без того догадывались, что едем по России: исчезла едкая сырость Балтики, в щелястый пол начало подбивать сухим снежком, морозно, остро пахло близким зимним лесом, а на безвестных станциях вдоль эшелона хрустели торопливые шаги,

и было щемяще-радостно узнавание родной стороны по бабьим и детским голосам, по их просительным выкрикам: «Картошка! Картошка! Кому вареной картошки?», «Есть горячие шти! Шти горячие!», «Покурим, покурим!» — и, пытаясь пошутить, весело повести торговлю, должно быть, вдовая молодуха прибавляла нараспев: «Самосадик я садила, сама вышла продава-а-ть...»

Но все это было еще в январе.

Теперь же шла весна, и мы находились в глубоком тылу, вдалеке от пекла войны.

— Интересно, где теперь наши? — спрашивал, ни к кому не обращаясь, лежавший в дальнем углу Саша Селиванов, смуглый волгарь с татарской раскосиной. В голосе его чувствовалась и тоска и зависть.

Войска восточнопрусского направления шли уже где-то по полям Померании, и мы, вслушиваясь в сводки Информбюро, пытались напасть на след своих подразделений. Но по радио не назывались номера дивизий и полков, все они были энскими частями, и никто не знал, где теперь топают ребята, фронтовые дружки-товарищи. Иногда в палате разгорался спор о том, как считать: повезло ли нам, что хотя и такой ценой, но мы уже как-то определились, или не повезло...

— На войне, как в шахматах,— сказал Саша.— Е-два — е-четыре, бац! — и нету пешки. Валяйся теперь за доской без надобности.

Сашина толсто загипсованная нога торчала над щитком кровати наподобие пушки, за что Сашу в палате прозвали Самоходкой. К ноге с помощью кронштейна и блока был подвязан мешочек с песком, отчего Саша вынужден был все время лежать на спине, а если и садился, то в неудобной позе с высоко задранной ногой.

— Теперь мат будут ставить без нас,— задумчиво продолжал он.

— Нешто не навоевался? — басил мой правый сосед Бородухов.

— Да как-то ни то ни се... Шел-шел и никуда не дошел... Охота посмотреть, как Берлин будут колошматить.

— Зато дома наверняка будешь. А то мог бы еще и два аршина схлопотать... Под самый конец.

Бородухов заметно напирал на «о», отчего речь его звучала весомо и основательно. Был он из мезенских мужиков-лесовиков, уже в летах, кряжист и матер телом, под которым тугая панцирная сетка провисала, как веревочный гамак. Минные осколки угодили ему в тазовую кость, но

лежал он легко, ни разу не закряхтев, не поморщившись. С начала войны это четвертое его ранение, и потому, должно быть, Бородухов отлеживал свой очередной лазарет как-то по-домашнему, с несуетной обстоятельностью, словно пребывал в доме отдыха по профсоюзной путевке.

Я слушал разговоры в палате, потихоньку температурил, задремывал, снова открывал глаза и подолгу глядел в весеннее небо. Мой нагрудный гипсовый жилет походил на рачью скорлупу с одной клешней. Под скорлупой тупо мозжила раздробленная лопатка, внутри клешни безвольно пролегала плеть правой руки, перебитой в предплечье и заклиненной в локтевом суставе. Я все еще не мог привыкнуть к моему новому состоянию, к тому, что в меня тоже вонзилось железо, что-то там разворочало, перебило, нарушило и что я мог быть убит этими слепыми и равнодушными кусками металла, сваренного в крупповских печах, может быть, еще в то время, когда я бегал в коротких штанишках и отдавал свои медяки в школьную кассу Мопра. Неотвратимая, исподволь обусловленная связь обстоятельств... От ран моих попахивало с о б с т в е н н ы м трупным духом, и это жестоко и неумолимо убеждало меня в моей обыкновенности, серийности, в том, что я тоже смертен, хотя собственную смерть понять и допустить по-прежнему отказывался. Сам факт моего ранения я пытался приспособить к моей наивной теории бессмертия: ведь я только ранен, а не убит! А раны — это всего лишь испытание. Мне шел тогда двадцать первый, и я, вернее, не я, а что-то помимо меня, тот неуправляемый эгоцентризм, столь необходимый всему живому в пору расцвета, не допускал понимания, что я тоже могу превратиться в нечто непостижимое, доступное червю и мухе. Пули врага долгое время облетали меня, и я думал, верил, что это так и должно быть. За несколько минут до того, как меня изрешетило осколками, мы прямой наводкой расстреливали выскочивших из горящего танка троих немцев. В своих черных коротеньких френчах, похожие на тараканов, немцы, быстро перебирая руками и ногами, карабкались на четвереньках по крутому склону приозерной дюны. Песок осыпался, они беспомощно съезжали вниз и начинали снова карабкаться в своем насекомьем безумии. Мы били по ним болванками с трехсот метров, и снаряды без следа исчезали в толще песка. В общем-то для удиравших немцев это была не слишком опасная пальба, хотя страху нагоняла изрядно, и одно это доставляло нам мстительное удовольствие, меж тем как проще было срезать

их автоматной очередью. Вгорячах мы отчаянно мазали, беззлобно переругивались и, упиваясь паническим бегством врага, хохотали у орудия. Откуда-то взявшийся на гребне дюны «фердинанд» первым же выстрелом сшиб нашу пушку. Он разделал нас каким-то городошным ударом, выметая из огневой позиции весь наш расчет. Мне кажется, что в момент, когда снаряд разорвался под колесами орудия, во мне еще ликовало чувство торжества, а, быть может, в это самое мгновение я даже хохотал над удиравшими танкистами и непроизвольно закусил свой смех судорожно сжавшимися челюстями. Видно, в мире все построено на таких вот непредвиденных подножках судьбы.

— А ты не балуй на войне,— резонил по этому поводу Бородухов, когда я рассказал, как попал в госпиталь.— Баловство — оно, парень, не дело.

Слева от меня лежал солдат Копёшкин. У Копёшкина перебиты обе руки, повреждены шейные позвонки, имелись и еще какие-то увечья. Его замуровали в сплошной нагрудный гипс, а голову прибинтовали к лубку, подведенному под затылок. Копёшкин лежал только навзничь, и обе его руки, согнутые в локтях навстречу друг другу, торчали над грудью, тоже загипсованные до самых пальцев. Эта конструкция со всеми ее подпорками и расчалками на обиходном госпитальном языке именовалась «самолетом». Копёшкин, как нам удалось у него дознаться, числился в обозе, справляя и на войне свою нехитрую крестьянскую работу: запрягал, распрягал, кормил-поил обозных лошадей, летом, если позволяли фронтовые условия, гонял их в ночное, чинил сбрую, возил за батальоном всякую солдатскую поклажу: мешки с сухарями, концентраты, каптерское имущество, патронные цинки.

— Медалей много навоевал? — интересовался Самоходка.

— Дак какие медали...— слабым, сдавленным голосом отзывался из своего склепа Копёшкин.— За езду рази дают...

— Ты, поди, и немца-то до дела не видел?

— Как не видел... За четыре-то года... Повида-а-ал...

— Стрелять-то хоть доводилось?

— Дак и стрелял... А то как же... В окруженье однова попали... Вот как насел немец-то, вот как обложил... Дак и стрелял, куда денешься.

— Убил кого?

— А шут его разберет... Нешто там поймешь... Темень, пальба отовсюдова.

— Небось перепугался?
— Дак и страшно... А то как же...
— Это где ж тебя так разделало?
— Заблудился с обозом. Я говорю — туда надо ехать, а старшой — не туда... Поехали за старшим... Да и прямо на ихнюю батарею... Куда колеса, куда что... Обоих лошадей моих прибило. От самого Сталинграда берег: и бомбили, и чего только не было... А тут вот и получилось нескладно...

В последние дни Копёшкину стало худо. Говорил он все реже, да и то безголосо, одними только губами, и надо было напрягаться, чтобы что-то разобрать в его невнятном шепоте. Несколько раз ему вливали свежую кровь, но все равно что-то ломало его, жгло под гипсовым скафандром, он и вовсе усох лицом, резко проступили заросшие ржавой щетиной скулы, сбрить которые мешали бинты. Иной раз было трудно сказать, жив ли он еще в своей скорлупе или уже затих навечно. Лишь когда дежурная сестра Таня подсаживалась к нему и начинала кормить с ложки, было видно, что в нем еще теплится какая-то живинка.

— Ты давай ешь,— наставлял его Бородухов.— Перемогайся, парень. Вон скоро и война кончится. Пошто уж теперь зазря гибнуть-то.

Копёшкин, будто внемля совету, чуть приоткрывал сухие губы, но зубов не разнимал, крепко держал ими свою боль, и сестра цедила с ложки супную жижу сквозь желтые прокуренные резцы.

— Ему бы клюквы надавить,— говорил Бородухов, поглядывая на терпеливо сидевшую возле Копёшкина сестру с тарелкой на коленях.— Да где ж ее взять. Нежели посылку из дому затребовать. У нас ее сколь хошь. Вот как добро жар утушает, клюква-то.

Как-то раз на имя Копёшкина пришло письмо — голубенький косячок из тетрадочной обертки. Сестра поднесла конверт к его глазам, показала адрес.

— Из дому? — спросил Бородухов.

Подернутые температурным нагаром губы Копёшкина в ответ разошлись в тихой медленной улыбке.

— Вот и хорошо, вот и ладно. Пацаны-то есть?

Копёшкин с трудом пригнул два непослушных желто-сизых пальца с приставшими крупинками гипса на волосках, показывая остальные три.

— Трое, выходит? Тогда держись, держись, парень. Теперь домой недалеко.

Сестра Таня предложила прочитать ему письмо вслух, но он беспокойно шевельнул кистью.

— Сам хочет, сам,— догадался Самоходка.

— Ежели может, дак пусть сам,— сказал Бородухов.— Своими-то глазами лучше.

Косячок развернули и вставили ему в руки.

Весь остаток дня листок проторчал в недвижных руках Копёшкина, будто вложенный в станок. С ним он и спал ночью. А может быть, и не спал... Лишь на следующее утро попросил перевернуть другой стороной и долго разглядывал обратный адрес, где крупными неловкими буквами, надписанными послюнявленным чернильным карандашом, было выведено: «Пензенская область, Ломовский район, деревня Сухой Житень».

Перед маем из нашей палаты ушли сразу трое. Им выдали новенькие костыли, довольствие на дорогу и отправили по домам. Это тоже означало конец войне. Раньше их направили бы в так называемый выздоравливающий батальон на какие-нибудь работы: пилить дрова, сапожничать, заготавливать в колхозах фураж с тем, чтобы потом, еще раз пропустив через жесткое сито медицинской комиссии, выкроить из этих хромоногих и косоруких одного-другого лишнего солдата для фронтовых тылов. Но теперь такие там были не нужны.

Те, кто остался, кто мог переползать по палате, перебрались на опустевшие койки у окон. Приоконные места пользовались привилегией: оттуда можно хотя бы смотреть на улицу. Эти койки обычно захватывали выздоравливающие.

Ушел к окну сапер Михай, родом из-под загадочного бессарабского городка Фалешты. Я представлял себе молдаван непременно черноволосыми, поджарыми и проворными, а этот был молчаливо-медлительный увалень с широченной спиной и с детским выражением округлого лица, на котором примечательны и удивительно ясные, какие-то по-утреннему свежие, чистые, ко всему доверчивые голубые глаза и маленький нос пипочкой. К тому же Михай, даже будучи коротко остриженным под машинку, был золотисторыж, будто облитый медом. Этот большой тихий тридцатилетний ребенок вызывал у нас молчаливое сострадание. Он единственный в палате не носил гипсов: обе его руки были ампутированы выше локтей, и пустые рукава исподней рубахи ему подвязывали узлами.

Тетя Зина вспоминала, как она однажды, еще зимой, убирая в туалете, застала там беспомощно стоявшего Михая.

— Гляжу,— рассказывала нянька,— а у него слезы по щекам. До того, стало быть, расстроился. Ты что ж это, сынок, стоишь, говорю я ему, давай, милай, помогну. Так-таки не дал пуговицу отстегнуть, застеснялся.... Все, бывало, стоит, ждет, пока какой-нибудь раненый заглянет.

Мы и сами видели, как тяжело переживал Михай утрату рук. Часами лежал он, уткнувшись лицом в подушку, иногда беззвучно трясясь широкой спиной. Но потом успокоился. Случалось даже, что, сидя у окна, он тихо напевал что-то на своем языке, раскачивая могучее тело в такт песне. И все глядел куда-то поверх домов, будто высматривал за горизонтом далекую Молдову.

В один из вечеров, когда Михай вот так же сидел на подоконнике и его огненная голова полыхала от закатного солнца, Копёшкин зашевелил пальцами, прося о чем-то.

— Что ему? — поднял голову Бородухов.

Мы прислушались к слабому голосу Копёшкина.

— Спрашивает у Михая, что видно за окном,— разобрал я, поскольку моя койка стояла ближе всех к его кровати.

— Солнце вижу... Поле вижу...— не оборачиваясь, ответил Михай.

— Далеко, спрашивает,— переводил я шепот Копёшкина.

— Поле? А там... За рекой.

— Какое оно? — говорит.— Что посеяно?

— Зеленое. Хлеб будет.

Копёшкин вздохнул, закрыл глаза и больше не спрашивал. На какое-то время в палате наступило молчание. Даже по одному только небу, которое виднелось нам, лежащим у дальней стены, очистившемуся, синему, высокому, чувствовалось, как там теперь привольно.

— А на улице что? — помолчав, спросил Саша Самоходка.

— Дома, люди...

— Девчата ходят?

— Ходят.

— Красивые? — допытывался Самоходка.

Михай промолчал. Голова его монотонно качалась в раме окна.

— Тебе чего, трудно сказать? Красивые девки-то?

— А! — Михай досадливо отмахнулся узлом рукава.

— Ему теперь не до девок,— сказал Бородухов.

— Эх, братья-славяне! — с горькой веселостью воскликнул Самоходка.— Мне бы девчоночку! Дошкандыбаю

до своей матушки-Волги — такие страданья разведу, елки-шишки посыпятся!

Но шутить у нас было некому. Двое наших шутников, двое счастливчиков — Саенко и Бугаёв — почти не обитали в палатке. В отличие от нас, белокальсонников, они щеголяли в полосатых госпитальных халатах, которые позволяли им разгуливать по двору. Чуть только дождавшись обхода, они рассовывали по карманам курево, спички, домино и, выставив вперед по гипсовому сапогу — Саенко правую ногу, Бугаёв левую,— упрыгивали из палаты. Остальные поглядывали на них с завистью.

Возвращались они только к обеду. От них вкусно, опьяняюще пахло солнцем, ветреной свежестью воли, а иногда и винцом. Оба уже успели загореть, согнать с лица палатную желтизну.

А за окном было действительно невообразимо хорошо. Уже курились зеленым дымком верхушки госпитальных тополей, и, когда Саенко, уходя, открывал для нас окно, которое в общем-то открывать не разрешалось, мы пьянели от пряной тополевой горечи ворвавшегося воздуха. А тут еще повадился под окно зяблик. Каждый вечер на закате он садился на самую последнюю ветку, выше которой уже ничего не было, и начинал выворачивать нам души своей развеселой цыганской трелью, заставляя надолго всех присмиреть и задуматься.

Сестра Таня, приходившая в шестом часу ставить термометры, в строгом негодовании первым делом шла к окну, чтобы захлопнуть створки, но Михай вставал в проходе между коек и преграждал ей дорогу:

— Нэ надо... Что тебе стоит?

— Не положено. Кто-нибудь схватит пневмонию. Разве вам мало форточки?

— А! — морщился молдаванин.— Ты послуша́й, послуша́й... Птица поет.

Михай культей обнимал Таню за плечи и подводил к подоконнику:

— Слышишь, как поет? А ты говоришь — форто́чка!

Таня молча слушала и не снимала с плеча Михаеву обрубленную руку.

Рухнул, капитулировал наконец и сам Берлин! Но этому как-то даже не верилось.

Мы жадно разглядывали газетные фотографии, на которых были отсняты бои на улицах фашистской столицы. Мрачные руины, разверстые утробы подвалов, толпы оборванных, чумазых, перепуганных гитлеровцев с задранными

руками, белые флаги и простыни на балконах и в окнах домов... Но все-таки не верилось, что это и есть конец.

И действительно, война все еще продолжалась и третьего мая, и пятого, и седьмого... Сколько же еще! Это ежеминутное ожидание конца взвинчивало всех до крайности. Даже раны в последние дни почему-то особенно донимали, будто на изломе погоды.

От нечего делать я учился малевать левой рукой, рисовал всяких зверюшек, но все во мне было настороженно — и слух и нервы. Саенко и Бугаёв отсиживались в палате, деловито и скучно шуршали газетами. Бородухов, наладив иглу, принялся чинить распоровшийся бумажник. Саша Самоходка тоже молчал, курил пайковый «Дюбек», пускал дым себе под простыню, чтобы не заметила дежурная сестра. Валялся на койке Михай, разбросав по подушке культи, разглядывал потолок. На каждый скрип двери все настороженно поворачивали головы. Мы ждали.

Так прошел восьмой день мая и томительно-тихий вечер.

А ночью, отчего-то вдруг пробудившись, я увидел, как в лунных столбах света, цепляясь за спинки кроватей, промелькнул в исподнем белье Саенко, подсел к Бородухову.

— Спишь?

— Да нет...

— Кажется, Дед приехал.

— Похоже — он.

— Чего бы ему ночью...

По госпитальному коридору хрустко хрумкали сапоги. В гулкой коридорной пустоте все отчетливей слышался сдержанный голос начальника госпиталя полковника Туранцева, или Деда, как называли его за узкую ассирийскую лопаточку бороды. Туранцева все побаивались, но уважали: был он строг и даже суров, но считался хорошим хирургом и в тяжелых операциях нередко сам брался за скальпель. Как-то раз в четвертой палате один кавалерийский старшина, носивший Золотую Звезду, благодаря чему получавший всяческие поблажки — лежал в отдельной палате, не позволял стричь вихрастый казачий чуб и прочее,— поднял шум из-за того, что ему досталась заштопанная пижама. Он накричал на кастеляншу, скомкал белье и швырнул ей в лицо. Мы в общем-то догадывались, почему этот казак поднял тарарам: донец похаживал в общежитие к ткачихам, а потому не хотел появляться перед серпуховскими девчатами в заплатанной пижаме. Кастелянша расплакалась, выбежала в коридор и в самый раз наскочила

на проходившего мимо Туранцева. Дед, выслушав, в чем дело, повернул в палату. Кастелянша потом рассказывала, как он отбрил кавалериста: «Чтобы носить эту Звезду,— сказал он ему,— одной богатырской груди недостаточно. Надо лечиться от хамства, пока еще не поздно. Война скоро кончится, и вам придется жить среди людей. Попрошу запомнить это». Он вышел, приказав, однако, выдать старшине новую пижамную пару.

И вот этот самый Дед шел по ночному госпитальному коридору. Мы слушали, как он вполголоса разговаривал со своим заместителем по хозяйственной части Звонарчуком. Его жесткий, сухой бас, казалось, просверливал стены:

— ...Выдать все чистое — постель, белье.

— Мы ж тильки змэнилы.

— Все равно сменить, сменить.

— Слухаюсь, Анатоль Сергеич.

— Заколите кабана. Сделайте к обеду что-нибудь поинтереснее. Не жмитесь, не жалейте продуктов.

— Та я ж, Анатоль Сергеич, зо всий душою. Всэ, що трэба...

— Потом вот что... Хорошо бы к обеду вина. Как думаете?

— Цэ можно. У мэни рэктификату йе трохы.

— Нет, спирт не то. Крепковато. Да и буднично как-то... День! День-то какой, голубчик вы мой!

— Та ж яснэ дило...

Шаги и голоса отдалились.

— Бу-бу-бу-бу...

Минуту-другую мы прислушивались к невнятному разговору. Потом все стихло. Но мы все еще оцепенело прислушивались к самой тишине. В ординаторской тягуче, будто в раздумье, часы отсчитали три удара. Три часа ночи... Я вдруг остро ощутил, что госпитальные часы отбили какое-то иное, новое время... Что-то враз обожгло меня изнутри, гулкими толчками забухала в подушку напрягшаяся жила на моем виске.

Внезапно Саенко вскинул руки, потряс в пучке лунного света синими от татуировки кулаками.

— Все! Конец! Конец, ребята! — завопил он.— Это, братцы, конец! — И, не находя больше слов, круто, яростно, счастливо выматерился на всю палату.

Михай свесил ноги с кровати, пытаясь прийти в себя, как об сук, потерся глазами о правый обрубок руки.

— Михай, победа! — ликовал Саенко.

Спрыгнул с койки Бугаёв, схватил подушку, запустил ею

в угол, где спал Саша Самоходка. Саша заворочался, забормотал что-то, отвернул голову к стене.

— Сашка, проснись!

Бугаёв запрыгал к Сашиной койке и сдернул с него одеяло. Очнувшийся Самоходка успел сцапать Бугаёва за рубаху, повалил к себе на постель. Бугаёв, тиская Самоходку, хохотал и приговаривал:

— Дубина ты бесчувственная... Победа, а ты дрыхнешь... Ты мне руки не заламывай. Это уж дудки! Не на того нарвался... Мы, брат, полковая разведка. Не таких вязали, понял?

— Это у меня... нога привязана...— сопел Самоходка.— Я бы тебе... перо вставил, куда надо...

— Бросьте вы, дьяволы,— окликнул Бородухов.— Гипсы поломаете.

— А, хрен с ними! — тряхнул головой Саенко. Он дурашливо заплясал в проходе между койками, нарочно притопывая гипсовой ногой-колотушкой по паркету:

Эх, милка моя,
Юбка лыковая!

Бугаёв, бросив Самоходку, принялся подыгрывать, тряся, будто бубнами, шахматной доской с громыхающими внутри фигурами.

У меня теперь нога
Тоже липовая...

За окном в светлой лунной ночи сочно расцвела малиновая ракета, переспело рассыпалась гроздьями. С ней скрестилась зеленая. Где-то резко рыкнула автоматная очередь. Потом слаженно забасили гудки: должно быть, трубили буксиры на недалекой Оке.

— Братцы! — Саенко застучал кулаком в стену соседней палаты. — Эй, ребята! Слышите!

Там тоже не спали и в ответ забухали чем-то глухим и тяжелым, скорее всего, резиновым набалдашником костыля.

Прибежала сестра Таня, щелкнула на стене выключателем.

— Это что еще такое? Сейчас же по местам! — Но губы ее никак не складывались в обычную строгость. Наша милая, терпеливая, измученная бессонницами сестренка! Тоненькая, чуть ли не дважды обернутая полами халата, перехваченная пояском, она все еще держала руку на выключателе, вглядываясь, что мы натворили. — Куда это го-

дится, все перевернули вверх дном. Взрослые люди, а как дети... Бугаёв! Поднимите подушку. Саенко! Сейчас же ложиться! Здесь Анатолий Сергеевич, зайдет — посмотрит.

Таня подсела к Копёшкину и озабоченно потрогала его пальцы.

— Спите, спите, Копёшкин. Я вам сейчас атропинчик сделаю. И всем немедленно спать!

Но никто, казалось, не в силах был утихомирить пчелино загудевшие этажи. Где-то кричали, топали ногами, выстукивали морзянку на батарее. Анатолий Сергеевич не вмешивался: наверно, понимал, что сегодня и он был не властен.

Меж тем за окном все чаще, все гуще взлетали в небо пестрые, ликующие ракеты, и от них по стенам и лицам ходили цветные всполохи и причудливые тени деревьев.

Город тоже не спал.

Часу в пятом под хлопки ракет во дворе пронзительно заверещал и сразу же умолк госпитальный поросенок...

Едва только дождались рассвета, все, кто был способен хоть как-то передвигаться, кто сумел раздобыть более или менее нестыдную одежку — пижамные штаны или какой-нибудь халатишко, а иные и просто в одном исподнем белье,— повалили на улицу. Саенко и Бугаёв, распахнув для нас оба окна, тоже поскакали из палаты. Коридор гудел от стука и скрипа костылей. Нам было слышно, как госпитальный садик наполнялся бурливым гомоном людей, высыпавших из соседних домов и переулков.

— Что там, Михай?

— Аяй-яй...— качал головой молдаванин.

— Что?

— Цветы несут... Обнимаются, вижу... Целуются, вижу...

Люди не могли наедине, в своих домах переживать эту ошеломляющую радость и потому, должно быть, устремились сюда, к госпиталю, к тем, кто имел отношение к войне и победе. Кто-то снизу заметил высунувшегося Михая, послышался девичий возглас: «Держите!» — и в квадрате окна мелькнул подброшенный букет. Михай, позабыв, что у него нет рук, протянул к цветам куцые предплечья, но не достал и лишь взмахнул в воздухе пустыми рукавами.

— Да миленькие ж вы мои-и-и! — навзрыд запричитала какая-то женщина, увидевшая беспомощного Михая.— Ох да страдальцы горемычныи-и-и! Сколько кровушки вашей пролита-а-а...

— Мам, не надо...— долетел взволнованно-тревожный детский голос.

— Ой да сиротинушки вы мои беспонятныи-и-и! — продолжала вскрикивать женщина.— Да как же я теперь с вами буду! Что наделала война распроклятая, что натворила! Нету нашего родимова-а-а...

— Ну не плачь, мам... Мамочка!

— Брось, Насть. Глядишь, еще объявится,— уговаривал старческий мужской голос.— Мало ли что...

— Ой да не вернется ж он теперь во веки вечныи-и-и...

И вдруг грянул неизвестно откуда взявшийся оркестр:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

Музыка звучала торжественно и сурово. Ухавший барабан будто отсчитывал чью-то тяжелую поступь.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна...

Но вот сквозь четкий выговор труб пробились отдельные людские голоса, потом мелодию подхватили другие, сначала неуверенно и нестройно, но постепенно приладились и, будто обрадовавшись, что песня настроилась, пошла, запели дружно, мощно, истово, выплескивая еще оставшиеся запасы святой ярости и гнева. Высокий женский голос, где-то на грани крика и плача, как острие, пронизывал хор:

Идет война народна-йа-я-я...

От этой песни всегда что-то закипало в груди, а сейчас, когда нервы у всех были на пределе, она хватала за горло, и я видел, как стоявший перед окном Михай судорожно двигал челюстями и вытирал рукавом глаза. Саша Самоходка первый не выдержал. Он запел, ударяя кулаком по щитку кровати, сотрясая и койку, и самого себя. Запел, раскачиваясь туловищем, молдаванин. Небритым кадыком задвигал Бородухов. Вслед за нами песню подхватили в соседней палате, потом наверху, на третьем этаже. Это была песня-гимн, песня-клятва. Мы понимали, что прощаемся с ней — отслужившей, демобилизованной, уходящей в запас.

Оркестр смолк, и сразу же без роздыха, лихо, весело трубы ударили «Яблочко». Дробно застучали каблуки.

Эх, Гитлер-фашист,
Куда топаешь?
До Москвы не дойдешь —
Пулю слопаешь...

Частушка была явно устаревшая, времен обороны Москвы, но в это утро она звучала особенно злободневно, как исполнившееся народное пророчество.

И уж совсем разудало, с бедовым бабьим ойканьем, с прихлопыванием в ладоши:

Я по карточкам жила
Четыре годочка,—
Ненаглядного ждала
Своего дружочка!
Э-ой-ой-ой, йи-и-и-их...

Между тем начался митинг. Было слышно, как что-то выкрикивал наш замполит. Голос его, и без того не шибко речистый, простудно-сиплый, теперь дрожал и поминутно рвался: видно, замполит и сам порядочно волновался. Когда он неожиданно замолкал, мучительно подбирая нужные слова, неловкую паузу заполняли дружные всплески аплодисментов. Да и не особенно было важно, что он сейчас говорил.

Часу в десятом в нашу дверь несмело постучали.

— Давай, кто там?! — отозвался Саша Самоходка.

— Разрешите?..

В палату вошел ветхий старичок с фанерным баулом и каким-то зачехленным предметом под мышкой. На старичке поверх черного сюртука был наброшен госпитальный халат, волочившийся по полу.

— С праздником вас, товарищи воины! — Старичок снял суконную зимнюю кепку, показал в поклоне восковую плешь.— Кто желает иметь фотографию в День Победы? Есть желающие?

— Какие тебе, батя, фотографии,— сказал Саша Самоходка.— На нас одни подштанники.

— Это ничего, друзья мои. Уверяю вас... Доверьтесь старому мастеру.

Старичок присел перед баулом на корточки, извлек новую шерстяную гимнастерку, встряхнул ею, как фокусник, перекинул через плечо, после чего достал черную кубанку с золоченым перекрестием по красному верху.

— Это все в наших руках. Пара пустяков... Итак, кто, друзья мои, желает первым? — Старичок оглядел палату поверх жестяных очков, низко сидевших на сухом хрящевом носу.— Позвольте начать с вас, молодой человек.

Старичок подошел к Михаю и проворно, будто на малое дитя, натянул на безрукого молдаванина гимнастерку.

— Все будет в лучшем виде,— приговаривал фотограф, застегивая на растерявшемся Михае сверкающие пугови-

цы.— Никто ничего не заметит, даю вам мое честное слово. Теперь извольте кубаночку... Прекрасно! Можете удостовериться.— Старичок достал из внутреннего кармана сюртука овальное зеркальце с алюминиевой ручкой и дал Михаю посмотреть на себя.— Герой, не правда ли? Позвольте узнать, какого будете чину?

— Как — «чину»? — не понял Михай.

— Сержант? Старшина?

— Нэ-э...— замотал головой Михай.

— Он у нас рядовой,— подсказал Саша.

— Это ничего... Если правильно рассудить — дело не в чине.

Старичок порылся в бауле, откопал там новенькие с чистым полем пехотные погоны и, привстав на цыпочки, пришпилил их к широким плечам Михая.

— Желаете с орденами?

— У него при себе нету,— ответил за Михая Самоходка.— Сданы на хранение.

— Это ничего. У меня найдутся. Какие прикажете?

— Не надо...— покраснел Михай.— Чужих не надо.

— Какая разница? Если у вас есть свои, то — какая разница? — приговаривал старичок, нацеливаясь в Михая деревянным аппаратом на треноге.— Я вам могу подобрать точно такие же.

— Нет, не хочу.

— Скромность тоже украшает... Так... Одну секундочку... Смотреть прошу сюда... Смотреть героем! Не так хмуро, не так хмуро. Ах, какой день! Какой день!

После Михая фотограф прямо в койке обмундировал в ту же гимнастерку Сашу Самоходку. Саша, хохоча, пожелал сняться с орденами.

— Отечественная, папаша, найдется? — спросил он, подмигивая Бородухову.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— И Славу повесь.

— Можно и Славу. Можно и полного кавалера,— нимало не смутившись, предложил старичок, видимо, поняв, что Саша все обращает в шутку.

— А ты, папаша, в курсе всех регалий! Тогда валяй полного! Дома увидят — ахнут. Только не пойму,— изумленно хохотал Самоходка.— Как же меня с такой ногой? Койка будет видна.

— Все сделаем честь по форме. Была бы голова на плечах — будет и фотография. Так я говорю? — тоже шутил старичок, морщась в улыбке.— Зачем нам кровать?

Кровать солдату не нужна. Все будет, как в боевой обстановке.

Фотограф выудил из баульчика полотнище с намалеванным горящим немецким танком.

— Подойдет? Если хотите, имеется и самолет.

— Давай танк, папаша! — покатывался со смеху Самоходка.— А гранату не дашь? Противотанковую?

— Этого не держим,— улыбнулся старичок.

На карточке должно было получиться так, будто Саша находился не на госпитальной койке в нижнем белье, а на поле сражения. Он якобы только что разделался с немецким «тигром» и теперь, сдвинув набекрень кубанку, посмеивался и устраивал перекур.

— Ну и дает старикан! — реготал Самоходка.

— В каждом деле, молодой человек, имеется свое искусство.

— Понимаю: не обманешь — не проживешь, так, что ли?

— Это вы напрасно! К вашему сведению, я даже генералов снимал и имел благодарности.

— Тоже «в боевой обстановке»?

— Веселый вы человек! — жиденько засмеялся старичок и погрозил Самоходке коричневым от проявителя пальцем.

На меня гимнастерка не полезла: помешала загипсованная оттопыренная рука.

— Хотите манишку? — вышел из положения старичок, который, видимо, уже давно специализировался на съемках калек и предусмотрел все возможные варианты увечья.— Не беспокойтесь, я уже таких, как вы, фотографировал. Уверяю вас: все будет хорошо.

Но манишки, а попросту говоря — нагрудника с пуговицами, я устыдился и не стал сниматься. Отказался и Бородухов, проворчавший сердито:

— Обойдусь. Скоро сам домой приеду.

— Тогда давайте вы.— Старичок цепким взглядом окинул Копёшкина, должно быть, прикидывая, какую можно к нему применить декорацию и бутафорский реквизит, чтобы и этому недвижному солдату придать бравый вид.

— К нему, дед, не лезь,— сказал строго Бородухов.

— Но, может, он желает?

— Ничего он не желает... Не видишь, что ли?

— Понимаю, понимаю.— Старичок приложил палец к губам и на цыпочках отошел от койки.— Хотя можно

было и его... Что-нибудь придумали б... У меня, знаете, были очень трудные случаи...

— Давай, давай...

— Тогда счастливо выздоравливать. Фотографии только через десять дней. Много другой работы. Тула... Владимир... Это все моя зона. Что поделаешь. Теперь нету хороших мастеров, нету... Ах, такой день, такой день! Слава богу, дожили, наконец...

Он зачехлил аппарат, сложил в баул все свои бебехи, галантно раскланялся, доставая кепкой до пола, и неслышно вышмыгнул за дверь.

— Трупоед...— сплюнул Бородухов.

Госпитальный садик все еще гудел народом. Играла музыка — все больше вальсы, от которых щемило сердце. Саенко и Бугаёв вернулись в палату с красными бантами на пижамах и с охапками черемухи.

Перед обедом нам сменили белье, побрили, потом зареванная по случаю праздника, с распухшим носом тетя Зина разносила янтарно-желтый суп из кабана.

— Кушайте, сыночки, кушайте, родненькие.— Концом косынки она утирала мокрые морщинистые щеки.— Суп-то нынче добрый... Ох ты, господи! А я как услышала, так и села. Сколько по этим-то этажам выбегала, сколь носилок перетаскала — и ничего. А тут хочу, хочу встать, а ноги как не мои... Да неужто, думаю, все уже кончилося? Аж не верится. Какую долю вытерпели, какого сапустата одолели. Как вспомню, как вспомню...

Слезы опять выступили на ее глазах, она торопливо утерлась и тут же улыбнулась, просветлела лицом.

— Кушайте, кушайте, а я пойду котлеток принесу. Поправляйтеся на здоровье, уж теперь недолго осталося...

Дверь распахнулась от толчка сапогом, в палату грузно протиснулся начхоз Звонарчук с неузнаваемо обвисшими усами на широком потном лице.

— Погодьте, погодьте исты!

На вытянутых руках он нес медный самоварный поднос с несколькими темно-красными стаканами.

— З победою вас, товарищчи,— поздравил он усталым, по-детски тонким голоском.— Скильки вас у палати?

— Семеро осталось.

— Ага, точно... Тут вам вид имени администрации... Саенко, распорядысь.

— Есть распорядиться! — Саенко с готовностью подпрыгал к подносу и составил стаканы на Михаеву тумбочку.— Давайте с нами, товарищ начхоз. За Победу.

— Ни, хлопци. Нема время.— Он вытер рукавом халата потный лоб.— У мэни ще сто двадцать душ. Ух ты, чертяка, запалывси як...

Начхоз еще раз поглядел на стаканы: то ли пересчитывал в уме для отчетности, то ли просто так — как на произведение собственной расторопности. Видно, вино это досталось ему нелегко.

— Так вы давайте... А то суп охолонет.

— Спасибо.

— Було б за що.

Он ушел.

Саенко медленно, чтобы не пролить, не прыгая, как всегда, а волоча раненую ногу по полу, при полном молчании всех присутствующих разнес стаканы по тумбочкам. Лицо его при этом было озабоченным и строгим, а нижняя губа аскетически поджата, словно у ксендза при свершении исповеди. Да и правда, эти рубиново-красные, наполненные до краев стаканы воспринимались в нашей бесцветно-белой палате как нечто небывало-торжественное, как волнующее таинство.

Минуту-другую каждый молча созерцал свой стакан.

— Ну что, солдаты... Что задумались? Давайте колыхнем, что ли...— предложил Саенко.

— Да, давайте.

— Пусть сперва Михай,— сказал Бородухов.

— Верно, пусть он сперва. А то как же ему...

— Это само собой.— Бугаёв взял Михаев стакан.— Ты давай присядь, а то не дотянусь.

Михай послушно сел на край койки, запрокинул голову.

— Ну, браток... За Победу?

— Ага.

— Жаль, нельзя с тобой чокнуться...

По лицу Михая скользнула виноватая улыбка.

— Ну ничего... поехали.

Мы смотрели, как Бугаёв, осторожно наклоняя стакан, вылил вино в птенцово раскрытый рот молдаванина.

— Во, парень,— удовлетворенно сказал он.— Это дело. Ничего, наловчишься...— Бугаёв вытер пижамным рукавом Михаев подбородок, по которому скользнула алая струйка, и, зачерпнув из супа картофелину, дал ему закусить.— Я знал одного такого, как ты, так он при-

способился зубами брать стакан за край и высасывал все до донышка.

— Вино пить можно. А как теперь его делать будешь! — Михай тряхнул узлами рукавов.— Вину руки нужны.

— Ничего, братка! Не падай духом. Жинка поможет.

— Аяй-ай-ай...— Михай покачал головой.

— Ну, будет, будет про это...— прервал Бородухов и степенно провозгласил: — Давайте, робяты, за дальнейшую нашу жисть выпьем... Как она дальше пойдет... Что было — то было, будь оно неладно! Живым жить, живое загадывать.

Мы выпили.

Прибежала Таня, поздравила с праздником, поставила на нашу с Копёшкиным тумбочку букет подснежников, принялась кормить его с ложки. Копёшкин, глотая жижу, морщился, пускал пузыри.

— Ты ему винца вплесни,— посоветовал Саенко.

— Вы что, смеетесь?

— А что? Пусть солдат разговеется.

— Ему же нельзя.

— Дай, дай ему. Отпусти ты его душу на волю. Вот увидишь, полегчает с вина-то.

— Не говорите глупостей.

— Ох уж эти лекари! Хуже жандармов. Может, ему только и осталось, что посошок выпить. Сердца у вас нету.

— Все, славяне! Завтра буду проситься на выписку,— решительным тоном сказал Саша Самоходка.

Таня посмотрела в его сторону, укоризненно покачала головой.

— Не выпишут — убегу. Тань, поехали со мной, а? На Волгу. Красота!

— По дороге потеряешь,— усмехнулась Таня.

— Честное гвардейское, не потеряю! Я ведь к тебе, можно сказать, привык. Осталось только расписаться.— Саша заметно окосел, да и все тоже порозовели, заблестели глазами.— Ребята, поехали? — говорил Саша, хмельной и добрый.— Нашими дружками будете. Такую свадьбу сварганим. Эх, и хорошо у нас, братцы! Деревня высоко-высоко! А внизу Волга. Всю видать, на пятнадцать верст туда и сюда. Пароходы идут, гудки, бакены по вечерам... Михай, поехали?

— Не-е, я домой.

— Что у тебя там? Успеешь.

— Как что? — Михай вскинул рыжие брови.— Как что? Не был — не говори.

— Нет, брат,— Самоходка мечтательно уставился в потолок.— Где Волга не течет, там не жизнь.

— Зачем зря говоришь? Зачем? А виноград у вас есть? А вино наше пил? Не пил.

— Квас, знаю.

— Что понимаешь? — горячился Михай.— Давай спорить! Квас, да? Налью тебе кружку, вот такую большую.— Он сдвинул культи, показывая, какую кружку нальет Самоходке.— Пей, пожалуйста! Выпьешь — под бочку упадешь. Как мертвый будешь. Э-э, что говоришь — нету жизни. Поедем — увидишь. Что Волга? Что Волга? Мы воду не пьем, мы вино пьем. Молдова, понял?

— Что ж вы не едите? — качала головой Таня, насильно вливая Копёшкину бульон.— Ну съешьте еще хоть ложечку. Горе мне с вами...

— А у нас на Мезени пиво теперь варят.— Бородухов, только что побритый, в свежей рубахе, чинно прихлебывал наваристый суп, всякий раз подпирая донышко ложки куском хлеба.

— Сегодня везде празднуют,— сказал Саенко.

— Празднуют, да не так. У нас, на Мезени-то, бабы старинное надевают. Хороводы водят, песни поют. А потом сядут в лодку да по Мезени. А пиво я люблю, чтоб с брусникою.— Бородухов выразительно покрякал, провел ладонью по рту, будто обтер пивную пену.— Благо! Давно не пивал.— И добавил, задумавшись: — Поди, теперь не из чего варить...

Таня кое-как покормила Копёшкина и, сама больше намучившись, ушла. Ей надо было смениться еще в девять утра, но она осталась помогать по случаю праздника. И было жаль, что еще не посидела с нами. Самоходка прав: мы привыкли к ней и — чего уж темнить! — почти все были тихо влюблены в нее...

Вино разбередило, ребята зашумели, заспорили, где жить лучше. Вмешались Саенко с Бугаёвым, стали рассказывать о Сибири. Оба были родом из-за Урала, только Саенко происходил из степных алтайских хохлов, а Бугаёв — коренной енисейский чалдон.

«Сколько разных мест на земле,— думал я, слушая разговоры.— Лежали раненые и в других палатах, и у них тоже были где-то свои единственные родные города и деревни. Были они и у тех, кто уже никогда не вернется домой... Каждый воевал, думая о своем обжитом уголке, при-

вычном с детства, и выходило, что всякая пядь земли имела своего защитника. Потому и похоронные так широко разлетелись по русской земле...»

— Тише, ребята...— Бородухов первый заметил, как Копёшкин зашевелил пальцами.— Чего тебе, браток?

Мы насторожились.

— Пить?

Копёшкин отрицательно пошевелил кистью руки.

— Утку?

Копёшкин поморщился.

Припрыгал Саенко, наклонился над ним.

— Ты чего, друг?..

Копёшкин что-то шепелявил сухими ломкими губами.

— Так, так... Ага, понял...— Саенко закивал и перевел нам: — Говорит, у них тоже хорошо жить. Давай, давай, Копёшкин, расшевеливайся! Вот молодец! Ну-ка, расскажи, как там у вас... Это где ж такое? А-а, ясно... Пензяк ты. Ну и что там у вас?

— Хорошо тоже...— разобрал я слабый, будто из-под земли, голос Копёшкина.

— Заладил: хорошо да хорошо... А что хорошего-то? Лес есть или речка какая?

Копёшкин пытался еще что-то сказать о своих местах, но не смог, обессилел и только облизал непослушные губы.

Мы помолчали, ожидая, что он отдышится, но Копёшкин так больше и не заговорил.

В палате воцарилась тишина.

Я пытался представить себе родину Копёшкина. Оказалось, никто из нас ничего не знал об этой самой пензенской земле. Ни какие там реки, ни какие вообще места: лесистые ли, открытые... И даже где они находятся, как туда добираться. Знал я только, что Пенза эта где-то не то возле мордвы, не то по соседству с чувашами. Ну, а где эта самая мордва?.. Я и прежде почти никогда не вспоминал, что есть такая территория в России, хотя когда-то сдавал экзамены по географии. Сдал да тут же и позабыл... Где-то там в неведомом краю стоит и копёшкинская деревенька с загадочным названием — Сухой Житень, вполне реальная, зримая, и для самого Копёшкина являет она собой центр мироздания. Должно быть, полощутся белесые ракиты перед избами, по волнистым холмушкам за околицей — майская свежесть хлебов, вечером побредет с лугов стадо, запахнет сухой пылью, скотиной, ранний соловей негромко щелкнет

у ручья, прорежется молодой месяц, закачается в темной воде...

Я уже вторую неделю тренировал левую руку и, размышляя о копёшкинской земле, машинально чиркал карандашом по клочку бумаги. Нарисовалась бревенчатая изба с тремя оконцами по фасаду, косматое дерево у калитки, похожее на перевернутый веник. Ничего больше не придумав, я потянулся и вложил эту неказистую картинку в руки Копёшкина. Тот, почувствовав прикосновение к пальцам, разлепил веки и долго с осмысленным вниманием разглядывал рисунок. Потом прошептал:

— Домок прибавь... У меня домок тут... На дереве...

Я понял, забрал листок, пририсовал над деревом скворечник и вернул картинку.

Копёшкин, одобряя, еле заметно закивал восковым, заострившимся носом.

Ребята снова о чем-то заспорили, потом, пристроив стул между Сашиной и Бородуховой койками, шумно рубились в домино, заставляя проигравшего кукарекать. Во всем степенный, Бородухов кукарекать отказывался, и этот штраф ему заменяли щелчками по роскошной лысине, что тут же исполнялось Бугаёвым с особым пристрастием под дружный хохот. Михай в домино не играл и, уединившись у окна, опять пел в закатном отсвете солнца, как всегда, глядя куда-то за петлявшую под горой речку Нару, за дальние вечереющие холмы. Пел он сегодня как-то особенно грустно и тревожно, тяжко вздыхал между песнями и надолго задумывался.

Прислоненная к рукам Копёшкина, до самых сумерек простояла моя картинка, и я про себя радовался, что угодил ему, нарисовал нечто похожее на его родную избу. Мне казалось, что Копёшкин тихо разглядывал рисунок, вспоминая все, что было одному ему дорого в том далеком и неизвестном для остальных Сухом Житне.

Но Копёшкина уже не было...

Ушел он незаметно, одиноко, должно быть, в тот час, когда садилось солнце и мы слушали негромкие Михаевы песни. А может быть, и раньше, когда ребята стучали костяшками домино. Этого никто не знал.

В сущности, человек всегда умирает в одиночестве, даже если его изголовье участливо окружают друзья: отключает слух, чтобы не слушать ненужные сожаления, гасит зрение, как гасят свет, уходя из квартиры, и, какое-то время оставшись наедине сам с собой, в немой тишине

и мраке, последним усилием отталкивает челн от э т и х берегов...

Пришли санитары, с трудом подняли с кровати тяжелую промокшую гипсовую скорлупу, из которой торчали, уже одеревенев, иссохшие ноги Копёшкина, уложили все это в носилки, накрыли простыней и унесли.

Вскоре неслышно вошла тетя Зина со строгим отрешенным лицом, заново застелила койку и, сменив наволочку, еще свежую, накрахмаленную, выданную сегодня перед обедом, принялась взбивать кулаками подушку.

Я онемело смотрел на взбитую подушку, на ее равнодушную праздную белизну, и вдруг с пронзительной очевидностью понял, что подушка эта уже ничья, потому что ее хозяин уже н и ч т о... Его не просто вынесли из палаты — его нет вовсе. Нет!.. Можно было догнать носилки, найти Копёшкина где-то внизу, во дворе, в полутемном каменном сарае. Но это будет уже не он, а то самое непостижимое ничто, именуемое прахом... «И это все? — спрашивал я себя, покрываясь холодной испариной.— Больше для него ничего не будет? Тогда зачем же он был? Для чего столь долго ожидал своей очереди родиться на земле?» Эта его возможность появления сберегалась тысячелетиями, предки пронесли ее через всю историю — от первобытных пещер до современых небоскребов. Пришло время, сошлись, совпали какие-то шифры таинства, и он наконец родился... Но его срезало осколками, и он снова исчез в небытие... Завтра снимут с него теперь уже ненужную гипсовую оболочку, высвободят тело, вскроют, установят причину смерти и составят акт. Потом его останки свезут на серпуховское кладбище, где для таких, как он, госпиталь арендует угол, и там закопают — без речей, без почетного караула, без прощальных залпов — закопают, так сказать, «в рабочем порядке», как обычно хоронили по лазаретам ничем не отличившихся солдат.

— Ох ты, грехи наши тяжкие...— проговорила нянька, подняла с пола оброненную санитарами картинку с копёшкинской избой и прислонила ее к нетронутому стакану с вином.— Вот и пожар затушили, а видно, чадить еще долго будет. Уж больно раскочегарено...

Мы промолчали: разговаривать ни о чем не хотелось.

Картинка была моей вольной фантазией, но теперь нарисованная изба обратилась в единственную реальность, оставшуюся после Копёшкина. Я теперь и сам верил, что такая вот — серая, бревенчатая, с тремя ок-

нами по фасаду, с деревом и скворечником перед калиткой,— такая и стоит она где-то там, на пензенской земле. В это самое время, в час сумерек, когда санитары укладывают Копёшкина в госпитальном морге, в окнах его избы, должно быть, уже затеплился жидкий огонек керосиновой лампы, завиднелись головенки ребятишек, обступивших стол с вечерней похлебкой. Топчется у стола жена Копёшкина (какая она? как зовут?), что-то подкладывает, подливает... Она теперь тоже знает о победе, и все в доме — в молчаливом ожидании хозяина, который не убит, а только ранен, и, даст бог, все обойдется...

Странно и грустно представить себе людей, которых никогда не видел и наверняка никогда не увидишь, которые для тебя как бы не существуют, как не существуешь и ты для них.

Тишину нарушил Саенко. Он встал, допрыгал до нашей с Копёшкиным тумбочки и взял стакан.

— Зря-таки солдат не выпил напоследок,— сказал он раздумчиво, разглядывая стакан против сумеречного света в окне.— Что ж... Давайте помянем. Не повезло парню... Как хоть его звали?

— Иваном, кажется,— сказал Саша.

— Ну... Прости-прощай, брат Иван.— Саенко плеснул немного из стакана на изголовье, на котором еще только что лежал Копёшкин. Вино густо окрасило белую накрахмаленную наволочку.— Вечная тебе память.

Оставшееся в стакане вино он разнес по койкам, и мы выпили по глотку. Теперь оно показалось таинственно-темным, как кровь.

В вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты.

1969

Владимир Богомолов

(р. 1926)

СЕРДЦА МОЕГО БОЛЬ

Это чувство я испытываю постоянно уже многие годы, но с особой силой — 9 мая и 15 сентября.

Впрочем, не только в эти дни оно подчас всецело овладевает мною.

Как-то вечером, вскоре после войны в шумном, ярко освещенном «Гастрономе» я встретился с матерью Леньки Зайцева. Стоя в очереди, она задумчиво глядела в мою сторону, и не поздороваться с ней я просто не мог. Тогда она присмотрелась и, узнав меня, выронила от неожиданности сумку и вдруг разрыдалась.

Я стоял, не в силах двинуться или вымолвить хоть слово. Никто ничего не понимал; предположили, что у нее вытащили деньги, а она в ответ на расспросы лишь истерически выкрикивала: «Уйдите!!! Оставьте меня в покое!..»

В тот вечер я ходил словно пришибленный. И хотя Ленька, как я слышал, погиб в первом же бою, возможно не успев убить и одного немца, а я пробыл на передовой около трех лет и участвовал во многих боях, я ощущал себя чем-то виноватым и бесконечно должным и этой старой женщине, и всем, кто погиб — знакомым и незнакомым,— и их матерям, отцам, детям и вдовам...

Я даже толком не могу себе объяснить почему, но с тех пор я стараюсь не попадаться этой женщине на глаза и, завидя ее на улице — она живет в соседнем квартале,— обхожу стороной.

А 15 сентября — день рождения Петьки Юдина; каждый год в этот вечер его родители собирают уцелевших друзей его детства.

Приходят взрослые сорокалетние люди, но пьют не вино, а чай с конфетами, песочным тортом и яблочным пирогом — с тем, что более всего любил Петька.

Все делается так, как было и до войны, когда в этой комнате шумел, смеялся и командовал лобастый жизнерадостный мальчишка, убитый где-то под Ростовом и даже не похороненный в сумятице панического отступления. Во главе стола ставится Петькин стул, его чашка с душистым чаем и тарелка, куда мать старательно накладывает орехи в сахаре, самый большой кусок торта с цукатом и горбушку яблочного пирога. Будто Петька может отведать хоть кусочек и закричать, как бывало, во все горло: «Вкуснота-то какая, братцы! Навались!..»

И перед Петькиными стариками я чувствую себя в долгу; ощущение какой-то неловкости и виноватости, что вот я вернулся, а Петька погиб, весь вечер не оставляет меня. В задумчивости я не слышу, о чем говорят: я уже далеко-далеко... До боли клешнит сердце: я вижу мысленно всю Россию, где в каждой второй или третьей семье кто-нибудь не вернулся...

1963


Построенный
в боях
социализм









(1904—1968)

БОРЗОВ И МАРТЫНОВ

(Из книги «Районные будни»)

1

Дождь лил третий день подряд. За три дня раза два всего проглядывало солнце на несколько часов, не успевало просушить даже крыши, не только поля, местами, в низинах, залитые водой, словно луга ранней весной, в паводок.

В кабинете второго секретаря райкома сидел председатель передового, самого богатого в районе колхоза «Власть Советов» Демьян Васильевич Опёнкин, тучный, с большим животом, усатый, седой, коротко остриженный, в мокром парусиновом плаще. Он приехал верхом. Его конь, рослый, рыжей масти жеребец-племенник, стоял нерасседланный во дворе райкома под навесом, беспокойно мотал головой, силясь оборвать повод, ржал. Опёнкин, с трудом ворочая толстой шеей, время от времени поглядывал через плечо в окно на жеребца.

Секретарь райкома Петр Илларионович Мартынов ходил взад-вперед вдоль кабинета, неслышно ступая сапогами по мягким ковровым дорожкам.

— Больше с тебя хлеба не возьмем,— говорил Мартынов.— Ты рассчитался. Я не за этим тебя позвал, Демьян Васильевич. Ты — самый старый председатель, опытный хозяин. Посоветуй, что можно делать в такую погоду на поле? Три тысячи гектаров еще не скошено. На что можно

нажимать всерьез? Так, чтоб люди в колхозах не смеялись над нашими телефонограммами?.. Я вчера в «Заветах Ильича» увидел у председателя на столе собственную телефонограмму, и, признаться, стыдно стало. Обязываем пустить все машины в ход, а сам пришел к ним пешком, «газик» застрял в поле, пришлось волов просить, чтоб дотянуть до села.

— Куда там! Растворило!..

— Косами, серпами не возьмем по такой погоде? А?..

— Я, Илларионыч, не имею опыта, как по грязи хлеб убирать,— усмехнулся Опёнкин.— Наш колхоз всегда за́сухо с уборкой управляется... Жать-то можно серпами, а дальше что? Свалишь хлеб в болото. Если затянется такая погода — погниет. Порвет, дьявол, уздечку! — Опёнкин грузно повернулся к окну на заскрипевшем стуле, распахнул створки.— Стоять, Кальян! Вот я тебе! — Увидел проходившего по двору райкомовского конюха.— Никитыч! Есть у тебя оброть? Накинь на него оброть, пожалуйста, а уздечку сними.

Мартынов подошел к окну:

— Где купили такого красавца?

— В Сальских степях. Дончак. Крепкая лошадь. Лучшая верховая порода.

— Застоялся. Проезжать надо его почаще.

— Вот — проезжаю. Вчера в совхоз «Челюскин» на нем ездил. Во мне сто десять кило. Нагрузочка подходящая.

— А чего ты так безобразно толстеешь? — похлопал Мартынов по животу Опёнкина.— На кулака стал уже похож.

— Сам не знаю, Илларионыч, с чего меня прет,— развел руками Опёнкин.— Не от спокойной жизни. После укрупнения и вовсе замотался. Три тысячи гектаров, семь бригад. Чем больше волнуюсь, тем больше толстею.

— Покушать любишь?

— Да на аппетит не обижаюсь...

Ветер задувал в окно брызги, дождь мочил журналы, лежавшие на подоконнике. Опёнкин закрыл окно. Мартынов отошел, присел, на край стола.

— А не получится опять по-прошлогоднему? — Опёнкин вскинул на Мартынова глаза, черные, умные, немного усталые.

— Как по-прошлогоднему?

— Соседи наши на семидесяти процентах пошабашат, а нам опять дадите дополнительный?

— По хлебопоставкам? Нет, насчет этого сейчас строго... Может быть, только заимообразно попросим. У тебя много хлеба осталось, а у других нет сейчас намолоченного. Вывезешь за них, потом отдадут.

— Вот, вот! — Опёнкин заерзал на тяжело скрипевшем под ним стуле.— Я ж говорю, что-нибудь да придумаете. Не в лоб, так по лбу! Нам уж за эти годы после войны столько задолжали другие колхозы! Нет на меня хорошего ревизора! Судить меня давно пора за дебиторскую задолженность!.. Тысячу центнеров должны нам соседи милые. И хлебопоставки за них выполняли, и на семена им давали. И не куют, не мелют! Станешь спрашивать председателей: «Когда ж вы, братцы, совесть поимеете, отдадите?» — смеются: «При коммунизме, говорят, сочтемся». А по-моему,— встал, рассердившись, Опёнкин и, тяжело сопя, стуча полами мокрого, задубевшего плаща по спинкам стульев, заходил по кабинету,— по-моему, коммунизма не будет до тех пор, пока это иждивенчество проклятое не ликвидируем! Чтоб все строили коммунизм! А не так: одни строят, трудятся, а другие хотят на чужом горбу в царство небесное въехать!..

— Погоди, не волнуйся, Демьян Васильич,— сказал Мартынов.— Может, обойдемся и без займов.

— Какие займы! Говорите прямо — пожертвования. Никто и в этом году не отдаст нам из старых долгов ни грамма. Придут к вам, расплачутся, и вы же сами нам скажете: «Повремените, не взыскивайте. У них мало хлеба осталось. Надо же и там чего-нибудь выдать по трудодням, засыпать семена».

Остановился против Мартынова — высокий, грузный, на толстых, широко расставленных ногах.

— Ты не подумай, Петр Илларионыч, что я жадничаю. Почему не помочь колхозу, ежели несчастье постигло людей — град, скажем, либо наводнение? Пойдем навстречу, с открытой душой. Но ежели только и несчастья у них, что бригадиры с председателем во главе любят на зорьке понежиться на мягких пуховиках,— тут займами не поможешь!.. Не о своем колхозе беспокоюсь. Мы не обедняем. Еще тысячу центнеров раздадим — не обедняем. Но это же не выход из положения! Вы же никогда так не поправите дело в отстающих колхозах — подачками да поблажками!..

— Я тоже не сторонник таких методов подтягивания отстающих,— ответил Мартынов, глядя Опёнкину прямо в глаза, умные, много перевидавшие за десять лет его работы председателем колхоза.— Так мы действительно не на-

ведем порядка в колхозах и район не поднимем... Дополнительного плана тебе не будет. Ни под каким соусом.

Опёнкин недоверчиво покачал головой:

— Это пока ты правишь тут за первого. А приедет Виктор Семеныч? Скажет: «Ну-ка, потрясти еще Демьяна Богатого!»

— Попробуем и Виктора Семеныча убедить. Это самый легкий способ: потрясти тебя, других, выполнивших досрочно план.

— Когда у него отпуск кончается?

— Если не продлят ему лечение — в субботу приедет.

— Вот с дороги отдохнет, может, часика два и начнет шуровать!

Мартынов не ответил, отошел к окну, перевел разговор на другую тему.

— Все же плохо организовано у нас хозяйство в колхозах. Пошли дожди не вовремя, и мы садимся в калошу. А если такая погодка продлится еще недели две?.. Надо вдесятеро больше строить зерносушилок, крытых токов.

— У крестьян раньше были такие сараи — риги назывались,— сказал Опёнкин.

— Не сараи — навесы хотя бы, соломенные крыши на столбах.

— Ежели без стен — еще лучше,— согласился Опёнкин.— Продувает ветерком, быстрее просушивает... Посевные площади не те, Илларионыч. Раньше у хозяина было всего десятин пять посева. А ну-ка, настрой этих риг на три-четыре тысячи гектаров!

— Вот я и говорю,— продолжал Мартынов,— совершенно в других размерах надо все это планировать! Даем колхозу задание: построить три зерносушилки. А надо — двадцать, тридцать!.. То засуха нас бьет, то дожди срывают уборку, губят уже готовый урожай. Когда же это кончится?.. Тебя, Демьян Васильевич, я вижу, это не очень волнует. Ты думаешь небось: мне хватило двух недель сухой погоды для уборки. Ну, знаешь, и ты не очень хорохорься. А если бы дожди пошли с первого дня уборки? Тоже кричал бы караул! Пусть это раз в десять лет случается, но и к такому году мы должны быть готовы.

Опёнкин слушал Мартынова спокойно, с улыбкой:

— Готовимся и к такому году. Из нашего колхоза десять человек третий месяц уже работают на лесозаготовках в Кировской области. Пятнадцать вагонов леса получили оттуда. Еще раза три по столько же отгрузят. Хватит там

и на электростанцию, и на клуб, и на крытые тока, и на сушилки.

— У вас-то хватит!..

— Я тебе объясню, Илларионыч,— сказал, помолчав, Опёнкин,— почему в нашем колхозе работа спорится, люди дружно за все берутся. Потому что колхоз богатый, есть чего получать по трудодням и хлебом и деньгами. У нас самое тяжкое наказание для человека, когда отстраняем его решением правления от работы дня на три.

Мартынов засмеялся:

— Объяснил! А колхоз богатый, потому что люди дружно работают.

— Да,— улыбнулся Опёнкин,— так уж оно, как пойдет колесом... А пережили и мы немало трудностей... Приехал ко мне как-то в военное время Михей Кудряшов, председатель «Волны революции», не помню уж по каким делам. Повел я его обедать к себе домой. А у меня — черный хлеб на столе. «Как тебе, говорит, не стыдно? Председатель, не умеешь жить! Не можешь для себя хотя бы организовать?» А чего — стыдно? Время было тяжелое, война. Сдали сверх плана в фонд Красной Армии полторы тысячи центнеров. Сами сдали, добровольно. Решили — переживем. Картошки в хлеб подмешаем, того, сего — выдюжим! Прошлым летом заехал я к ним в «Волну». Какой был лично у Кудряшова хлеб — не знаю, а у колхозников у всех — черный. И семян просят занять им. А у нас уж который год все белый хлеб едят, как и до войны. «Как тебе, говорю, теперь не стыдно? Кабы себя от людей не отделял да черный хлеб ел, тогда, может, злее был бы, пуще стремился бы скорее одолеть трудности!» Колхоз — не для нас только, председателей, так я понимаю, не для нашей роскошной жизни. Когда всем хорошо, то и нам хорошо...

...Долго еще думал Мартынов после ухода Опёнкина об этом человеке. Если бы все были такие председатели колхозов в районе! Вот у него пошло колесом — колхоз богатый, потому и люди хорошо работают. А в некоторых колхозах тоже идет «колесом», только наоборот: на трудодень — крохи, потому что был плохой урожай, плохо работали колхозники, а плохо работали потому, что и в прошлом году получили мало хлеба по трудодням. Тут уж получается не колесо, а заколдованный круг. Но этот круг надо разорвать во что бы то ни стало! Кто может его разорвать? Вот такие люди, которым народное дорого, как свое кровное... Мартынов был зимою в колхозе «Власть Советов» на отчетно-выборном собрании. Когда выдвинули вновь

кандидатуру Опёнкина в председатели, один колхозник, выступая, назвал его: «Душевный коммунист».

Ветер сыпал в окна крупными каплями дождя, будто щебнем. Мартынов принял за день много людей — всех заведующих отделами райкома, каждого со своими вопросами, районного агронома, заведующего сельхозотделом райисполкома. Оказалось, что по случаю ненастной погоды весь партийный актив был дома.

— Что-то неладное получается у нас, товарищи,— сказал Мартынов.— Такое тяжелое положение с уборкой, а мы отсиживаемся дома. Вот сейчас-то нужно быть всем в колхозах!

— А что же можно там сейчас делать? — спрашивали его.

— Спасать хотя бы то зерно, что намолочено. В кучах лежит, под дождем. Строить сушилки, крытые тока, перетаскивать туда зерно, лопатить. Машины не идут — волами возить просушенный хлеб на элеватор.

У него уже созрело решение — на что, в случае затяжки ненастья, можно и нужно сейчас поднять в районе все живое и мертвое. Он велел помощнику созвать членов бюро в девять вечера на небольшое заседание по одному этому вопросу.

В конце дня, когда Мартынов собирался уже сходить домой пообедать, в кабинет вошла Марья Сергеевна Борзова, жена первого секретаря, молодая, чуть располневшая женщина, миловидная, с широким добродушным лицом, усыпанным мелкими веснушками, с живыми, веселыми карими глазами,— директор районной конторы «Сортсемовощ».

На днях в одном колхозе Мартынову сказали, что у них третий год подряд не вызревают арбузы, убирают их осенью зелеными и скармливают свиньям. Он спросил — что за сорт? Оказалось, семена присланы с Кубани. Мартынов почувствовал завязку большого вопроса для постановки перед обкомом и Министерством сельского хозяйства и попросил Борзову составить ведомость, откуда получает их контора семена овощей, и зайти с этой ведомостью к нему.

— Вот сделала, Петр Илларионыч,— сказала Борзова, кладя перед ним на стол исписанный лист бумаги.— Выбрала из накладных. Верно, что-то не по-мичурински получается. Есть у нас местные семена хороших сортов, их областная контора куда-то отсылает, а нам дают другие сорта. Арбузы, дыни — с Кубани, из Крыма. И помидоры — с Кубани.

— Там лето месяца на полтора длиннее, вот они привыкли к такому лету и растут себе не спеша,— сказал Мартынов.

Пока он просматривал ведомость, Марья Сергеевна, скинув мокрую дождевую накидку, села в кресло у стола.

— Мой-то, товарищ Борзов, сегодня приезжает,— сказала она.

— Как — сегодня? — поднял голову Мартынов.— У него еще отпуск не кончился.

— Должно быть, не высидел. Я ему отсюда посылала авиапочтой областную газету со сводками, по его приказанию.

— Если сегодня, ему пора уже быть.— Мартынов взглянул на настольные часы.— Поезд прошел.

— Вот и я думаю — каким же он приедет? Может, ночью, в час? Так то уж другое число. Он телеграфировал: «Буду двадцать третьего, целую».

— Погоди, тут мне какие-то телеграммы принесли, я еще не смотрел,— Мартынов порылся в бумажках на столе.— Да, вот есть от него: «Приеду двадцать третьего». Только без «целую».

Марья Сергеевна вздохнула.

— Опять пойдут у вас всенощные заседания? Будете ругаться с ним на каждом бюро до утра?

— Не знаю,— ответил Мартынов,— как он теперь после ессентукских вод. Может, язва не так будет его мучить.

— А мы с ним поженились, когда у него язвы еще не было. Я-то его давно знаю. Это у него не от болезни. У обоих у вас — характеры! Коса на камень... Развели бы вас по разным районам, что ли!

— От третьего человека слышу: просись в другой район,— сказал Мартынов.— Выживаете меня?

— А я не сказала: просись в другой район. Я говорю — нужно вас развести. Либо ему здесь оставаться, либо тебе... Ну, скажи мне, Петр Илларионыч, чего вы с ним не поделили?

Мартынов усмехнулся:

— Почему меня спрашиваешь? Тебе ближе его спросить.

— Он по-своему объясняет.

— Как? Небось был Мартынов газетчиком, борзописцем, так бы и продолжал бумагу портить. А в партийной работе он ни черта не понимает. Да?

— И так говорил...

Зазвонил телефон, Мартынов снял трубку, долго разговаривал по телефону. Потом ему доложили, что из колхозов приехали пять человек за получением партбилетов, ждут приема. Борзова поднялась.

— Ладно, Марья Сергеевна, как-нибудь поговорим. Эту ведомость я оставлю у себя, а ты мне еще пришли сводку об урожаях местных сортов и привозных.

— Хорошо, пришлю... Пойду домой, похлопочу насчет обеда. Может, он все же приедет сегодня. Поезд, может, опоздал.

Выдав молодым коммунистам партийные билеты, поздравив их с вступлением в партию и поговорив с ними о делах в колхозах, Мартынов замкнул на ключ ящики стола, оделся, но успел выйти только в коридор — прошумела отъехавшая от райкома машина, на крыльцо взошел по ступенькам уверенной, хозяйской походкой Борзов, среднего роста, коренастый, с нездоровым желтоватым лицом, в длинном, почти до пят, кожаном пальто.

— А вот и сам наконец,— сказал Мартынов, остановившись в коридоре.— Мы уж не ждали тебя с дневным. Здравствуй!

— Привет трудящимся! — подал руку Борзов.

— Трудимся. А ты что ж это конституцию нарушаешь! Не используешь полностью права на отдых?

— Отдохнешь! — Борзов снял шляпу, отряхнул, расстегнул мокрое пальто.

— Зайдем в кабинет?

— Зайдем на минуту. Я еще дома не был... Отдохнешь! — Сняв у вешалки калоши и пальто, Борзов прошел к столу, но сел не в кресло секретаря, а сбоку на стул.— Дураки в это время ездят лечиться! Только и слышишь по радио: уборка, хлебопоставки, сев озимых. Область нашу «Правда» трижды помянула уже в передовицах как отставшую.

Мартынов тоже не сел в кресло, стал у окна. Он был выше коренастого, бритоголового Борзова,— загорелый, синеглазый брюнет, с давно не стриженной, вьющейся кольцами на шее густой шевелюрой, с поджарой, немного сутулой, несолидной фигурой. Разница в возрасте у них была лет в семь. Мартынову — тридцать пять, Борзову — за сорок.

— Сам виноват,— сказал Мартынов.— Съездил бы весною, когда сев кончали. Я тебе говорил: вот сейчас проси путевку и поезжай подлечись.

— Сев кончали — прополка начиналась. Разве из нашей беспрерывки когда-нибудь вырвешься? А зимою тоже не-

интересно ездить на курорты... Ну ладно, давай рассказывай, как дела?

— Когда же ты приехал? Поезд в тринадцать сорок прошел.

— Я с вокзала заезжал на элеватор. Не звонил насчет машины, подвернулся «газик» директора МТС. Проверил на элеваторе, как хлеб возят... Плохо возят, Петр Илларионыч!

— Да, можно бы лучше... До этих дождей выдерживали график.

— Как же вы могли выдерживать график, если три колхоза у вас уже с неделю как не участвуют в хлебопоставках: «Власть Советов», «Красный Октябрь» и «Заря»?

— Другие колхозы вывозили больше дневного задания. А «Власть Советов», «Октябрь» и «Заря» рассчитались.

— Как — рассчитались?

— Так, полностью. И по натуроплате — за все работы.

Борзов с сожалением посмотрел на Мартынова:

— Так и председателям говоришь: «Вы рассчитались»? Эх, Петр Илларионыч! Учить тебя да учить! Где сводка в разрезе колхозов?

Пересел на секретарское место, энергичным жестом отодвинул от себя все лишнее — лампу, пепельницу, стакан с недопитым чаем. Под толстым стеклом лежал большой разграфленный лист бумаги, испещренный цифрами: посевная площадь колхозов, поголовье животноводства, планы поставок. Мартынов невольно улыбнулся, вспомнив слова Опёнкина: «Два часа отдохнет и начнет шуровать».

— Да, вижу, правильно я сделал, что приехал.— Взял чистый лист бумаги, карандаш, провел пальцем по стеклу.— «Власть Советов». Сколько у них было? Так... Госпоставки и натуроплата... Так. Это — по седьмой группе. Комиссия отнесла их к седьмой группе по урожайности. А если дать им девятую группу?..

— Самую высшую?

— Да, самую высшую. Что получится? Подсчитаем... По девятой группе с Демьяна Богатого — еще тысячи полторы центнеров. Да с «Зари» — центнеров восемьсот. Да с «Октября» столько же. Вот! Мальчик! Не знаешь, как взять с них хлеб?

Мартынов с не погасшей еще улыбкой на лице подошел к столу:

— Я не мальчик, Виктор Семеныч. Эти штуки мне знакомы. Но пора бы с этим кончать, право! На каком основании ты предлагаешь пересчитать им натуроплату по высшей группе?

— На том основании, что стране нужен хлеб!

Мартынов закурил, помолчал, стараясь взять себя в руки, не горячиться:

— Во «Власти Советов» урожай, конечно, выше, чем у других колхозов. Но все же на девятую группу они далеко не вытянули. И убрали они хорошо, чисто, никаких потерь. А что на двух полях у них озимую пшеницу прихватило градом — то не их вина. Почему же теперь им — девятую группу, да еще задним числом? Что Опёнкин колхозникам скажет?

— Пусть что хочет говорит. Нам нужен хлеб. Чего ты болеешь за него? Старый зубр! Вывернется!

— Знаю, что убедит он колхозников, повезут они хлеб. Но объяснение остается одно: берем с них хлеб за те колхозы, где бесхозяйственность и разгильдяйство.

Вошел председатель райисполкома Иван Фомич Руденко — в одной гимнастерке, без фуражки,— перебежал через двор. Райсовет помещался рядом, в соседнем доме.

— Здоро́во, Виктор Семенович! С приездом! Гляжу в окно — знакомая фигура поднимается по ступенькам. Не догулял?

— Привет, Фомич. Не догулял.

Руденко посмотрел на хмурое, рассерженное лицо Борзова, на нервно покусывающего мундштук папиросы Мартынова:

— С места в карьер, что ли, заспорили? Может, помешал?

— Нет.— Борзов вышел из-за стола, не глядя на Руденко, подвинул ему стул.— Садись. Ну, продолжай, Мартынов.

— А что мне продолжать.— Мартынов затушил окурок в пепельнице и встал.— Как член бюро, голосую против.— Обратился к Руденко: — Предлагает дать девятую группу Опёнкину и другим, кто выполнил.

— Ну-ну? — неопределенно протянул Руденко.— Это надо подумать...

— Чтоб и в тех колхозах, где люди честно трудились, и где работали через пень колоду, на трудодни хлеба осталось поровну!.. Я тоже знаю, Виктор Семеныч, что стране нужен хлеб,— продолжал Мартынов.— И план районный мы обязаны выполнить. Но можно по-разному выполнить. Можно так выполнить, что хоть и туго будет потом кое-где с хлебом, но люди поймут, согласятся: да, это и есть советская справедливость. У наших агитаторов будет почва под ногами, когда они станут с народом говорить: «Что заработали, то и получайте». И пусть рядом, во «Власти Советов»,

люди втрое больше хлеба получат! И нужно строить на этом политику! А можно так выполнить, что...— Мартынов махнул рукой, заходил по кабинету.

— Да, Виктор Семеныч, как бы не зарезать ту курочку, что несет золотые яички,— сказал Руденко.

Борзов сел опять за стол:

— Хорошо. Подсчитаем, что мы можем вывезти из других колхозов, не трогая этих.— Провел пальцем по первой графе с наименованиями колхозов.— Какой возьмем? Ну, вот «Рассвет». Сколько у них есть на сегодняшний день намолоченного зерна?

— Нет ничего,— ответил Мартынов.— Они до дождей хорошо возили, все подбирали, что за день намолачивали. Скошенный хлеб у них в скирдах. И не скошено еще процентов десять.

— Их МТС подвела,— добавил Руденко.— Дали им молодых комбайнеров, курсантов. Новые машины, а больше стояли, чем работали.

— Так. Значит, в «Рассвете» нет сейчас зерна. А хлебопоставки у них...

— На шестьдесят два процента,— подсказал Руденко.

— В «Красном пахаре» как?

— Такое же положение.

— «Наш путь»?

— Там хуже дело,— подошел к столу Мартынов.— Не скошено процентов тридцать, и скошенный хлеб не заскирдован... У них же нет председателя,— помолчав, добавил он.— В самый отстающий колхоз послали самого ненадежного человека. В наказание, что ли? За то, что завалил работу в промкомбинате?..

— Так... «Вторая пятилетка»?

— Там есть много зерна намолоченного,— сказал Руденко.— Но лежит в поле, в кучах. Надо сушить.

— Так какого же вы черта толкуете мне тут про справедливость, политику? — Борзов стукнул ребром ладони по столу.— Где хлеб? Такой хлеб, чтоб сейчас, в эту минуту, можно было грузить на машины и везти на элеватор?

— В эту минуту, положим, машиной не повезешь.— Мартынов кивнул на окно, за которым лило как из ведра.

— Перестанет дождь — за день просохнет. А хлеб где? Те — выполнили, умыли руки, на районную сводку им наплевать. У тех нет намолоченного. Обком, думаете, согласится ждать, пока мы здесь эту самую справедливость будем наводить? Что мы реально сможем поднять в этой пятидневке? Что покажем в очередной сводке? По-ли-ти-ки!..

— А если без политики выполнять поставки, так и секретари райкомов не нужны. Каким-нибудь агентам можно поручить,— ответил Мартынов.

— Я вижу,— сказал Борзов,— что главная помеха хлебопоставкам в районе на сегодняшний день — это ты, товарищ Мартынов. Сам демобилизовался и других расхолаживаешь. «Выполнили!» Разлагаешь партийную организацию.

— Ну, это уж ты слишком, Виктор Семеныч! — задвигался на стуле, хмурясь, Руденко.

Мартынов сел, потеребил рукой волосы, откинулся на спинку стула, пристально глядя на Борзова. Загорелое лицо его побледнело. Но сказать он ничего не успел. Борзов позвонил, в кабинет вошел помощник секретаря, белобрысый молодой паренек, Саша Трубицын.

— Приехали, Виктор Семеныч?!

— Да, приехал. Здравствуй. Садись, пиши... «Всем директорам МТС, председателям колхозов, секретарям колхозных первичных партийных организаций... Безобразное отставание района в уборке и выполнении плана хлебопоставок объясняется исключительно вашей преступной беспечностью и полным забвением интересов государства...» Написал? «Предлагается под вашу личную ответственность немедленно, с получением настоящей телефонограммы, включить в работу все комбайны и простейшие орудия...» Написал? «Обеспечить круглосуточную работу молотилок... Безусловно обеспечить выполнение дневных заданий по хлебовывозу, с наверстанием в ближайшие два-три дня задолженности за прошлую пятидневку... Загрузить на хлебовывозе весь наличный авто- и гужтранспорт... В случае невыполнения будете привлечены к суровой партийной и государственной ответственности...» Подпись — Борзов.— Покосился на Руденко.— И Руденко.

Руденко махнул рукой:

— Валяй!

— Один экземпляр этой телефонограммы, Трубицын, сбереги,— сказал Мартынов.— Может, когда-нибудь издадут полное собрание наших сочинений.

Саша Трубицын остановился на пороге, удивленно-вопрошающе поглядел на Мартынова.

— Иди печатай,— сказал Борзов.— Передать так, чтоб через час было во всех колхозах!

Трубицын вышел.

— Для очищения совести посылаешь эту «молнию»? —

спросил Мартынов.— Все же что-то делали, бумажки писали, стандартные телефонограммы рассылали.

— Напиши ты чего-нибудь пооригинальнее. Тебе и карты в руки, литератору,— с деланным спокойствием ответил Борзов и повернулся к Руденко, хотел заговорить с ним, спросил его о чем-то, но тот не ответил на вопрос, кивнул на Мартынова:

— Нет, ты послушай, Виктор Семеныч, что он предлагает.

— А что он предлагает?

— Вот что предлагаю,— Мартынов придвинулся со стулом к Борзову.— Жерди, хворост в лесу рубить по дождю можно? Можно. Навесы крыть соломой можно? Неприятно, конечно, вода за шиворот потечет, но можно. На фронте переправы под дождем и под огнем строили. Машину не уговоришь по грязи работать — человека можно уговорить. Вот на что нужно сейчас нажать!

— Одно другому не мешает,— ответил Борзов.

— Нет, мешает! Забьем председателю колхоза голову всякой чепухой — он и дельный совет мимо ушей пустит. «Включить в работу все комбайны». Это же болтовня — такие телефонограммы! — взорвался наконец Мартынов.— Тогда уж вали все: и озимку предлагаем сеять, невзирая на дождь, и зябь пахать.

— А мы из обкома не получаем таких телеграмм? Нам иной раз не звонят: «Почему не сеете?» А у нас на полях еще снег по колено.

— Область большая. Там — снег, там — тепло, там — дожди, там — засуха. А у нас же все на глазах!.. Знаешь, Виктор Семеныч, чего никак не терпят хлеборобы в наших директивах? Глупостей. Они-то ведь знают не хуже нас, на чем булки растут.

Борзов долго молчал. Больших усилий стоило ему придать голосу некоторую теплоту, когда он наконец заговорил:

— От души советую тебе, Петр Илларионыч: поезжай ты в обком, нажалуйся на меня, чего хочешь наговори, но скажи, что мы вместе работать не можем. Пусть тебя переведут в другой район. Я со своей стороны буду рекомендовать, чтоб тебя послали первым секретарем. Да в обкоме у нас обычно так и делают. Если где-то второй не ладит с первым, хочет сам играть первую скрипку и парень будто энергичный — посылают его первым секретарем в другой район, испытывают: ну-ка, покажи, брат, как ты сможешь самостоятельно работать?.. Поезжай, поговори. Когда хочешь, хоть сегодня. Дадут тебе район, может, по соседству

с нами. Будем соревноваться. Руководи! Ты с этой самой крестьянской справедливостью, а я — по-пролетарски.

— Тьфу! — не выдержал Руденко.— До чего вы тут договоритесь? По-пролетарски, по-крестьянски! Таких и выражений нет. По-большевистски надо руководить!

— И в другой район я не хочу,— ответил Мартынов,— я уж здесь узнал колхозы, людей и на первую скрипку не претендую. Плохо ты понял меня, Виктор Семеныч. Мне и в должности второго секретаря работы хватает. Но я не Молчалин, чтоб мне «не сметь свои суждения иметь».

Пошел к вешалке, надел пальто:

— Пойдем пообедаем. В здоровом теле — здоровый дух. Марья Сергеевна заходила сюда, ждет тебя обедать, получила телеграмму... Я созывал на девять часов заседание бюро. Не отменишь?

— Нет, почему же,— ответил Борзов.— Бюро надо провести. Начнем работать.— Позвонил помощнику.— Вызвать на бюро всех уполномоченных, прикрепленных к колхозам.

Заседание было бурное. Часть членов бюро поддерживала по многим вопросам Мартынова, часть — Борзова. Все же воздержались пока рекомендовать комиссии перевести выполнившие поставки колхозы в высшую группу. Решили повременить — как будет с погодой, с обмолотом в других колхозах.

Расходились по домам поздно ночью, под проливным дождем. Мартынов и Руденко прошли по главной улице до угла вместе.

— Ну, ты сегодня зол! — говорил Руденко.— Не даешь ему ни в чем спуску. Прямо какая-то дуэль получается у вас, бокс.

— Отвык от него за месяц,— отвечал Мартынов.

— Ему, Илларионыч, из кожи вылезти, а хочется добиться, чтоб в первую пятидневку по его приезде хлеба вывезли раза в два больше, чем при тебе возили. Чтоб в обкоме сравнили сводки: вот Мартынов давал хлеб, а вот — Борзов!.. Он и в санаторий уезжал с неспокойной душой. Как это вдруг обком перед самой уборочной отпустил его лечиться? Тебе больше доверия, что ли?..

За углом Руденко свернул налево, пошел узеньким проулком, чертыхаясь, попадая впотьмах в лужи и набирая жидкой грязи в калоши, бормоча про себя: «Не всегда, стало быть, та первая голова и есть, которая первая по чину...» Мартынов пошел дальше главной улицей к своей квартире, тоже чертыхался, оскальзываясь в грязи и попа-

дая на выбоинах дороги в глубокие лужи, и думал: «Сколько времени, сил тратим на споры, а нужно бы — на работу! Паны дерутся, у хлопцев чубы трещат...»

На рассвете Мартынов поехал верхом в самый крупный из отстающих колхоз «Красный пахарь». Там он жил два дня. Собирал коммунистов, фронтовиков. Напомнил фронтовикам о более трудных днях, когда в дожди, по бездорожью несли на себе станковые пулеметы, помогали лошадям тащить пушки. Кирпич и лес, заготовленные для строительства новой конторы, посоветовал употребить на зерносушилки и крытые тока. Все бригады вышли в поле — кто подносить солому на носилках, кто зерно. Начали было строить навесы и над молотилками, чтобы попробовать молотить со скирд, но к вечеру второго дня дождь перестал. Не было дождя и ночью. Утром показалось солнце, подул прохладный восточный ветер. Установилась надолго сухая погода.

Уборка и прочие полевые работы в районе вошли более или менее в колею. Дороги просохли, вновь потянулись по ним колонны автомашин со свеженамолоченным зерном. Так-таки и получилось, что в первую пятидневку при Борзове колхозы сдали больше хлеба, чем в последние перед его приездом дождливые дни. Район выполнил план хлебопоставок в числе не передовых, но и не самых отстающих.

2

Однажды Марья Сергеевна Борзова сказала Мартынову:

— Чего никогда не зайдешь к нам, Петр Илларионыч, вечерком посидеть?

— Спасибо,— поблагодарил немного удивленный Мартынов. Он давно не получал от Борзовых приглашения в гости.— Вечерков-то свободных почти не бывает.

— Нет, верно, заходи. Что вам с Виктором Семенычем все спорить да ругаться? Посидим, поговорим.

Мартынов пообещал зайти, но не торопился выполнить обещание. «Мирить, что ли, собирается нас за чашкой чая?» — подумал он.

Вскоре Борзова вызвали в обком на десятидневный семинар первых секретарей райкомов, а Марья Сергеевна все же позвонила Мартынову:

— Сегодня суббота, Петр Илларионыч, под выходной разрешается раньше кончать работу. Нет у тебя вечером за-

седаний? В колхоз не едешь? А обещание помнишь? Ну, приходи, буду ждать.

Встретила его Марья Сергеевна принаряженная, немножко смущенная тем, что может подумать Мартынов об ее настойчивом желании видеть его у себя дома. К шелковой ее блузке был приколот орден Ленина.

— Городишко у нас такой,— говорила она, гремя посудой у буфета,— на одном краю чихнешь, с другого края слышишь: «Будьте здоровы!» Завтра же разнесут всюду: «Мартынов ходил к Борзовой чай пить, когда мужа дома не было». А мне — наплевать!

Пока Марья Сергеевна собирала на стол, Мартынов обошел все комнаты их дома. Он здесь бывал раза два в прошлом году, по приезде. В детской бабушка, мать Борзова, укладывала детей спать, рассказывала им сказки. Маленьких у них было двое: мальчик лет шести и девочка лет четырех. Старшей, Нины, девушки, не было дома, ушла, вероятно, в кино или к подругам. В зале в кресле возле пианино спал огромный сибирский кот. Во всех комнатах на стенах висели клетки со скворцами, щеглами, дроздами. Две собаки, овчарка и ирландский сеттер, стуча когтями по полу, ходили следом за Мартыновым. В углу столовой гнездился на подстилке маленький ежик. Видимо, Борзов любил птиц и животных.

— За что ты, Марья Сергеевна, получила орден? — спросил Мартынов, садясь на диван.— Вижу его у тебя иногда по праздничным дням, давно хочу спросить. Партизанила?

— Нет, не партизанила. Это еще до войны было дело...— Марья Сергеевна вздохнула.— За хорошую работу на тракторе дали мне орден.

— Да? Ты трактористкой была?

— Эх, уже люди и фамилии моей не помнят!..

— Борзова?..

— Да нет, не Борзова. Моя девичья фамилия была — Громова.

— Громова?.. Вон что! Ну, прости, не знал... Та Маша Громова, что с Ангелиной соревновалась? Портреты были ваши в «Правде» рядом. Так это ты и есть?

— Маша Громова, да... Я родом из Ростовской области.

— Помню — из Ростовской области.

— Донская казачка... И Борзов там работал, в нашем районе, секретарем райкома комсомола. В тридцать восьмом году мы с ним познакомились. Я у него вторая, первая жена его умерла. Нина — это его дочка от первой жены...

Ну, садись к столу... А ты, Петр Илларионыч, из каких сам краев? Чем раньше занимался?

— У меня в биографии ничего почетного нет. Неудавшийся писатель,— без скорби, почти весело стал рассказывать Мартынов.— Лет двадцать назад написал один очеркишко, напечатали его в «Комсомольской правде», и с тех пор заболел литературой. Центнера два бумаги извел на романы — ничего путного не вышло. Пошел по газетной работе. Много ездил, спецкором был. Последний год перед приездом к вам был редактором районной газеты в Н-ской области. И там не бросил писать. Сынишка знает, что я все почты жду, ответов из редакций, бежит, бывало, кричит: «Папка, иди скорее домой, там большое письмо принесли!» Э, думаю, порадовал сынок! Лучше б — маленькое. Большое — значит, рукопись назад. Спасибо, один критик честно, прямо написал: «Сочинение романов не ваше, видимо, дело. Изберите себе, товарищ, другую цель в жизни». Вот избрал — другую работу. Цель-то у нас одна у всех. Не сам избрал, предложили мне перейти на партийную работу — дал согласие.

Мартынов засмеялся:

— Много раз критиковал, ругал в газетах секретарей райкомов. Интересно, как у самого получится!..

— Виду не подаю, Петр Илларионыч,— сказала Марья Сергеевна, помолчав,— а иной раз жалею, ругаю себя последними словами: зачем бросила ту работу, ушла из колхоза? Я бы с Пашей Ангелиной еще посоревновалась! Неизвестно, про кого бы теперь больше писали!.. Как вышла за Борзова, год поработала еще на тракторе и бросила. Ревновал меня к нашему бригадиру. Попусту ревновал. Нам такого назначили бригадира в женскую бригаду, выдержанного, хладнокровного — хоть молоко вози на нем на базар. Приезжаю на рассвете домой с поля — на мотоцикле ездила,— дома мне допрос: «С кем ночь провела? Ты еще вечером должна была смениться».— «С «натиком», говорю, своим провела ночь. Напарница моя заболела, пришлось за нее поработать». Идет утром в МТС, проверяет — действительно ли прошлой ночью моя напарница не работала?.. Потом купили дом, хозяйство завелось, уют, покой ему нужен, когда придет домой отдохнуть... Вот так и получилось. Прогремела Маша Громова ненадолго. Это уж я тут стала просить его: дай мне какое-нибудь дело. Послали в эту контору директором. Нашли огородницу! Я в этих семенах ничего не смыслю. Я и дома у матери не сажала капусту. Как подросла, девчонкой еще, села на машину, только с тех-

никой и зналась. Ну, что было, то прошло. Теперь уж мне поздно автолом, вместо румян, мазаться,— со смехом добавила Марья Сергеевна.— Разлюбит муж чумазую.

Оглядела стол.

— Чего ж я еще не подала?.. Хлеба-то и нет на столе. И чай забыла заварить. Вот хозяйка!.. Перебила я, извини, не договорил ты про себя,— вернувшись с кухни, сказала Марья Сергеевна.

— Да мне и договаривать нечего. Из газеты сюда попал. По разверстке. Наша область — передовая. Взяли у нас, не помню, сколько всего человек, а из того района, где я работал, двух — меня и еще одного парня, инструктора райкома. Не знаю, за какие заслуги попал сюда. Одни товарищи говорили на прощанье: «Жаль с тобой расставаться, но что поделаешь — приказано лучшие кадры отобрать для отстающей соседней области». А другие говорили: «Избавляются от тебя, Мартынов,— слишком уж развел ты критику в своей газете и на конференциях резко выступаешь»... Но, в общем, не жалею, что приехал сюда. Всюду жизнь, люди...

— Трудно тебе с Борзовым?

— Трудно...

Марья Сергеевна села за стол против Мартынова, подперла рукой щеку.

— Знаешь, зачем я тебя позвала? — Ее простое веселое лицо, с добродушными веснушками и смешливыми морщинками под глазами, стало серьезным.— Продолжить тот разговор, что тогда в райкоме начала... Закусывай, Петр Илларионыч,— подвинула к нему тарелку с сыром, салатницу, хлеб.— Тебе чего налить? Я с Донщины, из тех мест, где виноградники разводят, у нас сухое вино пьют.

— Все равно. По своему вкусу налей.

Марья Сергеевна налила два бокала белого вина.

— Объясни ты мне — что у вас с Виктором Семенычем происходит?

Мартынов ответил не сразу:

— Это разговор большой, Марья Сергеевна... Но ты же сама бываешь на пленумах, на собраниях партактива.

— Он мне говорит: Мартынов рвется к власти, авторитет в организации завоевывает, хочет выжить меня отсюда.

— Ты этому веришь?

— Нет, не верю.

— Напрасно,— усмехнулся Мартынов.— Да, я считаю, что партийная работа — не его дело. Постараюсь и в обкоме это доказать.

— Вон как...

— А что я авторитет завоевываю, рвусь к власти — это чепуха... Да, может, сюда порекомендуют другого товарища первым секретарем? Почему бы мне не поработать здесь вторым? Очень хотелось бы поработать с настоящим человеком, поучиться у него. Но у Борзова учиться нечему. Не обижайся, Марья Сергеевна...

Мартынов отпил из своего бокала.

— В тридцать восьмом году поженились?

— Познакомились. Поженились в тридцать девятом... Двенадцатый год живу с ним...

— Когда же вы переехали сюда с Донщины?

— Он воевал в этих краях. Был заместителем командира полка по политчасти. После освобождения области его здесь и оставили... Мы тут с ним уже в третьем районе. И все такие районы — середка на половинке. Передовым ни один из них не стал.

— Должно быть, и в тех районах был у него этот груз на ногах — отстающие колхозы. С таким грузом высоко не взлетишь. Ты скажи, Марья Сергеевна, чего ты, собственно, хочешь? Помирить нас? Так мы с ним и не ссорились, не на базаре поругались.

— Нет, я вижу, вас не помиришь... Для себя хочу понять — о чем у вас идет спор?

— Ну что ж... Если б не была ты бывшей Машей Громовой, может, не стал бы тебе говорить всего, что скажу. Но ты не из тех дам, у которых все знакомства с деревней через молочниц. Сама из колхоза вышла.

— Ого! — усмехнулась Марья Сергеевна.— Нашел даму! Сколько раз предлагала Виктору Семенычу: назначь меня в комиссию по проверке качества ремонта тракторов. Уж который трактор я приму — тысячу гектаров поднимет тебе за сезон!

— Не в том дело, что ты знаешь машины и сельское хозяйство. Я думаю, это тебе дорого, близко.

— А моя вся родня в колхозе живет. Мама, бабушка, два брата, три сестры... До сих пор письма шлют мне колхозники из нашего района, всеми радостями и горестями делятся.

— Немножко нехорошо получается,— продолжал после большой паузы Мартынов,— что без него завели разговор о нем. Но я и в глаза ему это скажу. Да и говорил уж... Если придется тебе отчитываться за сегодняшний вечер, можешь передать ему все слово в слово...

Тебе, когда ты пожила с Борзовым, больше узнала его,

никогда не приходило в голову о нем такое? Вот он волнуется, хлопочет, нажимает, чтоб зябь пахали, хлеб везли, всякие планы выполняли, а близко ли к сердцу принимает он все это? Что стране нужен хлеб и нужно его очень много? Что хлеб нам понадобится и в будущем году, не одним днем живем? Что, если в каком-то колхозе не поднимут зябь, трудно придется там людям весною? Что за всеми нашими сводками и цифрами — хорошая или плохая жизнь людей? А может быть, он только о себе думает? Не выполним то-то и то-то — на дурном счету в обкоме будет район и он, секретарь. Пятно ляжет на его служебную репутацию.

— Страшные вещи ты говоришь, Петр Илларионыч,— ответила задумавшаяся Марья Сергеевна.

— Сама вызвала на такой разговор, теперь уж слушай... Что у нас происходит? О чем мы спорим? Мне кажется, о самом главном... Почему наш район средний? Что, все колхозы у нас средние? Если бы так, еще терпимо! Нет. Есть в районе очень богатые, крепкие колхозы и есть слабые колхозы. Вот из этих крайностей и выводим среднее. Я думаю, такой пестроты не было и в старой деревне. Конечно, были в каждом селе батраки, середняки, кулаки — разно люди жили,— но между селами в одной волости не было, не могло быть такой разницы, как сейчас: в одном колхозе — три миллиона дохода, а в другом, рядом,— триста тысяч. Земли поровну, и земля одинаковая, один климат, одно солнце светит, одна МТС машины дает, и — такая разница! Когда же мы доберемся до причин и покончим с этой пестротой? А времени прошло немало с тех пор, как мы колхозы организовали. Война была, оккупация, разорение, но и война уже давно окончилась... Виктор Семеныч не любит, когда говорят: «Отстающий колхоз», поправляет: «Отставший!» Это, мол, не хроническая болезнь, временное явление: сегодня — отстал, завтра — догонит. Но людям-то не легче от того, что мы формулировку уточнили,— в тех колхозах, что «отставшие» с самого сорок третьего года?..

И как же мы вытягиваем отстающие колхозы? Да вот так — полы режем, рукава латаем. В прошлом году в пяти колхозах остался немолоченый хлеб на зиму, в скирдах, а «Власть Советов», «Труженик», «Победа» выполняли за них поставки — и «заимообразно», и «в счет будущего года». Когда-то такие вещи называли головотяпством. Так и в передовых колхозах можно развалить дело. У лучших колхозников опускаются руки: да что же мы, обязаны век трудиться за лодырей?.. Нет, уж пусть там, в отстающих колхозах,

люди до дна испьют чашу. Плохо работали? — ну, плохо и получайте по трудодням. А рядом, во «Власти Советов»,— по пяти килограммов надо выдать!.. Пусть люди почувствуют свою вину. Но и нам нужно понять наши ошибки, нашу вину. Должны же мы когда-нибудь найти для таких колхозов настоящих руководителей? Ведь все дело в председателях! Никакие наезжие сверхчрезвычайноуполномоченные не наведут в колхозе порядка, если он без головы! Из тридцати тысяч населения в районе не выберем тридцать хороших председателей!.. Интересно получается, Марья Сергеевна,— Мартынов вдруг рассмеялся, откинулся на спинку стула, потеребил свои и без того взлохмаченные волосы.— Посылаем во все колхозы уполномоченных — на это людей у нас хватает. И живут они там месяцами, все лето. И жизнь без них в райцентре идет своим чередом, все конторы пишут. Ну, раз мы посылаем человека уполномоченным, значит, надеемся, что он поправит дело, считаем, что он умнее председателя. Так, может, и оставить бы его в колхозе, навсегда? Тем паче, что его контора без него пишет не хуже, чем при нем?.. Между прочим, контор этих развелось у нас — пропасть! «Заготлен» и тут же рядом — «Пенькотрест». А нельзя ли их как-нибудь одной бечевочкой связать, льняной или пеньковой?.. Так вот, говорю, на гастроли в деревню людей хватает, а на постоянную работу не подберем. И навязываем иной раз колхозникам в председатели такого проходимца, какого не следовало бы и на пушечный выстрел подпускать к общественному хозяйству!..

— Может, Виктор плохо знает кадры?..

— Так с этого нужно начинать! Искать людей! Без этого — провалимся с треском!.. И на месте, в колхозах, нужно продолжать поиски. При всех новых установках насчет специалистов с высшим и средним образованием на постах председателей никто же нам не сказал, что надо прекратить выдвижение!..

Зимою, когда проходили у нас отчетно-выборные собрания в колхозах, я рассказал Борзову такой случай,— продолжал Мартынов.— Это было в Н-ской области, в одном районе. Я туда наезжал, когда в областной газете работал. Был там самый отстающий колхоз «Сеятель». Уже просто не знали, что с ним делать. С десяток председателей там перебыло, и ни один не справился с работой. Дисциплина плохая, люди на работу не идут, все на базаре торгуют, урожайность низкая, на трудодни — копейки. Взяла там верх кучка рвачей-горлохватов. Обсядут нового человека — либо споят его, в какое-нибудь жульничество впутают, либо доведут до

того, что бросает все, скрывается днями от людей, ни дома не сыскать председателя, ни в конторе, где-то в поле под скирдой спит, махнул на все рукой — работайте как знаете!

Едет в «Сеятель» уполномоченный — проводить очередное отчетно-выборное собрание. Секретарь райкома говорит ему: «Не знаю уж, кого им рекомендовать. Самого себя, что ли, или предрика? Нас там только еще не было. Присмотрись там получше к людям. Может, есть у них на месте подходящий парень?»

Заслушали отчет правления, сняли председателя — колхозники спрашивают уполномоченного: «Что ж вы никого не привезли? За кого же будем голосовать?» Уполномоченный говорит: «Больше не будем возить вам председателей. Ваш колхоз — вам и думать о председателе».— «Так у нас некого выбирать!» — кричат. И вдруг кто-то там подал голос: «Как — некого выбирать? А вон — Степка Горшок. Чем не председатель?» Шум, смех. «Степку Горшка!», «Степа, встань, покажись народу!» Но не все смеются. Многие колхозники всерьез предлагают: «Степана Горшкова!»

Степан сидит на передней скамейке — в опорках, одна штанина разорвана по колено, в милицейской фуражке,— когда-то уходил в город, служил там в милиции, потом вернулся опять в колхоз. Работал он прицепщиком в тракторной бригаде, хорошо работал, трудодней было много, но получать-то по ним нечего было в том колхозе. А семья — больная жена да семеро детей.

«Степку Горшка!» — кричат. «Хоть горшка, хоть корыто — все равно!» А уполномоченный прожил в том колхозе перед собранием два дня, ходил по хатам, расспрашивал уже людей про Горшкова. Начал с табелей. Видит, вдвое больше у него трудодней, чем у других колхозников. Что за человек? Никто ему ничего плохого про Горшкова не сказал — кроме того, что с виду неказист, штаны на нем худые. Так ему за колхозной работой, может, некогда было и на базар съездить... Со смехом, с шуточками дело подходит к тому, что нужно голосовать. Горшков просит слова, встает: «Товарищи, пока не поздно, не проголосовали — подумайте получше. За доверие спасибо, но все же подумайте еще. Как бы не пришлось после пожалеть. Может, кой-кому хуже будет». И сел. Шутники не унимаются. «Не будет хуже!», «Хуже некуда!», «Валяй, голосуй!» Проголосовали. Выбрали председателем колхоза Степана Горшкова.

На другой день приходит Горшков в правление принимать дела от старого председателя. Так же, как был, одет,

в опорках, только штанину зашил. Бывший председатель думал сдать дела быстро, как и сам принимал: вот тебе печать, вот подушечка для печати — садись, действуй. Степан: «Без глубокой ревизии не приму». Ему говорят: так была же ревизия перед самым отчетным собранием, три дня назад! «Вор вора проверял». Вызвал из района ревизора. Две недели копался, перевешали весь хлеб в амбарах, продукты в кладовых, сам каждую бумажку в бухгалтерии проверил, поднял дела и трехлетней давности, в общем, так принял колхоз, что человек пять бывших правленцев и членов ревкомиссии пошли под суд. Потом созвал бригадиров и говорит: «Довольно вам по дворам ходить, дразнить собак, зазывать на работу. Кто не хочет в этом году остаться без хлеба — выйдет в поле без вашего приглашения». А уже в каждой семье только и разговору о том, как новый председатель дела принимал, с жуликами расправился. Думают люди: пожалуй, теперь иначе дело пойдет, будет чего получать по трудодням. Как бы не ошибиться, дома сидя. И повалили все на работу.

С тех пор колхоз пошел в гору. Хорошо вспахали, вовремя посеяли, убрали — с урожаем, с хлебом! А когда жирок завяжется — хозяйство быстро растет! В два года «Сеятель» стал передовым колхозом в районе. Хотели было перебросить Горшкова в другой отстающий колхоз, чтоб и там наладил дело,— куда там! Колхозники — ни в какую! «Не отдадим Степана Егорыча!» Послали ходоков в Москву — отстояли.

— Это очень похоже на наш колхоз, тот, где я работала трактористкой,— сказала Марья Сергеевна.— Был у нас хороший председатель, и забрали его в район, заведующим сельхозотделом райкома. У нас там чуть проявит себя на работе председатель колхоза, так торопятся выдвинуть его в район. А мы через год прокатили нового председателя — при нем дело пошло хуже — и вынесли решение: избрать старого, Ивана Романовича Шульгу. Он в райкоме работает, а мы его выбрали, самосильно. Поехали с этим решением в обком — добились, вернули нам Ивана Романовича.

— Вот, вот! Из колхозов-то мы торопимся выдвигать стоящих работников. Будто наши учреждения существуют ради себя. Не ради себя — ради колхозов! Да будь у нас во всех отделах в райкоме партии и райсовете профессора, доктора экономических наук — положение не улучшится, если в колхозах где-то останутся шляпы, пьяницы!..

Разговорился я как-то с этим Горшковым,— продолжал Мартынов,— о его прошлой жизни, о колхозе. «У меня,

говорит, сердце изболелось, глядя, как воры, проходимцы зорили наш колхоз. Я в активе ходил, когда колхоз организовали, кулаков выселял, мне в окна стреляли, хату мою поджигали, и я же в этом колхозе дожился до того, что сапог не стало. Всякая сволочь смеется: «Вот он, тот рай земной, Степка, что ты нам обещал,— ты уж на Адама стал похож». Сами же угробляют колхоз и еще издеваются. Эх, думаю, мне бы власть! Добрался бы я до вас!..»

К чему я рассказывал про этот случай Виктору Семенычу? Да не без задней мысли. И нам надо бы поискать вот таких, у которых «сердце изболелось». А кто едет в колхоз под угрозой исключения из партии или только потому, что в райцентре ему уже больше никаких должностей не дают,— грош цена такому председателю! Ну и что же? Рассказал ему — он и усом не повел. Поехал на другой день в колхоз «Наш путь» проводить отчетно-выборное собрание — три раза заставлял колхозников переголосовывать, пока выбрали-таки этого прохвоста Камнева, которого сейчас приходится судить за падеж скота и растрату.

Мы не все знали про Камнева, когда обсуждали его кандидатуру на бюро. Знали, что в промкомбинате он не справился с работой и на маслозаводе его сняли за самоснабжение. Товарищи говорят: это дело старое, он за это понес уже взыскание, учтет на будущее время. Но там колхозники столько рассказали про него, что, конечно, нужно было не настаивать, извиниться перед собранием за свою ошибку и подумать о другом человеке. Он родом из соседнего села, его там все знают. Говорят: «На трибуне — соловей, на деле — ворона». Были заявления, что он партизанскую медаль обманом получил. Отрастил бороду и жил у родичей в другом районе, где его не знали, только всего и геройства. Да эвакуированным скотом барышничал. Но Борзов уперся, ничего не стал проверять. Есть решение бюро — надо проводить его в жизнь. Взял собрание измором. Райком-де недостойных людей в колхозы не посылает. Он думает, что от этого пострадает авторитет райкома, если люди где-то в чем-то нас поправят...

— Открытие сделал! — вдруг просиял Мартынов, встал и заходил по комнате.— Все время мучил меня вопрос: почему у нас среди партактива мало добровольцев ехать в колхозы председателями? Если даже практически рассудить: чем быть мне вечно уполномоченным в селе, разрываться между своим учреждением и командировками, так пошлите уж меня председателем! И зарплату высокую установили для таких, взятых с другой работы. Секретарь

райкома столько не получает, сколько в крупном колхозе при хорошем урожае может председатель заработать. И — нет охотников. Район, думаю, что ли, здесь какой-то особенный, заклятый? У нас там это не было проблемой. Догадался наконец: Борзова боятся. Есть и здесь такие, что с удовольствием променяли бы свою канцелярию на живую работу в колхозе, но — его боятся. Боятся: что ни сделают хорошего, все пойдет насмарку. Он тебя и группой урожайности подрежет, и выговор ни за что влепит,— за то, что в проливной дождь комбайны не работали. Нет хуже для председателя колхоза, когда он не уверен, что ругать его будут лишь за дело, а помогать по-настоящему, что в своей трудной работе, где не раз, конечно, и ошибешься, он не станет жертвой произвола, самодурства... В общем, можно сделать вывод: если где-то жалуются, что лишь в порядке партийной дисциплины удается послать человека в колхоз на должность председателя,— ищи причину в самом райкоме. Может, спросишь: откуда я знаю психологию председателя? Так я же сам был председателем колхоза три года, забыл рассказать. Там и очерк свой написал. Меня тоже «выдвинули». «О, так у нас, говорят, есть свой писатель!» — и назначили меня заведующим типографией райгазеты. Оттуда и пошел по газетам.

— От твоих открытий, Петр Илларионыч, я сегодня, кажется, всю ночь не буду спать,— сказала Марья Сергеевна.— Я вот думаю, между прочим,— добавила она с невеселой усмешкой,— за что он меня полюбил? Я и девушкой не была красавицей. Мода тогда пошла такая: на знаменитых стахановках жениться. У нас и предрика женился на простой девушке, звеньевой, из первых орденоносцев, про нее тоже во всех газетах писали...

— Ну, это уж я не знаю, как у вас было,— ответил Мартынов.— Тут я тебе вряд ли помогу сделать правильные выводы.

Закурил, сел, попросил Марью Сергеевну налить ему чаю.

— Любое живое дело можно загубить, если делать его равнодушными руками, с холодной душой,— продолжал он.— Вот нам сейчас подсказали: выдвигайте в председатели колхозов специалистов сельского хозяйства, агрономов, зоотехников. Правильно! Давно пора! Ведь что получается. В промышленности, на заводах начальник цеха — обязательно инженер, не говоря уже о директоре завода. Там кадры учат, основательно подготавливают. А ведь иной колхоз — тот же завод по объему работы: громадное полевод-

ство, тысячи гектаров, животноводство, всякие подсобные отрасли, строительство оросительных систем, лесонасаждения. И все на самородках выезжаем. У лучшего нашего председателя, Демьяна Васильича Опёнкина, образование — три класса церковноприходской школы. Учим мы председателей? Да, учим. Есть вот областная школа председателей колхозов, трехгодичная. Дали нам на район два места, послали двух человек. Пока всех председателей пропустим через эту школу, пятьдесят лет пройдет. Конечно, нужно побольше выдвигать агрономов на руководящие посты в колхозы. Рано или поздно к тому придем, что и бригадиры у нас будут все агрономы. Но как это сейчас делается у нас?..

У Борзова на столе лежит разнарядка: послать восемь агрономов в колхозы председателями. Есть послать! А кого послать, как послать — это его не очень волнует. Лишь бы выполнить в срок задание по количеству и отчитаться перед обкомом. Но ведь агроному, чтобы он справился с обязанностями председателя, нужно, кроме диплома, иметь и талант организатора. Он должен быть вожаком, массовиком, воспитателем народа. А в первую голову — должен быть готов послужить верой и правдой советской власти на очень трудном посту!.. А мы вот послали в отстающий колхоз Аксенова. Двадцать лет просидел человек в конторе сельхозснаба,— не по специальности, счетоводом, наряды какие-то выписывал, должно быть, уже и позабыл всю ту агротехнику, что учил в институте. От трудностей колхозного строительства спасался там. Чего же хорошего дождемся от этого трухляка? Но для отчета перед обкомом он годится — диплом о высшем агрономическом образовании имеет...

А от таких — много ли проку? Если парень поступил в сельскохозяйственный институт только потому, что не прошел по конкурсу в институт кинематографии, и вся его колхозная практика — выезды на уборочную в колхозы на каникулах? Мы и таких двух агрономов послали в колхозы. Но ребята мне понравились. Комсомольцы, не робеют. Много задору, свежий взгляд на такие вещи, к которым мы уже притерпелись, искренне удивляются, почему мы до сих пор, при нашей передовой науке, при нашей механизации, не берем урожаи пудов по двести хотя бы с гектара?.. Если помочь им — может быть, дело у них пойдет. Но если с первого дня начать стучать кулаком по столу: «Вы же — специалисты! Вы больше других председателей знаете! Я с вас три шкуры спущу!» — не знаю, как оно с ними получится...

Очерку нет пока продолжения, так как пишется он почти с натуры. Он, может быть, вырастет и в повесть, но для этого необходимо развитие событий в жизни. Я встречаю таких людей, слышу такие споры, как у Мартынова с Борзовым, в одном районе.

Какие решения примет обком об этом районе, как пойдут там дела дальше, как повернутся личные судьбы людей, представленных читателю в этих первых главах очерка,— это все нужно еще понаблюдать в жизни. Возможно, это и будет содержанием следующих глав.

1952

Ефим Дорош

(1908—1972)

ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ

1

Напротив базара, в одноэтажном кирпичном доме, побеленном известкой, помещается чайная райгородской артели инвалидов. В обычные дни народу здесь немного, а вот в среду или в субботу, особенно зимой, когда со всего района съедутся на базар колхозники, то и дело хлопает, скрипя пружиной, набрякшая дверь, и вместе с посетителем в чайную входит облако морозного воздуха. Посетитель останавливается, снимает шапку, отдирает намерзшие на усы ледышки, стряхивает иней с косматого воротника овчинной шубы и степенно оглядывается, словно пришел в гости. «Пожалуйте в залу!» — угадав приехавшего из деревни человека, говорит буфетчица Раиса Кирилловна, худощавая женщина в белой курточке, с нестерпимо красными губами и ногтями.

Помещение, где за буфетной стойкой и большой пивной бочкой властвует Раиса Кирилловна, базарные остряки называют «скорой помощью». Единственным его украшением служит темная, писанная маслом картина, влажная от встречных потоков холодного и теплого воздуха. Под картиной теснятся накрытые липкой клеенкой столики. Здесь задерживается лишь мимо бегущий райгородский житель, которому поскорее бы принять свои полтораста граммов,

запить их стаканом пива или томатного сока и побежать дальше по неизвестным делам. А приезжий из деревни, иззябнув с дороги, желает получить полное удовольствие и поэтому проходит в зал, куда ведет широкая, в виде арки, дверь.

В зале за столиками, застланными поверх скатертей белой бумагой, полным-полно народу. Разговоры, если прислушаться, как в старое время на красную горку или в мясоед, когда по деревням играли свадьбы.

— Сватали нам его, сватали,— рассказывает дородная, уже немолодая женщина с опущенными на плечи платком и шалью, красная и распаренная от выпитого чая.— Возили его к нам, возили... А мы ему: «Несогласные мы». Так и досватался, что ославился!

— Чем же не показался он вам? — осведомляется сидящая напротив маленькая старушка, схлебывая остатки чая, и отставляет блюдечко в сторону.— Может, слабограмотный? У нас вот тоже, покуда агронома себе не нашли, с полгода был такой: напишут ему все как есть, а он и по бумажке сказать не умеет — спотыкается. А то еще, бывает,— говорит она осуждающим шепотом,— вино жрут. А вино не снасть, дела не управит. Намаялись мы с таким вот виножором. В городе он теперь, в живом сырье, говорят, заведующим сидит. Бывало, представитель приедет, а он в стогу отсыпается, по ногам только и угадают. Что стыда мы с ним натерпелись, что горюшка...

Старушка достает из стакана разбухший кусок баранки, жует, шевеля запавшим ртом, затем, случайно взглянув на вошедшего в зал нового посетителя, показывает на него сердитыми глазками.

— А!.. Живая душа на костылях! — приветствует старушку посетитель, но та не отвечает, с достоинством поджав губы.

Человек этот, как я вскоре догадываюсь, и есть тот самый «виножор», о котором рассказывала старушка. Чуть покачиваясь, он идет к свободному столику, усаживается, берет нетвердой рукой меню, долго не может совладать с картонной коркой, наконец, раскрыв ее, принимается читать вслух нехитрый перечень блюд. На вид ему лет за пятьдесят. Когда официант приносит заказанную им рыбную солянку, он брезгливо копается ложкой в тарелке и говорит тоном знатока:

— Ого!. С маслинами! Откуда вы их получаете?

— Из Кинешмы,— язвительно отвечает старый официант.

Я не знаю ни биографии этого человека, ни того, как стал он, если можно так выразиться, низовым руководящим работником. Легко представить себе, что году в двадцатом, вернувшись из армии, был он чуть ли не единственным грамотеем в деревне и по этой причине стал секретарем сельского Совета. В простоте душевной он полагал, что рабочие и крестьяне свергли царя, прогнали капиталистов и помещиков только лишь для того, чтобы ему, в прошлом батраку, можно было жить не работая. Он обленился, оброс писарским жирком — деревенские бабы, приходя за какой-нибудь справкой, по старой привычке приносили начальству и сало и самогон,— и когда его все же попросили из сельсовета, то он, питая отвращение к физическому труду, правдами и неправдами пробрался в председатели сельпо. С тех пор, хотя никакой специальности у него нет,— впрочем, может быть, в силу именно этого обстоятельства,— о нем вдруг вспоминают в райкоме или в райисполкоме, когда возникает нужда заткнуть где-нибудь прореху. И он охотно соглашается на любую работу, лишь бы не работать...

Райгородские товарищи, ведающие кадрами, могут опровергнуть все мои предположения безукоризненной анкетой сидящего сейчас в чайной человека, могут возразить, что если и были у него выговоры, то все они в положенный срок снимались, но я предпочитаю прислушиваться к тому, о чем рассказывает старушка своей пожилой собеседнице и подсевшей к ним широколицей румяной девушке с льняными кудерьками.

— Ревизия ему была,— доверительно и чуть ужасаясь шепчет старушка.— Как же! Открывает ревизия сгораемый шкаф, а там, не соврать, одни бумажки. И все фальшь. Селедку, пишет, покупали для борова — десять рублей, пол-литра для хворой коровы — двадцать три...

Пожилая женщина ахает и охает, правда, больше из вежливости, а девушка беззаботно смеется. Я знаю эту девушку, она из Вёксинского колхоза, где вот уже скоро двадцать пять лет председательствует Иван Федосеевич Варфоломеев, мой давнишний знакомый. Ее еще и на свете не было, когда Ивана Федосеевича впервые выбрали председателем, и она, должно быть, не представляет себе своей Вёксы без дяди Вани, как называют Варфоломеева не только в районе, но и в областном центре.

Рассказанная старушкой история о председателе, который ездил в город покупать веревку и вместе с отчетом о командировочных расходах представил акт на покупку водки для коровы и селедки для свиньи, по всей видимости, воспри-

нимается девушкой как некая вариация щедринской истории о глуповцах, тащивших теленка на баню и конопативших острог блинами.

— Это еще не диво! — улучив минуту, перебивает старушку пожилая колхозница и продолжает с тем оттенком хвастовства, с каким рассказывают иной раз о своих болезнях: — Нас-то свиньи мучают. И огороды все перерыли и ночью, Никола свидетель, так и лезут в избу-ту, так и лезут. На ферме им ни прокорму, ни тепла, вот и спасаются, как звери лесные.

— Вы бы себе, дочка, тоже из агрономов поискали,— несколько покровительственно советует старушка и принимается, в который уже раз, хвалить нынешнего своего председателя: и аккуратный-то он у них и уважительный, слова черного от него не услышишь...

— Сватали нам и агронома,— вздыхает женщина.— Такое оно молоденькое, такое деликатное... Где уж ему с нами!

— Неужто крысолова? — заливается вдруг девушка, и тугие кудерьки ее подрагивают, как пружинки.— Теперь и он в женихи вышел.

Должно быть, она имеет в виду фитопатолога, агронома по защите растений, которого, как мне говорили, действительно «сватают» какому-то колхозу. Здешние девчата всегда поднимают его на смех, когда он появляется на полях со своим сачком и ботанизиркой. Не то чтобы он был смешон, этот старательный, застенчивый юноша,— просто девчатам нравится наблюдать, как он смущается и краснеет, когда они начинают его дразнить.

Признаться, я никак не возьму в толк, почему специалиста по грызунам и гусеницам, к тому же еще робкого характера, недавно окончившего институт молодого человека, рекомендуют в председатели колхоза. Разве только лишь потому, что в анкете у него написано — агроном.

— И нам с ним не жизнь,— рассуждает женщина,— и его жалко. У нас-то один Федька с конефермы, Михайлы Шилова зять, на чем хочешь его опутает. Только и славы, что ученый, а самостоятельности в нем никакой.

И она по-вдовьи вздыхает о хозяине, который вот как нужен ихнему колхозу. Все здесь в этой тоске по хозяину — и чисто бабья боль за свиней, бегающих без призору, и обида на неизвестного мне Федьку, который, надо думать, присосался к общественному добру и вертит нынешним председателем как хочет, и обычное женское беспокойство о доме, о детях, еще не настолько взрослых, чтобы уехать из

деревни в другие места, где живут по-людски. Да хотя бы и взрослыми были они,— каждой ведь матери хочется жить со своими детьми, нянчить внуков!

Я слушаю этот разговор, один из многих, какие ведутся об эту пору по деревням, и прихожу к мысли, что в «анкете», которую предложила бы заполнить кандидату в председатели почти каждая колхозница, куда больше вопросов, нежели в обычных анкетах. Разумеется, слово «анкета» употреблено мною фигурально. Речь идет о том интересе к человеку, который появляется, когда знаешь, что от этого человека зависит твоя жизнь.

Тут нет никакого преувеличения, потому что, сколько бы ни старалась вот эта женщина, ничего не достанется ей на трудодни, если в хозяйстве, как говорится, ни складу, ни ладу. А колхозное хозяйство, конечно же, в руках председателя. «Голова»,— называют его на Украине, и я не знаю более точного слова, каким можно было бы одновременно охарактеризовать и должность и то, что означает она для такой вот женщины.

И вот именно потому, что женщина эта на себе испытала, каково жить с плохим председателем, она рассуждает куда правильнее иных райгородских руководителей. Женщина смотрит на «виножора», как он с пьяным упрямством тычется в каждую стену и не может угадать, где же здесь дверь. Потом она произносит с неторопливой, обдуманной жесткостью:

— Не-е-ет! Своего мы так не отпустим! Мы уж и сказали ему: «Скинуть скинем, а из колхоза никуда не поедешь, не надейся. Будет, походил с пóртфелем! Дадим самую что ни на есть плохую лошадь, а ты поработай на ней, поломай, как мы, хребтину». А то ведь,— обращается она к собеседницам,— выпусти его только, сейчас к другим повезут сватать.

— Чудно как-то у вас получается! — говорит девушка.— Все-то вы перебираете да все меняете!

— От добра добра не ищут,— возражает женщина.— Был бы у нас Иван Федосеев, небось не меняли бы. Несчастливые мы на председателей. И нам-от с нашим — ничего, и государству от нас — ничего.

— Ругатель он, Иван Федосеев! — неодобрительно замечает старушка.— Как чуть не по нему, так становит перед собой и ругает. Я ведь тамошняя, из Вёксы была выданная, Ваньку ихнего знала мальчонкой. Вам-то он — Иван Федосеев, а мне — Ванька. Где ни встречу его, прямо в глаза говорю: «За черные твои слова быть тебе, Ванька, в аду».

А он, богохульник, смеется. «Я, говорит, бабушка, и сейчас вроде в аду».

Девушка объясняет, что у Варфоломеева с начальством нелады, все ему выговоры да выговоры,— не поймешь, право, чем не угодил.

А старушка, недовольная тем, что ее прервали, будто не слышит этого и продолжает про свое. Видать по всему, она надеется на сочувствие пожилой колхозницы и говорит, ужасаясь:

— «Меня, говорит, бабушка, только помру — ангелы в рай возьмут!»

— И заслужил,— к удивлению старушки, соглашается женщина.— Люди-то за ним как живут! Позавидуешь. Хозяйство-то какое нажили!

Пригладив ладонями волосы, она повязывает голову косынкой, затем платком, а поверх платка — шалью. Она просит девушку подать ей на плечо мешок и корзину, связанные полотенцем, и, подумав, добавляет:

— По старине сказать — угодник он, Иван Федосеев, пускай не богу, так людям. Вот они, вёксинские,— кивает она в сторону девушки,— и гладкие, и одеты-то как, и ученые... А осенью идешь — чьи машины в Москву с товаром бегут? Опять же вёксинские. Одной мы с ними земли, одного звания, да председатели разные. Так-то!

И, повернувшись, она осторожно ступает между столиками, чуть наклоняясь вправо под тяжестью корзины с городским хлебом и мешка, должно быть, с комбикормом для коровы,— рослая, выносливая женщина в залоснившейся стеганке и больших разношенных валенках.

2

— Покупным хлебом живут,— вздохнув, говорит девушка о пожилой колхознице.

— Нет,— продолжает про свое старушка,— а мы своим очень даже довольные... Уж так довольные... сказать нельзя.

Но я больше не прислушиваюсь к разговору, потому что в чайную входит Иван Федосеевич, с которым мы условились встретиться в «задней комнате у инвалидов», как называют здесь третье, самое маленькое помещение, нечто вроде отдельного кабинета.

Года три, пожалуй, прошло, как мы познакомились с Варфоломеевым, и все же каждый раз, когда я его вижу, меня удивляет, насколько не похож он внешностью на

того расчетливого, прямо сказать, оборотистого «председателя-миллионера», грозного с нерадивыми колхозниками и строптивого с недальновидным начальством, каков он есть по своим делам.

Трудно поверить, что этот неприметный пожилой человек в обвислом овчинном полупальто с грубой шинельной покрышкой, в сдвинутой на затылок шапке с опущенными ушами, неспешно, как бы безучастно входящий сейчас в зал, вот так же вошел однажды к председателю облисполкома и тихим, ровным своим голосом проговорил: «Я совхоз-от надумал купить. Как бы мне оформить купчую?» — «То есть как это... совхоз?» — несколько даже растерялся председатель облисполкома. И когда Иван Федосеевич объяснил ему, что речь идет об инвентаре и постройках недавно ликвидированного подсобного хозяйства, он уже с интересом спросил: «Ну, и сколько же просят?» — «Миллион»,— спокойно ответил Иван Федосеевич. Председатель облисполкома, что называется, опешил. «Где же ты такие деньги возьмешь?» — «Так они рассрочку дают на четыре года,— все так же спокойно продолжал объяснять Иван Федосеевич, достал карандаш и тут же на сорванном календарном листочке показал все свои подсчеты и расчеты.— Мы выплатим!» Было это еще до войны, и старожилы утверждают, что именно с этой покупки пошло развиваться хозяйство Вёксинского колхоза.

— Вон вы где! — найдя меня взглядом, по обыкновению негромко, с улыбкой говорит Иван Федосеевич.— Пошли в заднюю комнату!

И опять же ни этот несколько усталый голос, ни тем более улыбка — мягкая, деликатная, пожалуй, даже застенчивая — не дают основания предполагать, что Иван Федосеевич способен с обидной прямотой высказать все, что думает он о человеке, как это было вчера на партийном активе. «Будет тебе горшки лепить! — постукивая кулаком по трибуне, говорил он заместителю председателя райисполкома, ведающему местной промышленностью.— К этому кого-нибудь из городских можно приставить. А ты — мужик, шел бы в колхоз председателем. Конечно, в какой поменьше, с большим-от не сладишь». И, нисколько не смущаясь тем, что нажил себе врага, Иван Федосеевич спустился со сцены и пошел на свое место, помахивая черной рыночной сумкой с застежкой «молния», с которой он никогда не расстается.

Удивительная вещь сумка Ивана Федосеевича! Точно так же, как внешность самого Варфоломеева не отвечает

ни его характеру, ни положению, точно так и сумка эта нисколько не отвечает тому, что в ней содержится.

Иван Федосеевич, раздевшись, кладет сумку на стул, и, если не знать, можно подумать, что сейчас он достанет из нее какую-нибудь привезенную из дому или же купленную на базаре снедь — печеные яйца, огурцы, домашнее сало,— как это делают многие посетители чайной.

— Читали, что «Правда» пишет? — спрашивает меня Иван Федосеевич и достает из сумки газету.— Тут хотя про виноград, как он исчез в одном среднем районе, но это и к нашему луку можно применить.

В сумке, кроме газеты с полюбившейся Ивану Федосеевичу статьей, хранится колхозная печать, лежат в ней и деловые бумаги — тезисы последнего выступления на партийном активе, памятные заметки, таблицы, выписки. И тут же, среди бумаг, обязательно лежит какая-нибудь книга, чаще всего «Хаджи-Мурат» или же «Фома Гордеев», с которыми Иван Федосеевич почти никогда не расстается и при случае охотно цитирует.

— Телятину не будем брать! — откладывая в сторону меню, не то спрашивает моего согласия, не то решает Иван Федосеевич.— Свинину возьмем. Свиней-то мы стараемся откармливать, чтобы упитанные были, а телят сразу продаем — лишь бы не кормить... Тощая она, телятина.

Что бы ни делал Иван Федосеевич, с чем бы ни встретился в жизни, из всего он старается вышелушить то самое ядрышко, которое сокрыто под скорлупой. Помнится, когда я однажды приехал в Вёксу, он показал мне только что построенный маслодельный завод. Мне хотелось сказать ему что-нибудь приятное, настолько хорош был этот деревянный домик с цементным полом, где еще пахло смолой и известкой, и я сказал нечто вроде того, что масло, конечно, прибыльнее продавать, чем молоко.

— Тут не в одном доходе выгода,— возразил Иван Федосеевич.— Тут вот еще в чем расчет: если торговать молоком, поросят поить нечем, а если маслом — все снятое молоко, так называемый «обрат», останется в хозяйстве. Заводик этот не столь для масла нужен, сколь для свинины. Не из коммерции мы его открыли, а для правильного развития животноводства.

Должен сказать, что подобные рассуждения Ивана Федосеевича, подсказанные природной мужицкой сметкой и большим хозяйственным опытом, как это ни странно, очень часто вступают в противоречие с иными установлениями и правилами. Почему-то так получается, что предсе-

дателя Вёксинского колхоза никак не втиснешь в эти правила и установления, как не вобьешь, бывает, ногу в тесный сапог. На мой взгляд, виноват здесь сапог, однако в Райгороде существует мнение, что всему виною нога.

Когда я впервые собрался в Вёксу, второй секретарь Райгородского райкома партии Евдокия Афанасьевна Ростовцева, услышав об этом моем намерении, снисходительно улыбнулась и сказала с вежливой сдержанностью:

— Ваше дело, разумеется. Но только ставлю вас в известность, что на ближайшем бюро мы собираемся вынести Варфоломееву выговор.

Я спросил, в чем провинился Варфоломеев.

— Срывает план развития животноводства,— ответила Ростовцева.

Это меня удивило, потому что я слышал, что у Варфоломеева лучшие в районе фермы, и в тот же день, едва познакомившись с Иваном Федосеевичем, я без всяких околичностей спросил его, что у них тут стряслось.

Сперва он не понял моего вопроса, но когда я рассказал о своем разговоре с Евдокией Афанасьевной, большое продолговатое лицо его с тяжелым подбородком и высоким, переходящим в лысину лбом сразу поскучнело, словно ему смерть как не хочется говорить о случившемся, да вот докучают. Вероятно, чтобы не показаться невежливым, он все же ответил:

— Да тут у нас... бычка прирезали. Не по акту.

И вдруг, оживившись, как будто уже не мне, а кому-то другому, с кем приходится препираться чуть ли не каждый день, он стал объяснять, что при хорошо развитом животноводстве никак не обойтись, чтобы не прирезать иной раз бычка, свинью, а то и корову. «Или оно съест чего ему не надо, или вред себе какой-нибудь сделает, или другая с ним стрясется беда».

— А резать нельзя... Акт от ветеринара нужен, что животное не способно дальше существовать и поэтому разрешается его забить. Только покамест этот ветеринар приедет, бычок-то возьмет да издохнет. Конечно, лучше бы ему дождаться, чтобы по всей форме пойти на котлеты, так ведь глуп! Впрочем сказать, от этой его глупости никто не в обиде. У ветеринара — порядок: составил форменный акт. У председателя тоже не хуже: получил по тому акту страховку да еще чего ни то за шкуру. И у начальства никакого беспокойства — по законной причине пал означенный бычок.

Иван Федосеевич посоветовал мне помножить бычка на количество колхозов и подсчитать, сколько же мяса теряем мы ежегодно, а потом произнес то, что впоследствии, когда мы сошлись ближе, я слышал от него не раз и что было едва ли не самым любимым его выражением.

— Мешает еще канцелярия производителям общественного продукта! — После чего добавил: — Ну, я не дамся!.. Хотя и нет у меня бумажки на бычка, зато кооперация парной убоинкой торговала.

Затем без какой-либо связи с предыдущим он вдруг сказал:

— У меня ведь как? Куда ни приду — в районное учреждение, в областное ли,— у меня везде друзья. Всё старые комсомольцы из моей ячейки. И в партию-то они у нас вступали, по нашему поручительству.

Я подумал, что Иван Федосеевич несколько струсил и успокаивает себя тем, что, когда его вызовут на бюро, друзья не дадут в обиду. Только много позднее, хорошо узнав Ивана Федосеевича, я понял, что если он и рассчитывал на друзей, то не из боязни выговора, а как солдат, которому легче драться, когда рядом товарищи. Будучи человеком практичным, пожалуй, даже осторожным, Иван Федосеевич никогда не употреблял эти свои свойства к тому, чтобы оградить себя от личных неприятностей. Он и должностью-то своей, казалось, не дорожил, во всяком случае, теми материальными благами, какие она давала ему, и на этот счет имел своеобразное суждение. Это было то место, на котором он мог принести наибольшую пользу, и если бы нашелся человек, еще более полезный колхозу, Иван Федосеевич посчитал бы естественным передать ему руководство хозяйством. Конечно, ему было бы трудно это сделать, потому что он очень любит свою работу, полагая, что другой такой не бывает.

Вот и сейчас, когда я ему рассказываю, как рассуждали тут женщины о председателях, он говорит не без гордости:

— Ниже нашей должности не бывает. Но и выше — не скоро найдешь. Центральная в государстве должность!

Он сидит, опершись локтями на стол, сцепив пальцами большие огрубелые руки, которыми с детства привык делать любую крестьянскую работу. Сосредоточенность, с какой он смотрит в окно, заставляет предположить, что он увидел на улице нечто занимательное, но там, приткнувшись к тротуару, стоят лишь пустые грузовики, шоферы которых, вероятно, любезничают с Раисой Кирилловной. Когда официантка приносит на двух селедочницах жареную свинину,

Иван Федосеевич, по своему обыкновению, решает за нас двоих:

— Вина не будем брать! Я к нему смолоду не привык, а теперь и вовсе уж незачем. Давайте лучше какао возьмем. По две порции.

При всей своей редкостной неприхотливости, Иван Федосеевич любит сладкое. Я подозреваю, что и в заднюю комнату он забрался отчасти из-за того, чтобы знакомые председатели, которыми в базарный день полна чайная, не потешались над тем, как «миллионщик» и «воротила» Варфоломеев пьет какао. Принимаясь за еду, Иван Федосеевич негромко спрашивает меня:

— Где побывали? Может, поучительное что-нибудь видели?

Мне и самому хотелось рассказать Ивану Федосеевичу о том, что я наблюдал недавно во время своей поездки по одной из центральных областей страны. Мне любопытно было узнать не только его суждение о тех фактах, с которыми я встретился. Я ожидал услышать от него, как поступил бы он, если бы ему пришлось оказаться в обстоятельствах, похожих на те, в каких находился председатель колхоза, где мне случилось остановиться проездом.

И я рассказал следующее.

3

В начале зимы, часу в четвертом пополудни, подъезжал я к большому селу, где предполагал заночевать, так как темнеет об эту пору сравнительно рано, а от этого села до следующего оставалось еще километров сорок непроезжей лесной дороги. В районном центре, откуда я выехал утром, на мой вопрос о здешнем колхозе мне ответили, что ничего, крепкий колхоз: электростанцию недавно построили, провели радиофикацию, а председатель там — бывший сотрудник райисполкома. Все это сообщили мне в редакции районной газеты, показали даже заметку, в которой говорилось об открытии электростанции, и однако же, когда впереди в еще не померкшем свете мглистого зимнего дня вспыхнули вдруг неяркие, колеблющиеся электрические огни, я удивился им, так неожиданны были они в этом болотном и лесистом крае.

Минут двадцать спустя, обогнув высокое, с колоннами здание школы, я ехал меж двух порядков почти новых, срубленных на диво изб, за освещенными окнами которых

теснились на подоконниках обернутые в бумагу горшки с цветами. Улица была безлюдной и тихой, как всегда в деревне в эти предвечерние зимние часы, когда хозяева, пока еще не совсем стемнело, задают корм скотине, вносят из сарая дрова, чтобы к утру они подсохли в печи. И в этой тишине, как бы перекликаясь, с особенной отчетливостью звучал голос диктора, доносившийся из разных концов села.

В правлении колхоза уже никого не было, и я отправился к председателю на квартиру. Встретила меня немолодая женщина. Она сказала с некоторой принужденностью, что председателя нет дома и где он сейчас, она не знает: может, в конторе или еще куда ушел, кто его ведает! Но в конторе я уже был, искать человека зимним вечером в незнакомом селе — дело трудное, и я попросил, если можно, пускай она сама сходит за председателем или же пошлет кого-нибудь.

Тут как раз в избу вошел здоровый, плечистый парень, должно быть, сын хозяйки, и охотно вызвался поискать председателя. Я заметил, что женщина при этом несколько растерялась, и, грешным делом, подумал, уж не загулял ли где-нибудь председатель по случаю субботнего вечера. Это подозрение еще больше укрепилось во мне, когда парень вернулся и смущенно объяснил, что, сколько ни искал, куда ни заходил, нигде, мол, его нет.

Никаких, в сущности, дел в колхозе у меня не было, задерживаться здесь я не предполагал, и так как о ночлеге успел договориться с самой хозяйкой, то и не стал настаивать на продолжении поисков.

Однако спустя какой-нибудь час, не больше, председатель неожиданно явился сам. Это был молодой, очень скромный с виду человек, молчаливый, как мне показалось, чем-то озабоченный. Разговор у нас сперва не получался — я все время чувствовал в председателе непонятную мне настороженность. У меня было такое ощущение, будто о моем приезде он узнал сразу и медлил появиться только лишь потому, что ожидал встретить кого-нибудь вроде уполномоченного. Во всяком случае, стоило ему услышать, что человек я проезжий и к начальству не принадлежу, как он стал держать себя много свободнее. Он извинился, что не может меня устроить с должными удобствами, потому что хотя и работает здесь вот уже скоро год, но семьи у него нет, живет он в чужом доме постояльцем.

Мы разговорились, и я спросил председателя, много ли выдал он в нынешнем году на трудодень. Председатель почему-то смешался, некоторое время угрюмо молчал,

наконец как бы через силу ответил, что на трудодень нынче ничего не пришлось выдать. Разумеется, я этого не ожидал и поинтересовался узнать, в чем тут причина. И тогда он, словно оправдываясь, стал говорить, что и в прошлом году почти ничего не выдали и в позапрошлом...

Он как бы сказал этим, что и до него не лучше, однако же не объяснил — почему. И я продолжал спрашивать об урожае, о продуктивности скота, на что он все так же неохотно отвечал, что ржи они и трех центнеров не собирают с гектара, картофеля — тридцать, а молока коровы дают в год литров шестьсот, не больше. Каждый раз, когда он называл какую-нибудь цифру, я переспрашивал его, полагая, что он оговорился. Но все было именно так, как он говорил, и мне приходилось снова задавать вопросы.

Таким образом, я узнал, что всему причина земля, точнее — навоз, которого недостает, чтобы как следует удобрить здешние песчаные почвы. А недостает его только лишь потому, что скотины мало. А мало ее из-за того, что с кормами плохо. А кормов не хватает все по той же причине: без навоза на легких песках ни корнеплодов, ни зерна, ни трав не вырастишь.

Мы снова пришли к тому, с чего начали, и, поскольку еще одно перечисление уже известных мне обстоятельств едва ли могло что-либо прибавить, я спросил председателя, как же в таком случае живут колхозники. Он ответил, что неплохо живут. Почти в каждой семье один либо два человека работают в соседнем леспромхозе, а заработки там подходящие. Вот и сын здешней хозяйки, к примеру, всего только год как пришел из армии, однако успел купить и мотоцикл и аккордеон. Да и почему бы не купить, если, кроме крупы и хлеба, все непокупное. В селе не найдешь такого двора, где бы не было коровы, а это ведь не только молоко, но и навоз. И хотя на усадьбах у колхозников тот же песок, картошки собирают они изрядно: и сами едят, и свиней откармливают...

В заключение, с печальной улыбкой, председатель сказал, что село у них «самоедское», и тут же пояснил: сами, мол, едим, а обществу никакого продукта не даем, только землю попусту занимаем.

Оставался еще один вопрос, который я не преминул задать: откуда же взял колхоз деньги на постройку электростанции и радиоузла?

Оказалось, государство выдало ссуду.

Председатель признался, что сейчас как раз подошел срок очередного платежа, а касса пустая. Он и ночей теперь

не спит, все думает, как бы вывернуться. Ему бы только отсрочку дали, а там он что-нибудь продаст и заплатит, после чего можно еще просить ссуду. Надо ведь с весны животноводческие помещения строить, потому что так дальше жить нельзя — того и гляди, за зиму весь скот поморозишь. Осенью, правда, позатыкали кое-какие дыры, но и заплаты-то ставить уже не на что — шутка сказать, с самой коллективизации ничего не строили! Да вот не дают отсрочки!..

Я уже и не рад был, что затеял этот разговор. Ничего дельного посоветовать я не мог, напрасно лишь растревожил человека, да еще в канун воскресного дня, когда он, вероятно, собирался отдохнуть. Мне стало понятно, что та принужденность, с какой встретила меня хозяйка, вызвана была ее желанием хоть ненадолго оберечь председателя от неприятных ему расспросов, что и парень-то, конечно, сразу нашел его и это сам председатель велел сказать, будто его никак не разыщут. И не столько потому, что я и впрямь надеялся получить ответ, сколько из вежливости я спросил председателя, что же он думает делать.

Вероятно, он все же решил, что я если и не уполномоченный, то какой-либо другой «представитель», и сказал, как привык в подобных случаях говорить докучливому начальству, что он будет бороться за повышение урожайности всех культур и за высокую продуктивность животноводства.

После этого разговаривать как-то стало не о чем, и мы улеглись спать, а утром, едва рассвело, к удовольствию хозяев, приглашавших, правда, дождаться завтрака, я попрощался с ними и уехал из села.

Я миновал околицу, и долго еще из памяти моей не шел угрюмый председатель, как он стоял, насупившись, у стола, когда мы прощались, а в зеркале, в металлических украшениях аккордеона, занявшего весь подзеркальник, в никелированных шариках кроватей сияли слепящие отражения большой, ничем не прикрытой электрической лампы.

4

— А я думал, вы что-нибудь интересное расскажете, опыт какой-нибудь,— выслушав меня, говорит Иван Федосеевич.

Все же мне хочется знать, как поступил бы Варфоломеев, доведись ему работать в таком колхозе, как тот, о котором я рассказал.

— Никакой тут хитрости нет,— отвечает Иван Федосеевич.— Ошибся, конечно, ваш председатель, а ему не подсказали. Видать, молодой, не знает, что иной раз и хочется мясца, а зарежешь свинью — и всю продашь, только уши оставишь. В хозяйстве иначе нельзя... Ему бы ссуду на свинарник истратить. С этого и пошел бы жить. А он электростанцию!.. Кто ж это покупает подойник вперед коровы?

И он принимается рассуждать о том, что половина успеха в каждом деле зависит от того, с чего начать. Он говорит, что это плохо сложили, будто конец — делу венец. Начатие — всему корень. А конец надо в голове держать и все примерять да прикидывать, угадаешь ли к тому концу.

В связи с этим мне вспоминается, как минувшей весной ехали мы с одним журналистом в Вёксу и встретили у выезда из села Ивана Федосеевича, который стоял, придерживая велосипед,— он куда-то собрался ехать, но увидел нас и решил подождать. Журналист сказал Ивану Федосеевичу, что такому, мол, колхозу, у которого пять грузовых машин, пора, давно пора иметь «Победу». Он повел разговор о культуре, о том, что и здание правления в Вёксе выглядит неказисто и что надо, дескать, по этой линии подтянуться. Иван Федосеевич промолчал, и я бы забыл об этом случае, но неделю спустя, когда мы шли с ним из Стрельцов — одной из деревень Вёксинского колхоза,— мое внимание привлекли потемневшие от времени бревна, лежавшие среди поля у дороги. Я спросил о них Ивана Федосеевича, и он сказал, что тут у него запланирована центральная усадьба — правление, амбары и склады, навесы для машин. Дело в том, что сейчас все это в разных местах, главным образом в Вёксе, потому что там шоссе рядом,— в распутицу из всего колхоза одна только Вёкса и связана с миром. А село ведь строилось без расчета на колхозное хозяйство, и когда, к примеру, весной приходят тракторы, они стоят прямо на улице, чтоб из окна правления было видать, не балуют ли ребятишки. Да и ставить-то их больше некуда.

— А здесь у нас все вместе будет,— как бы мечтая вслух, говорил Иван Федосеевич.— И опять же не станет этой вредной привычки считать, что колхоз — Вёксинский. Имени Ленина он, а в Стрельцах, в Любогостицах, в Николо-Перевозе да в Усолах, как и до укрупнения, кое-кто говорит: у них, мол, в Вёксе... Коллективное сознание мы этим строительством воспитаем.

Он шагал несколько впереди меня по раскисшей грунтовой дороге, и, как только вытаскивал ногу из грязи, отпечаток сапога тотчас же наливался водой. Вода стояла в кана-

вах вровень с землей. Шумел дробный весенний дождик, грязь хлюпала под ногами. Иван Федосеевич остановился, смерил взглядом расстояние от бревен и до темневшей далеко впереди Вёксы, показал на дорогу и, словно отвечая кому-то, проговорил:

— С дороги надо начинать. А там «Победу» купим.

С такой же точно убежденностью он говорит теперь о свинарнике, с которого, по его мнению, должен был начинать хозяйство неизвестный ему председатель колхоза. Легко заметить, что Иван Федосеевич уже увлекся этим, что ему интересно представить себе, как взялся бы он хозяйствовать в отстающем колхозе, на неродящих песках и гиблых болотах.

Рассуждать о хозяйстве для Ивана Федосеевича истинное наслаждение, самое слово это — «хозяйство», которое он выговаривает, чуть нажимая на первое «о», воспринимается им, я думаю, как иным человеком поэзия.

Надо было слышать, например, как в поле, где на месте распаханного заболоченного кустарника росли подсолнечник и горох, посеянные на силос, Иван Федосеевич рассказывал, что нынче он придумал сеять с подсолнечником не простой горох, созревающий к осени, а так называемый консервный, который он успеет собрать до того, как начнут косить зеленую массу. Надо было видеть, как он сорвал стручок и, перекатывая на ладони мясистые ядрышки, стал подсчитывать, сколько дополнительного общественного продукта даст эта его счастливая выдумка. Надо было наблюдать председателя в эту минуту, чтобы понять, что хозяйство и поэзия и впрямь для него равнозначны.

Иван Федосеевич берет нож и кончиком его принимается водить по пустой селедочнице слева направо короткими, решительными движениями, будто отбрасывает костяшки на счетах. За перегородкой шумит чайная; слышно, как чей-то пьяный голос, ища сочувствия, слезливо жалуется на Раису Кирилловну, а другой, не менее пьяный, рассудительно поучает: «Терпи!.. Насколько ты глупее, настолько она умнее». И еще один голос, певучий женский, принадлежащий, должно быть, базарной спекулянтке, рассказывает об открывшейся недавно комиссионной торговле колхозными продуктами и горько сетует: «Ну, скажи, от груди меня отняли». Весь этот шум ничуть не мешает Ивану Федосеевичу излагать свои мысли.

— В ихних местах,— говорит он неторопливо,— торф есть. А с торфом и на песке картошка хорошо пойдет. Вот вам и кормовая база для свиноводства. Я бы и вовсе не стал

там сеять зерна. Польза от ихней ржи, по вашим словам судить, как у нас от овечек,— только что на бумаге значится. Взял бы кто да подсчитал, во что ихняя рожь обходится при урожае в три центнера или шерсть с нашей овцефермы, если у меня что ни год половина овец дохнет. Не живут они в наших условиях, а зоотехник говорит: по плану положено... Как же это с объективными законами согласовать?

Здесь надо пояснить, что почти весь Райгородский район лежит в обширной котловине вокруг древнего озера Пучибожь. Дно озера покрыто илом, озеро мелеет, зарастает тростником и не способно принять в себя всю ту воду, какую несут в него бесчисленные речки и ручейки. Здешние земли, можно сказать, покоятся на воде, здесь много болот и заболоченных вересковых пустошей, а весною и осенью даже в полях стоит вода. От этой постоянной сырости овцы болеют, и, чтобы иметь определенное планом поголовье, колхозам приходится ежегодно покупать овец на стороне.

— Суворова читали когда-нибудь? — неожиданно спрашивает меня Иван Федосеевич.— У нас вот в войну командиром части один майор был, некий Степанов, так он всегда Суворова нам приводил: «Каждый солдат должен знать свой маневр». Чтобы и председателю колхоза так говорили: применяйся, дескать, к местности и к обстоятельствам — знай свой маневр! Для чего бы я стал держать тогда овец, если у меня все условия для молочного хозяйства? Или зачем нам пятьдесят гектаров цикория сеять, когда мы их обработать не в силах, а машины еще для этого не придуманы,— лучше уж мы посеем двенадцать, даже десять гектаров, да будут они у нас ухожены как следует, тогда мы с них столько же соберем, как с пятидесяти. А остальную землю можно еще чем-нибудь занять. Теперь-то она считается под цикорием, на самом же деле цикория за сорняками не видать. Сказали бы мне,— мечтательно вздыхает Иван Федосеевич,— сдай такой-то продукции в таком вот количестве, а где там посеять да сколько — это уж мой маневр.

— Однако,— продолжает он развивать свою мысль,— чтобы председателю колхоза «знать свой маневр», необходимо ему изучить две науки: сельскохозяйственную и экономическую. Но если с первой наукой сейчас вроде бы благополучно — прошли уже те времена, когда он, Варфоломеев, и семена попусту гноил и не знал, отчего у него клевер не растет, то про вторую что-то не слыхать: либо ее вовсе нет, либо она отстающая.

— И про обработку почвы нам известно,— говорит Иван Федосеевич,— и про удобрения, и про то, как составить

правильный рацион. А вот как учесть да подсчитать, чтобы выгода была,— этому нас не учат.

Не первый раз слышу я, как Иван Федосеевич рассуждает о выгоде, и невольно задаю себе несколько наивный вопрос: кем бы он был, крестьянин из Вёксы, коммунист с двадцатых годов, доведись ему жить в старое время? Такой вот, по-мужицки костистый и крепкий, чуть сутулый, с загорелой морщинистой шеей в просторном вороте косоворотки, с мечтательным и спокойным взглядом больших серых глаз,— он почему-то представляется мне деревенским книгочеем, мирским, живущим «по справедливости» человеком или же, уйди он в город, рабочим, нашедшим «правду-истину» в подпольном марксистском кружке.

Ведь и ухватливым он стал, и оборотливым, и копейку научился считать потому только, что хозяйство-то у него не свое, а мирское, коллективное, и отвечает он за него перед колхозниками и государством.

— Вот вам задача,— продолжает рассуждать Иван Федосеевич.— У нас в колхозе доход полтора миллиона и у соседа нашего — полтора. Мы выдали, не считая продукции, по четыре рубля на трудодень, а сосед-то — рубль с двугривенным. Спрашивается: почему?

Он смотрит на меня с хитринкой, затем, не дождавшись ответа и весьма довольный этим, рассказывает, что у соседа плотники наемные, тогда как он, Варфоломеев, своими обходится, что сосед за одну лишь пастьбу скота платит сто тысяч в год, тогда как у него, Варфоломеева, пастухи ненанятые, за трудодни работают.

— Но здесь еще не вся отгадка,— посмеивается Иван Федосеевич.— Придумали мы госконтроль у себя завести. Специальную девушку посадили в конторе. Сосед-то на учете экономит: накладный, говорит, расход. А нам не жалко — пишем ей за ее работу трудодни. А работа вот в чем: положено, скажем, по производственному плану на такое-то и такое дело столько-то трудодней,— она и контролирует, чтобы перерасходу не было. Очень полезная девушка, хотя и ругают ее иной раз бригадиры — бюрократ! Вы поинтересуйтесь, сколько у соседа в год трудодней выходит да сколько у нас. У него в колхозе так называемая инфляция, а мы лишнего трудодня не выпустим в оборот.

Забота об общественной выгоде, свойственная Ивану Федосеевичу, вступает в противоречие с тем пониманием выгоды, какое имеется еще у иных колхозников, и это доставляет председателю немало неприятностей. Живет, скажем, в Любогостицах ленивый и вздорный мужичонка

Афанасий Гунькин. Еще не было случая, чтобы Гунькин больше полугода поработал на какой-либо одной должности: был он и кладовщиком, и молоко возил на сливной пункт, и в пастухах ходил — все ищет, где прибыльнее. Родня у него большая, так что на общих собраниях, когда решают, например, отчислить двадцать процентов дохода в неделимый фонд или какое-нибудь другое дело, от которого ему, Гунькину, не воспоследует немедленной выгоды,— все Афанасьевы родичи голосуют против.

А сколько заявлений и жалоб на Ивана Федосеевича написал Афанасий Гунькин! И в райисполком, и в милицию, и прокурору... Минувшей осенью, когда Гунькин кончил пасти скотину, он потребовал, чтобы ему оставили в личное пользование резиновые сапоги и плащ, выданные колхозом. При этом он ссылался на соответствующий пункт правительственного постановления по вопросам развития животноводства. Иван Федосеевич отказал Афанасию, и тот немедленно настрочил жалобу прокурору. Пришлось Ивану Федосеевичу ехать в Райгород, объяснять, что в правительственном решении сказано «рекомендовать колхозам», раз так, то имеет он право действовать по своему усмотрению: хорошим пастухам оставить плащи с сапогами, а Гунькину, у которого теленок в болоте утоп, ничего не давать.

Вот и сегодня, рассказывает мне Иван Федосеевич, вызывали его по жалобе Гунькина в прокуратуру. После снижения налога с приусадебных участков, когда стало выгодно разводить сады и сажать дорогие сорта овощей, Афанасий надумал разделиться со своей одинокой семидесятилетней матерью, чтобы получить еще одну усадьбу. Правление колхоза, разгадав его хитрость, отказалось признать этот раздел, и тогда Гунькин завопил, что Варфоломеев нарушает социалистическую законность.

— Он ведь не какой-нибудь жулик,— усмехается Иван Федосеевич,— украсть не украдет, а на законном основании ищет свою выгоду, норовит содрать кусок пожирнее...

Удивительно, что это слово «выгода» звучит совсем поиному, когда Иван Федосеевич произносит его применительно к Гунькину! Оно как бы принадлежит к числу тех слов, которыми определяются низменные, темные понятия. А вот в применении к колхозным делам это же самое слово в устах Ивана Федосеевича теряет свой изначальный торгашеский смысл, становится в ряд с благороднейшими словами.

— Пошли! — прерывает мои размышления Иван Федосеевич.

Расплатившись, мы выходим с ним из задней комнаты, пробираемся к выходу, отделенные друг от друга длинным рядом столиков, за которыми сидят люди и Иван Федосеевич через их головы громко спрашивает меня, читал ли я такой роман... про семью Журбиных.

— Там дед один есть,— рассказывает он.— Так этого деда ни уволить на пенсию, ничего с ним не сделать — хозяин на заводе. Вот и мечтается мне: как бы это научиться таких людей воспитывать.

Он открывает дверь, и сквозь облако мгновенно остывшего воздуха, хлынувшего вслед за нами, мы выходим на улицу.

1954

Юхан Смуул

(1922—1971)

КРУШЕНИЕ «ПЮХАДЕКАРИ»

...Если это
ко благу клонится народа, пусть
и честь, и смерть восстанут предо мною:
я глаз своих не отвращу от них.
Да ниспошлют мне боги столько благ,
насколько к чести жаркая любовь
в душе моей страх смерти превосходит!

Шекспир. Юлий Цезарь

1

Это было не открытое море, а пролив шириной в несколько десятков миль, и в ясные летние дни можно было различить его противоположный берег. Под ненадежными водами скрывались мели, рифы, огромные валуны, истлевшие остовы кораблей, погибших во времена Ганзы и Северной войны, корпуса железных судов и обломки сбитых самолетов, кости людей, которых после неравного боя поглотила зеленая мгла пролива.

Это подводное царство пронизывали переменчивые течения — то в одном направлении с волной и ветром, то наперерез им, то навстречу. Пролив был своенравен, как бывают своенравны только проливы. Никогда нельзя было предугадать, каково будет в нем движение льда, в какое время лед сойдет окончательно, а в какое вернется. Летом пролив бывал с виду ласков, но при первом же ветре покрывался теми неотчетливыми, но напористыми, короткими, крутыми волнами, которые куда хуже длинных и плоских валов открытого моря.

А как он менял окраску! Невероятно!

Но в то время, с которого начинается наш рассказ, над проливом не было слышно ничего, кроме тихого плеска волн. Ноябрьская ночь, самая таинственная из всех ночей, вы-

слала в пролив трех своих подручных: кромешную тьму, холодный дождь и безмолвие. Неплотная, но широкая — в несколько километров — стена дождя закрыла береговые огни, которые в звездные ночи хорошо видны даже издали. Вокруг была только ночь, ночь и ночь, был только холодный дождь и слабая рябь от его капель, еле видная на воде.

В ночь, с которой начинается наш рассказ, сквозь чернильную тьму плыл моторный трехмачтовик «Пюхадекари». Паруса на нем были убраны. Корабль двигался лишь с помощью дизеля в двести тридцать лошадиных сил. У носа с плеском опадали два белогривых вала, из-под кормы уходила во тьму килевая вода. Горели красный и зеленый фонари на бортах, белый огонь фок-мачты, круглые, словно бычьи глаза, иллюминаторы, и все же светотень оживляла море лишь в нескольких метрах от «Пюхадекари». Концы высоких, срезанных, будто сигары, мачт скрывались во мраке, лишь толстые горизонтали рей были видны отчетливо. Тонкая паутина такелажа и тросов вырисовывалась едва-едва... Вот так, в маленьком световом пятне, шел к порту своего назначения «Пюхадекари» с экипажем в семнадцать человек на борту и грузом кирпича в трюме.

Капитану не спалось. Уже несколько часов подряд он сверлил взглядом сырую тьму и следил за курсом. Он был молод и командовал судном лишь второй рейс. Эта ночь, такая темная и уж очень тихая, его тревожила. Он решил не уходить с палубы, пока судно не пройдет мимо мыса Кулли. Его молодое круглое лицо опять склонилось к освещенному компасу.

— Вест-зюйд-вест!

— Есть вест-зюйд-вест!

«Пюхадекари» приближался к мысу Кулли.

В кубрике тоже не спали. Четверо моряков играли в карты. Они играли с серьезностью и азартом, свойственным молодым парням, желающим все делать хорошо. В их скупом разговоре употреблялся вольный портовый жаргон, свидетельствовавший отнюдь не об испорченности или избытке жизненного опыта, а о чувствах, пережитых когда-то многими из нас,— стремлении к «мужественности», желании походить на старых морских волков, которые все видели и все испытали. Во всяком случае, их речь никак не соответствовала их юным, свежим лицам, их внутренней силе и чистоте.

Пело радио.

«Пюхадекари» приближался к мысу Кулли.

Кок, улегшись животом на койку, пристроил на подушку фанерку, а на нее — лист почтовой бумаги. Все его существо — и склоненная набок светловолосая голова, и направленный куда-то вдаль взгляд, и то, как он вытягивал губы, словно целуя кого-то,— все говорило о внутренней сосредоточенности. Большими печатными буквами он писал:

«Моя Роза на берегу! Я получил твое письмо. Ох!..»

И он опять задумывался о том, как вложить в слова все самое лучшее на свете, весь тот великий и святой огонь, который зажгла в нем, может быть, хорошая, а может быть, и легкомысленная, но все-таки любимая Роза.

Старый матрос, который спал неподалеку от игравших в карты, произнес вдруг отчетливо и нежно:

— Смотри, Эллен, какие ягнятки! Попробуй, какие мягкие!

Игроки рассмеялись.

— Мужику земля снится!

— Да, никак не может забыть.

А радио пело:

«Маринике, Маринике...»

«Пюхадекари» приближался к мысу Кулли.

На верхней полке, пристроившись поближе к лампе, сидел моряк с книгой. Он не видел и не слышал всей этой безмятежной жизни ночного кубрика, она для него не существовала. Его потемневшие глаза и сжатые губы, каждый мускул, каждая жилка худого цыганского лица выражали и крайнее напряжение, и недоумение, и страх. Он читал те страницы «Анны Карениной», в которых описывается гибель Анны. «Цыган» перестал быть самим собой, он стал кем-то другим, стал очевидцем, брошенным писателем в чужие времена, чужие муки.

«Пюхадекари» приближался к мысу Кулли.

«Цыган» перевернул страницу. В его глазах пылала беспомощная ярость. Последние фразы он пробормотал вслух:

— «...И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке; затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла».

Отбрасывая на темную воду круг света и гордо неся сквозь мрак свои мачты, «Пюхадекари» приближался к мысу Кулли. На его палубе и в каютах было семнадцать человек,

по-юношески мечтательных, и отважных, и умудренных опытом лет, любящих и ненавидящих, отчаянных и сдержанных, серьезных и веселых,— семнадцать хороших советских моряков.

Вдруг всем им показалось, что тьма своими черными руками тряхнула корабль. Судно вздрогнуло от киля до верхушек мачт, которые заскрипели и застонали, а в каютах замигали лампы.

«И свеча, при которой она читала...»

Винт еще разрезал воду, но вибрирующий «Пюхадекари» уже охватила та зловещая неподвижность, которая нигде не ощущается так остро, как на кораблях, ибо их свойство — двигаться, плыть.

Двенадцатого ноября в час тридцать минут пополуночи «Пюхадекари» налетел на подводную косу у мыса Кулли.

Радиограммы не дали. Капитан и команда решили снять корабль своими силами. Открыли первый носовой люк и начали сбрасывать в море груз.

В пять утра поднялся шторм.

2

В пять утра поднялся шторм.

Еще за час до этого над землей и над морем пронеслись одинокие порывы резкого северного ветра, вздымая на тихой воде острые гребешки. Шторм проносился над мокрым можжевельником, над залитыми полями, над неосвещенными деревнями, над чуткими к его свисту лесами и песчаными пустошами; он несся, словно резвый жеребенок, отставший от табуна и призывающий товарищей своим звонким ржанием. Встретится тебе этакий вороной черт с распущенной гривой и развевающимся хвостом, промчится мимо, оскалив зубы и вздымая, словно кузнечные мехи, могучую грудь, и миг спустя издали донесется лишь замирающий стук копыт.

В апреле, в начале мая и в осенние ночи эти порывы — явление обычное, и пугают они лишь старых рыбачек, вечно одолеваемых тайной тревогой за своих мужей. Ворочаясь с боку на бок, они сквозь сон бормочут молитвы тому, кого привыкли считать главным адмиралом всех морей и судов.

Это был еще не шторм. Шторм свирепо бушевал где-то на севере. Но он приближался. Его недобрый посвист можно было услышать в темной вышине, над облаками и в облаках,

которые он рвал в клочья и сбивал потом в тучи. Его ледяное дыхание уже коснулось моря.

А затем явился и он сам — внезапный, крепкий, холодный и соленый. Задребезжали оконные стекла, затрещали ставни, загудело в трубах, затрепетали во тьме ветви деревьев. Мокрая ворона с испуганным карканьем пронеслась над крышами. Всюду стало ненадежно, и все живое поплотнее прижалось к земле. Ночь, внезапно обнаглев, с силой ломится в окна домов. Весь величие и злоба, этот ноябрьский шторм своей назойливой музыкой, в которой слышны и орган, и трубы, и барабаны, своим надрывным воем перекрывает тяжелые и глухие вздохи моря.

Как только забрезжило, четыре человека из колхоза «Маяк» отправились на берег. Боясь за лодки, они решили оттащить их подальше от воды. Впереди, часто останавливаясь и пригибаясь во время сильных порывов ветра, шагал Рууди Аэр. Своим большим телом он прикрывал старый фонарь — видавшую виды «летучую мышь». Свет падал на резиновые сапоги, желтый огонек дрожал и трепетал, но не гас. Следом за Рууди Аэром, прокладывая грудью дорогу сквозь ревущую тьму, шел Матвей Мырд. Позади него был Эрвин Ряйм, а сзади всех — Стурм. Бодрый и чем-то очень довольный, Стурм кричал что-то товарищам, но его слова относил ветер. Лишь Эрвин, шедший ближе всех от него, слышал что-то о Содоме и Гоморре, о сватающемся черноморском черте и о том, что старина бушует. Но тут сбоку начал хлестать град, на головы посыпались крепкие, словно дробь, ледяные горошины, и люди закрыли лица руками. Широко расставляя ноги и выставив вперед плечо, все четверо продолжали двигаться к берегу.

Из-за плотной тьмы нельзя было видеть мрачной картины разыгравшегося шторма. Но буря чувствовалась, слышалась и осязалась. Поросшее можжевельником поле, над которым она проносилась, не могло ослабить ее напора. Яростные порывы налетали на берег и заставляли пешеходов наклоняться навстречу ветру. Воздух был насыщен водяными брызгами и запахом водорослей. У самых ног бушевало заливавшее берег море. Черную землю с шипением лизали вспененные гребни, волна, словно молот, била в береговые камни, около которых гремели опрокинутые лодки. Пронзительный свист ветра над головой отбивал охоту разговаривать.

Люди оттащили от берега первую лодку и сразу же вымокли, несмотря на то что были в промасленной одежде и резиновых сапогах. Вода с ревом обрушивалась на пологий

берег, затекала в сапоги и под воротник. Уровень повысился почти на два фута, продольные волны становились все круче, и лодки, большие и маленькие, со стуком бились о камни. Люди, уже привыкшие к темноте, молча выдирали их одну за другой из пасти моря.

Черный мрак стал заметно сереть, когда на берегу появились Яан Аэр и Йоозеп Саар, а следом за ними задыхающийся от спешки Мартин Пури. Всем им было не привыкать к непогоде, без приказов и просьб они всемером принялись теперь за боты.

— Раз-два — взяли! — кричал Рууди Аэр.— Раз-два — взяли!

И тяжелый бот, наполовину наполненный водой, медленно подвигался.

Наконец, когда промокшие насквозь, усталые люди отправились в сторожевую будку лодочной пристани, за тонкими стенами которой можно было спрятаться от ветра, начало по-настоящему светать. Папиросы у всех намокли, только Мартин Пури выудил из какого-то кармана сухую пачку «Кино». Закурив, Рууди Аэр посмотрел на море. Черносерые волны, на которых смутно вырисовывались пенистые гребни, мчались с севера на юг, полукругом огибая берег. А на них плясало, вздымаясь и опускаясь, что-то длинное и темное. То был лучший мотобот колхоза, который вечером поставили на якорь в нескольких десятках саженей от берега. Мотобот подымал корму, зарывался носом в воду, опять поднимался и явно перемещался к югу. Якорь, очевидно, волочился по дну, и бот несло на камни.

— Уходит! — охнул Рууди Аэр и вцепился руками в скамью.

— Кто уходит? — спросил Стурм, вглядываясь в сумрак.

— Наш бот! Видишь, понесло, видишь! Ох, раззявы, ох, лопухи,— ругал он товарищей, которые, вернувшись вчера из районного центра, оставили бот на якоре.

— Погоди,— сказал Мартин,— надо сообразить.

— Чего тут соображать? Видишь, на камни несет.

— Вытащим! — сказал Стурм.

— Вытащим! — И Рууди Аэр вскочил.— Не то одни щепки останутся.

Стурм, Аэр, Ряйм и Мырд начали сталкивать к морю лодку, которую они всего лишь четверть часа назад оттащили от воды.

Это было трудное, но не опасное для жизни предприятие. Мотобот медленно относило к камням, и там, где он плыл,

глубина была примерно пять-шесть футов. Лодка с тремя гребцами, изо всех сил налегавшими на весла, и со Стурмом на корме плыла навстречу волне и то исчезала из глаз, то, подброшенная вверх, опять появлялась. Когда они почти добрались до мотобота, обращенного к ним штевнем, они не стали поворачивать лодку, а дали ей плыть по воле волн.

— Вытащат! — сказал сидевший в береговой будке Йоозеп Саар, не отрывая зорких глаз от ревущего моря.

— Как же! Там ведь Гарибальди Стурм! — с гордостью и в то же время с завистью ответил Мартин.

...Вода еще не успела залить высокий, крепко сколоченный мотобот. Рууди Аэр, знавший мотор, как свои пять пальцев, сумел его включить. Мотобот проплыл еще немного носом назад, потом остановился и, постепенно преодолевая могучее сопротивление волн и ветра, двинулся, грузно раскачиваясь, вперед и потянул на буксире лодку. Сначала он пошел прямо на север, навстречу шторму.

— Что это? — вскрикнул вдруг Эрвин Ряйм.

— Где? Что?

— Огонь! Видите у мыса Кулли!

В этот миг мотобот нырнул в провал между волнами, и там, куда показывал Эрвин, были видны только серая мгла и кипение вспененной воды. Но как только мотобот вновь оказался на гребне, все увидели огонек, о котором говорил Эрвин. Он возникал над морем, над можжевельником мыса Кулли, и невозможно было понять, сам ли он качался на волнах или это так казалось качавшимся в боте...

Стурм, видно, захотел поскорее добраться до берега и слишком круто повернул руль. Волна с грохотом обрушилась на бот, оглушая гребцов. Стоя по пояс в воде, Аэр крикнул Стурму:

— Все-таки спасли!

Стурм не ответил.

Но когда все собрались на берегу, он сказал с простотой и серьезностью, с какими прибрежные жители сообщают о большом несчастье:

— Друзья, у мыса Кулли на косу налетел корабль. То, что мы видели, это был судовой сигнал, огонь на фок-мачте. Ничем другим это не могло быть.

Мартин, в уме которого все — и северный ветер, и мыс Кулли, и рельеф дна около мыса — мгновенно связалось в одно целое, прошептал:

— Они погибнут. Помоги им...

— Ничего не остается, как свистать всех наверх! — крикнул, перекрывая вой шторма, Рууди Аэр и побежал вверх по берегу.

3

Недоброе сулил робкий серый рассвет, встававший из шторма, в день 12 ноября 1950 года.

Края туч на юго-востоке окрасились в ядовитый желтый цвет. Над морем, над островом, над деревней Сыгедате свистела и завывала буря. В воздухе летали листья, обломанные ветки и сорванный с кровель камыш. Сверху низвергался поток шума. И из дома в дом, в каждую семью, где были мужчины, перелетала короткая, как пожарный набат, весть:

— У мыса Кулли на косу налетел корабль. Собирайся!

Вестник уходил дальше, а весть незваным гостем оставалась в комнате и смотрела на всех вопрошающим и требовательным взглядом: «Слышали?» Она пробуждала в людях разные чувства: чувство опасности, чувство необходимости скорее помочь, лихорадочное чувство предстоящего риска. Может быть, в некоторых она пробуждала старую корысть, таившуюся еще с тех времен, когда в гибнущем корабле со всеми его товарами, с такелажем, с ценными металлическими частями и инструментами видели прежде всего божий дар.

Но мы не вправе судить утром тех, кто днем без лишних раздумий и переживаний бросится навстречу смерти, чтоб спасти людей, которых не знает, которых увидит в первый и последний раз в жизни. «Герой тот, кто делает все, что может. Другие не делают и этого»,— говорит Роллан. А в тот день жители Сыгедате сделали все, что могли. Не больше. И не меньше.

Деревня опустела. Надев непромокаемые куртки и взяв багры и веревки, все поспешили к мысу Кулли. Только председатель колхоза во что бы то ни стало пытался дозвониться до района.

— Дайте мне секретаря, дайте первого секретаря!

С коммутатора послышался сонный голос:

— Не отвечает.

— Позвоните еще раз!

Немного погодя тот же голос повторил сердито:

— Не отвечает. Люди спят. Горит у вас, что ли?

— Да пойми ты: корабль налетел на косу! Недалеко от

колхоза «Маяк», у мыса Кулли, корабль налетел на косу! Ведь шторм... сама ты, что ли, не слышишь?

— Слышу. Попробую еще раз! — донеслось до Аэра из шипящей трубки.

Но первый секретарь не отвечал.

— Дайте мне Васильева.

Васильев был вторым секретарем райкома. Лишь сейчас, перед лицом опасности, Яан Аэр смог произнести его имя без внутреннего раздражения. Васильев не очень ладил с Аэром и на районных конференциях никогда не забывал упомянуть его имя в связи с ошибками и неудачами колхоза или в связи с тем, что мужчины в «Маяке» выпивают. Аэр отплачивал Васильеву тем же — все промахи и ошибки района он взваливал на широкие плечи бывшего грузчика. Но все же они сообща тянули один воз и, будучи людьми сильными и честными, умели удерживаться от мелочной грызни. И никогда между ними ни в разговоре, ни в мыслях не вставал «национальный вопрос».

Васильев, бывало, ткнет Аэра в грудь толстым пальцем и, щуря черные глаза, скажет:

— Я тебя знаю. Железа самокритики у тебя вырезана! Не любишь ты этой самой самокритики. Признайся, допустил ты ошибку, о которой я говорил?

— Допустил,— процедит сквозь зубы Аэр.

— Должен ты работать лучше?

— Должен. Но почему ты на меня все время наскакиваешь?

— Так тебя ведь можно нагрузить как следует. Ты вытянешь,— говорил Васильев.

Но затем наступал черед Аэра, и тогда он спрашивал, глядя на Васильева в упор:

— Почему не производится механизация скупочного пункта? Почему не хватает соли? Кто в районе отвечает за рыбу? Васильев! Почему мало завезли льда? Почему его плохо хранили? Почему народные деньги растаяли вместе с этим самым льдом? Почему ты, Васильев, не уследил?

Следовало еще много всяких «почему», и после каждого «почему» называлось имя Васильева. Обычно Васильев не выдерживал и начинал оправдываться.

— Эта самая критика не для одного меня выдумана, но и для спасения души товарища Васильева. Я свои ошибки исправлю, но пусть и он свои исправит! — победоносно заканчивал Аэр.

Васильев, бывший архангельский грузчик, который и сейчас мог бы взвалить на спину стокилограммовый

мешок, отнюдь не влюблен в критику. Но он был крепок, его тоже можно было нагрузить как следует. Он вытягивал.

Так они спорили друг с другом и не давали один другому обрасти коростой самоуспокоенности.

— Васильев слушает! — послышался из трубки хриплый бас.

— Андрей, помоги! Поскорее приезжай к нам! — сказал Аэр.

— Кто говорит? — спросил Васильев, удивленный обращением.

— Аэр.

— Что случилось? — насторожился Васильев.

— Несчастье. Корабль налетел на косу. У мыса Кулли корабль налетел на косу. Шторм!

Васильев помолчал.

— Ты меня слышишь? — спросил Аэр.

— Слышу. Что мне надо сделать?

— Нужен грузовик, грузовик с самым большим кузовом. Около того места нет лодок, а по морю туда не добраться.

— Ты боишься, что...

— Да,— ответил Аэр.

Оба замолчали.

— Я сейчас же приеду. Вместе с машиной, а может, и с двумя. Продержись до этого,— сказал Васильев.

— Я продержусь, но...

Никто не ответил. Гудели провода. За мутно светлеющим окном трубила буря.

Каждый ребенок мог показать Васильеву дорогу к мысу Кулли. Аэр не стал его ждать и пошел на берег.

На север от деревни Сыгедате, за можжевеловыми зарослями, лежит большой полукруг залива. Его береговая линия с небольшими выступами и косами, с отмелями и валунами напоминает серп. Путь кораблей, нанесенный на карту, идет с севера по проливу, о котором мы уже упоминали.

Лишь грозное острие серпа, мыс Кулли[1], почти дотягивается до пути кораблей. Вид у этого мыса весьма обыденный и унылый — чахлый можжевельник, глыбы серого и красного гранита, одинокие потрепанные ветром рябинки. Западные и северо-восточные ветры, как собаки, изгрызли его берег, на котором каждую весну, после

---

[1] Кулли — ястребиный (*эст.*).

того как сходит лед, остаются огромные камни и вздувшиеся глиняные бугры. Море наносит мысу рубцы, и море их сглаживает. И тысячелетия торчит этот нацеленный на северо-запад, чуть изогнутый ястребиный клюв.

Западный берег мыса отлогий. На тридцать метров к северу от кончика клюва глубина достигает уже пяти саженей. Но наиболее опасен рельеф дна с северо-восточной стороны. На протяжении ста метров от берега глубина нигде не превышает полутора-двух метров, а затем дно, словно срезанное, сразу опускается сажен до десяти. Вот эти-то сто метров мелководья и становятся во время штормов почти непроходимыми. Морская волна, дойдя до места, где дно круто поднимается, становится еще более пенистой и свирепой и обнажает позади себя отмель.

Сбившись с курса всего на двести — триста метров, «Пюхадекари» врезался носом в северо-восточный подводный выступ мыса.

Яан Аэр, так же как и пришедшие на мыс раньше его, долго не мог разглядеть корабль. Он всматривался в даль, но видел только беснующуюся воду. Поверхность пролива взгорбилась, словно какая-то гигантская сила напирала на нее снизу. Прямо под ногами грохотали белые накатные волны, и от их частых предсмертных стонов закладывало уши. А издали шли и шли пенистые гребни перемешанных бурых валов высотой с дом — северный ветер гнал их к берегу, словно стадо диких быков.

И тут Аэр увидел корабль. «Пюхадекари» был так недалеко от берега, что сначала Аэр смотрел поверх него. Даже после того, как он рассмотрел не только корпус корабля, но и отдельные его части — мачты, крест салинга, реи, тросы такелажа, кормовой мостик, поломанные поручни,— он все-таки не поверил своим глазам и провел по ним рукой, словно после сна или наваждения.

Над кораблем вздымались тучи белых брызг, от борта до борта перекатывалась мутная вода, из-под которой время от времени вновь показывалась черная блестящая палуба с чуть наклоненными вперед мачтами. Наконец Аэр увидел и людей. Они вцепились в поручни мостика, держались изо всех сил за швартовы и за мачты. На корабле водоизмещением в триста сорок тонн, рядом с тридцатиметровыми мачтами, они казались маленькими и слабыми, их вес был

ничтожен по сравнению с тяжестью налетающих на них волн.

Начиналась агония корабля. А в борьбе корабля со смертью, даже когда на нем нет ни души, всегда есть что-то очень понятное для нас, что-то человеческое, вызывающее почти физическую боль. Не могу выразить, в чем состоит это «что-то». Главное тут не в разрушении больших материальных ценностей, а в чем-то другом. Может быть, в уничтожении созданного энергией, силой и творческим напряжением огромной массы людей. Ведь из всего, на чем передвигаются люди по суше, по морю и по воздуху, корабль наиболее близок к произведению искусства. А может быть, дело в ощущении слитности, общности судьбы, которое с седой древности связывало воедино экипаж и корабль.

Спасти «Пюхадекари» было невозможно. Он крепко засел на краю невидимого подводного обрыва. По-видимому, его корпус был поврежден ниже ватерлинии и дал течь. А тяжелая волна била в него все беспощадней, стремясь разрушить его, стремясь переломить о каменистое дно позвоночник корабля — его киль. Все, что можно было смести с палубы, уже было сметено. Спасательных шлюпок не осталось. Одни были разбиты, другие затонули при спуске на воду. «Пюхадекари» стал безгласным — радиостанция не работала. А мозг и душа корабля — команда, которая делала все возможное для спасения «Пюхадекари», которая боролась до тех пор, пока у нее была надежда, пока у нее была возможность бороться, команда не могла больше ничего сделать. Ей только и оставалось, что, уцепившись за швартовы и мачты, стараться устоять против ледяной воды, стремящейся смести всех за борт, стараться победить опасное равнодушие, что подкрадывалось к сердцу вслед за усталостью и пронизывающим холодом.

Сначала всех, кто пришел на берег, охватило чувство безнадежности и бессилия. А на берегу собралась вся деревня. До смешного узенькая полоска воды, отделявшая корабль от суши, казалась непреодолимой. Чем дольше мужчины измеряли взглядом эту полоску вспененного, ревущего, обезумевшего моря, где тысячи волн вставали на дыбы, словно белые медведи, тем более каждый убеждался, что переплыть ее невозможно.

Да, в любом другом случае, в любых иных обстоятельствах это было бы невозможно. Но сегодня они пройдут эти сто метров. Должны пройти. Они знали, что никто их не

станет осуждать, если они не пройдут. Никто не будет вправе показывать на них пальцем. Аэры, Яан и Рууди, Стурм, Матвей Мырд, старый Мартин, Эрвин Ряйм, Эндель Аэр — все понимали, что никто не может им приказать спасти команду «Пюхадекари». Приказ был у них в душе. Они должны.

— Яан, ты связался с районом? — спросил Рууди, встав спиной к морю.

— Связался.

— И что?

— Затребовал грузовики. По морю бот не доставишь, а на лошадях его не свезти.

— Правильно. Очень правильно. Привезем мою моторку. Она мощнее.

— А как ты сам? Пойдешь с нами?

— Что ж тут спрашивать? Нужно! — И он тут же начал ругаться: — Где эти чертовы машины? Что они там тянут? Долго нам терпеть эту муку?

Время ползло, ползло, словно змея, которая уставилась на жертву и, не торопясь добраться до нее, не дает ей все же сойти с места. Со времени разговора Аэра с Васильевым прошло самое большее полчаса, но Аэру казалось, что он уже постарел на год. Время измерялось не минутами и секундами, а чередованием водяных лавин, устремлявшихся на «Пюхадекари». При каждой новой волне, когда яростное море встряхивало корабль, а люди на нем изо всех сил цеплялись за самое надежное из того, что оказывалось поблизости, и палуба исчезала под водой, сердца у всех людей на берегу мучительно сжимались. От одного страха до другого — так измерялось время.

Наконец Васильев все же появился. Его «виллис» мчался сквозь кусты, разбрызгивая воду. Ветровое стекло было покрыто грязью. Васильев, тоже весь грязный, подбежал к людям. Долгим-долгим взглядом он посмотрел на корабль. Бывший портовый рабочий понял все.

— Где же машина, которую ты обещал? Эта, что ли? — И Аэр сердито ткнул пальцем в «виллис».

— Сейчас придет. Я ее обогнал. Придет,— ответил Васильев, все еще глядя только на «Пюхадекари».— Побежим ей навстречу,— решил он,— повернем ее на дороге, выиграем несколько минут!

Все мужчины, сколько их было, пустились бегом по тропинке среди можжевельника.

Люди с «Пюхадекари» с отчаянием смотрели им вслед. Но их хриплые крики заглушал шторм.

4

На берегу остались только женщины. Словно борона, скребя по сердцу, медленно тянулось время — от волны до волны, от страха до страха. Ледяное дыхание бури, ее погребальный вой, ее устрашающие взлеты и кратковременные спады — все это воспринималось людьми не только зрением и слухом,— всем существом. «Пюхадекари» стоял в вихре брызг, поднимаемом волнами. Те из команды, у кого осталось больше сил, взобрались на мачты, чтоб спастись от воды, бьющей по кораблю, словно молот. Женщины были не в силах помочь судну и были не в силах оторвать от него глаз.

Наконец какое-то слабое оживление на корабле — несколько машущих рук, открытые рты, очевидно, что-то кричавших людей — заставило женщин обернуться. Раскачиваясь и срывая дерн, по мокрой земле шел с надсадным ревом большой грузовик. Сначала над можжевельником показались кабина и бот, который будто плыл по воздуху. А в боте по обеим сторонам от него, на ступеньках кабины, на крыльях стояли, сидели и висели люди.

Машина остановилась на берегу напротив «Пюхадекари». С помощью талей два десятка человек спустили по доскам бот, тщательно следя за тем, чтоб не повредился винт. Затем по дощатому настилу его торопливо скатили на чурках к берегу. Тут люди перевели дух и поволокли бот в воду. Они пятились спиной к морю по обеим сторонам от тяжелого бота, сотрясавшегося от ударов и норовившего, несмотря на все их усилия, повернуться бортом к волне. Самых передних, шедших около бака, пенистые волны временами накрывали с головой.

— Шесть человек, не больше! — прокричал Рууди Аэр, наклоняясь над свечой мотора.— Кто?

Выждав, пока схлынет очередной вал, в бот влез Яан Аэр.

— Я! — и весь мокрый Стурм, скаля в усмешке зубы, перекинул через борт свое тело.

— Рууди, возьми меня,— попросил Мартин Пури, сгорбившийся от ударов волн.

Рууди, не поднимая от мотора головы, ответил сурово и безучастно:

— Не нужно. Черт его знает, перенесу ли я сам такую болтанку!

— Возьми! — настойчиво повторил Мартин.— Дай мне в последний раз быть человеком!

— Лезь, не объясняй! Сядешь за руль.

Мартин вскинул на борт ногу в мокром сапоге и забрался в бот.

С другого борта туда легко вскочил Эрвин Ряйм. Он был полон энергии, словно сжатая пружина. Глаза его горели. Опасность была где-то далеко, а тут перед ним совершалось что-то настоящее, в чем он мог участвовать.

В бот деловито забрался Васильев. На баке он встретился с Яаном, который вставлял в гнездо уключину большого весла.

— А ты куда? Чего тебе здесь делать? Тут тебе не секретарский кабинет! — накинулся на Васильева Яан Аэр.

— А куда же мне? — спокойно спросил Васильев.— Ты мне не указчик! Сам знаю, что делать!

Яан поглядел на него и увидел бесстрашные черные глаза и складку легкой усмешки в уголке стиснутых губ. Такой вытянет!

— Возьми другое весло. Будешь грести со мной в паре,— сказал Яан.

— Аугуст, залезай к нам! Тебя как раз и не хватает! — крикнул Рууди Аэр Аугусту Пури.

Но у того в этот миг расстегнулся ремешок на сапоге и раструб голенища зашлепал по воде.

— Успею еще утонуть. Спешить некуда! — ответил, нагибаясь, Аугуст.

Прежде чем Аугуст успел подвязать голенище, в боте уже оказался Матвей Мырд.

— Все! — крикнул он.— Включай мотор! Айда! Поехали! — Мотор заработал на холостом ходу.

У первой пары весел встали Яан Аэр и Васильев, за вторую пару сели Эрвин Ряйм и Мырд, у мотора устроился Рууди Аэр, за рулем — Мартин Пури.

Шедшие по воде люди сволокли бот со дна. Потом те, что были впереди, остановились и начали тянуть бот, перебирая по борту руками, пока другие подталкивали его с кормы. Затем весла Яана и Васильева с силой врезались в воду, а Эрвин и Матвей вставили в гнезда уключины, и бот, ка-

чаясь, поплыл. Мартин, нахохлясь, как ястреб, застыл у руля.

— Ходу!

Мотобот, то ныряя в провал и цепляя носом за дно, то вскидывая корму, под которой показывался работавший впустую винт, невероятно медленно удалялся от берега. Но все-таки он удалялся. Теперь только к нему были прикованы все взгляды. Семнадцать человек на «Пюхадекари» с возрастающей надеждой отсчитывали каждый метр, пройденный ботом. На берегу измеряли взглядом расстояние, отделявшее бот от корабля.

Хотя плыли навстречу волне и мотор работал на полную мощность, хотя стали грести только с правого борта, бот, однако, все заметнее сбивался с курса. Никак не удавалось приноровиться к подводному течению, очень сильному и шедшему поперек направления волн. Оно сносило бот в сторону. И, удаляясь от берега, он одновременно удалялся и от «Пюхадекари». Это становилось все заметнее с каждым разом, как бот появлялся из-за волн. Все поняли, что до потерпевших добраться не удастся.

Шторм входил в свою наивысшую силу.

Пенистая накатная волна подбрасывала бот вверх. Потом он падал в провал. И новый вал, стремительно следуя за предшествующим, обдавал гребцов тучей слепящих брызг и заливал дно бота.

Мотор заглох.

Гребцам удавалось вести бот по прямой. Но все же до смерти было рукой подать. Течение несло их на юго-восток, волна — к берегу. Не удастся гребцам удержать бот во встречном волне направлении — значит, пропали.

Весь берег, затаив дыхание, следил за отчаянным рейсом. Сила течения почти не уступала силе волн, и бот сносило к берегу очень медленно. Мужчины на мысу пошли к нему навстречу. На какое-то время бот совсем исчез из виду, и людям было боязно посмотреть друг на друга. Он появился вновь значительно южнее, чем был, и чуточку ближе к берегу. Над ним беспрерывно взлетали вихри воды, и он болтался грузно и неуклюже, но все же приближался.

После бесконечно долгого рейса бот вернулся к берегу в километре от места, с которого отплыл. Васильев, оба Аэра и Ряйм спрыгнули в воду. Берег тут поднимался отлого, и волна, разбиваясь о него, отступала назад, уже

потеряв силу. Воды было по грудь. И хотя идущие с моря волны несколько раз накрывали людей с головой, им удалось вытянуть бот на берег. Навстречу бежал народ.

Шестеро человек, еще не вполне понимающих, насколько близко они были от смерти, пошатываясь, вышли на сушу. Губы их посинели, лица застыли, и улыбка, которую попытался изобразить на лице Эрвин Ряйм, напоминала скорей болезненную гримасу. Люди взглядом окинули пространство, по которому плыли. В усталых, покрасневших глазах промелькнул страх.

Люди промокли насквозь и продрогли.

— Водки! — сказал наконец Стурм и опустил глаза.

Шофер Васильева протянул бутылку.

Выпили. Водка показалась до противности невкусной и слишком крепкой. Но стало теплее. Люди постепенно освобождались от оцепенения и страха, который, к счастью, ощущается обычно лишь после того, как опасное и требующее напряжения всех сил дело уже сделано.

— Как это говорят: «Побываешь в море — молиться научишься»? — попытался пошутить Васильев.

— Понял теперь, безбожник! — дружелюбно ответил Мартин Пури и протянул Васильеву бутылку.

Женщины принесли сухую одежду. Все шестеро, переодевшись за камнями и выйдя во всем сухом, будто они и не были в море, заново вдруг услышали надрывный вой бури, вновь вспомнили о беде и о невыполненной ими задаче. Трудно все-таки было начинать разговор о том, что им предстояло.

Шторм бушевал. На «Пюхадекари», который трепало и трясло в километре от них, было жутко смотреть. Только чудом на нем еще держались мачты.

— Придется плыть снова,— сказал наконец Рууди Аэр.

— Придется. Ведь люди.

Мартин Пури поглядел на каждого из пятерых своих спутников: на одних — изучающе, на других — с твердой надеждой. И когда все пригнулись, чтоб спрятаться за кустами от пронизывающего ветра, сказал:

— Из-за течения мы чуть не погибли. Не сумели рассчитать. Но теперь-то уж мы сумеем. Это самое течение и спасет людей.

— Как же? — спросил Васильев.

— Как? Спустим бот с самого конца мыса. И оттуда — против волны...

Люди, сами все время искавшие выхода, тотчас поняли простой план Мартина. Только этот путь был возможен и потому верен, хоть и на нем тоже предстояло грудь с грудью встретиться со смертью.

Бот снова погрузили на машину, и по каменистому берегу она покатила к самому концу мыса.

5

Это произошло несколько раньше того, как грузовик добрался до мыса.

Буря достигла высшей точки своего подъема.

Наверное, только ванты помогали «Пюхадекари» уцелеть. Его палуба была почти все время под водой. Не успевала с корабля схлынуть одна волна, как его накрывала другая. Мачты дрожали и качались. Лишь носовая часть, врезавшаяся в мель, не оседала. Тут собралось десять человек. Семеро висели на двух задних мачтах.

Эту волну уже издали можно было отличить от всех остальных. Ее темная стеклянная стена была выше, ее пенистый гребень выступал вперед, словно карниз. Впадина перед ней была длиннее и глубже обычной. Даже на берегу люди начали инстинктивно искать, за что бы ухватиться.

Темная вспененная гора гналась за идущим впереди валом. Она подняла на свой хребет застонавший корабль и швырнула его на обнажившийся подводный выступ. «Пюхадекари» переломился пополам чуть позади фок-мачты. Тросы лопнули. Задние мачты рухнули назад, передняя наклонилась вперед. Кормовая часть, отяжелевшая от воды и груза кирпича, затонула. Семь человек погибли.

Это было в одиннадцать дня, через пять с половиной часов после начала шторма.

Шторму становилось тесно, он бил черными крыльями над морем, пронзительно свистел и рвался куда-то на простор. Он бушевал над землей. И казалось, что даже ее недра гудят и стонут.

И в тот миг, когда «Пюхадекари» переломился, ледяные когти шторма вонзились в сердца людей, на глазах их выступили соленые слезы.

Шолохов где-то пишет о чувстве одиночества, которое охватывает солдата в окопе во время вражеской атаки. Атакующие и в то же время атакуемые люди, которым предстояло спасать моряков, уцелевших на носу «Пюхадекари», испытывали это чувство, сталкивая бот в море. Это нелегко — быть одному и смотреть в свою душу.

Отправились почти все те же. Опыт, каким бы страшным он ни был, остается опытом. Только старого Мартина заменил комсорг колхоза Эндель Аэр. Йоозеп Саар хотел сесть в бот вместо Матвея Мырда, но тот даже после всего пережитого чувствовал себя крепким и остался. Яан поискал взглядом Аугуста Пури. Надо было бы освободить Васильева, показавшего себя сегодня с новой стороны и так же просто, как все они, вынесшего на своих широких плечах тяжесть испытания. Но Аугуста не было. И Васильев остался на боте.

Рууди Аэра не отпускала жена. Они стояли чуть в стороне от всех. Красивое лицо беременной женщины выражало отчаяние, ее золотистые волосы трепал ветер. Она повисла на шее мужа и тихим, умоляющим голосом повторяла:

— Если бы ты мог, Рууди! Если бы ты мог не ходить! Я боюсь, боюсь, боюсь!..

Рууди, отрывая от шеи руки жены, говорил ей:

— Не бойся! Мы все вернемся.

И жена, все еще не отпуская его, сказала:

— Ну, иди, иди! Как же они без тебя?

И Рууди Аэр сел в бот.

Все началось сначала. Тот же шторм, тот же обезумевший залив и та же смертельная опасность, нависшая над шестерыми в боте и десятью на «Пюхадекари». Казалось, вот-вот оборвется какая-то тонкая ниточка и все погибнет. Но ниточка не оборвалась.

На этот раз бот добрался до обломков «Пюхадекари». Впоследствии ни спасители, ни спасенные не могли вспомнить, как были сняты с корабля потерпевшие.

Я устал от этого шторма, от ненастного дня и от крушения «Пюхадекари». Позвольте мне не описывать возвращение бота. Оно было таким же, как и первое, разве только более опасным из-за того, что бот был перегружен.

Уцелевшие моряки так обессилели, что пришлось им помочь вылезти на берег.

А вокруг шестерых, которые, правда, еще держались на ногах (им не хотелось разговаривать, и они со смертельной усталостью думали только о том, как бы согреться),

вокруг них начал кружить только что прибывший журналист. Его поразили равнодушие и бесчувственность спасателей. Он не мог ничего от них добиться.

И Рууди Аэр, которого он тоже пытался выспрашивать, сказал потом жене, изобразив на лице какое-то подобие улыбки и с трудом выговаривая слова:

— А тот, с фотоаппаратом... Спрашивает: «Что вы думали, когда были в море?» Балда! Спрашивает: «Что вы чувствовали?» Балда! Говорит о каких-то героях... И чего, спрашивается, тут ему надо?

1955

Мухтар Ауэзов

(1897—1961)

ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

К утру истекли третьи сутки, с тех пор как начался этот мучительно медленный путь, а конца ему не видать. Вокруг холодное безмолвие снежной пустыни, лишь трактор ДТ-54 с грохотом, скрежетом и лязгом черепахой ползет по безлюдной степи. Стоит на мгновение умолкнуть мотору, как наступает такая тишина, словно ты опустился под воду.

Немало намучился этот трактор за прошедшие сутки. Нескончаемые цепи отрогов Каратау, крутые холмы далеко вширь раскинувшейся Актау — не будет им, казалось, ни конца ни края, никогда не выползет трактор на равнину. Только что, навалившись всей своей богатырской мощью, преодолел он еще одну крутизну и теперь снова, вцепившись гусеницами в крутой бок холма, скрежеща и окутываясь клубами синего выхлопного газа, карабкался на гребень перевала. За ним, скрипя и дребезжа, громоздился на прицепе темный неуклюжий груз. Он казался большим, словно дом, этот самый обыкновенный красный товарный вагон, поставленный на полозья из рельсов.

Сквозь безлюдье и бездорожье, сквозь снега и стужи тащился он за трактором и вот добрался наконец до равнины, именуемой Жоном.

Медленно шедший рядом с трактором человек, небольшого роста, в белых валенках и белом полушубке, поднял руки в меховых варежках и резко опустил их вниз, давая трактористу знак остановиться.

Трактор стал, сотрясаясь от работающего на малом газу мотора.

«Не глушить мотор, только не глушить,— так они договорились.— Не глушить ни в лютый мороз, ни в буран...»

Тракторист спрыгнул наземь. За сутки, проведенные без сна, его обожженное морозом, обветренное стужей лицо потемнело, синева небольших, слегка навыкате глаз как бы сгустилась.

— Ух, пропади он пропадом, этот собачий Жон! — проворчал он.— Дотянем мы до него наконец, товарищ директор?

— Да вот он, Жон, дотянули,— коротко ответил директор.— Только вряд ли он тебя порадует сейчас, товарищ Новиков...— и, с трудом скрывая утомление, двинулся к теплушке.

Разговор продолжался уже у мешка с дорожными продуктами. Всю ночь и утро они двигались натощак. «Доберемся до Жона — тогда и поедим».

Теперь оба с жадностью набросились на черствый хлеб и колбасу с кожурой, подернутой плесенью, кусками отламывали замерзшее масло.

По-зимнему пасмурное небо не прояснялось, густо нависали свинцовые облака. Всюду, насколько хватало глаз, громоздились холмы, укрытые снежным покрывалом, а за ними тянулись к горизонту бескрайние белые степи — загадочные, холодные, чужие. Нигде ни признака человеческого жилья. Какие уж тут села или города, хоть бы попались одна-две избушки, овечий загон и кошара[1], какие еще вчера радовали глаз и согревали сердце.

Собственно, путники хорошо знали, что степь эта необитаема, но от незнакомого, угрюмого мира на них все же повеяло холодом.

— Хорош солнечный Казахстан, ничего не скажешь! — бурчал тракторист, набив рот хлебом с колбасой.

И директор поддержал:

— Была бы это Кустанайская или Павлодарская область, тогда понятно, а то Джамбульская! Мыслимо ли, чтобы на юге в конце февраля такой снег да мороз держался!

---

[1] К о ш а р а — овчарня, закрытое помещение для овец.

Видимо, он был осведомлен об этих местах лучше своего спутника и теперь делился с ним своими соображениями:

— Правду мне говорил один товарищ в области, что зимы холоднее нынешней здесь лет тридцать не было. И что дорога будет тяжелая — тоже говорили, но таких сугробов, такого безлюдья я все-таки не ожидал. Как бы то ни было, до Жона мы добрались. Вон те нескончаемые холмы в стороне от хребта, на которые мы только что взобрались, и эти мелкие сопки, и те возвышенности — все это в земельных границах нашего совхоза. Да что там говорить, хлебнем мы еще с тобой горюшка, товарищ Новиков! С нашим-то грузом да по этакой дорожке вряд ли к вечеру до жилья доберемся. Так что закусывай давай поплотней, не жалей ни масла, ни колбасы, а то как бы и у нас с тобой мотор не заглох. «Не глушить мотор!» — это ведь не только к машине, но и к нам с тобой относится.

Директор засмеялся — заразительно, громко, обнажая мелкие ровные зубы. Большие, светло-голубые, глубоко запавшие его глаза словно излучали теплый свет. Проникая в самую душу, они выражали спокойную умную силу, и в глубине их вспыхивали огоньки энергично работающей мысли.

Словно заражаясь его настроением, Новиков сказал:

— А каково теперь тем совхозам, которые организуются на севере Казахстана?! Им небось еще тяжелее, чем нам!

— Ну, это как сказать,— уклончиво ответил директор.— Есть у них и свои трудности, а кое в чем им, может, и полегче.

Готовясь к поездке, он основательно ознакомился с экономикой и географией республики и теперь приводил факты, почерпнутые из книг.

— Действительно, Кустанайская, Северо-Казахстанская, Павлодарская и даже Кокчетавская области холоднее, и снега там глубже, и бураны чаще. У нас ведь такой снег и мороз, как в этом году,— редкость. Зато там гор меньше, степи ровные. Трактору в тех краях куда легче. Такой совхоз, как наш,— за девяносто километров от железной дороги, да каких километров! — через горы да овраги, через камни да обрывы — поискать надо! Один вагон до центральной усадьбы три дня тянем. Так что жми, брат Новиков, на все педали! — завершил он, выливая в кружку тракториста остатки горячего чая из термоса.

Подкрепившись и слегка передохнув, они снова пустились в путь. С лязгом, скрипом и скрежетом медленно поползла машина по бугристому кряжу Жона.

В тусклом свете ненастного дня окрестность представала в неясных очертаниях: серое небо и безлесная степь, сливаясь, придавали всему, что виднелось вокруг, мутно-лиловый оттенок. На возвышенности подуло пронизывающим морозным ветром, и Новиков, то и дело отрываясь от руля, растирал обмерзающее лицо. А директор по временам оборачивался к жгучему ветру спиной и шел так, защищая нос и уши руками.

Ветер гнал по Жону колючий снег. Сухая поземка, крутясь и извиваясь, неслась навстречу. Разыгралась метель, все глубже становились сугробы. Дорога терялась, и лишь редкие неясные следы вели путников — слепая, неверная тропа. Каменные глыбы и редкий, сотрясаемый вихрем колючий кустарник то и дело преграждали ускользающий путь, на котором было сейчас сосредоточено все внимание тракториста. И вдруг директор, все время шагавший рядом с трактором, остановился: что-то мелькнуло вдали сквозь метель. Казалось, будто какое-то живое существо поднялось над редким низким кустарником и снова упало, возникло на мгновение и исчезло.

Сначала директор подумал, что это мелькнули рога горного козла, потом показалось, будто кто-то протянул кверху руки, проваливаясь в глубоком снегу. Директор догнал трактор и, вскинув руки, дал сигнал: «Стой!»

Новиков, изумленный, остановился.

— Посмотри-ка, мне показалось?.. Не человек ли там замерзает? — указал директор вправо.

— Ну, а коли и замерзает, что мы можем сделать? — недоуменно пробормотал Новиков.

— Как что? Помогать, спасать!

— Кому помогать, кого спасать? — начинал сердиться тракторист.— Пусть мне самому помогут, я тоже замерзаю. Не будем мешкать, товарищ директор, не до того сейчас! — И снова включил скорость.

— Стой, сворачивай вправо! — Голос директора прозвучал резко и властно.

— Товарищ директор, смеетесь вы, что ли?

— Вы понимаете, что я вам говорю: человек погибает! Сворачивайте сейчас же! — Глаза директора грозно сверкнули.

Новиков со злостью стиснул зубы.

— Как я сверну? Как я найду потом след? Собьемся с дороги, тогда без посторонней помощи не вылезем. Не знаю, как здесь, а уж там-то, в совхозе, без нас люди наверняка погибнут. Третий день без продуктов!

Директор был непреклонен.

— Сворачивай сейчас же!

Но раздраженный и измученный Новиков продолжал упорствовать.

— За машину я отвечаю! Куда я попру на такие камни? — И он снова включил скорость.

Тогда небольшой человек в белом тулупе забежал вперед и стал на пути трактора. Он не пошевелился даже тогда, когда трактор приблизился к нему вплотную, только румянец гнева вспыхнул на его темном, обветренном лице.

Скрипя всем корпусом, трактор стал поворачивать. Директор устремился вперед и первым достиг одинокого куста, под которым померещилась ему человеческая фигура. Действительно, в сугробе, скорчившись, лежал человек. На нем был казахский чапан, голова закутана платком. Женщина! Директор наклонился, подхватил женщину под мышки и, вытащив из сугроба, заглянул в ее лицо, вдоль и поперек изборожденное глубокими, словно высеченными на камне морщинами. Это была маленькая, тщедушная старушка.

— Ой, аллах! — чуть слышно сказала она, и брови ее дрогнули, глаза приоткрылись.

Все тело женщины дрожало, зубы стучали, она теряла сознание.

Увязая в снегу, Новиков спешил на помощь. Подхватив на руки маленькую, как ребенок, старушку, мужчины понесли ее к теплушке и, быстро отодвинув примерзшую скрипучую дверь, положили на низкие нары. «Спирту». Они торопливо растирали ей руки, ноги, влили несколько капель в рот. Когда жгучие капли проникли сквозь ее редкие зубы, старушка сильно поморщилась — жизнь начинала возвращаться к ней, возвращалось и сознание. Наконец ее веки приподнялись, и из-под них сверкнули острые светлокарие глаза, уже сознательно устремленные на склонившихся над ней мужчин. В знак благодарности она часто-часто закивала головой.

— Как тебя зовут? Имя? Как твое имя? — спрашивали они, но она не понимала по-русски, да к тому же, видимо, была туга на ухо и только поспешно твердила какое-то свое заветное слово:

— Сада... Садага... Садаган кетеин[1]. Садага!..

С этого времени они ее называли «Садага» — директор и Новиков решили, что это имя.

---

[1] Садаган кетеин — выражение, означающее глубокую благодарность.

— Из какого ты колхоза, Садага? — спросил директор.

— Ждан!.. Жданов!

Путники переглянулись.

— Соседи наши!.. Колхоз как раз возле нашей базы! Это колхоз имени Жданова, что на Жоне?

Они поочередно кивали старушке, тыкали пальцами себя в грудь, а потом в сторону, туда, где, по их предположению, находился колхоз: мы, мол, туда как раз и едем!

Новиков оживился, словно спасение старушки придало ему сил. Вытащив из своего вещевого мешка термос с горячим чаем, он налил ей полную чашку: «Пей, Садага! Будь здорова, Садага!»

Они наперебой угощали ее, подавая то хлеб, то масло, шутили и смеялись, нимало не смущенные тем, что она их не понимала.

Потом они снова тронулись в путь. Хотя местность и называлась «Жоном», то есть равниной, но название звучало злой иронией. Раза три-четыре они оказывались на краю отвесных круч и обрывов, на их пути снова и снова вставали крутые подъемы. Промерзшие рытвины словно хватали трактор за гусеницы, глубокие овраги долго не выпускали их из своих клещей.

Маленькая старушка, укутанная в большой тулуп, весь день пролежала в вагоне, свернувшись калачиком, и постепенно приходила в себя. Ухабы, подъемы и спуски долго швыряли ее из стороны в сторону по полу вагона, и она тихо охала: «О боже мой... Ой, аллах!.. Садаган кетеин!»

И только когда глубокая ночь окутала все непроницаемым мраком, впереди трактора замерцали редкие красноватые огоньки. Потом совсем близко возникли силуэты домишек. Пробуждая безмолвие Жона, послышался собачий лай.

— Собачки! Миленькие, родненькие, лайте, бегите сюда! — смеясь, восклицал директор, расправляя онемевшее, истомленное дорогой и холодом тело. Безмерно счастливые тем, что вырвались из мертвого молчания нагорья, путники приближались к заветному крову.

Здесь было всего несколько избушек, всего около десятка дворов, но везде теплились огоньки — аул еще не спал. Навстречу грохочущему трактору выбежали люди. Веселые, оживленные, они вмиг окружили прибывших, обнимали их, говорили все сразу, наперебой:

— Алексей Иванович, родной!..

— Здорово, товарищ директор!..

— Что долго не ехали?.. Соскучились мы тут, стосковались до смерти...

— Боялись, заблудитесь в буран, пропадете!..

Директор крепким словцом помянул путешествие.

— Думали, ноги протянем! А вы-то все живы?.. С голоду никто не помер?

— Голодные, как собаки!... Хлеб еще вчера кончился... Третьи сутки без горячего!

— Хлеба привезли? Продукты доставили?

— Все, все есть: и хлеб, и мясо, и масло, и крупа, и еще кое-что найдется,— смеялся Новиков.— Теперь уж поживете всласть, не помрете!

— И не только вы! Вон старушка Садага совсем было богу душу в степи отдала, замерзла, а и та, глядите-ка, живехонька! — И директор отодвинул тяжелую дверь вагона. Завернувшись в тулуп, старушка сидела на корточках на полу.

— Мама! Мамочка дорогая! — раздался отчаянный крик, и молодая казашка метнулась из толпы к старушке.

— Мама моя! Жива, родная! — К вагончику бросился чернобородый казах в лисьем малахае.

Тут только обнаружилось, что в толпе, встречавшей директора, были и местные колхозники — казахи. Казалось, старушка всем доводилась родней: кто кричал «мама», кто «тетя», одни называли ее почтительно «Сака», другие дружески — «Сакыш».

— Ты жива, дорогая, а мы по тебе уж отходную читали!

— Весь колхоз на конях два дня тебя ищет, все кустики обшарили.

Смеющиеся и плачущие от радости старики и юноши, пожилые и молодухи, девчонки и мальчишки гомонили, как на базаре. Колхозник в лисьем малахае, Сальмен, держал старушку Сакыш на руках, как ребенка, а она сквозь слезы говорила:

— Ни от детей своих, ни от мужа, ни от самого господа бога не видела я такого добра, как от этих двух русских. Милые мои детки, ведь я уже умирала... Отходную прочла, и под снегом меня похоронило. Это они меня из могилы подняли, в мертвое тело мое душу живую вдохнули! Все, кто почитает меня, в вечном долгу перед ними. Садаган кетеин! — И обеими сухонькими ручками она схватила руку директора, пытаясь прильнуть к ней губами.

— Э нет, так не годится, Садага! — Директор смутился и, смеясь от волнения, тихонько отнял руку.— Так не нуж-

но! — Он крепко обнял старушку и бережно, неловко похлопал ее ладонью по спине.

Некоторое время спустя в небольшом казахском ауле завершилась история дорожного знакомства директора совхоза со старушкой Сакыш: жители десяти домов поселка разместились в пяти и освободили остальные пять домов для работников совхоза, которые, за неимением другого жилья, ютились в холодных брезентовых палатках. С горячими словами благодарности колхозникам новоселы гурьбой переселялись на новое место.

Местные колхозники вообще с первых же дней встретили работников совхоза по-дружески, во всем старались помочь им. Они варили пришельцам еду, в любое время ставили самовары и зазывали в гости — чайком погреться... Можно ли было рассчитывать на большее? Ведь суровая зима тяжко давалась и самим колхозникам — жили тесно, терпели лишения...

А теперь в знак дружбы и благодарности за спасение «матери колхоза» они сделали, казалось, и невозможное: дали кров сорока человекам. Новоселы радовались и благодарили хозяев так, словно те уступили им не тесные избушки, а пышные хоромы.

Несколько дней назад, когда на эту холодную, неприютную возвышенность прибыли первые три машины с новоселами, приезжие чувствовали себя одиноко, неуютно. Понимая, что главное в эту стужу и буран — спасение людей, директор решил прежде всего перебросить сюда теплушки. Первую теплушку и притащил сегодня трактор ДТ-54. Ее ждали те, кто должен был составить ядро будущего совхоза: агрономы, главный инженер, секретарь партийной организации, комсомольские работники, механизаторы, трактористы, комбайнеры... Именно они, вверившие свои судьбы и свои знания, свое настоящее и свое будущее невысокому человеку с худым обветренным лицом — директору совхоза Алексею Ивановичу Строгову, представляли собой сегодня совхоз со звучным именем «Туркестан», совхоз, основанный на пустынной равнине Жон, Сары-Суйского района, Джамбульской области.

1955

Юрий Нагибин

(р. 1920)

ЗИМНИЙ ДУБ

Сыпавший за ночь снег замел узкую дорожку, ведущую от Уваровки к школе, и только по слабой прерывистой тени на ослепительном снежном покрове угадывалось ее направление. Учительница осторожно ставила ногу в маленьком, отороченном мехом ботике, готовая отдернуть ее назад, если снег обманет.

До школы было всего с полкилометра, и учительница лишь накинула на плечи короткую шубку, а голову наскоро повязала легким шерстяным платком. Мороз был крепкий, к тому же еще налетал ветер и, срывая с наста молодой снежок, осыпал ее с ног до головы. Но двадцатичетырехлетней учительнице все это нравилось. Нравилось, что мороз покусывает нос и щеки, что ветер, задувая под шубку, студено охлестывает тело. Отворачиваясь от ветра, она видела позади себя частый след своих остроносых ботиков, похожий на след какого-то зверька, и это ей тоже нравилось.

Свежий, напоенный светом январский денек будил радостные мысли о жизни, о себе. Всего лишь два года, как пришла она сюда со студенческой скамьи,— и уже приобрела славу умелого, опытного преподавателя русского языка. И в Уваровке, и в Кузьминках, и в Черном Яру, и в торфогородке, и на конезаводе — всюду ее знают, ценят и называют уважительно — Анна Васильевна.

Над зубчатой стенкой дальнего бора поднялось солнце, густо засинив длинные тени на снегу. Тени сближали самые далекие предметы: шпиль старой церковной колокольни дотянулся до крыльца уваровского сельсовета. Сосны, росшие на том берегу реки, легли рядком по скосу этого берега: ветроуказатель школьной метеорологической станции крутился посреди поля, у самых ног Анны Васильевны.

Навстречу через поле шел человек. «А что, если он не захочет уступить дорогу? — с веселым испугом подумала Анна Васильевна.— На тропинке не разминешься, а шагни в сторону — мигом утонешь в снегу». Но про себя-то она знала, что нет в округе человека, который бы не уступил дороги уваровской учительнице.

Они поравнялись,— это был Фролов, объездчик с конезавода.

— С добрым утром, Анна Васильевна! — Фролов приподнял кубанку над крепкой, коротко остриженной головой.

— Да будет вам! Сейчас же наденьте, такой морозище!

Фролов, наверно, и сам хотел поскорей нахлобучить кубанку, но теперь нарочно помешкал, желая показать, что мороз ему нипочем. Полушубок ладно облегал его стройную, легкую фигуру, в руке он держал тонкий, похожий на змейку хлыстик, которым постегивал себя по белому, подвернутому ниже колена валенку.

— Как Леша-то мой, не балует? — почтительно спросил Фролов.

— Конечно, балуется. Все нормальные дети балуются. Лишь бы это не переходило границы,— в сознании своего педагогического опыта ответила Анна Васильевна.

Фролов усмехнулся:

— Лешка у меня смирный, весь в отца!

Он посторонился и, провалившись по колени в снег, стал ростом с пятиклассника. Анна Васильевна снисходительно кивнула ему и пошла своей дорогой...

Двухэтажное здание школы с широкими окнами, расписанными морозом, стояло близ шоссе за невысокой оградой, снег до самого шоссе был подрумянен отсветом его красных стен. Школу поставили на дороге, в стороне от Уваровки, потому что в ней учились ребятишки со всей округи: из окрестных деревень, из конезаводского поселка, из санатория нефтяников и далекого торфогородка. И сейчас по шоссе с двух сторон ручейками стекались к школьным воротам капоры и платочки, картузы и шапочки, ушанки и башлыки.

— Здравствуйте, Анна Васильевна! — звучало ежесекундно то звонко и ясно, то глухо и чуть слышно из-под шарфов и платков, намотанных до самых глаз.

Первый урок у Анны Васильевны был в пятом «А». Еще не замер пронзительный звонок, возвестивший о начале занятий, как Анна Васильевна вошла в класс. Ребята дружно встали, поздоровались и уселись по своим местам. Тишина наступила не сразу. Хлопали крышки парт, поскрипывали скамейки, кто-то шумно вздыхал, видимо, прощаясь с безмятежным настроением утра.

— Сегодня мы продолжим разбор частей речи...

Класс затих, стало слышно, как по шоссе с пробуксовкой ползет тяжелый грузовик.

Анна Васильевна вспомнила, как волновалась она перед уроком в прошлом году и, словно школьница на экзамене, твердила про себя: «Существительным называется часть речи... существительным называется часть речи....» И еще вспомнила, как ее мучил смешной страх: а вдруг они все-таки не поймут?..

Анна Васильевна улыбнулась воспоминанию, поправила шпильку в тяжелом пучке волос и ровным, спокойным голосом, чувствуя свое спокойствие, как теплоту во всем теле, начала:

— Именем существительным называется часть речи, которая обозначает предмет. Предметом в грамматике называется все то, о чем можно спросить: кто это или что это? Например: «Кто это?» — «Ученик». Или. «Что это?» — «Книга...»

— Можно?

В полуоткрытой двери стояла небольшая фигурка в разношенных валенках, на которых, стаивая, гасли морозные искринки. Круглое, разожженное морозом лицо горело, словно его натерли свеклой, а брови были седыми от инея.

— Ты опять опоздал, Савушкин? — Как большинство молодых учительниц, Анна Васильевна любила быть строгой, но сейчас ее вопрос прозвучал почти жалобно.

Приняв слова учительницы за разрешение войти в класс, Савушкин быстро прошмыгнул на свое место. Анна Васильевна видела, как мальчик сунул клеенчатую сумку в парту, о чем-то спросил соседа, не поворачивая головы,— наверное: что она объясняет?

Анну Васильевну огорчило опоздание Савушкина как досадная нескладица, испортившая хорошо начатый день. На то, что Савушкин опаздывает, ей жаловалась учительница географии, маленькая, сухонькая старушка, похожая на

ночную бабочку. Она вообще часто жаловалась — то на шум в классе, то на рассеянность учеников. «Первые уроки так трудны!» — вздыхала старушка. «Да, для тех, кто не умеет держать учеников, не умеет сделать свой урок интересным»,— самоуверенно подумала тогда Анна Васильевна и предложила ей поменяться часами. Теперь она чувствовала себя виноватой перед старушкой, достаточно проницательной, чтобы в любезном предложении Анны Васильевны усмотреть вызов и укор.

— Все понятно? — обратилась Анна Васильевна к классу.

— Понятно!.. Понятно!..— хором ответили дети.

— Хорошо. Тогда назовите примеры.

На несколько секунд стало очень тихо, затем кто-то неуверенно произнес:

— Кошка.

— Правильно,— сказала Анна Васильевна, сразу вспомнив, что в прошлом году первой тоже была «кошка». И тут прорвало:

— Окно! — Стол! — Дом! — Дорога!

— Правильно,— говорила Анна Васильевна.

Класс радостно забурлил. Анну Васильевну удивляла та радость, с какой ребята называли знакомые им предметы, словно узнавая их в новой, непривычной значительности. Круг примеров все ширился, но первые минуты ребята держались наиболее близких, на ощупь осязаемых предметов: колесо... трактор... колодец... скворечник...

А с задней парты, где сидел толстый Васятка, тоненько и настойчиво неслось:

— Гвоздик... гвоздик... гвоздик...

Но вот кто-то робко произнес:

— Город.

— Город — хорошо! — одобрила Анна Васильевна.

И тут полетело:

— Улица... Метро... Трамвай... Кинокартина...

— Довольно,— сказала Анна Васильевна.— Я вижу, вы поняли.

Голоса как-то неохотно смолкли, только толстый Васятка все еще бубнил свой непризнанный «гвоздик». И вдруг, словно очнувшись от сна, Савушкин приподнялся над партой и звонко крикнул:

— Зимний дуб!

Ребята засмеялись.

— Тише! — Анна Васильевна стукнула ладонью по столу.

— Зимний дуб! — повторил Савушкин, не замечая ни смеха товарищей, ни окрика учительницы. Он сказал это не так, как другие ученики. Слова вырвались из его души как признание, как счастливая тайна, которую не в силах удержать переполненное сердце.

Не понимая странной его взволнованности, Анна Васильевна сказала, с трудом скрывая раздражение:

— Почему зимний? Просто дуб.

— Просто дуб — что! Зимний дуб — вот это существительное!

— Садись, Савушкин, вот что значит опаздывать. «Дуб» — имя существительное, а что такое «зимний», мы еще не проходили. Во время большой перемены будь любезен зайти в учительскую.

— Вот тебе и зимний дуб! — хихикнул кто-то на задней парте.

Савушкин сел, улыбаясь каким-то своим мыслям, ничуть не тронутый грозными словами учительницы. «Трудный мальчик»,— подумала Анна Васильевна.

Урок продолжался.

— Садись,— сказала Анна Васильевна, когда Савушкин вошел в учительскую.

Мальчик с удовольствием опустился в мягкое кресло и несколько раз качнулся на пружинах.

— Будь добр, объясни: почему ты систематически опаздываешь?

— Просто не знаю, Анна Васильевна.— Он по-взрослому развел руками.— Я за целый час выхожу.

Как трудно доискаться истины в самом пустячном деле! Многие ребята жили гораздо дальше Савушкина, и все же никто из них не тратил больше часа на дорогу.

— Ты живешь в Кузьминках?

— Нет, при санатории.

— И тебе не стыдно говорить, что ты выходишь за час? От санатория до шоссе минут пятнадцать и по шоссе не больше получаса.

— А я не по шоссе хожу. Я коротким путем, напрямки через лес,— сказал Савушкин, как будто сам немало удивленный этим обстоятельством.

— «Напрямик», а не «напрямки»,— привычно поправила Анна Васильевна.

Ей стало смутно и грустно, как и всегда, когда она сталкивалась с детской ложью. Она молчала, надеясь, что Савушкин скажет: «Простите, Анна Васильевна, я с ребятами в снежки заигрался», или что-нибудь такое же простое

и бесхитростное, но он только смотрел на нее большими серыми глазами, и взгляд его словно говорил: «Вот мы все и выяснили, чего же тебе еще от меня надо?»

— Печально, Савушкин, очень печально! Придется поговорить с твоими родителями.

— А у меня, Анна Васильевна, только мама,— улыбнулся Савушкин.

Анна Васильевна чуть покраснела. Она вспомнила мать Савушкина — «душевую нянечку», как называл ее сын. Она работала при санаторной водолечебнице — худая усталая женщина с белыми и обмякшими от горячей воды, будто матерчатыми, руками. Одна, без мужа, погибшего в Отечественную войну, она кормила и растила, кроме Коли, еще троих детей.

Верно, у Савушкиной и без того хватает хлопот.

— Придется мне сходить к твоей матери.

— Приходите, Анна Васильевна, вот мама обрадуется!

— К сожалению, мне нечем ее порадовать. Мама с утра работает?

— Нет, она во второй смене, с трех.

— Ну и прекрасно. Я кончаю в два. После уроков ты меня проводишь...

Тропинка, по которой Савушкин повел Анну Васильевну, начиналась сразу на задах школьной усадьбы. Едва они ступили в лес и тяжко груженные снегом еловые лапы сомкнулись за их спиной, как сразу перенеслись в иной, зачарованный мир покоя и беззвучья. Сороки и вороны, перелетая с дерева на дерево, колыхали ветви, сшибали шишки, порой, задев крылом, обламывали хрупкие, сухие прутики. Но ничто не рождало здесь звука.

Кругом белым-бело. Лишь в вышине чернеют обдутые ветром макушки рослых плачущих берез, и тонкие веточки кажутся нарисованными тушью на синей глади неба.

Тропинка бежала вдоль ручья — то вровень с ним, покорно следуя всем извивам русла, то, подымаясь высоко, вилась по отвесной круче.

Иногда деревья расступались, открывая солнечные веселые полянки, перечеркнутые заячьим следом, похожим на часовую цепочку. Попадались и крупные следы, в виде трилистника, принадлежавшие какому-то большому зверю. Следы уходили в самую чащобу, в бурелом.

— Сохатый прошел! — словно о добром знакомом сказал Савушкин, увидев, что Анна Васильевна заинтересовалась следами.— Только вы не бойтесь,— добавил он в ответ

на взгляд, брошенный учительницей в глубь леса.— Лось, он смирный.

— А ты его видел? — азартно спросила Анна Васильевна.

— Самого? Живого? — Савушкин вздохнул.— Нет, не привелось. Вот орешки его видел.

— Что?

— Катышки,— застенчиво пояснил Савушкин.

Проскользнув под аркой гнутой ветлы, дорожка вновь сбежала к ручью. Местами ручей был застлан толстым снеговым одеялом, местами закован в чистый ледяной панцирь, а порой среди льда и снега проглядывала темным, недобрым глазом живая вода.

— А почему он не весь замерз? — спросила Анна Васильевна.

— В нем теплые ключи бьют. Вон видите струйку?

Наклонившись над полыньей, Анна Васильевна разглядела тянущуюся со дна тоненькую нитку; не достигая поверхности воды, она лопалась мелкими пузырьками. Этот тонюсенький стебелек с пузырьками был похож на ландыш.

— Тут этих ключей страсть как много! — с увлечением говорил Савушкин.— Ручей-то и под снегом живой.

Он разметал снег, и показалась дегтярно-черная и все же прозрачная вода.

Анна Васильевна заметила, что, падая в воду, снег не таял, сразу густел и провисал в воде студенистыми зеленоватыми водорослями. Это ей так понравилось, что она стала носком ботинка сбивать снег в воду, радуясь, когда из большого комка вылеплялась особенно замысловатая фигура. Она вошла во вкус и не сразу заметила, что Савушкин ушел вперед и дожидается ее, усевшись высоко в развилке сука, нависшего над ручьем. Анна Васильевна нагнала Савушкина. Здесь уже кончалось действие теплых ключей, ручей был покрыт пленочно тонким льдом. По его мрамористой поверхности метались быстрые, легкие тени.

— Смотри, какой лед тонкий, даже течение видно!

— Что вы, Анна Васильевна! Это я ветку раскачал, вот и бегает тень.

Анна Васильевна прикусила язык. Пожалуй, здесь, в лесу, ей лучше помалкивать.

Савушкин снова зашагал впереди учительницы, чуть пригнувшись и внимательно поглядывая вокруг себя.

А лес все вел и вел их своими сложными, путаными ходами. Казалось, конца-краю не будет этим деревьям, сугробам, этой тишине и просквоженному солнцем сумраку.

Нежданно вдалеке забрезжила дымчато-голубая щель. Редняк сменил чащу, стало просторно и свежо. И вот уже не щель, а широкий, залитый солнцем просвет возник впереди, там что-то сверкало, искрилось, роилось ледяными звездами.

Тропинка обогнула куст орешника, и лес сразу раздался в стороны. Посреди поляны в белых сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, стоял дуб. Казалось, деревья почтительно расступились, чтобы дать старшему собрату развернуться во всей силе. Его нижние ветви шатром раскинулись над поляной. Снег набился в глубокие морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался прошитым серебряными нитями. Листва, усохнув по осени, почти не облетела, дуб до самой вершины был покрыт листьями в снежных чехольчиках.

— Так вот он, зимний дуб!

Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий великодушный страж леса тихо качнул ей навстречу ветвью.

Совсем не ведая, что творится в душе учительницы, Савушкин возился у подножия дуба, запросто обращаясь со своим старым знакомцем.

— Анна Васильевна, поглядите!

Он с усилием отвалил глыбу снега, облипшую понизу землей и останками гниющих трав. Там, в ямке, лежал шарик, обернутый сопревшими паутинно тонкими листьями. Сквозь листья торчали острые наконечники игл, и Анна Васильевна догадалась, что это еж.

— Вон как укутался!

Савушкин заботливо прикрыл ежа неприхотливым одеялом. Затем он раскопал снег у другого корня. Открылся крошечный гротик с бахромой сосулек на своде. В нем сидела коричневая лягушка, будто сделанная из картона, ее жестко растянутая по костяку кожа казалась отлакированной. Савушкин потрогал лягушку, та не шевельнулась.

— Притворяется,— засмеялся Савушкин.— Будто мертвая. А дай солнышку пригреть — заскачет ой-ой как!

Он продолжал водить Анну Васильевну по своему мирку. Подножие дуба приютило еще многих постояльцев: жуков, ящериц, козявок. Одни хоронились под корнями, другие забились в трещины коры; отощавшие, словно пустые

внутри, они в непробудном сне перемогали зиму. Сильное, переполненное жизнью дерево скопило вокруг себя столько живого тепла, что бедное зверье не могло бы сыскать себе лучшей квартиры. Анна Васильевна с радостным интересом всматривалась в эту неведомую ей потайную жизнь леса, когда услышала встревоженный возглас Савушкина:

— Ой, мы уже не застанем маму!

Анна Васильевна поспешно поднесла к глазам часы — четверть четвертого. У нее было такое чувство, словно она попала в западню. И, мысленно попросив у дуба прощения за свою маленькую человеческую хитрость, она сказала:

— Что ж, Савушкин, это только значит, что короткий путь еще не самый верный. Придется тебе ходить по шоссе.

Савушкин ничего не ответил, только потупил голову.

«Боже мой! — вслед за тем с болью подумала Анна Васильевна.— Можно ли яснее признать свое бессилие?» Ей вспомнился сегодняшний урок и все другие ее уроки; как бедно, сухо и холодно говорила она о слове, о языке, о том, без чего человек нем перед миром, бессилен в чувстве,— о родном языке, который так же свеж, красив и богат, как щедра и красива жизнь.

И она-то считала себя умелой учительницей! Быть может, и одного шага не сделано ею на том пути, для которого мало целой человеческой жизни. Да и где он лежит, этот путь? Отыскать его нелегко и непросто, как ключик от кощеева ларца. Но в той не понятой ею радости, с какой выкликали ребята: «трактор», «колодец», «скворечник», смутно проглянула для нее первая вешка.

— Ну, Савушкин, спасибо тебе за прогулку. Конечно, ты можешь ходить и этой дорожкой.

— Вам спасибо, Анна Васильевна!

Савушкин покраснел: ему очень хотелось сказать учительнице, что он никогда больше не будет опаздывать, но побоялся соврать. Он поднял воротник курточки, нахлобучил поглубже ушанку.

— Я провожу вас...

— Не нужно, Савушкин, я одна дойду.

Он с сомнением поглядел на учительницу, затем поднял с земли палку и, обломив кривой ее конец, протянул Анне Васильевне.

— Если сохатый наскочит, огрейте его по спине, он и даст деру. А лучше просто замахнитесь, с него хватит! Не то еще обидится и вовсе из лесу уйдет.

— Хорошо, Савушкин, я не буду его бить.

Отойдя недалеко, Анна Васильевна в последний раз оглянулась на дуб, бело-розовый в закатных лучах, и увидела у его подножия небольшую темную фигурку: Савушкин не ушел, он издали охранял свою учительницу. И Анна Васильевна вдруг поняла, что самым удивительным в этом лесу был не зимний дуб, а маленький человек в разношенных валенках, чиненой, небогатой одежде, сын погибшего солдата и «душевой нянечки», чудесный и загадочный гражданин будущего.

Она помахала ему рукой и тихо двинулась по извилистой тропинке.

1953

Сергей Залыгин

(р. 1913)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Что случилось у нас в Сибири: как ни осень, так ненастье?! И еще — как ненастье, так хороший урожай!

Утром просыпаешься, в окне — маленькие кусочки синего неба и большая крыша пятиэтажного дома. А еще — тучи торопятся на восток, разорванные, пестрые, фиолетовые и даже коричневые. Это они уходят прочь, и думаешь, что, наверное, день будет без осадков.

Как бы не так: часа два-три — и небо уже серое, неподвижное, тусклое, и во второй половине дня — дождь.

А сегодня не пришлось даже помечтать о ясном и безоблачном дне, о теплом и тихом вечере.

Еще не проснулся, звонят:

— Карпенок, спишь, поди-ка?

Это шеф, завсельхозотделом нашей газеты Павел Исидорович Шебалин.

Он, во-первых, звонил мне вчера вечером, расспрашивал о положении дел в Суетинском районе. Что ему снова понадобилось в такую рань? Во-вторых, почему Карпенок? Не в бабки играем, областную газету делаем! Поедешь в район — для всех ты корреспондент, товарищ Карпекин Федор Семенович, все читали твои материалы на газетных полосах. В редакции же только и слышно: «Карпенка в набор

сдали?», «Карпенку правку сделали?», «Карпенок идет ящиком!» В-третьих, я только вчера вернулся из Суетинского района...

— Ты что же, Карпенок, спишь?

— Точно!!

Что значит новая комната! С телефоном. Жил в частной комнатушке, не знал забот, никто не тревожил!

— Федор Семенович! А комбайны из совхозов Суетинского района перебрасывают в Черемисино... Да? Тебе известно?

— Известно. Ночью эшелон должен быть на месте.

Соображаю: «О Суетке кто-то запрашивает шефа. Вот и все. Сейчас успокоится. Восьмой ряд, одиннадцатое и двенадцатое места... Два билета на «Барабанщицу».

— Так вот, Федор Семенович...

Так вот, через полтора часа я ходил по путям хорошо знакомой мне пригородной станции Первомайка, откуда я совсем недавно переехал в город, в новый дом, и разыскивал эшелон с техникой из Суетинского района. Нашел на восьмом пути. Билеты на «Барабанщицу» тоже были в восьмой ряд. Я отсчитал от головы одиннадцатую платформу, о чем-то подумал и решил взобраться на двенадцатую.

Здесь стояли комбайн-ростовец и трактор-алтаец. В кабине трактора были люди.

Кабина открылась, и кто-то изнутри сказал совершенно спокойно, ничуть не сомневаясь в том, что я должен ехать с эшелоном:

— Товарищ Карпекин, давай сюда! Вот сюда! Скоро ли тронемся?

Наружу торчал довольно крупный нос, выше — козырек синей фуражки, а ниже — губы и часть подбородка с рыжеватой шерсткой. Все остальное было плотно упаковано в кабине.

Я ответил, что и сам бы не прочь узнать, когда тронется экспресс Суетка — Черемисино, поскольку он должен быть на станции назначения двенадцать часов тому назад.

Никто в кабине не обиделся, синий козырек чуть приподнялся, должно быть, его владелец провел рукой по затылку сверху вниз. Тот же голос ответил:

— Семафор открыт... Вроде бы и гудок был. Только вы заходите с левой стороны и сзади. Удобнее.

В кабине трактора было трое, но один, должно быть, штурвальный, вылез наружу и уступил мне место. Облокотившись о траки, он приготовился слушать, о чем пойдет разговор с новым человеком.

Все тот же голос обратился ко мне:

— Значит, помогать суетинцам! Порядок! Пресса, скажу вам, сила!

Я же принялся ругать погоду, а тем временем мысленно ругал еще и своего шефа и поглядывал влево: что это за человек сидит в углу кабины и откуда-то знает меня?

Но между этим человеком и мною сидел еще один — полный, с опущенной на плечо головой. Я почему-то сразу решил, что он водитель того самого трактора, в котором мы сидели. Он дремал, заслонив собою большую часть кабины, и я снова видел только крупный нос, синий козырек и невыбритый подбородок человека, разговаривавшего со мной как со старым знакомым.

Накрапывало. Тучами было затянуто небо, и все оно медленно-медленно вращалось в ту сторону, куда должен был тронуться наш эшелон.

Я стал смотреть, как вращается небо, снова думать о Шебалине, о «Барабанщице», но вдруг толстяк тракторист вскинул голову:

— Это что же такое? А? Это как же называется? Каким образом?

Я не знал, каким образом это хотел назвать тракторист, но тоже сразу понял, в чем дело: вместо нашего состава с десятого или одиннадцатого пути тронулся другой. Влажные крыши пульманов и теплушек все быстрее ускользали мимо нас на зеленый огонек семафора, нам хорошо их было видно сверху, из кабины.

— Пошли, товарищ Карпекин! Пошли, пошли! — тревожно позвал все тот же голос.

Я не понял еще, куда и зачем должен идти, как перепрыгивал уже через рельсы и подлезал под вагоны, стараясь не отстать от человека в брезентовом плаще и в синей фуражке. Мы бежали все быстрее, и вслед за ним я ворвался в дверь железнодорожной станции, на которой было написано: «Вход посторонним строго воспрещен», и только тут увидел этого человека — он стоял посреди небольшой сумрачной комнаты и обеими руками держал спинку стула. На стуле сидел железнодорожник в новенькой форме и говорил:

— Выйдите, я вам говорю, гражданин! Я вам как человеку говорю: выйдите! Я вам как человеку объясняю: сейчас все составы срочные и сверхсрочные. Выйдите! Вы без расписания, и никто из-за вас график нарушать не будет. Выйдите!

Мой знакомый незнакомец поглядел влево, потом вправо, я подумал, что сейчас железнодорожник со стулом ока-

жется либо в палисаднике с чахлой и мокрой травкой, либо в темном коридоре с обшарпанными стенами.

Но мой незнакомец только нагнулся резко к столу и спросил:

— Это что такое?

Железнодорожник почувствовал, что останется на своем стуле, и сказал, не поворачиваясь:

— Вам какое дело? Выйдите! Это селектор! Выйдите!

— Пишите, товарищ корреспондент областной газеты, товарищ Карпекин,— вдруг как-то неожиданно спокойно сказал этот человек: — «Сидящий около селектора дежурный станции Первомайка...» Как ваша фамилия?

— Выйдите, гражданин, как человеку говорю,— ответил дежурный, но теперь он уже сам привстал со своего стула.

— «...Сидящий около селектора бюрократически ответил представителю Суетинского района...»

Я вынул записную книжку с позолоченным штампом газеты и самопишущую ручку.

— Литературно это мы позже обработаем,— сказал я.— Пока что запишем факты как таковые: «сидя-щий око-ло селектора...»

— Само собой,— подтвердил мой товарищ,— само собой, литературу отложим на после. Вы какой институт кончали?

— Ленинградский государственный университет имени Жданова. Факультет журналистики!.. «Де-журный... бюро-кра-ти-чески ответил...»

— Порядок! А мне копию этой заметочки для транспортного отдела обкома. Можно будет?

— Конечно... «...тически ответил представителю Суетинского района». Как ваша фамилия, товарищ дежурный?

Спустя минут двадцать мы снова сидели в кабине трактора. Под нами потряхивалось сиденье, трактор трясло на платформе, платформу — на стыках железнодорожного пути.

— Вечером будет Черемисино — никак не раньше! — вздыхал представитель Суетинского района.

Я сидел теперь с ним рядом и хорошо видел лицо — смуглое, с неровной кожей на щеках. Нос оказался не таким большим, как я увидел его в первый раз, сбоку, а глаза были чуть раскосые, серые и встревоженные.

Тракторист называл его Николаем Петровичем, но это ничего мне не подсказывало — я никак не мог вспомнить человека.

Между тем Николай Петрович нагнулся к моему уху и сказал:

— Пресса! Никому нет охоты под общественное мнение попадать! Помните, вы меня пропечатали за строительство? Я тоже переживал! Струнков тот раз говорил: «Брось! Через две недели быльем зарастет!» Может, для кого заросло, только я лично до сих пор помню!

Знаю, была у меня корреспонденция о неудовлетворительном ходе строительства больничных учреждений в Суетинском районе. В связи с месячником здравоохранения. Знаю, что разговаривал с председателем райисполкома Струнковым — брал материал. А кто в корреспонденции еще упоминался? Под какой такой фамилией назван там вот этот нос? Не знаю, не помню!

И спросить совершенно невозможно. Уже поздно. Надо было позаботиться, когда он меня в первый раз окликнул в Первомайске, когда я садился в эту кабину.

— Вы когда весной тот раз в Суетку приехали,— продолжал Николай Петрович, который теперь, когда я узнал это имя-отчество, стал еще больше мне незнаком,— мы сидели у Стрункова. Струнков мне говорит: «А ну-ка, дай интервью о ходе строительства!» Я говорю: «Больнице центральное отопление дадим, тогда уже». И Струнков сам все положение обсказал. Он интервью умеет давать, очень приспособлен, мы оба после нисколько не сомневались, что все будет хорошо. И вдруг отрицательный материал в газете! И прямо обо мне — как об ответственном за здравоохранение. Струнков после долго вроде бы удивлялся.

Николай Петрович и еще говорил о больницах, о школах, об РТС, еще вспомнил, как я его пропечатал. Из-за грохота слышалось или он на самом деле неправильно произносил это слово — у него получалось: «припечатал».

Неубранные хлеба надвигались с востока... Кое-где зеленые пятна березовых колков, а вот чем дальше, тем больше хлеб был полеглый. И везде густой, перестоявший и матово блестящий от влаги. Разговор наш прервался, мы молчали.

Состав прибыл на станцию Черемисино под вечер, остановился около платформы, такой короткой и неудобной, что разгружаться мы стали бы здесь до утра.

И опять мы с Николаем Петровичем ходили к начальнику станции, звонили в райком, и только тогда нас расцепили на две части, расставили к двум разгрузкам.

Но все равно очень трудно, медленно двигалось дело, особенно с несамоходными комбайнами.

Николай Петрович бегал от одной платформы к другой, кричал: «Эх, взяли!» — налаживал вместе с комбайнерами и трактористами козлы, а когда порожние платформы отходили в сторону, обязательно осматривал каждую: не забыли ли там чего-нибудь.

Сгруженные машины Николай Петрович расставлял в колонны, которыми они должны были двинуться по совхозам Черемисинского района.

Я и сам не заметил, как тоже стал бегать от платформы к платформе, кричать: «Эх, взяли!», таскать какие-то бревна и только однажды подумал, что время — семь тридцать вечера и сейчас открывается занавес в областном театре, а в восьмом ряду — два свободных места.

Тут вскоре подошел пассажирский поезд, и с подножки вагона соскочил высокий человек в кожаном пальто, в фетровой шляпе. Он торопливо направился к нам. Его-то я узнал сразу: председатель Суетинского райисполкома товарищ Струнков.

Струнков тоже сказал:

— Какой судьбой, товарищ корреспондент? Приветствую, приветствую! Значит, так: мы помогаем отстающим, а вы уже помогаете нам — помогающим! Дело! Мы-то взяли на себя соцобязательство, а вы, пресса, взяли или нет? — Тут же, не дожидаясь ответа, протянул руку Николаю Петровичу: — Докладывай. Как дела? Почему на день опоздали? Нехорошо получилось, нехорошо! Я-то в уверенности, будто наша техника сегодня уже в полную катушку работает!

И Струнков двинулся вдоль платформы, а Николай Петрович пошел-пошел рядом и все время чего-то докладывал.

Они сделали круг, вернулись на прежнее место, Струнков сказал:

— Пойду в райком. Утрясать. Ты мне потом позвонишь.

Николай Петрович кивнул: «Позвоню обязательно» — и тут же позвал меня:

— Пойдемте на связь... Снова слишком ответственное дело начинается! Слишком!

Мы оккупировали кабинет, а точнее — маленькую комнатушку конторы «Заготзерно», которая находилась тут же, на станции. Николай Петрович положил перед собой отпечатанный на машинке листок; в листке указывалось, в какие совхозы и сколько направляется суетинских комбайнов и тракторов. Первым в этом списке был совхоз под названием «Боевой». Николай Петрович и соединился

с «Боевым», но телефонистка ответила, что в конторе никого нет.

— Ищи! — ответил Николай Петрович сердито.— Я у тебя контору и не спрашиваю, мне люди нужны: директор, главный агроном, главный инженер! Ищи! Не найдешь, имей в виду: в совхоз не придет техника по причине отсутствия связи! Ясно?

Спустя минут десять уже шел разговор с директором «Боевого».

— Автомашин под наши комбайны сколько дадите? — спрашивал Николай Петрович.— Людей? Горючего? Бочкотары? Имейте в виду — запчастей у нас нет!

Солидный бас на другом конце провода возмутился:

— Собственно, о чем разговор? Есть разнарядка на технику — выполняйте! И так запоздали, вчера должны были приступить к работе! Для вас что — решение обкома необязательно, да? Я вот доведу до сведения...

Николай Петрович закрыл рукой трубку:

— Вот, пресса, тот самый случай.

— Какой? — не понял я.

— Опасный. Ну, ничего, он сейчас по-другому заговорит.— И снова в трубку: — Значит, «Боевой» не готовый нашу технику и людей принять? А когда так...— Николай Петрович скосил глаз на список,— когда так, то совхоз «Белоярский» просит дать ему комбайнов вдвое больше, чем первоначально записано. Дадим! Нам что — мы дадим, нам обком разнарядку по хозяйствам не утверждал, а в целом мы цифру выполним, будь здоров! «Белоярский» — тот, будь здоров, твердо обещает и людей и автомашины! И даже запчастей подбросит!

Когда же Николай Петрович звонил главному агроному Белоярского совхоза — он подробно перечислил все то, что обещал ему «Боевой». Оказывается, много обещал.

Так он вел переговоры со всеми совхозами Черемисинского района, иногда говорил: «Вот здесь присутствует представитель областной газеты, он записывает ваши обязательства перед нами», а еще он выскакивал к платформе и напутствовал комбайнеров и трактористов:

— Прибудете к месту — требуйте и требуйте! А когда они будут там вилять, хозяева,— ту же минуту сообщайте мне. Требуйте!

Усталые и сердитые, механизаторы отваливали на своих агрегатах от платформы. Николая Петровича будто и не слышали, только отрывисто перекликались между собой, с грохотом выезжая на дорогу, уже всю разбитую коле-

сами и гусеницами, а тот тяжело ступал по грязи и все напутствовал:

— Требуйте! Требуйте!

Я спросил:

— Да что вы так беспокоитесь, Николай Петрович? «Боевой», «Белоярский» — все совхозы заинтересованы, чтобы им оказали помощь, все они...

— Знаю я ихнюю заинтересованность, товарищ корреспондент,— неожиданно прервал меня голос, который я не сразу даже как будто и узнал,— сердитый, точь-в-точь комбайнерский, как будто даже пропитанный горючим и соляркой.— Знаю! — повторил еще раз Николай Петрович.— И не уговаривайте меня, не внушайте, я не в первый раз сталкиваюсь. Черемисинские совхозы заинтересованы — как? Свою технику поберечь, а нашу побить — вот как.

— Ну а ваши комбайнеры, трактористы? Они-то этого не допустят!

— Это почему же?

— Естественно: заинтересованы в сохранении своих машин!

— Опять у вас не та естественность. А они вот как сделают: у кого трактор либо комбайн старый, разбитый — он его здесь до конца постарается разбить. Покуда нету над ним глаза.

— Ну для чего же это?

— Или вы молодой еще специалист? Старую машину добьет, значит, давай ему новую. Он тебя же и укорит: — «Говорил — нельзя посылать в чужой район. Не послушал, послал — получай металлолом заместо самоходки!»

И Николай Петрович продолжал звонить по совхозам, а своим механизаторам неустанно твердил:

— Требуйте! Требуйте! Требуйте!

Из одного совхоза ему ответили:

— Что вы от меня требуете? Я — заместитель! Спрашивайте с начальства!

Тут в первый раз Николай Петрович засмеялся:

— Так я тоже заместитель. Так вот на нас-то, на заместителях, всё и дёржится! Всё и дёржится! — повторил он, громко и звучно, по-сибирски растягивая «ё».

Из трубки еще что-то сказали, теперь — неразборчиво, а Николай Петрович еще веселее ответил:

— Вы что же — завтра доложите своему начальнику, что побоялись взять на себя ответственность, оставили совхоз без нашей техники? Так? Не-ет, вы так не доложите!

Совсем наоборот. Вот и действуйте, а нет — я тоже начну действовать и уже против вас! Всё на заместителях дёржится!

И как раз тут позвонил Струнков, спросил:

— Идет дело?

— Идет! Идет, идет, Василий Степанович,— ответил Николай Петрович.— Идет как надо, не беспокойтесь!

Потом он положил трубку, потянулся, разбросав руки в стороны и вглядываясь в неяркую тень, которая появилась при этом его движении на желтоватой стене комнаты.

— Верно, что на сегодня конец уже виден,— сказал он.— Спасибо за помощь, пресса.

— А что, Струнков — сильный работник? — спросил я между прочим, когда мы вышли из конторы «Заготзерно» и направились в районную гостиницу.

Николай Петрович остановился и отчетливо сказал мне:

— Хороший товарищ! Оч-чень хороший товарищ! — Вздохнул.— Единственно — на продвижение ему не сильно везет. Надо бы уже, давно надо продвинуться, но — обходят его. А надо. Ох, как надо бы!

1961

Василий Шукшин

(1929—1974)

ЭКЗАМЕН

— Почему опоздали? — строго спросил профессор.

— Знаете... извините, пожалуйста... прямо с работы... срочный заказ был...— Студент — рослый парняга с простым хорошим лицом — стоял в дверях аудитории, не решаясь пройти дальше.

Глаза у парня правдивые и неглупые.

— Берите билет. Номер?

— Семнадцать.

— Что там?

— «Слово о полку Игореве» — первый вопрос. Второй...

— Хороший билет.— Профессору стало немного стыдно за свою строгость.— Готовьтесь.

Студент склонился над бумагой, задумался.

Некоторое время профессор наблюдал за ним. Перед его глазами за длинную жизнь прошла не одна тысяча таких вот парней; он привык думать о них коротко — студент. А ведь ни один из этой многотысячной армии не походил на другого даже отдаленно. Все разные.

«Все меняется. Древние профессора могли называть себя учителями, ибо имели учеников... А сегодня мы только профессора»,— подумал профессор.

— Вопросов ко мне нет?

— Нет. Ничего.

Профессор отошел к окну. Закурил. Хотел додумать эту мысль о древних профессорах, но вместо этого стал внимательно наблюдать за улицей.

Вечерело. Улица жила обычной жизнью — шумела. Проехал трамвай. На повороте с его дуги посыпались красные искры. Перед семафором скопилось множество автомобилей; семафор подмигнул им, и они все сразу ринулись по улице. По тротуарам шли люди. Торопились. И машины торопились, и люди торопились.

«Люди всегда будут торопиться. Будут перемещаться со сверхзвуковой скоростью и все равно будут торопиться. Куда все это устремляется?..»

— Кхм...— Студент пошевелился.

— Готовы? Давайте.— Профессор отвернулся от окна.— Слушаю.

Студент держал в толстых грубых пальцах узкую полоску бумаги — билет; билет мелко дрожал.

«Волнуется,— понял профессор.— Ничего, поволнуйся».

— «Слово о полку Игореве» — это великолепное произведение,— начал студент.— Это... шедевр... Относится к концу двенадцатого века... кхэ... Автор выразил здесь чаяния...

Глядя на парня, на его строгое, крепкой чеканки лицо, профессор почему-то подумал, что автор «Слова» был юноша... совсем-совсем молодой.

— ...Князья были разобщены, и... В общем, Русь была разобщена, и когда половцы напали на Русь...— Студент закусил губу, нахмурился: должно быть, сам понимал, что рассказывает неинтересно, плохо. Он покраснел.

«Не читал.— Профессор внимательно и сердито посмотрел в глаза студенту.— Да, не читал. Одно предисловие дурацкое прочитал. Черти полосатые! Вот вам — ягодки заочного обучения!» Профессор был противником заочного обучения. Пробовал в свое время выступить со статьей в газете — не напечатали. Сказали: «Что вы!» «Вот вам — что вы! Вот вам — князья разобщены».

— Читали?

— Просмотрел... кхэ...

— Как вам не стыдно? — с убийственным спокойствием спросил профессор и стал ждать ответа.

Студент побагровел от шеи до лба.

—Не успел, профессор. Работа срочная... заказ срочный...

— Меня меньше всего интересует ваш заказ. Если хотите, меня интересует человек, русский человек, который не удосужился прочитать величайшее национальное произведение. Очень интересует! — Профессор чувствовал, что начинает ненавидеть здорового студента.— Вы сами пошли учиться?

Студент поднял на профессора грустные глаза.

— Сам, конечно.

— Как вы себе это представляли?

— Что?

— Учебу. В люди хотели выйти? Да?

Некоторое время смотрели друг на друга.

— Не надо,— тихонько сказал студент и опустил голову.

— Что не надо?

— Не надо так...

— Нет, это колоссально! — воскликнул профессор, хлопнул себя по колену и поднялся.— Это колоссально. Хорошо, я не буду так. Меня интересует: вам стыдно или нет?

— Стыдно.

— Слава тебе господи!

Они минуту молчали. Профессор ходил около доски, фыркал и качал головой. Он даже как будто помолодел от злости. Студент сидел неподвижно, смотрел в билет. Минута была глупая и тяжкая.

— Спросите еще что-нибудь. Я же готовился.

— В каком веке создано «Слово»? — Профессор, когда сердился, упрямился и капризничал, как ребенок.

— В двенадцатом. В конце.

— Верно. Что случилось с князем Игорем?

— Князь Игорь попал в плен.

— Правильно! Князь Игорь попал в плен. Ах, черт возьми! — Профессор скрестил на груди руки и изобразил на лице великую досаду оттого, что князь Игорь попал в плен, и оттого, главным образом, что разговор об этом получился очень уж глупым. Издевательского тона у него не получалось — он действительно злился и досадовал, что вовлек себя и парня в эту школьную игру. Странное дело, но он сочувствовал парню и потому злился на него еще больше.— Ах, досада какая! Как же это он попал в плен?!

— Ставьте мне, что положено, и не мучайтесь.— Студент сказал это резким, решительным тоном. И встал.

На профессора этот тон подействовал успокаивающе. Он сел. Парень ему нравился.

— Давайте говорить о князе Игоре. Как он там себя чувствовал? Сядьте, во-первых.

Студент остался стоять.

— Ставьте мне двойку.

— Как чувствовал себя в плену князь Игорь?! — почти закричал профессор, опять испытывая прилив злости.— Как чувствует себя человек в плену? Неужели даже этого не понимаете?!

Студент, стоя, некоторое время непонятно смотрел на старика ясными серыми глазами.

— Понимаю,— сказал он.

— Так. Что понимаете?

— Я сам в плену был.

— Так... То есть как в плену были? Где?

— У немцев.

— Вы воевали?

— Да.

Профессор внимательно посмотрел на студента, и опять ему почему-то подумалось, что автор «Слова» был юноша с голубыми глазами. Злой и твердый.

— Долго?

— Три месяца.

— Ну и что?

— Что?

Студент смотрел на профессора, профессор — на студента. Оба были сердиты.

— Садитесь, чего вы стоите,— сказал профессор.— Бежали из плена?

— Да.— Студент сел. Опять взял билет и стал смотреть в него. Ему захотелось скорей уйти.

— Как бежали? Расскажите.

— Ночью. С этапа.

— Подробней,— приказал профессор.— Учитесь говорить, молодой человек! Ведь это тоже надо. Как бежали? Собственно, мне не техника этого дела интересна, а... психологический момент, что ли. Как чувствовали себя? Это ведь горько — попасть в плен? — Профессор даже поморщился...— Вы как попали-то? Ранены были?

— Нет.

Помолчали. Немножко дольше, чем требуется для беседы на такую тему.

— А как же?..

— Попали в окружение. Это долго рассказывать, профессор.

— Скажите пожалуйста, какой он занятой!

— Да не занятой, а...

— Страшно было?

— Страшно.

— Да, да.— Профессору почему-то этот ответ очень понравился. Он закурил.— Закуривайте тоже. В аудитории, правда, не разрешается, но... ничего...

— Я не хочу.— Студент улыбнулся, но тут же посерьезнел.

— Деревня своя вспоминалась, конечно, мать?.. Вам сколько лет было?

— Восемнадцать.

— Вспоминалась деревня?

— Я из города.

— Ну! Я почему-то подумал — из деревни. Да...

Замолчали. Студент все глядел в злополучный билет; профессор поигрывал янтарным мундштуком, рассматривал студента.

— О чем вы там говорили между собой?

— Где? — Студент поднял голову. Ему этот разговор явно становился в тягость.

— В плену.

— Ни о чем. О чем говорить?

— Черт возьми! Это верно.— Профессор заволновался. Встал. Переложил мундштук из одной руки в другую. Прошелся около кафедры.— Это верно. Как вас зовут?

— Николай.

— Это верно, понимаете?

— Что верно? — Студент вежливо улыбнулся. Положил билет. Разговор принимал совсем странный характер — он не знал, как держать себя.

— Верно, что молчали. О чем же говорить! У врага молчат. Это самое мудрое. Вам в Киеве приходилось бывать?

— Нет.

— Там есть район — Подол называется,— можно стоять и смотреть с большой высоты. Удивительная даль открывается. Всякий раз, когда я стою и смотрю, мне кажется, что я уже бывал там когда-то. Не в своей жизни даже, а давным-давно. Понимаете? — У профессора на лице отразилось сложное чувство — он как будто нечаянно проговорился о чем-то весьма сокровенном и теперь, во-первых, опасался, что его не поймут; во-вторых, был недоволен, что

проговорился. Он смотрел на студента с тревогой, требовательно и заискивающе.

Студент пожал плечами, признался:

— Как-то сложно, знаете.

— Ну, как же! Что тут сложного? — Профессор опять стал быстро ходить по аудитории. Он сердился на себя, но замолчать уже не мог. Заговорил отчетливо и громко: — Мне кажется, что я там ходил когда-то. Давно. Во времена Игоря. Если бы мне это казалось только теперь, в последние годы, я бы подумал, что это старческое. Но я и молодым так же чувствовал. Ну?

Повисла неловкая пауза. Два человека смотрели друг на друга и не понимали, что им, собственно, требуется сейчас выяснить.

— Я немного не понимаю,— осторожно заговорил студент,— при чем тут Подол?

— При том, что мне показалось очень точным ваше замечание насчет того, что — молчали. Я в плену не был, даже не воевал никогда, но там, над Подолом, я каким-то образом постигал все, что относится к войне. Я додумался, что в плену — молчат. Не на допросах — я мог об этом много читать,— а между собой. Я многое там узнал и понял. Я, например, много думал над вопросом: как бесшумно снимать часовых? Мне думается, их надо пугать.

Студент удивленно посмотрел на профессора.

— Да. Подползти незаметно и что-нибудь очень тихо спросить. Например: «Сколько сейчас времени, скажите, пожалуйста?» Он в первую секунду ошалеет, и тут — бросайся на него.

Студент засмеялся, опустив голову.

— Глупости я говорю? — Профессор заглянул ему в глаза.

Студент поторопился сказать:

— Нет, почему... Мне кажется, я понимаю вас.

«Врет. Не хочет обидеть»,— понял профессор. И скис. Но счел необходимым добавить еще:

— Это вот почему: страна наша много воюет. Трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ. Я это не из книжек вычитал, сами понимаете. Я это чувствую и верю этому.

Долго после этого молчали — отходили. Надо было вернуться к исходному положению: к «Слову о полку Игореве», к тому, что это великое произведение постыдно не прочитано студентом. Однако профессор не удержался и задал еще два последних вопроса:

— Один бежали?

— Нет, нас семь человек было.

— Наверно, думаете: вот привязался старый чудак! Так?

— Да что вы! Я совсем так не думаю.— Студент покраснел так, как если бы он только что так именно и подумал.— Правда, профессор. Мне очень интересно.

Сердце старого профессора дрогнуло.

— Это хорошо, солдат. Это хорошо, что вы меня понимаете. «Слово» надо, конечно, прочитать. И не раз. Я вам подарю книжку... У меня как раз есть с собой...— Профессор достал из портфеля «Слово о полку Игореве», подумал. Посмотрел на студента, улыбнулся. Что-то быстро написал на обложке книги, подал студенту.— Не читайте сейчас. Дома прочитаете. Вы заметили: я суетился сейчас, как неловкий жених? — Голос у профессора и выражение лица были грустными.— После этого бывает тяжело.

Студент не нашелся, что на это сказать. Неопределенно пожал плечами.

— Вы все семеро дошли живыми?

— Все.

— Пишете сейчас друг другу?

— Нет, как-то, знаете...

— Ну, конечно, знаю. Конечно. Это все, дорогой мой, очень русские штучки. А вы еще «Слово» не хотите читать. Да ведь это самая русская, самая изумительная русская песня. «Комони ржуть за Сулою; звенить слава въ Кыевѣ; трубы трубять въ Новѣградѣ; стоять стязи въ Путивлѣ». А? — Профессор поднял кверху палец, как бы вслушиваясь в последний растаявший звук чудной песни.— Давайте зачетку.— Он проставил оценку, закрыл зачетку, вернул ее студенту. Сухо сказал: — До свиданья.

Студент вышел из аудитории. Вытер вспотевший лоб. Некоторое время стоял, глядя в пустой коридор. Зачетку держал в руке — боялся посмотреть в нее, боялся, что там стоит «хорошо» или, что еще тяжелее,— «отлично». Ему было стыдно.

«Хоть бы «удовлетворительно», и то хватит»,— думал он.

Оглянулся на дверь аудитории, быстро раскрыл зачетку... некоторое время тупо смотрел в нее. Потом еще раз оглянулся на дверь аудитории, тихо засмеялся и пошел. В зачетке стояло: «плохо».

На улице он вспомнил про книгу. Раскрыл, прочитал: «Учись, солдат. Это тоже нелегкое дело. Проф. Григорьев».

Студент оглянулся на окна института, и ему показалось, что в одном он увидел профессора.

...Профессор действительно стоял у окна. Смотрел на улицу и щелкал ногтями по стеклу. Думал.

1960



(1894—1974)

ВСТРЕЧА

Веселым и желтым кошачьим глазом сверкало в зените солнце. Ни облачка не было в блекло-голубом, словно выцветшем, небе, и желтое пламя беспрепятственно заливало землю. Но воздух был чист и удивительно легок. Тихо шелестели плотные серебристые листья тополей, выстроившихся уверенной шеренгой по берегу реки. Деловито журчала река, хлопотливо гнала куда-то седые барашки волн. Можно было представить, что не волны, а стадо новорожденных каракульских ягнят движется по руслу реки сплошной лентой. Куда? На большую ярмарку? Может быть, это ее шумом полнится и звенит воздух? Нет, это на разные голоса щебечут, чирикают, пищат птицы в ветвях деревьев, это их многоголосые хоры славят и солнце, и воздух, и реку, и все сущее под этим прекрасным и чистым небом. И желтое сияющее чудо вверху совсем не кажется птицам опасным — это не кошачий глаз горит огнем, это льется теплый, ликующий свет, несущий на землю радость и счастье бытия.

На дороге, ведущей из Теджена в Серахс, царило оживление. Натруженно гудя моторами, проносились многотонные грузовики. С приглушенным змеиным шипением стремительно скользили по серому гудрону «газики», «По-

беды» и «Волги». Оглушительно стреляли выхлопами мотоциклы. А по обочине шли пешеходы.

Они не обращали внимания на машины, разве что чуточку сторонились, когда за спиной возникал приближающийся гул мотора. А вот фигура скачущего всадника заставляла их оборачиваться и долго провожать его глазами.

Странный парадокс времени! В наш технический век мы настолько привыкли к технике, что относим машины к самым будничным, самым заурядным явлениям. Мы не удивляемся и пешеходам — это явление повседневное и как бы узаконенное. Но человек на коне — это уже необычно, это уже вызывает любопытство и наталкивает на размышления, может быть, не вполне обоснованные и четкие, но, во всяком случае, не будничные. Почему он на коне? Какая неожиданность, какое не терпящее отлагательства дело заставило человека сесть в седло? Вероятно, это очень необычное дело, иначе он воспользовался бы автомашиной, а не торопил так отчаянно взмыленного коня. Что же случилось? Ведь вроде бы никто за ним не гонится...

А всадник спешил так, словно действительно уходил от преследования или сам догонял кого-то. Гнедой жеребец летел, вытянувшись струной. Старики говорят, что лошадь очень чутка к настроению хозяина. Глядя на гнедого, можно было бы поверить в это, тем более что его крупа ни разу не коснулась плеть, стиснутая в правой руке всадника.

Обгоняющие их машины недружелюбно рявкали сигналами и проносились мимо, заносчиво уверенные в превосходстве своих десятков и сотен лошадиных сил. Что для них этот живой анахронизм, эта одна-единственная лошадиная сила! Податливый гудрон глотал топот конских копыт, хлопья желтоватой пены падали на дорогу и беззвучно таяли, оставляя чуть приметные темные следы, тут же зализываемые солнцем.

Гигантский ров с гребнистыми отвалами земли по обеим сторонам пересекал дорогу. Через него был переброшен мост — не временное, а добротное сооружение, как-то слишком уж не гармонирующее с незаконченностью рва.

На мосту всадник натянул поводья. Жеребец остановился, мотая головой и тяжело поводя боками. Он явно устал от непривычной гонки, но по тому, как нервно переступали его ноги, можно было понять, что он готов в любую секунду снова сорваться в намет, снова мчаться туда, куда очень нужно, обязательно нужно домчаться!

Прищуренные глаза всадника быстро пробежали по ложу рва. Человек нахмурился — видно, остался недоволен,

подкрутил седые усы узловатыми от времени и работы пальцами. Да, он стремился к иному, иное ожидал увидеть здесь.

Он съехал с моста и остановился в раздумье, постукивая рукоятью плети о седельную луку. По белоснежным усам, глубоким морщинам гладко выбритых щек, жилистой шее было видно, что он донашивает свой седьмой десяток. Но держался он молодцевато, словно родился и всю жизнь провел в седле.

И, возможно, именно эта молодцеватость в первую очередь привлекала внимание идущих мимо путников. Что-то очень необычное и в то же время очень знакомое чудилось людям в этой фигуре. Конечно же, старик был незнаком им. И все же многим казалось, что они где-то видели его, пусть не совсем такого, но похожего, где-то уже встречались, может быть, даже разговаривали, пили вместе зеленый чай. Казалось, назови старик свое имя — и моментально десятки рук протянутся к нему с дружеским «салам алейкум» — «мир вам».

Но старик молчал. И люди тоже молча проходили мимо с подсознательным чувством досады на неповоротливую память, с какой-то непонятной уверенностью, что обошли приветствием знакомого человека. Откуда им было знать, что видел перед собой старик.

А он, всматриваясь в бескрайнее марево степи, видел былое. Его ноздри щекотал запах пороховой гари, в ушах ухали артиллерийские залпы. Он видел, как поднимается в атаку вражеская пехота,— медленно и неотвратимо наползает ревущая черная волна. И видел, как волна спадает, как враг бежит, а за ним с гиком пластается по степи конница, и он сам, молодой, горячий, полный ярости к черному отребью, скачет на Мелекуше впереди всех, сжимая в руке обнаженный клинок. Он видел на этой ровной ладони степи неприметные холмики могил, которые разрывали шакалы, грызясь и визжа.

Теперь он хотел увидеть иное — он хотел встретить Большую воду, для которой люди приготовили вот это ложе, этот канал. Но канал пуст, воды нет. Где она?

Старик тронул коня по левому берегу канала. Это был уже не гудрон, а сплошные рытвины и ухабы, выбитые в мягком грунте бесчисленными колесами автомашин. Но всадник не смотрел на дорогу. Он был разведчиком — он смотрел вперед, и только вперед. Здесь его тоже обгоняли машины, хотя их стало значительно меньше. Каждая из них тащила за собой тяжелый хвост пыли. Гнедой фыркал,

а старик досадливо щурился и моргал, сдувал, оттопыривая нижнюю губу, пыль с глаз.

И вдруг вдали блеснуло. Он сперва даже не поверил увиденному, подумал, что просто солнце отражается в солончаке. Так не раз бывало и прежде. Сдерживая дыхание, он всмотрелся пристальнее — и неожиданно для самого себя ударил коня плетью. Гнедой вздрогнул и с рыси сорвался в галоп.

Темный, мутно-желтый язык скользил по ложу канала. Это шла «она», шла вода...

Старик спрыгнул с коня и в чем был, не сняв даже лохматого тельпека[1], кинулся в воду.

Бурля и вздуваясь, кружа водовороты, слизывая по пути песок и камешки, шла вода Амударьи, шел разведотряд Большой воды. Старик раскрыл ей навстречу объятия, и она ответила ему встречным объятием — мягким и могучим объятием жизни. Сперва воды было по пояс, потом — по грудь, потом она подступила уже к шее. Старик все стоял, пока поток не подхватил его на свою спину. Старик хлопал ладонями по воде, пропускал ее сквозь пальцы. Он вдыхал запах воды, пробовал ее на вкус. Он даже окунулся с головой, чтобы как можно полнее ощутить ее, долгожданную воду. Наверно, ни один на свете ростовщик с таким вожделением и нежностью не ласкал свое золото, как ласкал этот странный старик мутную, илистую, желтую амударьинскую воду. Без малого пятьдесят лет он ждал ее и мечтал о ней, как мечтают о самом сокровенном. И вот она пришла.

— Люди! — закричал старик, выбравшись из середины потока поближе к берегу.— Люди! Поздравляю вас!

Гнедой повел ушами, стараясь понять, что нужно хозяину, подошел поближе к каналу.

— Иди сюда, Мелекуш,— позвал его старик,— иди отведай этой сладкой воды. Слаще ее нет и не было никогда. Иди, мой Мелекуш, иди сюда...

И жеребец, словно поняв и приняв приглашение, ступил в воду по колени, понюхал, раздувая ноздри, всхрапнул и стал пить, повернув одно ухо к хозяину, другое — к берегу; там, притормаживая на малых оборотах, мурлыкала серая «Победа».

Из машины выбрался наружу человек. Разминая затекшие ноги, подошел к каналу, с любопытством приглядываясь к барахтающемуся в воде старику. Потом воскликнул удивленно:

---

[1] Тельпек — туркменский головной убор, большая папаха.

— Артык Бабалы? Ты ли это?

Старик удивился: кто это зовет его по имени? Он попытался рассмотреть человека, но мешала вода, струями стекавшая с намокшего тельпека. Артык снял его, отер ладонью лицо:

— Дурды?! — И, разбрызгивая ногами воду, бросился к берегу.— Вот так встреча!

— Поздравляю с радостью!

— Как живешь?

— Ай, молодец!

Радостные возгласы сыпались один за другим. Приятели, встретившиеся после долгой разлуки, почти не слушали друг друга. Они стояли, крепко обнявшись и покачиваясь, и те слова, что они произносили, почти не вдумываясь в их смысл, были просто естественным выражением чувств, избыток которых, казалось, некуда было девать. Дурды стал шутливо теснить Артыка к берегу. Артык поддался, и неожиданно оба они свалились в воду. Вскочили, хохоча и отплевываясь, стали плескать друг на друга — совсем как расшалившиеся дети. Мелекуш неодобрительно покосился на них. Но он был воспитанным конем: копнув несколько раз песок копытом, он отошел в сторонку и отвернулся деликатно, сделав вид, что происходящее его не касается.

— Никогда не верил в чудеса, а теперь готов поверить,— сказал Дурды, растирая ладонями круглые, налитые плечи. Он стал немного грузноват и полноват, этот парень Дурды, которого когда-то, несмотря на молодость, уважительно величали Дурды-моллой, так как он целых два года учился в медресе Бухары и знал многое, чего не знали другие. «Для нас великим делом будет установление законности вместо нынешнего произвола,— внушал он когда-то Артыку.— Надо установить одинаковые права для всех, как это собираются сделать у себя русские». Артык не верил: «А баи как же?» — «Для них то же самое, что и для нас с тобой».— «А ишаны и ходжи?» — «Для любого человека — один закон».— «Ничего не выйдет»,— тряс головой Артык, а Дурды терпеливо объяснял, что выйдет и почему именно должно выйти. Ах, Дурды, Дурды, дорогой ты мой друг, неужто столько лет мы уже прожили с тобой на свете?

— О каких чудесах говоришь? — спросил Артык.— Об этих? — Он кивнул в сторону канала, где, пенясь, все прибывала, все темнела вода.

— Я о Мелекуше,— сказал Дурды.— Никогда не видел, чтобы конь прожил пятьдесят лет и так сохранил свою стать.

— Пока я жив, Мелекуш не постареет.

— А если всерьез, он к какому поколению относится?

— Не надо считать поколений, ровесник. Время не может забрать то, что живет в нашем сердце. У меня, как и у тебя, есть своя машина, я мог бы приехать на ней. На ней быстрее можно было бы встретить воду и обогнать ее с вестью о ней. Однако я приехал сюда на Мелекуше. Ты понимаешь, почему я приехал на Мелекуше?

— Признаться, не совсем понимаю.

— Правильно, что не понимаешь. Это потому, что ты не слыхал слов Ивана...

— Ивана Тимофеевича? — быстро перебил Артыка Дурды.

— Его. Он сказал мне: «Клянусь тебе, Артык, что придет время, когда ты в тедженской пустыне напоишь своего коня водой из Амударьи». Я и захотел это сделать — напоить коня именно первой водой.

— Знаю я эти слова,— сказал Дурды.

— Откуда ты можешь знать? — удивился Артык.— Тебя не было рядом, когда Иван мне говорил это.

— Тогда — не было. Зато потом ты мне двадцать раз эти слова повторял. И эти, и другие, разные слова. Думаешь не запомнил я? Не пятьдесят, сто пятьдесят лет прошло бы — все равно помнил бы!

— Да? — сказал Артык без особого, однако, удивления.— Я не знаю... По-твоему — пятьдесят лет, а по мне — вчера все было. Стояли мы с Иваном на берегу Амударьи. Я ее впервые тогда увидел. Стояли и говорили...

«Не будь безжалостной, река! — воскликнул Артык, пораженный таким обилием воды.— Обрати свой лик к нашим пустыням! С радостью тысячи дехкан встретят тебя!»

Чернышов сказал:

«Чтобы привести воды Амударьи в степи Теджена, надо рыть каналы, сооружать плотины».

«У кого хватит на это сил?» — спросил Артык.

«Советская власть это сделает»,— сказал Чернышов.

«Легко сказать!» — возразил Артык.

«Да, работа огромная,— согласился Чернышов.— Но надо потрудиться. Ты, я знаю, не боишься труда».

«Я?! — воскликнул Артык.— Да если бы я знал, что своим трудом могу повернуть Амударью в наши пески, всю жизнь лопаты не выпускал бы из рук! Но много ли сделаешь лопатой?»

«Одной — мало,— кивнул Чернышов.— Десятком тысяч — много. А кроме того, людям на помощь придет

техника, придут машины. Мы заставим Амударью течь в безводные степи, мы сделаем это, Артык!»

«Сбылись бы слова твои!» — от всего сердца пожелал Артык.

Нарушив затянувшееся молчание, Артык сказал:

— Святым человеком был Иван, на пятьдесят лет вперед видал.

— Большевиком он был,— поправил Дурды,— коммунистом был.

— Я и говорю, что святым,— кивнул Артык.— Где Теджен, а где Амударья? Кто мог предвидеть, что они соединятся? Только пророк мог!

Дурды рассмеялся, похлопал друга по сухой, костистой спине.

— Прочитал бы тебе Иван Тимофеевич лекцию по политграмоте за такое шатание на социалистической платформе!

Это были давным-давно забытые выражения, но они ласкали слух, как журчание воды в канале.

— Пусть,— согласился Артык.— Любое слово Ивана я принял бы в обе ладони, чтобы прижать их к сердцу...— По лицу его скользнула тень, и он вздохнул, отгоняя грустные воспоминания, спросил Дурды: — Ты так и не сказал, почему появился здесь.

— Разве ты единственный тедженец, который ждал воду? — вопросом ответил Дурды, надевая уже просохшие брюки.

— А ты все еще себя тедженцем считаешь? — усмехнулся Артык.— Ты уже давно ашхабадец.

— Значит, отказываешь в тедженской прописке?

— Да нет. Надумаешь вернуться — похлопочу в городском Совете по старой дружбе, пропишем, так уж и быть.

— Спасибо,— серьезно сказал Дурды, но не выдержал тона и засмеялся.— Я ведь заезжал к тебе, знаешь? Проездом в Мары повидать хотел, но сказали, что ты где-то в бегах. А в Мары я попал как раз тогда, когда вскрывали вторую перемычку. Видел бы ты, сколько там народу собралось! Тысячи! Миллионы! Эх, и праздник же там люди устроили! Сами устроили, никто их не организовывал.

— Когда сами, оно всегда душевней получается.— Артык похлопал тельпеком о колено, стряхивая песок с крутых бараньих завитушек папахи.— На такую святую воду грех не радоваться... Между прочим, заговорились мы с тобой, а ведь мне спешить надо — порадовать тедженцев, что вода идет.

— Садись в машину,— предложил Дурды.— Быстрее доедем.

Они встретились глазами. Потом Артык перевел взгляд на Мелекуша и медленно покачал головой:

— Нет.

— Я же все равно тебя обгоню и раньше тебя весть тедженцам привезу!

— Мелекуша не обгонял никто,— с суровой гордостью сказал Артык.

— Даже машина? — Дурды сделал круглые глаза.

— На ипподромах машин нет.

— Ну что ж, если хочешь, давай посостязаемся, кто быстрее — твой Мелекуш или моя «Победа». Зря она, что ли, «Победой» называется? Только учти, друг, отставшему награды не видать.

— Не знаю, какая уж там награда, но отставших не будет,— пообещал Артык, помолчал и повторил: — Отставших не будет!

«Ему только буденовки не хватает да сабли на богу,— любуясь другом, подумал Дурды.— Прямо тебе живой красногвардеец двадцатых годов! Как был горячая голова, таким и остался».

Он вырулил на дорогу.

Артык уже сидел в седле, подобранный и готовый к скачке.

— Давай! — крикнул Дурды, нажимая педаль газа. Облако рыжей пыли поднялось над дорогой.

Мелекуш снова проникся нетерпением хозяина и все быстрее выбрасывал тонкие ноги, все норовил обойти машины сбоку. Он, конечно, не знал, что Дурды никогда не рискнул бы обидеть Артыка, как не знал и того, что стальное сердце машины стучит вполсилы. Но он-то старался изо всех сил — это был конь благородных кровей.

1965



(1925—1981)

БЫЛ ЛЕТНИЙ ПОЛДЕНЬ

На семьдесят четвертом году жизни Ольга Робертовна решила съездить на родину. Много лет собиралась она это сделать, но ее собственная жизнь и жизнь века складывались таким образом, что сделать это никак не удавалось. Вышло так, что, с тех пор как Ольга Робертовна уехала из родного города в 1906 году, она больше там не была. Родной язык она уже немного позабыла, он был ей не нужен: муж и дети говорили по-русски, и сама она за пятьдесят два года жизни в России превратилась в русскую, выдавали ее лишь отчество «Робертовна» и легкий акцент, от которого прибалтийцы не могут избавиться до самой смерти.

Летним вечером, в июне, Ольга Робертовна приехала на вокзал, провожали ее невестка и внучка. Внучка была беременна на шестом месяце, носила тяжело, лицо ее постарело, сделалось худым, некрасивым. Ольга Робертовна беспокоилась за нее и была против того, чтобы внучка приезжала с дачи на вокзал. Вечер был душный, за Москвой громыхала гроза. Ольга Робертовна любила внучку, а к невестке относилась прохладно, в глубине души считала ее недалекой, мещанкой и была уверена, что сын не прожил бы с ней и пяти лет. Сын Ольги Робертовны покончил с собой в три-

дцать девятом году. Были у Ольги Робертовны три дочери: одна умерла в раннем детстве, две другие выросли, вышли замуж, нарожали детей, но жили от Ольги Робертовны отдельно. Ольга Робертовна не могла жить с ними: старшая дочь поселилась в Баку, там было слишком жарко, а другая жила в Москве, но в большой семье мужа, вместе с его родителями.

Невестка, рыхлая дама с красным пористым лицом, в пенсне, однообразно повторяла, чтобы Ольга Робертовна остерегалась резких перемен погоды, которые могут поднять давление. «По вечерам не выходите из дома, я вас умоляю!» У нее был такой вид, словно она очень тревожится, отпуская Ольгу Робертовну одну в путешествие. На самом-то деле она, разумеется, радовалась тому, что Ольга Робертовна уезжает хоть ненадолго, хоть на несколько дней, и муж невестки тоже радовался. Но Ольгу Робертовну это не трогало. Она любила внучку, и внучка любила ее, она это знала, хотя внучка не говорила никаких слов, выражавших заботу, а только просила купить фарфоровые банки для крупы с надписями «рис», «пшено», «манная». Внучка видела такие банки у своей подруги, они были куплены как раз в том городе, куда ехала Ольга Робертовна.

Когда поезд тронулся, невестка и внучка шли некоторое время рядом с окном и махали Ольге Робертовне, им пришлось идти быстрым шагом. Ольга Робертовна вдруг испугалась за внучку, жестами показывала им, чтоб они остановились, но они не понимали, и дура невестка даже слегка побежала, махая изо всех сил. Впрочем, с ее стороны все это было искренне. Наконец поезд тихо рванул, они скрылись.

Были сумерки, в купе зажегся свет. Ольга Робертовна долго сидела у окна и думала о невестке, о своих дочерях, о молодом муже внучки, который поселился в их квартире недавно и своим поведением уже несколько настораживал Ольгу Робертовну: он казался ей недостаточно скромным и себе на уме. Вполне могло быть, что он женился на внучке только для того, чтобы получить московскую жилплощадь. Он был из Ростова, жил в общежитии. Ольге Робертовне показалось, что он разговаривает с нею малопочтительно, и она резко приструнила его, когда он вздумал назвать ее «бабушкой».

Поезд вошел в полосу грозы. По крыше стучал ливень, свет в купе померк. Лежа под одеялом в темном купе, озарявшемся иногда блеском далекой молнии, Ольга Робертовна задремала. Ей приснилось вдруг давнее: салон-вагон,

потрескивающий красным деревом, с бронзовыми бра, с запахами кожи и махорки, топот бегущих по крыше, стрельба на каждой станции — лето девятнадцатого года, поездка на Южный фронт. Сергей Иванович был во сне не такой, каким был летом девятнадцатого, а молодым, совсем молодым, каким когда-то давно, когда они встретились на мызе пасмурным летом; их познакомила Эльза, он носил очки в тонкой стальной оправе и золотисто-рыжую бородку, как у немца. Они сели на велосипеды и поехали по узкой тропинке к морю, был ветер, полы его светлого полотняного пиджака раздувало, а она, как всегда, когда ехала на велосипеде, боялась остановиться. Но он был рядом, он ехал в двух шагах от нее, и это ее успокаивало. Вдруг она подумала, что этого не может быть: ведь он умер! Он умер давно, он не мог ехать рядом с ней на велосипеде.

Среди ночи Ольга Робертовна проснулась. Два ее попутчика храпели, наверху что-то методически звякало: какая-нибудь пряжка или ключик от чемодана раскачивался от хода поезда. Ольга Робертовна вдруг подумала, что, наверно, она сделала глупость, согласившись на эту поездку. Если бы еще лет двадцать раньше, а сейчас слишком поздно: она стара, жизнь кончается, а жизнь ее близких кончилась давно. Кого она там встретит? У старух не бывает детства. Старухи вспоминают детство своих детей. Уж очень ее донимали приглашениями, слали письма, телеграммы, особенно старался Никульшин. Он был очень любезный, этот Никульшин, но встречи с ним были для Ольги Робертовны тягостны. «Господи, зачем я согласилась? — думала она с тоской.— Говорят, там тяжелый климат, без конца меняется давление...» Она не замечала, что думает о своей родине как о чужой стране.

Утро было ясное, светило солнце, город приближался. Ольга Робертовна с волнением смотрела на маленькие дома в зелени, черепичные кровли, людей на велосипедах, фабричные трубы, заборы, старые, из потемневшего кирпича стены со следами полустертых вывесок.

На перроне Ольгу Робертовну встречали Никульшин, пионеры с цветами, молодой человек — сотрудник музея — и три седые женщины, которых Никульшин назвал «наши ветеранки». Седые женщины растроганно сморкались, вытирали платком глаза и целовали Ольгу Робертовну. Она не ожидала ничего подобного. Ее фотографировали. Пионеры запели песню на родном языке. Ольга Робертовна напря-

женно вслушивалась, стараясь понять каждое слово и кивая в знак того, что понимает. Но два-три слова она все-таки не поняла, песня была новая, дети пели не очень внятно, а может быть, за пятьдесят лет немного изменилось произношение. Потом Никульшин посадил Ольгу Робертовну в свой маленький автомобиль и повез в гостиницу.

Она смотрела из окна автомобиля на улицы, их старинные повороты, излуки, изгибы, исчезающие дома, раскрытые и темные в глубине парадные двери, и она знала, что все это она когда-то видела и теперь должна вспомнить. С тихим и все растущим волнением она заставляла себя вспоминать, но почему-то ничего не вспоминалось. «Я же видела когда-то этот двухэтажный дом с башенкой,— убеждала она себя,— и эту площадь с фонтанчиком, и этот облезлый многоэтажный дом, где оконные переплеты напоминают кресты, и даже этих двух старичков — счастливые, дожили вместе до старости! — сидящих на скамейке возле парадного.

Никульшин спросил:

— Ну, как родные пенаты? Узнаете?

— По-моему, вы знаете... По-моему, ничего не узнаю! — Ольга Робертовна даже засмеялась.— Склероз.

— А! — сказал Никульшин и тоже засмеялся.— Ничего, это сначала. А потом вспомните. Я ведь сам из Грозного и вот после окончания института приехал к родным пенатам, и знаете, что характерно...

Он был довольно молодой, этот Никульшин, лет сорока пяти, но уже полный, седоватый, с висячими багряненькими щечками. Ольга Робертовна еще в Москве заметила, что он глуп, озабочен своими личными делами, но она все это прощала ему: ведь Никульшин был первый человек, который после стольких лет молчания сказал добрые слова о Сергее Ивановиче и теперь писал брошюру о нем.

Она знала, что и это приглашение ее в родной город он выхлопотал — с большим трудом, через Министерство культуры,— имея в виду какие-то свои личные, ерундовые, коммерческие цели, и все равно она была ему благодарна.

Из гостиницы, где Ольга Робертовна немного отдохнула и привела себя в порядок, Никульшин повез ее к себе домой обедать. Ей не очень хотелось сразу идти в гости, но отказаться было неловко. Ей хотелось побыть одной и пройтись по улицам. Она начала вспоминать их, не какую-то одну или две, а все вместе. Что-то забытое поднималось в душе, что-то такое, о чем она даже не подозревала, что это еще есть в ней. И возникало это от воздуха

улиц, от его запаха: она распахнула окно в своем номере, увидела очень близко старые, потемневшие с краев черепичины в известковых пятнах голубиного помета, дымчатое небо, и вдохнула сыроватый воздух, и вдруг вспомнила его.

Но весь первый день Ольге Робертовне не удалось побыть на улице; она провела его до вечера в гостях у Никульшина. Долго обедали, было много людей, какие-то школьные учителя, их жены, молодежь, потом привели одного беленького красноглазого старичка, утверждавшего, что он знал Сергея Ивановича по вологодской ссылке и встречался с ним во 2-й армии, в двадцатом году. Ольга Робертовна не помнила этого старичка, и фамилия была ей незнакома. Она не любила людей, которые знали Сергея Ивановича, но о которых она сама ничего не знала: ей чудилась недостоверность, фальшь, претензия на что-то принадлежавшее только ей. И она была суха с красноглазым старичком.

Все гости к вечеру ушли, но Никульшин попросил Ольгу Робертовну остаться и послушать первую главу брошюры о Сергее Ивановиче. Глава рассказывала о возвращении Сергея Ивановича из Петербургского университета в Двинск в 1902 году и называлась «К родным пенатам». Никульшин писал очень высокопарно, как пишут в газетах, и Ольге Робертовне это не нравилось, но она промолчала, зная о том, что о революционерах принято писать высокопарно и что важно не то, каким языком будет брошюра написана, а то, что она вообще появится, с портретом, после стольких лет молчания. Но жена Никульшина, полная маленькая брюнетка, которая во время чтения сидела здесь же в комнате и чистила клубнику, вдруг стала спорить с Никульшиным из-за какой-то фразы. Никульшин возражал с неожиданной резкостью. Спор из-за фразы внезапно перешел в ссору, нелепую, мелкую и настолько привычную, что ее не могло сдержать присутствие чужого человека. Жена Никульшина схватила таз с клубникой и убежала в другую комнату. Никульшин пошел за ней. Все это было неприятно и знакомо: Ольга Робертовна наблюдала много таких ссор между своей невесткой и ее нынешним мужем; нечто похожее, в зародыше, уже было однажды между внучкой и этим молодцом из Ростова. Эти нелепые, мелкие ссоры происходят, наверное, оттого, что люди нелепо, мелко живут. Ольга Робертовна спокойно пошла в соседнюю комнату, где вполголоса бранились супруги, и примирила их. Они примирились легко. Им было неловко.

Весь этот длинный день, волнения, разговоры утомили Ольгу Робертовну, и в гостинице она почувствовала сердцебиение и боль в голове. Она сразу легла в постель, приняв две таблетки дибазола. Ночью проснулась в испуге. Было сильное сердцебиение и трудно дышать. Ольга Робертовна нажала на звонок горничной, но никто не пришел — звонок не работал. Ольга Робертовна зажгла свет, приняла сорок капель валокордина, открыла окно и села возле окна в кресло.

Был четвертый час утра. Белая ночь гасла. Светлое небо казалось пустым, бесплотным, в нем не было ни облаков, ни сини, ни звезд,— одна светлота. Дома на противоположной стороне улицы верхушками выплывали из белого тумана, а внизу туман густел, скрывая улицу. Ольга Робертовна толкнула раму, за окном были сырые черепицы, дома с темными окнами, спящие голуби, ночь. Кто-то шел по тротуару, стуча палкой. Сердцебиение понемногу утихло, и голова стала ясней. Ольга Робертовна увидела такую же ночь в этом городе, когда ей было восемнадцать лет, а Сергею Ивановичу двадцать один; они возвращались с вечеринки, он что-то нес в портфеле, что нужно было передать кому-то, кто уезжал в Питер. Они познакомились недавно, между ними еще ничего не было. Тогда была первая ночь, белая ночь, такая же, как эта. Он был высокий, выше ее на голову, ходил в студенческой фуражке, хотя уже два года не учился в университете. Она плохо говорила по-русски, он учил ее, и она смеялась, очень много смеялась в эту ночь, потому что он говорил смешное и они выпили вина на вечеринке. Вот так же вставала улица из тумана, только близко у моря, и пахло морем; каменная лестница вела на второй этаж, в комнате было полукруглое окно, и они оба знали, что делают плохо, потому что тот человек, уезжавший в Питер, ждал их, но ей было восемнадцать лет, а ему двадцать один. Он снимал комнату у одной старенькой немки; немецкие изречения готическим шрифтом на деревянных дощечках были разбросаны на стенах, на столе. На полке, прикрепленной к спинке дивана, стояли в ряд семь маленьких слонов из янтаря, они прыгали, когда полка тряслась, и падали один за другим. Она смотрела, как они сползают с полки и падают. Этого никто никогда не узнал, не узнает, это никому не нужно знать, но она запомнила на всю жизнь, как падали маленькие слоны. Они упали все семь, сначала на него, потом на пол, она боялась, что они разобьются, но ни один не разбился. Потом у них долго существовало такое выражение: «Чтоб падали слоны». Никто не понимал,

что это значит. Иногда он говорил, когда приходил в гости, за обедом: «И пусть падают слоны!» — и подмигивал ей. Гости думали, что за тостом кроется какой-то значительный смысл, с удовольствием чокались с ним и повторяли: «Да, да, пусть падают слоны!», не подозревая того, что он хулиганит. Он был большой озорник. Никто не знал, какой он озорник. За обедом он всегда выпивал одну-две рюмки настойки. Разве кто-нибудь может все это описать так, как было? Туман рассеялся, небо еще посветлело, и стали видны нижние этажи домов. Уже можно было прочитать вывеску над темным провалом ворот: «Приемный пункт».

На другой день Никульшин повел Ольгу Робертовну в музей, потом, после обеда,— в библиотеку, и все следующие четыре дня Ольга Робертовна непрерывно где-то выступала, с кем-то встречалась, рассказывала о Сергее Ивановиче и терпеливо слушала длинную, высокопарную лекцию Никульшина о 1905 годе. Потом Никульшин привез ее в давно не крашенный, старинный дом на набережной — из окна автомобиля она увидела гладь воды, парусные лодки, такие же, как были когда-то, солнце дробно сверкало в том месте, где купальщики прыгали с лодок, и вдруг вспомнился двоюродный брат Ян, прочно забытый уже пятьдесят лет; он возник от парусных лодок, он был бесстрашный, мальчишкой ходил на яхте в Германию, потом уехал в Америку, его мать очень плакала, темно-рыжие волосы с пробором сбоку и медное, наглое, доброе, с белыми ресницами мальчишеское лицо,— поднялись с Никульшиным по лестнице на второй этаж, прошли по коридору, и из маленького окошка Ольге Робертовне дали пятьдесят рублей. Никульшин тоже получил какие-то деньги. Ольга Робертовна была смущена, в первую минуту даже хотела отказаться от денег, но подумала о том, что отказываться глупо, что это так же принято, как все остальное, и своим отказом она может обидеть Никульшина.

В тот же день Ольга Робертовна купила в комиссионном магазине очень красивый шарф для внучки. Он стоил как раз пятьдесят рублей.

Ольга Робертовна старалась разыскать — Никульшин помогал ей — нескольких людей, которых она знала в юности. Их было немного. Она уехала отсюда слишком молодой. Ни одного человека не удалось найти: одни умерли, другие кинулись в Россию в годы революции и след их пропал, одна семья погибла во время последней войны в гетто.

В пятницу Ольга Робертовна поехала на киностудию, где обсуждался киносценарий Никульшина на революционную тему (одним из действующих лиц, правда в эпизоде, был выведен Сергей Иванович, и потому присутствие Ольги Робертовны было очень важно), а в субботу решила ехать домой. Ночами она плохо спала: думала о внучке, и думала как-то тягостно, беспокойно. Сценарий на революционную тему почему-то не приняли, и Никульшин так расстроился, что слег с сердцем и в субботу не смог Ольгу Робертовну проводить. Она попрощалась с ним по телефону. Поезд уходил вечером. День был совершенно пустой, никто никуда не приглашал Ольгу Робертовну, все покупки она сделала, в том числе купила фарфоровые банки с надписями «рис», «пшено», «манная», и она села в автобус и поехала за город на старую фабрику, где работала когда-то работницей.

Автобус долго шуршал по шоссе, моросил дождь, яблони в садах стояли темные, поникшие, и вокруг них круговым, едва заметным облаком реял дождевой пар.

Кирпичные ворота фабрики были те же, что пятьдесят лет назад. Ольга Робертовна вошла во двор, справа увидела двухэтажное длинное здание с широкими окнами — его раньше не было, а слева, за рядом лип — деревья стали громадными, разрослись необыкновенно — увидела забор, выкрашенный темно-зеленой краской, и за ним железную крышу, один вид которой как будто толкнул ее в сердце. Эта железная крыша внезапно выпрыгнула из памяти, как двоюродный брат Ян. Под крышей должен был быть барак, деревянный барак, в котором Ольга Робертовна молоденькой девушкой жила почти год. Она напрочь забыла этот барак. Никогда не вспоминала о нем.

Ольга Робертовна быстро пересекла двор, прошла через ворота в темно-зеленом заборе и увидела барак. Он был оштукатурен и покрашен охрой. На крыше стояли телевизионные антенны. Но это был тот самый барак, в одной из комнат которого жила Ольга Робертовна с двумя подружками.

Через двор, шлепая ногами в галошах, шла маленькая сгорбленная старушка. Она несла сумку с двумя бутылками молока и булочкой. На голове старушки и ее согнутой спине лежала как защита от дождя голубая хлорвиниловая клеенка.

Ольга Робертовна увидела старушку и остановилась. Потом пошла ей навстречу.

— Марта! — сказала Ольга Робертовна, и старушка подняла древнее лицо в глиняных складках, с большим се-

рым носом и голубенькими лунками вместо глаз. У Ольги Робертовны замерло сердце.

— Хельга, это ты? Я тебя узнала.— Старушка улыбнулась. Голубенькие лунки наполнились водой.— Боже, ты совсем старая, Хельга! Как ты поживаешь?

— Очень хорошо,— сказала Ольга Робертовна, задыхаясь.— А ты?

— Почему ты не вернулась, Хельга? Ты обещала вернуться. Я ждала тебя. Ты не прислала ни одного письма!

Старушка, перестав улыбаться, склонила голову набок. Клеенка начала сползать с ее плеч, и Ольга Робертовна обняла старушкину сухонькую, навсегда потерявшую способность разгибаться спину и осторожно взяла из ее рук сумку.

— Я тебе помогу,— сказала Ольга Робертовна едва слышно, потому что силы еще не вернулись к ней.— Ты живешь там?

— Да, да,— сказала старушка.— Разве ты забыла?

Они медленно двинулись к бараку по дорожке, мощенной кирпичом и огороженной низкой деревянной оградой. Дождь все еще моросил. Навстречу бежали люди. Несколько парней, сокращая путь, перепрыгивали через оградку и бежали по траве. Две старушки шли молча. Ольга Робертовна поддерживала Марту под руку и видела, как они прощались здесь, во дворе; тогда не было асфальта, была пыльная земля, летний полдень, Сергей Иванович ждал на извозчике. Марта с белыми-белыми вьющимися волосами плакала; обещались писать, никогда не писали, все оборвалось навсегда, началась Россия, ссылки, вода к утру замерзала в ведре, дети росли здоровые, пароход по Енисею бежал ярким июньским днем, и шла война, и потом был Питер, квартира на Лиговке, толпы людей во дворе Таврического, орущие всю ночь «ура», он был ранен в июле, чуть не умер от тифа, потом фронт был три года, вагоны, митинги, пайки хлеба, Москва, «Альпийская роза», потом Гнездниковский, голод, театры, работа в книжной экспедиции, дети росли; в октябре поехали однажды в Крым, без детей, поездом до Симферополя, там в эвакопункте Сергею Ивановичу дали машину «форд» с карбидовыми фонарями, ночью машина то и дело ломалась в дороге, и море лежало внизу жемчужно-сероватого цвета; они сидели вдвоем на обрыве долго, пока шофер бегал куда-то ремонтировать тягу, а чекист искал чемодан, так и не нашел, и лучше этого рассвета над морем не было ничего никогда в ее жизни; потом исчезло много зим, лет, дней, июльских вечеров на террасе с открытыми окнами, куда втекал снизу, с клумб, слад-

кий дух табаков, мешаясь с разговорами вполголоса, чтобы дети не слышали. Он умер внезапно, в собственной квартире на Воздвиженке, а она узнала о том, что он умер, через три года на Дальнем Востоке; предки дали ей медленную балтийскую кровь, ее руки не боялись труда, стали корявыми, как у батрачки, она работала, вынесла все, вернулась, сына не было, дочери смотрели чужими глазами, говорили «вы», она вынесла и это, вынесла всю долгую дорогу, которая началась здесь, на пыльном дворе, жарком от прямого солнца, замусоренном обрывками пряжи, и вот она пересекла этот двор.

Она стояла перед крыльцом барака. Марта протягивала руку, чтобы взять у нее сумку.

— Почему ж ты не написала письма? — спросила Марта, глядя на Ольгу Робертовну почти с отчаяньем.

— Извини меня,— сказала Ольга Робертовна. Ей было жалко маленькую старушку, и она наклонилась и поцеловала ее в висок.— Извини меня, Марта. Так получилось. Я не виновата, честное слово.

— Ну ладно, хорошо, иди на кухню, Хельга, и поставь чайник. Ты помнишь, где кухня?

Ольга Робертовна поднялась по ступеням крыльца, нажала на дощатую дверь. Она распахнулась. Коридор был темен и не имел конца.

А в понедельник утром Ольга Робертовна стояла в очереди за молоком в «Гастрономе» и рассказывала одной знакомой женщине из соседнего подъезда, какая погода в Прибалтике: все пять дней почти сплошь дожди.

1966

Валентин Распутин

(р. 1937)

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Все-таки он вернулся. Он был в списках погибших ровно двадцать лет — с последних зимних дней сорок третьего до первых весенних дней шестьдесят третьего. И все-таки он вернулся.

А они тоже были трудные — эти первые весенние дни шестьдесят третьего года. Но это были другие, счастливые трудности. И тоже шли и шли без конца машины, но это были машины с бетоном. И тоже гремели взрывы, но это взрывали скалу. И тоже везли людей на передовую, но это первая, вторая и третья смены ехали в котлован. И тоже бросались ребята в атаку, но это ребята с отбойными молотками, с вибраторами и лопатами уходили на смену.

Бригада Павла Матвиенко вела траншею от компрессорной до Енисея. Ребята устали. Был март, была гроза. Они разделились по двое: один бросал землю на подмостки, другой выбрасывал ее наверх. И только Аслан Диасамидзе был один. Он то поднимался на подмостки, то снова спускался вниз, он давно уже сбросил с себя бушлат и весь перепачкался в этой липкой мартовской грязи, но в конце концов не выдержал и подошел к бригадиру.

— Больше не могу,— сказал он, тяжело дыша.— Дай мне кого-нибудь на помощь, бригадир.

— Некого.— Бригадир оглядел ребят и снова повернулся к Аслану.— Видишь, совсем некого. Возьми когонибудь сам. Выбери самого надежного. Например, Александра Матросова. Он не подведет.

— Кого? — не поверил Аслан.

— Александра Матросова.

Видно, он был рядом. Он сразу же подошел и взял лопату. Никто ему не удивился — это было накануне перекрытия, в трудные мартовские дни шестьдесят третьего года, трудные своей счастливой трудностью. И только потом, когда все уже было кончено и можно было стереть пот с лица и закурить, когда к ним подошли ребята в бушлатах, все до единого демобилизованные солдаты, кто-то из них полусказал-полуспросил:

— А говорили, что ты погиб...

Он промолчал. Что он мог сказать им, упавший в последние зимние дни сорок третьего года, когда рвались снаряды, когда автоматчики бросались в атаку и падали, когда он сам, выбиваясь из сил, все полз и полз по февральскому снегу со следами пуль и никак, казалось, не мог доползти? Что он мог сказать им? И они не стали больше ни о чем спрашивать, они стояли вокруг него, и молчали, и думали — каждому из них было о чем подумать при этой встрече.

И только позднее, в октябрьские дни шестьдесят четвертого года, он сказал на комсомольском собрании:

— Я никак не мог не прийти сюда, ребята. Не мог я остаться там, на последнем зимнем снегу сорок третьего года, потому что тут снова шел штурм. Я долго шел на взрывы, я знал, что взрывы — это там, где трудно, и вдруг услышал, как кто-то зовет меня. И вот...

От волнения он сбился и умолк, а за окном бушевала метель и шел снег — первый осенний снег шестьдесят четвертого года. И никто не оглянулся на метель, пока он молчал, никто ничего не сказал. Они привыкли к тому, что он молчит и работает, работает и молчит, а вот теперь впервые он стал рассказывать о себе.

(Могут сказать, что это говорил не Матросов, что за Матросова все это говорил на комсомольском собрании Ахмед Кинзябаев. Не верьте. Это выступал он сам. Все, кто был там, на собрании, могут подтвердить, что это выступал он сам.)

Но это было уже позже, а тогда, накануне перекрытия, в первые весенние дни шестьдесят третьего года, они долго стояли вместе — Матросов и недавно демобилизованные солдаты — и думали. Каждому из них было о чем по-

думать. Потом Павел Матвиенко, их первый бригадир, сказал:

— Будешь работать с нами.

Они пошли в контору, и там начальник управления правого берега Александр Федорович Сычев подписал приказ о зачислении Матросова в бригаду...

С тех пор вот уже много лет каждый день без сна и без отдыха Матросов работает во всех трех сменах. Он много зарабатывает, но все свои деньги переводит в фонд мира. Он хорошо знает, что такое война, и он против того, чтобы люди падали на последний февральский снег и первую мартовскую грязь. Он за то, чтобы люди строили новые электростанции и новые города.

И люди приходят — сотни и тысячи людей каждый день становятся рядом, а под ними, как зверь в клетке, бьется Енисей, но они поднимают стройку все выше, делают ее все громче, а потом, отстояв смену, полные усталости, уходят спать. А на их место приходят сотни и тысячи — и гремят взрывы, идут машины со скалой, погружаются в бетон вибраторы, вонзаются в скалу отбойные молотки, плавают стрелы подъемных кранов.

А потом приходит еще один человек и становится 101-м и 1001-м.

...Так получилось, что в автобусе они ехали вместе. Ее звали Клавой Чугайновой, а он сидел, отвернувшись к окну, и все молчал.

На последней остановке она посмотрела вправо, влево, вперед и назад. Он понял, что она здесь впервые и ей некуда идти.

— Это Дивногорск? — спросила она у него.

— Дивногорск.

Они помолчали.

— Знакомые есть? — спросил потом он.

— Нет, никого.

— Откуда ты?

— Из-под Бреста.

— Из-под Бреста...— задумчиво повторил он.— Значит, ночевать негде?

— Негде.

— Пойдем,— сказал он.

Она шла рядом с ним в темноте, едва поспевая за ним, а он сворачивал с улицы на улицу и все торопился и больше ни о чем не спрашивал.

Потом они остановились.

— Это общежитие,— сказал он.— Тут живут хорошие девчата. Можно остановиться у них.

Через несколько дней она сидела на скамье автобусной остановки и плакала. А он торопился на автобус. Но он увидел ее, подошел и поднял ее голову.

— Ты плачешь? — удивленно спросил он.

Она закивала: да-да, плачу.

— В чем дело?

— Вот,— она всхлипнула,— говорят, что в котловане нет работы, и говорят, что работа есть только в какой-то ЖКК.

Он улыбнулся.

Автобус ушел.

— Приходи завтра в бригаду Матвиенко,— сказал он.— Это на правом берегу, там спросишь. Я поговорю с ним. Плакать не надо.

Она снова закивала: да-да, не надо, и тоже улыбнулась.

Подошел автобус.

На следующий день они встретились в бригаде.

Это был Александр Матросов.

(Могут сказать, что это вовсе не он, а какой-нибудь другой, очень похожий парень, каких в Дивногорске много. Не верьте. Это был он. Это был Матросов.)

Потом они сели отдохнуть, и Ахмед Кинзябаев, один из тех, кто принимал Матросова в бригаду в первые весенние дни шестьдесят третьего года, вдруг сказал:

— Нас было четверо, мать пятая. Отец ушел и не пришел, на него хватило маленького кусочка свинца, чтобы его никогда не было. Ты сам знаешь, как они тогда падали. А нам остались только фотографии.

Матросов молчит. Он смотрит, как бадья с бетоном повисает над блоком. Потом бадья опускается вниз и со скрежетом ложится на землю.

— И вот мы выросли,— продолжает Ахмед.— Без них выросли. И без них строим вот такие штуки.— Он показывает рукой в сторону блоков и кранов.— И у нас получается. Без них живем. И тоже получается. Это хорошо, конечно, что получается, но как же так — без них?

— Нет,— перебивает его Матросов,— не без них. Я здесь не один. Нас здесь много. Мы все здесь. Одни здесь, другие в другом месте. Никто не погиб навсегда. А без нас, быть может, не получилось бы или получилось, но хуже, не так. Мы ведь хорошие работники, мы там дни и ночи мечтали о стройках, а потом поднимались и шли к вам.

— И мы об этом не знаем? — спрашивает Ахмед.

— Наверное, знаете. Вот и ты знаешь, и другие знают. Только об этом всегда очень трудно говорить.

Они поднимаются. Бадья с бетоном повисает над блоком, и они идут ей навстречу.

(Могут сказать, что такого разговора не было и не могло быть. Неправда. Он был. Можно спросить об этом у Ахмеда Кинзябаева. Он подтвердит.)

И когда один из ребят бросил на стол свой комсомольский билет: мол, вот вам все взносы сразу, считайте да пересчитывайте, если хотите, и когда застыли ребята, а кто-то из девчонок испуганно ойкнул, вдруг поднялся Александр Матросов.

— Ах ты...

...И рванулся, достал откуда-то из-под бушлата свой комсомольский билет.

— Вот, смотри, смотри, чем мы взносы платили, а ты...

И ребята увидели: в том месте, где делаются отметки об уплате членских взносов, было записано: «Лег на огневую точку противника и заглушил ее, проявил геройство».

Это там, на последнем февральском снегу сорок третьего года, капитан Буграчев наклонился над упавшим Матросовым, достал у него из кармана комсомольский билет и принял самый драгоценный взнос, который может сделать человек.

Матросов спрятал билет и вывел парня на улицу.

Неизвестно, о чем у них был там разговор, но вскоре после этого тот подошел к комсоргу и, пряча глаза, сказал:

— Где мой билет, надо бы взносы уплатить.

(Могут сказать, что это был вовсе не Матросов, что не мог он, погибший, достать свой комсомольский билет. Неправда. Это был он. Можно спросить об этом у ребят. Они подтвердят.)

Рано утром Александр Матросов выходит из котлована и смотрит, как сплошной вереницей идут автобусы — это едет первая смена, идут десятки автобусов — это все едет первая смена, а потом ребята спускаются вниз и надевают каски, и вместе с ними спускается вниз и надевает каску Александр Матросов.

Так начинается каждый новый день. Так начинается сегодняшний день.

1966



(р. 1932)

ГОГОЛЕВ

— Соль есть?

Я только продрал глаза и почти ничего не соображал, спускаясь к реке, чтобы умыться.

— Иди к нам, ухой накормим!

Чертовщина какая-то. Разбудили да еще и фамильярничают...

Вчера летняя ночь настигла меня в дороге. Я решил не ходить в деревню, заночевать здесь, над рекой, на этом красивом бугре. Кособокий сарай, наполовину заполненный нынешним сеном, вполне мог соперничать с гостиницей районных масштабов. Отсутствие буфета с лихвой окупалось тишиною и чистым воздухом. Я вспомнил, как ночью с некоторой опаской приближался к сараю. Боялся я отнюдь не пьяных бродяг и не змей, которые водились в здешних местах. Гадюки нередко забираются на ночлег в эти сухие, прогретые солнцем сараи, поэтому, прежде чем занять даровую гостиницу, я постучал камнем по стене. Днем змеи не переносят стука и уползают. А как они поведут себя ночью?

Смешно говорить, но я боялся больше не настенных змей, а настенных... надписей. К этому виду графомании с недавних пор я почему-то испытываю неодолимое от-

вращение. В самом деле, кто не знает подобного словотворчества? Кажется, еще Пушкин, правда с подобающим гению добродушием, очень точно определил это явление как «незрелые плоды народного ума».

Дощатые будки на нынешних автобусных остановках и многие другие места вкривь и вкось изукрашены надписями вроде: «Здесь загорали столько-то и такие-то», «Светка, роспеля, целовалась с таким-то», «Кто писал сама такова».

Вчера я при свете луны осмотрел сарай, ничего не обнаружил, зарылся в сено и крепко, словно в детстве, уснул. Жаль, что эти балбесы разбудили слишком рано.

Но откуда у них рыба? Обычно у транзитных шоферов не бывает ничего, кроме хлеба и консервированной салаки. Ездят неделями и питаются в редких придорожных столовых, которые закрываются на обед как раз тогда, когда от голода начинает сосать под ложечкой. Провинциальный шофер предпочитает не останавливаться в больших городах, не желая иметь дел с местным ГАИ. Обычно большей частью питается всухомятку.

Я надул сам себя, делая вид, что никогда не давал себе слова купаться по утрам. Почистил зубы и лениво помылся с ладоней. Комары, падкие на мокрое, облепили лодыжки. Мне показалось, что в сарае кусались другие, более вежливые. У реки они были намного крупнее.

— Да,— согласился пожилой шофер,— комары тут хорошо кушают.

И добавил:

— Племенные, яровизированные.

Мое раздражение сразу пропало. Я взглянул на него с удивлением и любопытством. Он был высок, тучен и лысоват, двигался экономно, несуетливо. От дорожных дождей и ветров, от солнца волосы оказались непонятно какого цвета, лицо потеряло всякую выразительность. Морщинистый лоб, шея, уши, небольшой и, как у нас говорят, «девушкин» нос — все куда-то скрывалось, будто под пеплом. Только глаза светились удивительно ярко, синё, с добродушием, какого я не видел очень давно.

Второй водитель — совсем еще школьник — молча помешивал в котелке деревянной ложкой. Он был не в настроении, непроспавшийся и усталый. По-видимому, дорога оказалась для него нелегкой. Выяснилось, что они гнали машины в лесопункт из капремонта.

— Чего ж вы на сено ко мне не залезли?

— Да не стали беспокоить,— серьезно сказал пожилой.— Кто тебя знает, может, ты там с сударушкой. Подошли, глядим — пиджачок висит. Николаха, чего у тебя рыба-то? Больно долго варишь.

Николаха не отозвался.

Огонь под котелком стал еле заметен, всходило солнце. Большое малиновое полукружье обозначилось над сизым заречным лесом. Небо голубело с каждой минутой. Ветер нарождался за тихим, все еще спящим кустарником, но речной туман не спешил исчезать. Сонная чайка, взлетевшая над излучиной, невразумительно пискнула, свихнулась в сторону и пропала на том берегу.

Впервые я был здесь нынче весной. Какая светлая и доступно-величественная была эта река, несмотря на все человеческие старания сгубить ее! Теперь, когда сплав прошел и черные топляки, не преодолев собственной тяжести, покорно легли на дно, вода опять стала чиста и спокойна. Кругом тишина и безлюдье. Только дорога изредка рычала моторами да высокие холмистые берега хранили следы исчезнувших деревень: торчали кой-где то дом, то сарай, то рябиновый или тополевый садик, а то и просто какие-то сбитые из еловых жердей полевые ворота. Люди переселились в райцентр, в леспромхоз и на совхозные участки, выросшие около животноводческих комплексов.

— Дураки, такие места побросали,— угадывая мои мысли, сказал шофер.— Чего не жилось?

Молодой с презрительным удивлением посмотрел на товарища.

— Что, Колюха, глядишь?

Тот хмыкнул.

— Вру, что ли?

Не было никакого сомнения в том, что Колюха именно так и думал.

— Ну, тогда давай рыбу хлебать.

Уха, сваренная из сушеных маслят, и впрямь чем-то напоминала подлинную уху. Пожилой шофер (я все еще не знал, как его звать) дунул на ложку и заявил:

— Отъедим и поедем.

Молодой не повел и бровью. Он словно бы из нужды ел «уху». Мол, ничего не поделаешь, приходится есть, поскольку утро. И вообще всем людям положено завтракать, иначе умрешь.

— Ан нет, Коля, отдохнем, не поедем! — передумал старший.— У меня уже мозоль на левом глазу. Сколько, думаешь, за ночь намотали? Километров триста, наверно.

Парень опять ничего не сказал.

— Давно ездите?

Вопрос был глупым, но пожилой, словно бы выручая меня, ответил просто:

— Давно.

Уха, даже из грибов, видимо, сближает самых отдаленных людей. А может, сближало росистое утро, запах травы и дыма, большое теплое солнышко и река-красавица, спокойно и нежно обнявшая наш зеленый бивак.

— Матушка мне поет: «Отступись, весь дом пропитал мазутой. Сапогов не напасти. В тюрьму охота?» — «Нет, говорю, неохота. Туда и без меня кандидатов хватает». Только трактор получил новый — бэмс! Война! Малешко повоевал. Приезжаю домой, трактор в канаве. Рылом в землю уперся и спит.

— Ранило, что ли?

— Трактор-то?

— Да нет... Приехал, говоришь, домой.

— Ранило. Из ляжки полфунта мяса высадили вместе с осколком. А тут весна как раз, надо пахать. Вызывают в МТС: «Принимай тракторную бригаду!» В две смены пахали. А бригада — три колесника да шесть девок. Хорошие девки, да все скороспелки, в технике ни уха ни рыла. Панька, та, правда, немножко пендрила. Бывало, под машину полезет, застыдится. Юбки хоть и носили не чета нынешним, длинные, а больше и ничего. «Александр Иванович, отойди, не гляди!» Александр Иванович сам уж до ушей покраснел. Отойдешь метров на десять и давай команды давать. На дистанции. То отвинти, это продуй. Другая бежит с ревом, не знает чего делать. По полю-то как заяц, туда-сюда...

— Женился?

— Не успел я в тот раз жениться.

— Почему?

— Панька моя умерла.

Он как бы не услышал моего следующего вопроса. Сложил в котелок ложки и хотел идти к воде, но парень отобрал посуду и пошел сам. Александр Иванович угостил меня крепчайшей «Примой», прищурился:

— Ты не из милиции?

— Нет. А что?

— Да так. Милицию вспомнил. Сохло в ту весну на глазах. Надо бы боронить, а мои керогазы все стоят. Ни один не заводится. Искра бьет, а не берет, керосинто худой. До этого мы заливали бензин под свечи, заводили кое-как. Этот бензин я в кармане носил, во флакончике. До чего мы докрутили этими ручками, бог ты мой! А трактора — хоть бы один для смеху чихнул. До МТС сорок пять километров. Панька бутыль на спину — пошла. Туда полтора суток, обратно полтора. Пустая пришла, ничего не дали. Я, значит, иду сам. Первым делом на нефтебазу. Директор поглядел как на пленника и говорит: «Не было, нет и не будет!» Весь день бегал я по организациям, нигде ничего. Вечером захожу к знакомому в военкомат. Витька лейтенант, мне по родне, домой пригласил. Чай сели пить, у меня кусок в горло не лезет. «Ты чего?» — дружок спрашивает. «Бензину бы, говорю, хоть литра три. Трактора стоят, не заводятся».— «Ничего не выйдет,— говорит.— Только у начальника милиции. А к нему не подступишься».— «Где, спрашиваю, живет?» — «Да живет-то,— Витька говорит,— рядом. Сосед...» Я долго не думал, в магазин. Денег было, хоть и немного. Вина принес, зови, говорю. Витька пошел, привел. Начальник, как сейчас вижу, Корчагин по фамилии. Стопку выпил, а за стол ни в какую. Потом все-таки сел. Мы одну бутылку решили... Витька снял со шкапа гармонь. Корчагин голенища подтянул, со стула — фырк! Не усидел, пошел плясать. Витька играл хорошо. Ох, мастер был плясать Корчагин! По полу его как ветром носило.

Напарник Александра Ивановича вернулся с реки и лег на траву. Солнце всходило быстро, становилось жарко. Комары исчезли.

— Ну и как? Дал бензину?

— Сплясал, вызывает меня. Я выходку показал, он, вижу, на меня косится. Плясал-то я не хуже его. Давай, говорит, на спор, кто кого. Ставлю литр, ежели перепляшешь. Я говорю: давай! Только не на литр, а на десять литров! Бензину... Он горячится: «Двадцать! Тебе меня все равно не переплясать».— «Виктор, будь в свидетелях!» Гармонь заиграла, я ремень снял...

Александр Иванович замолк, глядя на освобождающуюся от тумана реку. Я кашлянул и спросил, что было дальше.

— Три часа молотили. Витька уже играть не может, сходил за другим гармонистом. Утолкли и того. Трынкает кой-как, на одних басах — пляшем. Я уж и свету не вижу — пляшем. Под утро уже, гляжу, Корчагин сел на корточки, пальцем по воздуху водит. Я вокруг него, не останавливаюсь. Он за штанину меня ловит. Тут гармонист гармонь кинул на койку. Только тогда я и остановился. Корчагин говорит: «Пиши расписку, твоя взяла. Да не на меня, едрена вошь, пиши на директора нефтебазы!» Я, конечно, этого директора кой-как про себя обматерил, даже язык не действовал. Расписку накорябал, ворона набродила. Утром два бидона бензину несут с нарочным. Я двое суток с этими бидонами до колхоза плюхался. Докостылял. Трактора завели, яровое заборонили. Посеяли. Потом неделю пластом. Да и Корчагин полтора месяца в больнице вылежал. У обоих дураков раны открылись.

— А от чего Панька-то?

— Помню, пригнали первую полуторку. Я как посмотрел на нее, сразу решил: будет моя. Двадцать второй год шоферю, и ничего. Машина, она, что жена, внимания требует днем и ночью.

— Ночью-то чего?

— На тормоза надо ставить, вот чего! — прикрикнул на меня Александр Иванович.— Укатится, не найдешь. Либо товарищи подведут. У меня вон сменщик один был. Только освободился, его — бэмс! — ко мне на перевоспитание. У воспитателя у самого образование шесть классов, седьмой коридор. Бывало, на ремонте придет в гараж и сидит. Я говорю, чего сидишь, начинай. Он кувалду возьмет и давай по скату лупить. Искру, говорит, выгоняю, в баллон ушла. У меня на заднем борту надпись: «Не уверен, не обгоняй». Он, черт, приписал мелом еще одно слово. Я не посмотрел, поехал в город за продуктами. Ну и загремел прямиком в ГАИ. Премии на работе как не бывало, за правами ездил четыре раза. Во какой!

Александр Иванович восхищенно засмеялся.

— Уехал?

— Увезли. Ампичмант устроили.

— За что?

— А барак спалил. Начальник лесопункта его выселил. Три дня прошло, он опять по поселку бродит. Мне, говорит, отступать некуда. Пришел ко мне домой: «Гоголев, пусти ночевать!» Я его чаем напоил, матрас

с простыней постлал. Он среди ночи выскочил в окно. Убежал к медичке. А медичка без него замуж вышла, уехала. Только новая медичка спирту ему все равно налила. Шельмы, не девки! Он с пьяных глаз полез в пруд купаться, напоролся на какую-то проволоку. Чего не насмотришься у нас в лесопункте! В колхозе теперь намного лучше.

— Чего ж не живешь в колхозе? — Я, по его примеру, тоже перешел на ты.

— Я бы переехал, не едет жена.

В это время второй шофер проснулся в траве и сонно огляделся:

— Чего мы тут торчим? Надо ехать.

— Успеешь к своей Катьке,— сказал Александр Иванович.

Парень снова ткнулся в траву.

— У меня баба хорошая,— сказал сам себе Александр Иванович.— Вот теща, это местами. Помню, холостяком был. Купила она мне мотоцикл как раз перед самой свадьбой. Я женился, уехал в командировку. Приезжаю, сарайка пустая. Один кобель. Бурко, спрашиваю, где мотоцикл? Он как взвоет.

— Жена продала?

— Теща. Денежки забрала и в Северодвинск. А с женой, нет, пятнадцатый год живем — ни разу конфликтов не было. Да и с тещей у нас дружно.

Он размял новую сигаретину.

— В семьдесят первом в Болгарию ездила.

— Теща-то?

— Да нет, жена. Приходит, помню, домой: «Гоголев, покупаю террористическую путевку! На «Золотые пески», двенадцать дней без дорог». Пожалуйста, говорю. Почему не съездить. Деньги есть. Приехала домой, бабу не узнаю. Все мои трусы на тряпки изорвала. В баню пойдешь — подает плавки, то голубые, то красные. А я их век не нашивал. Обтянуло все, никакого простору...

— Привык?

— Вроде стал привыкать. Начала за каждым обедом эту самую кислятину ставить. Сухое вино, чтобы по-культурному. Я говорю: какое оно сухое, оно тоже мокрое.

— Тоже привыкнешь, Александр Иванович.

— Нет, парень, к этому-то меня, пожалуй, не приучить. Да и в магазине оно редко. Одна с него водополица.— Он лег в траву.— Вон нынче племянницы гостить приехали.

Одной четыре годика, другой два. У нас квартира хоть и порядочная, а спать я все равно в сарайку. Люблю свежий воздух. Девчушки заревели в голос: мы с дядей, мы с дядей! Ну с дядей так с дядей. Пошли. Уклались, одна с одного боку, другая с другого. Обе почирикали да и уснули сразу. А ночью мне снится сон, будто бы в баню пришел. Вот полощусь, вот окачиваюсь. То слева, то справа водичка такая теплая. Пробудился, мать честная, с обеих сторон мокрый, хоть выжимай. Вот так добро уделали! Двое-то.

Александр Иванович опять засмеялся и с кряхтением поднялся на ноги. Он походил по пригорку, посмотрел на густо-голубое, в золотых блестках, стремя реки. Сказал:

— Радикулит проклятый. А так все нормально. Живи да радуйся, насколько совесть чиста.

На бугре еще валялись догнивающие остатки срубов и большие подугольные камни. Гоголев задумчиво постоял, потом обошел вокруг моего сарая, зачем-то постучал по стене кулаком. Я вывел его из задумчивости:

— Ну, а что тогда случилось?

— А? — Гоголев обернулся ко мне.— С кем?

— Да с Панькой-то...

— У нее кровь горлом пошла. Такая девка была, из-под трактора не вылезала. А земля весной — сам знаешь...— Гоголев крякнул.— Колька, давай подъем! Поехали.

Он предложил подвезти, но я отказался, автобусная остановка была совсем рядом. Машины взревели. Гоголев пропустил Колю вперед и вырулил на дорогу. Я тоже пошел к сараю за пиджаком.

Всегда как-то грустно расставаться с хорошим ночлегом!

Напоследок я мимолетным взглядом окинул внутренние стены сарая. На одном из бревен по высоте моего небольшого роста была топором вырублена звезда и три примечательных буквы: ГАИ.

Ах, Александр Иванович! Ты тоже оставил след своего отрочества. Здесь, в этом сарае...

Первый автобус вынырнул из подорожных берез, и я бегом припустился к остановке. Ведь я тоже должен был ехать дальше. Но синие глаза Гоголева весь день ясно и весело светились в моей памяти.

1974

Гусейн Аббасзаде

(р. 1922)

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Аллахяр подтянул к балкону виноградную плеть, и вдруг тонкая ветка хрустнула и повисла беспомощно, как сломанное птичье крыло. Старик огорченно крякнул: вот же незадача! Прошлой весной он посадил здесь, у подъезда дома, лозу виноградника, заботливо огородил ее, терпеливо ждал, пока лоза, вытягиваясь, достигнет его балкона на втором этаже. Заранее соорудил на балконе навес — все мечтал, как виноградник со временем оплетет столбики навеса, поползет по протянутым веревкам, зеленым шатром укроет балкон в жаркие летние дни, а он, Аллахяр, будет с удовольствием попивать в тени чай.

И вот — сам же взял неосторожно ветку и сломал ее. Теперь жди, пока вырастет и снова дотянется до балкона. Старый Аллахяр оторвал сломанную часть ветки, державшуюся на тоненькой кожуре, и бросил во двор. Отложил в сторону моток веревки, устало опустился на стул.

Ныло сердце. Вот что значит понервничать на работе. Аппетиту никакого, не клеится даже такое пустячное дело, как подвязать виноградную ветку, да еще и сердце побаливает. Не принять ли валокордин?

Он принял лекарство и снова уселся на балконе, выходившем на просторный двор, замкнутый новыми многоэтажными домами.

Нет, видно, не удастся отвлечься мысленно от того, что произошло сегодня на заводе...

И вот ведь какая штука: никогда прежде старый Аллахяр не ошибался в людях, глаз у него, как говорится, был наметанный. Но теперь он вынужден был с горечью признаться самому себе, что ошибся... ошибся в человеке, который был его, Аллахяра, любимым учеником, успехами которого он в свое время так гордился...

Со двора донесся шум голосов. Аллахяр невольно взглянул поверх балконной решетки на баскетбольную площадку посреди двора. Там шла горячая схватка. Худощавый высокий паренек перехватил на лету мяч, помчался к кольцу, бросил... Мяч, ударившись о щит, отскочил, не попав в корзину. Мальчишки-болельщики, окружившие площадку, издали дружный вопль.

Глядя на паренька, баскетболиста этого самого, Аллахяр подумал: «Рухулла, когда пришел к нам на завод, вот такой же был тощий и проворный, с быстрыми глазами...»

Это было лет пятнадцать или шестнадцать тому назад. Как-то утром начальник сборочного цеха подвел к нему, Аллахяру, долговязого юнца с пышной черной шевелюрой и сказал: «Мастер, вот тебе ученик. Зовут его Нуруллаев Рухулла. Он кончил десятилетку и хочет работать. Сделай из него хорошего слесаря».

Рухулла понравился мастеру Аллахяру: был он смышлен и проворен, работал добросовестно. Прошло немного времени, когда Аллахяр заявил, что ученику можно поручать самостоятельную работу. Все знали, что мастер слов на ветер не бросает. Рухулла получил рабочий разряд, вскоре повысил его, а еще через месяца два-три выдвинулся в число лучших слесарей-сборщиков. На цеховой доске Почета появилось его фото.

Аллахяр, понятно, радовался быстрым успехам своего ученика. Когда Рухулла попросил дать ему рекомендацию в партию, мастер охотно согласился. Без колебаний написал он: «Уверен, что Нуруллаев Рухулла своей работой и поведением с честью оправдает высокое звание коммуниста».

Без отрыва от производства Рухулла окончил вечернее отделение Политехнического института, защитил диплом, перешел на работу в конструкторское бюро завода. Он и тут показал себя толковым инженером. Года три спустя его взяли в аппарат Главмашстроя республики.

И еще прошли годы. Бывшего своего ученика Аллахяр встречал редко, но слышал, что он очень продвинулся в управлении, стал заведующим отделом. Сам-то Аллахяр

вышел на пенсию: с сердцем что-то стало плохо, болезнь с мудреным названием нашли у него. Никогда прежде не имел он дела с врачами, а теперь вот пришлось. Познакомился на старости лет с больничной койкой, с санаторными процедурами, уколами всякими. А когда почувствовал себя лучше, не усидел дома, пошел на завод, попросился в свой сборочный цех на неполный рабочий день.

Многое в цехе переменилось за время отсутствия Аллахяра. Новый начальник цеха, новые бригадиры на сборке, много новых рабочих. Была еще одна новость, обрадовавшая старого мастера: директор завода пошел на повышение, и на его место назначен не кто иной, как Рухулла Нуруллаев. Вот как высоко взлетел бывший ученик слесаря! Ну, да так оно и положено способному человеку.

Участок Аллахяру дали нетрудный, не утомительный для больного сердца, и мастер, само собой, управлялся. Лучше всяких лекарств было для него возвращение на завод,— это только тот поймет, кто сам испытал такое.

Однажды в конце месяца, зайдя по какому-то делу в цеховую конторку, Аллахяр взглянул на таблицу учета выпускаемой продукции. Взглянул — и удивился.

— Что-то я не пойму,— сказал он, почесывая седую щетину на подбородке,— разве наш цех не семьсот двадцать два мотора собрал в прошлом месяце?

— Семьсот двадцать два,— подтвердил начальник цеха, не поднимая взгляда от бумаг, которые просматривал.— А что?

— А то, что в таблице написано — семьсот штук. Куда же подевались еще двадцать два мотора?

Начальник цеха подошел к таблице, надел и снял очки.

— Ошибка,— сказал он отрывисто.— Напутали учетчики. Исправим.

Спустя месяц Аллахяр снова обнаружил в таблице заниженные цифры.

— Опять у тебя ошибка, сынок,— сказал он начальнику.— Путает твоя канцелярия. Только вот что странно: ошибка все время в одну сторону направлена — на занижение...

— Вы бы занимались своим делом, уста[1],— сдержанно ответил начальник.— А тем, что вас не касается...

— Меня все касается,— отрезал Аллахяр.— Пойду-ка я потолкую с директором про эти ошибки в учете.

---

[1] **Уста** — мастер (*азерб.*).

— Не нужно зря ходить. Ошибку мы сами исправим.

Но старый мастер был упрям. Он направился прямиком в директорскую приемную. Там молоденькая секретарша сказала ему, что сегодня приема нет, и вообще у директора совещание, и неизвестно, когда оно кончится. Аллахяр ответил, что подождет, и сел на стул. Ждать пришлось довольно долго, старика даже в сон стало клонить. Наконец распахнулись двери, из директорского кабинета повалил народ. Мастер снова подошел к секретарше:

— Дочка, доложи директору, что к нему пришел мастер Аллахяр. Только это скажи, больше ничего. Он сразу велит меня пропустить.

Секретарша кивнула и скрылась в директорском кабинете. Вскоре она вернулась в приемную и сказала официальным тоном:

— Директор не сможет вас сегодня принять, товарищ. Приходите в приемный день. Вот здесь написано.— Она указала на табличку над дверью.

— Он так и сказал? — спросил Аллахяр растерянно.— Так и сказал, что не может принять?

— Да, я передала вам слово в слово.

Тут у Аллахяра возникло желание толкнуть дверь и войти к директору безо всякого разрешения,— да, войти и сказать: «Эй, Рухулла, есть у тебя совесть? Кому это ты посмел отказать в приеме, так тебя и растак?» Но он подавил в себе вспышку гнева и, вскинув седую голову, вышел из приемной.

Был час обеденного перерыва. У ворот инструментального цеха повстречался Аллахяру старый приятель Керим, тоже не один десяток лет проработавший на этом заводе.

— Куда спешишь, Аллахяр? — сказал Керим.— И чем озабочен? Давай посидим покурим. Давно не видел тебя.

Они сели на скамейку под деревом, и Керим задымил, благодушно поглядывая на приятеля.

— Так что у тебя стряслось? — спросил он. А когда Аллахяр рассказал о своих огорчениях, Керим прикурил от окурка новую сигарету и сказал вздохнув: — Эх, дорогой, своих забот у тебя, что ли, мало? Или ты думаешь, что директор не знает о заниженных цифрах? Как бы не так!

— Что ты хочешь сказать? — удивленно воззрился Аллахяр на приятеля.

— До седых волос дожил, а все простачком ходишь,— усмехнулся Керим.— Вот ты всю жизнь собираешь моторы для нефтяных скважин, а не знаешь, что часть моторов не попадает в отчетность — их продают на сторону...

— Этого быть не может,— твердо сказал Аллахяр.

— Раньше не было,— кивнул Керим,— но вот уже несколько лет... А, да что говорить!

— Говори, раз начал. Ну, так куда идут моторы?

— Куда, куда...— недовольно проворчал Керим, он уже не рад был, что затеял этот разговор.— Многие люди теперь строят дачи, они не пожалеют денег, чтобы купить мотор для своего колодца. Понял?

— И ты говоришь, что Рухулла знает об этом? — медленно проговорил Аллахяр.

— Прекрасно знает твой Рухулла. Только делает вид, что не знает,— так ему удобней... Э, ты какой-то блаженный, Аллахяр,— сказал Керим, бросив очередной окурок в бочку с водой.— У нашего директора знаешь какая дача в Нардаране! Здоровенный двухэтажный дом из белого камня-кубика. Высокая каменная ограда. Во дворе виноградник, сад, бассейн с рыбами. Настоящее поместье...

— Откуда ты знаешь? Мало ли о чем треплют люди языками...

— Я говорю потому, что сам видел. Я у него на даче мотор в колодце устанавливал...

— Что же ты молчишь, если все знаешь? — гневно спросил Аллахяр, поднимаясь.

— Мне, что ли, больше всех надо?..— Керим отвернулся в сторону.

Теперь, сидя на балконе, старый Аллахяр вспомнил этот разговор и вдруг понял, что не будет ему покоя, пока он не сделает какой-то решительный шаг. Он прошел к телефону и, найдя в телефонной книге домашний номер Рухуллы Нуруллаева, позвонил ему. Ответил детский голос. Это был сын Рухуллы, и Аллахяр спросил, дома ли отец.

— Папа отдыхает,— сказал мальчик,— через час проснется. А кто говорит?

Не ответив, мастер положил трубку и некоторое время стоял в раздумье. Потом, прочитав в телефонной книге адрес Рухуллы, поспешно оделся и вышел из дому.

Раньше Рухулла жил в старом доме в переулочке возле «Бешмэртэбэ» — «Пятиэтажки» — так называли в Баку одну из первых новостроек. Аллахяр бывал там когда-то раз или два в гостях у своего ученика. Но уже давно Рухулла переехал в добротный новый дом в центре.

Выйдя из троллейбуса, Аллахяр разыскал этот дом и медленно поднялся на третий этаж. Тут он остановился, прислонясь к перилам и переводя дыхание. Решимость вдруг покинула его, сомнения мешали ткнуть пальцем

в кнопку звонка. «Не надо было ехать сюда,— думал он, морщась от ноющей боли в груди.— Что я ему скажу? И разве станет он выслушивать мои нотации? Поеду-ка лучше домой... Нет! — оборвал он собственные мысли.— Если я не сяду лицом к лицу с Рухуллой и не выскажу все, что у меня на сердце, значит, грош мне цена...»

И он с силой нажал на кнопку звонка.

Дверь отворила молодая женщина, несколько расплывшаяся. Аллахяр вспомнил, что видел ее однажды, лет десять назад или больше, когда молодожены как-то раз позвали его в гости. Он не помнил имени женщины, но ее миловидное лицо было ему знакомо.

Она тоже узнала его. Удивленно всмотрелась, улыбнулась, сказала:

— Добро пожаловать, Аллахяр-ами. Вы совсем не изменились. Заходите, пожалуйста.

Старик ответил на приветствие и, все еще стоя у порога, спросил, дома ли Рухулла.

— Дома,— сказала женщина.

Аллахяр вошел, повесил плащ в передней и прошел в гостиную, куда его пригласила хозяйка. Рухулла, худощавый высокий мужчина лет тридцати шести, отбросив газету, поднялся с дивана и шагнул ему навстречу.

— Извини, товарищ директор, я помешал тебе отдыхать,— сказал Аллахяр, пожимая протянутую руку.

— Ничего, ничего.— Директор внимательно посмотрел на старика, как бы прикидывая мысленно, зачем пожаловал незваный гость.— Садитесь, уста Аллахяр.

Мастер опустился в кресло и обвел взглядом просторную, светлую комнату. Никогда еще ему не приходилось видеть такую красивую мебель, такое обилие хрусталя в нарядном серванте. Дом был, как говорится, полная чаша.

Жена Рухуллы накинула на круглый стол хрустящую белую скатерть.

— Не затевайте ничего,— сказал ей Аллахяр.— Не надо.

— Я и не затеваю. Чаю только попьем,— улыбнулась она.

— Ничего не надо, спасибо. У меня к Рухулле короткий деловой разговор.

Рухулла сделал движение бровью, и жена тотчас вышла из комнаты.

— Я слушаю,— сказал Рухулла.

— Товарищ директор, не подумай, что я пришел о чемто тебя просить,— начал старый мастер негромко.— Я хочу

рассказать о том, что творится у нас в цехе. Для того и приходил к тебе в приемную, но ты был занят и не принял меня. А дело срочное.

Директор сидел в кресле напротив Аллахяра и не сводил с него прищуренного взгляда.

— Мне секретарша доложила о вашем приходе,— сказал он, закинув ногу на ногу.— Вы не обижайтесь, уста, я бы вас, конечно, принял, несмотря на занятость, но дело в том, что я установил твердый порядок: прием только в определенные дни и часы. Это относится и к самым близким людям. Порядок есть порядок.

— Согласен,— кивнул Аллахяр.— Порядок — хорошая вещь, и надо его придерживаться. Но вот послушай, что делается в сборочном цехе...

И он рассказал о расхождениях, которые обнаружил между фактическим выпуском продукции и отчетностью. Рухулла выслушал его не перебивая. Закурил сигарету, сказал, когда старик умолк:

— Думаю, что просто произошла какая-то ошибка. Во всяком случае, я разберусь. У вас все, уста?

— Разберись, разберись непременно...— Аллахяр вытащил носовой платок и вытер потный лоб.— Виновных в хищении под суд надо. А моторы, которые налево уплыли, все до одного надо отобрать у дачников.

— У каких дачников? — нахмурился Рухулла.

— У тех, которые их покупали для своих колодцев.

— Ничего об этом не знаю.

Тяжелое молчание. Аллахяр вдруг почувствовал, как его переполняет холодная ярость. Да что это, до каких пор он будет говорить недомолвками, вместо того чтобы выложить все как есть?

— У тебя, Рухулла, говорят, тоже дача есть в Нардаране, не дача, а целое поместье... Бассейн с рыбками. И колодец с мотором, а?

Директор рывком поднялся из кресла.

— Вы забываетесь, уста Аллахяр.

Старик тоже встал. Глядя в упор на бывшего своего ученика, спросил:

— Какая у тебя зарплата, Рухулла?

— Могу ответить, если вас это так интересует,— сухо сказал директор.— Двести пятьдесят рублей. И закончим разговор. Впредь прошу не вмешиваться не в свое дело.

— Твои дела очень даже касаются меня.

— Вот как? — поднял бровь Рухулла.— А по какому

праву? Кто дал вам право говорить со мной начальственным тоном?

«Спокойно, только спокойно,— сказал самому себе Аллахяр.— Не сорваться бы на крик, на ругань...»

— Я, конечно, тебе не начальство,— сказал он сдержанно.— А жаль. Был бы я твоим начальником, я бы тебя просто привлек к ответственности за то, что покрываешь мошенников... за то, что живешь явно не по средствам... Но пятнадцать лет назад я дал тебе рекомендацию в партию. За эту рекомендацию я всю жизнь в ответе. И, хотя с опозданием, я решил исправить свою ошибку. Я беру рекомендацию обратно, Рухулла, и сообщу об этом в райком партии.

Он повернулся и вышел.

Некоторое время Рухулла в растерянности стоял посреди комнаты. Обеспокоенно заглянула жена. Хлопнула входная дверь. Рухулла сорвался с места, выбежал в переднюю, на лестничную площадку. Неторопливые, шаркающие шаги донеслись снизу. Позвать, окликнуть старика?.. Ну уж нет, не станет директор терять достоинство... Да и вряд ли вернется этот строптивый мастер...

А мастер Аллахяр вышел из подъезда и с удовольствием подставил разгоряченное лицо прохладному осеннему ветерку. Теперь ему стало легче. Гораздо легче! Он направился к троллейбусной остановке.

1974

Виктор Астафьев

(р. 1924)

НОЧЬ КОСМОНАВТА

И все же те короткие, драгоценные минуты, которые он «зевнул», наверстать не удалось: космос — не железная дорога! Космонавт точно знал, где они, эти минуты, утерялись непоправимо и безвозвратно.

Возвращаясь из испытательного полета с далекой безжизненной планеты, объятой рыжими облаками, он по пути облетел еще и Луну. Полюбовавшись печальной сестрой Земли, а по программе — присмотрев место посадки и сборки межпланетной заправочной станции-лаборатории, он завершал уже последний виток вокруг Земли, когда увидел в локаторном отражателе черные клубящиеся облака и понял, что пролетает над страной, сердечком вдающейся в океан, где много лет шла кровопролитная и непонятная война.

Многие державы выступали против этой войны, народы мира митинговали и протестовали, а она шла и шла, и маленький, ни в чем не повинный народ, умеющий выращивать рис, любить свою родину и детей своих, истреблялся, оглушенный и растерзанный грозным оружием, которое обрушивали на его голову свои и чужие враги, превратив далекую цветущую страну в испытательный полигон.

Космонавту вспомнилось, как совсем недавно, когда мир был накануне новой, всеохватной войны и ее удалось

предотвратить умом и усилиями мудрых людей, какая-то женщина-домохозяйка писала с благодарностью главе Советского государства о том, что от войн больше других страдали и страдают маленькие народы, маленькие страны и что в надвигающейся войне многие из них просто перестали бы существовать...

У космонавта была странная привычка, с которой он всю жизнь боролся, но так и не одолел ее: обязательно вспомнить, из какой страны, допустим, писала эта женщина-домохозяйка. В детстве, увидев знакомое лицо, он мучился до бессонницы, терзал себя, раздражался, пока не восстанавливал в памяти, где, при каких обстоятельствах видел человека, встретившегося на улице; какая фамилия у артиста, лицо которого мелькнуло на экране, где он играл прежде, этот самый артист? И даже, пройдя изнурительную и долгую выучку, он не утратил этого «бзыка», как космонавт называл сию привычку, а лишь затаил ее в себе. Закалить характер можно, однако исправить, перевернуть в нем что-то никакой школой нельзя — что срублено топором...

Космонавт ругал себя: вот-вот поступит с Земли команда о посадке, надо быть собранному до последней нервной паутинки — вдруг придется переходить на ручное управление. И никак не мог оторвать взгляд от вращающегося экрана локатора, по которому вытягивались тушеванными росчерками пожары войны, и приказывал себе вспомнить: откуда писала эта домохозяйка нашему премьеру? «Навязалась на мою голову! — ругал он неведомую женщину.— Бегала бы с авоськой по магазинам — некогда бы... Буржуйка какая-нибудь, а за нее шею намылят. Руководитель полета — мужик крутой, как загнет свое любимое присловье: «Чего же,— скажет,— хрен ты голландский...»

— Из Дании! Из Дании! — радостно заорал космонавт, забыв, что передатчики включены.

Сидевшие на пульте связи и управления инженеры изумленно переглянулись между собой, и один из них, сжевывающий в разговоре буквы Л и Р, изумленно спросил:

— Овег Дмитвиевич, что с вами? Вы пвиняви сигнав товможения?

— Принял, принял! Сажусь! Бабенка тут одна меня попутала, чтоб ей пусто было!..

— Бабенка?! Какая бабенка?!

Но космонавт не имел уже времени на разъяснения, и пока там, на Земле, разрешалось недоумение, пока на пульте запрашивали последние данные медицинских показа-

ний у космонавта, которые, впрочем, никому ничего не объяснили, потому что были в полном порядке, сработала автоматическая станция наведения и началась посадка.

Системы торможения включились по сигналу Земли, и изящный, легкий корабль повели на посадку, пожелав космонавту благополучного приземления.

Полулежа в герметическом кресле, Олег Дмитриевич смотрел на приборы, чувствуя, как стремительно сокращается расстояние до Земли, мучительно соображая: «Сколько потерял времени? Сколько?..»

Потом было точно установлено — две с половиной минуты и одна десятая секунды. Стоило ему это того, что вместо казахстанской, обжитой космонавтами степи он оказался в сибирской тайге.

Как произошло приземление и где — он не знал. Сильная, непривычно сильная перегрузка вдавила его в кресло, что-то сжало грудь, голову, ноги, дыхание прервалось. Он припал губами к датчику кислорода, но тут его резко качнуло, в ногу ниже колена впилось что-то клешней, и он успел еще подумать: «Зажим! Погнуло зажим».

Потом он действовал почти бессознательно, ему не хватало воздуха и хотелось только дышать. Дышать, дышать, дышать! В груди его хрипело, постанывало что-то, он делал губами судорожные хватки, но слышались только всхлипы, а воздух туда не шел, и последние силы покидали его. Напрягшись всем тренированным телом, уже медленно и вяло поднял он руку, на ощупь нашел рычаг и, вкладывая в палец всю оставшуюся в теле и руках силу, повернул его. Раздались щелчки: один, другой, третий — он обрадовался, что слышит эти щелчки, значит — жив! А потом, уже распластанный в кресле, вслушивался — срабатывают ли системы корабля?

Раздалось шмелиное жужжание, перебиваемое как бы постукиванием костяшек на счетах. Он понял, что выход из корабля не заклинило, и подался головой к отверстию, возникшему сбоку. Оттуда, из этого отверстия, сероватого, дымно качающегося, клубом хлестанул морозный воздух. Земной, таежный, родимый! Он распечатал грудь космонавта. Сжатое в комок сердце спазматически рванулось раз-другой и забилось часто, обрадованно, опадая из горла на свое место, и сразу в груди сделалось просторней. В онемелых ногах космонавт услышал иглы, множество игл, и расслабленно уронил руки, дыша глубоко и счастливо. Наслаждение жизнью воспринималось пока только телом, мускулами,

а уж позднее — и пробуждающимся движением мысли: «Я живой! Я дома!»

Жалостное, совершенно неуправляемое ощущение расслабленности, какое бывает после тяжелой болезни и обмороков, и непонятное раскаяние перед родным домом, перед отцом или перед всеми людьми, которых он так надолго покидал, охватило космонавта, и у него, как у блудного сына, вернувшегося под родной кров, вдруг безудержно покатились по лицу слезы, и, неизвестно когда плакавший, он улыбался этим слезам и не утирал их.

Сознание все еще было затуманенное, движения вялы, даже руки поднять не было сил. Но, облегченный слезами, как бы снявшими напряжение многих дней и то сиротское чувство одиночества и покинутости, изведанное им в пространствах вселенной, от которого отучали в барокамерах и прочих хитромудрых приборах, но так до конца и не отучили — человеческое в человеке все-таки истребить невозможно! Чувство это тоже вдруг ушло, как будто его и не было. Еще не зная, где он приземлился и как, космонавт все равно уже осознавал себя устойчивей, уверенней, и ему хотелось поскорей сойти с корабля, ступить на Землю, увидеть людей и обняться с первым же встречным, уткнуться лицом в его плечо. Он даже ощутил носом, кожей лба и щек колючесть одежды, осталось это в нем с тех давних времен, когда, дождавшись с войны отца, он припал лицом к его шинели, и в нос ему ударило удушливым запахом гари, сивушной прелестью земли, и он понял, что так пахнут окопы. Сквозь застоявшиеся в шинели запахи пробивало едва ощутимые, только самому ближнему человеку доступные токи родного тепла.

Очнулся космонавт на снегу, под деревом, и увидел перед собой человека. Тот что-то с ним делал, раздевал, что ли, неумело ворошась в воротнике легкого скафандра. Они встретились глазами, и космонавт попытался что-то спросить. Но человек предостерегающе поднял руку, и по губам его космонавт угадал: «Тихо! Тихо! Не брыкайся, сиди!»

Ни говорить, ни двигаться космонавт не мог и отрешенно закрыл глаза, каким-то, самому непонятным наитием угадав, что человеку этому можно довериться. Усталость, старческая, дремучая усталость — даже на снег глядеть больно. А ему так хотелось глядеть, глядеть на этот неслыханно белый снег.

Силы возвращались к нему постепенно, и много времени, должно быть, прошло, пока он снова поднял налитые тяжестью веки.

Горел огонь. На космонавта наброшен полушубок, и под боком что-то мягкое. Наносило земным и древним. Он щекою ощутил лапник. «Ладаном и колдовством пахнет. Лешие, наверное, под этим деревом жили: тепло, тихо и не промокает...»

— «Пихта!» — вспомнил он первое существо на Земле. Не дерево, а именно существо, оно даже прошелестело в его сознании или в отверделых губах вздохом живым и ясным. От полушубка нанесло избой, перегорелой глиной русской печи и еще табаком, крепкой махоркой — саморубом. Нестерпимо, до блажи захотелось покурить. «Вот ведь дурость какая! А полушубок-то, полушубок! Какая удивительная человеческая одежда!.. Так пахнет! И мягко!..»

Космонавт осторожно повернул голову и по ту сторону умело, внакрест сложенного огня увидел человека в собачьих унтах, в собачьей же шапке, в клетчатой рубахе, но по-старинному, на косой ворот шитой, и вспомнил — это тот самый человек, которого он увидел давно-давно: он делал с ним что-то, шарясь у ворота скафандра. Человек, сидевший на чурбаке возле костра, встрепенулся, заметив, что космонавт шевельнул головой, выплюнул цигарку в костер и широко развел скособоченный рот, обметанный рыжеватой с проседью щетиной.

— Ну, здравствуй, Алек Митрич! Добро пожаловать, как говорится, на родную землю!

— Здравствуйте! — отчего-то растерянно ответил космонавт и вспомнил — это ведь первое слово, произнесенное им на Земле по-настоящему вслух! Хорошее слово! Его всегда произносит человек человеку, желая добра и здоровья. Замечательное какое слово! Он натужился, чтобы повторить его, но человек, поднявшись с чурбака, замахал на него руками:

— Лежи! Лежи! Я буду пока докладать, а потом уж ты. Значит, так,— уже врастяжку, степенно продолжал он.— Зовут меня Захаром Куприяновичем. Лесник я. И жахнулся ты, паря, на моем участке. С небеси и прямиком ко мне в гости! Стало быть, мне повезло. А тебе — не знаю. Иду это я по лесу. Рубили на моем участке визиры летом вербованные бродяги, по-всякому рубили, больше тяп-ляп... Иду это я, ругаюсь на всю тайгу, глядь: а ко мне самовар с неба падает! Ну, я было рукавицу снял и по старинке: «Свят-свят!..» Да вспомнил, что по радио утресь объявили: сегодня, мол, наш космонавт должен приземлиться — и смекнул: «Эге-е-е-е! Это ж Алек Митрич жалует! И правильно! — грю себе.— Всякие космонавты были, везде садились,

а в Сибире почто-то нету? Беляев с Леоновым вон в Пермской лес сели, а наша Сибирь пошире, поприметней ихнего лесу...»

— Так я в Сибири?

— В Сибире, в Сибире,— подтвердил лесник и удивился: — А ты разве не знаешь?

Олег Дмитриевич удрученно помотал головой.

— Вот те раз! А я думал, тебе все известно и все на твоих автоматах прописано.— Лесник во время разговора не сидел без дела. Он шелушил кедровую шишку, выуженную из огня, и, ровно расщелкивая напополам орешки, откладывал зерна на рукавицу, брошенную на снег. Но тут он перестал щелкать орехи и уже обеспокоенно спросил: «Алек Митрич, выходит, твои товарищи не знают — где ты есть и живой ли?

Космонавт нахмурился:

— Не знают.

Захар Куприянович по-бабьи хлопнул себя руками:

— А, язвило бы тебе! Сижу-рассиживаю, табачок курю, вот, думаю, прилетят твои свяшшики на винтолете, и я тебя им в целости передам... Ах, дурак сивый, ах, дурак!.. Чего же делать-то? — Большой этот человек в собачьих унтах огляделся беспомощно по сторонам, как бы спрашивая у молча сомкнувшейся кедровой и пихтовой тайги совета.

Олег Дмитриевич приподнялся и, переждав легкое головокружение, указал леснику на полушубок:

— Прежде всего оденьтесь, потом уж будем думать, что нам делать.

— Сиди уж, коли бес попутал и ко мне на голову сверзил! — махнул рукой Захар Куприянович и бесцеремонно, как на маленького, натянул на космонавта полушубок, после чего поднял рукавицу с ядрышками орехов и сказал: — Держи гостинец! — но когда высыпал в протянутые ладони космонавта гостинец, спохватился: — Можно ли тебе орехто? Народ вы притчеватый. На божьей пище живете! Показывали тут по телевизору твою еду, навроде зубной пасты. Жалко мне тебя стало...— Захар Куприянович приостановился, что-то соображая. Его голубовато-серые глаза, уже затуманенные временем, глядели напряженно на огонь, и рыжие, колкие вихры, выбившиеся из-под черной шапки, как бы шевелились в отсветах пламени.

Ядрышки орехов были маслянисты и вкусны. Олег Дмитриевич никогда не пробовал этого лакомства. Чувствуя, как возвращаются к нему силы от живого огня, от угощения

лесника, впавшего в глубокие размышления, он беспечно сказал:

— Не бес меня попутал, Захар Куприянович,— женщина!

Лесник отшатнулся от огня:

— Ба-а-аба-а-а-а?! — он суеверно ткнул перстом в небо.— И там ба-ба-а?!

Подбирая языком остатки зернышек на ладони, космонавт кивнул головой, подтверждая свое сообщение, и попросил удрученно онемевшего лесника, показывая на темную в кедраче тушу корабля, от которого тянулся мятый след по снегу:

— Мне нужно подкрепиться, Захар Куприянович. И нужно осмотреть ногу. Болит.

— Верно, верно,— засуетился лесник.— Подкормиться тебе надо, а у меня с собой ну ничегошеньки... Кабы я знал! — Он говорил, а сам не трогался с места, пряча глаза под окустившиеся брови, и все шарил вокруг себя руками.

— Когда зайдете в корабль, в боковом клапане нажмите кнопку с буквами НЗ,— и все вам откроется: термос, пакеты и тюбики с божьей пищей.

— Мне, поди-ка, нельзя? — напряженным сипом произнес Захар Куприянович. Не поворачиваясь, он потыкал пальцем через плечо в сторону корабля.— Туды нельзя... военная тайна... то да се... А может, я шпиён? — Захар Куприянович сам, должно быть, удивился такому предположению и даже как-то взорлил над костром.

Грудь у него выпятилась и один глаз прищурился. Очень он нравился себе в данный момент, рот вот только кривился от старой контузии да по природной смешливости, а так что ж, так хоть сейчас в разведчики. Но космонавт осадил его на землю, сказавши, что шпионы ходят в шляпах, в макинтошах широкоплечих, монокль у них в глазу, серебряные зубы во рту, а в руке тросточка, в тросточке фотоаппарат и пилюли с ядом. В этом деле он уж как-нибудь разбирается.

Захар Куприянович крякнул и решительно направился к кораблю. Все он нашел быстро и, вернувшись, восторженно покрутил головой:

— А кнопок! А механизмов! Ну, паря, и машина! Чистота в ей и порядок. Как ты все и помнишь только?! — Он постукал по своему лбу кулаком, наливая из термоса в колпачок кофе.— Сельсовет у тебя потому что крепкий...— И тут же, как бы самому себе, рассудительно утвердил, показывая наверх: — Да уж всякова якова туды не пошлют!

От кофе Захар Куприянович отказался, а вот фруктовой смеси из тюбика попробовал, выдавив немножко на ладонь. Прежде чем лизнуть, понюхал, зацепил языком багровый червячок, зажмурился, прислушался к чему-то, подержал во рту смесь, проглотил ее и почмокал губами:

— Еда-а-а-а!

Он курил, поджидая, когда напьется кофе космонавт, и сразу потребовал, чтобы тот ложился обратно на лапник.

— Ногу погляжу. Чего у тебя там? Не перелом, думаю. При переломе не шутковал бы...

Захар Куприянович сильно надавил на колено, затем на икру и, когда космонавт замычал от боли, приподнялся с корточек, стал размышлять, почесывая затылок:

— Разрезать придется, Алек Митрич. А костюм-то казенный, дорогой, поди-ко?

— Дорогой. Очень. Но ничего не поделаешь. Режьте.

Лесник направился к пошатнувшемуся кедру с развилом, и только теперь Олег Дмитриевич заметил на окостенелом суку кедра висящее ружье, патронташ с ножнами и опять подумал, что холодно леснику в одной рубахе да еще с распахнутым воротом. Но когда снова увидел Захара Куприяновича возле себя, грудастого, краснощекого, и почувствовал на голой уже ноге ненастывшие его руки, успокоился, заключив, что это и есть истинный сибиряк, о которых много говорят и пишут, а осталось их не больше, чем уссурийских тигров в тайге,— отдельные лишь семьи, которые в лесах затерялись.

Перетянув ногу бинтами, взятыми из аптечки корабля, Захар Куприянович сказал, что ничего будто бы особенного нет, чем-то придавило голень, и вот опухла нога, но идти он едва ли сможет и что загорать им предется здесь до вечера.

— А вечером что? — спросил космонавт, ругая про себя конструкторов, до того облегчивших корабль и так уверенных в точной его посадке, что наземной связи они не придали почти никакого значения, и она накрылась еще на старте, при прохождении кораблем земной атмосферы. Древняя, но прочная привычка русских людей — поставить хороший дом да прибить к дверям худые ручки — дотащится, видать, до конца второго тысячелетия и, может быть, даже его переживет.

Уйти от корабля, даже если бы и нога была здорова, космонавт не мог до тех пор, пока сюда не прибудут люди, которым нужно передать машину.

— Так что же вечером? — повторил Олег Дмитриевич вопрос впавшему в полусон и задумчивость леснику.

— Вечером? — встряхнулся старик. И космонавт понял, что он держится с людьми напряженно оттого, что сильно оконтужен.

— Вечером Антошка приедет,— отозвался Захар Куприянович и, как бы угадывая мысли космонавта, молвил: — Извини. Бывает со мной. Затупляется тут,— постукал он себя по лбу и, откашлявшись, продолжал: — Не мое это дело, как говорится, но вот что все же в дичь мне, Алек Митрич? Вот приземлился ты, слава богу, можно сказать, благополучно, а ни теплых вещей при тебе, ни оружия, ну никакого земного приспособления и провианту. Вот и Беляев с Леоновым пали в Перьмскую землю, так их тоже, по слухам, одевали местные жители?..

У лесника был мягкий говор, и космонавт, слушая, как он распевно тянул гласные «а» и «е», усмехнулся про себя, вспомнив, что представлял выговор сибиряков по хору, который, как и Волжский, и Уральский, в основном нажимает на букву «о», заворачивая ее тележным колесом — тем самым люди искусства упорно передают местный колорит и особенность говора, а получается, что везде одинаково кругло окают, и это очень смешно, но не очень оригинально.

— А ежели бы я в самом деле шпиён оказался? — донимал тем временем Захар Куприянович.— А хуже того — беглый бандит какой? Ну а пронеси тебя лешаки в чужое осударство?

— Это исключено, отец,— уже сухо, отчужденно сказал космонавт и, поправляя неловкость, громче добавил: — Каждый грамм в корабле рассчитан...

— Так-то оно так. Ученые, они, конечно, знают что к чему. И все же наперед учитывать надо бы земное имущество. А то из-за пустяка какова такая важная работа может насмарку пойти... Вон в семисят первом году трое сразу загинуло. Какие ребята загинули! Расея вся плакала об их...— Лесник сурово шевельнул бровями и печально продолжал: — Я как сейчас помню, сообщенье об взлете передали, а моя клуха в слезы: «Зачем же троих да в троицу? Небо-то примет, а земля как?» Я ее чуть не пришиб потом. Накаркала, говорю, клятая, накаркала!..

— Что, серьезно, так и сказала? — приподнялся на лапнике космонавт, пораженно уставившись на лесника.

— Врать буду! Она у меня не то кликуша, не то блаженная, не то еще какая... Как меня на фронте ранило почти до смерти — в горячке валялась, пока я не отошел... Вот

и не верь во всякую хреновину! С одной стороны, высший класс науки, люди на небеси, как в заезжем доме, а в тайге нашей все еще темнота да суеверие... Но душа-то человеческая везде по-одинаковому чувствует горе и радость. Скажи, не так?

— Так, Захар Куприянович, так. И плакали по космонавтам мы теми же слезами.— Олег Дмитриевич задумался, прикрыв глаза.— И что еще будет?.. Освоение морей и океанов, открытие Америки взяло у человечества столько жизней!.. Так ведь это дома, на Земле... Там,— кивнул космонавт головою в небо,— все сложней. Там море без конца и края, темное, немое... Но и там будут свои Робинзоны... Так уж, видать, на роду написано человеку — к совершенству и открытиям через беды и потери...

Захар Куприянович слушал космонавта не перебивая, хмурясь все больше и больше, затем двинул ногой в костер обгоревшие на концах бревешки, выхватил топор из кедра, одним махом располовинил толстый чурбак, пристроил поленья шалашом и мотнул головой:

— Пойду дров расстараюсь, а ты подремли, коли не окоченел вовсе.

— Нет, мне тепло.

— Да оно холодов-то больших и нет. Сёдни с утра семь было, ополудень того меньше. Ноябрьская еще погода. Вот уж к рожеству заверне-о-о-от! Тогда уж тута не садись! В Крым меть! Я там воевал,— пояснил лесник.— Благодать там! Да вот жить меня все же потянуло сюда... Н-нда-а-а-а, вот и по твоему рассуждению выходит: дом родной, он хоть какой суровай, а краше его во всем свете нету...

— Как же найдет нас Антошка? — чувствуя, что лесника потянуло на долгий разговор, прервал его космонавт.— И кто он такой?

— Антошка-то? А варнак! Юбилейного выпрыску варнак! К двадцатилетию Победы выскочил на свет, а известно: поздний грех грешнее всех. Наказанье мне в образе его от бога выпало за тот грех. Держу при себе. Ежели в город отпустить — он там всех девок перешшупает — такой он у меня развытной да боевой! На алименты истратит всего себя!..— Лесник сокрушенно покачал головой, и придвинувшись, доверительно сообщил: — Вот и лес кругом, сплошная тайга, а он и здесь эти, как их, кадры находит! То на лесоучастке, то в путевой казарме... Как марал, кадру чует носом и бежит к ей, аж валежник трешшыт! Шийдисят верст ему не околица! Деру его, деру, а толку...

Захар Куприянович плюнул под ноги и шагнул по мелкому еще снегу к кедру с отростком-сухариной. Космонавт не мог понять: отчего же это у одного дерева стволы разного цвета? Стукнул обухом по сухарине Захар Куприянович, прислушался, как прошел звон от комля до вершины по дрогнувшему дереву, и, поплевав на руки, крепко ахая к каждому взмаху, стал отделять от кедра белый, на мамонтовый бивень похожий, отросток, соря крупно зарубленной щепой на стороны.

Свалив сухарину, лесник раскряжевал ее, поколол на сутунки и подладил огонь, и без того горевший пылко, но по-печному ровно, без искр и трескотни. Кедр без братнего ствола сделался кособоким, растрепанным, в нем возникла просветь, и в самой тайге тоже образовалась проглядина. «В любом месте, в любом отрезке жизни все на своем месте находится»,— с легкой грустью отметил космонавт.

Присевши на розовенькое внутри кедровое полено, Захар Куприянович принялся крутить цигарку, отдыхиваясь, не спеша. На круто выдававшихся надбровьях его висели осколки щепы, переносицу окропило потом. Олег Дмитриевич успел выпить еще колпачок кофе, выдавил тюбик белковой смеси и мечтательно сказал:

— Хлебца бы краюшечку, ржаного с корочкой!

Лесник через плечо покосился на него, искривил рот в улыбке, и получилась она усмешкой.

— Что, ангел небесный, на искусственном-то питанье летать будешь, а на гульбу уж, значит, не потянет? — и поглядел на небо.— Скоро-скоро постолую тебя ладом, будет хлебец и похлебка, а ежели разрешается, то и стопка. А покуль скажи, Алек Митрич: винтолет прилетит — ему нужна площадка или как? Я вон дров наготовил для сигнала, если что...

— Поляна есть?

— Как не быть. В версте, чуть боле — мой покос.— Надо сигналить, дак я и стог зажгу...

— Ну, а зачем же сено губить! Попробуем до корабля добраться. Там у меня кое-что посущественней есть для сигналов...

— Дело твое,— спокойно сказал Захар Куприянович, подставляя космонавту плечо.— Но коли потребуется, избу спалю — не изубычусь...

Космонавт поднялся, шагнул и, охнув от боли, почти повис на Захаре Куприяновиче. Тот ловко подхватил его под мышку и понес, давая ему лишь слегка опираться здо-

ровой ногой. Получалось так, что будто бы космонавт шел сам, но он лишь успевал перебирать ногами.

Волною повалило полосу хвойного подлеска. Начисто снесло зеленую шапку с огромного кедра. Ударившись о ствол другого дерева, корабль уже боком, взадир прошелся по нему, сорвал ветви, располосовал темную рубаху с розовой подоплекой, а попутно посшибал и наружные присоски антенн с корпуса корабля.

«Ах, дура, дура моторная! — изругал себя космонавт, глядя на кедр.— Нашел время разгадывать загадки. А если бы на скалы попал или в жилое место?..»

Под кораблем и вокруг него оплавился снег, видны сделались круглые прожилистые листья лесного копытника, заячьей капусты, низкорослого, старчески седого хвоща, и свежо рдела на белом мху осыпающаяся брусника, а жесткие листья брусничника раскидало по земле. Всюду валялись прелые, кедровиками обработанные шишки, иголки острой травы протыкали мох, примороженные стебли морошки с жухлым листом вырвало и смело под дерева. Гибкий березник-чапыжник с позолотою редкого листа на кронах, разбежавшийся по ближней гривке, встревоженно разбросало по сторонам, а пихтарник, скрывающийся под ним, заголило сизым исподом кверху.

Вдали, над вершинами кедрачей, туманились крупные горы — шиханы. Ржавый останец с прожильями снега в падях и темными былками хребтовника курился, будто корабль перед стартом. За перевалами садилось солнце, яркое, но уже по-зимнему остывшее, не ослепляющее. Тени от деревьев чуть обозначились, и у корабля стала проступать голубоватая тень. Где-то разнобойно крякали кедровки, стучал дятел, вишневоголовая птичка звонко и четко строчила на крестовине пихты, повернувшись на солнце дергающимся клювом.

«Люди добрые, хорошо-то как!» — умилялся Олег Дмитриевич и, наклонившись, сорвал щепотку брусники. Ягода была налита дремучим соком тайги. Она прошлась по крови космонавта холодным током, и он не только слухом и глазами, а телом ощутил родную землю, ощутил и вдруг почувствовал, как снова, теперь уже осознанно, царапнуло горло. «Вот еще!..» Подняв лицо к небу, космонавт скрипуче прокашлялся и попросил лесника помочь ему подняться в корабль. Он подал Захару Куприяновичу плоский ящичек, мягкий саквояж с замысловатой застежкой и осторожно опустился на землю.

Когда они отошли шагов на десять, Олег Дмитриевич оглянулся, полюбовался еще раз кораблем и обнаружил, что формой своей, хотя отдаленно, но и в самом деле напоминает тульский самовар с узкой покатистой талией.

Корабли-одиночки: корабли-разведчики и одновременно испытательные лаборатории новой, не так давно открытой плазменной энергии — не прихоть и не фокусы ученых, а острая необходимость. В требухе матери-Земли, вежливо называемой недрами,— скоро ничего уже не останется из того, что можно сжечь, переплавить: все перерыто, сожжено, и реки Земли сделались застойными грязными лужами. Когда-то бодро называемые водохранилищами и даже морями, лужи эти еще крутили устарелые турбинные станции, снабжая электроэнергией задыхающиеся дымом и копотью города. Но вода в них уже не годилась для жизни. Надо было снова вернуть людям реки, надо было лечить Землю, возвращая ей дыхание, плодотворность, красоту.

Старинное, гамлетовское «Быть или не быть...» объединило усилия и разум ученых Земли, и вот спасение от всех бед, надежда на будущее — новая энергия, которая не горела, не взрывалась, не грозила удушьем и отравой всему живому, энергия, заключенная в сверхпрочном поясе этого корабля-«самовара», подобная ртути, что, разъединяясь на частицы, давала импульсы колоссальной силы, а затем кристаллами скатывалась в вакуумные камеры, где, опять же подобно шарикам ртути, соединялась с другими, «отработавшимися» уже кристаллами и, снова обратившись в массу, возвращала, в себя и отдавала ту недостающую частицу, которая была истрачена при расщеплении, таким вот путем образуя нить или цепь (этому даже и названия еще не было) бесконечно возникающей энергии, способной спасти все сущее на Земле и помочь человечеству в продвижении к другим планетам...

Открытие было настолько ошеломляющим, что о нем еще не решались громко говорить, да и как объяснить это земному обществу, в котором одни члены мыслят тысячелетиями вперед, другие — все тем же древним способом: горючими и взрывчатыми веществами истребляют себе подобных, а племена, обитающие где-то возле романтического озера Чад, ведут первобытный товарообмен между собою...

Ах, как много зависело и зависит от этого «самоварчика», на котором летал и благополучно возвратился «домой» русский космонавт! Все лучшие умы человечества, с верой и надеждой, может быть большей верой, чем древ-

ние ждали когда-то пришествия Христа — избавителя от всех бед, ждут его, обыкновенного человека, сына Земли, который и сам еще не вполне осознал значение и важность работы, проделанной им.

— Так какова, отец, таратайка? — продолжая глядеть на корабль и размышляя о своем, полюбопытствовал космонавт.

— Да-а, паря, таратайка знатная! — подтвердил Захар Куприянович.— Умные люди ее придумали. Но я нонче уж ничему не удивляюсь. Увидел в двадцатом годе на сибирском тракту «Аму» — как удивился, так с тех пор и хожу с раскрытым ртом... Сам посуди,— помогая двигаться космонавту к костру, рассуждал лесник.— При мне появилось столько всего, что и не перечесть: от резинового колеса и велосипеда вплоть до бритвы-жужжалки и твово самовара! Я, если нонче увижу телегу, ладом сделанную, либо сбрую конскую руками, а не ногами сшитую,— пожалуй, больше удивлюся...

Он опустил космонавта на лапник, набросил на спину его полушубок, поворошил огонь и прикурил от уголька.

— Нога-то чё? Тебе ведь придется строевым к правительству подходить. Как, захромаешь?! — Захар Куприянович подморгнул Олегу Дмитриевичу, развел широкий рот в кривой улыбке, должно быть, ясно себе представляя, как это космонавт пошкандыбает по красной дорожке от самолета к трибуне.

— Врачи наладят,— охладил его космонавт.— У нас врачи новую ногу приклепают — и никто не заметит!..

Захар Куприянович поворошился у огня, устроился на чурбаке, широко расставил колени.

— Фартовые вы! — Олег Дмитриевич вопросительно поднял брови.— Фартовые, говорю,— уже уверенно продолжал старик.— Вот слетаете туды,— ткнул он махорочной цигаркой в небо,— и все вам почести: Героя Звезду, правительство с обниманием навстречу! Ну, само собой, фатера, зарплата хорошая... А если, не дай бог, загинет который — семью в нужде не оставят, всяким довольствием наделят...

— Ну а как же иначе, отец? Что в этом плохого?

— Плохого, конечно, ничего нет. Все очень правильно. На рыск идете... Но вот, Алек Митрич, что я скажу. Ты токо не обижайся, ладно?

— Постараюсь.

— Вот и молодец! Так вот, как на духу ответь ты мне, Алек Митрич: скажем, солдат, обыкновенный солдат, когда

из окопу вылазил и в атаку шел... а солдат штука шибко чутливая, и другой раз он твердо знал, что поднялся в последнюю атаку. Но совсем он нетвердо знал — схоронят ли его по обряду христианскому. И еще не знал, что с семьей его будет. О почестях, об Герое он и подавно не думал — сполнял свое солдатское дело, как до этого сполнял работу в поле либо на заводе... Так вот скажи ты мне, Алек Митрич, только без лукавства, по совести скажи: кто больше герой — ты или тот бедолага солдат?

— Тут двух ответов быть не может, отец,— строго произнес космонавт.— Как не могло быть ни нас, ни нашей работы, если б не тот русский солдат.

Захар Куприянович глядел на огонь, плотно сомкнув так и не распрямляющиеся губы, и через время перехваченным голосом просипел:

— Спасибо.— Помолчав, он откашлялся и, ровно бы оправдываясь, добавил: — Одно время совсем забывать стали о нашем брате солдате. Вроде бы сполнил он свое дело — и с возу долой! Вроде бы уж и поминать сделалось неловко, что фронтовик ты, окопный страдалец. Награды перестали носить фронтовики, по яшшыкам заперли... Это как пережить нам, войну заломавшим? Это ведь шибко обидно, Алек Митрич, шибко обидно... Вот я и проверил твою совесть, кинул вопросик язвенный. Ты уж не обижайся...

— У меня отец тоже фронтовик. Рядовой. Минометчик.

— А-а! Вот видишь, вот видишь! — Лицо Захара Куприяновича прояснилось, голос сделался родственней.— Да у нас ведь искорень все от войны пострадавшие, куда ни плюнь — в бойца попадешь боевого либо трудового. И не след плеваться. Я ж, грешник, смотрел на космонавтов по телевизору и думал: испортят ребят славой, шумом, сладкой едой... Вишь вот — ошибся! Неладно думал. Прости. И жене этого разговора не передавай.

«Фартовые,— повторил про себя космонавт.— У всякого времени, между прочим, были свои баловни и свои герои, но не все пыжились от этого, а стеснялись своего положения. И вызывающий ответ одного из первых космонавтов на глупый вопрос какого-то заслуженного пенсионера, ставший злой поговоркой: «Где лучше жить — на Земле или в космосе?» — «На Земле! После того как слетаешь в космос!» — был продиктован чувством неловкости и досады, и ничем другим».

— Я не могу ничего передать свой жене, Захар Куприянович, потому что не женат.

— Н-н-но-о? Худо дело, худо! — Захар Куприянович, стараясь держаться в дружеском тоне, почесал голову под шапкой.— Это ведь они, девки-то, как мухи на мед, на тебя набросятся и закружат! Закружа-а-ат. Не старый еще, при деньгах хороших, на виду у всего народа! Закружа-а-ат! Ты, паря, уши-то не развешивай, какую попало не бери, а то нарвешься на красотку — сам себе не рад будешь!..

Олег Дмитриевич улыбался, слушая ровную текучую речь Захара Куприяновича, его полунасмешливые советы по части выбора половины, и все время пытался представить своего отца на месте лесника. Ничего из этого не выходило. Тот застенчивый, потерянный вроде бы в жизни, чем-то напоминающий чеховского интеллигентного чиновника, хотя вечный работяга сам и произошел из рабочей семьи. Говорят: баба за мужиком. А у его родителей все получилось наоборот. Пока мать жила — и отец как отец был, хозяин дома, глава, что ли. Но перед самой войной свернула тяжкая болезнь полнощекую, бегучую, резвую мать и унесла ее в какой-то месяц-два в могилу, и сразу отец сиротой стал, а Олег и подавно.

До десяти лет, пока отец с войны не возвратился, Олег воспитывался у тети Ксаны. И устал. Устал от ее правильности, нерусской какой-то правильности, от сознания места, какое он занимал в чужой семье.

Было у тетки еще двое детей — дочь и сын. И все, что делалось или покупалось для них, делалось и покупалось для него. Но только яблоко ему почему-то попадалось с червяком, штаны заплатанные, ботинки поношенные, тарелка за столом в последнюю очередь... Ему все время давали почувствовать — чье он ест и пьет. И он не забывал об этом. Если поливал огород — не считал за труд принести лишнюю бадью воды, если чистил свинарник — выскабливал его до желтизны, если рвал рубаху — дрожал осиновым листом; разбитое стекло спешил сам и застеклить, хотя тетя Ксана никогда его не била, а своих лупцевала походя, и они с неприязнью, а порой и враждебностью относились к сводному брату, вредили ему чем могли. Тетушка, горюнясь лицом, часто повторяла: «Олежек, тебе полагается быть поскромнее да потише. Ласковый теленок две матки сосет, грубый — ни одной...» И это было хуже побоев.

Как же он был счастлив, когда вернулся с войны отец. Униженно выслушав тетю Ксану и униженно же отблагодарив ее старомодным поклоном за все, что она сделала для сына, отец отремонтировал хлев, покрыл заново крышу

на домике тетушки, подладил мебель, переложил печь, из старого теса выстрогал «гардероп» — и не взял, к радости Олега, никаких денег за это и ничего из шмоток, «заведенных сиротке». Он взял сына за руку и увел его с собою.

Отец по профессии столяр-краснодеревщик, и поселились они жить в узенькой комнатке при мебельном комбинате. После смерти матери тихоня отец пристрастился к выпивке, а на войне еще больше втянулся в это дело. Олег привык к нему пьяненькому и любил его пьяненького, смущенного и доброго. Воля Олегу была полная — живи и учись как знаешь, обихаживай дом как умеешь. И Олег учился ни шатко ни валко, дом вел так же, однако к самостоятельности привык рано. Отец чем дальше жил и работал, тем больше ударялся в домашний юмор, называл себя столяром-краснодырщиком, краснодальщиком, краснодарильщиком и еще как-то. На комбинате заработки после войны были худые, отец халтурил на дому: делал скамьи, табуретки, столы и коронную свою продукцию — «гардеропы». Приморский городишко и особенно окраинные его поселки были забиты отцовскими неуклюжими «гардеропами». В любом доме Олег натыкался на эти громоздкие сооружения, покрашенные вонючим, долго не сохнущим лаком. За «гардеропы» в дому их не переводилась еда, стирали им бабенки, изредка прибирали в комнате, где все пропахло лаком, стружками и рыбьим клеем.

Как хорошо, как дружно жили они с отцом! Один раз, один только раз отец наказал его. Олегу шел шестнадцатый год. Он ходил в порт на разделку рыбы вместе с поселковыми ребятами, выпил там и покурил. Отец снял со стены старый солдатский ремень и попытался отстегать Олега. Покорно стоял паренек среди комнаты, а отец хвостал его мягким концом ремня и задышливо кричал: «Хочешь как я?! Хочешь как я?! Пьянчужкой чтобы?..»

Потом он отбросил ремень, сел к столу и заплакал: «Конечно, была бы мать жива, разве бы распустила она тебя так...»

Олег подошел, обнял отца, сухонького, слабого, и поцеловал его руку, опятнанную краской...

С тех пор он никогда не напивался. Курить, правда, научился, но в летной школе пришлось и с этой привычкой расстаться. А отец как жил, так и живет в приморском городишке, в той самой комнатке, обитой изнутри квадратами фанеры, и никакими путями не вызволить его оттуда. «Вот уж когда женишься, внуки пойдут... А пока не тревожь ты меня, сынок. Мне здесь хорошо. Все меня знают...»

Суетятся сейчас соседи, особенно соседки. В поселке дым коромыслом! — снаряжают отца в дорогу. А он, страшась этой дороги и всего, что за нею должно последовать, хорохорится: «Мы, столяры-краснодеревщики, нигде не пропадем!»

Космонавт улыбнулся и тут же с тревогой подумал: «Не сказали бы отцу, что я потерялся. Сердчишко-то у него...» И вспомнилось ему, как после гибели Комарова отец, наученный, должно быть, соседками, намекал в письме, будто космонавт выбрался из ракеты в океан и плавает на резиновой лодке, и надо бы искать его, не отступаться. Слышал о Комарове отец в поселковой бане, и в бане уж зря не скажут, сам, мол, знаешь,— от веку все сбывалось, что здесь говорили... Олег прочел послание отца друзьям.

Покоренные простодушием письма, космонавты весь вечер проговорили о доброте и бескорыстии своего народа, и так уж получилось, что письмо то вроде бы и горе подрастопило, начала исчезать подавленность. Но не успели переложить одну беду, как громом с ясного неба ударила гибель Юры, а вскоре целиком экипажа «Союза»... Сколько же еще возьмет славных братьев это самое завоевание космоса?! Слово-то какое — завоевание!

— Захар Куприянович, как скоро придет этот самый варнак Антошка?

— Антошка-то? — Захар Куприянович передернул плечами, посмотрел выше кедров.— А скоро и будет. Вот стрельнем — он и будет! — Лесник снял с дерева двустволку, поднял ее на вытянутой руке и сделал дуплет. Выбросив пустые гильзы, зарядил ружье, чуть пошабашил и еще сделал дуплет.— Скоро будет,— прибавил он, цепляя ружье на сук.— Я думал, ты задремал.

— Об отце я думал. Беспокоится старик.

— Как не беспокоиться? Дело ваше рисковое, говорю. Матери-то нет? Нету-у... Значит, отцу за двоих угнетаться. Ты там леташь выше самого господа бога, а он тут с ума сходи!.. Ох, дети, дети, и куда вас, дети? Ты ему весточку пошли, отцу-то.

— Как же я ее пошлю?

— Отсуда телеграфу, конечно, нету. А шийдисят верст пройдешь — будет станция березай, кто хочет — вылезай! Оттуда и пошлем отцу телеграмму, свяшшникам твоим и всем, кому надо.— Предупреждая вопрос космонавта, Захар Куприянович пояснил: — Значит, об эту пору варнак мой с работы является. И сразу к матке: «Где тятя?» — «В лесу тятя». А тятю немецким осколком по кумполу

очеушило. Он идет, идет да и брякается — копыта врозь. Лежит, все чует, а подняться не может. В городу один раз поперек тротуара — дак трудящие перешагивают, пьяный, говорят, сукин сын... Ну, а тут, в лесу, лежу-лежу — и отлежуся. Но ежели в назначенное время не являсь — Антошка находит меня, в чувствие приводит либо волокет на себе домой. Означенное время как раз наступило. Антошка по следу моему счас шарится.

— Как же вы, Захар Куприянович, с падучей — по тайге?

— А что делать-то, паря? На пече лежать? Так я в момент на ней засохну и сдохну. Во! — насторожился он и поднял предостерегающе палец.— Идет, бродяга, ломится!

Олег Дмитриевич напряженно вслушался, но ничего в тайге не уловил, никаких звуков. Редкие птицы уже смолкли. От деревьев легли и сгустились тени. В костре будто пощелкивали кедровые орешки, шевелилась от костра на снегу хвостатая тень. Стукнул где-то дятел по сухарине и тоже остановил работу, озадаченный предвечерней тишиной. Витушки беличьих и соболиных следов на снегу сделались отчетливей, под деревьями пестрела продырявленная пленка снега, от шишек, хвои и занесенных с березника ярких листочков.

Покойно и сурово было в тайге. Сумеречь накатывала со всех сторон, смешивала тени леса и сам лес. Бескрайняя таежная тишина, так же как и в космосе, рождала чувство покинутости, одиночества — казалось, нигде в миру нет ни единой души, и только тут, возле огня, прибилась еще какая-то жизнь. Олег Дмитриевич поежился, представив себя совершенно одного в этой тайге. Что бы он здесь делал, как ночевал бы? Уйти-то нельзя. Пулял бы ракеты вверх и ждал у моря погоды, испытывая оторопь и неизведанный, ни с чем не сравнимый страх человека, поглощенного тайгой, настолько большой и труднодоступной, что ее не смогли до сих пор свести под корень даже с помощью современной техники.

В пихтовнике раздался шорох, качнулись ветви, заструилась с них изморозь, и в свете костра возник парень на лыжах, в телогрейке, в сдвинутой на затылок беличьей шапке, с бордовым шарфом на шее. Он резко затормозил лыжами возле костра и пораженно глядел то на отца, то на космонавта.

— Знакомься...

— А я думал...

— Думал, думал...— буркнул Захар Куприянович и стал собираться, укладывая кисет и спички в карман.

— Я думал... Так это Олег Дмитриевич, что ли?!

— Он! — торжественно и гордо заявил отец.— Посиди вот с ним, покалякай. А лыжи и телогрейку мне давай!

Парень снимал лыжи, телогрейку, а сам не отрывал взгляда от космонавта, будто верил и не верил глазам своим.

— А вас ищут! Засекли, что вы в районе нашего перевала упали, а где точно, не знают. Назавтра поиски всем леспромхозом организуются.

— Назавтре,— проворчал Захар Куприянович.— А сё-дня, значит, загинайся человек!

— Сё-одня! — передразнил сын отца.— Сёдня все на работе были, как тебе известно. Звонок недавно совсем директору, а от директора покуль до нашего участка добились... Меня Антоном зовут.— Парень подал руку космонавту и коротко, сильно жманул.— В порядке все?

— Ногу немножко...

— Донесем! — с готовностью откликнулся Антон.— На руках донесем! Такое дело! Ты чё это, тятя, ковыряешься, как покойник?

— Утрись! — цыкнул Захар Куприянович на сына, взял таяк и по-молодецки резво перебросил ногою лыжу.— Не надоедай тут человеку! — наказал он и широко, размашисто катнулся от костра, и лес сразу поглотил его.

— Силен мужик! — покрутил головой космонавт и хитровато покосился на Антошку.— Дерет тебя, сказывал?

— Махается! — нахмурился парень, опустив глаза.— Другого б я заломал. А его как? Отец! Да еще изранетый...— Парень достал из кармана пачку папирос, протянул быстро космонавту, но опамятовался, сделал «чур нас!» и закурил сам, лихо чиркнув замысловато сделанной из дюраля зажигалкой. Прикуривал он как-то очень уж театрально, топыря губы и отдувая чуб, в котором светились опилки.

«Кокетливый какой!» — улыбнулся космонавт.

Под серым свитером, плотно облегающим окладистую фигуру парня, разлетно прямели плечи. Руки крупные, на лице тоже все крупно и ладно пригнано, волосы отцовские, рыжеватые, глаза чуть шалые и рот безвольный, улыбчивый. «Этот парень будущей жене и командирам в армии не подарок! Этот шороху в жизни наделает! — любуясь парнем, без осуждения, даже будто с завистью думал Олег

Дмитриевич.— Сейчас он, пожалуй что, в космонавты начнет проситься...»

Антошка, перебарывая скованность, мотнул головой в темное уже небо:

— Страшно там?

«Во, кажется, издалека подъезжает»,— отметил космонавт и произнес:

— Некогда было бояться. Вот здесь когда оказался — страшно сделалось.

— Х-хы, чё ее, тайги-то, бояться? Тайга любого укроет. Тайга добрая.

— До-обрая. Не скажи!

— Конечно, к ней тоже привыкнуть надо,— рассудительно согласился парень и неожиданно спросил: — А вам Героя дадут?

— Я не думал об этом.

Антошка с сомнением глядел на космонавта, а затем так же, как отец, сдвинул шапку на нос, почесал голову и воскликнул:

— Во жизнь у вас пойдет, а! Музыка, цветы! А девок, девок кругом! Что тебе балерина, что тебе кинозвезда!..

«Голодной куме все хлеб на уме! И этот о том же!» — усмехнулся Олег Дмитриевич и подзадорил Антошку:

— Любишь девок-то?

— А кто их, окаянных, не любит?! Помните, как в байке одной: «Тарас, а Тарас! Девок любишь? Люблю. А они тебя? И я их тоже!» Ха-ха-ха! — покатился Антошка, аж дымом захлебнулся и тут же посуровел лицом: — Отец небось наболтал? Как сам к Дуське-жмурихе в путевую казарму прется, так ничего...

— До сих пор ходит?!

— Соображает!

— Ему сколько же?

— Шестьдесят пять.

— Тут только руками разведешь!

— И разведешь! А на меня чуть чего — веревкой! Избалуешься! Эта самая свекровка, которая снохе не верит! — заключил Антошка и ерзнул на чурбаке.— Да ну их, несерьезные разговоры. Трепотня голимая!.. Я вот об чем хочу вас спросить, пока тяти нет. Вот мне восемнадцать, девятнадцатый, мне еще в космонавты можно?

«Вот. Дождался! А сколько будет этого еще? Вон ребят наших прямо заездили вопросами да просьбами. Пенсионеры и те готовы лететь в космос, хоть поварами, хоть кучерами...»

— Образование какое у тебя?
— Пять.
— Маловато. Представляешь ли ты себе наш труд?
— Представляю. По телевизору видел, как вас, горемышных, на качулях и на этой самой центрифуге мают и как в одиночку засаживают... Тяжело, конечно... разговорчивый если — совсем хана!..
«Ну, этот сознательный. С этим я быстро слажу».
— И это, Антон, не самое главное. Труд каждодневный, требующий все силы: физические, умственные, духовные. Жить нужно в постоянном напряжении, работать, работать, работать... Сила воли ой какая нужна! Самодисциплина прежде всего!..
Парень задумался, поскучнел.
— Учиться опять же... А я пять-то групп мучил, мучил!.. Отец каждую декаду в поселок наезжал, жучил меня. Видите, какие большие ухи сделались,— доверительно показал Антошка ухо, приподняв шапку,— за семь-то лет!
— Так ты что,— рассмеялся космонавт.— Семь лет свои классы одолевал?!
— Восемь почти. На восьмом году науки отец меня домой уволок. Ох и бузова-ал! «Раз ты, лоботряс, лизуком хочешь жить, ну, значит, легко и сладко,— пояснил Антон,— пила и топор тебе! Ломи! Тайги на тебя еще хватит!» Но я его надул! — хмыкнул Антошка.— Он мне двуручку сулил, а я бензопилой овладел! На работу я зарный — валю лесок.— Антон неожиданно прервался, совершенно другим тоном, деловито распорядился: — Приготовьте все что надо: телеграммы там какие, сообщения. Сейчас тятя придет, и я на участок.
Из пихтарника выкатился Захар Куприянович с большим мешком за спиной.
— Живы-здоровы, Алек Митрич? — поинтересовался он.— Не уморил частобайка-то трепотней?
Антошка насупился. Лесник сбросил с плеч собачью доху, накинул ее на Олега Дмитриевича, затем вытряхнул из мешка подшитые валенки, осторожно надел их, сначала на поврежденную ногу космонавта, затем на здоровую. После этого достал деревянную баклажку, опоясанную берестой, поболтал ею и налил в кружку.
— Чё мало льешь? Жалко? — вытянул шею Антошка.
Отец отстранил его рукой с дороги и протянул кружку космонавту:
— Ожги маленько нутро, Алек Митрич. Ночь надвигается,— настойчиво сказал он.— Потом уж как можешь.—

И пока космонавт отдыхивался, хватив несколько глотков чистого спирту, пока жевал теплое мясо с краюшкой домашнего хлеба, с хрустящей корочкой (не забыл старик), Захар Куприянович наказывал Антошке, что и как делать дальше.

В блокноте, почти исписанном от корки до корки, Олег Дмитриевич быстро набросал несколько телеграмм, одну из них, самую краткую,— отцу. Антошка стоял на лыжах, запоясанный, подобранный, ждал нетерпеливо. Засунув бумажки под свитер, на грудь и заправив шарф, он пружинисто выдохнул:

— Так я пошел! Я живчиком!..

— Надежно ли документы-то схоронил? — спросил отец и начал наказывать еще раз: — Значит, не дикуй, ладом дело спроворь. Сообщи, стало быть, номер лесничества, версту, квартал в точности обрисуй. Винтолет ежели прилетит, чтобы на покос садился. Мы туда к утре перетаборимся... Все понял?

— Да понял, понял!

— Ты мордой-то не верти, а слушай, когда тебе сурьезное дело поручают! — прикрикнул на него отец.— Может, ночью винтолет полетит, дак огонь, скажи, на покосе будет. Ну, ступай!

Антошка мотнул головой, свистнул разбойничьим манером и рванул с места в карьер — только бус снежный закрутился!

— Шураган! Холера! — Захар Куприянович ворчал почти сердито, однако с плохо скрытой довольностью, а может, и с любовью.— Моя-то клушка-то: «Ах, господи! Ах, боже ты мой! И что же теперь будет?! Ах! Ах!» — засуетилась, а сама не в ступ ногу. Горшок с маслом разбила. Суда собиралась, да ход-то у ей затупился. Капли пьет. Молока вот тебе послала. Горячее ишшо.— Лесник вынул из-под телогрейки вторую флягу и протянул Олегу Дмитриевичу.

Космонавт отвинтил крышку, с трепетным удовольствием выпил томленного в русской печке молока.

— Ах, спасибо! Вот спасибо! Сеном пахнет! — В голосе его маленько пошумливало и шаталось, сделалось ему тепло и радостно.— А вы-то? Вы ж не ели?

— Обо мне не заботься,— махнул рукою лесник.— В доху-то, в доху кутайся. Студеней к ночи сделалось.

— Нет, мне тепло. Хорошо мне. Вот, Захар Куприянович, как в жизни бывает. Никогда я не знал вас, а теперь

вы мне как родной сделались. Помнить буду всю жизнь. Отцу расскажу...

— Ладно, ладно, чего уж там... Свои люди.— Захар Куприянович смущенно моргал, глядя на темные кедрачи.— Не я, так другой, пятый, десятый... У нас в тайге закон такой издревле. Тут через павшего человека не переступят...

Спустя малое время Захар Куприянович укутал космонавта, сомлевшего от спирта и еды, в полушубок и доху, убеждая, что поспать нужно непременно — много забот и хлопот его ожидает, стало быть, надо сил набраться.

Размякший от доброй ласки, лежал космонавт возле костра, глядел в небо, засеянное звездами, как пашня нерадивым хозяином: где густо, где пусто, на мутно проступающие в глубинах туманности, по которым время от времени искрило, точно по снежному тополю; на кругло катящуюся из-за перевала вечную спутницу влюбленных и поэтов, соучастницу свиданий и разлук, губительницу душ темных и мятежных — воров, каторжников, бродяг, покровительницу людей больных, особенно детишек, которым так страшно оставаться в одиночестве и темноте.

Такими же вот были в ту пору небо, звезды, луна, когда и его, космонавта, не было, когда человек и летать-то еще не научился, а только-только прозрел и не мог осмыслить ни себя, ни мир, а поклонялся богу как покровителю. Боясь его таинственной беспредельности, приближая его к себе и задаривая, человек населил себе подобными, понятными божествами небеса. Но нет там богов. И луна совсем не такая, какою видят ее влюбленные и поэты, а беспредельность, как сон, темна, глуха и непостижима.

Стоило бы каждого человека хоть раз в одиночку послать туда, в эту темень и пустоту, чтобы он почувствовал, как хорошо дома, как все до удивления сообразно на земле, все создано для жизни и цветения. Но человек почему-то сам, своими умными руками рвет, разрушает эту сообразность, чтобы потом в муках воссоединять разорванную цепь жизни или погибнуть.

Олег Дмитриевич смотрел ввысь совершенно отстраненно, будто никогда и не бывал там. Вот приземлился и почувствовал себя учеником, вернувшимся из городского интерната в родную деревенскую избу, после холода забравшимся на русскую печь. Под боком твердая земля, совершенно во всем понятная: на земле этой растут деревья,

картошка, хлеб, ягоды и грибы, по ней текут реки и речки, плещутся озера и моря, по ней бегают босиком дети и кричат чего вздумается. В земле этой лежит родная мать, множество солдат, не вернувшихся с войны, спят беспробудно принявшие преждевременную смерть космонавты — нынешние труженики Вселенной. И дорога земля еще и той неизбежной печальной памятью, которая связывает живых и мертвых.

А там ничего этого нет...

«Не надо об этом думать. Не хочу! Не буду!» — приказал себе космонавт и вышколенно отключился от земной яви, но он чувствовал возле себя человека, близкого, заботливого, а сквозь сомкнутые ресницы и яркие проблески огня дыхание вбирало запах кедровой хвои и разопревшего в костре дерева, отдающего сдобным тестом.

Над ним стояла ночь, звонкая, студеная, и звезды роились в небе из края в край. Звезды, которые космонавт видел крупными, этакие сгустки мохнатого огня, порскающего яркими ошметками,— были опять привычно мелки и на привычных местах. Мерцая и перемигиваясь, они роняли слабый, переменчивый свет на землю, на космонавта, сладко, доверчиво посапывающего у костра. Оттопыренные полураскрытые губы его обметала уже бороденка и усы, а под глазами залегла усталость.

Жалея космонавта, разморенного сном, Захар Куприянович осторожно разбудил его, когда начало отбеливать небо с восточной стороны.

— Что снилось-то? Москва? Парад? Иль невеста?

Космонавт озирался вокруг, потирая щеку, наколотую хвоей лапника.

— Не помню. Заспал,— зевая, слабо улыбнулся он.

Щетина на лице Захара Куприяновича заметно загустела, и волос вроде бы толще сделался. Глаза лесника провалились глубже, шапка заиндевела от стойкого, всю тайгу утишившего морозца.

— Измучились вы со мной,— покаянно сказал космонавт. Но лесник сделал вид, что не слышал его, и Олег Дмитриевич прекратил разговор на эту тему — есть вещи, о которых не говорят и которые не обсуждаются.

Солнце еще не поднялось из-за перевалов. Все недвижно, все на росстани ночи с утром. Сизые кедры обметаны прозрачной и хрупкой изморозью. Но с тех, что сомкнулись вокруг костра, капала сырь, и они были

темны. Сопки, подрезанные все шире разливающейся желтенькой зарицей, вдали уже начинали остро обозначаться.

Над костром булькал котелок, в нем пошевеливался лист брусничника, однотонно сипела в огне сырая валежина. Снег вокруг отемнился сажею. Космонавт шевельнул ногой, приступил на нее и ковыльнул к огню, протягивая руки.

— Эдак, эдак, эть-два! — сказал Захар Куприянович и начал подсмеиваться: он, мол, нисколь и не сомневался в том, что заживет до свадьбы, то есть до парадного марша в Москве. Парад, мол, мертвого на ноги поставит, а уж такого молодца-офицера, будто задуманного специально для парадов, и подавно!

Подтрунивая легко, необидно, Захар Куприянович поливал из кружки на руки космонавту. Велел и лицо умыть — нельзя, чтоб космический брат зачуханный был! Что девки скажут?!

«Ну и мужички-сибирячки! Все-то у них девки на уме!» — обмахивая лицо холщовым рукотерником, который оказался в мешке запасливого лесника, улыбался космонавт. Потом они пили чай с брусникой, громко причмокивая,— воля!

— Здоров ты спать, паря! — потягивая чай из кружки, с треском руша кусок рафинада, насмешливо щурился Захар Куприянович.— Тебе бы в пожарники!

— Не возьмут. Да я и не пойду — зарплата не та,— отшутился Олег Дмитриевич.— Так я спал, так спал!..

Все вокруг нравилось Олегу Дмитриевичу: и студеное утро, и жарко нагоревший костер, и чай с горьковато напревшим брусничником, и дядька этот, с виду только ломовитый, а в житье — просмешник и добряк.

— Да-а, что верно, то верно — говорил и говорить буду: лучше свово дома ничего нет милей на свете. По фронту знаю,— ворковал он, собирая манатки в мешок.

И когда они шли к покосу, космонавт светло озирался вокруг, сбивал рукой снег с ветвей, наминал в горсть, нюхал и даже лизнул украдкой, как мороженое. Остановился, послушал, как ударила в лесу первая синица, хотел увидеть белку, уронившую перед ним пустую, дочиста выеденную шишку, но не увидел, хотя Захар Куприянович и показывал туда, где она затаилась.

Морозец отковал чистое и звонкое утро. Оно входило в тайгу незаметно, но уверенно. Хмурая, отчужденная тай-

га, расширяясь с каждой минутой, делалась прозористей и приветливей.

Ближе к покосу пошла арёма — высокое разнотравье, усмиренное морозом, среди которого выделялись ушедшие в зиму папоротники, улитками свернутые на концах. Зеленые их гнезда одавило, и они студенистыми медузами плавали по снегу. Возле речки и парящих кипунов густо росла шарага — так называл лесник кривое, суковатое месиво кустарников, сплетенных у корней. Космонавт улыбнулся, узнав исходную позицию популярного когда-то слова, и поразился его точности.

Посреди поляны толстой бабой сидел стог сена. Из него торчала жердь, как локаторный щуп. Топанина на покосе была сплошная, козья, заячья, на опушке попадались осторожные даже и в снегу, изящные следы косуль и кабарожек. Сохатые ходили напролом, глубоко продавливали болотину у речки, выбрасывая копытами размешанный торф, белые корешки колбы и дудочника. Звери и потеребили стожок, и насыпали вокруг него квадратных орешков. Все-таки строгие охранные меры сберегли кое-что в этой далекой тайге.

По верхней, солнечной закромке покоса флагами краснела рябина; ближе к речке, которая угадывалась по сгустившемуся чернолесью, ершилась боярка, и под нею жестяно звенел припоздалым листом смородинник. По белу снегу реденько искрило желтым листом, сорванным с березников, тепло укрывшихся в заветренном пихтовнике. Осень в Сибири была ранняя, но тянулась долго и сбила с ноги идущую к своему сроку природу.

Солнце поднялось над вершинами дальних, призрачно белеющих шиханов. Заверещали на рябинах рябчики, уркнул где-то косач, и все птицы, редкие об эту пору, дали о себе знать. Чечетка, снегирь, желна! А больше никаких птиц угадать Олег Дмитриевич не смог, но все равно млел, радуясь земным голосам, утру и, блаженно улыбаясь, в который раз уже повторил:

— Хорошо-то как, господи!

Захар Куприянович, вытеребливая одонышки из стога, ухмыльнулся в щетину:

— По небу шаришься, на тот свет уж вздымался, а все господа поминаешь!

— Что? А-а! Ну, это...— Олег Дмитриевич хотел сказать — привычка, дескать, жизнью данная, и не нашлось до сих пор новых слов для того, чтобы выражать умиление, горечь и боль. Но не было желания пускаться в разговоры,

хотелось только смотреть и слушать, и, опустившись на охапку таежного, мелколистного и ошеломляюще духовитого сена, он привалился спиной к стожку и расслабленно дышал, поглядывая вокруг.

Лесник забрался в черемушник — пособирать ягод в котелок. Но только он нагнул черемуху с красноватыми кистями, на которых стекленела морозцем схваченная ягода, как над лесом раздался рык, треск — и в вышине возник вертолет. Он прошел над полями и стал целиться брюхом на стог.

Олег Дмитриевич зажег свечу. Она засветилась, как елочный бенгальский огонь, только шире, ярко бросала она разноцветные искры и не успела еще погаснуть в снегу, как вертолет плюхнулся на поляну, покачался на колесах, вертя крыльями винта, расшуровывая снег с поляны, обнажая иглы стойких хвощей и пушицы.

Лопасти еще вертелись над вертолетом, но вокруг сделалось растерянно-немо после оглушительного рева и треска. Дверь вертолета открылась, и оттуда, не дожидаясь, когда выкинут подножку, вывалился Антон с развевающимся за спиной бордовым шарфом, с шапкой, вовсе уж отброшенной на затылок.

— Пор-р-рядок! Я весь Советский Союз на ноги поднял! — еще издали закричал он и заключил космонавта в объятия, объясняя при этом, что привел вертолет лесоохраны и что вот-вот прибудет вертолет особого назначения, поисковая группа прибудет и много чего будет!..

— Отпусти человека-то, отпусти, вихорь! — заступался за космонавта Захар Куприянович.

Возле вертолета нерешительной стайкой толпилась местная верхушка: директор леспромхоза с парторгом, начальник лесхоза в нарядном, как у маршала, картузе. Девушка в лаковых сапожках и в новом коротеньком пальто — должно быть, представитель здешнего комсомола — терзала в руке цветы: герани, срезанные с домашних горшков, две худенькие квелые розочки и пышную тую.

«Розы-то они, бедные, где же откопали? — изумился космонавт.— Должно быть, цветовода-любителя какого-то свалили!» «И, страдая до конца, разбивает два яйца!..» — вспомнилась строчка из «Теркина».

Космонавт поздоровался с местной властью за руку, принял цветы. Девушка залепетала, видимо, заранее подготовленную и порученную ей речь:

— Рады приветствовать... вас... тут... разведчика Вселенной... на нашей... на прекрасной... от имени...

Олег Дмитриевич был смущен не меньше девушки, топтался неловко перед нею и, чтобы поскорее ликвидировать заминку, взял да и поцеловал ее в щеку, покрытую пушком, чем смутил и оглушил девушку настолько, что она не в состоянии была продолжать речь. Директор и парторг укоризненно глядели на девушку, но она была, видать, не робкого десятка, быстро опамятовалась и, улыбнувшись широко, белозубо, взяла да и сама поцеловала его.

Ритуал разрушился окончательно. Намеченные речи и приветствия отпали сами собой, свободней всем сделалось, и директор леспромхоза, как лицо деловое, начал интересоваться: что нужно предпринять и чем помочь товарищу космонавту? Но тут из вертолета вывалился дядька в очках, за ним выпрыгнул лопоухий пес, помочился на колесо машины, обнюхался, взял след зайца и ударился в речное чернолесье, поднял там косого дурня, которого после ночных гуляний даже вертолет не разбудил, попер его вокруг вертолета, чуть не хватая за куцый зад.

Никогда не видавший не только машины, но и никакого народу зайчишка ошалел настолько, что начал прятаться в колесах, будто в чаще. Все хохотали, схватившись за животы. Очкарик, как потом выяснилось, учитель школы и заядлый фотограф, которому до времени не велено было являться из вертолета на глаза космонавту, не терялся, а щелкал да щелкал аппаратом, бегая вокруг машины, науськивая собаку. Снимки эти потом обошли почти все газеты и журналы страны — такой ловкий учителишка оказался!

Пока резвились, гоняли по поляне бедного зайца и цепляли на поводок разбушевавшегося пса, над тайгою мощно зарокотало: из-за гор возникли сразу два вертолета и уверенно, неторопливо опустились в ряд на дальнем конце поляны, согнув вихрем винтов пихтач и осинники.

Космонавт, прихрамывая, пошел навстречу и доложил о завершении полета.

Из одного вертолета вместе с врачом вывалилась группа разноперо одетых людей с кожаными сумками, с кинокамерами и всевозможными аппаратами на изготовку. Камеры зажужжали, аппараты засверкали, а местный фотограф со стареньким, обшарпанным «Зорким» на шее, хитровато улы-

баясь, трепал за уши павшего на брюхо пса и кормил его сахаром.

Отбиваясь от фотографов и киношников, космонавт показал в сторону Захара Куприяновича и Антошки. И не успели отец с сыном глазом моргнуть, как их взяли в кольцо. Ошеломленный вопросами, ослепленный вспышками блицев, старик задал было тягу в лес, но его перехватили проворные люди с блокнотами, и он отыскал глазами космонавта, взглядом умоляя высвободить его из этой гомонящей, жужжащей и стреляющей орды. Олег Дмитриевич смеялся, переобуваясь в летные унты, в меховую куртку, и не выручал лесника. Спустя время, уже переодетый, он подхромал к нему и крепко обнял:

— Спасибо, отец! За все спасибо!

Антошку космонавт тоже обнял.

Люди все это записали в блокноты и засняли прощание космонавта с лесником. Олег Дмитриевич, вернув леснику валенки и полушубок, еще раз обнял его и поднялся в вертолет. Обернувшись в дверях, он кивнул леснику с сыном головой, затем сцепил руки и пожал их — привычным уже, космонавтским приветом.

— Отцу-то, отцу поклонись, Митрию-то Степановичу! — крикнул Захар Куприянович, и космонавт, должно быть, расслышал его, что-то утвердительно прокричал в ответ и кивнул головой.

Дверь вертолета закрылась, херкнул двигатель, крылья наверху шевельнулись, пошли кругом, и вдруг дочиста уже сняло тонкий слой снега с поляны, обнажило траву, выбило из стога и погнало клочья сена, опять заголило пихтовники и кедры, густо брызнула красная рябина на опушке. Вертолет дрогнул, приподнялся, завис над стогом и пошел над вершинами кедрача за угрюмо темнеющие шиханы. На хвостовом махоньком пропеллере что-то ослепительно сверкнуло, разбилось в куски, и машина исчезла из виду.

Захар Куприянович потерянно топтался на поляне, затем нашел дело — собрал сено в стожок, подпинал его и удивленно сказал:

— Вот... Ночь одну вместе прожили... Дела какие, а?

Антошка, увидев, как смялись и начали кривиться губы отца, сказал:

— Беда прямо с тобой! Расстраивается, расстраивается!.. По телевизору увидим... Может, в отпуск приедет...

— Эвон у меня какой умный да большой утешитель!.. — сказал Захар Куприянович.— Помогай-ка лучше людям.

Лесхозовский вертолет тоже скоро поднялся в воздух, направляясь к ближней железнодорожной станции, куда должен был прибыть поезд особого назначения. Антошка отбыл туда же с бензопилой. Леспромхозу дано было распоряжение рубить дорогу к станции и подготовить трактора и сани для вывезения космического аппарата...

Космонавт между тем, уже побритый, осмотренный врачами, отвалившись на сиденье, летел к своему аэродрому и просматривал свежие газеты. Попробовали было корреспонденты расшевелить его вопросами. Он рассказал им о Захаре Куприяновиче, об Антошке, попросил не особенно смущать старика «лирическими отступлениями» и, сославшись на усталость, как бы задремал, смежив ресницы.

Но он не дремал вовсе. Он как будто разматывал ленту в уме и видел на ней весь свой полет. Луну, приближенную настолько, что просматривал он ее как бы с парашютной вышки, и сиротливо висевшую в пространстве, скромно мерцавшую планету с простецким названием Земля, которая казалась ему когда-то такой огромной. Вспомнил и снова ощутил, не только сердцем и разумом, а даже кожей, как, шагая в тяжелом скафандре по угольно-черной поверхности чужой ему и непонятной планеты, он остро вдруг затосковал по той, где осталась Россия, сплошь почти укрытая зеленым лесом, тронутым уже осенней желтизной по северной кромке. Вон она лежит сейчас в снегах, чистая, большая, притихшая, и где-то в глубине ее, пришитая к тайге белой ниткой тропы, стоит избушка с номером на крыше, и от нее упала тень на всю желтую поляну. Виделся беловато-жаркий костер в ночной тайге, грубо тесанный, кореньговитый мужик, глубоко и грустно о чем-то задумавшийся.

«Отцу-то, Митрию Степановичу, поклонись!» — мудрая доброта человека, которому уж ничего не надо самому в этой жизни, сквозила в его словах, в делах и в усталом взгляде.

«Сумеем ли мы до старости вот так же сохранить душу живую, не засуетимся ли? Не механизируем ли себя и чувства свои?..»

Прилетев в Байконур, Олег Дмитриевич первым делом спросил об отце. Друзья или, как хорошо называл их Захар Куприянович, связчики сказали космонавту, что Дмитрий Степанович уже в Москве, устроен, ждет его.

Отдав рапорт правительству, пройдя через первый, самый нервный период встречи на Внуковском аэродроме, космонавт, переходя из рук в руки, из объятий в объятия, все искал глазами отца. Увидев его, он даже вскрикнул от радости. Был он в новом клетчатом пальто модного покроя, в тирольской шляпе с бантиком на боку, в синтетическом галстуке, сорящем разноцветные искры, приколотом к рубашке модной железякой,— уж постарались земляки, не ударили в грязь лицом, пододели старика! Впереди отца, удало распахнув котиковую шубу, выпятив молодецкую грудь, стояла раздавшаяся телом, усатая тетушка Ксана и делала Олегу ручкой.

Раздвинув плечом публику, минуя тетушку, которая с захлебом причитала: «Олежек! Олежек! Миленький ты мой!», космонавт приблизился к отцу, прижал его к себе и услышал, как звякнули под клеенчато щуршащим пальто медали отца. «Батя-то при всем параде!»

Отец тыкался нахолодавшим носом в щеку сына и пытался покаяться:

— Порол ведь я тебя, поро-о-ол...

«И правильно делал!» — хотел успокоить отца космонавт, но тетушка-таки ухитрилась прорваться к нему, сгребла в беремя и осыпала поцелуями, все повторяя рвущимся голосом: «Милый Олежек! Миленький ты мой!..»

Мелькнуло в памяти ее интервью в центральной газете: «Воспитывала... до десяти лет... Исполнительный был мальчик. Учился хорошо, любил голубей... мечтал... летчиком...»

Учился он, прямо сказать, не очень-то. Воля ему большая была. А кто ж при воле-то ладом учится в детстве? Голубей любил или нет — не помнит. Но уж точно знает — хотел быть столяром, как отец, а о летном деле не помышлял вплоть до армии.

Он с трудом вырвался от тетушки, снова пробился к отцу, вовсе уже затисканному толпой, и успел ему бросить:

— Ты от меня не отставай!

Отец согласно тряс головой, а в углах его губ копились и дрожали слезы. «Совсем он старичонка у меня стал. Никуда больше от себя не отпущу!» — сказал сам себе космонавт и отправился пожимать руки и говорить одинаковые слова представителям дипломатического корпуса.

Отца он увидел спустя большое время, уже возле машин. Старик проплакался и успел ободриться настолько, что даже перед модной иностранкой, одетой в манто из

русских мехов, отворил дверцу машины со старинной церемонностью и подмигнул Олегу Дмитриевичу: «Знай нас, столяров-краснодырщиков!»

Как-то сразу отпустило, отцовская озороватость передалась ему, и он настолько осмелел, что и сам распахнул дверцу перед иностранной дамой, разряженной наподобие тунгусского шамана, и она обворожительно ему улыбнулась улыбкой, в которой мелькуло что-то знакомое.

— Знай нас, столяров-краснодырщиков! — вдруг брякнул Олег Дмитриевич.

Дама, не поняв его загадочной шутки, все же томно прокурлыкала в ответ, обнажая зубы, покрытые блестящим предохранительным лаком:

— О-о, как вы любезны! — и снова что-то знакомое пробилось сквозь все помады и коричневый крем, которому надлежало светиться знойным африканским загаром.

«Всегда мне черти кого-нибудь подсунут!» — досадовал Олег Дмитриевич, едучи в открытой машине по празднично украшенным улицам столицы и мучительно вспоминая: где и когда он видел эту иностранную даму, разряженную под шамана или вождя африканского племени. Толпы празднично одетых людей кричали, забрасывали машину цветами, школьники флажками махали, а космонавт, отвечая на приветствия, все маялся, вспоминая эту самую распроклятую даму, чтобы поскорее избавиться от «бзыка», столь много наделавшего ему хлопот и вреда, но ничего с собою поделать не мог. А люди все кричали, улыбались и бросали цветы — люди Земли, родные люди! Если б они знали, как тягостно одиночество!.. И вдруг мелькнуло лицо, похожее на... и Олег Дмитриевич вспомнил: никакая это не иностранка, а самая настоящая российская мадама, жена одного крупного конструктора. Он встречал ее как-то на приеме, и сдалась она ему сто раз. «О-о, батюшки!» — будто свалив тяжелый мешок с плеч, выдохнул космонавт и освобожденно, звонко закричал:

— Привет вам, братья! — обрадовался вроде бы с детства знакомым, привычным словам, смысл и глубина которых открылись ему заново там, в неизведанных человеком пространствах, в таком величии, в таком сложном значении, какие пока не всем еще людям Земли известны и понятны.— Привет вам, братья! — повторил космонавт, и голос его дрогнул, а к глазам снова начали подкатывать слезы, и он вдруг вспомнил, как совсем недавно и совсем для себя неожиданно, во сне или наяву плакал, уже охвачен-

ный тревогой и волнением от встречи с Землею, с живой, такой простой и знобяще близкой матерью всех людей.

Повидавший голокаменные астероиды, пыльные, ровно бы выжженные напалмом, планеты, без травы, без деревьев, без речек, без домов и огородов, он один из немногих землян воочию видел, как бездонна, темна и равнодушна безголосая пустота и какое счастье, что есть в этом темном и пустом океане родной дом, в котором всем хватает места и можно бы так счастливо жить, но что-то мешает людям, что-то не дает им быть всегда такими же вот едиными и светлыми, как сейчас, в день торжества человеческого разума и праздника, самими же людьми сотворенного.

1971

Сергей Есин

(р. 1946)

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

С вечера Петр Васильевич вызвал «Чайку». К дому, к половине десятого. Бровки у помощника, у Паши, чуть округлились: «Ничего начинает первый секретарь!» Но сказалась давняя выучка. «Хорошо, Петр Васильевич,— по-военному повторил он,— к половине десятого, к дому».

«Чайку» в обкоме берегли. Егор Иванович, прежний секретарь, вызывал ее в крайних случаях, для высокопоставленных гостей и в дни своих приездов из Москвы. В остальное время «Чайка» стояла в гараже в особом боксе, и специально приставленный к ней шофер Анатолий Ефимович ежедневно ее вытирал от пыли, полировал, что-то осматривал, «продувал», «довинчивал», но в основном играл в домино с шоферами, ожидающими вызова, толстел, наливался здоровьем — затылок у него становился с каждым годом все шире.

Петр Васильевич да и все в обкоме знали порядок с «Чайкой» и об особом положении Анатолия Ефимовича, но уже давно махнули на это рукой. Петр Васильевич как-то, когда первый был в хорошем настроении и благодушествовал, сказал: «Егор Иванович, вы помните у Булгакова в «Театральном романе» сцену, там шофер каждый раз мыл автомобиль, снимал и смазывал колеса, а на ав-

томобиле никто не ездил? Нерентабельно такое пользование».— «Я знаю, Петр Васильевич, на что ты намекаешь. Только глупость все это. Ефимыч возил меня, когда я еще работал в МТС. Оставьте его в покое. А этот твой роман я не читал. Некогда мне, ты знаешь, беллетристику почитывать, на мне хозяйство, область. Вот когда до первого дорастешь, тогда посмотрим, как будешь баловаться художественной литературой, читатель. Но только не торопись. Я еще лет десять — пятнадцать поработаю. Силенка еще есть. Мой прадед амбар за угол поднимал. Да ты знаешь, я рассказывал. А тебе надо еще своего дождаться, подучиться надо...»

Как-то против Анатолия Ефимовича был предпринят и еще один демарш. Пришел новый начальник обкомовского гаража и расписал за Анатолием Ефимовичем кроме «Чайки» еще и газик, на котором первый иногда ездил на охоту и по экстренным делам в глубинку, и гостевой автобус «рафик». Анатолий Ефимович приказу не подчинился, выступил на профсоюзном собрании с резкой критикой порядков в гараже, по соцбыту и по снабжению деталями. После этого выступления шустрый начальник гаража примолк, а про то, что газик и «рафик» записаны за Анатолием Ефимовичем, все забыли.

— Значит, так, Паша, «Чайку» к девяти тридцати к моему дому. Степан (это был другой, уже постоянный Петра Васильевича шофер с «Волги») отгул просит, он последние дни много мотался, и ему картошку надо привезти из деревни, но отгул ты ему дай послезавтра. С аэродрома я поеду к «Горнисту» в туристический комплекс. Завтра к соседям уезжает Петрак, хочу с ним проститься. Степана закрепи за Петраком, и к четырем пусть подъезжают к комплексу. Все экстренное передай второму, но я все время буду в пределах досягаемости. Такая, Паша, диспозиция.

— Хорошо, Петр Васильевич.— Лицо у Паши, чуть порозовевшее, пока он слушал первого, стало опять серым, как промокательная бумага, обычное лицо человека, всю жизнь проведшего в кабинете.— Я все запомнил. Ни пуха вам, ни пера.

— Ладно, ладно, Паша, не горюй. Все у нас с тобой пройдет хорошо.— Пашу надо было поддержать. Столько лет проработал с Егором Ивановичем, приноровился, а теперь заново надо приспосабливаться. А вдруг новый решит поискать себе нового помощника?

Конечно, «Чайку» можно было вызвать, как всегда делал в подобных случаях Егор Иванович, к обкому. Тот

подъезжал к зданию и только тут пересаживался в эту единственную в городе машину. Таким поведением Егор Иванович подчеркивал свою особую бережливость, демократизм и то, что пользуется машиной только в особых случаях. И ему, Петру Васильевичу, можно было бы подъехать на «Волге», минут сорок или даже часик потрясти срочные дела. Но что успеешь за час? Прочтешь две-три бумаги да сделаешь пару звонков. Зато хороший почин, хозяин, стали бы говорить аппаратчики, заботливый, радеет, приехал с утра... Петра Васильевича всегда страшила и сама показуха, и то, что могло другим показаться показухой. И еще была причина: в новую должность надо было вступать с крепкими тылами, все надо было рубить сразу, чтобы душу не тянули долги: аэродром, дела семейные, Петрак, «Горнист»... Петр Васильевич мысленно прикинул самое неотложное, безотлагательное, с чего надо начинать. Совещание по зимовке скота, ход политической учебы в области, совещание по качеству жилищного строительства и срочно, срочно готовить пленум обкома по письмам трудящихся. Он наизусть знал еще десятка два больших или малых, но неотложных дел и все же на всякий случай перелистывал еженедельник: а вдруг выплывет что-нибудь экстренное, бегал глазами по строчкам.

— Так к дому, значит, Петр Васильевич? — не вытерпел и осторожно намекнул на существовавший прежде порядок Павел.

— К дому, Павел, к дому.

Крепенько заложил Егор Иванович свои привычки! И тут же Петр Васильевич вспомнил, как, уезжая в столицу на совещание или на сессию, Егор Иванович учил их уму-разуму, и обязательно среди множества наказов был этот: «Чайку» из гаража не брать. Она у нас для гостей, для парадных случаев. Это народное, и его надо беречь. Я и сам на ней почти не езжу». Говорил так, будто только он за порог, Петр Васильевич или Паша примутся на ней гонять на футбольные матчи или в киношку.

Когда утром Петр Васильевич вышел из дома, машина уже стояла. Петр Васильевич сел на заднее сиденье справа, по-хозяйски. Затылок Анатолия Ефимовича полыхал протестом. Наверное, думает так: молод еще, не привык, балуется чужой игрушкой. Может быть, теперь новый секретарь и по городу на «Чайке» будет мотаться? Не успели избрать, а он уже к дому подавать требует. Все слишком быстро для Анатолия Ефимовича случилось, слишком внезапно. Слишком Петр Васильевич щупловат, а ведь Егор

Иванович был статный, осанистый, в расцвете, как говорится, и вдруг ушел на пенсию.

Егор Иванович был в отъезде, шла уборочная, да и он, Петр Васильевич, лишь заскочил в обком подписать необходимые бумаги, и вот тебе телефонный звонок. Вице-президент Академии наук! Запад отказывается поставлять турбобуры большого диаметра для шахт, может быть, в области посмотрят, нельзя ли обойтись своими силами? В академии посчитали, ресурсы вроде в области есть: профильный НИИ, университет, академический институт, работающий над аналогичными вопросами, а? Все бы это собрать в кулак, объединить вокруг проблемы... Петр Васильевич мгновенно все прикинул, душа бывшего горного инженера на секундочку воспарила, он еще удивился тому, что академия их ресурсы знает наверняка лучше их самих, а уж направленность работ, интересы ученых определенно лучше, совсем в тот момент сказал было Петр Васильевич: «Да, попробуем», но на всякий случай — не первый год, слава богу, работал с Егором Ивановичем, знал, как он бывает гневен, когда проходит что-либо мимо его рук,— на всякий случай сделал маневр: «А может быть, Одесса справится с заданием лучше, быстрее?» Голос вице-президента стал посуше, разочарованнее — Петр Васильевич прекрасно помнил его лицо, живой взгляд из-под квадратных очков, они года два назад встретились на одном из совещаний и хорошо толковали во время перерыва: ровесник его, Петра Васильевича, лет сорока пяти, с быстрой реакцией, свежим, острым умом. Наверное, сейчас, вспомнив эту мимолетную встречу и надеясь на него, надеясь на то понимание, общность взгляда на экономику, которые возникли как-то сразу, как часто бывает у людей, долго раздумывающих над одним и тем же и потом в разговоре только уточняющих свои в общем-то идентичные выводы,— наверное, сейчас вице-президент подумал: «Ошибся...» Как быстро меняется интонация голосов у сорокапятилетних мужчин — сухая, колючая: «Одесса сейчас занята другим».— «Ну хорошо, я доложу первому, посоветуюсь». Петр Васильевич попытался все же уклониться. «Ну, а все же ваше-то, Петр Васильевич, ваше личное мнение каково?» — «Мое мнение?..— Петр Васильевич тогда словно просеял в памяти все их ресурсы, проплыли лица людей, которых можно бы привлечь к разработкам, а главное, возникло сладкое чувство предвосхищения большой и по-настоящему трудной работы, счастливое предвосхищение.— Мое мнение,— повторил он, делая ударение на местоимении

«мое»,— что мы справимся».— «Вот и прекрасно,— на другом конце провода Петр Васильевич опять услышал прежнюю раскованную, так понравившуюся ему во время встречи на совещании, будто задыхающуюся от торопливости интонацию.— Вы перезвоните мне, Петр Васильевич, когда посоветуетесь с начальством, а я сориентирую наши институты».

Во время доклада об этом звонке Егор Иванович не задал ни одного вопроса. Сидел спокойный, и по его лицу не было видно, как он ко всему этому относится. Только в самом конце, когда Петр Васильевич сообщил о своем предварительном согласии, первый сказал: «А не крутенько ли ты берешь? Нашей с тобой, Петр Васильевич, области это не очень нужно».— «Державе нужно»,— ответил тогда Петр Васильевич. «Не рано ли за державу беспокоишься? Ну да ладно, ладно, не ершись, это я так, в порядке воспитания... У нас в роду,— Егор Иванович расправил плечи, откинулся, как в седле, в кресле,— порода крепкая: мой дед, говаривали, амбар за угол поднимал, а чтобы никто в этом не сомневался, подкладывал под угол шапку. Ясно? Да и ты, Петр Васильевич, не слабак. Выдержим! Если уж договорился, надо марку держать. Все же об области наверху помнят. Престиж. Принимайся за дело, ставь вопрос на бюро, собирай людей, а в академию я отзвоню сам».

За полгода, пока создавался бур, Петр Васильевич перезнакомился со многими учеными, конструкторами, литейщиками и слесарями. Когда стали собирать первую модель, наступил праздник: бур показал фантастические по сравнению с зарубежными аналогами результаты. В выгородке одного из цехов машиностроительного завода приловчились делать этот бур мелкими партиями. Егор Иванович отрапортовал в столицу, что ответственное задание область выполнила. И тут их вдвоем, первого и секретаря по промышленности, вызвали в Москву.

На совещании в Совмине выяснилось, что ни один из крупных заводов отрасли осваивать производство новых буров особенно не стремится, перегружены своей номенклатурой, надо строить специализированный завод. Некая заинтересованная организация сообщила, что смогла бы через третьи страны по-прежнему закупать зарубежный бур. «Но ведь втридорога! — не выдержал Петр Васильевич.— О чем мы спорим? Зачем относить строительство завода по производству этих буров на следующую пятилетку и зачем вообще строить целый завод? Достаточно к нашему ма-

шиностроительному добавить новый цех. Только цех!» — «Ваше мнение, Егор Иванович?» — спросил председательствующий. «Молодежь,— Егор Иванович улыбнулся всем отдельно, как-то сочувственно, показывая, что молодость — это недостаток исправимый,— склонна увлекаться. Конечно, почетно выпускать такую замечательную продукцию, но у нас в области уже есть два десятка строительных объектов всесоюзного значения, следует ли нам так распылять силы?» И тут за предложение Петра Васильевича вступилась академия. Со своей мальчишеской раскованностью давний знакомый Петра Васильевича очень убедительно принялся доказывать, что строить цех, именно цех, надо в Бориславе, в столице области. Это важно, в конце концов, для развития науки. Молодой академик даже пошутил: «Ученые изобрели замечательную игрушку, а мы теперь хотим ее у них отнять и передать чужим дядям. Да пусть они ее совершенствуют! Все же понимают, что изобретение и промышленное освоение сулит некую почетную государственную награду. Людей обижать не следует. Сложился творческий коллектив, выявились люди, для которых это интересно, может быть, дело жизни. Это немаловажный фактор, Егор Иванович... Академия — за цех в Бориславе». Егор Иванович скорее для фасона попытался было поупрямиться, намекнул, что вопрос можно перенести и в более ответственную организацию, непосредственно в партийные органы, то есть в Центральный Комитет, но почему-то от этой старомодной уклончивости и многозначительности ход совещания внезапно повернулся, никто как-то особенно не испугался, и все постепенно утвердились в правоте академии. Егор Иванович быстро сориентировался, помягчел, дал себя сначала уговорить, потом убедить, а под конец — вот это школа! — восхитился Петр Васильевич, даже представился эдаким демократом и рубахой-парнем: «Мой дед амбар за угол поднимал, а чтобы ни у кого в этом не было сомнений, так шапку собственную под угол подкладывал. Разве внук подкачает! Разве мы с тобой, Петр Васильевич, не построим цех, если державе нужно и если наука так решительно взялась нам помогать! Досрочно построим». И так добро, по-отечески улыбнулся Егор Иванович своему секретарю по промышленности.

В очередной раз они разошлись с Егором Ивановичем из-за телят. Петр Васильевич сельским хозяйством никогда не занимался, но разговор в кабинете первого начался при нем. Они сидели вдвоем и говорили о выполнении годового плана на заводе, о перераспределении фондов, чтобы

избежать «незавершенки», и в этот момент со срочной телефонограммой вошел заведующий сельскохозяйственным отделом. Ах, какой прекрасный мужичок этот Серафим Евгеньевич! Маленький, лысоватый, несмотря на свои сорок лет, ноги колесиком, в очках с почти сантиметровыми по толщине линзами. Но за этими линзами, источенными сложной конфигурацией из-за сильнейшего астигматизма, светились такие чистые и нежные глаза, такой мягкости и деликатности, что даже не верилось, глядя в них, что этот человек мог управляться с вольницей председателей колхозов, начальников «Сельхозтехники», со всем этим буйным сельским народом. К чести Егора Ивановича, он сам отыскал где-то в сельской глубинке еще мальчишкой ветврача Серафима Евгеньевича, вытащил его сначала в район, потом в область, а потом сделал завсельхозотделом.

Серафим Евгеньевич прокатился на своих кривоватых ногах по кабинету и подал телефонограмму нахмурившемуся было Егору Ивановичу: тот не любил, когда аппаратчики входили к нему без приглашения. Вдвоем они быстро решили оперативный вопрос: на область шли заморозки. Быстро, потому что Серафим Евгеньевич вместе с телефонограммой принес в список штаба и почасовой график мер борьбы с этим бедствием. Егор Иванович внимательно, но споро все просмотрел, с предложениями согласился и, уже отпуская своего любимца, спросил:

— Ну, а как ты решил с телятами? Я тоже прикинул...

И здесь снова целая история. За те почти десять лет, что Серафим Евгеньевич работал завсельхозотделом, он определенно не дремал. Еще до него в сельском хозяйстве области встал вопрос о прохолосте коров. Породистое стадо собрали, а коровы яловые. Яловая корова — это не менее тысячи рублей в год убытка. Скромненький ветврач энергично провел по области ряд зоотехнических мероприятий; старые доярки плакали, когда стали раскреплять числившихся за ними коров и телят, кляли безжалостного Серафима, но он все же настоял на своих научно выверенных идеях: за кормление, за рацион животных отвечает не доярка, а ветврач, доярка только доит, телятница пестует молодняк. Все очень простенько. Но рацион для кормления животных в любом хозяйстве внезапно мог проверить завсельхозотделом, вооруженный своими обновляемыми наукой знаниями. Доярки порыдали, но вскоре поднялись надои, а соответственно и заработки, и трудовые их слезы как-то сами собой высохли. Потом коровы, обрадованные разно-

образием кормов и минеральных добавок, забыли свою забастовку и принялись исправно приносить высокоудойное потомство. Сначала в обкоме с тревогой следили за жесткими мерами Серафима, потом с надеждой, потому что Серафимовы коровки принялись показывать в массовом порядке, как и положено, результаты их голландских и датских соотечественниц. Но у Серафима была еще одна установка: оставлять на зиму и содержать лишь столько животных, сколько область могла прокормить. Не додержать в надежде на первую травку до весны, а прокормить. Научный, хотя и старый, как мир, вариант. Наука, известная самым дальним нашим предкам. А рекордное число телят в том году оказалось фактором неожиданным. Серафим предполагал, что этот фактор возникнет лишь через год или два.

— Так что ты решил с телятами?

— Телят мы решили продать в Казахстан. Уже договорились с коллегами в одной из областей. Цену они дают очень хорошую. Так выгоднее.

— Постой, постой... Ты у кого, Серафим, спросил? Почему не информировал, не посоветовался? Кто это «мы решили»?

— Мы, в отделе,— ничуть не смущаясь, ответил Серафим Евгеньевич, посверкивая младенческим взглядом.— План по сдаче мяса государству мы выполнили, себя обеспечили, и обеспечили со значительным превышением по сравнению с прошлым годом. А скот высокопородный, элитный...

— Как это — обеспечили? У нас в городе разве нет перебоев с мясом? На рынке цены пошли вниз? — По тону Егора Ивановича Петр Васильевич определил, что у того существует на сей счет своя твердая идея и он не собирается от нее отступать.

— Перебои у нас есть. И, думаю, в ближайшее время еще будут. Но ведь нельзя же сдавать на мясо высокопородный скот.

— Нам главное — удовлетворить потребности своей области. С нас, Серафим, с тобою за область в первую очередь спросят. Мы вкалывали, вкалывали, по коровенке, понимаешь, пятнадцать лет собирали высокопородное стадо, а теперь ты целый гурт молодняка хочешь отдать? Пользуйтесь, дескать, нашей добротой и широкой натурой, выходите в передовики, а мы ремешки подтянем? Ты небось со своими «коллегами» где-нибудь в институте учился?

— Ну учился. В аспирантуре, но это к делу не относится.

— Ясно. Свой — своему. В память студенческих лет. А я думаю об области! Разве наши рабочие с заводов не строили коровников, не помогали на сенокосах? А появилась у нас возможность чуть разрядить положение, мы в сторону, помогаем «коллегам»? Не пойдет так. Звони, дорогой Серафим, своим дружкам и говори, что все отменяется. Вали все на меня, я выдюжу.

— Высокопородный скот я под нож не отдам,— твердо стоял на своем Серафим,— хоть меня самого режьте. Это наше будущее.

— Ты что ж, Серафим Евгеньевич... тебе область не дорога? Непатриотично. Пойми, лихая голова,— Егор Иванович заговорил мягко, почти вкрадчиво,— нам надо думать о своих людях, о своих тружениках.

— Но где же здесь ло-ги-ка, Егор Иванович? — Серафим говорил уверенно, даже вроде бы чуть капризно.— Любому видно, что я прав. Да вот вы спросите у Петра Васильевича, он в сельском хозяйстве не разбирается... правда?

— Ну, допустим, отчасти правда.

— Вы спросите у него,— продолжил Серафим, и глазки у него задорно сверкали, Петру Васильевичу даже показалось, что за сложными из-за астигматизма линзами блестит взор вовсе не младенческий,— вы спросите: разумно ли породистый молодняк отдавать на мясокомбинат?

— Так как, Петр Васильевич? — Егор Иванович давал разрешение Петру Васильевичу молвить слово, тоном и улыбкой поощряя к поддержке.— Какое у тебя мнение насчет рубашки? Своя ближе к телу или нет? Ты — за или против предложения Серафима? Не отмалчивайся.

— Я — за.— Петр Васильевич сказал это почти внезапно для себя, почти непроизвольно и тут же заметил, как сузились у Егора Ивановича зрачки.

— Тогда ставим вопрос на бюро обкома. Надо нам непонятливых просвещать.

В перечне вопросов повестки дня этот пункт стоял последним. Егор Иванович дал Серафиму на доклад три минуты. Серафим ловко за эти три минуты все обсказал, но закончил неожиданно: «Прежде чем сельхозотдел вынес свое мнение на бюро, мы в недрах отдела посоветовались между собой и также с экономистами и другими товарищами». Кто были эти другие товарищи, оставалось неясным. Неужели Серафим звонил в столицу? Или через

своего коллегу организовал звонок из Казахстана? Неожиданно очень горячо и заинтересованно Серафима поддержал старичок ректор из университета. Петр Васильевич еще тогда подумал: «Как же размахнулось время, если даже специалист по античной литературе имеет твердое мнение насчет животноводства». Вслед ректору за предложение Серафима высказался директор машиностроительного завода — ведомственная неразбериха у него вот где сидит, намытарился с поставщиками. Третьим был старый знакомый Петра Васильевича — председатель колхоза и Герой Социалистического Труда Шмелько. Как всегда, Шмелько немного простодушничал: «Да коли у нас в достатке, мое такое мнение, чего бы соседу трошки не пособить, а? Мне всегда телят под нож сдавать жалко. Ведь бычками могут стать да коровками». Из подобных резонов исподволь начало складываться мнение, и тут Егор Иванович взял инициативу в свои руки. «Значит, по-твоему, Матвей Степанович,— вклинился первый секретарь в паузу,— так: отдай топор соседу, а сам иди в кузню? Мудрый хозяин так не поступает».

Егор Иванович был оратором опытным и к речи своей подготовился. Он говорил о телятине в детских садах, о тоннах колбасы и сосисок, которые дополнительно могут быть реализованы в магазинах области и через общепит, о дополнительном мясе для заводских столовых. Его речь произвела впечатление. Он закончил, орлиным взглядом оглядел всех членов бюро, секунду помолчал и спросил, обращаясь к завсельхозотделом:

— Ну как, переубедил я вас, Серафим Евгеньевич?

— Извините, Егор Иванович, нет,— резанул Серафим.

— Ставлю предложения на голосование в порядке поступления.— Голос стал железным.— Кто за предложение сельхозотдела?

«А ведь дальше начальника СМУ не пошлют»,— внезапно подумал Петр Васильевич и поднял руку. Одновременно подняли руки старичок ректор и Серафим. Чуть помедлив, к ним присоединился директор машиностроительного. Вздохнув, поднял руку Шмелько.

К даче подъехали на десять минут раньше условленного. Во имя пунктуальности Петр Васильевич хотел было попросить водителя, не заезжая за ограду, дать еще кружочек по ближним дорогам, но потом решил, что коли проявил

школьное нетерпение, то уж лучше не показывать этого шоферу.

Секретарь ЦК заканчивал завтрак.

— Прекрасно, Петр Васильевич, что заехали пораньше,— сказал он, взглянув на часы,— вместе попьем чаю. Замечательной кашей здесь меня побаловали.

— Это у нас Мария Богдановна мастерица.

Мария Богдановна — буфетчица и повар — управлялась на даче обычно одна, только когда подъезжало много народа, комиссия из центра или делегация, к ней в помощь приглашали повара и официантов из «Интуриста». Убирая со стола тарелки — людей самых разных, работая здесь уже лет пятнадцать, она перевидала тьму и давно уже ни перед кем не робела,— Мария Богдановна певуче ответила:

— Все мастерицы, когда есть из чего.— Чуть уловимая улыбка тронула губы на домашнем лице Марии Богдановны, и Петр Васильевич вспомнил вчерашний, поздно вечером, с ней разговор. Уже после пленума, после того как секретарь встретился с членами бюро и Петр Васильевич, проводив его до этой маленькой лесной гостиницы, возвращался домой в город, Мария Богдановна спросила: «На завтрак-то что гостю давать? Может, мне этот вопрос ему задать?» — «Варите, Мария Богдановна, гречневую кашу».— «А вы, Петр Васильевич, откуда знаете?» — «Знаю. Варите — не ошибетесь. Непременно гречневую».

Секретарь ЦК, положив себе полную розетку перетертой с сахаром черной смородины, подвинул вазочку ближе к Петру Васильевичу, предлагая и ему действовать энергичнее.

— Края у вас, как написано во всех учебниках, гречишные, и это тот случай,— поднося чайную ложку ко рту, секретарь слегка улыбнулся Петру Васильевичу,— когда, как и в случае с продуктивным скотом, не грех поделиться с соседями...

В аэропорт поехали по окружной, миновав город с его транспортной неразберихой исторического центра. Мелькали перелески, сельские домики — эти домики за последние двадцать лет постепенно превращались в двух- и трехэтажные крепости с гаражами, верандами, затейливыми балкончиками; а может, так и надо жить на селе, компенсируя городскую скученность,— автобусные остановки, расписанные петушками, фигурами парубков в широких шароварах и девушек в венках и лентах... Затылок Анатолия Ефимовича за поднятым стеклом на этот раз выражал только сдержанное почтение.

— Ну, а что вы читаете? — спросил секретарь ЦК.— Вопрос не деловой, почти интимный, и право на него мне дает только то, Петр Васильевич, что вы мой бывший студент.

Разве это чтение, что он читает в последние годы? Был помоложе, на все хватало времени, а теперь только успевает просматривать газеты да изредка сунет нос в какую-нибудь книжку на письменном столе Ляльки, дочери, или со слипающимися от сна глазами перелистает томик на тумбочке возле кровати: это уже из интеллектуального арсенала Натальи. Как ответить? Ведь необразованным козлом тоже не хочется показаться. А слукавишь, бывший профессор «на правах старого преподавателя, учителя, наставника» выведет на чистую воду: он, Петр Васильевич, знает его коварный, выматывающий глубинные незнания метод. Здесь лучше не врать.

— А ничего практически лет пять уже не читаю. Возьму, когда время есть, журнал, полистаю — если зацепит, иногда дочитаю до конца, если нет — брошу.

— Напрасно. Ваша должность подразумевает универсальность и интеллектуализм. Время должно оставаться даже на спорт.

— А я думал, достаточно гречневой каши,— слабо пошутил Петр Васильевич,— чтобы держать себя в тонусе.

— Благодарю, что помните мои советы. Юность вообще впечатлительна. Но все обстоит серьезнее. Партия так долго нас воспитывала, так много в нас вложила, так обильно снабдила информацией, жизненным опытом, что теперь вправе рассчитывать на многолетнюю отдачу. Если хотите, это вопрос не только морально-этический, но и экономический. Есть один апокриф: Наполеон проиграл битву при Ватерлоо из-за насморка, преследовавшего его в тот день. Это не очень исторично, но тем не менее я хотел бы вам пожелать меньше страдать от простуды...

Последний раз из Москвы Егор Иванович вернулся в дурном настроении. К трапу подали «Чайку». Егор Иванович пожал всем встречающим руки, а когда очередь дошла до Петра Васильевича, сказал: «Садись в машину, надо поговорить». Бочком, бочком к «Чайке» пробрался и Паша, это была его привилегия: первым докладывать Егору Ивановичу о том, что случилось в области за время его отсутствия. Но на этот раз номер не прошел. «Павел,— сказал Егор Иванович,— поезжай в машине Петра Васильевича».

В машине Егор Иванович обидел и Анатолия Ефимовича. Лишь только «Чайка» тронулась, Егор Иванович сказал: «Анатолий, включи приемник»,— и сразу же стал поднимать стекло, отделяющее салон от кабины водителя. За окнами машины шел обычный пейзаж: рощицы, сельские домики, автобусные остановки.

— Ну, вот что, Петр Васильевич,— первый говорил медленно, будто вколачивал гвозди в доску,— дождался ты своего часа... Ухожу на пенсию. Через три дня приедет секретарь ЦК проводить пленум обкома. Центральный Комитет,— Егор Иванович так и сказал, как привык, торжественно, не аббревиатурой,— будет на должность первого секретаря рекомендовать тебя. Секретарь ЦК, который приедет проводить пленум, мне сказал, что знает тебя лично...

— Я в институте на третьем курсе ему сопромат сдавал.

— Мне ты об этом случае,— в голосе был упрек,— никогда не рассказывал. Таил?

— Как-то не приходилось.— Петр Васильевич еще по инерции спокойно вел разговор, а сердце уже ударило раз о грудную клетку, потом второй... И вдруг обожгло: «Как же так! Так быстро! Отвечать за сотни тысяч людей? За все, что в области ни случится?» Он и сейчас отвечает за многое, но как-то солидарно, вроде из-за спины Егора Ивановича. Представил на минуту всю огромную и неисчислимую ответственность, и на мгновение стало страшно.

— Ничего, Петр, не робей,— сказал Егор Иванович.— Я тоже чуть сознание не потерял, когда меня впервые выбирали... Привыкнешь.— И уже другим тоном: — Жене можешь сказать, она у тебя баба с головой и характером. Значит, экзамены сдавал? — вернулся Егор Иванович к прежней мысли.

— Студентом я был не самым прилежным.

— И с тех пор не виделись?

— В прошлом году, когда собирали в столице секретарей по промышленности, он делал доклад. Мы посылали записки с вопросами, и я послал. Как положено, подписал. Он прочел записку, ответил и сказал: пусть автор записки подойдет ко мне в конце совещания.

— Ну?

— Я и сам был не рад. Но оказалось — не страшно. Вспомнили наш политехнический...

Хуже всего было пересдавать. Сдать можно было своему преподавателю, который вел практические занятия, а уж пересдавать — только завкафедрой. Это тогда моложавый завкафедрой установил такой порядок. Внешне пересдача была процедурой чрезвычайно легкой. Профессор разрешал все: смотреть учебник, справочник, вынимать шпаргалку, пользоваться методическими пособиями. Он предлагал студенту одну-единственную задачу: на листке бумаги была нарисована какая-нибудь балка и стрелочками указана нагрузка. Крошечный чертежик, который тут же уверенной рукой каллиграфа профессор выводил на листке из блокнота. И начиналась битва. Сначала студент, исходя из чертежа, должен был сам сформулировать себе задачу. И не одну — все до единого варианты, которые на этом чертеже можно было просчитать. Последнего варианта студент так и не сформулировал, пришлось формулировать самому профессору: «Определить дифференциальную зависимость между интенсивностью сплошной нагрузки, поперечной силой и?..» «И...» — раздумывал студент. «И?..» — «И изгибающим моментом».— «Совершенно справедливо,— сказал профессор.— Полдела вы сделали. Сейчас будем определять этот момент или через неделю?» — «Через неделю»,— сказал студент. «Пусть это будет разведка боем».

Через неделю профессор остановил студента на первой минуте резвой демонстрации решения задачи: «Вы, дорогой мой, употребили формулу Кастильяно. А не смогли бы вы ее и вывести, так сказать, освежить в моей и своей памяти? Бог с ней, с задачей: и вы и я, мы оба уверены, что решили вы ее правильно». А потом последовала теорема Мора и вопросы по высшей математике. Профессор славился своим коварным умением задавать вопросы. И попробуй скажи, что, дескать, вопрос не по существу, а из смежных курсов! Профессор говорил: «Сопротивление материалов — наука, включающая в себя весьма обширные области знаний. Я хочу быть уверенным, что здания, которые построят мои бывшие студенты, не рухнут людям на головы, а станки, которые они спроектируют, будут служить долго и надежно». Во время того давнего экзамена студент довольно удачно обошел и закон Гука, и способ Верещагина. Хуже обстояло с самостоятельным выводом упрощения Мюллера — Бреслау. Здесь студент принялся мямлить. Профессор вроде бы даже обрадовался, услышав сбой в ответе. «Каши мало ели в детстве,— сказал профессор.— Да и сейчас советую на нее налегать. Ничто так не стабилизирует организм, и в том числе память, как по утрам гречневая

каша с молоком. Ставлю пять, а выводы формулы Мюллера — Бреслау — под честное слово. С правом спросить в любой самый неподходящий момент».

Вот такая тогда произошла история.

...Машина уже шла по территории аэропорта. Самолет был загружен, посадка закончилась, и лишь трап ко второму хвостовому салону был не отогнан.

— Что вам, Петр Васильевич, сказать на прощание?..

Ах, эта закоренелая привычка психолога и педагога говорить главное как второстепенное, но при этом выделять существенное!

— Как мы будем спрашивать с вас,— продолжал бывший профессор,— вы знаете. Помогать, впрочем, тоже будем. Вот: будьте самостоятельны. И помните: в жизни нет ничего более трудного, чем принимать решения и за них отвечать. Объем власти у вас фантастический. Следовательно, и объем ответственности... Школьный афоризм действует со всей непреложностью: кому многое дано, с того многое спросится. Кстати, обратите внимание: у вас сейчас будет несколько меняться психология. Это естественно. Психология полной самостоятельности. Один из классиков литературы назвал самым большим человеческим пороком трусость. Этика и сопротивление материалов — две разные науки. Сопротивление материалов —в этическом плане — это наука о возможностях и безопасности, а не наука о перестраховке. До свидания. Еще раз поздравляю и желаю успеха.

Петр Васильевич смотрел, как его бывший профессор поднимается по трапу. Тот шагал не торопясь, наступая на каждую ступеньку, без излишней, не подобающей возрасту резвости, шел ровно, но безостановочно, будто заранее рассчитал возможности своего дыхания, мускулов и сердца. Наверху, на площадке трапа, поздоровался со стюардессой, что-то веселое, должно быть, ей сказал, потому что она на мгновение сменила свою «форменную» улыбку, будто приклеенную к розовому лицу, на улыбку простую, бесхитростную, почти деревенскую. Потом повернулся лицом к Петру Васильевичу и не кивнул, не сделал прощального жеста, а просто своим дальнозорким взглядом вгляделся в него. С сочувствием и надеждой. Что было еще в этом взгляде? Тревога? Наверное. Вера в него, в своего ученика? Наверное. Но Петру Васильевичу почудилось, что старый учитель этим взглядом хотел бы передать ему какую-то свою стоическую, упрямую и последовательную силу.

Чуть отойдя к стоящей рядом машине, Петр Васильевич долго смотрел, как тягач вытягивал самолет по рулежным дорожкам к взлетной полосе. Потом тягач уехал. Самолет, стоя еще на тормозах с опущенными закрылками, заревел, продувая и раскручивая турбины; потом закрылки приподнялись; тронулись, мгновенно набирая скорость, колеса — и пошел, пошел... Петр Васильевич знал, что сверху, из иллюминатора, невозможно рассмотреть ни его, ни даже черной, низко распластавшейся на бетоне машины. Но все смотрел, смотрел и махал рукой. Самолет превратился сначала в короткую черточку, потом в точку; потом пропал и отдаленный звук турбин, но Петру Васильевичу еще казалось, что он что-то видит и та связь, что образовалась на трапе, еще не разорвалась, не расторглась, еще продолжает питать его своей простой и естественной силой.

Он понимал, что его стояние на аэродромном поле затянулось. Анатолий Ефимович, наверное, строит сейчас сам для себя какие-нибудь глубокомысленные или иронические мины, но он, Петр Васильевич, будто птица перед полетом, набирался здесь, глядя в это дневное с размытыми красками небо с давно растаявшей точкой самолета, каких-то необходимых сил. Через три-четыре дня уедет Егор Иванович сажать розы и разводить кроликов в свою причерноморскую станицу. Уехал бывший учитель. Пока оба находились здесь, была какая-то уверенность. Может быть, ее давала сама возможность перемолвиться с ними, спросить, сказать, утвердиться в правильности своего решения. А теперь он один. Есть бюро, есть секретари, есть с кем посоветоваться, но он за старшего... Так как же почувствовать себя старшим? Как научиться? Надо перешагнуть какую-то черту, вот сейчас повернуться — и стать этим старшим. Ну вот, у него уже спокойное, обычное лицо. Из глаз тоже убрать неуверенность и эту боль прощания с учителем и со своей молодостью, о которой он напомнил. Вот так, хорошо. Петр Васильевич набирает в грудь воздуха, медленно, успокаиваясь, как спортсмен перед марафоном, выдувает его через ноздри. Поворачивается, обычным, несуетливым шагом подходит к машине.

— Анатолий Ефимович, в редакцию.

Наталье об ожидаемой перемене в своей судьбе Петр Васильевич сказал за день до пленума. Он пришел с работы пораньше. Наталья закружилась, обрадовалась с непривычки, побежала сразу в кухню — решили ужинать вдвоем, но

празднично. По-праздничному так по-праздничному, если это доставит Наталье удовольствие, пусть. Он, Петр Васильевич, в доме солдат. А приказ командира — закон для подчиненных.

Ужин, пока Петр Васильевич после целого дня хлопот и беготни отмокал в ванной, Наталья сочинила не на кухне, где ели обычно, а в столовой. Накрыла стол свежей скатертью, поставила хрусталь, тарелки и соусники из чешского сервиза. Даже для интимности погасила люстру и зажгла свечи.

Натуральный колеблющийся свет молодил лицо Натальи, глаза блестели от выпитой рюмочки коньяку, и Петр Васильевич подумал, сидя за этим празднично-роскошным столом, как ему в принципе повезло. Встретил в юности женщину, которая для него на всю жизнь и самая красивая, и самая умная, и самая желанная. Каким сильным сделала его эта женитьба, каким неуязвимым, от скольких избавила разочарований, ненужных усилий... А если бы прораб, производитель работ при строительстве шахты, в свое время не потребовал анализа крошащегося при сборке железобетона? А если бы он сам, Петр, не поехал в лабораторию и не учинил скандал дежурному инженеру-лаборанту? Учинил, добился... Но это был мелкий выигрыш. Учинил скандал, а потом на двадцать с лишним лет сдался в плен этому инженеру-лаборанту. Так и живет в счастливом ярме: на-пра-во, кру-гом, марш!

Он тоже в тот вечер выпил рюмочку коньяку, потом другую. С наслаждением ел салат, мясо с черносливом и жареной картошкой. Определенно, для Натальи счастье, когда он так свободен, расслаблен, никуда не рвется из дома. Бог ты мой, ему и через двадцать с лишним лет доставляет удовольствие, протянув руку через стол, коснуться кончиками пальцев ее щеки. И она, мотаясь из кухни в столовую, ставя на стол тарелки и вазочки, зажигая свечи, то мимоходом проведет рукой по его уже начинающим редеть волосам, то дотронется до плеча, то поправит подвернувшийся под отворот домашней куртки воротничок рубашки. Разве воротничок ее беспокоит! Дотронуться до него, Петра, прикоснуться. Больше, чем жена, больше, чем друг... И вот он знает, что касается их двоих, а держит про себя, молчит. А если промолчит и сегодня, то завтра, когда она узнает, начнутся упреки: «Как же так, Петр?.. От чужих людей узнаю, по слухам...» Да и ему тяжело, слишком долго держит в себе. Она должна гордиться им. Далеко не каждому удается достичь такого. Это все равно что, ду-

мал он, перейти рубеж от полковника до генерала. Переход в новое качество. Он еще раз разлил по рюмкам коньяк. Еще раз встретился с Наташиным лучезарным и всегда доверчивым взглядом. И, глядя ей прямо в глаза, сказал:

— Наташа, сейчас я тебе сообщу новость.

— Хорошую?

— Очень.

Глаза у нее разгорелись, будто кто-то выдвинул реостат на полную мощность.

— Ну говори, не томи, Петя.

— Завтра состоится пленум обкома, и меня будут выдвигать первым секретарем.

Смысл сказанного дошел до нее не сразу. Глаза ее, по-прежнему огромные и живые, постепенно стали меркнуть. Не отрывая от Петра Васильевича уже посерьезневшего взгляда, Наталья поставила на стол поднятую рюмку. И тут он увидел, как ее глаза стала подтапливать влага: казалось, она выступает со всей поверхности глазного яблока; и вдруг эта тонкая пленка влажного натяжения порвалась и с ресницы на щеку упала слеза, потом другая. «Обрадовалась за меня?» Нет, что-то в выражении ее лица было другое. Она сидела, как всегда, прямая, с высоко поднятой головой. Но в лице ее не было радости.

— Что с тобой, Наташа? — От звука его голоса будто сломался стержень, поддерживавший ее прямую и за столом фигуру. По-прежнему не отрывая немигающего, залитого слезами взгляда от Петра Васильевича, она машинально отодвинула тарелку, сложила руки перед собой на скатерти и вдруг ткнулась головой в эти сложенные вместе руки.— Да что с тобой, Наташа? — Он бросился к ней, прислонился виском к ее склоненной голове.— Что с тобой? Ты не рада?

— Я рада, рада! Но, Петя, что нам делать теперь со своей, с нашей жизнью? Что делать, Петя? Ты строил шахту и говорил: вот закончу, получу премию, орден, тогда съездим в Болгарию, станет посвободнее, настанет жизнь. Потом оказался трест. Потом тебя перевели в область. А жизнь-то почти прошла. Я разве из любви к науке писала диссертацию? Потому что тебя не видела. Занять себя надо было чем-то. А мне ничего не нужно, кроме тебя. Вот сидеть и смотреть на тебя. Рубашки тебе стирать. Одну диссертацию, потом другую...

— Докторскую теперь тебе придется защищать в Москве.

— Вот видишь, Петя, ты все о своем. Нельзя, значит, поеду в Москву. Нельзя жене первого секретаря защищать докторскую в его области. Поеду, поеду, куда хочешь. Все для тебя сделаю. Но ведь у нас последние молодые годы. Условно молодые. Молодые уже прошли. Я люблю тебя, Петя. Но разве я теперь увижу тебя? Разве ты не понимаешь, что новая работа окончательно отнимет тебя у меня? Отнимет насовсем. Теперь по-настоящему мы увидимся, когда оба уйдем на пенсию. Теперь будем только встречаться. Петенька, где наша жизнь, куда она подевалась?

— Наташа, дорогая...— Он понимал, что в этих упреках жены все: и радость за него, искренняя боль за их общие годы, за упущенные возможности совместной жизни, волнение за будущую диссертацию, которую она писала с увлечением и радостью, потому что она такая же сумасшедшая, как и он, для нее работа и наука тоже значат целый мир. И все же какая-то удивительная грусть пронзила тогда его. Ведь Наталья права: что-то они упустили в своей жизни. Но и что-то нашли. Что же для них, для него было важнее? Так он думал, успокаивая жену, и постепенно она затихала в его руках, что-то объясняла, просила прощения, что дергает его, он ей тоже что-то говорил, и в этот момент они оба услышали, как стукнула входная дверь. Лялька. Дочь.

Это самостоятельное существо протопало по коридору — и уже звук ее бесцеремонных каблуков немедленно рассадил родителей на прежние места за столом, потом она в своей комнате включила проигрыватель на полную мощность и лишь затем, обнаружив, что на кухне никого нет, заглянула в столовую. Свет, ворвавшийся из коридора через распахнутую дверь, сразу сделал несколько смешной атмосферу ужина при свечах. Родное чадо, раскачиваясь на каблучках на пороге, по своей молодой журналистской сути не могло обойтись без комментария:

— Папочка и мамочка что-то празднуют. Папочка и мамочка играют в молодые годы. Как это мило! Просто Фелимон и Бавкида.

— Кто, кто мы? — Петр Васильевич всегда старался поддержать дома этот ироничный тон дочери. Это была хорошая тренировка.

— Диктую по буквам: Федор, Елена...

— Уймись, чадо,— совершенно другим, повеселевшим тоном сказала Наталья. Но Петр Васильевич видел, что этот тон дается ей с трудом.— Чему вас только в университете учили? Твой Ф е л и м о н пишется через «и», от ла-

тинского «фил» — любить. Садись с нами лопать, филологиня.

Не зажигая света, Лялька заплясала по комнате, поставила рюмку, плеснула в нее коньячку.

— Я тебе много раз говорила (нет, Наталья — прирожденный воспитатель! Какая же в принципе выросла у них прекрасная деваха: умна, язвительна, хороша, самостоятельна. Вот оно, родительское влияние! Недаром Наталья чуть ли не с пеленок взяла ее в оборот. В четыре года стала сама учить английскому языку, в шесть девочка уже ела с ножом и вилкой. Наталья любила повторять: «Культурные навыки должны стать привычкой»), я тебе много раз говорила, моя красавица, что самой до бутылки в присутствии мужчин дотрагиваться нет нужды. Ты ведь де-ви-ца!

— Мамочка, папочка,— тарахтела Лялька,— случай особый. Я вам предлагаю выпить за мои маленькие успехи.

— Замуж выходишь? — театрально всплеснула руками Наталья.

— Кому я нужна, бедная Золушка? Современная девица сама должна заботиться о своем будущем. О своем приданом. А в чем оно? В карьере. У папочки машиностроительный завод не выполнит план, и папочку пошлют работать прорабом на стройку. Кто будет папочке опорой? Мамочка — будущий доктор наук, это пожизненно, и дочь — заведующая отделом информации областной газеты. Вот так. Поздравляйте.

— Подожди, подожди, эмансипированная девица,— сказал тут Петр Васильевич.— Я что-то не припоминаю, чтобы тебя из корреспондентов с газетным стажем в полгода переводили в завотделом. Я вроде работаю в учреждении, где довольно внимательно следят за кадровой политикой. Ты, дочь, не нафантазировала это?

— Да нет, папа.— Лицо у Ляльки посерьезнело. Милая девушка, почти без косметики. Глаза, как у матери, большие, умные.— Я немножко удивилась: вызвал меня сегодня редактор и говорит, что Семен Маркович, наш заведующий отделом, уходит на пенсию и он, редактор, хотел бы на его место посадить меня. Испугалась: справлюсь ли? А он сказал: «Справитесь».

— А Семен Маркович собирался на пенсию? — спросила Наталья, и Петр Васильевич подумал: «У женщин нюх как у ищеек. Наталья идет в нужном направлении».

— Нет, не собирался. Я не слышала.

Не успела машина подъехать к редакции, а Петр Васильевич на лифте подняться на четвертый этаж, как все уже знали — прибыл первый секретарь. По крайней мере, главный редактор областной газеты Валерий Павлович Крошкин уже ожидал его у дверей лифта на четвертом этаже. Как это произошло? Каким образом? Тайна расторопных журналистов: в конце концов, это действительно их специальность — все знать и все предвидеть. Предвидят ли? Что-то по лицу Валерия Павловича незаметно, что ожидает его сейчас разнос. И руку жмет уверенно, спокойно. Значит, не чувствует, что переборщил? Тем хуже. Пока новоиспеченная заведующая отделом информации могла быть довольна своим шефом: крепышок, не робеет. Ну что ж, полистаем его аргументацию... Сейчас они пройдут в кабинет, подальше от постороннего глаза, и тут он, Петр Васильевич, ему с к а ж е т. Спокойно, выдержанно, но со всей резкостью, со всей большевистской прямотой. Ведь опытный человек, хорошо и достойно ведет газету, смелый. А тут засуетился, переборщил. Вот и наступил час, когда он, Петр Васильевич, стал старшим, не только властью, но и совестью своей области.

Он знает, что слухи разойдутся. Петр Васильевич не ищет популярности, но слухи разойдутся, и это тот случай, когда не так плохо, что они ходят. А ведь достойный человек этот Валерий Павлович, и вроде всегда они были в приятельских отношениях. Лечить болезнь надо вначале, а не тогда, когда она уходит вглубь...

В кабинете редактора Петр Васильевич не разделся, не снял пальто, не сел. Не сел и редактор. Говорили стоя.

— Я к тебе, Валерий Павлович, на пять минут. Лишь по одному делу. Объясни мне, пожалуйста, из чего ты исходил, назначая нового заведующего отделом информации?

Карты брошены. Редактор сразу собрался, порозовел. А не повеселел ли вдобавок ко всему редактор? Своеобразен их брат журналист: не любит только неизвестности. Теперь знает, с какой стороны обороняться.

— А может быть, сначала стоит объяснить, почему я отправил на пенсию завотделом прежнего?

— Хорошо, объясни.

— За безынициативность, за лень и за нежелание работать с внештатными авторами: сам написал — сам получил. Ждал, когда исполнится ему шестьдесят. Посоветовался со своими замами и предложил уйти на пенсию.

— Хорошо. Принято. Теперь о новом.

— Пожалуйста. Я исходил из знаний кандидата, общей грамотности, деловых качеств.

— Дочь закончила,— Петр Васильевич решил обострить ситуацию,— Московский государственный университет. Знания и общая грамотность — это норма. Есть еще причины для назначения?

— Есть, и я о них сказал: деловые качества. Тут университет помогает не всегда. Даже московский.

— А еще?

— Да понимаете, Петр Васильевич...— наконец-то голос у редактора дрогнул, стал гибким, доверительным. Артист! — Просто некого назначать. Неважно у нас с кадрами. С этими самыми деловыми качествами.

— А это, Валерий Павлович, очень плохо. Этого не может быть. Ты пятнадцать лет работаешь в газете, и я не верю, что ты не воспитал смены. Не хочу верить. В общем, так: это твои проблемы. Приказ о назначении нового завотделом появиться не должен. Она же еще девчонка, у нее опыта нет. Своему секретарю партбюро скажешь, что получил замечание за неверный подбор и расстановку кадров.

Разговором в редакции Петр Васильевич был не удовлетворен. Садясь в машину, он случайно посмотрел вверх на стеклянный фасад Дома печати. В окнах четвертого этажа белели пятна — разве мог кто-нибудь из работников газеты пропустить такое: секретарь обкома отъезжает от редакции? Может быть, и Лялька, дочь, как и все, рассматривает собственного отца в непривычном ракурсе. Единственный человек, кроме редактора, кто догадывается, зачем он приезжал. Бедная девочка, теперь для нее начнутся не выгоды, а дополнительные трудности из-за положения отца. А может быть, он излишне мнителен, и прав настырный редактор: вдруг Лялька действительно талантлива, по-настоящему организованна и до последнего предана газете? Артиллерия бьет по своим. Такая уж планида у ближних: в первую очередь от его, Петра Васильевича, «деспотии» страдать им. Но зато многих в области, кто готов порадеть родному человечку, этот его поступок вразумит. А Лялька, если газета действительно ее призвание, выплывет сама. Пусть тренируется. Детренированные люди слишком быстро идут ко дну. Он, Петр Васильевич, будет наводить такой порядок, какой считает единственно приемлемым для себя и своей совести. Свои правила надо заводить с первого же дня.

Последовательно. В большом и в малом.

— К «Горнисту», Анатолий Ефимович.

Машина мягко отчаливает от подъезда Дома печати. Что, интересно, сейчас крутится в голове у Анатолия Ефимовича? Какие новые и оригинальные мысли? Не слишком ли густо ему достается для первого дня? Бедный Анатолий Ефимович: ему бы сейчас самое время с чистой, незамутненной совестью забивать «козла» в гараже, а приходится гнать «Чайку» за сто километров к границе области.

Машина шла через городской центр. Кудесники из ГАИ расстарались, открыли зеленую волну, но все же центр есть центр, тяжелая, габаритная машина с трудом продирается через узкие улицы. Зато как прекрасен центр своими подновленными соборами! Сколько сделано за последние годы, чтобы сохранить эти дивные здания, не пойти на поводу у мелкого, сиюминутного прагматизма и копеечных выгод! Заслуга Егора Ивановича. Здесь он был мудр. Ведь знаний особенных, кроме самых общих, о культуре, истории, архитектуре не было, скорее интуиция, но она его не подводила. Умел вслушиваться в бесшабашный молодой говорок городского архитектора, даже рисковал иногда, беря под свою ответственность дорогостоящую реставрацию какого-нибудь старинного городского угла. Но и сумел выиграть: сначала город получил республиканскую премию за благоустройство, и немалую, около миллиона, а потом все эти соборы, монастыри, ратушу, крепостные башни объявили всесоюзным заповедником,— значит, взяли на госбюджет, денежки на все это идут не областные. И в промышленности, и на селе Егор Иванович очень долго выигрывал. Когда Петр Васильевич только начинал работать в обкоме, он даже помыслить не мог, что его самостоятельное решение может оказаться интереснее, оригинальнее, чем решение первого. Тот всегда доброжелательно выслушивал своего младшего помощника, а потом предлагал свое решение, и оно оказывалось проще, ярче, существеннее. Так где же сломался Егор Иванович? Он, Петр Васильевич, никогда не поверит, что тот сам попросился на пенсию. И никогда не поверит, что у него самого с годами интеллект будет менее гибким и продуктивным, чем сейчас. Душа, она с возрастом не вянет, а входит в силу, если она душа. А тут как-то сразу все почувствовали, что Егор Иванович сдал. Когда это началось? С чего? Может быть, оттого, что Егор Иванович стал менее внимательно слушать своих помощников? Вроде и без них всегда прав? А может быть, мы сами ему это и внушили? Петр Васильевич чувствовал, что

должен докопаться до причины, в своей памяти найти тот рубеж, с которого все началось. Чувствовал, что ему это необходимо. От этого урока зависит многое, может быть, вся его дальнейшая жизнь. Нет, сразу не разобраться... Постепенно, как говорится, в рабочем порядке...

Машина уже давно вышла за городскую черту. Петр Васильевич с тревогой вглядывался в тяжелые облака: дождь уже не нужен, а для снега, пожалуй, рановато. Если падет первый снег, то на перевале, через который придется ехать Петраку, на несколько часов перекроют движение. Но дай бог, погода подержится. Кое-что надо еще вывезти с полей, прибрать технику.

Два года назад вот так же он, Петр Васильевич, летел к «Горнисту». В области проходил фестиваль и какие-то встречи кинематографистов со зрителями. Областная газета называла такие имена! Две знаменитые актрисы, чьи фильмы шли еще до войны, старик актер — герой и красавец 30-х годов, актер-легенда. И с ними для поддержания тонуса и для возрастного разнообразия совсем молоденькая актриса — героиня нового нашумевшего фильма. Что ж, разве он, Петр Васильевич, не любопытен, как все? Но в разгаре была уборка. Весь обком снялся с места, ездил по области. И вот километрах в ста от областного центра его нашел телефонный звонок Егора Ивановича: «Петр Васильевич, это ты?» Первый начал так неуверенно, будто, если он приказал Паше соединить его с Петром Васильевичем, Паша мог соединить его с кем-то другим. «Я, Егор Иванович. Бойцы хлебной жатвы докладывают: дела в районе нормальные, процентов на семьдесят сжали и на тридцать вывезли». Голос у Егора Ивановича повеселел: «Это хорошо. Но я не по этому вопросу. Ты ведь, говорят, у нас кино любишь?» — «Есть такой грех. Виноват».— «Если грешен и сознаешься, то к семи вечера подъезжай к «Горнисту». Смычка с кинодеятелями».— «А кто здесь останется?» — «Приезжай, приезжай, надо повышать свой культурный уровень...»

Дело оказалось в следующем: после фестиваля и встреч со зрителями трое самых знаменитых должны поехать в соседнюю область на встречу в военный округ, который праздновал свой юбилей, вот Егор Иванович и решил на полпути, почти на границе областей, устроить им торжественные проводы.

Через четыре часа как ошпаренный Петр Васильевич влетел в свою по-летнему пустую и жаркую квартиру...

Босой, со стекающей на пол и ковер влагой, обернув полотенце вокруг бедер, он прошел из душа в спальню, рванул дверцу платяного шкафа. Ну, Наташа, ну, молодец! Четыре парадные белые рубашки лежали накрахмаленной стопочкой — рубашки были дорогие, с вышитой у пояса крошечной эмблемой фирмы, стирать и крахмалить их Наталья никому не доверяла. Знаменитые киноактрисы требовали торжественности и уважения к их поразительной популярности.

Петр Васильевич предвкушал встречу и думал о том, какой же тайной владеют загадочные люди, актеры. Удивительная профессия. Говорят чужой текст, но как говорят! Почему зрителя часто не интересует, чей это текст? Значит, к каждому чужому слову артисты приваривают что-то свое, сокровенное, тайное, что-то высокое и важное знают о жизни. Что знают? Можно ли выпытать у них это?

И все же в тот раз Петр Васильевич опоздал минут на тридцать. У туристического комплекса и ресторанчика при нем на площадке стояло штук двадцать машин и пяток мотоциклов ГАИ. Собрал, видимо, желая порадовать, Егор Иванович районное начальство и с десяток человек — по номерам видно — из города.

В зале народа было даже больше, чем Петр Васильевич предполагал. В середине стола в окружении двух уже пятьдесят, наверное, лет соперничающих дам сидел знаменитый герой. А напротив них — сам Егор Иванович. Где-то между помощником Пашей и начальником областного ГАИ хохотала молодая звездочка.

Как же все тогда нескладно получилось! И купеческий стол, и председатели колхозов с округи, которых оторвали от уборочной, и с другой стороны — пожилые, скорее, старые люди, которые приехали по делу, которым уже надо беречь свои силы, а оказались в очередном застолье, каких видели они за свой век, перевидели. Егор Иванович тогда уже слушал только себя. Так положено, считал он. Все по очереди произносили нужные и правильные тосты, и у Петра Васильевича возникла мысль: «А ведь завтра этой знаменитой четверке придется в другой области слушать все то же самое сначала. Наверное, они понимают, что это неизбежные издержки их профессии, что в этих часто выспренних или неуклюжих словах выражается любовь к ним народа».

Петра Васильевича посадили между одной из двух знаменитых дам и председателем колхоза Шмелько. Он только раз осмелился взглянуть в лицо своей соседки: по-прежнему милый, знакомый рисунок скул, вот только кожа иссечена

мелкими морщинками. Но какой удивительной молодости и ума глаза! Она почти не разговаривала, только пила нарзан и доброжелательно, изредка поворачивала голову то вправо, то влево, улыбаясь. Петр Васильевич почему-то робел заговорить с нею, только подкладывал ей на тарелку всякие, по его мнению, лакомые кусочки. Когда на тарелке выросла маленькая грудка из снеди, она сама с ним заговорила: «А кто за все это платит?» Наивная жесткость вопроса была смягчена тоном и улыбкой. «Шмелько, его колхоз.— Вопрос был прямой, прямой был и ответ.— Колхоз очень богатый, миллионер. Для хозяйства это капля в море. Но я вас понимаю. Шмелько Матвей Степанович — наш хозяин. Вот он как раз поднимается и хочет что-то сказать».

Хитрован Шмелько в этот момент как раз встал с поднятой рюмкой, в которой у него, как всегда, была какая-нибудь минеральная вода, собрал все свои румяные и загорелые морщины в улыбку и, как всегда, начал разводить турусы на колесах. Бесстрашный он человек, Шмелько, тоже знает, что дальше председателя колхоза его не пошлют — невыгодно. Шмелько сказал, что рад на их гостеприимной земле видеть кинематографистов, что в тридцатые годы как-то больше нажимали на чай, а сейчас мода поменялась, хотя и за чаем тоже говорить совсем неплохо, а потом соскользнул на богатство стола, на дары земли, которые человек в тяжелом труде добывает для себя и своих близких. «И в этом смысле,— начал новую раскрутку Шмелько,— мы здесь працуем, а вы...»

«И в этом смысле,— перебила Шмелько расшалившаяся от успеха молоденькая звездочка,— вы наш хлеб...» Все, мгновенно отрезвев, поняли, что звездочка, с ее твердой ориентацией на школьные знания, не по злобе, а исключительно по легкомыслию сейчас сморозит что-то непоправимое, закончив начатую крыловскую цитату: «...а вы наш хлеб едите». Но какова, тут же охнул Петр Васильевич, реакция у его соседки! Звездочка еще только чуть жеманно выговаривала слово «хлеб», как та, перекрывая рокот застолья своим знаменитым голосом, крикнула предостерегающе: «Марина!» Ему, Петру Васильевичу, не забыть этой леденящей, этой обжигающей, как удар хлыста, интонации. Произнеся одно слово, старая актриса вложила в него и предостережение, и уважение к своей профессии, и гнев, и пренебрежение, и уверенность, что никогда ни один актер еще не ел чужого хлеба. Но умницей оказался и Шмелько. Как же мягко он воспользовался паузой и своим певуче-

ласковым голосом сказал: «Ну зачем же так... И вы, дорогие товарищи артисты, в поте труда своего даете нам хлеб, без которого мы тоже не можем жить,— хлеб духовный».

Какой урок!

Петр Васильевич знал обычную программу в «Горнисте». Минут через десять придут пять девушек из местной самодеятельности и будут петь русские и украинские песни. В перерывах между тостами. Да не выдержат этого две пожилые актрисы! Не выдержат, чтобы они сидели за столом, а девчата им пели. Услаждали и развлекали. Для них искусство больше, чем услаждать и развлекать. И Петр Васильевич нагнулся к Шмелько, тихо сказал: «Прошу тебя, Матвей Степанович, отправь своих девчат из самодеятельности обратно. Отправь. Я все беру на себя».

Прощаясь у машины, соседка по столу задержала руку Шмелько в своей и сказала: «Спасибо, Матвей Степанович. Было очень вкусно. Жаль только, что не успели поговорить. Если окажусь когда-нибудь еще в ваших краях, заеду к вам попить чайку...»

К «Горнисту» они приехали на полчаса раньше. Петрак попросил показать ему какие-то развалины и должен был подъехать с другой стороны. Площадка у туристического комплекса была пустая, только с краешка жался «газик» Шмелько.

Пока Анатолий Ефимович роскошно разворачивался, по-хозяйски скрипя гравием, на крылечко вышел сам Матвей Степанович. Удивился, увидев первого, и бодро потрусил здороваться.

— Ты опять, Матвей Степанович, за дежурного?

— И не говорите, Петр Васильевич! Была бы моя воля, я бы этого «Горниста» взорвал. И чего они все в мою сторону ездят? Прямо хоть колхоз меняй! Послали бы вы меня, Петр Васильевич, куда-нибудь на бездорожье в отстающее хозяйство,— отшучивался Шмелько.— А честно говоря, мне даже как-то страшновато увидеть живого Петрака. Я его книги уже тридцать лет читаю.

— Ну что, если уж мы с тобой приехали первыми, давай обойдем караулы.

Они поднялись наверх в тот же самый узкий зал, где в прошлый раз провожали актеров. Велика сила традиции. Непьющий Шмелько приказал наворотить на столах такое! Такие горы снеди, такие батареи напитков! И тут же все

объяснил: «Я перед другими председателями срамиться не хочу».

— И хор опять позвал?

— Нет, хор не звал. Девчата стали отказываться. На сцене — пожалуйста, а в ресторане не будем.

— Молодцы у тебя девчата.

— Я зато свою старуху взял, она сейчас на кухне присматривает. Если надо, она споет, она певучая.

— Что жену взял, вдвойне молодец. А ты знаешь, что мы сейчас сделаем?

— Ой, Петр Васильевич, я вас знаю...

— Ну так что?

— Все уберем, раздвинем столы, как было раньше,— Шмелько вздохнул,— а в уголке накроем один стол на два человека. И тихо, спокойно вы с Петраком поговорите.

— Неправильно. Накроем стол на четверых. Ты, Матвей Степанович, в этих местах воевал, и Петрак в этих местах воевал. Вы поговорите, а я послушаю. Давай, Матвей Степанович, зови свою Розу Федотовну, разворачивайтесь здесь, а я пойду встречать гостей. Я их встречу!

Своей засадой Петр Васильевич выбрал место у машины. Он стоял, засунув руки в карманы плаща, и злился. Ну что же у него за дурной характер! Почему он все навертывает и навертывает, все усложняет там, где просто, деликатничает, где надо приказать? И в сегодняшей эскападе он тоже переусердствовал: редактору все можно было сказать по телефону, а с проводами Петрака еще проще: вызвать завотделом культуры Герасима Лукича и прямо, по-солдатски ему все сказать — и про сегодняшние проводы, и про проводы и встречи, которые будут завтра, послезавтра и через год. Но вот ему показалось, что личный разговор с редактором будет звучать помягче. А Герасим Лукич на десять лет его старше, Герасим Лукич привык к когда-то заведенному порядку... Ну почему привык? Почему так быстро привыкают к стереотипам и шаблонам? Он, Петр Васильевич, и в себе боится этой быстрой и вольготной привычки. Привычка — это значит не видеть человека, события. Стесывать с события или человека индивидуальность. А уж в культуре-то, как у Герасима Лукича, привыкать и вовсе нельзя.

Он отчетливо представляет, как все произошло. Когда Петрак приехал собирать материал для книги, Егор Иванович поговорил с писателем, а дальше поручил его Герасиму Лукичу: организовать программу, помочь. Тот и помог. Наверное, по-деловому, соединил его с нужными людьми,

свозил на места боев. Но ведь наверняка в каждом колхозе, где Петрак встречался с людьми, после этого был долгий — те-то старались, знаменитый и любимый писатель! — утомительный обед. Петраку хотелось побыть одному, отдохнуть, сделать записи — восьмой десяток, силы на исходе,— а он сидел и обедал с председателем, парторгом и бригадирами.

А сегодня как бы завершение дела. Герасим Лукич позвонил в район, секретарь райкома поручил проводы второму, тот подключил инструктора, инструктор возложил материальное обеспечение — конечно, в деликатной форме, все у нас делается деликатно! — на Шмелько. Шмелько не привыкать!.. Дорогу решили почистить с помощью ГАИ. Слух о приезде Петрака разросся; так как он воевал в этих местах, то подключился и военком, надо быть на виду. И сейчас все эти доброжелатели и помощники нагрянут сюда, выставят на площадке свои машины, а проезжающие колхозные шоферы будут думать: чего это все районное и областное начальство столпилось у туристского центра, у ресторана «Горнист»? Нет, здесь, пожалуй, беседами не поможешь, нужна акция, чтобы зацепило за глубину души, чтобы рефлекс образовался...

Все случилось так, как Петр Васильевич и предполагал. Сначала вдали на дороге, разбрасывая вокруг себя искры желтого, красного и синего цвета — ну как же без мигалок, без помпы! — показалась спецмашина ГАИ, потом — машины областного начальства, коллег, за столько лет работы Петр Васильевич узнавал их не по номерам, по походке; потом — Степан, его, Петра Васильевича, «Волга» с Петраком и Герасимом Лукичом; потом — машина, на которой Герасим Лукич будет возвращаться в город; потом — еще две машины. Не бедненькие, область наша велика и обильна!

Все это Петр Васильевич предвидел, все это случилось. Он знал, что сейчас, в присутствии Петрака, надо сдержаться, он еще потом свое возьмет. Вот сейчас надо проявить мягкость. Но такую мягкость, чтобы все запомнили надолго, навсегда.

С воем и скрипом тормозов все машины развернулись, выстроились на площадке, выкатила возбужденная быстрой ездой публика, вышел седенький и маленький Петрак, казавшийся еще меньше с рослым и сановным Герасимом Лукичом. И Петр Васильевич пошел навстречу Петраку. Все заулыбались и тоже стали подтягиваться, образуя вокруг Петрака и Петра Васильевича некую живописную группу.

И опять, как тогда с кинематографистами, у Петра Васильевича возникло ощущение прикосновения к тайне, будто бы что-то магическое исходило от Петрака. Какое-то знание о предназначении человека, о его жизни и смерти. А может быть, он, Петр Васильевич, все это себе придумал, просто перед ним человек, который выполняет свое, непривычное для него, Петра Васильевича, дело?

Петр Васильевич пожал маленькую сухую руку писателя и сказал:

— Я очень рад, Михаил Сергеевич, что смог проводить вас. Для нас большая честь ваше посещение. Спасибо, что нашли время встретиться — мне об этом рассказывали — с нашими рабочими и колхозниками... И вам, товарищи,— он выпустил из своей руку Петрака, оглядел всех, тщательно запоминая, кто же здесь был, улыбнулся как можно доброжелательнее, стараясь пригасить взгляд,— и вам, товарищи, большое спасибо, что проводили Михаила Сергеевича почти до границы нашей области. А уж теперь (испарился теплый товарищеский ужин!) возложите эту почетную обязанность на нас со Шмелько.

В первые минуты разговор за столом не клеился. Так, общие фразы, Петр Васильевич, глядя в равнодушные, почти скрытые припухшими веками глаза Петрака, стеснялся, боялся показаться неинтересным и скучным. Шмелько, соблюдая субординацию, помалкивал. Петрак, видимо уставший с дороги, ронял вежливые и стершиеся фразы. И тут, видя скованность мужчин, на помощь пришла Роза Федотовна.

Она по-хозяйски выплыла откуда-то из кухонных глубин, неся на блюде несколько чудовищно огромных помидоров. Где они их в это время раздобыли, еще подумал Петр Васильевич. Роза Федотовна поставила блюдо на стол, Петр Васильевич познакомил ее с гостем, и та, мгновенно оценив ситуацию, потянула, как говорят актеры, одеяло на себя. Как она умудрялась говорить без малейшей паузы и передышки, Петр Васильевич не понимал. Казалось, что эта пышная, по-деревенски румяная женщина не останавливается даже, чтобы перехватить воздух.

— Да я уж так рада, Михаил Сергеевич, познакомиться с вами, так рада! Я ведь все ваши книжки перечитала, и дети наши перечитали, и Матвей Степанович все перечитал. Матвей Степанович, он в этих же местах воевал, что и вы, очень с вами спорит. Он говорит, что, если бы он не

председателем колхоза работал, а писателем, он бы все эти места и события описал по-другому.— Матвей Степанович сделал протестующий жест, давая понять гостю, что вовсе он не так уж с ним не согласен, как представляет жена. У Петрака из-под прикрытых век блеснул заинтересованный и живой взгляд.— Нет, ты уж, Матвей Степанович, не отказывайся,— продолжала Роза Федотовна,— Говорил? Говорил! Ты меня знаешь, я врать не умею, у меня правда на языке, что думаю — всеобщее достояние.— Розу Федотовну несло с горы. Ни на минуту не закрывая рта, она не переставала двигать и руками: разложила всем по тарелкам салат, каждому положила кусочки копченого мяса, рыбы и по помидору.— А помидоры эти не общепитовские, не колхозные, это мои. Я ведь этими помидорами всю нашу семью подняла...

— Мать, не срами,— вклинился Шмелько.

— А какой же здесь срам? — Роза Федотовна на секундочку приостановилась, давая рукой команду Петру Васильевичу открывать водку и разливать по рюмочкам.— Какой же здесь, добрые люди, срам! Мне зарплата, что Матвей Степанович приносит как председатель колхоза,— капля в море. У меня семья.— Дети — кандидаты наук и невестки — артистки и художницы, мне на всех много надо. Сорок лет я проработала на родной колхоз. А теперь, как у пенсионерки, у меня свой колхоз. У меня десять соток огорода пленкой закрыто. Жить на земле, да чтобы она не кормила! Ведь это только у ленивого и безрукого может получиться. У меня все по науке. Петрушка, огурчики, укропчик, кабачки — это все для стола, это мелочь. Чтобы настоящую взять продукцию, нужна,— с каким вкусом и удовольствием Роза Федотовна все это выговаривала,— нужна монокультура! Матвей Степанович мне: «Ты меня срамишь! Ты меня срамишь!» А я ему: а ты попробуй составь мне конкуренцию, ты меня экономическими рычагами перевоспитывай. Я всем своим сыновьям по «Жигулям» купила и сама на «Жигулях» езжу. Мне без машины нельзя. А все монокультура. Матвей Степанович, видите ли,— большое начальство, с шофером раскатывает, а я сама. У меня в хозяйстве дисциплина. Если только сыновьям позвоню в город: выезжайте копать, или собирать урожай, или полоть,— как один вместе с невестками в ближайшую же субботу тут как тут. И никаких перекуров, отгулов за прогулы, никаких уважительных причин: утром начали, к вечеру вскопали. У меня конвейер. А какая у меня рассада! Не три чахлых листика, а стебель сочный, зеленый. Рассада с га-

рантией. На мою рассаду спрос особый. Я тоже на звание Героя Труда претендую. Вот так. А теперь, когда водочка налита, а мужчины, вместо того чтобы развлекать даму, молчат, то дама предлагает выпить за приезд и здоровье нашего дорогого гостя...

Во время этого монолога Петр Васильевич не отрывал глаз от Петрака и видел, как постепенно оживало его лицо. Из вялого, уставшего лица пожилого человека оно превращалось в озаренное и значительное лицо писателя. Сначала проснулись глаза, выглянули из своих норок раз, потом другой, а потом распахнулись — голубые, жадные и веселые — и, уже не отрываясь, уставились на Розу Федотовну. Петрак перестал теребить салфетку, отложил ее в сторону, как школьник, положил ладони на скатерть и, подавшись вперед, вслушивался, что говорила ему соседка по столу. Он даже позволил себе какие-то не очень ясные восклицания, в которых Петру Васильевичу почудилось довольно неожиданное и даже нелестное: «Так их, бюрократов!», «Вперед, Роза Федотовна!», «Покажите им, как надо управляться с сельским хозяйством!» Похоже, Петрак от Розы Федотовны был в восторге! И потом, когда она закончила и предложила здравицу в честь гостя, Петрак, довольный, поднял рюмку, улыбнулся широко и обольстительно, как молоденький лейтенант, и сказал:

— А я предлагаю первый тост за нашу хозяйку. За ее трудолюбие, потому что на трудолюбии, на любви к делу, к труду и стоит наш мир.

Вот после этой рюмки и начался настоящий разговор, из тех сладких сердцу, захватывающих разговоров, какие Петр Васильевич ценил со студенческих лет, когда столько у каждого было мыслей, так интересны собеседники и так быстро и хорошо в этих разговорах решались все проблемы. Петр Васильевич знал, что расшевелила всех не водка —на четверых за весь вечер не выпили и бутылки. Сначала Петрак пытал Петра Васильевича о хозяйстве области, о людях, о реставрации и сохранении памятников культуры, о тех проблемах, которые стоят перед ним, первым секретарем, лично. А потом они втроем — Петрак, Шмелько и Роза Федотовна — насели на Петра Васильевича за отношение к частному сектору, по поводу статьи о «помидорницах» в областной газете. Здесь позиция у всех троих была несогласованная. Роза Федотовна потребовала, чтобы Петр Васильевич нарисовал, как сложится положение с сельским хозяйством в области через десять лет, через двадцать лет. А откуда ему, Петру Васильевичу, это известно?

А потом Петрак и Шмелько схлестнулись на «последнем рубеже». И оказалось, что сидели в соседних окопах, видели один и тот же бой, но видели по-разному. И для каждого его правда была правдой священной. И за спором об этой правде, спором с криками, вскакиваньем со стульев, с черченьем вилкой или ножом по скатерти расположения позиций, незаметно, не распробовав как следует, съели фирменное блюдо «Горниста»: по куску дикого кабана, жаренного на вертеле. И рассмеялись, когда у обоих тарелки уже были пусты. «Ну, так какой на вкус был кабан?» — спросила Роза Федотовна. И оба развели руками: не знали, какой он был на вкус. Съели, и все. По крайней мере, вкусный. «Вот так-то, спорщики»,— сказала Роза Федотовна.

Потом Петрак пытал всех троих, что они читают и что читает молодежь. А в ответ Роза Федотовна, которая, как выяснилось, читает больше всех, расспрашивала Петрака о знаменитых писателях, об одном, о другом. И тут Петрак, внезапно погрустнев и опустив глаза, будто на белой скатерти выступили какие-то знаки и письмена, которые он считывал, стал говорить о драматизме человеческой жизни. Об обязанности человека перед самим собой быть счастливым и о роковой несправедливости: когда понимаешь, как этого достичь, уже не хватает сил. Говорил о ненасытности человеческого взгляда и неутолимости нашего любопытства. Хочется все попробовать, все постичь, все рассмотреть, а времени уже нет, и исчезают желания, уже совсем близко, за поворотом — финал, понимаешь, что пора подводить итог, а все живешь и живешь на полную катушку, не в силах допустить, что неизбежное станет неизбежным и для тебя, разбазариваешь время, сострадаешь, помогаешь близким. А что останется? Десяток книг, которые, наверное, умрут вместе с тобой. А может быть, не умрут, выплывут на поверхность времени? И вот ради этого «может быть» и копаешь, как чернорабочий, каждый день с заступом выходишь на свою делянку. И такая тоска по еще не сделанному, но уже, по словам Петрака, обдуманному — о чем он, наверное, никогда не напишет, потому что есть другие долги, долги перед окопом, в котором они сидели вместе с Шмелько, а написать так хотелось бы! — такая тоска промелькнула в его глазах, что Петру Васильевичу на мгновение стало до боли жаль этого старика, который всю свою жизнь потратил на то, чтобы помочь людям жить в гармонии с самими собой, так мужественно нес через все дни хомут повседневных нелегких обязанностей и не смог найти эту гармонию для себя. Да и в чем она? Как ее сыскать? Как примирить

себя, Наталью, Ляльку, свое дело? Как отыскать эту гармонию ему, Петру Васильевичу? Ведь от него даже и «десятка книг» не останется, сам он не сажает деревьев, не строит домов... Только даты на камне: жил — умер. И тут же подумал: мое-то дело решенное. Каждый день с утра до вечера, от одного вопроса к другому и без перерыва. И все для того, чтобы росли и сажали люди деревья, чтобы спокойно и сытно было в доме, чтобы не цепенела душа за бесцельно, по-обывательски прожитые дни, чтобы стремительно летела по каналу река жизни... И побольше бы этих вопросов, погуще бы их вал, зарыться в них головой, закопаться...

В пустой и темный зал, где лишь над их столиком горел свет, тихонько вошел Степан. Петр Васильевич, сидевший лицом к двери, недовольно поднял брови. Но Степан не заметил или сделал вид, что не заметил, по крайней мере шаг у Степана не дрогнул, он подошел к столу, нагнулся над плечом Петра Васильевича и шепотом сказал: «Начался снегопад, на перевале машина может не пройти». И Петр Васильевич понял, что вечер закончился.

— Михаил Сергеевич,— с сожалением сказал Петр Васильевич,— я поступаю сейчас не гостеприимно, но надо ехать. На перевале пошел снег. Можете застрять. Да и соседи вас заждались.

— Спасибо, друзья,— сказал Петрак.— Ехать так ехать, наше дело солдатское.

Вчетвером они спустились вниз. Площадка перед туристическим комплексом была покрыта снегом. В «Волге» у Степана горел свет: Петр Васильевич уже привык, тот все время читает. Первый снег, первая в этом году белизна. А в «Чайке» темно: крыша и багажник белые, а на моторе ни одной снежинки — значит, спит в тепле, привычки Анатолия Ефимовича тоже известны. Жаль Анатолия Ефимовича, но первый решил отправить Петрака на «Чайке»: машина тяжелая, устойчивая, пройдет через перевал. «Надо только обязательно Анатолию Ефимовичу сказать, чтобы сегодня не возвращался, переночевал.— И тут же про себя банально пошутил: — Искусство требует жертв». А вдогонку новая мысль: а разве жизнь не требует жертв?..

Анатолий Ефимович не высказал и тайного неудовольствия, что предстоит ему на ночь глядя такая дальняя дорога. Только попросил позвонить домой, предупредить.

— Сделаем, Анатолий Ефимович, не беспокойтесь.

Ну вот и все. Растаяли красные габаритные огни машины, увозившей Петрака, потом отошел газик Шмелько. Роза Федотовна приоткрыла дверцу и на ходу машет рукой...

Пора возвращаться... Удивительно чистая, спокойная белая ночь. Почему же так грустно на душе? Почему так не хочется садиться в машину? Почему хочется оттянуть момент возвращения?

Он сел в «Волгу».

— Степан, трогай. Домой.

Что-то в хорошо знакомом голосе Петра Васильевича показалось шоферу необычным. Выезжая с площадки на шоссе, Степан подумал: «Расстроился он, что ли?» Но Петр Васильевич, по мнению Степана, мужчиной был крепким, волевым, мужественным, которому расслабленность как-то не шла. «Простудился, наверное,— подумал Степан,— вот и сопит». И все же в простуженном дыхании первого ему почудилось что-то непривычное. И тогда из деликатности Степан нажал кнопку приемника и включил музыку...

1982

СОДЕРЖАНИЕ

МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

ПОСТРОЕННЫЙ В БОЯХ СОЦИАЛИЗМ

Р32 **Революцией призванные:** Сборник:
Повести. Рассказы. Очерки. В 2-х т. Т. 2./Сост.
В. Пискунова.— М.: Худож. лит., 1987.— 622 с.

В том второй вошли рассказы советских писателей о строительстве социализма в СССР, о событиях Великой Отечественной войны, о развитии и совершенствовании социалистического общества.

Р $\frac{4702010200\text{-}225}{028(01)\text{-}87}$ 1-87 ББК 84Р7

Революцией

призванные

ПОВЕСТИ.
РАССКАЗЫ.
ОЧЕРКИ

Том второй

Составитель
Владимир Максимович Пискунов

Редактор Л. ПОЛОСИНА

Художественный редактор
С. ГЕРАСКЕВИЧ, С. БИРИЧЕВ

Технический редактор
В. НЕФЕДОВА

Корректор
М. МИРИМСКАЯ

ИБ № 4744

Сдано в набор 17.09.86. Подписано в печати 26.03.87. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 32,76. Усл. кр.-отт. 66,41. Уч.-изд. л. 36,39. Тираж 75 000 экз. № III-2323. Заказ № 950. Цена 2 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». ГСП, 107882, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.







2 р. 80 к.

